П. Н. Милюков

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

П. Н. Милюков

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

в 3-х томах

Том второй

Вера
Творчество
Образование

Москва
Издательская группа «ПРОГРЕСС»
«КУЛЬТУРА»
Редакция газеты «ТРУД»
1994

ББК 63.3 (2)
~~М57~~
М60

Редактор Л.И.Кучумова

Милюков П.Н.

М57 **Очерки по истории русской культуры.**
В 3 т. Т.2, ч.2. — М.: Издательская группа "Прогресс-Культура", 1994 — 496 с.

Предлагаемая вниманию читателей вторая часть второго тома "Очерков по истории русской культуры" П.Н.Милюкова посвящена истории искусства, школы, просвещения. Автор органично развивает историю религиозной жизни, церкви, литературы в России, рассмотренные в очерках втором и третьем, в процессах становления архитектурных, живописных и музыкальных стилей на протяжении тысячелетнего периода (Очерки, III-IV).

Очерк IV П.Н.Милюков посвятил исследованию становления школы и просвещения, начиная с эпохи Древней Руси. Подробно рассмотрен перелом в положении школы и просвещения в эпоху Петра Великого. В разделе о борьбе в российском обществе за школу и просвещение на протяжении XIX в. выделено стремление к демократизации образования. В данном очерке П.Н.Милюков впервые в русской эмигрантской литературе XX в. дал систематизированный анализ положения школы и просвещения в СССР.

Для широкого круга читателей и студентов гуманитарных вузов.

М $\frac{0503000000-058}{006(01)-94}$ без объявления

ББК 63.3(2)

ISBN 5-01-004446-3
5-01-004243-6

© Подготовка и оформление оригинал-макета Издательская группа "Прогресс", 1994
© Редакция газеты "Труд"

Часть вторая

ИСКУССТВО ШКОЛА ПРОСВЕЩЕНИЕ

III

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ ИСКУССТВА И ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: АРХИТЕКТУРА И ЖИВОПИСЬ

Церковь и искусство на Западе. — Ход развития западного искусства. — Состояние византийского искусства в момент восприятия его Западом и Россией; вопрос о его развитии. — Дальнейшая судьба его на Руси. — Архитектура. — Изменение византийского типа каменных построек в Новгороде и в Суздале. — Развитие русской луковицы и ее деревянные параллели: бочка и куб. — Применение деревянных форм в национальной архитектуре XVI века: конструктивное значение "бочки". - - Шатровый верх. — Отношение церкви к национальному стилю и его упадок. — Ярославский стиль. — Период заимствований: эксперименты на петербургских "пустырях". — Украинское барокко в Москве. — Архитектура времени Петра, Елизаветы и Екатерины: рококо, Палладио и ампир. — Русский орнамент. — Отсутствие скульптуры. — Живопись. — Новые исследования в области иконописи. — Руссификация византийских типов. Возрождение иконописи в Византии и в России в XIV и XV вв. — Национализация иконописи в Новгороде и Суздале. — Школа Рублева. — Традиция Дионисия. — Начало западного влияния. — Сомнения Висковатого. — Дидактические и символические иконы. — Меры, принятые Стоглавом, и составление "Подлинника". — Сложные иконы. — Царская школа иконописи. — Изменение самих приемов иконописания и борьба против "живописного" письма. — Появление светской живописи при московском дворе. — Новые западные влияния к концу XVII века и настроение художников-иконописцев. — Новаторство северных росписей. — Сийский подлинник. — Разрыв с прошлым. — Период подражания. — Сходство и различие в положении литературы и живописи XVIII в. — Портретная и пейзажная живопись VIII в. — Первое появление публики, заинтересованной искусством, и первый шаг живописи от классицизма к жизненности (Брюллов). — Реалистические стремления Иванова. — Переход русского жанра от сентиментализма к реальности и социальным темам (Венецианов и Федотов). Шестидесятые годы в искусстве и решительная победа жанра. — Обличительная и реалистическая живопись (Перов и Репин). Реакция против "передвижничества". Переходный период к 90-м годам. — Васнецов, Нестеров, Врубель, Серов, Суриков. — Группа "Мира Искусства". Ее роль в изучении истории искусства. — Импрессионизм, неоимпрессионизм, постимпрессионизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм. — Русские левые течения. — Мусатов, Ларионов и Гончарова. — Эмиграция художников при большевиках. — Футуризм. — Централизация искусства при военном коммунизме. — Нэп и возвращение старых школ. — "Ахровский" реализм. — Другие школы. — Компромисс "Оста". — Требование классовой живописи. — Появление новых групп. — Реакция в "Осте" и среди старых художников. — "Искусство вещи". Гравюры и плакаты. — Новые задачи архитектуры. — Поиски стиля. — Советский театр.

Кому случалось заглянуть в один из грандиозных готических соборов католической Европы во время торжественного богослужения, тот мог наглядно представить себе, какими чарами искусства западная церковь постаралась обставить удовлетворение религиозной потребности верующих. Ряды массивных столбов, как будто связанных пучками из тонких стройных колонок, смело несут ввысь свои стройные линии и у самого свода вдруг разбегаются во все стороны, навстречу таким же колонкам соседних столбов, переплетаясь с ними, словно ветви каких-то гигантских пальм. Необъятное пространство воздуха погружено в таинственный полусвет, среди которого тем отчетливее выделяются разноцветные рисунки исполинских окон. Густые аккорды органа неизвестно откуда наполняют все это пространство глубокими, торжественными звуками; потом вдруг более резкая, более определенная мелодия струнного оркестра прорежет неожиданно эти дрожащие в воздухе волны звуков, и, наконец, среди наступившего затишья, раздастся звучный голос солиста. Вы пришли взглянуть на знаменитые памятники искусства, но, смотря на распростертые по скамьям фигуры молящихся, прислушиваясь к отдаленным возгласам священника, сопровождаемым частыми ударами звонка, вы на некоторое время забываете, что возле вас по стенам теснится целый лес замечательных скульптурных надгробий, а в многочисленных алтарных нишах ждут вас иконы, из которых каждая представляет какой-нибудь достопамятный момент в истории христианской живописи: вы забываете о цели своего прихода и невольно поддаетесь общему настроению.

И вы ничего не потеряете для ваших целей наблюдателя-туриста, перечувствовав это настроение. Вы находитесь в самом фокусе средневекового мировоззрения, из которого органически выросло западное искусство. Для искусства еще в большей степени, чем для литературы, церковь была той лабораторией, в которой оно возникло, развилось и достигло полного развития. И еще больше, чем от литературы, церковь не думала отказываться от вскормленного ею детища; еще охотнее, чем в области науки и философии, церковь сделала в области искусства самые широкие уступки новому мировоззрению, только бы удержать в своей ограде создания нового периода творчества, а при их посредстве удержать за собою и власть над душой нового человека. Поэтому светский элемент здесь очень постепенно и медленно вытеснял духовный. Чимабуэ и Джотто разрушили, при восторженном одобрении паствы, символизм и условность форм византийского стиля, оставаясь строго в пределах религиозного задания. Потом предшественники Рафаэля заменили Чимабуэ, а Рафаэль заменил прерафаэлитов, все еще не разрывая с религиозными сюжетами, хотя и вливая в них совершенно светское содержание. Точно так же и в музыке переход от церковного к светскому совершился постепенно. Сперва Палестрина преобра-

зовал традиционный стиль церковной музыки; потом Палестрину сменили Бах и Гендель, Гайдн и Моцарт. Уступая требованиям живого мирского чувства, западная религия зато надолго сохранила способность будить вдохновение художника и давать пищу для новых и новых великих произведений искусства. На Востоке вовсе не было налицо этих условий жизненности и органического развития религиозного искусства.

Восточное искусство, правда, имело один общий источник с западным. То и другое развилось из искусства первых веков христианства, — эллинского искусства, которое впервые разрешило художественные задачи новой религии с помощью технических средств и приемов, завещанных искусством классического мира. Это были, правда, уже последние моменты жизни классического искусства. Первоначальное христианство поставило этому искусству новые, совершенно непривычные задачи, потребовало замены реализма символикой мистических тайн и тем еще ускорило его разложение. Не нуждаясь в натурализме античного искусства, христианство могло обойтись и без его техники; все свои наиболее отвлеченные идеи оно изображало в ряде условных знаков, более или менее упрощенных. Создать такой круг символических изображений, который бы наглядно изображал наименее доступные наглядному изображению христианские идеи и в то же время скрывал бы на первых порах истинный смысл этих символов от непосвященных — такова, собственно, была главная задача изобразительного искусства первых веков христианства.

При таком направлении условность скоро заняла место правдоподобия в художественных изображениях. Живопись быстро упала с той высоты, на которой стояла в древности. За нею последовала и скульптура. Только в области архитектуры христианское искусство сразу пошло не назад, а вперед. Здесь с самого начала ему пришлось самостоятельно решать самую трудную задачу: создать формы нового здания, не предусмотренного классической древностью, — обширного христианского храма. Эту свою задачу христианское искусство разрешило блестяще и даже дало для нее несколько последовательных разрешений, все более и более совершенных. Оно создало сперва стройную христианскую базилику, покрытую крышей на деревянных стропилах, потом византийский храм с его куполом в виде полушария, потом крестовые своды и массивные стены романского храма и, наконец, само воплощение архитектурной легкости и изящества — готический храм с его остроконечными арками и сводами, с его массивными столбами и легкими стенами из стекла и каменных кружев. Поднявшись сама на ноги, архитектура подняла и скульптуру. Сперва для архитектурных целей — для простого украшения стен, а потом и для самостоятельных целей художник принялся за подражание древним скульпторам и попытался достигнуть их мастерства в

лепке человеческой фигуры. Это требовало знания натуры, изучения живого человеческого тела; скульптура направляла, стало быть, христианское искусство на тот же путь правдоподобия, на котором стояло древнее искусство и с которого уклонилось средневековое. Приучив глаз и набив руку на осязательных, округлых фигурах, художник не мог не перенести привычки к правдоподобию и на живопись. Как развитие архитектуры дало толчок скульптуре, так развитие скульптуры вывело и рисование из средневекового младенчества. Поставив своею целью — подражание жизни, действительности, оба изобразительных искусства мало-помалу вышли за первоначальные пределы. Если вначале правдоподобие было только *средством* для того, чтобы произвести религиозное впечатление, то впоследствии верность натуре сделалась целью сама для себя. Вместе с тем, искусство перестало преследовать религиозные цели и сделалось светским. Не стесняемое внешними принуждениями, западное искусство проделало весь этот переход от религиозного воодушевления к преклонению перед природой и жизнью — постепенно, незаметно для самого себя. Таким образом, между искусством христианским и светским, церковным и секуляризованным, не было никакого насильственного перерыва. Одно само собою выросло из другого.

Судьба христианского искусства на православном Востоке и в России сложилась иначе. К нам, как и на Запад, это искусство перешло вместе с принятием крещения. Но уже тут надо заметить, что крещение у нас и на Западе совпало с очень различными моментами в истории самого древнехристианского искусства. Германская Европа крестилась в VI-VII вв. по Р.Х. В это время древнехристианское искусство переживало еще первый блестящий период своего существования. Подготовительный период (IV-VI вв.) только закончился. Христианский художник только что овладел большею частью художественных тем, какие задавала ему новая вера. Это новое содержание было воплощено в изящные античные формы, так что христианское искусство казалось на первых порах как бы прямым продолжением классического. Художник не думал отказываться не только от технических приемов, но даже и от художественных типов, выработанных античным искусством. С другой стороны, он еще не успел отвыкнуть от той самостоятельности, какая необходима была при первоначальных творческих попытках изображения христианских сюжетов. Разные способы разрешения одних и тех же художественных задач не были еще согласованы между собою: христианское искусство еще не выработало окончательно своих постоянных типов. Это обстоятельство оставляло большую свободу фантазии и личному вкусу художника. Таким образом, полное жизни и движения, перешло христианское искусство Востока в руки западных художников и только победа германского варварства над древней цивилизацией погрузи-

ла его на несколько столетий в дремоту. В XII столетии этот временный застой решительно оканчивается; жизнь и движение снова наполняют христианское искусство Западной Европы. "Художникам, как и поэтам, - говорилось словами Горация в служебнике ученого схоластика Дурандуса (до 1285 г.), — всегда предоставлялось некоторое право дерзания".

Не так шло дело на Руси. К концу десятого века, когда и к нам пришла новая вера, древнехристианское искусство успело окончательно сделаться византийским. Период свободного творчества для него закончился. Оно разработало все свои темы и установило вполне все типы. Уже на седьмом вселенском соборе, во исполнение заповеди "не сотвори себе кумира" и для избежания упреков со стороны иконоборцев, воспрещено было употребление скульптурных изображений. На том же соборе некиим Епифанием высказано было мнение, что в писании икон не надо давать свободы художникам, так как "иконы создаются не творчеством художника, а законом и преданием православной церкви; изобретение и установление (типов) принадлежит святым отцам, а художнику остается только техника". Правда, собор не принял мнения Епифания в число своих постановлений. Но и не получившее официальной санкции, оно тем не менее характеризует дух византийского искусства. К X в. роспись крестового храма, с пантократором в куполе, с Божией Матерью в апсиде, с изображениями праздников в средней части храма и со страшным судом на стене, противоположной алтарю, все это в строго установленных формах — приобрела почти каноническое значение. "Изображению, как и писанию в книгах, присуща божественная благодать", — говорилось в "Диалоге против еретиков" Симеона Солунского.

Из этого, однако, вовсе не следует, чтобы на всем протяжении своей истории византийское искусство не проявило никакого внутреннего движения и развития. Старое мнение о полной неподвижности византийского искусства после блестящих исследований Millet, Diehl и Dalton, к которым примкнули и наши русские исследователи, Н.П. Кондаков, Муратов и др., должно считаться теперь окончательно опровергнутым. Напротив, византийское искусство, после первой поры расцвета, уже отмеченной выше, пережило еще два "золотых века" — в эпоху Комненов (IX-X) и в эпоху Палеологов (XIII-XIV). Так как зависимость России от Византии продолжалась все это время, то заранее можно ожидать, что и русское искусство, следуя этим изменениям, пережило и отразило в себе разные византийские влияния и, таким образом, приняло участие в его эволюции. Надо прибавить, что разнообразие вносилось не только последовательностью развития восточного искусства *во времени*, но также и его разветвлениями *в пространстве*. Константинополь вовсе не был единственным центром восточно-христианского искусства. Египет и Сирия, Малая Азия и Персия, Балканские

страны вложили свою долю в его развитие. На это обстоятельство особенно указал Н.П. Кондаков. Но его реалистическая трактовка, чуждая преувеличений, встретила возражения со стороны энтузиастов, защищавших автономное развитие византийского искусства. В особенности они отрицали влияние Запада, в лице Италии, на это искусство, утверждая, что оно имело достаточно внутренней силы, чтобы развиться независимо от западного и, подобно ему, явить мировые образцы эстетических достижений. Последнее мнение, благодаря энергической и компетентной защите его вышеупомянутыми исследователями, возобладало вместе с терминологией "ренессанса Палеологов". Но в последнее время замечается, как увидим дальше, стремление примирить мнение о независимом развитии византийского искусства с наличностью ранних (доренессансных) итальянских и даже восточных влияний.

Указывая на эти новые и чрезвычайно ценные результаты изучения восточно-христианского искусства, мы, однако, не видим в них основания изменять общую характеристику восточной православной культуры, не вышедшей из определенных и очень тесных рамок, предуказанных ей восточной формой религии. Черты архаизма, приобретенные в период падения античной техники и античного искусства, остаются в этом искусстве как обязательная принадлежность стиля. И секуляризация этого искусства придет поэтому не изнутри и не органически, как на Западе, а извне, как насильственный перерыв, — в результате запоздалого воздействия новейших западных достижений.

Все упомянутые споры ведутся по поводу развития византийского искусства и его влияния в странах более старой культуры. Что касается России, она вступила последней в этот православный мир — и более или менее пассивно восприняла византийское искусство таким, каким она его находила в разные периоды его влияния. Долгое время она даже получала свои произведения искусства непосредственно из рук мастеров православного Востока. Греческие архитекторы построили древнейшие каменные церкви и соборы Киева, Новгорода и Суздаля; греческие же художники или их добросовестные ученики из русских, часто под их руководством, наполнили эти храмы стенной живописью, мозаикой и древнейшими иконами. Только постепенно, хотя и очень рано, в заимствованный с Востока стиль начали проникать самостоятельные русские черты. На первых порах эти нововведения совершались вопреки воле художника — так же бессознательно, как перемены в русской церковной практике. Как бы то ни было, в этих местных особенностях заключались начатки национального русского искусства, и мы должны теперь остановиться на их судьбе.

Как везде, наиболее способной к самостоятельному развитию оказалась и у нас, на Руси, архитектура. Причину этого понять нетрудно: Из всех видов художественного творчества ар-

хитектура есть наиболее материальный, наиболее тесно связанный с данной житейской обстановкой. Зодчество какой бы то ни было страны всегда находится в самой сильной зависимости от местных условий, например климата, почвы, наличных строительных материалов, привычек и потребностей и т.д. Крестьянин, приспособляя к этим местным условиям устройство своей деревенской избы, конечно, вовсе не думает о том, что создает этим особый национальный тип постройки. А между тем, не без основания, эта самая деревенская изба считается некоторыми исследователями за прототип русского национального зодчества. Прежде всего, в стране лесов самобытный архитектурный стиль должен был, очевидно, создаться в сфере деревянных построек, тогда как каменные постройки надолго должны были остаться под иноземным влиянием. Про каменные постройки Киевской Руси мы очень мало знаем. Новейшие работы предполагают тут разного рода влияния, помимо византийского: армянское, грузинское и даже скандинавское. Во всяком случае, национального русского влияния тут еще проследить нельзя: строят южно-русские соборы иностранные мастера.

Иначе стоит вопрос об архитектуре Новгорода и Пскова. Тут также предполагается иностранное влияние, идущее с Запада и приносившее в Россию отголоски романского стиля. Но в приземистой, низенькой форме новгородских церквей, в их покрытии двускатной крышей на каждой из четырех сторон куба, заменившем фронтонное покрытие южного храма, нельзя не видеть влияния местного климата и деревянной архитектуры. Таким образом, здесь уже дают себя знать черты, приобретенные церковным зодчеством в России. Переходя к владимиро-суздальской архитектуре, мы стоим на более твердой почве. Здесь романские — и именно итальянские — влияния уже несомненны. Отличительная черта владимиро-суздальской церкви сравнительно с новгородской — ее стройность, стремление ввысь, — и все увеличивающиеся украшения стен, простых и голых в Новгороде. Здесь они украшаются пояском из арочек и колонками на высоте второго этажа, романским порталом и лепными украшениями (Покровская церковь, Дмитриевский и Георгиевский соборы). Конечно, нельзя выводить эти суздальские особенности из национальной архитектуры. Даже самые горячие защитники самобытности русской архитектуры пытались лишь доказать происхождение их из Азии, чтобы не быть принужденными выводить их из Западной Европы. Очень вероятно, что это просто продукт *новых* русских заимствований из Византии, где к тому времени успели сложиться новые формы архитектуры и орнамента. *Там*, в Византии, эти новые формы, несомненно, отчасти соединили в себе восточные и западные (итальянские) влияния, отчасти послужили передаточным звеном при воздействии востока на запад. *У нас*, в суздальской Руси, новые особенности опять явились лишь более или менее удачными ко-

пиями готовых образцов. Как бы то ни было, имеем ли мы здесь дело с романским или индийским или вообще восточным стилем, пришел ли он на Русь через Новгород, или через Византию, или, наконец, через южные степи, — во всяком случае, это не был тот стиль, выработанный на месте, черты которого мы хотим проследить в русской архитектуре.

Московская архитектура является вначале простой подражательницей суздальской. Призывая знаменитых итальянских мастеров для возведения кремлевских церквей, Иван III прямо ставит им в обязанность руководиться древними типами каменного зодчества. Таким образом, московский Успенский собор, построенный в 1475-79 гг. Родольфо Фиораванти (прозванным Аристотелем) по наружности явился только легкой вариацией на темы той же суздальской архитектуры[1].

В это же время (1490), однако, другой кремлевский собор (Благовещенский) отстраивается русскими мастерами из Пскова. При этом случае едва ли не впервые проникает в московскую каменную архитектуру новый элемент, происхождение которого приходится искать уже не на Востоке и не на Западе, а в строительных формах *местного* деревянного стиля. К середине XVI в. новые каменные формы, составляющие подражание деревянным, уже применяются русскими мастерами с той свободой, о которой свидетельствует самый замечательный памятник этого нового национального стиля — собор Василия Блаженного.

Чтобы наглядно показать, как проникали новые русские формы в старый византийский стиль, мы остановимся на одном, но зато самом ярком примере: на истории покрытия русской церкви.

Вопрос о том, как свести крышу над постройкой, всегда оставался в истории архитектуры одним из самых существенных вопросов, от разрешения которого зависел тот или другой стиль постройки. Византийское искусство цветущей поры (VI-VII вв.) сводило свод над храмом в форме опрокинутого полушария, непосредственно опирающегося на "плечи" храма (рис.1: купол св. Софии в Константинополе). Византийская архитектура эпохи второго расцвета, IX и X веков, подвела под этот полукруглый купол "шею" или "барабан", что придало покрытию характер большей стройности и легкости (рис.2: купол церкви Теотокос в Константинополе). В последующие века третьего расцвета — местных греко-славянских национальных стилей (XIII-XV вв.) — барабан стал еще тоньше и стройнее, соответственно большей расчлененности остальных частей храма. В этих двух последних видах византийское покрытие перешло в Россию. Правда, покрытия старейших храмов Киевской Руси большей

[1] Надо заметить, однако что ознакомившись с Владимирским собором, Фиораванти признал в нем также творение "наших" (т.е. итальянских) мастеров.

частью не сохранились, и их только гадательно восстановляют по образцу рис.2. Но еще в суздальской архитектуре покрытие сохраняло тот же плоский характер, вызывавший сравнение церковной главы со "лбом" (рис.3: Дмитриевский собор во Владимире). Однако на рисунках древних русских рукописей уже в XII-XVI веках мы видим иную форму купола — ту, которая господствует и теперь (см. рис.4, рисунок рукописи 1100 года). Византийский купол превратился в русскую "луковицу": к полушарию в средней части была прибавлена выпуклость (так называемая "пучина"), а в верхней части купол сведен был в острие (рис.5). Несомненно, подобные формы существуют в восточном искусстве; надо прибавить, что их можно найти и в мусульманском и даже, в отдельных случаях, в западном искусстве. Но для той же формы, с другой стороны, можно найти параллель и в местной деревянной архитектуре древней Руси. Деревянные продолговатые здания крылись у нас в старину так называемой "бочкой", нижняя треть которой отсекалась, средняя треть дополнялась "пучиной", а верхняя сводилась острым ребром. Иногда продольная бочкообразная крыша пересекалась поперечною (рис.6, взят, как и следующий, из деталей известного Коломенского дворца). Иногда — именно над квадратным пространством — четыре обреза такой бочкообразной крыши непосредственно соединялись между собой, сгибаясь при этом по линиям обреза, и принимали форму так называемого "куба". В этом виде крыша приобретала уже большое сходство с церковной луковицей (рис.7). Сходство это становилось еще более значительным, когда крыша сводилась не над квадратом, а над многоугольником, какими часто строились "барабаны" церквей. В этом случае покрытие приобретало многогранную форму, сохраняя в то же время черты "бочки" и "куба" (рис.8).

Явилась ли русская церковная глава "луковицей" именно таким путем, из покрытия деревянных церквей, или каким-либо иным — об этом специалисты много спорили. Но дальнейшее проникновение деревянных форм в каменную архитектуру совершается уже на наших глазах. Именно оно-то и создает типичные черты московской архитектуры XVI в.

"Бочка" есть уже фигурное покрытие крыши. Чаще, конечно, крыша крылась обыкновенными гладкими скатами, с той только разницей от современных, что скаты были круче и вся крыша поднималась выше. Крутой скат и значительная высота крыши должны были способствовать быстрому скатыванию влаги и, таким образом, предохранять крышу от гниения. Тем же приспособлением к климатическим условиям объясняется плоский карниз или "облом", "полица", которыми кончалась крыша. Этот карниз, обыкновенно очень широкий и выступавший над стенами, должен был защищать стены от сильного стока воды. Над квадратным пространством высокая и крутая русская крыша с обломами принимала вид пирамиды, покоя

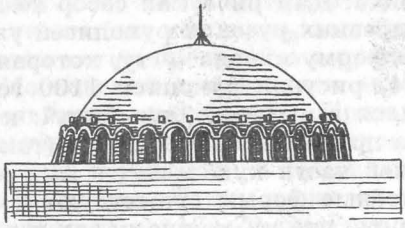


Рис. 1

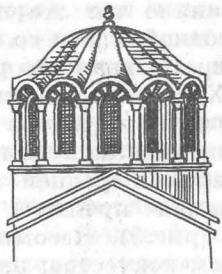


Рис. 2

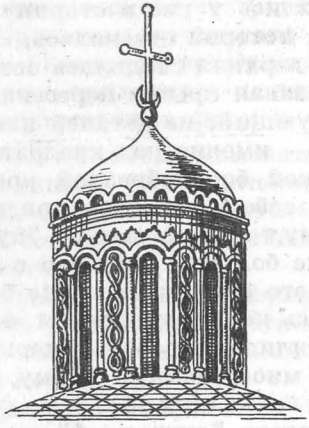


Рис. 3

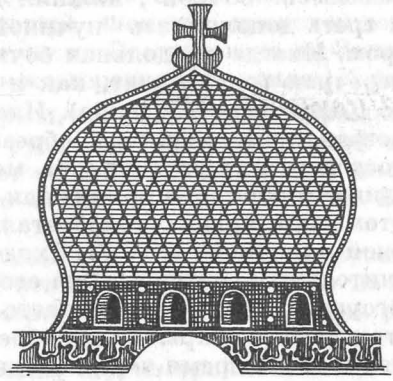


Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

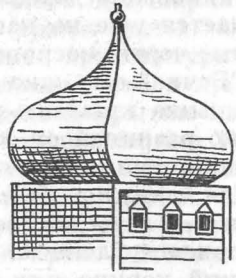


Рис. 7

Рис. 8

Рис. 11

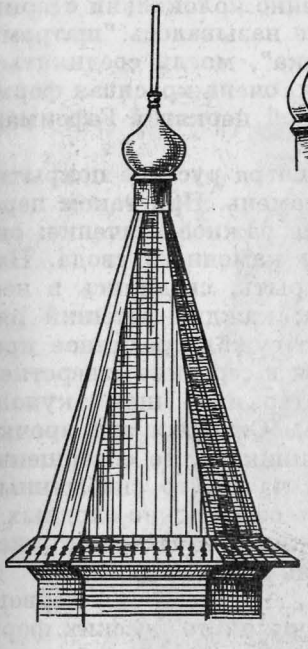


Рис. 9

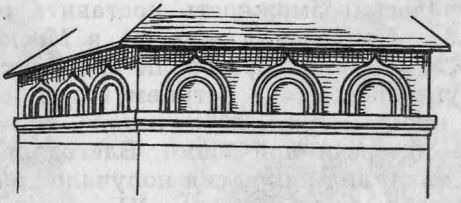


Рис. 12

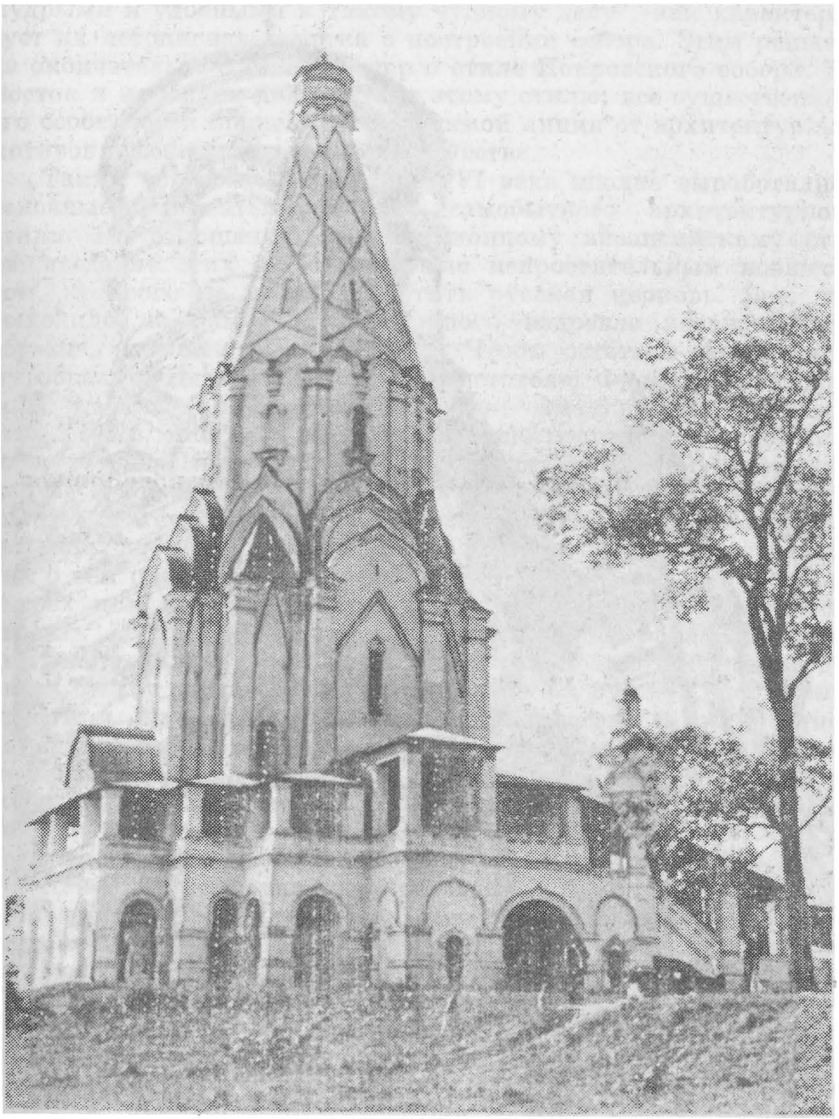
Рис. 10

щейся на широком основании (рис.9: деревянная церковь в Олонецкой губ.). Так крылись обыкновенно колокольни старинных деревянных церквей. Это покрытие называлось "шатром". Оба способа покрытия, "шатер" и "бочка", могли соединяться вместе: таким образом получалась новая, очень красивая форма покрытия (рис.10: колокольня деревянной церкви в Гефсиманском скиту).

И в этом виде, и в виде простого шатра русское покрытие перенесено было в XVI в. с дерева на камень. При таком перенесении "бочка" получила новое, весьма важное значение: она стала служить средством для сведения каменного свода. Над пространством, которое надо было покрыть, сводились в несколько рядов друг над другом арочки; каждый высший ряд опирался на предыдущий и постепенно сужал срединное пространство, пока наконец над оставшимся в середине отверстием получалась возможность поставить шатер или "шею" купола (рис.11: Покровская церковь в Москве). Снаружи эти арочки или "закомары" образовали ряд "кокошников", то совершенно закругленных, то с острием в верхней части, то снабженных еще, кроме острия, и "пучиной", то есть совершенно сходных с обрезом деревянной бочки. Благодаря этим рядам кокошников наружный вид покрытия получался очень живописный.

Мы указали на конец XV столетия, как на время первого проникновения в московскую архитектуру чисто русских форм покрытия (Благовещенский собор). Псковские мастера впервые применили здесь в камне бочкообразное покрытие, выведенное наружу в форме "кокошников" с заостренным верхом. Но в украшениях и входа и наличников окон они воспользовались итальянскими мотивами. Это было время, когда русские посольства, одно за другим, вывозили из северной Италии строителей кремлевских соборов и стен (1484, 1488, 1493, 1499- 1504, 1527). Миланец Алевизио Нови построил Архангельский собор (1505-09) и нижний этаж теремов (1508). Антоний Соларио, его земляк, вместе с Марко Руффо построил Грановитую палату, по образцу Palazzo Bevilacqua в Болонье, и вместе с Руффо соорудил стены Кремля с нижними этажами их башен, по образцу Castello Sforzesco в Милане.

Однако непосредственно после постройки итальянского Кремля русские мастера берут свой реванш. Усвоив заграничную технику, они смело переносят деревянные формы национальной архитектуры на камень. С 20-х годов XVI века применение этих форм совершается все чаще и смелее. Над кокошниками поднимается высокий каменный "шатер", придавая церкви вид стройной башни (рис.13: церковь с. Коломенского под Москвой, 1521). Эту центральную башню окружают боковые башенки поменьше размером, но той же конструкции. Формы кокошников и барабанов причудливо изменяются (рис.14: соседняя с предыдущей церковь с. Дьякова, 1529). Таким образом



Церковь с. Коломенскаго подъ Москвой. 1521г.

Церковъ с. Дьякова подъ Москвой. 1529г.

подготовляется почва для оригинальнейшего создания русской архитектуры, собора Василия Блаженного (1555). Собор этот был построен *русскими* мастерами, Постником и Бармой, "премудрыми и удобными к такому чудному делу", как характеризует их летописная заметка о построении собора. Этим решается окончательно длинный спор о стиле Покровского собора. Не Восток и не Индия дали начало этому стилю; все существенные его особенности происходят по прямой линии от архитектурных мотивов русского деревянного зодчества.

Таким образом, к середине XVI века вполне выработались основные элементы русского самобытного архитектурного стиля. По отношению к традиционному византийскому стилю введение этих элементов было непростительным новшеством, которого не могла допустить русская церковь. Все, что выходило из рамок установленного издревле византийского образца, не могло быть терпимо. Чтобы остаться верным этому образцу, Иван III и велел Аристотелю Фиораванти подражать суздальским образцам. С тою же самою целью правительство XVII в. многократно предписывало подражать Успенскому собору Ивана III и "ничего не претворять по своему замышлению". "Церковь Божию" повелевалось "строити по правилам св. апостол и отец, чтобы была она о пяти верхах, а *не шатром*"...; "строить по чину правильного и уставного законоположения, как о сем правила и устав церковный повелевают, — о единой, о трех или о пяти главах, — а шатровой церкви отнюдь не строить"... "а глава на церкви была бы не шатровая". Как видим, национальные особенности церковной архитектуры разделили судьбу национальных особенностей русской церковной практики. Те и другие особенности процветали и выдвигались на первый план в XVI веке, а в XVII в. были осуждены как измена византийской старине. И без того бедная духовным содержанием национальная жизнь была еще более обессилена болезненной операцией — отсечением всего национального как ложного.

Некоторое сопротивление московским приказам было оказано не в столице, а в верхнем Поволжье. Ярославль сделался во второй половине XVII в. богатым торговым городом, благодаря своему положению на пересечении волжского пути с оживленной торговой дорогой, соединяющей Москву с единственной приморской гаванью, Архангельском. Разбогатевшие купцы увековечивают свои имена построением обширных храмов, окруженных широкими галереями. От пятиглавого типа и ярославцы не смеют отступить, но они вознаграждают себя, окружая центральный куб роскошными переходами и порталами, шатровыми колокольнями, декоративной отделкой стен кирпичными и фаянсовыми узорами и богатой внутренней росписью, к которой мы еще вернемся. Ярославский стиль распространяется также на Ростов, Борисоглебск и Углич: вместе взя-

тые эти образцы северной архитектуры составляют особую главу в истории русского искусства.

Однако же, в общем, задатки национальной архитектуры не устояли против гонения. Шатровый верх продолжал употребляться только для колокольни. Столь любимые русским зодчеством кокошники потеряли мало-помалу свое прежнее строительное значение и приютились под церковной крышей в качестве простого орнамента (рис.12: церковь Благовещения в с. Тайнинском, близ Москвы). Таким образом, русская архитектура уже не много сохраняла своего собственного содержания, когда началось усиленное влияние на нее Запада. Трудно сказать, к чему привело бы это влияние, если бы у русских зодчих было что ему противопоставить; но так, как стояло дело, заимствование привело к забвению национальных задатков и к копированию готовых иностранных образцов.

Со времени Петра новый поток иностранных влияний, немецких, французских, итальянских, английских, устремляется в область архитектуры, как и в другие области русской культурной жизни. В архитектуре эти влияния оставили особенно заметные следы, так как новая столица представляла широкий простор для зодчества в новых стилях, а неистощимые средства, какими располагал расточительнейший из европейских дворов того времени, петербургский, давали возможность выписывать из-за границы лучших мастеров, давать в их руки грандиознейшие задания и снабжать их всеми необходимыми для осуществления данными. Вслед за правительственными заказами шли заказы очередных дворцовых фаворитов и придворных сановников, а усвоенные в столице архитектурные формы воспроизводились на пространстве всей России не столько в городах, сколько в поместьях владельцев десятков и сотен тысяч крепостных душ.

Конечно, это искусство, еще более, чем искусство других эпох, стояло очень высоко над уровнем понимания и потребностей массы. И конечно, нельзя говорить по его поводу о каком-либо "национальном" стиле. Но все же и относиться к нему только как к подражательному и потому не заслуживающему внимания, после работ Игоря Грабаря, А. Бенуа и др., не представляется возможности. Что касается подражательности, необходимо заметить, во-первых, что, как это было и в период византийского влияния, самый источник заимствований не оставался неизменным. Стили архитектуры менялись, и русские заказчики или строители с некоторым опозданием следовали за очередной модой в Европе. За стилем барокко там уже в первой половине XVIII в. последовал стиль Палладио, смененный во второй половине в. более чистым античным стилем, перешедшим в свою очередь в начале XIX в. в строгий эллинский стиль ампир. Все эти ступени были пройдены и в России. Во-вторых, как увидим, архитектурные задания во всех этих стилях осу-

ществлялись не одними только иностранными мастерами. Им сопутствовали русские, выучившиеся их искусству на их же родине. В Россию они привезли не только приобретенные за границей знания, но и свои таланты, поставившие некоторых из них наряду с европейцами. Таким образом, и в подражательный период XVIII в., строительное искусство в России не только не умирало, но и оставило по себе новые, небывалые прежде достижения. Вся каменная архитектура — как церковная, так и почти совершено новая в русской истории светская, — правительственная и частная, развивалась в XVIII и в первой четверти XIX вв. под знаменем космополитизма, как и все русское образование того времени. Но она развивалась на местной почве и, естественно, отразила на себе все местные особенности.

На протяжении более столетия Петербург остался при этом главным поприщем для архитектурных экспериментов. От Петра до Николая северная столица продолжала быть тем "городом дворцов, окруженных пустырями", какой нашел ее Дидро в 1773 г. И правительственная власть одинаково сохранила самый непосредственный контроль над столичным строительством и тогда, когда петровская "Канцелярия Строений" (1719) предписывала обывателям строить "непременно из камня или хоть с разрисовкой стен под кирпичи", "образцовые" дома по планам итальянца Трезини "для подлых", зажиточных и "зело именитых", — и тогда, когда Архитектурный Комитет Александра I утверждал или отвергал планы и фасады строений и регулировал улицы и площади по указанию Государя[2]. При этом надо помнить, что и Петр, и Екатерина, и Александр были одержимы настоящим ражем строительства. Известна спешка, с которой Петербург строился Петром, запретившим "во всем государстве, понеже каменное строение здесь зело медленно строится, всякое каменное строение, под разорением всего имения и ссылкою". Уже Петр непременно хотел, чтобы его столица сравнялась с "резиденциями чужих государей". В 1779 г., Екатерина так характеризовала свое строительство в письме Гримму: "Строительное неистовство у нас сейчас свирепствует, больше чем когда ни было, и едва ли землетрясение разрушало столько зданий, сколько мы их воздвигаем... Это прямо болезнь, нечто вроде запоя". Александр разделял эту страсть. Проекты построек следовали за ним во время скитаний по Европе; по словам Вигеля, он "хотел сделать Петербург красивее всех посещенных им столиц Европы".

И действительно, "пустыри" Петербурга дали иностранным, а за ними и русским архитекторам такой простор для осуществления самых необузданных по размаху проектов, какой не могла дать никакая другая столица. В результате Петербург за эти сто лет превратился из города "пустырей" в город монумен-

[2] О "Высочайше утвержденных для обывателей фасадах" Николая I см. ниже.

тальных зданий для правительственных и общественных надобностей, но не для частного жилья. Правда, Кюстин в известной своей книге "La Russie en 1839" находил, что все эти постройки, перенесенные изпод безоблачного неба Италии и Эллады в болото туманного и дождливого Петербурга, нарушают гармонию пейзажа своими колоннадами и горизонтальными линиями. Но тем ярче характеризует эта архитектура эпоху просвещенного абсолютизма, разорвавшего с традицией, но не нащупавшего еще собственной национальной почвы под ногами и в получившейся пустоте беспрепятственно окружившего себя атмосферой чужеземных культур, обстановкой галантности и неги.

Переходом от допетровской эпохи национального зодчества к подражательной петровской служит своеобразное усвоение Москвой стиля позднего ренессанса, распространившегося в течение XVII в. по всей Европе и известного под названием "барокко". Стиль этот отличается отступлением от художественной простоты ренессанса и перевесом декоративных мотивов над конструктивными. Прямая линия в нем заменяется кривой, фронтоны разрываются в середине, принимают формы изогнутой линии и заменяются "щитами", независимыми от покрытия. Стены, так же как капители колонн, наличники окон и т.п., все более заполняются лепными украшениями. Вопреки пренебрежительному смыслу самого названия ("барокко" значит кривое, странное, неправильное) стиль барокко имеет свои достоинства и дает простор новому оригинальному творчеству. В московскую Русь этот стиль перешел, как и все новинки последней трети XVII в., с Запада, именно из Польши через Украину. Барокко имело здесь свой период развития и оставило ряд замечательных памятников, свидетельствующих о влиянии местной деревянной архитектуры, которая сама заимствовала предварительно черты этого стиля. Наибольший расцвет украинского периода барокко связан с именами Петра Могилы в середине и гетмана Мазепы в конце XVII столетия. Интересно отметить, что к концу в. малороссы начинают обмениваться с Москвой строителями в этом стиле. (Янко — а не "Ивашко" — Бухвостов в Москве; великоросс Осип Старцев, вызванный Мазепой из Москвы на Украину.)

В Москве польско-украинское барокко вызывает в конце XVII в. создание особой разновидности этого стиля. Церковная традиция удерживает форму пятиглавого храма на крестовом плане, и строители воздерживаются некоторое время от формы базилики. Затем, в Москве сохраняются "подклети", террасы кругом церкви и т.п. Но луковичная форма главы уступает место фигурной западной, с перехватами; боковые главы уменьшаются в размерах сравнительно с центральной и ставятся над особыми башенками, исчезая иногда совершенно и уступая место одноглавой или, по-украински, трехглавой форме. Шатер пе-

рестал употребляться для колокольни, заменяясь многоярусной башней, вытягивающейся кверху посредством уменьшающихся кверху двух, трех, четырех и даже пяти восьмигранных барабанов. Фронтоны окон принимают форму "петушьих гребешков" и т.д. Наиболее известными образцами этого типа московского барокко являются московские церкви Новодевичьего монастыря, узорная церковь Николы Большого Креста и церковь Владимирской Божьей Матери — обе в Китай-городе, церковь Успения на Покровке и в особенности подмосковная церковь Покрова Богородицы в Филях. Руководящая роль при введении нового стиля принадлежит московским боярам, приближенным царей, и самый стиль пробовали назвать "нарышкинским": Нарышкиным и Софье принадлежат из названных церквей церкви в Филях и в Новодевичьем монастыре. Одновременно В.В. Голицын вводит тот же стиль в гражданскую архитектуру (его "палаты", Посольский приказ, Грановитая Палата), и появляется особый тип "вотчинных" церквей в боярских усадьбах. Из них особое место занимает церковь-игрушка Бориса Голицына в селе Дубровицах — вся точно резная, из камня со стройно поднимающейся одной главой, французскими окошками ("люкарнами") и впервые здесь введенной в церковные украшения, хотя и грубо исполненной, скульптурой. Более скромное подражание ей можно видеть в церкви с. Уборы (Звен. уезд), построенной для П.Ф. Шереметева; на этот раз известен и западно-русский архитектор, упомянутый выше, Янко Бухвостов с его русскими "товарищами" Мишкой Тимофеевым и Митрошкой Семеновым. Уменьшительные имена указывают на низкое происхождение этих мастеров (в другом своем имении, Марфине, Б. Голицын засек крепостного архитектора до смерти). Эта черта будет нас сопровождать и в следующем столетии.

Дальнейшее развитие "нарышкинского" стиля было круто оборвано вышеупомянутым указом 1714 г., запретившим всякое каменное строительство в России вне Петербурга. Правда, это не помешало старой столице сохранить свою капризную своеобразность, а всему северу продолжать развивать деревянное строительство путем нагромождения старых форм[3]. Но следующая глава русского зодчества развертывается на просторе новой столицы, под лозунгом: чтобы не было похоже на старое.

Отойдя от старого московского стиля, Петр, однако же, не мог вполне уйти от нового, взятого из того же Запада. Его постройки принадлежат тому же стилю барокко, но только взятому не от посредников, а непосредственно из источника: точнее говоря, из нескольких источников. Это лишает возможности говорить о петровском стиле как об особенном русском варианте барокко. Общий характер петровской архитектуры — северно-не-

[3] См., например, знаменитую деревянную церковь в Кижах, Петрозаводского уезда, Олонецкой губ., о 21 главе (начало XVIII в.).

мецкий и голландский, не только потому, что сам он был ближе всего знаком с Голландией, но потому, что его главный архитектор Доменико Трезини, выходец из итальянской Швейцарии, вынес привычку к северному барокко из своей долговременной службы при дворе датского короля. Ему принадлежат первые монументальные здания Петербурга — Петропавловский собор и крепость, здание двенадцати коллегий (петербургский университет) и частью Александро-Невская Лавра. От него идут знаменитые петербургские шпицы. Петр, правда, привлек было на службу прославленного архитектора берлинского дворца Шлютера, но Шлютер умер в следующем году по приезде (1714). Только три года прожил до своей смерти (1719) и принявший приглашение Петра француз Леблон. Потерпев неудачу в своем фантастическом плане разбить петербургский пустырь по подобию французского сада, с венецианскими каналами вместо проспектов, Леблон распланировал сады Летний, Петергофа и Стрельны. Его постройки сохранились только в чертежах. Больше осталось от немца Шеделя, построившего Меньшикову два дворца: на Васильевском острове (Кадетский корпус) и в Ораниенбауме, и работавшего также в Киеве. С Леблоном приехали скульптор Растрелли (отец) и декоратор в стиле "регентства" Николай Пино — более знаменитый, — а также художник Каравак, оказавший большое влияние на создание школы русских портретистов.

Общее впечатление, производимое новой столицей, оставалось прежним вплоть до воцарения Елизаветы. Итальянец Альгаротти в 1739 г. свидетельствует, что "в этой столице господствует род смешанной архитектуры, напоминающей итальянскую, французскую и голландскую, с преобладанием голландской". Только Елизавете, с ее любовью к великолепию и пышности, пришлось дать новый толчок петербургскому строительству. При ней барокко получил тот оттенок — отмеченный названием "рококо" (стиль Регентства и Людовика XV), — который в России связан с громким именем Растрелли (сына). Свои образцы Растрелли взял не только из Франции, где он учился в школе де Котта и Боффрана, но и из южной Германии (Мюнхен, Дрезден, Вена), где стиль рококо отличается особенной перегруженностью декоративными элементами. Постройки Растрелли чрезвычайно многочисленны; он работал и для царицы, и для ее окружающих, и чуть не каждый состоятельный помещик хвалился подражаниями стилю Растрелли в своей усадьбе. Наиболее известны перестроенные Растрелли Петергофский (1747) и Царскосельский (1749) дворцы, вновь выстроенный Зимний дворец (1754-62), хорошо известный петербуржцам, ибо сохранился до нашего времени. Из церквей, кроме придворных, отметим, знаменитый собор Смольного монастыря — часть грандиозного, но неосуществившегося проекта — и грациозный Андреевский собор в Киеве, эффектно поставленный на скате

горы, над Подолом. Из дворцов, построенных для вельмож, назовем Аничков дворец (для Разумовского) и хорошо сохранившиеся дворцы гр. М.И. Воронцова (потом Пажеский корпус) и гр. С.Г. Строганова — оба замечательные по благородству пропорций и искусству расчленения фасада выступами и колоннами. Не отстает Растрелли и в роскошном внутреннем убранстве комнат от требований пышного стиля рококо.

Наряду с иностранными мастерами роль русских строителей вплоть до Екатерина II была ничтожна. Первым из них был Михаил Земцов, привезенный из Москвы мальчиком в только что основанный Петербург для обучения итальянскому языку, чтобы служить переводчиком при иностранных мастерах. Обучившись у Трезини архитектуре, Земцов работал с заместителем Леблона Микетти и после его отъезда (1724) был удостоен звания "полного архитектора" (раньше он был только "архитектурии гезелем"). Сверх того, Петр отправил за границу до дюжины молодых людей учиться искусству. Но из них выдвинулся потом только Еропкин, казненный вместе с Волынским. От Земцова осталась церковь Симеона и Анны на Моховой — подражание Петропавловскому собору Трезини — и со вкусом построенный павильон ботика Петра Великого. В работах над дворцами он был заменен Растрелли (умер в 1743 г.).

Настоящим рассадником русских художников сделалась только Академия художеств, основанная Елизаветой в 1758 г. Свое окончательное устройство она получила при Екатерине в 1774 г., когда был составлен Бецким ее устав, почти буквально списанный с Парижской Академии. Профессорами архитектуры, скульптуры и живописи были французы, придавшие преподаванию чисто французский характер. Окончившие курс ученики посылались в командировки — тоже преимущественно в Париж. Но они были отодвинуты на второй план крупными мастерами, которых Екатерина продолжала выписывать непосредственно из-за границы. В результате этих вызовов во второй половине XVIII в. были воспроизведены в России — с меньшим опозданием, чем прежде, — все те стили, которые за это время сменились в Европе, преимущественно во Франции.

Было справедливо отмечено, что очередная перемена — переход от орнаментальной перегруженности рококо к классическому стилю Палладио — совпала с переменой вкуса на престоле. Екатерина предпочитала простоту и уют показной роскоши Елизаветы. На первых порах она воспользовалась для своих построек в этом вкусе присутствием в Петербурге профессора Академии Валлен де Ла Мота, последователя знаменитого Габриэля, строителя Ecole Militaire, зданий на Place de la Concorde и реставратора колоннады Лувра. До своего отъезда в 1775 г. де Ла Мот успел построить (при содействии русского архитектора Кокоринова) образцовое здание Академии Художеств и "старый Эрмитаж" (возле Зимнего Дворца). От Ла Мота сохранился

также закругленный угол Гостиного Двора (угол Невского и Садовой).

Одновременно с Ла Мотом работал Антонио Ринальди, вывезенный из Рима гетманом Разумовским (1752) и назначенный архитектором наследника Петра Федоровича. Ему принадлежат увеселительные постройки в Ораниенбауме, из которых сохранился роскошно декорированный внутри Китайский домик. Гораздо крупнее следующие заказы, исполненные Ринальди: Мраморный дворец (1768) и дворец в Гатчине (1766) — оба предназначенные для Григория Орлова.

В промежутке между описанным периодом увлечения иностранцами и последовавшим за ним Екатерина обратилась с заказами к русским ученикам иностранных знаменитостей: к обрусевшему Фельтену, сыну петровского "обер-кюхенмейстера" и к двум ученикам де Ла Мота, первым пенсионерам Академии, отправленным в Париж: Баженову и Старову. Фельтену, доучивавшемуся в Германии и получившему звание архитектора в 1760 г., была поручена скромная на вид задача — облицевать гранитом левый берег Невы "от Летнего дому до Галерного двора". Он выполнил эту задачу в течение двадцати лет (1762-84) с выдающимся талантом и дал Петербургу одно из лучших его украшений. Фельтен закончил эту работу знаменитой решеткой Летнего сада, соединившей классическую простоту с импонирующей серьезностью. Ему принадлежит также "второй Эрмитаж", выстроенный "в линию" с Ла Мотовским — более простой — и семь церквей Петербурга с колоннадами и ротондами. Баженов, ученик de Wailly и член трех итальянских академий, вернулся в Петербург (1765) триумфатором и сразу получил крупный заказ на постройку Каменноостровского дворца. Так же как и "Старый арсенал", заказанный ему Орловым (1769), это здание выстроено в сдержанноклассическом вкусе, без последних парижских новшеств. Но Баженова ожидали более грандиозные задания и связанные с ними тяжелые неудачи. Во вкусе новой французской школы (Пейра, Леду, Гондуэна) он мечтал о покрытии обширных площадей классическими зданиями. Однако оба его проекта в этом роде — проект института при Смольном и громадного Кремлевского дворца, который должен был охватить всю гору и включить внутрь все кремлевские здания, остались без выполнения. Из-за этой неудачи, Кремль сохранил свою историческую физиономию XV-XVII вв. В Петербурге Баженов принял лишь участие вместе с Бренна в постройке Михайловского замка (потом Инженерное училище), в котором был убит Павел I. Более прочную память о себе суждено было оставить Старову, попавшему в Париж позднее Баженова и использовавшему свое пребывание там гораздо производительнее (вернулся в 1768 г.). Старову принадлежит Троицкий собор в Александро-Невской Лавре, построенный в форме базилики. Но его главное произведение, закрепившее имя Старова в

потомстве, — Таврический дворец, построенный для Потемкина (1788), которому Екатерина устроила в этом дворце знаменитый феерический праздник. Таврический дворец, приобретший громкую известность как помещение Государственной Думы послужил в свое время образцом для многочисленных дворянских усадеб: все хотели иметь у себя копию дворца великолепного князя Тавриды, с таким же классическим фронтоном и колоннадой в центре фасада, с куполом, боковыми флигелями, театром и церковью. Только противоположный фронт, к саду, обыкновенно принимал в барских усадьбах вид другой колоннады с лестницей, непременно спускавшейся к искусственно выкопанному пруду, если близко не было реки. Позднейшие переделки лишили, впрочем, Таврический дворец всего того великолепия, которое известно нам из описания Державина. Но колоннада Екатерининского зала, вызывавшая удивление иностранцев, памятна всем посетителям первого русского парламента, как свидетельница другого рода исторических сцен.

Старов опередил свое время, проведя в своих творениях тот более чистый эллинский стиль, который оставался еще предметом стремлений Екатерины и окончательно введен только при Александре. В 1779 г. Екатерина пишет Гримму, что "французы строят негодные дома, потому что слишком много знают". Эта острота означала, что ей надоели пережитки старого стиля и что от подражателей классикам она хочет перейти к первоисточникам. Она нетерпеливо ждет "двух итальянцев", которых заказала Гримму. Один из этих двух, желанный "римлянин", прибывший в Россию в 1780 г., есть тот знаменитый Джакомо Кваренги, имя которого, для царствования Екатерины, сделалось тем, чем было имя Растрелли для эпохи Елизаветинского рококо.

Но до Кваренги Екатерине предстояло пройти еще через одно увлечение. Вместо римлянина в 1779 г. приехал шотландец, Чарльз Камерон. Камерон заинтересовал Екатерину прежде всего тоже своими познаниями в античных — на этот раз римских — памятниках. Она ценила его как издателя книги Палладио о римских термах. За Камероном для нее стоял его вдохновитель, Клериссо, знаменитый поклонник помпеянского внутреннего убранства, из книги которого и сам Камерон черпал свои вдохновения. "Эта кипучая голова, — пишет Екатерина Гримму в 1781 г., — великий поклонник Клериссо; его картоны служат Камерону для украшения моих новых апартаментов". Испытав Камерона на "античном домике" в парке, императрица поручила ему постройку интимных комнат в холодном, парадном Царскосельском дворце Елизаветы (1780-85), а затем и дворца в Павловске для путешествовавшей четы графа и графини Северных (1782-85). Оба поручения Камерон выполнил блестяще. Висячий сад с богато убранными внутри "агатовыми комнатами", построенный над купальней, бесконечная застекленная галерея

с колоннадой для прогулок императрицы, выведенная на той же высоте, на высоком цоколе, и, наконец, гигантский спуск, по которому стареющая Екатерина могла въезжать и спускаться в колясочке, — все это было специально приспособлено для ее личных потребностей. Павловский дворец Камерона, построенный при участии младшего архитектора Бренна, со своими полукружиями боковых галерей, напоминающих виллы Палладио в северной Италии, сделался образцом для Москвы и для богатых помещичьих усадеб. В утонченном внутреннем убранстве интерьеров у Камерона продолжало царить барокко XVIII в., в противоположность классической внешности фасадов.

Итальянец Кваренги, изучивший в натуре памятники древности, делает следующий шаг в направлении к чистому классицизму и скоро затмевает славу Камерона. В этом строгом стиле построен Английский дворец в Петергофе (1781-89) и здание Академии Наук (1783-87). Менее суров и более живописен фасад последнего Эрмитажного здания по Дворцовой набережной, эрмитажного театра (1782-85). Внушительно здание Ассигнационного Банка (1783-88). Но наибольшего успеха в достижении впечатления живописности одними только архитектурными средствами — гармонией чистых линий и благородством пропорций — Кваренги достиг в своем Александровском Царскосельском дворце с его знаменитыми колоннадами (1792-96).

Продолжая работать при Павле и Александре, Кваренги применял свое искусство ко вкусам каждого — и оставался сам собою. Для Павла он выстроил Конногвардейский манеж и Мальтийскую церковь; для Александра Смольный и Екатерининские институты. Но казармы, банк или школа — классические колоннады — оставались такими же красивыми и одинаково нехарактерными для специального назначения зданий. Классический стиль покрывал все, как бы подчеркивая этим официальный характер заказов.

При Александре стиль "Людовика XVI" уступает место стилю "Империи". Это есть последний шаг в развитии классического стиля. Увлечение Римом сменяется энтузиастическим преклонением перед Элладой. Пантеон сохраняет обаяние, но рядом с ним идеалом художника становятся развалины дорического храма в Пестуме. Стремление к крайней простоте линий соединяется со страстью к колоссальным размерам. Имена Пиранези и Леду характеризуют этот стиль и время его возникновения во Франции. С опозданием лет на 30 он приходит и в Александровскую Россию. В Западной Европе самая грандиозность премированных проектов помешала их осуществлению, даже при Наполеоне. Напротив, Россия, с ее императорскими заказами — и при том специально Петербург, — оказалась для нового направления самой подходящей ареной.

Первое монументальное здание времени Александра, Казанский собор (1801-11) русского архитектора Воронихина, крепостного гр. Строганова, доучивавшегося в Париже, еще не знаменует наступления новой эпохи. Явное подражание храму Св. Петра с его Бернииевской колоннадой и зависимость Казанского собора от чертежа Пейра-старшего, строителя Одеона, не мешают, конечно, наслаждаться красотой Воронихинского храма. Но говорить об оригинальности и новаторстве здесь еще нельзя. Интереснее в этом отношении дорическая колоннада Воронихинского Горного Института (1806-11).

Настоящим представителем нового русского стиля является эмигрант Тома де Томон, строитель Большого Театра (1802-05) и петербургской Биржи (заимствованной, вместе с ростральными колоннами, из премированного проекта (1782) некоего Пьера Бернара). Силу и монументальность дает этой постройке ее выгодное положение на носу острова, среди открытого пространства Невы, где Биржа довершает панораму Петербурга. С Томоном соперничает и в этом отношении, и в отношении стиля, русский последователь Леду и Шальгрена Захаров своим зданием петербургского Адмиралтейства (1806-15). Ансамбль постройки Захарова, к сожалению, совершенно затемнен выстроенными в промежутке между двумя павильонами со стороны Невы частными зданиями, а со стороны Невского — разведенным там садом. Грандиозность всей композиции видна только на старых гравюрах. Из других русских мастеров того времени упомянем еще Стасова (казармы Павловского полка (1817-18); императорские конюшни (1817-23); Триумфальные Ворота у Московской заставы (1833-38); Преображенский (1826-28) и Троицкий (1827-35) соборы).

Но истинным завершителем александровского стиля — и всего петербургского периода архитектуры — является Карл Росси, незаконный сын итальянской танцовщицы времени Екатерины, обучавшийся во Флоренции и выдвинувшийся по смерти трех вышеупомянутых иностранных архитекторов (1811-14). Пользуясь диктатурой "Комитета для строений" над всем строительством Петербурга, Росси мог беспрепятственно выполнить грандиозные планы Леду. Своими постройками он придал монументальному Петербургу окончательный теперешний вид. Росси работал не только над зданиями, но и над улицами и площадями. Такой характер имеют все четыре главные работы Росси: Михайловский дворец с его площадью (1819-23), полукружие перед Зимним дворцом со знаменитой аркой посредине (1819-29), площадь и окружающие улицы около Александринского театра, наконец, два соединенных здания Сената и Синода. Если спорят о достоинствах величественного здания, в которой поместился музей Александра III, то здание Главного Штаба и министерств Иностранных Дел и Юстиции с "вратами победы", разделяющими их полукруг, вызывает общее восхищение полу-

чившимся ансамблем. Другой ансамбль, менее видный сразу, но поражающий еще большей смелостью, создан Росси в связи с постройкой Александринского театра. Здание самого театра стушевывается перед окружениями из дорических колонн и аттиков, заменивших фронтоны. Они тянутся по Театральной улице с перекрытым аркой выходом на Чернышеву площадь, где помещались министерство Народного Просвещения с цензурным ведомством. Впечатление целого дополнено еще перестройкой выходящего на площадь фасада Публичной Библиотеки. Также чуть не целый квартал Росси заполнил корпусами Сената и Синода, соединенными парадной аркой, перекинутой над Галерной улицей. Надо прибавить, что проекты Росси были еще грандиознее, чем их выполнение.

К тому же грандиозному стилю примыкает Исаакиевский собор, порученный, совершенно случайно, учившемуся в той же французской школе Перье и Фонтена "рисовальщику" французу Монферрану. Собор значительно отяжелел при выполнении, которое затянулось на целых сорок лет (1817-57). Петербургская копия пыталась превзойти свои образцы, храм Св. Павла в Лондоне и Пантеон в Париже, роскошью мозаик и мраморов и колоссальностью гранитных колонн. Materia superavit opus: громоздкий материал подавил творчество. Также и единственная в мире по размерам монолитная Александровская колонна Монферрана, которою Николай I хотел превзойти "наполеоновскую колонну" (Вандомскую), не достигла красоты своего оригинала.

Эпопеями Росси и гигантским Исаакием кончается петербургская архитектурная феерия. При Николае не только абсолютизм перестал быть "просвещенным" и охладел к тонкостям искусства, но и жизненные потребности населения, которые игнорировались монументальными стилями, слишком выступили на первый план, чтобы можно было их игнорировать. Петербург перестал быть "пустырем". "Парадное, широкое, грандиозное строительство" перестало быть задачей архитектуры; "повысились требования относительно удобств расположения помещений, условий света" и т.д., игнорировавшиеся перенесением типа классического храма с его колоннами, портиками, гладкими стенами. Приблизительно с 1840 г. "обязательность приспособления к требованиям практической жизни сделало то, что фасады стали носить более раздробленный на этажи характер, оконные пролеты стали больше и располагались чаще; гладкой стены было меньше, а наличников и карнизов больше, — словом, явилось общее измельчание и неразрывное с ним усложнение деталями. Наконец, везде в Европе начало зарождаться то национальное движение, которое скоро заставило искать мотивов для новой архитектуры в своем родном искусстве" (Фомин).

В Николаевской России эта перемена прежде всего выразилась в новом "приказе". Появились официальные сборники "фа-

садов, Е.И. Величеством опробованных для частных строений в городах Российской империи" или "Высочайше утвержденных для обывательских в городах домов". Новый "социальный заказ" был не на победу над иностранцами путем подражания им, а на создание собственного "Высочайше утвержденного" национального стиля.

В 30-х годах XIX в. правительство формально потребовало от художников этого стиля. Заказ был исполнен архитектором Тоном, и русская архитектура обогатилась массой бесцветных и механических подражаний старой московской архитектуре: квазивизантийский пятиглавый храм, победивший в XVII в. русский национальный, сделался теперь сам образцом национального стиля.

Правда, на казенных образцах Тона дело не остановилось. Изучение образцов старинного зодчества познакомило художников с элементами настоящего национального стиля. И строительное искусство с середины XIX в. задалось целью сочетать этот стиль с осуществлением новых архитектурных задач. Каменную летопись этих усилий можно прочесть на улицах Москвы. Тут мы увидим простую копию старинных русских форм рядом с формами совсем не русскими (Исторический музей), отражение ученой теории о происхождении русского стиля из стиля восточного (Политехнический музей), не совсем удачную попытку приспособить старинные русские формы к потребностям современного общественного здания (Дума) и тут же рядом более удачное и свободное решение той же самой задачи — создать национальный стиль, отвечающий современным требованиям изящества и удобства (Торговые ряды).

Таким образом, русская архитектура на короткое время нашла себе путь самостоятельного развития — в возвращении к традициям XVI в. Но эта попытка скоро уступила место более грандиозным задачам. Уже Виоле ле Дюк предсказывал наступление периода "железной" архитектуры. В действительности этот период оказался, в зависимости от материала, "железобетонным". Характер материала, как и стиль, на этот раз был уже безусловно интернациональным. С этим стилем мы еще встретимся. С опытом воссоздания национального стиля было, во всяком случае, покончено. Его элементы сохранились в русском искусстве исключительно для декоративных целей.

Другие отрасли изобразительных искусств находились в ином положении: в их распоряжении не было таких осязательных, объективных и своеобразных форм, какими располагала архитектура. Только орнамент находился в положении, несколько сходном, и потому он разделил судьбу архитектуры. Независимо от чисто строительного орнамента нашей деревянной, а в позднейшее время и кирпичной архитектуры русские древние рукописи заключали в себе огромные богатства орнамента, сделавшиеся достоянием русской промышленности. Уже

в XIV в. у нас явился своеобразный орнамент из плетенья со звериными формами, родственными и западному "чудовищному" и восточному стилю. В XV в. его сменил иногда очень сложный геометрический орнамент, пригодный, подобно арабеске, для покрытия больших площадей многократным повторением одного и того же мотива. В XVI в. мы опять встречаем новый тип орнамента: сплошную и несколько тяжелую разрисовку разноцветными тонами с позолотой. Наряду с геометрическими формами тут являются и растительные. К концу XVI и началу XVII вв. эти "травы" начинают обводиться контурами и покрываться тенями, по образцу заграничных "печатных листов".

Ничего подобного по законченности и живучести старых форм мы не найдем в других отделах русского искусства. Мы видели, какие обстоятельства остановили уже в Византии развитие христианской скульптуры. В языческой России это опасение, что статую смешают с идолом, было, конечно, еще естественнее, чем в привыкшей к классическим формам искусства Византии. Не только в церкви в качестве предмета поклонения, но и в частном доме, как предмет простого украшения, скульптурное произведение вызывало большой соблазн и строгое осуждение. Известно, какой переполох произвела среди москвичей поставленная самозванцем перед его дворцом статуя "Ада". "Над вратами домов, — говорится в лицевых святцах XVII в., — у православных христиан воображаемых зверей и змиев и никаких неверных храбрых мужей поставляти не подобает. Ставили бы над вратами у своих домов православные христиане святые иконы или честные кресты". При таком отношении к скульптуре эта отрасль изобразительного искусства почти вовсе отсутствовала в древней Руси. Некоторые исключения составляла только Малороссия, куда скульптура пришла из Польши, и отдаленный север, где не только инородцы, но и туземцы поклонялись деревянным скульптурным "богам" как идолам до недавнего времени.

Изучение древнейшего периода (XII-XV вв.) русской религиозной живописи (мозаик, фресок, икон) стало возможно только с первой четверти XX в. Только в эти последние годы (начиная с 1904 г.) гадательные соображения прежних собирателей икон — начетчиков в русской живописи — стали уступать место научным приемам. В основу изучения было положено прежде всего восстановление сохранившихся памятников в их подлинном, первоначальном виде, освобожденном от позднейших наслоений, перекрасок, перерисовок и штукатурок. Эта работа особенно успешно двинулась вперед, когда стал свободен доступ ученых работников к церковным святыням. Сотрудники "центральных государственных реставрационных мастерских" — те же самые, которые начали эту работу раньше, — расширили свою деятельность начиная с 1918 г., на целый ряд церквей и

икон, где можно было ожидать открыть древнейшие памятники византийского и русского искусства. В результате оказалось возможным привести в прежний вид, установить хронологические даты и сопоставить между собой очень много ценнейших произведений искусства, недоступных прежним исследователям. Всю историю данного периода приходится теперь писать сызнова.

Первым результатом этой новейшей работы нужно считать признание факта, что национализация восточных типов церковной живописи началась гораздо раньше, чем было принято думать до сих пор. Среди чисто византийских ценнейших фресок XI-XII вв., написанных греческими мастерами в Киеве и Владимире, а также привезенных в Россию икон этой эпохи, А.И. Анисимов отметил новые черты, особенно отчетливо определившиеся в течение XIII в. Строго сохраняя византийский тип, русский выученик греческих мастеров, однако, стал допускать отличия в моделировке и в употреблении красок. Первым последствием этих изменений явилась некоторая "опрощенность". Лики, нарисованные, по мнению А.И. Анисимова — спорному, как увидим далее, — русским иконописцем (две Толгские иконы Богоматери), "лишены не только неисчерпаемо-глубокого психологизма Владимирской иконы[4], но даже той тонкости и внешнего аристократизма, которые отличают обе богородичные иконы нью-йоркских собраний. Взамен того, в них есть искренность непосредственности и вытекающее из нее чувство интимности, которое сообщает русской иконе особый характер душевной теплоты". С упрощением лица связано также и упрощение фигуры. Складки одежды, падающие на византийских изображениях волнистыми линиями, вырисовывающими округлости тела, заменяются прямыми линиями, производящими впечатление плоского рисунка. Вместе с рельефом исчезают и остатки перспективы. Отметим, что эти особенности обнаруживаются, по мнению Анисимова, прежде всего, в новгородской школе иконописи, в которой лики "определенно руссифицируются, уходя от византийского канонического прототипа ранее и решительнее, чем в ростово-суздальской школе". В новгородской же школе проявляются впервые и "предпочтение яркой и чистой краски" темным краскам и полутонам византийских изображений. Суздальская школа "остается более верной древнейшим традициям и в области колорита".

Наблюдения Анисимова новы и метки; но выводы, сделанные из них, не всегда осторожны. По крайней мере новейший

---

[4] Эта замечательная византийская икона XII в., перенесенная в 1395 г. из Владимира в Московский Успенский собор, оценена по достоинству только в последнее время. Она действительно отличается глубиной и сосредоточенностью скорбного чувства Богоматери в ряду других современных ей произведений византийского искусства.

немецкий ученый Швейнфурт, сделавший добросовестный свод новых русских находок, из восьми икон XII-XIII вв., анализированных Анисимовым, только в одной (святителей Иоанна, Георгия и Власия) решился признать бесспорно русскую работу. Толгскую Богоматерь (1-ю) он признал, согласно своему взгляду на древнейший период византийско-итальянских отношений, тосканской работой пизанской школы в Maniera Greca. Сюда же он относит и две нью-йоркские иконы, упомянутые Анисимовым. Это показывает, как нужно быть осторожным с импрессионистскими характеристиками, к которым так склонны увлеченные своими открытиями исследователи[5]. Впрочем, сам Анисимов в статье, написанной для английского сборника, высказывается значительно сдержаннее. "Иконы XII столетия до такой степени византийские, — признает он, — что остается открытым вопрос, писаны ли они в России и русскими. В XIII столетии сравнительно легче различить национальные признаки формального характера: несколько большую динамику, переход к прямой линии в связи с усилением плоскостности изображения и, наконец, возрастающую склонность к употреблению ярких чистых красок. Но до начала XIV столетия эти черты не выражены отчетливо. Закрепление их знаменует собой начало нового периода в истории стиля. Окончательно оформленным можно считать национальный характер иконы в середине XIV столетия".

Новая эпоха иконописи, здесь отмеченная, начинается после перерыва, совпадающего в Константинополе с установлением Латинской империи крестоносцами четвертого похода (1204-1261), а в России (Киев) с татарского нашествия (1204-1240). Во время этого перерыва церковное строительство и иконописание на время замирают, чтобы затем возродиться с обновленным блеском. К XIV и XV столетиям новые русские исследователи относят высший расцвет и кульминационную точку развития национального религиозного искусства в России. Это мнение не лишено увлечения и нуждается в серьезных оговор-

---

[5] Связь увлечения древнерусскими иконами с новейшими модернистскими течениями в живописи несомненна. Отсюда и декадентская терминология, употребляемая иногда новыми исследователями. А. Грищенко прямо указывает на Матисса как на "главное лицо в открытии и понимании древнерусской иконы". "Матисс, посетивший Россию в 1911 г., ... ошалел от икон, по целым неделям не мог оторваться от них, не спал ночей от неожиданного открытия... Матисс... ставил их в уровень с лучшими достижениями итальянских примитивов. Приехав в Париж, он, как колорист, ненавидит свои картины, режет их — так велико было впечатление и воздействие наших древнейших икон". Эстетов особенно увлекала в иконе ее стилизация, противоположная "протоколизму" передвижников, и чистые краски, даже с дополнительными, — открытые в реставрированных иконах и росписях новгородской школы (например, типичные для этой школы сочетания красного и зеленого цвета). В иконе они искали не только идеализма, но и скрытого символического смысла.

ках. Прежде всего, непосредственным источником русского расцвета является предварительный расцвет византийского искусства в те же столетия, получивший название, данное ему французскими исследователями, "третьего ренессанса эпохи Палеологов". Блестящие памятники этого возрождения сохранились в знаменитых мозаиках Кахрие-Джами в Константинополе и в стенных росписях церквей Мистры (в Морее) и других местностях Балкан. Но тут мы встречаемся с упомянутым выше спором о том, насколько самостоятельно было возрожденное искусство в самом этом источнике русских заимствований, в Константинополе. Уже Ровинский указал на сходство русских икон этого периода с произведениями итальянских мастеров конца XIII и начала XIV столетий — Чимабуэ, Дуччо, Джотто. Поход крестоносцев на Константинополь, вместо Палестины, сопровождался распространением владычества Венеции на Ионические острова и Крит, оставшийся в их власти с 1204 до 1669 гг.. К этому же времени (1266-1475) относится процветание генуэзской колонии в Крыму, Кафы, занявшей место византийского Херсонеса. Влияние Венеции распространилось в XIV-XV вв. также на Далматинский берег, Сербию и Молдо-Валахию. Нельзя забывать также о расцвете религиозного искусства в Тырнове, "втором Риме" болгарской династии Асеней, откуда, вместе с литературой, духовными лицами и идеей славянской миссии новая иконопись могла в конце XV в. проникнуть к московскому двору. Все это — те пути, которыми новый расцвет искусства мог дойти и до России, — с некоторым опозданием, конечно. По наблюдению Муратова, уже в конце XIV в. знаменитый мастер Феофан Грек воспроизводил у нас приемы македонских художников XII и XIII столетий. Кондаков особенно развил взгляд относительно влияния на русскую иконопись италокритской школы, обосновав его появлением у нас, уже в XIV в., ряда типов Богоматери (Страстная, Умиление, Млекопитательница), несомненно, итальянского происхождения.

Этим соображениям французские исследователи и Муратов (к ним примыкает и Réau) противопоставили серьезные возражения. "Умиление" не только не чуждо византийскому ренессансу Палеологов, но от него и перешло к итальянцам. Все мотивы и особенности стиля, отмеченные Кондаковым, можно найти или в самом византийском искусстве, или в том древнеэллинском, из которого широко черпал ренессанс Палеологов. Таким образом, по взгляду этих исследователей, Византия и в XIV-XV вв. оставалась единственным источником русской иконографии.

По-видимому, в науке суждено установиться окончательно мнению компромиссному. Новейшие работы Айналова и Швейнфурта точно установили характер и время итальянского влияния и этим до некоторой степени примирили учение византистов с фактами. Несомненно, помимо Константинополя с его

придворным искусством, существовал и другой фокус, в котором уже в очень древнее время происходил контакт Востока с Западом. Этим фокусом была Венеция. Уже в первой половине XIII в. тут заметно романское влияние, которое во второй половине того же века заменяется ранним готическим. Это — та Maniera Greca, которая до Возрождения была распространена по всей Италии. Итальянский Ренессанс XIV в. положил конец этой манере, вытеснив ее отовсюду, за исключением Венеции. Здесь сохранился вкус к византийским иконам; Венеция продолжала и после победы Ренессанса работать "в старой манере" на заказчиков и на вывоз в православные страны. Из этого источника и проникли в Россию, уже в XVI в., отдельные черты средневекового западного искусства. В XV и XVI вв. производство византийских икон с более ясными следами влияния Ренессанса распространяется и на колонию Венеции, Крит. Именно эта итало-критская школа, как заметил уже Кондаков, оказала более значительное влияние на русское иконописание московского периода.

С возрождением иконописи увеличивается и количество свидетельствующих о нем исторических памятников. С именем Феофана Грека связана в России новая серия стенных росписей, исполненных Феофаном с русскими товарищами в 1395-1405 гг. в московских церквах и соборах. Эти фрески, правда, не сохранились. Но сохранились росписи Феофана в новгородских церквах (Волотово), хорошо характеризующие новый стиль поздневизантийского Возрождения, с его иллюзионизмом (стремлением к реализму), порывистыми движениями, резной графикой невизантийскими лицами. Здесь мы уже, несомненно, находимся на той границе упрощения и эмансипации, за которой начинается возможность создания национального стиля.

Сравнительная изоляция России в течение XIII-XV вв., несомненно, способствует, на почве усвоенной ранее византийской традиции, появлению национального русского стиля. Вслед за роскошными византийскими мозаиками XI в. постепенно исчезают и стенные фрески греко-русских росписей XIII-XV вв. На смену им в деревянных церквах деревянной северной России появляются во все большем количестве деревянные иконы. Так как церковные изображения уже не могут более размещаться на штукатурке куполов, барабанов, крыльев, столбов и стен храма, то в том же традиционном порядке и "чине" их начинают заменять расставленными в несколько рядов иконами высокого русского иконостаса — специальный продукт северного русского деревянного стиля, перенесенный потом и в каменные церкви. К деисусу (греч. "деэсис", тройная икона Спасителя, окруженного Богоматерью и Иоанном Крестителем), помещающемуся над царскими вратами, приставляются с обеих сторон архангелы и апостолы; над этим апостольским чином ставятся

на перекладине ("тябле") вторым рядом иконы церковных праздников, над ними вытягивается третий ряд икон пророков, над пророками в четвертом ряду старятся патриархи; над всем иконостасом — Бог Саваоф. В нижнем ряду, на уровне и по сторонам царских врат помещаются чтимые местные иконы (сохраняющие свое место, в противоположность передвигаемым иконам праздников). По известным уже нам условиям, в России икона становится предметом особого почитания и в том суеверном смысле, который вызвал в Византии иконоборчество. Каждый хочет иметь этот священный предмет в личном распоряжении, причем особенным почетом пользуются святые, избавляющие от болезней, охраняющие стада и лошадей и т.д. Огромный спрос на иконы вызывает чисто ремесленную репродукцию установленных типов, а это содействует еще большему упрощению рисунка и окраски, еще большей стилизации иконы. Живописный стиль иконописи византийского ренессанса все более уступает место графической манере, с ее прямыми линиями и резко очерченными контурами рисунка, принимающего плоскостный характер.

Конечно, наиболее священные сюжеты живописи, Христос, Б. Матерь, апостолы и т.д., сохраняют освященные веками очертания. Но окраска иконы остается в распоряжении художника, и еще раньше, чем национализируются иконописные лики, изменяется состав красок, употребляемых "мастерами". По составу красок и различаются прежде всего местные школы иконного письма. В изображении второстепенных святых и фигур, в композиции и трактовке сложных сюжетов иконописец получает еще больше свободы. Именно в этой области совершается внутреннее развитие иконописного искусства — более быстрое на православном юге, более медленное в России.

До сих пор остается невыясненной та роль, которую в этом развитии, в течение XIV и XV вв., играли два главных центра политической и культурной жизни России после татарского нашествия, Новгород и Суздаль (Владимир-Москва). В начале этого периода, естественно, Новгород сделался главным средоточием религиозного творчества и иконной продукции. Здесь строилось наибольшее количество церквей, сюда постоянно вызывались греческие мастера для росписи церквей; здесь стали всего ранее дополнять и заменять их работу мастера "русские родом, а гречески ученицы". Здесь проявилась и наибольшая свобода по отношению к византийским образцам: мы видели следы этой ранней национализации уже в XIII в. Естественно, что до последнего времени все оригинальное в тогдашней религиозной живописи приписывалось новгородской школе. Только в самое последнее время стали выходить из мрака безвестности особые черты суздальского иконописания. Можно было заранее предполагать, что эта древняя область русской культуры, оставшаяся более верной первоначальной византийской традиции, не могла

все же на пространстве нескольких веков своей истории не проявить особых черт, специально ей свойственных. Действительно, она очень наглядно проявила их в церковном зодчестве, создав такие памятники, как Успенский и Дмитровский соборы во Владимире, Покров на Нерли и т.д. Историк русского искусства И.Грабарь характеризует эти суздальские памятники в противоположность "крепким, коренастым памятникам Великого Новгорода" "простым, но крепким, лишенным назойливого узорочья", как "поражающие своей стройностью, изысканностью и изяществом" — как "искусство тонких пропорций, изящных линий и причудливых узорных сплетений". Он ищет подобного же различия и в суздальских иконах, которые "не слишком высокого мастерства, но все же (представляют) уклон в сторону большей интимности, изящества, большей округленности форм и ритмичности — в противовес новгородской монументальности, прямолинейности и угловатости", новгородских "прямолинейных планов, четкой прочерченности и нарочито энергичных ударов" кисти. В противоположность новгородской желтовато-золотистой охре, как преобладающему тону, суздальская икона отличается "голубовато-серебристой гаммой" цветов, более холодной, чем "горячий тон" новгородцев, но и более тонкой.

Ранним расцветом суздальской школы является конец XIV и начало XV вв. — период, характеризуемый деятельностью знаменитого художника-монаха, Андрея Рублева (род. около 1360-70, умер около 1427-30). Тот же историк, И. Грабарь, в самое последнее время собрал надежные материалы для характеристики работы этого выдающегося иконописца, ставшего живописцем (изографом). Наиболее ярким и законченным продуктом этой работы остается прославленная гармоничностью красок и стройностью композиции икона Троицы, написанная для Сергиево-Троицкой лавры. Но надо отметить, что начало деятельности Рублева и его сотоварища Даниила Черного прошло в сотрудничестве с тем же упомянутым выше Феофаном Греком, приглашенным прямо из Новгорода (роспись Кремлевского Благовещенского собора в 1405 г.). Тот же исследователь приписывает Рублеву ту долю росписи Вдадимирского Успенского собора (1408), которая, в противоположность отживавшему живописному письму его старшего товарища Даниила, отличается стилизованным графическим письмом. Конечно, в столь исключительном произведении, как икона Троицы Рублева, нельзя не видеть первое серьезное достижение национального творчества, так же независимое от подражаний в своем роде, как независимо творчество Джотто и Дуччо ди Буонинсенья от романской и новоэллинской школ, произведения которых их окружали. Но нельзя также и не отметить разницу между русским и итальянским достижением. Творчество Андрея Рублева все же ограничено рамками иконописной традиции, тогда как

творчество Джотто и Дуччо впервые вырывается из этих рамок на свободу.

Фрески Кирилловского Ферапонтова монастыря (Новгородской области), написанные иконописцем Дионисием в 1500-1601 г., показывают, что со времени Даниила Черного и Рублева развитие русского иконописания, если и совершалось, то в направлении дальнейшей стилизации. Уже Рео считал преувеличением сравнивать фрески Ферапонтова монастыря с фресками Джотто в Арене в Падуе, как это делал Муратов. Швейнфурт идет далее и говорит по поводу росписи Дионисия о дальнейшем упрощении (Rückbildung) византийского образца. И немудрено: Дионисий является живым продолжателем традиции. Он работает в 1476 г. в монастыре Пафнутия Боровского со своим старшим учителем Митрофаном, потом в 1482 г. приводит своих сотрудников, "попа Тимофея, Ярца и Кони" для написания "деисуса с праздники и пророки" в построенном Фиораванти Успенском соборе. В 1484 г. в монастыре Иосифа Волоколамского и в 1500 г. в Ферапонтовом монастыре он работает уже со своими "чадами", Владимиром и Феодосием, а в 1508 г. Феодосий, за старостью отца, замещает его и становится во главе его мастерской при работах в Благовещенском московском соборе. Тут целая традиция: Митрофан, Дионисий, его помощники, "чада", наконец, Феодосий.

Однако же тому же Благовещенскому собору суждено было резко оборвать эту традицию и внести в историю русского иконописания новую ноту. При расчистке росписи на паперти этого собора в 1882 г., художник Фартусов наткнулся на следы столь изумительной итальянщины, что комиссия по реставрации, председательствуемая Забелиным, решительно запретила ему продолжать свои поиски, обвинила в подделке и распорядилась отдать поновление росписи в руки мастерского иконописца Сафонова, который и погубил окончательно древние фрески. От них остались только фотографии, сделанные Фартусовым. Но и эти фотографии (фреска "О тебе радуется, Благодатная") позволили Кондакову определить стиль фресок, как "почти итальянский", а Грищенке — сравнить характерные лица и особенно движения рук фресок с произведениями итальянского кваттроченто. Холмы, здания, выражения лиц, прическа, способ носить костюм — все это было тут полной противоположностью традиции Дионисия.

Это нарушение традиции не осталось притом одиночным случаем. После московского пожара 1547 г. понадобилось написать для Благовещенского собора новые иконы и вновь расписать дворец. Для этого приглашены были псковские мастера. В короткое время иконы были написаны, одни в Москве, другие — в Пскове, — и поставлены на место старых. Москвичи пришли, однако же, от новых икон в соблазн, и один из очень образованных людей того времени, дьяк Висковатый, не выдер-

жал, доложил государю о своих сомнениях по поводу нового направления церковной живописи. Его смущало то, что живописцы пишут "по своему разуму, а не по божественному писанию"; один и тот же сюжет обрабатывают различно, так что на разных иконах одинакового содержания оказывается "то же писано, а не тем видом"; не делают, по старому обычаю, надписей на иконах и вводят в живопись светские изображения — "кроме божественного писания". До нас дошла одна из икон, возбудивших сомнения Висковатого: это — "четырехчастная" икона, изображающая действительно новые для тогдашней России сложные дидактические сюжеты: Почи Бог в день седьмый; Единородный Сын Слово Божие; Прийдите, поклонимся и Во гробе плотски. На православном Юге и Востоке этого рода сюжеты давно не были новостью. Уже в XIV и XV столетиях мы встречаем изображения отвлеченных тем, иллюстрирующих молитвы, догматы, литургию и т.д. и трактуемых символически и даже мистически. В Москву эти сюжеты икон проникают не раньше XV и в XVI в. Их происхождение — в греческой монастырской живописи, черпавшей свой материал из богословских трактатов и латинской схоластики. Кондаков основательно предостерегает русских мистиков, пытавшихся строить на этих иконах свои суждения о мистических глубинах русской души. Как мы увидим, сложные иконы удовлетворяли в России иной, более упрощенной и элементарной религиозной потребности.

Сомнения Висковатого, во всяком случае, далеко не заходили; он, как и сам царь Иван, останавливался лишь на частностях, бросавшихся в глаза, и его критика имела практическую цель: задеть царского любимца Сильвестра, священника Благовещенского собора. С этим связана и судьба его замечаний. Был собран духовный собор (1554 г.), который постарался доказать Висковатому неосновательность его сомнений и заставил его покаяться в своих "хульных строках". Конечно, собор имел основания доказывать, что новые иконографические формы нисколько не противоречат писанию. Но прав был и Висковатый, когда привычным глазом москвича сразу отметил новизну этих форм на псковских иконах. Все, что смущало Висковатого, на самом деле приходило в Россию вновь из италогреческого источника: и изображение Бога-отца в виде старца, и изображение Христа, покрытого херувимскими крыльями, и т.д. Мало того, оказалось, по наблюдению известного знатока русской иконографии Ровинского, что на одной из новых икон Благовещенского собора, писанных псковичами "Останей да Якушкой", одна частность скопирована прямо с рисунка Чимабуэ, а другая икона целиком воспроизводит рисунок Перуджино. Несомненной новинкой была и аллегорическая роспись дворцовых стен. Но поразившая Висковатого фигура "женки, которая спустя рукава пляшет", долженствовавшая изображать "блужение", в действительности была изображени-

ем пляшущей Саломеи, встречающимся в итало-греческой школе уже в XIV в.

Конечно, эти новаторские стремления так же мало характеризуют русское ходячее иконописание начала XVI в., как итальянский Кремль Фиораванти, Солярио и Алевизио мало характеризуют русскую национальную архитектуру. Новаторство было занесено в Москву иконописцами из недобитых республик, Новгорода и Пскова. В 1547 г. митрополит Макарий переселил в царскую столицу административным порядком вообще всех иконников из этих городов. Москва, как мы знаем, как раз тогда собирала отовсюду русские православные святыни, чтобы возвеличить себя за чужой счет. До некоторой степени, особенно в первое время, она этим осуждала себя на эклектизм, и в ее искусстве появились смешанные манеры. Но в то же время Москва имела свою собственную традицию — суздальскую, более консервативную, чем новгородская, и она хотела подчинить новых мастеров этой старой традиции. В духе свойственной ей централизации московская власть принимает на Стоглавом соборе 1551 г. целый ряд мер для обеспечения правоверия в искусстве, как и в обряде. 43-я глава Стоглава устраивает из иконописцев своего рода цехи и подчиняет их наблюдению духовных властей; та же глава повелевает "святителям великое попечение иметь, каждому в своей области, чтобы опытные иконники и их ученики писали с древних образцов, а от самомышления бы и своими догадками Божества не описывали: *ибо Христос Бог наш описан плотью, а Божеством не описан*". Подчеркнутые слова для нас особенно любопытны: это, очевидно, ответ на один из главных доводов художнического "самомышления" XVI в., — довод, который опять нам встретится в XVII в. Сторонники нового направления живописи, как видно из этих слов, уже в XVI столетии опирались на то соображение, что живопись имеет право ставить своей задачей *идеальное*, одухотворенное, небесное изображение святых, а не копирование предполагаемого земного облика. Но самое большое, что разрешалось в направлении некоторой идеализации типов, это копирование рублевской манеры. И следы ее сохраняются в течение XVI в. Ослушникам грозила "царская гроза" и даже "предание суду".

Постановлениями 43-й главы Стоглава меры против "своих догадок" новых живописцев не ограничились. Несомненно, в прямой связи с этой 43-й главой возникает во второй половине XVI в. так наз. "подлинник", то есть сборник снимков ("переводов") с установленных раз навсегда "образцов", по которым иконописцы должны были писать иконы. К этому "лицевому подлиннику", то есть сборнику рисунков в контурах, присоединялось, по дням года, описание, кратко характеризовавшее типы святых и перечислявшее нужные для их изображения краски. Составление подлинника имело целью окончательно закре-

пить в общем употреблении установившиеся типы иконописи и положить конец "мудрованию" художников. Этого, однако, не удалось достигнуть. Напротив, "самомышление" русских иконописцев развилось в XVII в. до небывалых размеров. Подлинник уже потому не мог положить предела свободе художника, что вполне однообразных типов иконографии и не существовало в самый момент его составления. Варианты, все более и более многочисленные, указывались в самом подлиннике, и, чем долее он существовал, тем более становился пестрым и сборным. Известная относительная свобода была, таким образом, предоставлена художнику уже в выборе вариантов. Еще более вызывал его на свободное творчество упомянутый выше вид иконописных изображений, составляющий особенность московского периода, — именно сложные иконы. Понятно, почему именно этого рода иконы полюбились верующим. В России еще более, чем в средневековой Европе, икона должна была заменять книгу: на общедоступном языке условных иератических изображений она должна была рассказать верующему в лицах то, что его интересовало в области веры — эпизод из св. Писания, житие святого, значение праздника, содержание церковной песни, даже смысл обряда и догмата. Икона становилась своего рода "библией бедных". Заказчик требовал от иконы, чтобы изображение святого было непременно "с житием", изображение Христа — "с праздниками", а изображение Матери — с наглядным изображением 24 стихов ее акафиста. Все эти картины располагались в миниатюре, в виде обрамления, по четырем сторонам главной фигуры. Конечно, такая икона допускала более или менее самостоятельную композицию. Требования от художника были, правда, невелики: изменять общепринятых изображений он не мог — он должен был только сопоставить их механически. Из таких механических сопоставлений и образовались типы наших сложных икон. Богатый материал — правда, привязывавший к прошлому, художник нашел готовым в миниатюрах старинных иллюстрированных рукописей, то есть там же, где находили его иконописцы и в других странах православного мира. Но, очевидно, и в этих пределах фантазии художника предоставлялось уже больше свободы, чем при повторении старых, законченных композиций. Он мог всегда ввести в икону новые подробности, известные ему из писания, из церковных песней, наконец, из апокрифа; он мог стремиться механически сопоставленным частям иконы придать больше внутреннего единства или, по крайней мере, постараться расположить их искуснее на иконной доске. Естественно, что эти иконы явились первым общепринятым продуктом оригинального художественного творчества в области живописи.

Московское иконописание XVI и XVII столетий составляет последнюю главу истории допетровской живописи. Новые исследователи считают ее периодом застоя и упадка. С этим мне-

нием так же нельзя целиком согласиться, как и с преувеличением достижений XV в. Но верно, во всяком случае, то, что Москва — в особенности в XVII в. — не могла продолжать линии предыдущих веков. Тут был тупик, выходом из которого мог быть только разрыв с прошлым. По отношению к старому Москва сыграла роль централизатора. Она подчинила себе наличный состав и направление новгородских и псковских художников. Из Новгорода искусство иконописи распространилось в новгородских владениях северо-восточной России, вероятно, оттуда перешло во владения именитых людей Строгановых — в Устюге, Сольвычегодске и Перми, где мастера Строгановых подняли его в конце XVI и начале XVII вв. на уровень особого стиля. Строгановские иконы славились пышностью рисунка, блеском красок и детальностью разработки миниатюрных изображений. Старейший из этих мастеров, Степан Арефьев, известен по иконе 1596 г., написанной для Никиты Строганова. Москва присвоила искусство и этих строгановских мастеров. Так, сын строгановского художника Истомы Савина, Никифор, носивший характерное прозвище мелочника, то есть миниатюриста, уже работал зараз и для Строгановых, и для царя Михаила Федоровича. Другой, еще более известный мастер, Прокофий Чирин, перешел от Строгановых на царскую службу. Таким образом, стиль Строгановых был поглощен всеуравнивающим стилем Москвы. Но этого было мало. Когда понадобились усиленные работы по обновлению росписи Успенского и Архангельского соборов (1653, 1657, 1660), то московское правительство без церемонии распорядилось и с оставшимися на северо-востоке художниками. Строгими царскими приказами их было велено сыскать и выслать к Москве за крепкими поруками. За неисполнение указов Москва грозила "жестокими наказаниями". Те, кому не удалось скрыться, были доставлены в Москву из Костромы, Устюга, Вологды, Осташкова, Ростова и т.д., нищие и разоренные. Они умоляли начальство установить очереди и не таскать их слишком часто в Москву. Рядовым работникам здесь платили жалкую поденную плату, от 4 до 7 копеек[6]. "Добрые" мастера получали, правда, постоянную работу и годовой оклад 10-12 рублей: они становились "жалованными" царскими иконописцами и живописцами. Ведала их после смуты Оружейная Палата, наблюдавшая вообще за предметами царского обихода. В выучку им давались ученики. Так образовалась ко второй половине XVII столетия школа московских "государевых изографов".

Московская школа, несомненно, помогла слить в одно целое и обезличить провинциальные манеры иконописи, установив однообразный эклектический стиль. Этому содействовало то, что не только из провинции мастера вызывались в Москву, но и

---

[6] Цена денег была тогда в 17 раз больше довоенной.

из Москвы ехали на работу в провинцию. Слава московской царской школы настолько распространилась, что в 1641 г. молдавский ктитор Василий Лупу, найдя, что "в его земле нет хороших и способных мастеров", выписал из Москвы для росписи построенной им в Яссах церкви москвичей из царской школы Сидора Поспеева и Якова Гаврилова: по смерти последнего его заместили два других москвича, Дейко Яковлев и Пронька Микитин. Мы видели, что вызывали царских художников и на Украину.

Истинное значение московской школы, однако, не в этом унификационном процессе и не в разработке старых мотивов, а в попытках пойти навстречу художественным требованиям текущего момента. То, что можно было сделать при помощи подражания, хотя бы и рублевским образцам, было уже исчерпано. Новые веяния шли в Москву не только из Византии и из итальяно-греческих школ. Они проникали — и притом в гораздо более полном виде, непосредственно с Запада. К самой царской школе были прикомандированы — правда, для живописных, а не для иконописных задач — иноземные художники. Какое значение им приписывали и как их ценили, можно видеть из сравнения уплачиваемого им жалованья с окладами московских мастеров, хотя бы и очень видных. Вышеназванный Прокопий Чирин получал в Оружейной Палате в 1620 г. 20 руб. в год и столько же четвертей ржи и овса. Знаменитый Симон Ушаков в 1648 г. довольствовался окладом в 10 руб. и 15 четвертей в год. Только в 1678 г., после тридцатилетней службы, он получал 67 руб. и 52 четверти ржи и овса. А иноземцу Анцу Деттерсу платили в 1643 г. оклад в 240 руб., Даниилу Вухтерсу в 1667 г. — 156 руб., столько же и Ив. Салтанову. Московский и Коломенский дворцы Алексея Михайловича были наполнены их работами. А заведовал убранством и ремонтом этих дворцов тот же Симон Ушаков. Кроме того, влияние западного искусства распространялось через посредство иностранных гравюр. Общий термин для означения этого влияния был "фрязь", "фряжское". В XVI в. под этим термином разумелось преимущественно немецкое; в середине XVII в. присоединилось нидерландско-фламандское. Беспрепятственно господствуя в области декорации и портрета, отсюда это влияние распространялось и на иконопись. Уже патриарх Никон, покровительствовавший, как мы знаем, греческим новизнам, заметил "латинское" влияние в иконописи и пришел в крайнее раздражение. Со свойственным ему темпераментом он побросал не нравившиеся ему иконы на каменные плиты пола, выкалывал у них глаза и, вопреки царской просьбе, приказывал жечь их, оглашая при этом имена владельцев. Оправдываясь впоследствии перед москвичами за свое "иконоборство", Никон ссылался на то, что "вывез тот перевод немчин из немецкой земли". Павел Алеппский, правда, сообщает, что пострадавшие иконы были писаны мос-

ковскими иконописцами по "франкским и польским образцам", понимая, очевидно, слово "франкский" ("фряжский") в общем смысле. Но ударение, которое Никон сделал на своем определении, показывает, что речь шла именно о *новом*, специально выделившемся к его времени влиянии. На том же настаивает в своих обличениях и протопоп Аввакум. "По попущению Божию, — пишет он в одном из своих посланий, — умножились в нашей русской земле живописцы неподобного письма иконного... Пишут они Спасов Образ Эммануила, лицо одутловато, уста червонные, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, также и у ног бедра толстые, и весь, яко немчин, брюхат и толст учинен, только что сабли при бедре не написано... А все то Никон враг умыслил — *будто живых писать*; все устрояет по фряжскому, сиречь по немецкому".

Конечно, Никон обвинен тут напрасно. Помимо сожжения икон, он торжественно в присутствии восточных патриархов с церковной кафедры осудил новое направление в живописи и изрек анафему на его последователей. Те же самые осуждения против западных заимствований в иконографии повторены были и собором 1667 г. Но житейская практика не справлялась с этими осуждениями и запрещениями. Самое большее, чего достигла церковь, — это то, что для официальных церковных потребностей сохранилось прежнее иконное письмо, какого требовал старый подлинник. Но рядом с ним продолжало укрепляться и живописное письмо. Самые знаменитые мастера, как, например, Симон Ушаков, работали одновременно на оба манера, смотря по вкусу своих заказчиков[7]. Мы уже видели, что со вре-

---

[7] Против обычного представления о Симоне Ушакове, как о "стародуме и новаторе" (Сычев), об "уравновешенном и мягком посреднике между старым и новым" (В.Н. Щепкин), сочетавшем "иконописный натурализм и традицию" (Ю.Олсуфьев) и т.д., высказаны были в последнее время два противоположных взгляда. Проф. Н.П. Сычев пытался найти в его произведениях влияние фламандских примитивов XV-XVI вв., Ван-Эйков, Рожера ван-дер-Вейдена, Мемлинга и т.д. В.Н. Нечаев противопоставил этому другое крайнее утверждение, что Ушаков остался верен иконописной традиции, новаторство его не шло далее изображения ликов, и это новое могло быть заимствовано, помимо старых образцов (Ушаков, между прочим, дал вариант знаменитой Троицы Рублева, см. выше, с. 498) также и у греков, которые именно в 1650-60 гг. были в особенной моде в Москве, благодаря Никону (см. выше, с. 46). Но дело в том, что и греческое иконописание успело уже заимствовать западную "фрязь" через посредство Италии. Как раз подражание Троице Рублева Ушаков написал для "гречанина", выходца "из Македонской земли", "Миколы Остафьева сына" Николетова, итальянизированная фамилия которого напоминает об итальянских влияниях в области его родины, Янины, — и подписал эту икону греческими подписями. Так сошлись в одной точке русский ренессанс XV в. с новым ренессансом конца XVII в. Современные XVII столетию итало-греческие влияния, конечно, не могли уже остановить и прямых влияний с запада, потому что сами шли, хотя и осторожно, в том же направлении. Ушаков только более сдержан в своих, заимствованиях, чем его современники и даже ученики, пошедшие дальше его особенно в области архитектурного пейзажа.

мени Михаила Федоровича при московском дворе стали появляться иностранные художники, поляки и немцы, поступавшие на царскую службу и писавшие картины и "парсуны" (то есть портреты). С сороковых годов XVII в. эти художники у нас не переводились и воспитали немало русских учеников. Естественно, что, подготовленные таким образом, ободренные царскими заказами и царским жалованьем, московские живописцы царской школы решительно стали вносить приемы "фряжского" письма в самую иконопись и из оборонительного положения перешли в наступательное. Однажды в мастерской Симона Ушакова, сидел его товарищ и собрат по направлению, "изуграф" Иосиф (Владимиров). Приятели беседовали о живописи. В это время вошел к ним сербский архидиакон, Иоанн Плешкович, и вмешался в беседу. Увидав художественное изображение Марии Магдалины, Плешкович плюнул и сказал, что таких "световидных" образов у них не принимают. В ответ на это Иосиф написал энергическую отповедь в форме послания к Ушакову. "Неужели ты скажешь, — пишет Иосиф, обращаясь к своему противнику Плешковичу, — что только одним русским дано писать иконы и только русскому иконописанию поклоняться, а от прочих земель не принимать и не почитать?.. Спроси отца своего и старцев, пусть скажут тебе, что во всех наших христианорусских церквах все утвари священные, фелони и омофоры, пелены и покровы, и всякая хитроткань, и златоплетенье, и каменье дорогое, и жемчуг — все это ты от иноземцев получаешь и в церковь вносишь и престол и иконы тем украшаешь и ничего скверным и отметным не называешь... В наши времена ты требуешь от живописца, чтобы он писал образы мрачные и неподоболепные, и учишь нас лгать против древнего писания... Где найдено такое указание, что б лица святых писать смугло и темновидно? Разве весь род человеческий создан в одно обличье? Разве все святые были смуглы и тощи? Если и имели они здесь на земле умерщвленные члены, то там на небесах оживотворенны и просвещенны явились своими душами и телами. Какой же бес позавидовал истине и воздвиг ковы на светообразные персоны святых? Кто из благомыслящих не посмеется такому юродству, будто бы темноту и мрак паче света предпочитать следует?.. Нет, не таков обычай премудрого художника. Что он видит или слышит, *то и начертывает в образах или лицах и согласно слуху или видению уподобляет.* И каковы были в древнем завете, так и в новой благодати — многие святые мужеского и женского рода были на вид благообразны". От мысли, что "живописные" иконы могут вызвать соблазн, благочестивый художник приходит в полное негодование. "Как не страшишься ты, недостойный, — восклицает он, — взирать на блаженные лики — и соблазн помышлять в сердце своем? Истинному и благочестивому христианину, и на самих блудниц взирая, прельщаться не подобает, а не то, что на благообразное

живописание разжигаться. Это — мысль последнего бесстрашия и крайнего нечестия, чтобы кому от икон соблазняться. Телесно, а не духовно эти люди пришли к такой мысли в своем неразумии: злоба их ослепила".

Как видим, художник-реалист конца XVII в. еще сохранил настроение художника-идеалиста XV в., которому пробовал подражать. Он тоже был настроен на высокий строй христианской мысли и чувства. Самая идея, что натурализм в живописи может перейти должные границы, была ему далека и чужда. Чтобы найти такое настроение в европейском искусстве, нам надо было бы вернуться к XIV в. Там это настроение вызвало возрождение религиозной живописи, бывшее началом возрождения европейского искусства. Естественно, что и у нас из кружка царских живописцев могло бы выйти нечто подобное. И действительно, приподнятое настроение русских художников второй половины XVII в. дает нам ключ к целому ряду новых и любопытных явлений в русской иконографии. Дело не ограничивается на этот раз простым накоплением подробностей в старой композиции или механической перестановкой старых мотивов для изображения нового сюжета. Перемены проникают в самый замысел старых композиций, и везде христианский художник старается поставить эти композиции на высоту своего религиозного чувства. Старым изображением Благовещения Божией Матери у колодца или дома за пряжей художник остается недоволен. Он заставляет Богородицу в момент Благовещения читать святое писание, и русский святитель вскрывает нам мотив, руководивший в этом случае русским художником. Архангел должен был обрести Деву, по словам Дмитрия Ростовского, "не вне дома, не среди житейских попечений, но в молитве, молчании и чтении книжном упражняющуюся". Точно так же художника оскорбляло лежачее положение Богоматери на византийской иконе Рождества Христова, как намек на ее человеческую немощь, — и он, сам того не зная, вернулся к сидячей позе древнехристианского искусства. Мотив на этот раз излагает нам сам художник, утверждая, что только "грубые и невежды иконописцы" могут изображать Божественную Родильницу "наподобие мирских жен" лежащей и с повивальной бабкой; "Пречистая Дева... не требоваше бабенного служения... сама роди, сама и воспелена, благоговейно осязает, объемлет, лобызает, подает сосец: все дело радости исполнено, нет никакие болезни, ни немощи в рождении". По тому же религиозному побуждению хлев, в котором родился Христос, заменен был пещерой.

Другой характерной особенностью иконописи и стенописи XVII столетия, свидетельствующей о росте западного влияния, является овладение темой "нутровых палат", то есть внутренности здания, изображающегося на заднем плане иконы. Уже самое появление палат вместо простого одноцветного фона было

шагом вперед в истории церковной живописи. Но палаты изображались в одной плоскости, как задняя декорация, не связанная с фигурами. Начиная с конца XVII в., русский художник стремится, во-первых, выдвинуть вперед боковые стенки палат, окружая ими фигуру, и, во-вторых, раскрыть фасад палат и углубиться во внутреннее расположение комнат. Так, вместо плоскости получается представление трехмерного пространства: изображение начинает жить реальной жизнью. Надо, однако, прибавить, что почти весь этот процесс проходит без усвоения основных законов перспективы. Процесс этой борьбы за "нутро" палат недавно изображен очень подробно В.Н. Нечаевым. На западе этот успех, притом со знанием перспективы, был достигнут еще Джотто и его современниками, на рубеже XIII и XIV вв. У нас окончательная победа этого направления — но все еще без знания перспективы, достигнута лишь в последней четверти XVII в. Сийский иконописный подлинник, законченный в 1666-76 гг., еще стоит ниже этого достижения. Но тотчас после этого времени мы имеем доказательства нового и сильного иностранного влияния. Оно прослежено в последнее время Е.П. Сачавцем-Федоровичем. Источником этого влияния, известным, конечно, и раньше, оказывается так называемая Библия Пискатора. А объектом влияния является стенная роспись северных церквей, ярославских, костромских, ростовских, вологодских и т.д. В Вологде найден и один, сильно захватанный экземпляр Библии Пискатора. Другой экземпляр был приобретен для царя Федора Алексеевича царским мастером Безминым в 1677 г. Вероятно, это было одно из амстердамских изданий 1650 или 1674 гг. Памятник этот, воспроизводивший по большей части произведения мастеров второй половины XVI в., опаздывает на целое столетие. Итальянское влияние прошло тут через призму нидерландского готического барокко. Во всяком случае, этому искусству уже вполне известны законы линейной и воздушной перспективы. Росписи Ярославля и других городов охотно заимствуют у Пискатора библейские темы. Но часто они не понимают рисунка и впадают в забавные недоразумения, вроде того, например, что огонь в жертвоприношении Каина и Авеля заставляют, вместо жертвенника, гореть в корзине. Затем общий стиль "остается непобежденным", по заключению г. Сачавца. "Гравюры Пискатора, перешедшие глубину пространства, трактуются плоскостно. Натуралистические формы стилизованы и схематизированы. Во всяком случае, нарождающийся натурализм введен в строгие пределы. Стремительные движения приобретают в большей или меньшей степени иконописную сдержанность. Формы и одежды становятся проще и скромнее". Правда, при этом наблюдаются два течения: одно более ремесленное и отсталое, другое — более художественное и прогрессивное. Второе течение допускает больше пластичности в фигурах, больше сложности в движениях, в склад-

ках одежды, больше изломов в линиях, плотно охватывающих усложненные формы, больше интенсивности в тенях и красках, больше архитектурных элементов, больше старания — соблюсти соотношение пейзажа с размерами человеческой фигуры. Особенно заметна связанность русских мастеров обоих направлений в приемах композиции. Они с трудом идут на то, чтобы отделить существенное от несущественного и расположить разные сюжеты в разных плоскостях. По большей части они держатся старого приема непрерывного рассказа, в котором все части равны и ритм повествования отсутствует. Художник еще не знает ни анатомии, ни перспективы. У них Ной идет к ковчегу ногами вперед, а туловище поставлено в фас и голова обращена назад чистым профилем. Корова лежит на трех смежных холмах. Ева, стоя впереди, опирается на дерево, помешенное за второй плоскостью. Intérieur остается в зачаточном виде, действие сосредоточено у края картины или даже вытолкнуто вперед, за края архитектурной рамки. Линий пола и потолка часто не видно. Напомним, что в оригиналах Пискатора все это стоит на месте: русский художник продолжает трактовать пространство примитивно, на доджоттовский манер, не только по уважению к традиции, но просто по незнанию элементарных правил своего искусства. Пропасть между запоздалым нидерландским источником и ярославской копией остается огромной и незаполненной. Это два разных миропонимания, характеризующих две различные ступени развития. Одно последствие этой несоизмеримости степеней культуры, во всяком случае, необходимо подчеркнуть: Великороссия XVII в. сохранила свое национальное искусство по существу нетронутым. Влияние барокко, заливавшего Западную Европу, на Россию XVII в. уже поэтому не могло распространиться.

Как бы то ни было, новое направление подвергло пересмотру весь иконографический материал: везде сличило установившиеся типы с текстом писания и, где только можно было, ввело вместо сухого византийского формализма свежее чувство и жизненность. В результате этого пересмотра явился так называемый "критический подлинник", снабдивший нового художника темами, взятыми непосредственно из памятников церковной письменности, и этим самым освободивший его от иконописной рутины. Мало того, сторонники нового направления, разрушая старую традицию, попытались создать новую; с этой целью собраны были лучшие новые образцы, выбраны лучшие из старых и все это, с прибавкой совершенно самостоятельных композиций русских художников, должно было служить руководством для будущих иконописцев (Сийский лицевой подлинник). Необходимо отметить, что любимыми сюжетами новой церковной живописи сделались те же самые, которые составляли в это время и любимые темы для чтения религиозных людей. В последней четверти XVII в., в эпоху общего религиозного

оживления, в эпоху последней борьбы раскола за преобладание, эпоху хлебопоклонной ереси и перевода на русский язык Великого зерцала возникли и чрезвычайно быстро распространились текст и иллюстрации "Страстей Господних", и немедленно же этот сюжет был утилизирован для росписи стен в царских палатах. В это же время, по-видимому, картина страшного суда обогатилась детально разработанным отделом адских мучений. Нужно ли прибавлять, что внутренний смысл всех перечисленных явлений был один и тот же?

Следуя общему подъему религиозного настроения, русское искусство, очевидно, стояло накануне нового расцвета христианской живописи, каким ознаменовалось XIV-XV столетие западного искусства. Предоставленная самой себе, наша живопись могла бы двинуться тем же путем, как западная, и, может быть, пережить тремя-четырьмя веками позже свою классическую эпоху. Но эти века прошли недаром. Повторять их теперь было поздно, а при тех условиях, в каких очутилась русская религиозность к началу XVIII в., и вовсе невозможно. Религиозные люди тогдашней Руси в большинстве стояли за церковную старину и не имели побуждений поддерживать иконографические новшества. Религиозные новаторы стояли слишком далеко от вопросов искусства. А для всех остальных — вдохновение, руководившее христианским художником, скоро сделалось совершенно непонятно. Вот почему скромное движение, начавшееся в московских мастерских царских иконописцев, очутилось без почвы, раньше, чем успело развить заключавшиеся в нем задатки новой жизни. Сердечное умиление этих художников никого больше не трогало и никому не было нужно. В несколько десятков лет наши руководящие сферы перескочили через целые столетия европейского развития и спешили примкнуть к самому последнему текущему моменту. А в этот момент европейское искусство давно уже пережило период наивного юношеского вдохновения, успело овладеть всеми секретами художественной техники, достигло классического совершенства и, пресыщенное им, впало в манерность. Догоняя современные европейские образцы, русское искусство порвало нить своего органического развития. Оставив трудные и нерешительные попытки найти ощупью собственную дорогу, оно послушно отдалось в ученье европейским мастерам.

По пути механического подражания современному европейскому искусству направлял русского художника и тот социальный строй, которому он был призван служить. Прежде всего, это был, в огромном большинстве случаев, наемник, часто даже крепостной человек, у которого не спрашивали, какого Бога он носит в своей душе. Его отдавали в науку в такие годы, когда его собственное влечение не могло еще сложиться; за него платили дорого хорошим учителям; от него требовали, чтобы он научился делать не хуже их, — если может, лучше, но, во вся-

ком случае, не иначе, чем они: в противном случае его работа никому не была нужна. Живопись попала в ту же зависимость от вкуса богатых господ, в какой мы видели архитектуру. И так же, как в области архитектуры, законодателем вкуса надолго сделалось государство — не только как главный заказчик, но и как руководитель художественного образования, вверенного иностранцам и внедрявшегося при помощи известной нам академии.

При этих условиях в архитектуре поочередно торжествовали, как мы знаем, господствовавшие на Западе художественные вкусы: барокко, рококо, классицизм в римской и греческой форме. Живопись по самому существу ближе к литературе, чем к архитектуре. И мы сразу попадаем здесь в знакомую по истории литературы атмосферу. В живописи водворился, при посредстве академии, тот же ложноклассицизм, с примесью сентиментальности, какой господствовал и в литературе прошлого века. У художников тоже явился свой "высокий" и "низкий" штиль; подобно литераторам, мода требовала от них говорить условным языком "идеального" искусства и не допускала поэзии в прозе. Высокий штиль в живописи — это была живопись религиозная и историческая, с ее стилизованной, "очищенной" натурой, с ее общими местами типа, позы, движений, складок, с ее предпочтением голого тела и пренебрежением к ландшафту, с целой системой строгих запретов против безыскусственного воспроизведения действительности. Обязательными темами, как при получении знания и медали от академии, так и при заказах высоких господ на роспись дворцов, были сюжеты из Ветхого и Нового завета, из мифологии и истории Греции и Рима, самое большое из древней русской истории, а из новой — батальные картины, изображавшие военные подвиги государей. Низкий штиль живописи — это было изображение обыденности, "жанр"; этот вид терпели под условием соблюдения тех же условных правил, — но смотрели на него как на занятие ремесленника или, самое большое, как на случайную шалость таланта. "Бессмертия" и славы жанристу так же невозможно было добиться, как прозаику: только занятие "высоким" родом искусства могло свидетельствовать о "высоких" дарованиях художника.

Однако же некоторые области живописи — как раз не те, которые покровительствовались и государством и академией, стояли настолько близко к жизни, что требования реализма изображения должны были здесь очень рано прорваться сквозь загородки академической условности. В реалистической трактовке сюжета нуждались в этих случаях даже и богатые заказчики. Так как самые предметы требуемого изображения были на глазах у всех, то сходство с натурой рекомендовалось самым существом заказа. В таком положении находились две области живописи: пейзаж и портрет. Именно в этих об-

ластях и должны были проявиться первые попытки самостоятельного творчества, более или менее независимого от западных образцов. Эти ранние попытки смягчают общее суждение о подражательном периоде русской живописи. Следует согласиться с Буслаевым, что "как бы искусственно ни сложилось наше образованное общество и как бы случайно ни возникла наша академическая школа живописи, но никакие соображения не могут отказать в заслугах молодому на Руси искусству, которое такой смелой рукой завладело иноземными средствами техники, что вполне умело передать мельчайшие оттенки новых на Руси чувств и мыслей, навеянных западной образованностью".

К пейзажу как таковому высокопоставленные заказчики, правда, долго были совсем нечувствительны. Но их не могло не интересовать — увековечить на полотне все те монументальные здания и французские "перспективные" сады, которые они построили. Первой задачей пейзажа и явилась задача чисто топографическая: верно передать "преоспективным письмом", как выражался еще Петр, панораму улиц, дворцов и усадеб, или запечатлеть затейливые транспаранты, приготовленные для фейерверка в особо торжественные дни. На помощь тут явилось искусство гравюры.

Гравюра по самому существу была несравненно доступнее массе, чем картина. В России гравюра издавна нашла доступ к народу в виде лубочной картинки. "Фряжские листы" уже во второй половине XVII в. можно было по самой дешевой цене купить в Овощном ряду или у Спасских ворот. Сам Петр научился гравировать "иглой и крепкой водкой под смотрением Адриана Шхонебека в Амстердаме", как гласит сохранившаяся гравюра 1698 г., награвированная его рукой. В Петербурге граверное искусство процветало. "Лицевые известия о монстрах", "лицевые объявления о военных кампаниях" и т.д. заменяли для народа газету. Народные картинки того времени овладели всем содержанием любимых народных книжек и легенд. Гравюру употребляли и для популяризации нового строительства. Тот же Шхонебек обучил русских граверов, Зубова, награвировавшего петербургские постройки Петра, и других. При Петре I приехал Вортман, обучивший русских гравированному портрету и уступивший в 1745 г. место лучшему своему ученику, "мастеру грыдорования портретов" Ивану Соколову, главному гравировщику "Описания коронации" Елизаветы. Выдающимся учеником Соколова был Махаев, "мастер ландкартных дел и перспективной живописи", награвировавший серию видов Петербурга. Третий иностранный гравер Шмидт стоял во главе русского граверного искусства второй половины XVIII в. Лучшим из его учеников считается Чемесов, поддерживавший после отъезда Шмидта традиции учителя. Успех гравюры, несомненно, послужил основой, на которой и живопись постепенно эмансси-

пировалась от академической указки в обоих направлениях — пейзажа и портрета.

На первом месте из этих двух видов стоит, конечно, портретная живопись XVIII в. Одновременно с вызовом иностранных художников-портретистов, Таннауэра (или Дангауэра) и Каравака. Петр послал за границу русских учиться этой специальности. Из них приобрели некоторую известность Андрей Матвеев и братья Никитины. Каравак нашел, что Матвеев "имеет больше силы в красках, нежели в рисунках", и это как бы явилось предзнаменованием той большой роли, которую суждено было сыграть колориту в русской живописи. По рисункам Матвеева был расписан Петропавловский собор. И. Никитин после выучки в Италии и Франции был назначен "персонных дел мастером" и учил граверов писать с живой натуры. Судьба Никитиных была печальная: за пасквиль на Феофана Прокоповича они были биты плетьми и сосланы в Тобольск (1736-41).

Новый и окончательный толчок к развитию живописи, как и архитектуры, дан был открытием академии и приглашением новых иностранных художников. К приглашенным при Елизавете выдающимся мастерам, графу Ротари, Торелли, де Вейи, Токке, Моро, де Лоррену, Лагрене, которые работали по росписи зал и писали портреты, присоединились при Екатерине более двух дюжин преимущественно немецких художников (более выдающиеся Кристинек и Ритт; позднее Лампи, Рослен, Эриксен и госпожа Виже-Лебрен). Многие из этих художников оказали непосредственное или косвенное влияние на русских учеников. К концу XVIII столетия мы имеем уже своих мастеров, некоторые из которых не уступают иностранцам. К старшему поколению принадлежат в этом ряду сын солдата Антропов, подражавший знаменитым женским головкам Ротари; братья Аргуновы, крепостные гр. Шереметева, особенно Рокотов, последователь де Лоррена, Ротари и Токке, едва успевший удовлетворять заказы на портреты. Следующее поколение, учившееся уже у русских художников, выдвинуло знаменитые имена: Левицкого, ученика Антропова, Лосенко, ученика Ивана Аргунова, Боровиковского, учившегося у Лосенко и у Лампи. Левицкий и Боровиковский, наиболее знаменитые, тоже создали около себя целую школу. Таким образом, установилась известная русская традиция. В области "высшего искусства", исторического и эмблематического, эти художники продолжали оставаться под ферулой Академии. Но в "низшей" области портрета, а затем и пейзажа — особенно жанра, русские художники смогли более или менее эмансипироваться от академического "гипсового" и "натурного" классов, приблизиться к "живой натуре" и создать целый ряд замечательных произведений. Малоросса Левицкого (1735-1822), художника кокетливых смолянок, знатоки сопоставляют с Генсборо. Правда, англичанин более глубок

сравнительно с благодушной насмешливостью Левицкого по отношению к изображаемому им обществу. Боровиковский (1757-1825), более однообразен в своих мечтательных, томных и бледных женских типах, но большой мастер в искусстве сопоставления красок. Лосенко отличается точностью рисунка. Необузданный и влюбчивый Кипренский (1783-1836), деятельность которого относится уже к александровской эпохе, представляет струю чувствительности и романтизма. Вообще говоря, романтизм слабо отразился в русской живописи; но уже Екатерина отдала дань чувствительности, перейдя от вытянутых по линейке, прямых линий французских садов к "кривым линиям, мягким спускам, прудам" и т.д. английской "плантомании". Под влиянием Руссо в парках высоких особ тогда же начали появляться "эрмитажи", павильоны "дружбы" и "уединения", деревенские фермы и домики в стиле Трианона. Критики единодушно признают, что Кипренский погубил свой талант, проведя последние 20 лет жизни в Риме и заразившись там академизмом, которого избежал в Петербурге. Линию чувствительности, но без буйного романтизма Кипренского и с уклоном к сентиментальности продолжает в Москве Тропинин — такой же крепостной по происхождению. Его "Швея" и "Кружевница", при всей своей слащавости, уже предвещает будущую победу жанра и реализма в старой столице.

Реализм проникает до некоторой степени и в пейзаж конца XVII и начала XIX вв. Михаил Иванов, ученик Ле Пренса, баловавшегося жанром, Федор Алексеев, ученик Белотто (прозванного Каналетто), осмеливаются выйти за пределы сухого "перспективизма". А за ними идут "поэты Петербурга" — Галактионов, Мартынов, особенно мечтательный Воробьев, художник петербургской луны, закатов и восходов. Впрочем, Воробьев скоро стал искать красоты пейзажа за границей, а за ним последовал самый талантливый из пейзажистов того времени, Сильвестр Щедрин, влюбившийся в Сорренто и там умерший.

Наибольшим отступлением от академического стиля и самой "низшей" формой живописи был, конечно, жанр, — и прорывы в этом месте поэтому особенно интересны. Писать то, что видишь кругом, казалось совершенно диким и недостойным искусства. Все реальное, пройдя сквозь призму академической выучки, должно было явиться облагороженным, т.е. прикрашенным и стилизованным. И характерно, что первым представителем жанра и карикатуры является такой чудак, бродяга и салонный импровизатор, как обрусевший поляк А.О. Орловский, сын содержателя корчмы, попавший в высшее общество. Орловский (1777-1832) рисовал не только кистью, но и кончиком спичек, свечной светильней, обмокнутыми в чернила пальцами и даже носом. И выходили из-под этих инструментов шаржи на присутствующих, костюмы для маскарадов, народные сценки в юмористическом духе. В завещание будущему он

оставил множество набросков пером, пастелью, углем, карандашом и т.д., частью нелепых, а частью очень живых и метких. В то время (около 1815 г.) только что был открыт новый способ размножения рисунков при помощи литографии — и произведения Орловского распространялись в большом количестве экземпляров. Тут были мужики и торговцы, юнкера и генералы, калмыки и татары, четверки породистых лошадей и обозные клячи.

Помимо этого примера яркого отступления от принятых рисовальных приличий можно привести несколько имен художников жанра, подражавших Ле Пренсу. Был даже в Академии открыт класс живописи "для домашних упражнений", где давались темы вроде того, чтобы "представить мещанина, который, чувствуя небольшой припадок, готовится принять лекарство". Но серьезно на это никто не смотрел. Картина, подписанная именем Лосенко и датированная 1757 г., изображавшая "живописца", рисующего у себя в ателье портрет ребенка, была до того необычна для того времени, что пришлось усомниться и в авторе (ее автор Иван Фирсов) и в дате. Нужно было пройти полувеку после этой даты, чтобы в Петербурге появился истинный отец жанра, москвич Алексей Венецианов (1780-1847), увлекшийся голландцами и попытавшийся усвоить их завет — писать картины из жизни. Выставленная в Эрмитаже в 1820 г. картина Гране помогла Венецианову определить свое призвание. "Сия картина, — говорил он, — произвела сильное движение в понятии нашем о живописи. Мы в ней увидели совершенно новую часть ее, до того времени не являвшуюся. Увидели изображение предметов, не подобное только или точное только, а живое; не писанье с натуры, а изобразившуюся самую натуру". Далее Венецианов излагает свои соображения о причинах произведенного картиной эффекта. "Говорили, что фокус освещения — причина сего очарования,... что *полным светом* никак невозможно произвести оживотворения предметов. Я решился победить невозможность: уехал в деревню и принялся работать. Для успеха в этом мне надобно было оставить все правила и манеры, двенадцатилетним копированием в Эрмитаже приобретенные. И средства Гранета открылись в самом простом виде. Дело состояло в том, чтобы *ничего не изображать иначе, как только в натуре*, что является, и повиноваться ей одной, без примеси манеры какого бы то ни было художника, то есть не писать картины á la Rembrandt, á la Rubens, но просто, как бы сказать, á la натура". Задача, как видим, была поставлена с изумительной для того времени определенностью. Венецианов опередил не только русских реалистов 60-х и 70-х гг., но и французских пленэристов (plein air), Моне и др. Удивительна и систематичность, с которой Венецианов осуществил свой план. Он подал в отставку (служил землемером), купил маленькое имение, прожил там в полном уединении три года и наконец, в

1824 г., поднес государю свою картину "Гумно". Чтобы получить "полный свет" в темном помещении, он вырезал всю переднюю часть гумна и таким способом осветил первый план уходящего вглубь сарая, в котором изобразил крестьянские работы. Радикальный способ получать "полный свет", то есть рисовать с натуры не в студии, а среди самой природы, был употреблен, впрочем, не одним Венециановым. Крылов, его ученик, чтобы написать зимний пейзаж в деревне, построил нарочно балаган среди поля. С легкой руки Венецианова художники овладели также темой освещенных интерьеров, анфилад комнат, мастерских живописцев и т.д. (Ф. Толстой, Рейтерн, Зеленко). Но и на Венецианове, и на его учениках все же отразились условности его времени. Его фигуры не движутся, а позируют в застывших положениях. Крестьяне напоминают "пейзан" тогдашней театральной пьесы. Художник как бы конфузится представлять их зрителю в неумытом и нечесаном виде; он предварительно учит их хорошим манерам и одевает по-праздничному. И все же для своего времени реализм Венецианова поразителен. Рановременность его появления подчеркивается и тем, что, в то время как этот скромный художник оставался в тени, занимаясь сомнительным видом искусства, академизм окреп и бурно праздновал свои победы в лице Брюллова и Бруни.

Самоуверенный и тщеславный Карл Брюллов, чуть не с детства готовивший себя в великие художники, поддержал кредит академии и влил в академический стиль искусственную жизнь. После долгой подготовки в Риме и одиннадцати месяцев труда Брюллов выставил свою претендовавшую на гениальность и широко разрекламированную картину "Последний день Помпеи". Слухи о заграничном триумфе Брюллова предшествовали появлению картины в Петербурге; наконец она была выставлена — в Зимнем Дворце и в Академии художеств. Чисто академическая по приемам, она явилась в глазах публики под знаком романтизма, и впервые в России успех картины принял размеры какого-то общественного события. "Последний день Помпеи" — это была сама жизнь после той "тихой скуки и ледяной неподвижности", какие царили в произведениях русских подражателей Менгса и Давида. Бегущие люди, падающие здания, при ярком зареве извержения и пожара, расточительность красок, движений фигур, эффекты света и выражение ужаса, отчаяния — все это привело русскую публику в такой же восторг, какой лет 15 раньше испытала французская публика перед полотном Жерико, первого провозвестника романтизма в живописи[8]. Русское впечатление было тем живее, что оно было первое в этом роде. Пусть это впечатление было основано на недоразумении, но того, что оно имело место — именно по указанным мотивам, — отрицать невозможно. Вспомним, что романтизм именно в

[8] Разумею здесь его знаменитую картину "Плот фрегата Медузы".

середине тридцатых годов был очередным увлечением русской интеллигенции.

Итак, первое сильное впечатление, произведенное живописью на русскую публику, было вместе с тем и первой победой над условностями академического классицизма. Конечно, этого рода победа носила временный характер. То, что сравнительно с предыдущим застоем искусства представилось на первый взгляд жизненной правдой, само по себе очень скоро должно было оказаться риторикой и сплошным общим местом. Действующие лица "Последнего дня Помпеи" слишком откровенно позировали перед зрителем в ролях, предоставленных им художником; вся эта сцена слишком напоминала театральное представление с заранее обдуманными и заученными эффектами. Положение, занятое Брюлловым, скоро оказалось промежуточным и временным в истории нашего искусства. Брюллов был Державиным русской живописи. Подобно "Певцу Фелицы", от старался вдохнуть жизнь в отжившие классические формы; но, продолжая пользоваться этими самыми формами, он так же быстро устарел вместе с ними. Его следующая большая картина, вымученная и искусственная "Осада Пскова", претендовавшая положить начало национальной живописи, уже не произвела и малой доли прежнего впечатления. Репутация Брюллова сохранилась только благодаря его замечательным портретам. Но толчок, данный художникам и публике, не пропал даром; только интерес, возбужденный у тех и других, скоро направился совсем в другую сторону.

В самый год колоссального успеха брюлловской картины в Петербурге Иванов начал писать свою картину в Риме. По замыслу художника, эта картина должна была произвести тот переворот в русской живописи, которого не удалось произвести Брюллову: она должна была сознательно покончить со старым направлением академии и внести в русское искусство жизнь и правду. И эта попытка, однако, не удалась и сохранила для нас только один исторический интерес. Картина Иванова слишком долго писалась, чтобы попасть в тон современности; зато для нас ее судьба служит лучшим показателем того, как быстро совершалось дальнейшее развитие художников и публики. Жажда правды, стремление к местному колориту было большой новостью, когда картина была задумана (около 1824); эти стремления оставались еще новостью, и тогда, когда Иванов, 12 лет спустя, начал, наконец, писать свою картину (1836). Но когда еще через столько же времени (1848) он ее кончил, все уже переменилось кругом художника: и время и люди. Переменился, в конце концов, и сам Иванов, утративший свой религиозный идеализм. Слишком поздно он осознал, как сильно над ним тяготели, по его собственному выражению, следы "татарского ига", и притом еще не одного, а нескольких: ига социального положения, ига семейных традиций, ига академического воспи-

тания, ига итальянской школы. Под этим гнетом Иванов истратил жизнь на то, чтобы рассудком убедиться, что русскому обществу нужно не то, что он делал, а что-то другое. Со свойственной ему добросовестностью, он горячо принялся искать этого "другого"; но ему так и не удалось до самой смерти вырваться из заколдованного круга академической пустыни, не пришлось даже и издали взглянуть на обетованную землю национального искусства. В те несколько недель жизни, которые оставались ему после возвращения из Италии в Россию (1858), он, конечно, не имел возможности рассмотреть, что эта искомая и неизвестная ему основа национального искусства тут, под руками, зреет и пробивается на свет Божий, только не в высокой форме религиозной живописи, а в форме презренного в его глазах, хотя и практиковавшегося им самим, с его обычным искусством и искренностью "жанра".

А между тем "жанр" — эта проза живописи, ее социальный роман и повесть — давно уже пустил корни в России и в середине века успел дать заметные побеги. Мы видели, что Венецианов (1780 -1847) был Карамзиным русской живописи, сумевшим облечь подлинный русский быт в те приличные, сильно подправленные и подслащенные формы, в которых этот быт только и мог тогда стать достоянием живописи. "Добрые поселяне" и добродетельные помещики венециановских жанров никого не могли шокировать; сама академия соглашалась на этих условиях принять под свое покровительство "сей приятный род живописи". Сорок восьмой год и тут сразу все испортил, внеся резкий диссонанс в мирное сожительство двух "штилей" и навсегда поссорив их между собою. Причиной ссоры было неблаговоспитанное поведение русского жанра. На академической выставке 1848 г. появилось знаменитое федотовское "Утро чиновника, получившего первый орден", переименованное из предосторожности в скромное "Следствие пирушки" в академическом каталоге. Осторожность оказалась не лишней: при воспроизведении картины в литографии пришлось пойти еще дальше и снять орден с халата новоиспеченного "кавалера". Смысл этих мероприятий понятен был каждому: впервые русская живопись осмелилась задеть настоящую, неприкрашенную *гоголевскую* действительность. К выставке следующего 1849 г. Федотов взял тему в духе только что начинавшего тогда Островского: он представил другую свою знаменитую картину "Сватовство майора". Русская живопись могла теперь праздновать свое гражданское совершеннолетие.

Публика пошла за Федотовым; но в мире художников до самого конца царствования императора Николая I продолжал царить Брюллов. Попытки Федотова здесь не казались серьезными и вызвали осуждение критики. Самому Федотову и в голову не могло прийти, что его картины окажутся первыми предвестниками того широкого движения, которое началось в русской

живописи с воцарением императора Александра II и привело к образованию самостоятельной русской школы.

На этот раз искусство догнало, наконец, литературу и пошло в своем развитии об руку с нею, в теснейшей от нее зависимости. Русские художники, в своем стремлении к правде и действительности, только примкнули к общему настроению литературы и вместе с нею бросились в борьбу против общего врага — против остатков ненавистной старины. Старые авторитеты в мире живописи, как и повсюду, должны были быть окончательно низвергнуты. Тот же самый литературный критик (В.В. Стасов), который в 1852-56 гг. еще верит в величие Брюллова, в 1861 году низводит его с пьедестала и подвергает суровой критике его художественные приемы. То же самое произведение, которое только что казалось критику чуть не бессмертным созданием по богатству художественной фантазии, теперь вызывает с его стороны одно осуждение, как произведение, оскорбительное для человеческого достоинства[9]. Понятно, что и картина Иванова, простоявшая в мастерской еще десять лет после того, как перестала удовлетворять самого художника, пришлась в эти годы (1858) совсем не ко двору. Молодежь спешила разорвать все связи с прошлым, с академией и с высокими родами живописи.

Перелом в отношении к искусству, как и в отношении к литературе, совпал с началом царствования Александра II. Как там, так и здесь общий дух свободы непосредственно повлиял на творчество. Отрицательно это выразилось в протесте против всякого рода казенщины. Положительно — в усвоении искусством идеи служения народу. Начала реализма, заложенные в искусстве предыдущей эпохи, укрепились и развились. Но, соответственно настроению первого десятилетия царствования, реализм стал служить прикладной — "обличительной" — задаче. В этом выразилась как вновь приобретенная им сила, так и его временная слабость — поскольку прикладная задача стала в противоречие с собственными задачами искусства: с реализмом *художественным*.

В области живописи поворот был подготовлен двумя специальными обстоятельствами. С одной стороны, академия художеств в начале 40-х гг. упразднила "казеннокоштных" учеников. Молодежь была выпущена на улицу из "парников" академии. Нововведение не замедлило сказаться. Почтительная и благовоспитанная академическая молодежь, привыкшая повиноваться начальству и работать на вкус высоких заказчиков,

---

[9] Речь идет о последнем эскизе Брюллова "Всесокрушающее время" Tempo Destruttore, в котором автор хотел состязаться со "Страшным судом" Микеланджело и изобразить всех представителей религий, науки и искусства, любви и красоты всех времен и народов низвергаемыми старцем Временем в одни и те же волны забвения.

сменилась художественной богемой. В эмансипированную среду гораздо легче было проникнуть новым течениям в искусстве. В ней развилось и чувство самостоятельности, толкавшее на художественное новаторство. Другим новым обстоятельством, ослабившим идейное влияние академии, было создание в тех же 40-х гг. в Москве конкурирующего учреждения: Училища живописи, ваяния и зодчества. Москва всегда претендовала на самостоятельность; влияние петербургской академии, хотя официально и покровительствовавшей московской школе, было далеко. В преподавании здесь царила гораздо большая свобода и даже своеволие. В Москве и появилось в конце 50-х гг. то молодое течение, которое мечтало преобразовать в духе свободы и самую петербургскую академию. Надо тут же добавить, что в Москве появился и образованный меценат, С.М. Третьяков, который своими покупками, составившими основу Третьяковской галереи, дал молодым художникам материальную базу для их творчества.

Не далее как в 1863 г. настроение молодого поколения художников находит свое выражение в факте, в высшей степени характерном. Тринадцать талантливых учеников академии отказываются изображать "бога Одина в Валгале" — очередная тема, заданная академией на золотую медаль. Они решают, что академия им больше не нужна, посылка за границу тоже; подражания великим образцам они бегут, как чумы, всему предпочитают натуру, и притом свою родную, русскую натуру, и в ней ищут пищи для своего вдохновения. Покинув академию, молодежь составляет "артель", сделавшуюся потом зерном "Товарищества передвижных выставок". Обращение к большой публике являлось естественным выходом для такого направления, которое не хотело больше лицемерия и учености, объявляло войну всякой условности и всем хотело быть одинаково понятно. На академической выставке новому направлению скоро становится тесно; с 1871 г. является "передвижная", и к ней переходят все симпатии публики.

Последствия этого движения шестидесятых годов всем хорошо известны. Вслед за Перовым — Некрасовым русской живописи — выступила целая фаланга талантливых художников, перенесших на полотно все содержание русской действительности. Город и деревня, столица и провинциальная глушь, все классы общества, крестьяне и разночинцы, помещики, духовенство белое и черное; люди всяких профессий, чиновники и лавочники, доктора и адвокаты, студенты и курсистки; всевозможные положения жизни, служба и ссылка, преступление, подвиг и мирная семейная жизнь; вся гамма душевных настроений, от легкой шутки до ужасающей трагедии, всяческая злоба дня, банковый крах, судебный процесс — словом, все бесконечно разнообразное содержание действительной жизни сразу сделалось содержанием того рода живописи, который так еще

недавно занимал в искусстве и на выставках второстепенное положение "жанра". Теперь никто ничем другим не интересовался. Религиозная живопись бессильна была вдохновить художника; историческая живопись удавалась редко. Зато везде, где русские художники чувствовали под собой почву в существующей действительности, где искусство должно было только быть правдивым, — везде новое направление быстро добилось блестящих успехов. Подобно литературе, его обвиняли в тенденциозности, в стремлении обличать общественное зло, в том, что его реализм часто переходил в преувеличение и карикатуру. Нельзя отрицать фактов, вызвавших эти обвинения, и нет надобности их оправдывать. Искусство только было в этом случае верным выразителем настроения современного ему общества. Принцип реализма, во всяком случае, был шире тех применений, которые из него делались на первых порах, и глубже коренился в условиях развития русского творчества. Лишенное живой традиции и школы, русское искусство должно было на первых шагах своего развития оказаться непосредственным и свежим, враждебным всякой искусственности. Когда обличительная горячка прошла, искусство все-таки осталось реалистическим и, перестав быть сентенциозным, оно от этого не сделалось менее поучительным. После Перова мы получили Репина, изобразившего нам, без сентиментальности и раздражения, нечто более сильное, чем все инвективы молодого Перова. Репину нет надобности изображать сельского пастыря в момент самого крайнего унижения, чтобы вызвать в зрителе критическое отношение к нему. Тот же "крестный ход" он изобразит, напротив, в момент высшего торжества формальной веры — и впечатление зрителя будет гораздо глубже и сильнее. Из толпы оборванцев ("Бурлаки") он создаст художественный символ русского народа, веками тянущего свою тяжелую государственную лямку среди монотонной исторической арены. И конечно, этот "жанр" будет не менее "исторической" живописью, чем изображение такой же группы оборванцев ("Запорожцы"), не уместившихся в рамках государственности и сложившихся в бесшабашное казацкое рыцарство. Как видим, все доступно этому реализму, не исключая самых глубоких исторических концепций. Только в области религиозной живописи он остается бессильным и вместо иконы дает ту же историческую картину (Святитель Николай): но это потому, что расцвет религиозной живописи бывает продуктом совсем других времен и иных общественных настроений. Получи национальная школа живописи свое начало в исходе XVII в., она, конечно, развивалась бы на почве религиозной живописи в духе прерафаэлитизма; во второй половине XIX века она только и могла развиться на почве социальной борьбы и житейского реализма.

Однако же описанному периоду в истории русского искусства не суждено было остаться окончательным. Представляя на-

раллель к классическому периоду литературы XIX в., изобразительное искусство разделило и его судьбу. Эпоха "передвижников" запоздала сравнительно с началом художественного реализма в литературе; но кончается она приблизительно в то же время, в 80-90-х гг., и перед тем же напором нового поколения. Новый разрыв традиций и бунт молодежи 90-х гг. повторяет бунт самих передвижников против предшествовавшего им поколения академистов. Но то восстание взяло своим лозунгом создание русской национальной школы. Восстание молодежи 90-х гг. становится под знамя космополитизма. Еще явственнее, чем в литературе, оно воспроизводит новые европейские веяния с таким же запозданием. Как там, так и здесь новое европейское влияние уводит русское творчество от реализма — и от воздействия на большие массы, доступные только реалистическому искусству. Изобразительные искусства, как и литература, уходят в тесные дружеские кружки, подчиняющиеся влиянию "урбанизма" и покровительствуемые (в Москве) молодым поколением купечества, прошедшего через те же настроения конца века. Наконец, как там, так и здесь, победе нового направления предшествует переходный период освобождения от старой школы, дающий на этот раз более положительные результаты.

Так как мы здесь опять вступаем в современный период истории творчества, то должны быть готовы к преувеличенным переоценкам прошлого и настоящего: к чересчур высокой оценке собственных достижений и к чрезмерному преуменьшению заслуг предшественников. Историк должен быть настороже против того и другого. История еще не произвела окончательной переоценки деятельности поколения 90-х гг., как оно переоценило работу предыдущего. Но и его собственная деятельность, как увидим, теперь отходит уже в прошлое, отодвигается в перспективу, благоприятную для исторического суждения.

Надо сказать, что сами передвижники значительно облегчили тот протест против себя, который назревал в новом поколении. В середине 70-х годов они уже не были теми задорными протестантами и бойцами, какими явились организаторы "Артели" 60-х гг. Их пыл утих вместе с достигнутым ими успехом. Их художественная техника усовершенствовалась — и тем самым они приблизились к академии. Мы увидим такое же — и еще более яркое сближение в истории музыки. Первоначальный состав передвижников увеличился новыми пришельцами, жизненный путь которых был иной, нежели протестантов 1863 г. Со своей стороны и академия не осталась вовсе чужда новым веяниям. В конце века она даже приняла в свою среду (при И.И. Толстом) некоторых видных передвижников — прежде всего Репина, занявшего пост ректора академии, Куинджи (правда, скоро вышедшего), Вл. Маковского, Киселева. Наконец — и это всего важнее — произошла в этих смешавшихся рядах психологическая перемена, всегда сопутствующая зре-

лым эпохам искусства, в которых полное усвоение техники совпадает с упадком энтузиазма. В такие времена средства творчества усваиваются в совершенстве, но цели творчества начинают становиться безразличными. При усилении интереса к технике слабеет интерес и появляется равнодушие к содержанию. Нечто подобное произошло и у нас в половине 70-80-х гг. Появилась группа художников — из поколения, непосредственно следовавшего за передвижниками и из их собственной среды, — давшая повод врагам академизма говорить о "возрождении академизма". Сюда причислялись, как выученики академии — Флавицкий (1830-66), К. Маковский (1839-1915), Семирадский (1842-1902), — так и некоторые передвижники, как Владимир Маковский (1846-1920), и независимые, как Верещагин (1842-1904) и Поленов (р.1844). Указывалось на связь их манеры с придворным искусством Зичи, Макарта и т.д.

Со стороны нового поколения, родившегося на рубеже 60-х и 70-х годов, вся эта группа художников, родившихся 20 годами раньше, подверглась особенно сильному нападению. Исключительный успех, который все они имели у публики, послужил лишь к отягчению их виновности; одобрение "мещанской" толпы только доказывало в глазах молодежи поверхностность и банальность их живописи. Последователь Брюллова Флавицкий со своими "Мучениками" и Моллер с "Патмосом" — "порождения ложного искусства", "ложны и безжизненны". "Глаз скользит" мимо "хорошеньких личиков", "гладких тел", "круглых жестов и приторных красок". Семирадский с ослепительной "Фриной" и пышными "Светочами" — "угодил всем" "своими театральными позами, всей якобы прекрасной ложью своих картин, гладкими телами и миловидными лицами". Другой "брюлловец", Константин Маковский, "вечно удовлетворял модным потребностям" и постарался "связать в одно целое национализм, реализм, академический псевдоидеализм и попросту великосветское изящество". Поленов — тоже "академический эпигон". "Толпа оценила (в "Грешнице") эффектную оперную декорацию с розовой далью, великолепными кипарисами и роскошным храмом в перспективе". Владимир Маковский "разбавил веское, несколько тяжелое искусство своих предшественников жиденьким, умеренно подогретым бульонцем своего острячества, своей якобы объективности". Верещагин — "холодный, бездушный и бессердечный протоколист, никогда не проникавший в самую глубь явлений".

Все эти определения, взятые из "Истории живописи" Бенуа, характеризуют настроение группы художников и художественных критиков, объединившихся около органа "Мир искусства", издававшегося в 1898-1902 гг. Положительные взгляды самой этой группы, однородной лишь в своем ядре — петербургских художников — выясняются, прежде всего, из характера ее отрицания. Ее отталкивает академизм, в котором она видит ус-

ловность и неискренность, "всегдашние черты всякого академизма", усиленные в России отсталостью академиков от современного западного искусства. Но "Мир искусства" отталкивается также не менее резко от обличительных тенденций и вообще от гражданских идей в искусстве и от господствовавшего в предыдущем поколении реалистического и позитивистского мировоззрения. Ближайшее средство произвести переворот в русском искусстве они видят в сближении его с западным. "В 70-х и еще 80-х гг., — констатирует Бенуа, — не существовало никакой связи между нами и истинно художественным творчеством на западе... Мы... знали только официальных художников, скучных академиков, вроде Бугеро, Кабанеля, Жерома, Пилоти или салонных кондитеров, вроде Макарта, Зихеля, Лефевра, также кое-кого из забавных анекдотистов. Об английских прерафаэлитах у нас заговорили только 8 лет тому назад; Беклин, Менцель, Уистлер и Лебль вовсе не были известны; Милле, Коро и импрессионисты считались шарлатанами, выдвинутыми парижскими торговцами. Но именно за последние 10 лет положение дел резко изменилось. Частые выставки иностранных художников, устраиваемые в Петербурге и в Москве, общедоступность заграничных путешествий, распространенность иллюстрированных изданий об искусстве — все это сблизило нас с Западом". В результате "мы иначе взглянули на наше родное искусство. Требования наши к *живописи* неизмеримо повысились... Обнаружился низкий *художественный уровень* нашей живописи" (писано в 1902 г.).

Непосредственным выводом отсюда было стремление поднять чисто живописную сторону художественного произведения над содержанием, так же как в музыке раздавалось одновременно требование поднять чисто звуковую сторону над "программой" музыкального произведения. Но "Мир искусства" шел дальше. Как и в литературе, дело не ограничилось преимущественными заботами о форме. Нападения были направлены не только на "плохую живопись" передвижников, но — и главным образом — на содержание, на тенденциозность их тематики, связанной с их "позитивным" мировоззрением. Поэтому и задачей новой школы становилось заменить это содержание другим — противоположным. Передвижники занимались злобой дня. Уйти от злобы дня становилось задачей нового направления.

Собственно, сами организаторы "Мира искусства" ушли не очень далеко. Бенуа, Сомов, Лансере сосредоточились на изучении недавнего прошлого, именно петербургского искусства и через него перешли к художественной реставрации его первоисточника — французского искусства XVIII в. От Царского села к Версалю, от русских петиметров к французским маркизам — таков круг их тематики. Игорь Грабарь пошел дальше вглубь — к истокам русского национального искусства. Конечно, "Мир

искусства" знакомил своих читателей и с современными мастерами, но преимущественно путем переводов иностранных статей о них. Новейшие течения остались при этом в тени. О них нам придется говорить ниже, в связи с исканиями поколения, еще более молодого. Сравнительная умеренность организаторов "Мира искусства" дала возможность примкнуть к их основному ядру художникам несколько иного направления. Примкнул к ним на короткое время и Репин, находивший в 1897 г., что "не только импрессионизм, мистицизм и символизм, но даже так называемое декадентство имеет право *быть*" и даже "в будущем увенчается лаврами", как "проявление индивидуальных ощущений человеческой души, ощущений, иногда таких странных, тонких и глубоких, какие грезятся только поэту". Правда, он недолго выдержал. По поводу резких отзывов "Мира искусства" об академии, ректором которой он тогда был, и о ряде признанных художников, Репин вышел из сотрудников журнала, написав при этом письмо, в котором называл Бенуа и Сомова "недоучками", свергателями "авторитета академического преподавания", "дилетантами", а произведения их авторитетов Милле, Дегаса, Пювиса де Шаванна "посредственными картинками".

Если путь в будущее был для сотрудников "Мира искусства" еще неясен, то с прошлым они решительно порывали. Однако из этого прошлого в настоящее тянулись нити, которые шли параллельно с их собственными начинаниями и, не порывая с русским художественным реализмом, вносили в него новые ноты, чуждые передвижникам в старом смысле. Общая тенденция представителей этих новых настроений была та же, что и у мироискусников: стремление или уйти от действительности, или вычитать в ней такое, таинственное и сверхчувственное, что не давалось непосвященному глазу. Но стремления эти шли в иных направлениях, чем у начинателей "Мира искусства".

Один из этих путей был уже указан "Миром искусства": путь в историческое прошлое. Помимо его археологического восстановления, как у Грабаря, оставалась еще задача художественного воспроизведения — тем более интересная, что этими темами, по традиции, владела академия. Тут был и предшественник, для которого художники "Мира искусства" делали некоторые исключения из своего огульного осуждения академического исторического жанра "разных" Деларошей, Пилоти и Матейко. Это был Шварц, рано умерший "художник-любитель", выступивший еще в 50-х годах. "Благодаря ему мы стали видеть события прошлого в их настоящем облике без того безвкусного, чисто мишурного блеска, которым отличается "Осада Пскова" Брюллова. Но исключительное значение сторонники нового направления признавали только за Суриковым, оговариваясь при этом, что видят это значение не в глубоком истори-

ческом смысле его "Стрельцов" и "Боярыни Морозовой", а в чисто художественной стороне этих произведений. Очень подчеркивались заявления этого ученика академика Чистякова, учившего его колориту, что "Стрельцы" произошли от случайно замеченного отражения зажженной свечи на белой рубахе, а "Морозову" породило зрелище черной вороны, сидевшей с оттопыренным крылом на снегу. Обращали также внимание на широкую технику письма, на "ритмы" композиции, на "оркестровку" красок Сурикова. Но, конечно, не одни эти живописные достоинства сделали картины Сурикова настоящими эпопеями, производившими одинаково сильное впечатление с эпопеями Репина.

Другими двумя направлениями, выводившими более или менее незаметно за пределы передвижнического искусства, были все те же известные нам области, в которых русское искусство раньше всего осознало свою самостоятельность: пейзаж и портрет. Резко осуждая марины Айвазовского, "разменявшего все свое большое дарование и свою истинно художественную душу на продажный взор", мироискусники, однако, готовы были оказать снисхождение двум из передвижников-пейзажистов, Клодту и Шишкину. Хотя они и провели несколько лет в "пресловутом Дюссельдорфе", но тем не менее академия не совсем их испортила. Оба эти художника признаны "предшественниками наших чудных поэтов родного пейзажа". Не по колориту, конечно, а только по рисунку. Ведь для "хвойной растительности и серых бесцветных дней", удававшихся Шишкину, колорит "безразличен". Другое дело Куинджи, "побывавший в Париже". Хотя он и "отнесся скорее отрицательно к французским импрессионистам", но все же привез оттуда свои краски, "которых не отыскать во всем тогдашнем русском художестве". Но рядом с заслуживавшей похвалу "правдивостью, доходившей до дерзости", и Куинджи был осужден за "наклонность к дешевому эффекту, к театральным приемам, потворство грубым вкусам толпы". Начало нового периода в истории пейзажа мироискусники вели с картины Саврасова "Грачи прилетели" (1871), в которой находили проявление "священного дара внимать таинственным голосам в природе". Венцом достижений в этом направлении, конечно, является Левитан. Но подозрение проникает и сюда. В самом названии "Тихой обители" подчеркнуто намерение художника передать *настроение* — и притом не посредством красок, которым негде развернуться в "тихой, скромной, милой русской природе". Левитан, по "Миру искусства", научился разбираться в самом себе, только побывав на Парижской выставке 1889 г. и оценив достижения барбизонской школы. Впрочем, все же "Левитан не барбизонец, не голландец и не импрессионист. Левитан — художник русский... родной брат Кольцову, Тургеневу, Тютчеву". При условии, однако, что он достигает своей цели "чисто живописными" приемами. Это —

особый вид "простого здорового реализма". Чем же он отличается от реализма передвижников? Отсутствием "направленства"? Очевидно, нет. "Направленство" у Левитана есть, но только оно особого рода — не идейное, а эмоциональное. Таково оно и у "Мира искусства".

Левитану пришлось поэтому выдержать большую "душевную борьбу", прежде чем он "разорвал с прошлым". Эта борьба "окончательно подточила" его и без того уже надломленное здоровье. Без борьбы отошел и стал "первым ярким русским импрессионистом" Константин Коровин (р. 1861). И он, сразу ставший на свои ноги, побывал в Париже и мгновенно впитал в себя все завоевания импрессионистского направления" (В. Никольский). Колорит, "фонтаны цветов", "праздники для глаз" здесь уже выдвигаются на первое место. При этом особенно подчеркивается и полемическая цель: дать картину "без передвижнического содержания". Для размаха коровинской кисти рамки картины оказались тесны. Он начал ту плеяду мироискусственских декораторов (Головин, Бакст, Бенуа, Билибин, Судейкин), которая перенесла живопись на подмостки театра. При содействии такого энергичного организатора, как Дягилев, Европа познакомилась с русским искусством именно в этом его виде. Без "направленства", конечно, и здесь не обошлось. Таким направленством было особенное подчеркивание для заграницы нарочно для этого созданного стиля.

Особое положение в области пейзажа занимает пошедший своим собственным путем Н. Рерих. Археолог по профессии, он ушел от настоящего не в историю, а в доисторическую легенду. Тут, на полном просторе он развернул свой талант колориста. Пренебрежение к "линии" ради краски, покрытие краской целых плоскостей без оттенков — эти приемы импрессионизма нашли себе в живописи Рериха широкое применение. При этом особенно подчеркивается и с течением времени стал доминирующей чертой элемент таинственного. Рерих пишет свои картины целыми сериями и от картины легко переходит к декорации. Стилизация, прогрессировавшая уже у упомянутых декораторов, тут становится основным законом. Люди начинают походить на явления природы, облака и камни — на людей. За таинственными скалами и озерами Финляндии, окрашенными в цвета светопреставления или сотворения мира, последовали мистерии индийских городов и поиски священных тайн в Гималаях и Тибете. Экзотика увела Рериха от русского искусства к американским небоскребам, приютившим его полотна, и этот исход еще раз показал космополитичность этого вида русского национального искусства.

Переходя к новым достижениям в области портрета, мы напомним, что в этой области всегда господствовал реализм. Романтический классик Брюллов, фальшивый в своих исторических и аллегорических композициях, остался реалистом в по-

ртретах и дал произведения, пережившие его направление. То же самое надо сказать о Ге, о Крамском, о Репине и о многих других: их портреты превышали достоинством их другие произведения именно благодаря реалистической трактовке. Период протеста против передвижников также дал замечательного портретиста, внесшего в свои произведения новую тенденцию мироискусников — и признанного ими: Валентина Серова. Ученик Репина и участник передвижных выставок, Серов не ушел от реализма и тогда, когда пытался одухотворить его своими не только "живописными" задачами. Все согласны, что одной из этих задач было проникновение в психологию позировавших Серову лиц и что в результате получились "не только чудесные куски живописи, но и очень умные, очень тонкие, очень веские характеристики" (Бенуа). Известно также, с каким напряжением, как мучительно доставались Серову его достижения. От колорита он перешел к поискам "линии", меткого штриха, который бы сразу дал искомую характеристику. Но во всех этих поисках он не доходил до стилизации и оставался реалистом. Противникам передвижников пришлось для этого рода реализма ввести особый термин "неореализма".

Новые духовные токи, прорывавшиеся с трудом в таких реалистических темах, как пейзаж и портрет, искали для себя большого простора. Они нашли его в сказочном мире русского фольклора и в религиозной живописи. Здесь и стилизация, и красочность могли развертываться до любых пределов. Начало, однако, и здесь было довольно скромно и не выходило сразу за пределы реализма. Это начало положил Виктор Васнецов, принадлежавший к поколению передвижников (р. 1848) и признанный молодыми только наполовину. Его попытки проникнуть в мир сказки и былины ("Аленушка", "Витязь на распутье", "Иван Царевич", "Три царевны подземного царства" — все написаны в 80-х годах) были признаны неудовлетворительными, потому что Васнецов в них остался слишком реалистом. Это были не "видения", а настоящие, живые люди среди живой природы. Однако сравнительно с совершенно уже реалистическими этюдами и картинами Поленова и это все-таки был шаг в сторону "идеализма". Начинание Васнецова, столь необычное в России, не могло не вызвать споров и страстей с противоположных сторон. Переход Васнецова от сказок к росписи Киевского собора (1886) сопровождался слухами, что здесь готовится нечто "грандиозное и святое, какое-то новое откровение". Васнецов претендовал на лавры, которых не добился Иванов. Когда через десять лет работа была исполнена, посетителей собора поразила невиданная смесь византийской традиции с модерной техникой. Знаменитая "Мадонна" с громадными глазами и в кокетливой позе заслужила Васнецову широкую популярность. Но молодые были на этот раз вполне правы, когда за достигнутым эффектом распознали западные "трюки" и отказались признать в Вас-

нецове возродителя национальной религиозной живописи. Молодежь противопоставила Васнецову вновь открытую древнюю русскую икону и признала, что он все-таки "ближе к Бруни, чем к Иванову". Молодое поколение отдавало предпочтение — правда, тоже с оговорками — своему сверстнику Нестерову (р. 1862), хотя он и был несколько "испорчен" Васнецовым, с которым сотрудничал по расписанию Киевского собора. Иконы Нестерова были признаны "ничем не отличающимися по сладости и искусственности от фальшивых созданий Васнецова". Но получила признание его "поэзия молитвенных настроений, тихих экстазов, чудесных видений, откровений", удивительно гармонировавшая с пейзажами Нестерова. Сцены монастырской жизни и видения подвижников развертывались на фоне той самой бедной северной природы, среди которой и сложилась эта жизнь и создавались или прививались эти житийные легенды и сказки.

Гораздо смелее двигались в мире легенд и сказаний более молодые художники: как упомянутые выше Рерих (р. 1874) и Билибин (р. 1876), так и стоявший особняком Врубель. По грандиозности замыслов, по напряженности исканий — и также по остроте болезненного чувства несоответствия между исканиями и достижениями — Врубель превосходит Серова и напоминает Скрябина. Его мастерство колорита, достигавшее изумительных результатов в рисовке цветных переливов ("Жемчужина") и самоцветных камней ("Демон"), его попытки творческого перевоплощения природы, его наибольшее приближение к настроению истинно религиозного живописца — все это только малые осколки того, чего он хотел достигнуть. Помешательство и смерть были выходом из этой непосильной борьбы с собственным идеалом.

Отделяя первоначальное ядро мироискусников от приставших к ним со стороны и шедших под общим знаменем, мы можем спросить себя, что же нового было внесено в историю искусства и в самое искусство этими задорными начинателями. Искать ответа, прежде всего, нужно в их собственной декларации. Такая имеется за подписью Сергея Дягилева. "Нетрудно *отрицать*, — говорится там, — и в этом мы достигли особенно тонкого совершенства, с привычным и милым нам скептицизмом. Но что *провозгласить*, как разобраться в непроцеженном и хаотическом достоянии, полученном от наших отцов, когда одной оценки или, лучше, переоценки бесчисленных унаследованных сокровищ хватит на целую жизнь нашего поколения?" Мы видели эти "оценки и переоценки": они сами, по закону поколений, нуждаются в новых оценках и переоценках. "Разве можем мы принять на веру споры наших предков и убеждения отцов, — мы, которые ищем только личного и верим только в свое, — спрашивает дальше Дягилев. Последняя половина фразы смягчается дальнейшей оговоркой. "Мы больше и шире, чем

кто-либо и когда-либо. Любим *все*, но видим все через себя, и в этом, лишь в этом одном смысле любим себя". От оригинальности здесь как будто переход к эклектизму, *столь ненавистному* новой школе. Эклектизма, конечно, нет: есть *свое*, доходящее до страсти самоутверждение. Но каково его положительное содержание? "Вот появились мы, с нашими новыми требованиями, лишь подтверждая общую правильность хода исторического развития. *Правда*, мы отличались чем-то от известных изученных форм, мы сделали несколько *робких и невинных* шагов в сторону от большой проезжей дороги". И "нас назвали детьми упадка". Справедливо ли это обвинение? И да, и нет. "Мы составляем еще одну печальную эпоху", — отвечает Дягилев, когда искусство, достигнув апогея своей зрелости, окидывает "прощальными, косыми лучами заходящего солнца стареющие цивилизации". В упадке не мы — так развивается дальше эта мысль. В упадке все три течения, сменившиеся в XIX в.: классицизм, романтизм, реализм. "Мы остались скептическими наблюдателями, в одинаковой степени отрицающими и признающими все до нас бывшие попытки". Итак, опять эклектизм? Нет, это любовь к красоте, где бы она ни была, к красоте, открывающей тайну за внешним ликом природы. Может быть, эта фраза идет не дальше мысли Дягилева, утверждающего, что он не знает и не хочет готовых формул. "Конечно, — оговаривается он, — у детей в большинстве случаев является какое-то поистине детское желание делать все не то, что делали отцы, и самодовольно бравировать допущенными крайностями. Но как же объяснить близорукость отцов, попадающихся на удочку детского задора?.. Как... не понять, что каждая эпоха переполнена... всякими крайностями, которые... откидываются... как ненужная шелуха, из которой выходит настоящее ядро?" Дягилев утверждает — и не напрасно, — что "дети" избегли этих крайностей. "Смешно и неразумно делать заключение о нашей эпохе по живописи Ван Гога и Ларошфуко или по литературным произведениям Малларме и Люиса. Эти примеры комичны и недоказательны. Эпохи можно судить по элементам, серьезно их выражающим, а не по какому-нибудь набору случайных знаменитостей".

На этих фразах тоже надо остановиться. "Мир искусства" действительно отмежевывается от таких "крайностей", которые следующим "детям" покажутся настоящей нормой достигнутого. Своих авторитетов мироискусники ищут скорее в прошлом, и притом довольно отдаленном, чем в настоящем. Их большая заслуга, как мы знаем, и заключается прежде всего в оживлении памяти об этом прошлом. Из новых их бесспорный авторитет только Уистлер, и из импрессионистов они подробнее останавливаются только на одном Дегасе. Борясь с русской национальной школой во имя нового сближения с Европой, они, однако, очень осторожно относятся к вопросу о национальном

элементе в искусстве. С одной стороны, "что может быть губительнее для творца, как желание *стать* национальным?" С другой стороны, "сама натура должна быть народной, должна невольно, даже, быть может, против воли, вечно рефлектировать блеском коренной национальности". "Являются такие (сознательные) искатели и схватывают то, что их поверхностному представлению кажется наиболее типичным... Это роковая ошибка". Но когда понадобилось экспортировать за границу русское национальное искусство — ибо только такое и могло привлечь интерес иностранной публики своим экзотизмом, — Дягилев не побоялся выхватить "поверхностные" черты национальности, которые, по линии наименьшего сопротивления, устанавливали "типичность" русского искусства. Русские декорации, русский балет вместе с русской оперной музыкой понравились за границей прежде всего этой экзотичностью, непривычным для европейца сочетанием линий, телодвижений, мелодий, гармоний. Значит ли это, что тут был создан настоящий русский национальный стиль? Это было бы великим достижением, но приписывать его мироискусникам — более, чем неосторожно. Несомненной заслугой их является попытка создать русский стиль в предметах обихода, в мебели, утвари, вышивках, коврах, орнаментах и т.д. Но и тут национальный стиль слишком переполнен элементами стиля "модерн" и непереваренными реминисценциями форм древнерусского искусства, чтобы явиться в законченном виде. Абрамцевская лаборатория[10] дала интересный толчок художникам, но было бы неосторожно говорить о ее окончательных достижениях.

Вот выводы, которые оставляют место для дальнейшего движения нового поколения. Чтобы идти дальше, оно отвергло многое из "всего" того, что признавалось мироискусниками, и сделало своей исходной точкой то, что представлялось "крайностями" и "шелухой" Бенуа и Дягилеву. "Группа "Мира искусства" пришла к современности от истории и старалась все-таки соблюсти известную историческую объективность. Новые "дети" не знали истории и вовсе не хотели, даже в дягилевском смысле, быть объективными.

Разногласия молодого поколения с мироискусниками проявились довольно скоро. В "Золотом руне" за 1906 г. (№ 2) уже встречаем статью Бенуа о "Художественных ересях", в которой спор с тенденциями молодежи поставлен очень остро. "Поколе-

---

10 Абрамцево — усадьба Саввы Морозова, где, по свидетельству Бенуа, в 80-х гг. собирались все, кто лелеял в своей душе новые мечты; где "созидалась очаровательная постановка "Снегурочки" Васнецова, работали Поленов, Головин, Коровин, Врубель, выросли и воспитались Левитан, Серов, Якунчикова и многие другие". "Деспотичного, любящего блеск и громкую славу" Савву Мамонтова Бенуа ставит рядом с Дягилевым, как рядом со "скромным Третьяковым" стоял "социалист Крамской".

ние, зреющее нам на смену, — говорит здесь Бенуа, — увлечено индивидуализмом, презирает каноны, школу, традиции". По мнению Бенуа, этот "индивидуализм — ересь", "потому что отрицает *приобщение*". "Настоящее искусство доживает "лишь в школах", "где художники группируются вокруг известной *догмы*". "Отдельное я, отрешенное от всего постороннего, едва ли величина ценная". А между тем "художники разбрелись по своим углам, тешатся самовосхищением... стараются быть только самими собой". Подобный, "строго проведенный индивидуализм, есть абсурд, ведущий... к одичанию человеческой личности". "Положение, созданное искусству в настоящее время, — заключал Бенуа, — беспримерно... (оно) ближе всего к эпохе упадка Древнего Рима, к византинизму".

Статья Бенуа вызвала оговорку редакции, что эта точка зрения "в основных пунктах расходится со взглядами редакции". Она вызвала также ряд возражений на страницах самого журнала — Шервашидзе (№ 5), С. Маковского (1907, № 5), Милиоти (там же), Философова, Волошина (1906, № 6), отчасти Рериха. Шервашидзе отвечал: "Нашествие варваров — обновление жизни. Не в нашей власти остановить его. Жизнь беспрерывно создает новые формы, и новые формы жизни требуют нового искусства... Какое оно будет, мы не знаем, но верим в неиссякаемую силу жизни". Милиоти резко нападал на "Мир искусства", упрекая его в "салонности", в том, что мироискусники "надолго изгнали весь драматизм душевных переживаний, измельчили задачи искусства сведением их к рафинированному эстетизму, разменявшему на мелочи стихийно-ценные задачи духа". "Религиозное чувство было забыто, — прибавлял Милиоти в другом месте (1909, № 4), — Христос и апостолы... заменились боскетами, амурами, манерными господами и дамами... Душа измельчилась, утончилась и ушла в слишком хрупкую изысканную форму". "Перед русским искусством, — решительно заявлял Милиоти, — стоит роковой вопрос: или замкнуться в себе, развивая круг эстетически утонченных ощущений и служа забавой одинаково чувствующему, но ограниченному классу, или расширить и углубить... наши внутренние переживания, не бояться властных запросов объективной жизни — и стать реально нужным". Социальный мотив выдвигал и Волошин, соединяя его с формулой, значение которой мы увидим ниже. "Задача искусства не в том, чтобы быть зеркальным отражением жизни, а в том, чтобы в каждый момент *преображать, просветлять и творить окружающую природу*". Искусство есть оправдание жизни. Для этого живопись должна выйти за пределы картины, "которая абсолютно чужда обстановке и архитектуре современного жилища". Теперь "творчество вещей, окружающих человека, перешло в руки фабрики; художники потеряли возможность активного и непосредственного пересоздания окружающей жизни".

Чтобы дойти до этого вывода от позиции "Мира искусства", живопись должна была пройти длинный путь. Заграничному искусству для этого понадобилось около полувека. Россия опоздала к началу этой новейшей эволюции. Но затем она проделала ее сокращенным путем, в течение 20-25 лет, пропуская этапы и спеша догнать последние "крики". Источником влияния оставался все время Париж. Позднее, к нему присоединились немецкие "Сецессионы", тоже опаздывавшие вначале. Для большей отчетливости дальнейшего изложения нам необходимо остановиться, хотя бы вкратце, на этих европейских источниках русских новейших заимствований.

Смена направлений и лозунгов шла и в Западной Европе тоже ускоряющимся темпом по направлению к XX в. Возраставший "индивидуализм" был, несомненно, общей пружиной всего движения. Последствием роста индивидуальных стремлений, как тоже верно указал Бенуа, было постепенное дробление и измельчание художественных кружков. Эта дробность делает чрезвычайно трудной классификацию новейших течений. Для наших целей мы можем, правда, ограничиться самыми общими чертами. В процессе освобождения новейшей живописи от традиции — не только академической, но и всяческой — живопись прошла три последовательных этапа.

Первая ступень эмансипации от традиции основывается на принципе: наибольшее приближение к природе путем изображения ее натуральными красками в неприкрашенном виде — так, как она представляется художнику в момент, избранный для изображения ("импрессионизм"). На второй ступени художник освобождает себя от точного изображения природы, употребляя ее как способ передать собственные душевные переживания ("экспрессионизм"). В результате получается прогрессирующая деформация изображений и на место мертвой природы выдвигается, на фоне интимного пейзажа, носитель "экспрессии", человеческая фигура. На третьей ступени художник протестует против получившейся бесформенности изображения, но вместо возвращения к точному изображению природы "творит" собственные чистые формы, совершенно оторванные от всякой связи с реальными предметами. На этой ступени живопись становится "беспредметной" и выходит за свои естественные пределы. Само собой разумеется, что в предлагаемую схему никак нельзя вместить всего богатства и разнообразия художественных произведений новейшего периода. Но чтобы разобраться во внутреннем смысле так сказать, в логике художественной эволюции новейшего времени, — предлагаемая схема может послужить руководящей нитью. Естественно также, что далеко не все художники, заслуживающие внимания — и даже не всегда наиболее талантливые, а лишь наиболее характерные для исторического процесса, — могут быть введены в последующее изложение.

Никто не оспаривает, что первой ступенью новейшей модернизации живописи является течение, получившее название "импрессионизм".

Это течение, господствовавшее на протяжении всей последней трети XIX столетия, само прошло через три ступени, которые принято различать названиями "импрессионизм", "неоимпрессионизм" и "постимпрессионизм".

При своем возникновении импрессионизм имел очень определенный смысл. Подготовленное в смысле колорита английскими художниками Тернером и Констеблем, а в смысле перехода от академизма к реализму — французскими художниками Домье, Коро, Курбе и др., течение импрессионизма имело своим признанным родоначальником Эдуарда Мане. Его знаменитые картины Dejeuner sur l'herbe и Olimpia, выставленные в 1863 и 1865 гг., вызвали крик негодования как проявление грубого и ужасного реализма. Слишком живые краски и отсутствие теней с непривычки резали глаз. Около Мане тогда же собралась небольшая группа последователей Claude Monet, Sisley, Renoir, а в 1866 г. Pissaro. Друзья собирались в 1866-70 гг. в кафе Guerbois и здесь, в постоянном общении, создали школу. После войны они разошлись, но продолжали выставляться вместе, подвергаясь общим насмешкам. Сперва их просто не замечали и замалчивали; потом, после их выставок 1874-77 гг., о них составилось мнение как "о пяти-шести сумасшедших" или невеждах, отличающихся "полным незнанием рисунка, композиции и колорита", словом, всего того, что составляет живопись. "Даже дети рисуют лучше", — говорили о них. Только после последней их выставки 1888 г. мнение о кружке стало меняться, и не раньше 1895-96 гг. они, наконец, добились признания, и картины их стали продаваться за быстро возраставшие цены. Только в 1897 г. москвич С.И. Щукин купил первую картину Мане, и только с 1903 г. начала составляться другая московская коллекция нового искусства — Морозова. За это время импрессионизм успел пережить длинную внутреннюю историю. Перед русскими художниками молодого поколения, не имевшими возможности путешествовать за границу, эта история сразу предстала в XX в. в виде законченного цикла. Этим определились и хронология, и характер заимствования.

В чем состояло внутреннее развитие импрессионизма в Западной Европе — преимущественно во Франции? Исходным принципом школы было стремление изображать действительность, как она есть, не прикрашивая ее в студии, а беря ее в натуре, и притом не в обобщенном виде, а такой, какой она представляется в каждый данный момент непосредственному *впечатлению* художника. Мы знаем, что живопись на воздухе (plein air) не была новостью в России. Но импрессионисты явились новаторами в технике этой живописи. Они стали употреблять только светлые краски. Они отказались от черных теней;

голубые и розово-фиолетовые тени Сислея, лиловые тени Ренуара, солнечные пятна у всех них поражали публику. Перенеся центр тяжести с рисунка на краски, они стали намеренно пренебрегать рисунком. Их контуры стали расплываться. За исключением Ренуара, главные импрессионисты были по преимуществу пейзажистами. Они не аранжировали искусственно своего пейзажа, а брали его во всей простоте, как находили в природе. Мане подчеркнул значение красок, принявшись писать один и тот же пейзаж в разном освещении, в разные часы дня и времена года. Так получились его серии Les Meules, La Cathédrale, Les Nymphées. С этого рода картины — Impression, soleil levant — пошло самое название "импрессионизм". Писсаро писал натуральных, неподправленных крестьян, не заботясь о красоте фигуры, как другие импрессионисты не заботились о красоте пейзажа. Женское тело берется намеренно некрасивым. В портрете подчеркиваются неправильности и аномалии.

Но это было только начало. Новое поколение импрессионистов (неоимпрессионисты) пошло дальше. Они, говоря словами одного из них, Синьяка, "ввели и с 1886 года развили технику division, употребляя как средство выражения *оптическую* смесь красок и оттенков". Seurat выставил в 1886 г. первую картину divisée: Un dimanche à la grande Jatte. Ссылаясь на научные открытия Гельмгольца и Шевреля, разложивших белый луч на составные цвета, они отказались от употребления смешанных красок. Они употребляли только "чистые" краски спектра[11]. Чтобы произвести оптическое впечатление смешанных красок, они делили плоскости красок на мелкие точки. Слияние точек разных цветов на расстоянии и должно было производить, как в спектре, впечатление смешанного цвета. Этот метод получил название "пуантилизм". Конечно, при такой трактовке контуры рисунка распустились еще больше и стали еще более туманными. Вместе с тем импрессионисты становились все более равнодушными к сюжетности картины. Для игры красок сюжет безразличен. Особенно развилось поэтому, наряду с пейзажем, писание nature morte.

Наконец, третья стадия импрессионизма, которую не без основания называют "постимпрессионизмом", представлена Ван Гогом и Гогеном, а также Сезанном, вызвавшим особенное раздражение современников и наиболее повлиявшим на молодое поколение. Все трое слишком индивидуальны — всех троих считали более или менее ненормальными, и обстоятельства их жизни подтверждают это суждение. Все трое искали уединения и отрицали вершины культуры. Ван Гог кончил самоубийством страдальческую жизнь, посвященную непрерывным исканиям художественной правды, Гоген бежал от цивилизации на Таити, Сезанн замкнулся от Парижа в своем родном Эксе (Про-

11 Ср. с. 34, примечание, то, что сказано о древних иконах.

ванс). Все трое искали спасения от буржуазной культуры в обращении к дикарям, к городскому дну, или к простому народу деревни. Их живопись отражает их психологию. Эмансипированные от традиции уже первым поколением импрессионистов, они довели свободу от рисунка до сознательной деформации, а простоту изображения — до примитивизма. Но в то же время они положили начало протесту против прогрессировавшей бесформенности и беспредметности импрессионизма. Они начинают возвращаться к контуру, к форме, придавая, однако, предмету форму, какую хотят, не стесняясь природой. "Все, чему я учился в Париже, — пишет об этом Ван Гог брату, — ни к чему не годно, и я опять возвращаюсь к тому, что мне казалось истинным в деревне, до знакомства с импрессионистами... *Вместо точной передачи того, что я вижу перед собой,* я распоряжаюсь красками самовольно. Я прежде всего хочу достигнуть полного *выражения*... Публика видит в этом преувеличении только карикатуру. Но что нам за дело до этого". Мы сейчас увидим, что, жертвуя сходством ради выразительности, группа постимпрессионистов послужила переходной ступенью к следующей стадии освобождения искусства от традиции.

Эту вторую стадию можно назвать стадией "экспрессионизма", употребляя этот термин в более тесном смысле, чем принято. Мы видели, что вместо первоначального объективизма и утрированного натурализма у импрессионистов возобладал, в результате логического развития их же основной мысли, полный субъективизм. Конечно, этот субъективизм уже потенциально заключался в основном стремлении школы изображать природу, как она *представляется* художнику *в данный миг* — в ее случайном выражении, в ее движении, а не в условном покое классицизма. Но на второй стадии субъективизм выступает уже совершенно открыто. Художник желает изображать не внешние предметы сами по себе, а хочет через их посредство передавать собственные настроения или впечатления. Самый термин "экспрессионизм", в связи с лозунгом "прочь от природы", явился на парижской выставке 1901 г. Но особенно отчетливо, как определенный логический момент процесса эмансипации, направление "экспрессионизма" запечатлелось в работах германских "сецессионов" с их подразделениями. Некоторое отставание от Франции (менее значительное, конечно, чем в России) повело за собой потребность — для крупных германских импрессионистов — догонять время и менять манеру. Так, сравнивая прежние произведения (80-х гг.) Либермана, Слефогта, Коринта с новейшими[12], легко заметить, как лозунг "дальше от природы" заставляет их чем дальше, тем

12 Подобное же изменение манеры письма можно заметить у тех из родоначальников французского импрессионизма, которые дожили до 20-х гг. XX в.: именно у Клода Моне († 1926) и у Ренуара († 1921).

больше, стилизовать свои произведения. Главными представителями экспрессионизма являются, конечно, не они, а художники младшего поколения, начавшие выдвигаться в первом десятилетии XX в.

Каковы основные черты экспрессионизма как особой (второй) стадии художнической эмансипации от классицизма и академизма? Прежде всего, это уже отмеченный переход от изображения *случайного в природе к субъективному в духе.* "Экспрессионисты" в этом отношении сознательно противополагают себя "импрессионистам". С импрессионизмом, однако же, они имеют много общего в своем происхождении. Особая цель экспрессионизма — углубить впечатления до "мировых ощущений" и придать живописи "метафизический" оттенок. Экспрессионисты хотят изображать "абсолютного человека" и "мир чистого духа". Сообразно этому, человеческая фигура занимает у них место пейзажа, преобладающего у импрессионистов. Перед выдвигаемой на первый и единственный план человеческой фигурой задний фон картины стушевывается и исчезает. Чтобы получить наиболее напряженную экспрессию, выявляющую "дух" человеческий, фигура трактуется не натуралистически, а стилизованно, с подчеркиванием отдельных деталей, получающих символический характер. Впечатление "экстаза", за которым гонятся эти художники, получается искусственно, путем таких архаизмов, как наклоненные набок головы или средневековые неуклюжие позы. Если первые импрессионисты искали вдохновения у японцев, а Гоген — у таитян, то и экспрессионисты стали прибегать, в поисках упрощения и стилизации, к искусству примитивных народов или сознательно подражать простоте и наивности детского рисунка, в котором всегда выделяется, по их мнению, главное и наиболее характерное.

Такое направление не обещало экспрессионизму большого развития в будущем. Идя по этому пути, он скоро уперся в тупик и разложился после 1922 г. На почве его метафизических порывов выросла символика онемеченного русского художника Кандинского, который ассоциирует вертикальные, диагональные и горизонтальные линии с разными цветами и звуками, и "сверхреализм" Рауля Клее. Идя дальше, к полной "свободе" и от реальности, и от искусства вообще, экспрессионизм дошел (в Швейцарии 1916-22 гг.) до другого тупика — "дадаизма" и до "мерзизма" немца Швиттерса. То и другое выводило уже за пределы живописи — к технике украшения жизни (ср. Веймарский "Баухауз" 1919-24 гг. с его продолжением в Десау) или к "монтировкам" при помощи не кисти, а клея, разных "настоящих" (всамделишных) материалов, вроде проволоки, стекла, бумаги, пуговиц, трамвайных билетов и т.п. на холсте или на доске. Это тоже признавалось одним из способов "чувствовать Бога в каждом явлении", путем применения "экспрессивных средств выражения Сущности".

Третье течение или ступень эмансипации от традиции также исходит из протеста против импрессионизма, но в направлении, обратном экспрессионизму (почему и ошибочно подводить его под одно понятие с экспрессионизмом только что охарактеризованного типа). Этот вид протеста идет уже не в направлении углубленного субъективизма, космизма и метафизики, а, напротив, в направлении объективизации живописи. В противоположность "иллюзионизму" импрессионистов здесь выдвигается объективное начало *формы*. Внутренняя сущность вещей усматривается в их формальном строении, которое и должно быть выявлено живописью. Общее с экспрессионизмом здесь то, что и это течение идет "прочь от природы". Оно даже совершает этот отход еще более последовательно. Если экспрессионисты заменяют наблюдение природы и подражание ей выявлением внутренних настроений, то это третье течение предъявляет претензию само *творить* новую природу.

Основным выражением этой третьей ступени эмансипации явился "кубизм". У него тоже связь с импрессионизмом, в лице Сезанна, провозгласившего, что "природу надо наблюдать по схеме цилиндра, конуса и шара". Промежуточным звеном от постимпрессионизма к кубизму послужил Матисс. Он дал название направлению, воскликнув, в шутку, перед картиной Писсарро: tiens, c'est du cubisme! Непосредственными предшественниками кубизма была группа "диких" (les Fauves). Гийом Аполинер, друг и бард кубистов, так описывает зарождение школы: "Эта новая эстетика сложилась сперва в уме Андре Derain, но самые значительные и наиболее смелые произведения, ею созданные, принадлежали великому художнику, который и должен считаться основателем: Пабло Пикассо (прибавим, что сам Пикассо никогда не теоретизировал, а творил по наитию. — *П.М.*). Его изобретения, подкрепленные здравым смыслом Жоржа Braque, выставившего в 1908 г. кубистскую картину в Salon des Indépendants, были формулированы в этюдах Жана Metzinger, который выставил первый кубистский портрет в Salon des Indépendants в 1910 г. и добился у жюри доступа кубистским картинам в Осенний Салон того же года. В том же, 1910 г. появились у Indépendants картины Робера Delaunay, Marie Laurencin, Le Fauconnier, принадлежавшие той же школе. Первая общая выставка кубизма была в 1911 г. у Indépendants, Кроме названных, там были картины Альбера Gleizes и Фердинанда Léger". Тот же дружественный критик утверждал, что "кто понимает Сезанна, тот уже предчувствует кубизм", и смело проводил линию "реализма" от Курбе, с его "поверхностной реальностью", через Сезанна, с его "глубокой реальностью", к кубистам, для которых "живопись не есть более искусство подражать предмету с помощью линий и красок, но способ придавать нашему инстинкту пластическое осознание". Морис Рейналь, биограф Пикассо, углубляет это объяснение,

заявляя, что реализм кубистов есть "высший реализм", который из "собственного сердца художника точит живой источник красоты". Но это "не парафразы и не экзегезы" экспрессионистов, а "творение", прибавляющее "новые предметы к существующим". Пикассо хотел уловить "душу вечной формы" вещей, вместо того чтобы "подражать природе, обманывая чувства". Это "бескорыстное" искусство имеет целью "воплощение возбуждения, испытываемого независимо от вида предмета, которым оно вызвано".

Пикассо еще с очень большими колебаниями отделял картину от предмета. В первом периоде существования (1908-12) кубизм сохраняет связь с предметностью. Картина еще носит название, рассчитанное на угадывание предмета, который скрыт в ней "среди нагроможденных в видимом беспорядке геометрических форм" ("Человек с флейтой", пейзаж, "гитара" и т.д.). Удерживается и пространственность изображения, причем картина строится от заднего плана к переднему, в обратной перспективе, какую мы уже знаем из византийских икон. Но композиция уже отсутствует, ее заменяет расположение предметов в порядке полного "равноправия". Предмет показывается "всесторонне", в разных своих частях и с разных сторон зараз. Предполагается, что свое истинное место предметы занимают вне рамы картины, в "мировой системе", где они составляют "космическое единство". Эта черта и развивается во втором периоде так называемого "научного" кубизма, строящего вещи по их "внутренним законам". Предметные заглавия остаются и тут, но они уже совершенно не стесняют художника, всецело оторвавшегося от реальности в своих геометрических построениях.

Поставленная таким образом задача кубизма, очевидно, была невыполнима в пределах живописи. Тщетной попыткой "приближения к чистейшей реальности" в картине явилось употребление в виде приставок к полотну уже упомянутых выше настоящих материалов. Пикассо пускает в ход для этого (в 1912-14 гг.) обрывки бумаги, газеты, картона, металла, проволоки и т.д. Сознавая явную недостаточность, если не карикатурность, такого способа приближения к действительности, кубисты ищут контакта с декоративной живописью и с архитектурой. Отсюда — направления "пуризма", строящего картину, "как машину", и "конструктивизма", производящего бесцельные и бесполезные постройки небывалых "вещей". С этим направлением мы еще встретимся.

Чтобы исчерпать все чудачества начала XX в., нам остается остановиться на футуристах, связь которых с кубистами засвидетельствована, помимо существа дела, названием одного из их течений — "кубофутуризма". В своих манифестах футуристы отвергали начисто все прошлое; но надо сказать, что помимо кубизма, освободившего их от всякого подчинения реальности,

они определенно возвращаются к экспрессионизму, который дает им реальный материал для упражнений в стилизации и деформации реальности. Связь обоих течений лучше всего выразилась в понимании *динамики* картины. Маринетти учил, что "все движется, все быстро изменяется", но в то же время серии изменяющихся предметов оставляют ряды следов на ретине. Отсюда, например, "бегущая лошадь имеет не четыре ноги, а двадцать". По этому принципу футуристы изображали "Поезд на полном ходу" и "Воспоминания одной ночи" (Руссоло), "Улицу" (Боччони), "Трясущего извозчика" (Карра) и т.д. Зритель представлялся находящимся в середине картины и сам переживал все сменяющиеся впечатления, изображенные на картине в обрывках паровоза, лица, дыма или разных моментов весело проведенной ночи с женщиной, — все это на одном холсте и в полном беспорядке. О пространстве, в котором все это умещалось, футуристы имели собственное представление. "Наши тела входят в диваны, на которых мы сидим, автобус врезается в дома, а дома падают на автобус и сливаются с ним". "Рисуя фигуру у балкона, мы не ограничиваемся тем, что видно из оконной рамы, но стараемся передать зрительные впечатления человека на балконе: уличную сутолоку, два ряда домов, балконы с цветами" и т.д. Душевные настроения обозначаются линиями разной формы, прямыми, волнистыми, прыгающими, исчезающими и т.д. Это называется "линии-силы". "Портрет не должен походить на модель". "Нарисовавши плечо или правое ухо, совершенно бесполезно рисовать другое плечо или ухо". "Человеческая печаль нас интересует так же, как печаль электрической лампы", и т.д.

Как видим, все пути эмансипации от формы и от действительности были пройдены до логического конца. Прочными подобные достижения быть не могли, но они оставили по себе многочисленные и упорные следы. Те, кто не хотел подчиниться моде, которая в конце концов стала меняться от салона к салону, стали возвращаться к классицизму, к романтизму, к ренессансу и т.д. Но это не обеспечивало оригинальности стиля: получалось эпигонство и эклектика. Чем дальше, конечно, от центрального очага нововведений, Парижа, тем более все эти влияния переплетались между собой, давая происхождение новым вариантам. Тем более в то же время обнаруживалось самостоятельности и устойчивости в местных традициях и настроениях, иногда существенно видоизменявших заимствованный источник и придававших заимствованию разные национальные оттенки. В общем можно сказать, что, по мере продвижения на восток, парижская блазированность уступала место наивной искренности и расстояние между искусственным примитивизмом и фактической некультурностью уменьшалась. Может быть, всего ярче это совпадение естественной примитивности с очередной модой отразилось в произведениях южнославян-

ского искусства. В меньшей степени мы найдем то же самое в России.

Русским художникам не приходилось, конечно, заимствовать у импрессионистов такие черты, как протест против академизма и проповедь неприкрашенного изображения природы и быта, демократизм французской богемы и ее предпочтение к сюжетам из жизни деревни и городских кабачков. Даже их техника, их пленеризм, как мы знаем, не были совершенной новостью в России. Классицизм никогда не приобретал у нас такой исключительной силы, как на Запада; придворное покровительство искусству почти прекратилось с упадком культурного уровня представителей власти, начиная с царствования Николая I. Поэтому новые течения не могли у нас встретить такого сопротивления со стороны традиции и не нуждались в таких компромиссах со старыми, как на Западе. Конечно, вплоть до второй половины XIX в. Италия и Рим оставались Меккой европейских художников, и русская академия продолжала, по иностранному образцу, посылать туда своих стипендиатов. Но уже и в самой Италии господство античной традиции начало уступать место принесенному с севера романтизму. Если Брюллов, как мы видели, сумел пройти мимо этого рода влияний, то Александр Иванов запутался в противоречиях германских бунтовщиков против академизма, выгнанных из Венской академии и нашедших себе приют в опустелом монастыре св. Исидора на Монте-Пинчо (они более известны под насмешливым названием "назорейцев" — группы, возглавленной поклонником христианского искусства раннего итальянского Возрождения, первым прерафаэлитом, Овербеком). Далее нить зависимости русского искусства от европейского прерывается на "передвижниках". Русская живопись находит свой собственный национальный путь возврата к искренности и простоте — в то самое время, когда в Париже параллельное движение приводит к реализму Коро, Курбе и Милле и к импрессионизму последователей Эдуарда Мане. Таким образом, временный перерыв связи с заграницей не сопровождался перерывом в развитии русского искусства. Когда в конце XIX в., эта связь восстановилась, русские художники имели перед собой уже законченный цикл европейского развития, из которого могли черпать по собственному выбору. Полными подражателями они, во всяком случае, не стали. Их привлек к французскому импрессионизму тот русский протест против "литературщины" передвижников и против преобладания сюжета над "живописью", с которым мы уже знакомы. В импрессионизме они нашли то качество, которое сами импрессионисты выставляли как свою особенность: la bonne peinture, "хорошую живопись", — и как наглядное доказательство этого преимущества — новое употребление красок за счет формы и рисунка. Склонность к яркому колориту традиционна в России, и открытия импрессионистов упали на благодатную

почву. Провозвестником и проводником этой стороны импрессионистских достижений явился у нас уже в эпоху передвижников, в 80-х гг., Куинджи (1842), крымчак, самостоятельно вывезший эту новинку из Парижа и передавший искусство красок своим ученикам — Рериху и своему молодому земляку Константину Богаевскому, художнику "Киммерийских" видений родины Айвазовского, Феодосии и восточного Крыма. Самостоятельно же и оригинально, не теряя своей русской самобытности, воспринял уроки колорита в том же Париже и первый русский импрессионист, Константин Коровин (1861). Он же первый и показал парижанам плоды сближения русских с новой живописью, применив свой талант к декорированию русского павильона на Парижской всемирной выставке 1990 г. На той же выставке "эпатировал" французов молодой русский колорист Малявин (1869) разливанным морем красной краски и ухарской русской гульбой в своих "Бабах". В этой связи необходимо упомянуть еще об одном замечательном русском колористе Головине (1863), учившемся у передвижников, но нашедшем свои краски после поездок в Италию и Испанию (1905-07). Головин сотрудничал с Коровиным при устройстве русского отдела все той же Парижской выставки 1900 г. и позднее. Неудачно сложившиеся обстоятельства жизни помешали ему посвятить себя станковой живописи, и он долгие годы расточал богатства своей фантазии и вкуса на декоративных постановках правительственных театров. Новейшими течениями импрессионизма он не был затронут и, подобно своим сверстникам, примкнул к "стилистам" "Мира искусства" (слово "стилист" здесь, очевидно, следует понимать не в смысле стилизации, быстро прогрессировавшей в новейших течениях, а в смысле ретроспективного воспроизведения стилей прошлых эпох. Впрочем, как заметил уже С. Маковский, именно стильность этого рода не удавалась Головину, который решал самые разнообразные декоративные задачи по-своему).

Последние годы XIX в. были вообще годами более близкого ознакомления выдающихся русских художников с новейшими течениями иностранной живописи. Недаром новое течение, поднявшее знамя космополитизма в искусстве, назвало себя "Миром искусства". Мир этот был теперь как бы вновь открыт в России, и не только молодежь, но и зрелые, определившиеся художники черпали из его сокровищницы полными пригоршнями. При этом, естественно, предпочиталось то, что было наиболее ново и современно. Не только основоположники импрессионизма, но и неимпрессионисты в это время уже отходили в историю. На очереди было увлечение постимпрессионистами: Сезанном, Ван Гогом, Гогеном. И тот процесс, который в Париже потребовал полувека, у нас был пройден, в сокращенном порядке, в первое десятилетие XX века. При такой быстроте смены влияний было неизбежно, что влияния эти перемешались и

оказывали свое действие не в логической последовательности европейского развития, а в зависимости от индивидуальности того или другого художника. Нестеров, совершивший в 1888 г. поездку за границу, еще увлекается Фра-Анжелико, Мантенья и Боттичелли, но уже переживает и влияния Пювиса де Шаванна. Рерих, ездивший в Париж и Венецию в 1900 г., привозит оттуда значительно посветлевшие краски и расстается с "неоакадемическими приемами". А по поводу его поездки в 1905 г. в Италию С. Маковский замечает ("Золотое руно"), что у него "угрюмые чары северных красок рассеялись... пастели делаются яркими, лучистыми; синие тени дня ложатся на земные травы... солнце погружает землю в трепеты синих туманов". Сам Рерих очень характерно напоминает публике в 1906 г. о "незамеченном" германском художнике Маресе, предсказывает "пересмотры" и многозначительно замечает, что при этом "спрячутся некоторые любимцы и выступят другие — и с большим правом". Сам он уже превозносит Мареса над Беклиным.

То, что начали путешествия за границу, закончили выставки, скоро принявшие международный характер. В 1898 г. Дягилев устраивает свою первую выставку, в следующем, 1899 г. он же организует интернациональную выставку, за которой следует в 1900 г. первая выставка "Мира искусства". Одновременно русские художники появляются на Парижской всемирной выставке. В 1906 г. открывается знаменитая "Выставка Русского искусства" в Осеннем салоне, устроенная тем же Дягилевым, и, почти одновременно, начинаются прославленные на весь мир сезоны "Русского Балета".

Что же внес в русское искусство этот более тесный контакт с заграницей? При первом же соприкосновении иностранцы почувствовали в русских художниках не только рабских подражателей, а и выразителей чего-то своеобразного, неизвестного Западной Европе. Это неизвестное было воспринято как экзотическое — если угодно, "варварское", — но, во всяком случае, оригинальное и заслуживающее внимания. Впрочем, не только внимания: русские скоро вошли в моду и сделались предметом поклонения, отчасти искреннего, отчасти снобистского.

Чтобы понять, что именно было внесено тут своего русского, нам нужно остановиться прежде всего на переходной фигуре рано умершего художника Борисова-Мусатова (1870-1905). Первые впечатления западного искусства он пережил уже в ранней молодости, благодаря открытому (1885) на его родине, в Саратове, музею, где имелись картины Ватто, Фрагонара, Коро, Добиньи (пейзажист-импрессионист), нескольких голландцев, а из русских — Иванова, Нестерова, Левитана, Поленова, Репина. Интересно отметить, что через те же впечатления прошли другие саратовцы — сверстники Мусатова, — Павел Кузнецов, Петров Водкин, Уткин, Кравченко. Но рано проявляется и непокорность Мусатова учениям школы. И в московской школе

ваяния и живописи, и у профессора Чистякова в Петербургской академии — так же как потом в Париже у Кормона — Мусатов проявляет признаки строптивости. Он послушно учится технике, особенно тому, чего ему не хватает и не будет хватать: рисунку. Но ему хочется "видеть все по-своему". Рано у него появились специфические мусатовские сизые и голубые тона. Не одобренный учителями, Мусатов искал поддержки у французских импрессионистов, выставленных в 1893 г. в Историческом музее, и увлекся картиной Бастьен-Ленажа (импрессиониста, последователя Милле) в Третьяковской галерее. Сочувствовали ему и товарищи-художники, собиравшиеся богемной "коммуной" и вместе с ним мечтавшие о Париже. Из них отметим Шервашидзе, Бакала, Ульянова, Грищенко. Попав осенью 1895 г. в Париж, вместе с Шервашидзе, Мусатов и тут шел своей дорогой. Он скрыл от своего учителя Кормона свои красочные предпочтения и свои натюрморты и искал своих любимцев в картинных галереях. К числу этих любимцев присоединился Пювис. Можно предполагать влияние на него Боннара и Вюйара. Но, вообще говоря, и после трехлетнего (с вакационными перерывами) пребывания в Париже Мусатов увез оттуда то, что привез, — свою манеру, обогащенную лишь новой техникой и несколько улучшенным рисунком. Что же это была за манера?

Во французскую технику Мусатов вложил русскую душу. Это была душа чувствительная и нежная, непрочно державшаяся в хилом теле маленького горбуна и постоянно просившаяся куда-то в неведомую высь. Когда П. Муратов замечает, что русское искусство, пережив прилив западных влияний, сумело сохранить "душевность и внутреннюю глубину", "религиозные искания" и "чистый лиризм", то эта характеристика больше всего подходит к Мусатову. Но важно отметить, что это настроение русского живописца не было ни случайным, ни одиноким. Оно совпало с тем периодом в развитии новейшего европейского искусства, который мы выше назвали периодом "экспрессионизма". Нужно также заметить, что настоящее место экспрессионизму, периоду внутренних настроений, было не в холодной и ясной Франции, а скорее на туманном и сентиментально-романтическом севере. Тщетно отыскивая французские источники прямого влияния на Мусатова, мы гораздо легче найдем для его искусства северные параллели. Самый термин "экспрессионизм" во Франции означал только противоположность "импрессионизму". В Германии он стал означать целое мировоззрение. Быть экспрессионистом значило там: Seele malen — рисовать душу. Единственный постимпрессионист во Франции, стремившийся рисовать душу, Ван Гог, был не французом, а голландцем. Другой близкий к Мусатову по настроению художник, норвежец Мюнх, привез в Германию, в 90-х годах, вместе с техникой расплывающихся контуров французского экспрессионизма северную мечтательную душу с ее склонностью к грусти.

Преодолев импрессионизм и неоимпрессионизм, Мюнх вернулся от разложения цвета на точки и мелкие мазки к сплошной окраске и от яркого солнца к рассеянному свету, гармонировавшему с его внутренними настроениями. Смерть, призраки идут в его картинах об руку с усиливающейся стилизацией и с пренебрежением к отчетливому рисунку. То же находим у Мусатова. "В произведениях Мусатова индивидуализм торжествует свою наиболее решительную победу, — говорит сотрудник "Золотого руна" Тароватый (1906, № 3), по поводу кончины художника. — Перед его картинами забываешь вековечные догматы, протестующие против столь резкого проявления в искусстве обособленного Я". Автор не предвидел, что на очереди стоят еще более резкие проявления "индивидуализма" (в России еще не был известен термин "экспрессионизм", которым на Западе была обозначена эта ступень индивидуализма). Но он хорошо определил существо этого течения. "Бледно-синие и матово-спокойные тона, дрожащие, неземные силуэты, прозрачные стебли мистических цветов... на всем дымка несказанного, постигаемого лишь смутным предчувствием". В литературе это соответствовало бы (с некоторой натяжкой) смене декадентства символизмом.

Но есть у Мусатова и специфически русская черта. Она заключается в том, что урбанизм у него еще заменяется поэтизацией помещичьей усадьбы. Недаром в юности он увлекся скромной и нежной "Деревенской Любовью" на картине Бастьен-Ланажа. Его главный мотив: молодые бледные женщины, хрупкие и печальные, в старинных, ставших провинциальными костюмах, проходят и "скоро исчезнут" в вечерних сумерках среди расцвеченной холодом северной листвы, захолустьев Саратова, Подольска или Тарусы. За день до смерти Мусатов подвел итог своему творчеству в своем "Реквиеме", увековечившем память любимой женщины и лишь несколькими днями предварившем аграрный разгром одной из его любимых "Зубриловок"...

Как видим, Мусатов не был случайным явлением в истории русской живописи. Он не был и одиноким. Вместе с ним в том же духе экспрессионизма писали — отчасти лично ему близкие — художники, выступившие перед публикой на выставках "Мира искусства" и особенно 1907 г. (собственная выставка под затейливым названием "Голубая роза"). Тут объединились Павел Кузнецов, Милиоти, Сапунов, Уткин, Арапов, Сарьян, Судейкин, Крымов. Значение выступления "Голубой Розы" было тогда же подчеркнуто С. Маковским как сознательный протест против направления "Мира искусства". "Каждая новая группа художников, — писал он, — есть новая часовня (в противоположность "храму"). Не оттого ли, что храм превратился в уличный базар? Картины, как молитвы... робкие, неумелые, слишком одинокие... Так далеко от будуарной элегант-

ности выставок Дягилева... Еще недавно художники группировавшиеся около "Мира искусства", казались последним словом русской живописи. Их дерзости вызывали непримиримое отрицание староверов. Быть заодно с ними значило быть впереди. И вот, прошло несколько лет... и уже слышится их брюзжание на непокорных новичков, явившихся на смену... Досадно уходить за кулисы истории! Но... всему свое время".

По существу, Маковский определил новое течение как новое "чаяние красоты". "Их немного — 16 художников. Почти все — очень юны. У большинства индивидуальность еще не определилась... Влюбленные в музыку цвета и линии, они — возвестители того примитивизма, к которому пришла современная живопись, ища возрождения у самых родников... чтобы вернуть себе силу детства для долгой жизни". Такая характеристика смешивает разделенные нами выше стадии развития новейших течений. Но это смешение естественно, так как в России они сменялись с быстротой, при которой невозможно соблюсти строгую последовательность. Не успел выявить себя не узнанный у нас экспрессионизм, как уже стучались в двери дальнейшие стадии, перебивая логический порядок. Сама выставка "Голубой розы" уже свидетельствует об этих вторжениях. Наиболее типичен был тут, конечно, Павел Кузнецов; но и в его живописи экспрессионизм идет дальше мусатовского почина. Мечты Мусатова еще не отрываются от реальной почвы. У Кузнецова этот разрыв уже произошел. Мы видим на его холстах бледные грезы в туманах, примитивные и иконно склоненные набок лица, изображения неродившихся душ и неземных созданий — все это среди расплывающихся, прогрессирующих в неясности контуров природы. Уткин тоже рисует неясные сны на земле и миражи на небе, бесформенные туманности, упрощая при этом технику до крайнего предела. Судейкин подражает Кузнецову, постепенно выявляя свою собственную манеру — кукольных фигур, заимствованных из мира Бенуа и Сомова, в роскошном красочном окружении. Он щеголяет каскадами красок à la Врубель и Милиоти. Сарьян, молодой армянин из Нахичевани на Дону, дает смутные очертания восточных пейзажей — в ожидании, пока поездки в Константинополь, Египет и Персию (1910-13) наполнят эти смутные пейзажи более конкретным содержанием. В его лице постепенная экспрессионистская деформация натуры находит нового союзника — древнее искусство Среднего Востока. Черпая из вторых рук, он сам так передает основные принципы своего художественного кредо: "Я стал искать более прочных, простых форм и красок для передачи живописного существа действительности. В общем, моя цель — простыми средствами, избегая всякой нагроможденности, достигнуть *наибольшей выразительности*. В частности, избавиться от компромиссных полутонов... Кроме того, моя цель — достигнуть первооснов реализма. Я говорю о той *силе выражения*,

которая есть во всех настоящих произведениях искусства с древних времен и кончая нашими днями". Как и Мусатов, Сарьян рисует темперой вместо масляных красок и находит в этом средство вернуться от раздельных мазков "дивизионистов" краски (как Сёра) к ровному покрытию сплошных плоскостей матовыми тонами и к выполнению завета Сезанна — рисовать контуры только с помощью сочетания красок.

Мы переходим теперь к стадии "потери последней связи картины с изображаемой вещественностью мира". С. Маковский этими словами несколько преждевременно характеризовал французские источники художества "Голубой розы". На самом деле и новые источники иные, чем нео- или постимпрессионизм, и представлено это течение иной группой художников, нежели участники "Голубой розы". Правда, все по тому же закону ускорения русских заимствований эти крайние новаторы выступают одновременно с художниками "Голубой розы" и их появление следует на этот раз уже немедленно после появления того же течения на Западе. Вот, прежде всего, несколько хронологических дат, которые помогут нам точно установить время и источник нового заимствования с Запада.

Два главных представителя течения, о котором идет речь, М. Ларионов и Н. Гончарова — сверстники (1881). Они вместе учились в московском Училище живописи, ваяния и зодчества (последние годы XIX в. и первые годы XX в.), вместе путешествовали на юге России, вместе выставляли и организовали выставки, вместе подчинились одинаковым иностранным влияниям и вместе обратились к народным русским источникам примитивизма, о которых будет идти речь дальше. Смену иностранных влияний их критики — очевидно, по их же указаниям — одинаково определили следующими датами:

1900-1905 — импрессионизм и сецессионизм;

1906-1911 — кубизм и примитивизм;

с 1912 — футуризм и лучизм.

Сравнивая эти даты с тем, что мы знаем о смене направлений на Западе, мы видим, что русские новаторы догнали Запад на второй стадии, а на третьей даже пытались его перегнать. Влияние импрессионизма в 1903-05 гг. засвидетельствовано сериями картин Ларионова, по сорока в каждой, в которых он, подражая позднейшей манере Клода Моне, изображает "Розовые кусты" и "Углы сарая" при разных освещениях в разные часы дня и ночи. Побывав вместе с Гончаровой в 1906 г. в Париже, в качестве участников знаменитой выставки Дягилева, Ларионов в следующем же году настаивает на устройстве "Золотым Руном" выставки французских мастеров, а в 1908 г. подбирает для повторения этой выставки картины крайних новаторов — Пикассо и Брака (также Ван-Донгена). На этом вторжении кубизма вкусы сотрудников "Золотого руна" расходятся. Выставка "Венка" ("Стефанос") 1907 г. — последняя, на которой

старые, новые и новейшие течения совмещаются: Бенуа и Коровин с экспрессионистами "Голубой розы", как П. Кузнецов, Уткин и Судейкин и с Гончаровой и Ларионовым в их новой стадии — кубизма. В № 6 "Золотого руна" редакция объявляет, что "декадентство, являвшееся цельным и художественно законченным мировоззрением, уже пережито современным сознанием" и что "в связи с новыми задачами будет несколько изменен состав сотрудников постепенным привлечением ряда писателей, связанных с новыми молодыми исканиями в искусстве". Действительно, из журнала выходят ближайшие сотрудники "Весов", символисты старого и нового поколений, Брюсов, Мережковский, Гиппиус, Белый и др.; а из живописцев — Кузнецов, "ввиду несоответствия журнала литературно-художественным запросам современности". В № 1, 1908 г., Георгий Чулков объявляет "эпигонов декадентства", черно-книжников-"магов" и "неохристиан" устаревшими и усматривает "кризис индивидуализма" в новых попытках "разорвать круг индивидуального опыта" во имя нового "религиозно-общественного опыта". Это будущее ему еще не ясно, но вчерашний день уже считается прошлым. Мы видим, как здесь литературные течения синхронически скрещиваются с художественными. Теперь оказывается, что протест "Мира искусства" против "литературщины" передвижников был тоже своего рода "литературой" и что она должна теперь уступить "литературе" нового рода.

В перечне влияний первого периода на искусство группы Гончаровой и Ларионова, приведенном выше, упомянут наряду с импрессионизмом также и "сецессионизм". Это упоминание — характерно. Здесь, очевидно, разумеется германский, преимущественно мюнхенский, "Сецессион", — притом, не в своем первоначальном составе знаменитой триады (Либерман, Коринт, Слефогт) и ее сторонников, объединившихся в мюнхенский "Союз" в 1893 г., после международных выставок 1879 и 1888 гг., для пропаганды импрессионизма в Германии. Этот состав не стал своевременно известен русским художникам. На рубеже столетий, когда начались новые русские заимствования, он был уже отодвинут в прошлое *другим* составом сецессиона, объединившимся десять лет спустя, в 1903 г., для протеста *против* импрессионизма. Но и об этом сдвиге, наверное, еще не знали в Москве. Московские коллекции Щукина и Морозова, великолепно составленные для изучения французских импрессионистов и их подражателей, ничего не давали из области немецкого искусства. "Мир искусства" остановился на реалисте Лейбле и его школе. Союз дрезденских новаторов, объединившихся в 1906 г. в группу die Brücke (Кирхнер, Геккель, Шмидт-Роттлуфф, позднее Отто Мюллер, частью Нольде и Пехштейн), также прошел незамеченным. Вместе с этим пропущены были промежуточные формы упрощения природы и воз-

вращения от краски к форме и контуру. Напротив, группа, объединившаяся в 1912 г. в Мюнхене под названием "Синего всадника" (Der blaue Reiter: Франц Марк, Василий Кандинский, Пауль Клее, Август Макке), уже привлекла внимание москвичей — очевидно, при посредстве русских ее участников (Кандинский, Веревкина). Ларионов и Гончарова уже приглашены участвовать в выставке "Синего всадника" и должны были познакомиться тут с крайними проявлениями разрыва живописи с природой. Как увидим, они уже были к этому готовы. Темп смены "последних криков" в искусстве к этому времени стал положительно лихорадочным. Москвичи, а за ними и петербуржцы всячески старались не отставать от Европы.

Уже в декабре 1910 г. и январе 1911 г. Ларионов организовал в доме Строгановского училища на Большой Дмитровке выставку под названием "Бубновый Валет". ("Я дал такое название благодаря очень интересному сочетанию этих двух слов и букв, которые их образуют", — объяснял потом Ларионов.) В комитет выставки входили кроме Ларионова и Гончаровой, также художники более умеренного направления — Кончаловский, Машков и Лентулов — и московский купец Лобачев, давший деньги на предприятие. В это время оба инициатора уже считали себя "кубистами", и рисунок их в достаточной степени упростился, чтобы отвечать этому названию. Скоро сотрудничество с тремя упомянутыми художниками перестало удовлетворять их. Когда в следующем году "Бубновый Валет" организовался в постоянное общество, Ларионов и Гончарова из него вышли на том основании, что всякое постоянное объединение есть уже стеснение и своего рода возвращение к "академизму". "Моя задача, — объяснял Ларионов, — не утверждать новое искусство, так как после этого оно перестает быть новым, а... делать так, как делает сама жизнь: она ежесекундно рождает новых людей, создает новый образ жизни, и из этого без конца рождаются новые возможности". К своим недавним союзникам Ларионов теперь относился уже с крайним презрением. "Оставшаяся (в "Бубновом Валете") группа художников, — говорил он, — сделала маркой карту, такую же тупую, как их кисть и голова, и выдает за новое искусство тот жалкий академизм, который выставляет под этой маркой". Сам он устроил с Гончаровой в следующем, 1911-12 гг. выставку "Ослиного хвоста" (намек на попытку противников высмеять "новое искусство", заставив осла запачкать своим хвостом подставленный ему холст и выдав это маранье, засвидетельствованное официально, за картину). За "Ослиным хвостом" последовала в 1912-13 гг. выставка "Мишени" — указание на то, что новаторы стали мишенью для общих нападок. В 1914 г. последовала выставка без названия, под означением "№ 4". В том же году была устроена еще одна выставка "футуристов, лучистов и примитивов" и однодневная вторая "безыменная" выставка. Плодовитые инициаторы заполняли

эти выставки главным образом своими собственными произведениями.

Столько энергии и шума, естественно, вызвали подражания, тем более многочисленные, что подражать примитивной манере и упрощенному рисунку, а тем более эмансипированным от предмета геометрическим построениям было нетрудно и не требовало никакой специальной выучки. В Петербурге образовался "Союз молодежи", из числа членов которого надо упомянуть Давида Бурлюка и его братьев. Мы знаем, что в это же время, в зимние сезоны 1911-13 гг., началась крикливая проповедь футуризма. В Петербурге и Москве читался ряд лекций с прениями на тему о новом искусстве. Одна из этих лекций закончилась форменной потасовкой. Московскому ядру новаторов похвалы и подражания, "опошливавшие" их идеи, так же не нравились, как и критика. Это надо иметь в виду, знакомясь с претенциозной декларацией, с которой Ларионов и Гончарова выступили, вместе с другими 9 художниками, в предисловии к каталогу "Мишени". Они заявляют здесь свое презрение к "художественной шелухе, льнущей, как мухи к меду, к новому искусству", не желают никаких "художественных обществ, ведущих только к застою", никаких лекций о новом искусстве и вообще никаких "пошлых счетов с общественным вкусом". "Мы не требуем общественного внимания, но просим и от нас его не требовать". "Нам не нужна популяризация... довольно "Бубновых Валетов", прикрывающих этим названием свое убогое искусство... союзов старых и молодых". Словом, "мы не объявляем никакой борьбы, так где же найти равного противника?". "Мы, лучисты и будущники, не желаем говорить ни о новом, ни о старом искусстве — и еще менее о современном западном". "Будущее за нами, мы все равно в своем движении задавим и тех, кто подкапывается под нас, и стоящих в стороне". Отрицая зараз *все* прошлое, наши новаторы все уравнивают. Они "не рассматривают искусство под углом времени" и объявляют "все стили годными для выражения их творчества, прежде и сейчас существующие, как-то: кубизм, футуризм, орфизм и их синтез лучизм, для которого, как и жизнь, все прошлое искусство является объектом для наблюдения". Эта несколько спутанная декларация эклектизма не мешает им признавать самого Матисса, их учителя, "салонным", объявлять борьбу Сезанну и Пикассо, считать даже кубистов и футуристов "современными романтиками и неоромантиками".

Во имя чего же все это провозглашается? Вот положительная сторона манифеста. "Искусство для жизни и еще больше — жизнь для искусства... Весь гениальный стиль наших дней — наши брюки, пиджаки, обувь, трамваи, автомобили, аэропланы, железные дороги, грандиозные пароходы — такое очарование, такая великая эпоха, которой не было ничего равного во всей всемирной истории". Деревенская жительница Гончарова

здесь формально присоединяется к урбанизму и машинизму. Но дальше следует признание двух других начал, совсем не связанных с этим и ему противоречащих: "Да здравствует прекрасный Восток. Мы объединяемся с современными восточными художниками для совместной работы". И "да здравствует *национальность*. Мы идет рука об руку с малярами".

Мы сейчас вернемся к этой другой стороне художества Ларионова и Гончаровой. Оно действительно двойственно: одновременно и космополитично и национально, усваивает последние европейские новинки и ищет вдохновения у примитивов Востока, "потому что на Западе цивилизация, а на Востоке культура, и мы, русские, к этой культуре ближе, чем Запад". Так повторяет послушно Гончарова аксиому славянофилов-шпенглерианцев — современных ей евразийцев.

Но предварительно закончим линию западного заимствования. Мы видели, что едва Ларионов успел стать кубистом, как кубизм осложнился на Западе футуризмом. То и другое привело обоих художников к их серии загадочных рисунков, в которых среди хаоса линий нельзя угадать "Портрет дурака" и узнать "Кошек" или "Голову клоуна". Ларионов нарисовал в этом настроении свой цикл упрощенных Венер всех стилей: Венеру негритянскую, турецкую, испанскую, русскую, еврейскую и др. А Гончарова изобразила ряд стилизованных "художественных возможностей по поводу павлина". Ларионов при этом не удовлетворился простым подражанием иностранцам. Хотя Гончарова и утверждала, что "гениальные творцы искусства не создавали теорий", он создал свою собственную теорию, которую назвал "лучизмом". Кубизм, как мы знаем, хотел, в противоположность плоскостной живописи импрессионистов, "преодолеть пространство", "организовать" его геометрическими построениями. Футуризм прибавил к этому организацию *движения* в пространстве. Но движение задевало проблему *времени* в пространстве, и это увлекало мысль в области, пограничные между наукой и метафизикой. Отсюда вышли построения, вроде теории Кандинского. "Лучизм" Ларионова пошел по этому проторенному пути. Ларионов рассуждал: наука учит, что мы видим предметы при посредстве лучей, исходящих от них. Значит, мы, собственно, "предмета, как такового, нашим глазом не ощущаем", а воспринимаем сумму лучей, идущих от источника света, отраженных от предмета и попавших в поле нашего зрения". Живопись и должна изображать не видимые предметы, а "некие формы, выделяемые волей художника" и "возникающие от пересечения в пространстве отраженных лучей разных предметов". На полученных по этому рецепту картинах непосвященный зритель видит хаос пересекающихся линий — отнюдь не могущих, конечно, изобразить "лучи" — и пучки лучей-линий, исходящие в видимом беспорядке из некоторых точек пересечения этих линий. Нечто в этом роде можно найти у Пауля Клее.

Но Клее строит из линий предметы: фантастические миры растений, животных, зданий на цветном поле. А у Ларионова напрасно зритель стал бы ломать голову над "Лучистой колбасой и скумбрией", "Лучистой улицей", "Уличным шумом", "Дамой за столиком" и т.д.

Эта сторона живописи Ларионова и Гончаровой не могла не возбудить живейшей полемики. Впрочем, тема была скоро исчерпана. Негодование сменилось насмешкой, насмешка — равнодушием[13]. Если тем не менее искусство обоих новаторов пережило эту полемику, то это благодаря той стороне их художества, на которую мы намекали выше. Дело в том, что, раз обратясь за образцами упрощенной живописи к примитивам, оба художника вспомнили о естественном источнике русского примитива: о народном искусстве. Если Гоген мог увлекаться искусством негров и ацтеков, если русские противники передвижников искали примитивов в древней иконописи, то отчего было не обратиться, совсем под боком, к формам простонародного искусства: к русским кружевам, игрушкам и детскому рисунку, табакеркам, подносам (Гончарова) или к вывескам провинциальных маляров (Ларионов). Это и значило — обратиться к национальности и к Востоку. Увлечение этими источниками нового искусства было, конечно, преувеличенным; но нельзя отрицать, что оно дало обоим художникам массу свежих мотивов, особенно декоративных, и дало возможность развернуть их таланты колористов.

Это была как раз та сторона русского искусства, которою оно уже успело прикоснуться к западному как в известном смысле равноправное. Здесь от космополитизма подражателей новейшим французским и германским течениям, искусство переходило к народной стихии. Одного этого не было достаточно, конечно, чтобы искусство сделалось национальным. А. Грищенко тогда же дал по этому поводу в "Аполлоне" (1913, № 6) отповедь художникам "Бубнового Валета". "Кончаловский, Машков, Ларионов, — писал он, — думают передать национальный дух, изобразив на картине грибы, воблу, лукошко, лубки, подносы, вывески, — предметы, выросшие на русской почве". Но "разве необходимо непременно присутствие русского предмета в картине, чтобы создать из нее национальное произведение... Уместно вспомнить полемику между славянофилами и Белинским, между западниками и Шишковым. Говорить о русских вещах — квас, лапти, водка, кнут, самовар — не значит создавать русские поэтические произведения... Разве "Скупой рыцарь" Пушкина менее национален, чем его "Медный всадник"? И С. Маковский, отмечая уже в 1910 г. пророческие слова Бакста ("пусть художник будет дерзок, несложен, груб, примитивен... Новое искусство не выносит утонченного оно пресытилось

---

13 Эту смену нетрудно проследить по отзывам "Аполлона".

им... Будущая живопись *сползет в низины грубости*"), возражает, ссылаясь на Гончарову, Ларионова, Лентулова, Бурлюков: "Все они, за очень редкими исключениями, расточают свой дар, как варвары. И разумеется, это не то варварство, преддверие нового классицизма, которое возвещает Бакст: оно только хочет им быть, оставаясь в сущности тою же старой, домашней, отеческой некультурностью, как некультурность... передвижников или академистов" ("Аполлон", 1910, № 7).

За границей, однако же, именно в этом своем качестве — искусства, соприкасающегося с простонародным, — новое русское течение производило больше впечатления, чем все подражания иностранным образцам. Здесь уместно остановиться подробнее на том экспорте этого искусства, который дал всемирную славу "Русскому Балету". Главным организатором этого экспорта явился С. Дягилев. Все элементы его антрепризы были уже готовы. Сам он последовательно стал хозяином в тех трех областях искусства, которые потом соединил в "Русском балете". Он начал, как мы знаем, с устройства картинных выставок "Мира искусства". В то же время, сам немного музыкант, он вошел в связь с новым поколением русских композиторов. Наконец, по своей недолгой службе в дирекции императорских театров он близко познакомился с русским классическим балетом — должен был покинуть службу из-за разногласия с начальством по поводу постановки балета в "Сильвии" Делиба. В 1906 г. Дягилев вывез в Париж русскую живопись; в 1907 г. он познакомил парижан с русской музыкой ("Исторические концерты"), а с 1909 г. начал единственную в своем роде феерию "Русского Балета", развертывавшуюся в течение 20 лет, до самой смерти Дягилева (1929), если не всегда от успеха к успеху, то во всяком случае, от сенсации к сенсации. С чутьем гениального импресарио, Дягилев понял, что именно форма балета наиболее пригодна для популяризации его предприятия среди иностранцев... Но его личной заслугой остается умение связать в один букет, поразивший иностранцев своей свежестью, цветистостью и внутренней силой, все три отрасли искусства: русскую декоративную живопись, русскую хореографию и русскую музыку. Не останавливаясь на первом полученном успехе, Дягилев в течение четверти века продолжал вызывать новые и новые инициативы, привлекая к своим постановкам последние крики, приспосабливая их себе, как он приспособил Пикассо, к недоумению и негодованию поклонников его кубизма.

Основное впечатление "Русского Балета", поразившее иностранцев и сразу, без борьбы, завоевавшее их признание, — это впечатление чего-то невиданного, чего-то переносившего зрителей из мира обыденности в мир волшебной сказки, впечатление экзотики. Оно именно и создано особенной близостью данных течений русского искусства к народной стихии — близостью, которая, конечно, связана с особыми условиями рус-

ской культуры. Близость эта объясняется не только преходящей модой, но и живучестью народной стихии в России. Когда Марсель Прево попробовал объяснить неподражаемость русской хореографии тем, что для совершенства балета нужна монархия, ибо балет есть "необходимый аксессуар аристократического образа правления, своего рода придворный штаб, существующий для плезира короля", то Тугендхольд совершенно основательно ответил ему ("Аполлон", 1910, № 10), что, хотя таково было, несомненно, *историческое* происхождение русского балета, но не таковы его новейшие достижения. Они объясняются главным образом приближением танца к народной пляске, к "той "плясовой традиции", которая еще жива в русском народе". Столь же бесспорно значение народной песни и ритма для новой музыки и присутствие народных ярких ("чистых") красок в декорациях и костюмах русских колористов. К этому надо прибавить еще элемент иконописного архаизма, сказавшийся в стилизациях Билибина, и очень значительный элемент Востока, проникший и в танцы, и в декорации, и в музыку, и в костюмы. Важны, наконец, и отмеченные Тугендхольдом элементы "хоровой" дисциплины в движениях статистов и танцоров и "правда в движениях", соответственно "правде в звуках", создающая впечатление непосредственности и искренности. Самые темы постановок Дягилева в значительной степени были взяты из народных или восточных сказаний, что и дало возможность широко развернуться всем указанным чертам.

Благодаря этой полноте и связанности комплекса, выявившего особенности неизвестной европейцам культуры, показанной притом с ее примитивной стороны, впечатление за границей получилось зараз и сильное, и двойственное. После первоначального единодушного восторга раздались — по мере того, как "русский сезон" входил в обычный распорядок парижской зимы, — и несогласные голоса. Помимо национального недовольства, вызванного русским "засильем", тут было и несозвучие "душ". Это несозвучие особенно проявлялось почти всякий раз, когда Дягилев пытался пополнять свой репертуар постановками, заимствованными из западных сюжетов и музыки: Шопена, Шумана, Дебюсси. По поводу постановки L'après-midi d'un Faune композитор Лало писал, например: "Русские дали нам много великолепных картин и полезных уроков, но они способствуют вырождению нашего вкуса своей любовью к пышному и блестящему зрелищу, интерес которого ограничивается легким и непосредственным наслаждением глаза. Это — подлинное варварство под ложной личиной утонченного искусства. La marque des barbares est sur eux" (1912). Французы были поражены также тем вниманием, которое было уделено в "Балете" декорациям: яркая красочность палитры русских колористов, изысканная сладострастность костюмов Бакста, предназначенных скорее для картины, чем для портного, красочный раз-

гул Судейкина, стилизации Билибина, лубки Гончаровой, геометрические построения Ларионова; все это с большой дозой азиатчины и примитивизма; эти "фонтаны цветов" и "праздники красок", хотя и подсказанные нам самими же французами, слишком выдвигались вперед, сравнительно с полинялыми, выцветшими красками тогдашней моды и с намеренно сдержанными, не рассчитанными на крепкие нервы постановками тогдашнего театра, с его небрежным отношением к декоративной части и полным отсутствием единства между декорацией, костюмами и музыкой.

Необходимо подчеркнуть здесь, что бесспорное впечатление, произведенное "Русским Балетом", и относится к его *русской* части, которая преобладала в первое пятилетие, до начала войны. Почти все художественные ресурсы балета за эти годы были заимствованы из русских театров и из круга художников, объединенных "Миром Искусства". Но этого рода успех был скоро исчерпан. Повторные постановки старых балетов уже не производили прежнего оглушающего впечатления. Надо было идти дальше, вместе с веком, а это значило европеизироваться, перенести на сцену художественные новинки Монмартра и Монпарнаса, а вместе с новинками и бурные споры парижских художественных кружков. Мы знаем готовность Дягилева идти навстречу новизне. И от принятого иностранцами на веру как русского национального, экзотического, Дягилев смело перешел, рискуя неудачами, к новейшим "крикам", вызывавшим восторг немногих ценителей — и сопротивление широкой публики. Бенуа и Бакста постепенно сменяют тут Гончарова и Ларионов, Бородина и Римского-Корсакова — Стравинский и Прокофьев, а Фокина, Нижинского и танцовщиц императорских театров, Анну Павлову и Карсавину, — прошедшие школу Дягилева Мясин, Нижинская, Лифарь. Параллельно выдвигаются и корифеи европейского современного искусства: Дебюсси, Равель, Флоран-Шмидт и Эрик Сати заменяют Шопена и Шумана; Пикассо, Матисс, Брак, Дерен, Гри, Мари Лоренсен, Утрилло — русских декораторов. Только балет оказывается незаменимым. Это фактическое общение русских художников с иностранными немало содействует и дальнейшему движению в русском искусстве. Надо только прибавить, что второй и наиболее длительный период "Русского Балета", начавшись в 1914 г. с вызвавшего первый скандал "Парада" Пикассо и Сати, захватывает главным образом послевоенный период, когда Россия была уже отрезана от остального света.

Каково же впечатление иностранцев от этого периода "Русского Балета"? Невольное признание внешнего, экзотического, чужого сменяется здесь внутренней борьбой с собственными новаторскими тенденциями. Но эта борьба только усиливает подозрительность к источнику новейшего "варварства": к русским, продолжающим показывать — и даже усиливающим —

те элементы искусства, которые создавали впечатление экзотики и в более умеренных произведениях мироискусников. За кубизированными "менаджерами" Пикассо в "Параде" идут "шуты" и футуризированные звери Ларионова. Феерические краски Судейкина принимают характер красочных пятен народного лубка в руках Гончаровой. Впечатление иностранцев понятно. Дягилев уже не решается возобновлять ни одного из этого рода балетов. А у критиков это искусство, "эпатировавшее" вначале и возбуждавшее любопытство, "начинает вызывать беспокойство и даже некоторое раздражение", как признался Арсен Александр в своем предисловии к каталогу выставки "Мира искусства" 1921 г. "Мы думали, — писал он, — что поняли русское искусство (после выставки 1906 г.). Но теперь, в 1921 г. ... было бы чересчур неосмотрительно сказать: я понимаю... Новейшие тенденции... то предаются бурному порыву, ритм которого от нас ускользает, то сочетают неумолимый реализм с упорной тщательностью примитивов в деталях. Почти у всех царят или конфликт, или гармония между традицией и новаторством, которые у нас неодинаковы с ними. Поэтому, как бы ни была велика их привлекательность для нас, у нас с ними не может установиться полного согласия в понимании и в эмоциях. Как транспортировать на наш мозговой строй ментальность других рас?.. Влияние русских картин, как галлюцинирующих, так и элегантных и тонких, окончательно разрушило бы то немногое, что мы сберегли от нашего национального гения. Вот почему я зараз и восхищаюсь этими внезапными откровениями, и настораживаюсь против них".

Смерть Дягилева (1929) внесла ноту примирения в эти настроения, но примирения с чем-то, что закончилось навсегда и больше не повторится. На этом настаивает большинство авторов в поминальном номере Revue Musicale. "La superbe folie, le bonheur de l'étrangeté", peut-être faut-il que la beauté meurt", — говорит поэтесса, графиня де Ноайль. "La magie charmante est finie", повторяет E. Henriot. "La belle légende", — озаглавливает свою статью и А. Бенуа. "Il n'était plus sur de sa route", — поясняет Робер Брюссель. И т.д. Не забудем, что эти отзывы, за исключением последнего, относятся к первому, довоенному периоду "Балета". Это та эпоха, которая создала для прикладного искусства и для модных магазинов "стиль русского балета" Та, когда "Балет" оказал, по словам Мориса Брийана, "немедленное и глубокое действие", "но столь же эфемерное, как его былая сила. Эпоха вполне законченная (но не ее влияние...) и представляющаяся нам такой отдаленной"... "Читатель будет удивлен соединением стольких похвал со столькими оговорками", — резюмирует заключительная глава. Но похвалы относятся к прошлому, — к впечатлениям "дней юности", к "законченной эпохе". Оговорки касаются преимущественно позднейшего периода, когда, по выражению Брюсселя, Дягилев, "быв-

ший прежде ясновидящим, подвигался вперед с жестами слепого". Такова была и сама эпоха, и именно поэтому Дягилев является таким характерным ее выразителем.

Эти замечания о "законченности" эпохи "Русских Балетов" послужат нам переходом от истории русского искусства к его современному положению. Лихорадочный ритм смены последних направлений и их радикализм дезорентировали не одних только иностранцев. У нас эта последовательность смен не имела и той внутренней закономерности, которую мы могли отметить выше относительно Запада и которая там помогала до некоторой степени если не примириться с ними, то по крайней мере понимать их. Догоняя Запад, мы сосредоточили эту смену на гораздо более кратком промежутке времени и усложнили ее собственными экстравагантностями. Первым последствием этого было то, что сменявшие друг друга увлечения не успевали упрочиться и гораздо быстрее исчерпывали себя в России, чем на Западе. Другим последствием оказалось то, что, по сравнению со смелостью новаторов, все прежние течения, и старые, и новые, и новейшие, почувствовали себя гораздо ближе друг к другу, чем это казалось их представителям в свое время, при каждой очередной борьбе "детей" против "отцов". Какой смысл был теперь нападать на передвижников, когда Репин и Бенуа представлялись одинаково устаревшими? Отсюда и признание Ларионова с Гончаровой, что, в сущности, они могут для своей манеры пользоваться всеми стилями и что развитие искусства во времени несущественно. Отсюда и их нежелание связать себя с каким-либо определенным моментом в вихре перемен. Отсюда, наконец, совместная деятельность художников разных поколений, когда-то столь непримиримых друг с другом, в период "Русского Балета", под объединяющей диктатурой Дягилева.

Мы видели, что на Западе ощущение законченности привело к возврату художников к старым направлениям. То же самое явление повторилось и у нас. В. Чудовский уже в "Аполлоне" 1913 г. (№ 6) утверждал, что даже и футуристы имеют за собой двухсотлетнюю давность, а "между живописью передвижников и "Бубнового Валета" (разумелся правый фланг "Б.В.") нет коренного, глубокого различия". Там же Вс. Дмитриев находил, что "если эстетство есть *заключительная* фаза борьбы за национальную художественную традицию, то передвижничество имеет столь же важное значение, как *более ранняя* стадия той же борьбы". Он решался даже сопоставлять Сомова, по "исторической значительности", с Перовым (№ 9)! Он же признал в 1914 г. ("Аполлон", № 10), что явственно обозначилась в русском художестве два влечения ретроспективного характера: "возврат и поиски на путях академизма (неоакадемизма)" и еще более далекие поиски "в образцах византийского и в особенности древнерусского творчества". На съезде художников по поводу выставки столетия французского искусства С. Бобров

еще в 1912 г. заявил, что русский "пуризм", "преодолев французское влияние, возвращается к лубку и иконе". Под этими разнообразными впечатлениями делались попытки реабилитации Брюллова, устраивались выставки лубка и икон, открылась в Петербурге (1911) Школа народного искусства. Вместе с тем явилась возможность для художников освободиться от очередной моды и, не взирая на ежегодно меняющиеся лозунги и "последние крики", "писать от себя", т.е. сохраняя свою индивидуальность. Разнообразие получившихся отсюда результатов не могло не удивить французского критика, мнение которого мы приводили.

Менее всего оправдались при этом те прогнозы, которые упорно предсказывали расцвет религиозной живописи. Дальше стилизации и архаизации тут дело не пошло. Иногда, как у Стеллецкого, эта архаизация превращалась даже почти в рабское копирование. Более солидная почва оказалась у "интимного пейзажа", соединившего верность реализму с передачей субъективного настроения. Такова живопись Кустодиева, с его деревенскими трактирами и провинциальными закоулками, и Лаховского, с его живописными уголками Петербурга, Пскова и т.д. Более понятно для иностранцев было течение, отмеченное Арсен Александром: возвращение к тщательному выписыванию реалистических деталей, напоминающее искусство Ван-Эйка. Таковы работы А. Яковлева и Шухаева. Плодовитый Яковлев подарил иностранцев сериями реалистически трактованных картин с Дальнего Востока, из поездки с Ситроеном через центральную Африку и из французской действительности. Реализм этих картин более напоминает старое русское передвижничество, чем экзотизм Гогена. Замечаемый в последнее время у Яковлева переход от виртуозного рисунка к моделировке при помощи красок едва ли может значительно изменить это общее суждение. Конечно, возвращение к реализму не исключает пользования новейшими достижениями искусства со времени импрессионистов.

Отдельно стоят художники, которые пытались соединить реализм с самым смелым новаторством. Образчиком такого сложного стиля живописи может служить творчество Бориса Григорьева. Текущий момент в русской жизни как раз предоставил ему для его цели исключительно благоприятный материал. Опростившаяся до последней возможности, эта жизнь сама давала сюжеты, которым позавидовал бы Ван Гог. Отклонения от нормального здесь стали правилом; животная сторона жизни выдвинулась на первый план в поисках удовлетворения элементарных потребностей. Тупая животность отразилась и на выражении лиц низших классов населения. Реальность приблизилась, таким образом, к стилизации и карикатуре. Отсюда черпал Григорьев типы для своей "Рассеи", и пейзажи с необработанной землей, покрытой желтой охрой глины и лесса. До-

машние животные смотрят на зрителя с этих ужасных, неумолимо реалистичных полотен громадными, сознательными глазами людей, а люди принижены до бессмыслия животных. Сравнивая этюды Григорьева с его картинами, можно видеть, как, подражая Ван Гогу, он окончательно деформировал на картине то, что уже было деформировано в этюде. Его картина в Салоне 1930 г. (1920-30) показывает, что он остался верен этой своей манере, хотя и прошло десятилетие с того времени, как он покинул "Рассею" и хотя рядом с русскими типами эпохи безвременья появились трактованные в том же стиле типы, живущие под "властью" бретонской "земли". Правда, Григорьев несколько смягчил свою кубистическую стилистику для портретов, чересчур сильно страдавших вначале от деления лица на плоскости и от подчеркивания всего некрасивого и неправильного. Манеру Григорьева, конечно, нельзя объяснять его незнанием или неумением рисовать. Напротив, он является мастером линии, напоминающим Домье. Его изображения несколькими штрихами, одним росчерком мастерски проведенной линии, довольно сложных деревенских и городских мотивов останутся одним из лучших достижений этого рода. Линия и форма в противоположность краске импрессионистов, конструктивизм и натурализм в противоположность туманностям и спиритуализму экспрессионистов — таковы уроки, вынесенные Григорьевым из Парижа. Но к ним он прибавил собственное глубокое знание изнанки народной русской жизни и свой собственный "варварский" стиль, который нельзя не узнать.

Параллельное явление Григорьеву представляет его сверстник (1887) Марк Шагал. Оба художника принесли в Париж из России собственные впечатления русского захолустья: Шагал вынес из своего Витебска и своего Лесна такие же красочные впечатления, как Григорьев из русской деревни. Оба прошли обязательную школу парижского кубизма и добросовестно восприняли его уроки. Но оба постепенно освободились от его мертвой ограниченности, вернувшись к слишком реальному материалу впечатлений юности. Оба заполняют свои полотна этой, хорошо им известной обыденной жизнью русских низов и еврейского гетто. В патриархальной обстановке этой среды люди живут на одном уровне с домашними животными. Но Шагал пошел еще дальше Григорьева в освобождении от всех законов реальных явлений. Его фигуры летают по воздуху и стоят вверх ногами; головы отделены от туловища, позы противоречат всем законам равновесия, дома кривятся и косятся, как живые существа; люди — больше домов, перспектива отсутствует. Любопытно, однако, что при всей смелости Шагала отдельные элементы его композиции менее деформированы и более реальны, чем у Григорьева: смесь реальности с фикцией — его характерная черта. При том же Шагал любит свою домашнюю прозу и его любовь переходит в лиризм. Напротив, Григо-

рьев враждебен среде, и его вражда переходит в ненависть. Поэтому Григорьев грозно обличает, тогда как Шагал только любовно посмеивается над своими героями. Вместо сатиры и карикатуры русского художника еврейский художник дает зрителю небывалый сказочный мир, переданный наивным детским рисунком, — и тем более убедительный. Один критик указывал на источник этой любви и этой мистики — в хасидизме еврейской религиозной семьи. Оба художника произвели на парижскую публику впечатление интересного "варварства", какое мы видели и относительно русского балета. Но Шагал, помимо первого оглушения иностранцев и последующего снобизма любителей, взял еще у заграничной публики своей искренностью и своей фактурой, — своей роскошью красок (он был учеником Бакста). Не сравнивая таланта обоих художников, который, конечно, у каждого свой, мы сопоставили их здесь главным образом для выделения тех *общих* черт, которые характеризуют время их выступления. Это — время разрушения зашедших в тупик крайних доктрин, время новых исканий, где каждый талант, освобожденный от обязательной доктрины, ищет собственного пути. Этим объясняется и некоторое смягчение стиля обоих художников — их постепенный переход с созданного ими неба (или ада) на твердую землю, по которой не стыдятся ходить все смертные. Перечисляя все упомянутые современные течения, мы уже перешли грань переворота, отделившего Россию от эмиграции. Эволюция этих течений на свободе только и могла, конечно, совершаться в эмиграции. Но мы уже знаем, что культурная жизнь не замерла и в советской России. Посмотрим теперь, что произошло с изобразительными искусствами при господстве большевиков.

Судьба изобразительных искусств при советском режиме во многом сходна с судьбой литературы, а отчасти даже сливается с нею. Как там, так и здесь сперва идет крутой разрыв старого с новым, — разрыв обоюдный. На авансцену, одновременно с ликвидацией прошлого, выступают самые крайние направления, самые "последние крики" в искусстве. Подобно "последним крикам" в литературе, они предъявляют претензии на исключительное представительство специфической революционности и основывают на этом свои права — получить долю выгод от близости к власти. Как там, так и здесь эти претензии скоро расшифровываются и оказываются в значительной степени дутыми. При нэпе выплывают из-под спуда остатки старых течений, пробиваются новые ростки, создаются, при относительной свободе, новые комбинации старого и нового, формулируются новые компромиссы. И наконец, в последние годы овладевшая положением власть там и здесь налагает свою централизующую руку, грозя обесплодить своими мертвящими тенденциями всю эту новую поросль, заменить живое вдохновение казенным штампом "социального заказа".

Итак, прежде всего мы присутствуем при "выходе" старых течений. Самые видные и сильные художники, представляющие эти течения, эмигрируют. Эмигрируют Малявин, Коровин, Билибин, Судейкин, Сорин, Лаховский, Яковлев, Шухаев, Григорьев, Сомов, Добужинский, А. Бенуа, Гончарова, Ларионов; гастролирует и пускается в экзотику Рерих, остается жить в Финляндии Репин. Другие умолкают, оставаясь в пределах России. Среди наступившего, таким образом, вынужденного молчания торжествующие крики футуристов в искусстве художественного "Лефа", формально связанного с литературным, раздаются тем громче и назойливее. Всевозможные художественные измы, известные нам из дореволюционного периода, получают теперь богатую пищу в идеологии большевизма. Коллективный человек-машина становится лозунгом не только советской государственности, но и советской культуры. Все то, что выделяет "частника" из массы, вся внутренняя личная жизнь индивидуума, все это должно быть устранено, чтобы не препятствовать выработке коллективного типа "нового человека". Сам Ленин провозглашает, что по разрушении бюрократической машины современного государства "все граждане становятся служащими и рабочими государственного синдиката" и "производят одинаковую работу... , правильно выполняют свой урок и получают одинаковую плату". Бухарин вторит Ленину, расценивая человеческое общежитие по принципу пчелиного улья, где все устроено исключительно с "социальной точки зрения" и не может быть речи ни о какой "духовной жизни". Историк Покровский заявляет в тон им, что "марксисты не видят в личности творца истории; для них личность есть только аппарат, при помощи которого действует история", и что, "вероятно, наступит время, когда эти аппараты будут производиться искусственно, как теперь стоятся электрические аккумуляторы". Этой темой о большевистском "роботе" овладевают и художники, и поэты. Демьян Бедный воспевает "миллионы ног в одном теле" марширующей массы, у которой "один шаг, одно сердце, одна воля". Великан "народ, под которым дрожит мостовая и который заставит дрожать вселенную", — вот лозунг нового искусства. Этот гигант совершает автоматически, по команде, одинаковые действия, как "рационализованные" движения рабочего у машины, и из миллионов одинаковых жестов рук, ног, глотки слагается исполинский итог. Рабочий при этом сам превращается в одну из составных частей машины, и это хорошо выражено в рисунках Кринского. Фигуры рабочих сведены здесь к нескольким схематическим четырехугольникам (вот, где название "Бубновый Валет", "слуга четырехугольника" было бы у места), движения прямолинейны и "рациональны", композиция сливает людей с частями машины. Характерным образом большевики нашли свой идеал машинизма в "американизме". Маяковский воспел с этой точки зрения Чикаго, "электродина-

момеханический город, построенный на винте и ежечасно вращающийся вокруг себя". "Возьмем буран революции, — говорится в призыве Гастева к американизации, — вложим пульс жизни Америки и сделаем работу, выверенную, как хронометр... "

Искусство коллективного человека должно было быть "монументальным". "Улицы — наши кисти, площади — наши палитры", — вопил Маяковский. На первых порах этот заказ на монументальность выразился просто в увеличении обычных форм до грандиозных размеров. По этому рецепту возникли гигантские статуи героев революции не только Маркса и Энгельса, но и Радищева, Герцена, Чернышевского, Стеньки Разина, Баумана. Так как в спешке они были сделаны из глины и гипса, то скоро время с ними расправилось, и от этого творчества ничего не осталось. Кубистскую статую Бакунина пришлось даже уничтожить, так как она возбудила ропот рабочих. Применялись и другие способы достигнуть небывало грандиозного эффекта, например, при помощи красок. По поводу коммунистического праздника, на котором обезличенный "коллективный человек" — эта новая "вобла" — потрясал тысячами ног мостовую, — весь газон, цветочные грядки и деревья перед Большим театром в Москве были окрашены в фиолетовую и красную краску. Удивленная толпа с недоумением созерцала, как целые моря краски заливали улицы и площади, дома и вагоны геометрически пересекающимися плоскостями. Так, с тесных полотен салонов и выставок военного времени сомнительное творчество "Ослиных хвостов", "Трамваев В", "0,10", искусство кубистов, футуристов и супрематистов вырвалось на свободу. "Доведенное до последней черты" Малевичем, Татлиным и др., искусство Пикассо, Брака, Леже, Озанфана было "легализовано октябрьской революцией, которая "подвела под него идеологическую платформу". Какого размаха потребовало это "профессиональное" самоутверждение, видно из того, что при праздновании первой годовщины октября десятки тысяч аршин раскрашенного полотна покрывали целые здания: один Натан Альтман израсходовал 20 000! Это значило, по объяснению Тугендхольда, "взрывать и подрывать старые рабские чувства", закрывать "святыни", дворцы и памятники, "разрушая их привычные облики новыми формами". "Это была та разрушительная работа, которую требовала психология момента", — психология вождей, конечно, ибо "рабоче-крестьянская масса воспринимала эту оргию красок и линий", по свидетельству художника Щекотова, "с досадным недоумением". И сам Тугендхольд признает, что, лет десять спустя, уже и вдохновители этой вакхической пляски "отрезвели и могут отличить подлинно творческие искры этого горения" от "бенгальского огня", "идеологию от фразеологии", "революционные проекты от простого прожектерства".

Перейдя от хаотического футуризма в распоряжение "пролеткульта" революционное искусство было "централизовано" в "художественной коллегии отдела изобразительных искусств" ("ИЗО") и подчинилось "планомерному регулированию вместо прежней либеральной анархии и борьбы интересов". Создан был для замены меценатов "государственный фонд" и "всероссийская закупочная комиссия". Очищены "авгиевы конюшни цитадели художественного бюрократизма", Академии Художеств, превращенной в "свободные государственные мастерские". Их работе было придано "производственное направление" — на "искусство предметов", как-то отгороженное от буржуазного "чисто укрошательского прикладного искусства", "на фабрики, на заводы, в промышленные школы и мастерские" — делать "вещи", как "сапожник делает сапоги", — таков был очередной лозунг. "Художник приравнивался к высококвалифицированному товаропроизводителю". От "улиц и площадей" искусство перешло в лабораторную "кухню".

В чем же это выразилось на полотне? Подобно "космизму" в поэзии "Кузницы", в живописи начался "инженеризм", культ машинизма и американизма[14]. Так как "бытие определяет сознание", писал Пунин, а бытие есть форма, то "наше искусство есть искусство *формы*", ибо "мы — пролетарские художники", "монисты", "материалисты". "Никакой душевной жизни", никакой "сюжетчины"[15]. Малевич тоже требовал "духовную силу содержания отвергнуть". Так взяли силу "конструктивисты" и "беспредметники". Из мастерских Лебедева и Лапшина стали выходить "супрематические" и "кубофутуристические" произведения, совершенно непонятные массам, для которых предназначались. Тугендхольд замечает, что попытка вместить это "сухое" геометрическое искусство в жизнь рабочих клубов вызвала даже "кризис клубной жизни и упадок клубной посещаемости", то есть попросту разогнала публику.

Перемена и здесь произошла в связи с появлением нэпа, когда закрыта была и "закупочная комиссия". Она уступила место "свободе спроса и предложения", к большому огорчению протежируемых художников, "еще и поныне вздыхающих о временах военного коммунизма", по свидетельству Тугендхольда. Пользуясь новой "свободой", вновь появились на свет божий, подобно "попутчикам" в литературе, умолкнувшие старые направления. Весной 1922 г. открылась 48-я выставка передвижников. Появились опять на сцену, устроив свою выставку, и "московские сезанисты", члены группы "Бубнового Валета". Это заставило и революционных художников вернуться к сюжетной изобразительности. Вскоре была основана АХРР, про-

---

14 Собственно, начало "машинизму" в живописи положено Гончаровой.

15 "Сюжетчина" в этой новой терминологии, очевидно, означало передвижников, а "душевная жизнь" — экспрессионизм и архаизацию.

возгласившая новый лозунг "героического реализма". Эта группа нашла и своих заказчиков — в центральном органе профессиональных союзов, устроивших постоянную выставку картин на трудовые темы или в ЦВРС, открывшем к пятилетию Красной Армии (1923) выставку под этим названием, а потом и военный музей; и наконец, в "Музее революции", организованном в том же, 1923 году. Художники принялись рисовать Ленина и частные портреты. Тотчас же уступка требованиям "среды" сказалась в том, что "многолюдный поток зрителей хлынул на выставки АХРР".

"Левые" художники оказались не в силах удовлетворить этому спросу. Революционные "плакаты" "отучили" их от живописи, "снизили их мастерство". И ахрровскому "реализму" нечего было у них заимствовать. Но ахрровцев обвинили в том, что как раз "героического не нашлось в их реализме", — что в их картинах "не оказалось самого главного: революционного пафоса, динамической композиции". "Героика была сведена здесь к хронике, к холодному рассказу о событиях". Это было то самое обвинение, которое было предъявлено и литературным "попутчикам". Полотна были большие, но в них царили "натуралистический беспорядок" или "академическая статичность" (например, у Карпова). И как, в самом деле, было искать традиции "победной" героики там, где героизм проявлялся, как у Сурикова, только в изображении страданий, преследований и казней.

Зато АХРР имел успех (опять, как в литературе) в *бытовой* живописи. Перельман заметил, что члена АХРР "можно было видеть у станка, в казарме, на конгрессе коминтерна, съезде советов" и т.д. Но — мы опять воспроизводим компетентное суждение Тугендхольда — это был скорее "художественный репортаж, нежели подлинное искусство". На выставке профессиональных союзов "труд показан, как маята, как тяжкая доля рабочего класса, а вовсе не как сознательный труд пролетария". При том же — "темные, серые, бурые краски, вялость и дряблость формы — все это наследие народнического подхода к труду и к народу, лишь как к объекту "жаления". За немногими исключениями (Савицкий, Шухмин, Терпсихоров, Лехт, Журавлев, Дормидонтов), здесь нет ни одной бодрой, активной, действенной ноты". Словом, несмотря на "социальный заказ", "революционной" живописи не получалось и у АХРР.

Живые, новые, молодые настроения начали пробиваться в стороне от главных течений. Но — у них по крайней мере вначале — немного "от революции". Взволнованность есть у группы "Маковец", молодой лидер которой Чекрыгин погиб под поездом в 1922 г. и унес с собой в могилу надежды на художественное воплощение "динамизма" и "монументальности" в советском искусстве. Его товарищи соединяли с душевной потрясенностью трагическими событиями "интеллигентский пессимизм"

и смятение перед ними. Они были слишком образованы и культурны. В литературе их можно бы было сравнить с Бабелем. Тугендхольд — наш гид по советским выставкам — находил, что "переизбыток культурных воспоминаний тяготеет над "Маковцем" непосильным грузом". Тут и итальянизм и живописность (Чернышев), японизм (Бруни), романтизм Гюиса и фантастика Гойи (Рындин и др.), русский лубок и французский кубизм (Шевченко). Словом, они оказались слишком культурны для революции.

Было другое течение, мимо которого революция, казалось, прошла, не задев его психики. Это — москвичи, бывшие члены "Бубнового Валета", от которого отошли Гончарова, Ларионов, Бурлюк и Шагал, и явилось молодое окружение, объединившееся в 1921 г. в группу "Бытие". Действительно, от мучительности душевного анализа и от метафизических глубин "Бытие" переходит к наслаждению бытием. Оно радуется природе и краскам, в нем кипит молодость и здоровье; ему все равно, что писать: дерево, яблоко, крестьянина, комсомолку, пейзаж, наготу; "весь мир для них — сплошной натюрморт", повод для оргий жирных красок и размашистой кисти, за которыми страдает и стушевывается форма. Сюда вошел из прежних и отсюда вышел Кончаловский; здесь Осьмеркин, Богданов, Новожилов, Машков, Лентулов, Сретенский. В 1925 г. они вошли в состав АХРР, но остались в нем особым течением: их солнце, зелень и воздух, сочность, свежесть и полнокровность слишком отличали их от ахрровских серых тонов. И, однако же, на них, как и на ахрровцах, сказался не официальный "социальный заказ" на революцию и героизм, а заказ простой публики, требовавшей: рисуйте нас, наш быт, покажите нам то, что нас окружает. И они, подобно АХРР, стали переходить к бытовому жанру.

Борьба левых и правых течений приводит к попытке компромисса, как в литературном "Перевале". На "дискуссионной" выставке 1924 г. в Москве "левый станковизм встречается с новой социальной сюжетикой" и от "беспредметности" начинает переходить к "изобразительности". Дорогу показывает сам Штеренберг, за ним идет вхутемасовская молодежь выпуска 1922 г. — Вильямс, Меркулов, Вялов, Люшин. На выставке 1924 г. появляются новые миниатюрные группы: "Быт" из двух членов, "Объединение трех", "Конкретивисты" — их пятеро. Все это — левые "реалисты". Конные красноармейцы, митинг, милиционер, футбол, прачка, чайная — таковы их темы. На этой почве возникает в 1925 г. "Общество станковистов" — "Ост". От "беспредметников" у них остается машинизм (Дейнека), американизм, динамика движений (Ю. Пименов, Меркулов, Лабас), "вывесочная" — почти "прейскурантская" выразительность, контрасты плоскостей и объемов. Они — плод городской и промышленной культуры, обожают спорт и физическое развитие, крепкие мускулы. Их живопись — жесткая, четкая,

деловитая; она "скорее графично-линейна, нежели живописна". Но и они от черного цвета постепенно переходят к расцветке. А главное, что у них ново, — это широкий обхват современной жизни и быта, попытка соединить реализм с формализмом, найти средний путь между "беспредметностью" и лозунгом "назад к передвижникам". Их путь не пройден до конца, и их компромисс, вероятно, не последний. Они все еще ломают перспективу, совмещают объемы и плоскости, ловят неестественные повороты и позы фигур, пытаются дать на одном полотне моменты движения. Но они уже отказались от вибрирующей туманности и от распыления движения в пространстве экспрессионистов. Их движения скорее примитивны, чем упадочны. Собственно, "революционного" и в этом компромиссном течении мало, и "заказа" на "строительство социализма" оно пока не выполняет. Основной чертой периода советской живописи является, несомненно, постепенное сближение разных течений, их подход к некоторому общему центру. Этот центр есть изображение современности, "советская сюжетика". Но этот процесс "советизации", отказ от "внутреннего саботажа" первых лет здесь, как и в литературе, не есть капитуляция перед доктриной в книге и диктатурой в жизни. Пользуясь словами того же Тугендхольда, мы можем сказать, что "выпрямление художественного фронта совершается по линии все большей и большей установки художества на реализм как на некую общую и твердую платформу".

При более спокойном ходе событий в СССР, вероятно, описанный процесс взаимного приспособления старой технической традиции и новых идейных запросов продолжался бы в только что описанном направлении. Но в 1928 г. произошел в советской жизни перелом, который отразился и в области изобразительных искусств. В "Ежегоднике литературы и искусства на 1929 год" предшествовавший год так и признан "переломным этапом в развитии искусств". Воспользуемся итогами "Ежегодника", чтобы выяснить, в чем же этот перелом заключается.

Он вызван прежде всего новыми требованиями к искусству. Требования эти сводятся, по выражению их официального представителя И. Маца, к "более четкому выявлению классового лица художественных группировок". При "бурном росте строительства социализма" простые разговоры о "близких" к коммунизму художниках, о их "революционном" искусстве и т.д. "перестали удовлетворять". Необходимо, чтобы искусство приняло участие в самом строительстве. В чем должно проявиться это активное участие, советские критики, несмотря на долгие разговоры, определить не умеют. Но тем усерднее они отрицают те формы, в которых искусство не должно проявляться. И при этом забракованными оказываются все попытки приблизиться к "пролетарскому" искусству, о котором шла речь выше. В конце марта 1928 г. на эту тему был организован в Коммунистической академии диспут, продолжавшийся четы-

ре вечера и так и не давший положительных результатов. Тот же И. Маца выступил там с вступительным докладом, в котором критиковал и АХРР, и ОСТ, предлагая АХРРу, как преемнику передвижников, променять "правдоподобное иллюстрирование исторических событий" на "изготовление иллюстрированных документов классовой борьбы усовершенствованными техническими способами" (имелась в виду фотография). По адресу "формалистов" он осудил "интимно-салонное искусство буржуазии, импрессионистов и постимпрессионистов", в лице их "первоисточников", "Мира искусства" или "Бубнового Валета", "социальное содержание которых стоит в глубоком противоречии с социальным содержанием мироотношений пролетариата". Отвергнув, таким образом, и реализм, и "интимное" искусство, он заключил, что "типом" пролетарского искусства является конструктивизм архитектуры, которой должны "подчиниться все виды искусства". Надо, чтобы массы не получали искусство извне, а *сами* участвовали в его создании. Правда, провести на практике эту идею оказалось довольно трудно. Тем не менее перед вновь заявленным требованием начальства оставалось преклониться — и искать новых форм или по крайней мере новых формул художественной деятельности.

Заподозренный в буржуазности АХРР ответил на это требование новой декларацией, принятой на майском съезде 1928 г. под влиянием вновь выступившей молодежи. Тут, конечно, было сказано, все, что полагалось, о "содействии пролетариату в осуществлении его классовых задач", расширен "фронт искусства" на художественное оформление быта и на художественную обработку предметов массового потребления. Признано великое значение украшения рабочих клубов фресками. Но АХРР не мог отречься ни от станковой живописи, ни от ее "художественно совершенной реалистической" трактовки. Состав АХРРа остался довольно пестрым, и его декларации не получили практического осуществления. Надо было идти дальше. В ответ на это требование появились новые организации. В начале 1928 г. общество РОСТ впервые устроило выставку не в салоне, а в рабочем клубе. Правда, туда были принесены те же "цветочки, натюрморты и пейзажики", и в заключительном диспуте препирались художники с критиками — при полном отсутствии рабочих. Затем РОСТ раскололся, и из него выделилось ультрарадикальное "общество художников-общественников" (ОХО), которые объявили: "Мы, молодые, хотим своими средствами строить новую жизнь... достигнуть живого общения через художественные произведения с организованными массами трудящихся", организуем бесплатные выставки в рабочих клубах, хотим "установить живое общение со зрителями и через это... определить тематику" и т.д. Увы, и у них на этих выставках нашли "те же типично салонные вещи". Наконец, в конце 1928 г. появился самый радикальный "Октябрь", обещавший "своей рабо-

той организовать психику масс и способствовать оформлению нового быта" путем создания "новых типов и нового стиля". "Октябрь" решительно "отвергал мещанский реализм эпигонов, реализм застойного индивидуального быта", так же как и "натуралистический реализм, бесплодно копирующий действительность". Новая группа "будет строить пролетарский реализм, выражающий волю действующего революционного класса, реализм динамический" и т.д. Но тут можно было вспомнить слова Д. Аркина: "Мы имеем обильное теоретизирование, не менее обильное декларирование... и довольно мизерные "достижения"..."

Всего неожиданнее было то, что туго натянутая влево струна оборвалась и организации, тянувшиеся через силу в эту сторону, откатились далеко вправо. Не удовлетворив "социальному заказу" Совнаркома, ОСТ "вернулся к отвлеченно-формальным проблемам", стал "углублять" свое мастерство, и у него "восторжествовала живописность". Вновь появилось в 1928 г. "Общество московских художников" (ОМХ), "признанные мастера", преемники "Бубнового Валета", "Маковца" и других воинствующих течений дореволюционного буржуазного искусства. Сюда перешли из АХРРа Фальк, Лентулов, Машков, Рождественский. "Организовав свое общество, — жалуется "коллективная статья "Ежегодника", — они немедленно же отказались от революционной тематики". Они "держатся на уровне высоких достижений"... под их влиянием и "Бытие", и "Рост", и "Круг" (Ленинград), "значительная часть АХРРа, а в последнее время даже и значительная часть ОСТ, не говоря о провинции и художественных школах", стали отходить от позиции "попутчиков", "перешли к передаче чисто субъективных переживаний", "замкнулись в границах пейзажа, портрета и натюрморта". И какого пейзажа! На выставках появились "Скит взыскующих града", "Иже херувимы", "Заштатный монастырь", "В старой усадьбе". За ОМХ пошли новые "реакционные" группы, "Объединение имени Репина", "куинджисты", "индивидуалисты", обновленный "Жар-Цвет". Тут же появились всевозможные "Заглохшие уголки сада", "Уголки" Мурома, Москвы, Звенигорода, Нижнего, старого Тифлиса и т.д. Словом, "полное приятие старого быта". И что хуже всего, толпа идет к ним, особенно в провинции; у них "необыкновенное обилие выставок".

Так станковая живопись ответила пророкам, осуждавшим ее на отмирание и полную "гибель". Попытки найти новые приемы проникновения "искусства *в массы*" (вместо устаревшего: "искусство *массам*") пока не пошли дальше расписывания фресками помещений рабочих клубов. Но были же другие отрасли искусства, которые более поддавались требованиям внедрить искусство в пролетарский быт. Мы видели, что новые художники начали с требования заменить картину "вещью". Какие же результаты дало "искусство вещи" — по-старому "при-

кладное" или "декоративное" искусство? Здесь уже не было надобности идти ощупью и изобретать искусственные решения; формы этого искусства были готовые; оставалось наполнить их новым содержанием. Жилищная обстановка, утварь, ткани, ковры, обширная область кустарной промышленности — все это давало повод для создания нового, пролетарского стиля. Воспользуемся итогами, которые подводит Д. Аркин в статье "Ежегодника" об "искусстве вещи". Отрицательные задания, по обыкновению, ярки и определенны. Долой "эстетов-романтиков типа Вильяма Морриса" с их "ремесленным" производством, с их "борьбой с машиной"! Ликвидируем "разрыв между искусством и фабричным производством". Покончим с "индустрией роскоши для немногих". Но прежде всего откуда взяты эти лозунги? Аркин называет... иностранные авторитеты: Корбюзье, недавно приезжавший по приглашению в Россию, Баухауз в Германии... Да здравствует "эстетика инженерии", "эстетика целесообразности", "новые, социально целесообразные бытовые формы"! Что же сделано для воплощения этих форм, сравнительно с которыми сам Корбюзье должен оказаться замаскированным "эстетом"? Вот ответы: "В организационном отношении — пустое место". Вместо новых форм "возрождение прикладничества" в его наиболее отсталых формах, соответственно "рыночному вкусу". Вместо создания новой мебели — "использование старой", "из старых московских особняков, усадьб и т.п.", и "распределение ее по новым общественным зданиям и учреждениям". В результате — "сборная мебель почти музейного порядка". И "государственная мебельная промышленность работает почти сплошь по старым образцам". "Мебель не приспособлена к новым условиям планировки жилья": задача трудная, ввиду жилплощади, измеряющейся несколькими квадратными аршинами. "Стандартизация канцелярского стола" — вот образец действительного достижения. Потом — "типы клубного оборудования". Все это пока дальше образцов не пошло, а что касается самих образцов, "здесь мы должны заимствовать отлично разработанные модели американской жилищной техники"! "Приспособления... по большей части не выдерживают критики с точки зрения функциональной целесообразности". Текстильная промышленность — вот другое обширное поле. Но и здесь, как оказывается, "наиболее характерно... чрезвычайное обилие очень старых рисунков и разрыв между рисунками и одежной формой". "Потребитель... реагирует на старые рисунки" и не реагирует на "немногочисленные опыты обновления" их; а фабрика работает на потребителя. Поэтому и "слабые попытки обновления текстильного рисунка остались только эпизодом и сейчас сведены на нет захлестнувшим их потоком архивного старья". "Советский орнамент?" Тут сколько угодно "вариаций на темы государственного герба" (серп и молот), пятиконечных звезд и машинных принадлежностей. "К сожалению, этот со-

ветский орнамент характеризуется... крайне бедной изобретательностью и примитивным однообразием трактовки". "Проблема костюма?" "Если не считать ненового пионерского костюма да красного платка работницы, перечень новых костюмных форм будет исчерпан". А между тем "толстовка" теряет популярность и соединение "военной одежды и русской рубахи... не отвечает быстро растущему культурно -бытовому уровню". Остаются "архимещанские ателье мод и... запоздалые образцы парижских модных журналов", на которые падки, конечно, особенно советские дамы. Деревня "спрашивает готовую (т.е. городскую) одежду". Наконец, кустарные изделия? Они, конечно, процветают и имеют некоторый успех на иностранных выставках, хотя "экспорт развивается в высшей степени медленно". Но, вопреки Аркину, и эта степень успеха объясняется "русским стилем" кустарных изделий, в которые не проникло еще советское "художественное руководство". Мы перечислили все "вещи", на которые распространяется претензия создать новый пролетарский стиль — в будущем.

Гораздо успешнее развернулись те отрасли изобразительных искусств, которые имели отношение к советской пропаганде. Сюда относится, оставляя в стороне обширную область "искусства в движении", советского кино, полиграфия и особенно плакат. Своей гравюрой и графикой большевики гордятся — и имеют для этого известное основание. Правда, начало здесь было положено "Миром искусства". Петербург, в противоположность "живописной" и "модернистской" Москве, давно считался городом строгой графики по преимуществу. Это, как мы знаем, было связано с изучением ампирного стиля, отличающего старый Петербург и загородные дворцы, в контраст с купеческой, декадентской архитектурой старой столицы. Произведения дореволюционных мастеров, А. Бенуа, К. Сомова, Добужинского, Остроумовой-Лебедевой, ученицы Маттэ, продолжали издаваться и при большевиках. Но это ведь была "поэтизация быта уходящего класса", дворянской культуры! От идеализации "Версалей" и от эротики "маркиз" XVIII в. советскому граверу предстояло отречься в пользу нового быта. Пришлось упростить и саму технику резьбы по дереву, потому что тонкая гравюра не выходила на плохой бумаге, какою располагали большевики в первые годы. Затем, гравюру надо было сблизить с "производством" книги: этого требовал уже не только принцип марксизма, но и потребность книгоиздательства. В этом новом духе — тоже в духе "вещи", материала, в противоположность "эстетству", — стала работать московская школа граверов во главе с Фаворским. Графика оказалась смелее и свободнее живописи в трактовании революционных сюжетов. Ей было легче усвоить и требуемый "динамизм" изображения, и "индустриальную тематику" — железные мосты, радиостолбы и т.д. При всем том, однако, свидетельствует Тугендхольд, "было бы фразой утвержде-

ние", что эта новая советская гравюра "завоевала массовую книгу". Ценные иллюстрированные издания по-прежнему остаются "недоступны массовому потребителю". Частные издательства этого рода, как "Алконост", "Аквилон", "Персеполис", "лопнули, не найдя широкого покупателя". "Искусство гравюры, — подтверждает и В. Полонский, — влачит жалкое существование, не имея возможности пробиться к потребителю, — правда, весьма ограниченному". На массового потребителя продолжают работать дешевые ремесленники третьего сорта, наводняющие свои "вещи" "заграничной мещанской пошлятиной".

Вот, наконец, любимое дитя советской пропаганды, плакат. Порождение урбанизма и революции, современное применение "библии бедных", перенесенное из пергаментной рукописи в уличный листок, а из листка на забор или на стену, крепкий и звонкий, как взрыв бомбы или удар набатного колокола, плакат получил небывалый простор применения в годы гражданской войны 1918-22 гг. Тут не требовалось художественного рисунка или сложного сюжета: чем проще, чем "ударнее", тем лучше достигалась цель плаката: воплотить в доступный для всех, видимой издали форме очередной лозунг сегодняшнего дня. "Записался добровольцем?" "Помоги (голодному)!" "Казак — ты с кем, с нами или с ними?" "Петрограда не отдадим!" "Советская Россия — осажденный лагерь". "Все на оборону!" "Кто за Советы, кто против Советов?" Таковы лучшие плакаты Д. Моора (Орлова), которому принадлежит среди художников плаката первое место. Второе следует отдать В. Дени(сову), принесшему из "Сатирикона" свои карикатурные типы. Старая троица — царь, поп, буржуй противопоставлена у него новой: рабочий, крестьянин, красноармеец. Это вершина военного плаката. На подъеме к ней стоит Апсит со своими тщательно вырисованными, но слишком сложными и ненужно художественными иллюстрациями. На спуске с высшей точки стоит уже М. Черемных, плодовитый иллюстратор окон "РОСТа", дававший серии схематизированных, "футурных" рисунков с пояснительными стихами Маяковского, Демьяна Бедного и др. Совсем выходит за пределы плаката Маяковский и особенно В. Лебедев, рисунки которого приходится отгадывать, как головоломные загадки. Интересно отметить, что здесь, как в литературе, все то, что обращалось к народу, — плакаты или разрисованные стенки агитационных поездов и пароходов — должно было по необходимости говорить и рисовать языком и образами художественного реализма. В этом отношении плакат явился исключением из общего правила "производственного" и "конструктивного" стиля живописи годов "военного коммунизма".

Как "искусство улицы", плакат сыграл свою роль, и ближайшие годы после 1922 г. были свидетелями падения его политического значения. На улице его заменил плакат-кино, плакат-торговая реклама и т.д. Но в последние годы к политичес-

кому и агитационному плакату возвращаются как к способу пропаганды "социалистического строительства". С улицы этот плакат переселяется в рабочий клуб и избу-читальню. Конечно, меняется его содержание. Его краски сереют, картина поступается местом для текста, превращающего плакат в наглядное пособие для лектора. Появляется фотомонтажный плакат. Перевыборы, хлебозаготовки, госзаймы, коллективизация, индустриализация, борьба с религией — таковы боевые темы этих плакатов.

Архитектуре особенно посчастливилось при советской власти. Если современная архитектура есть вообще архитектура промышленной стадии общественности, то в советской России из идеи промышленного труда сделана центральная идея государственного строя — своего рода фетиш. Если основой современной промышленности служит машина, то при режиме коммунизма машина определяет собой весь характер быта. И если современная архитектура является повсеместно отражением этой комбинированной силы машинного производства, то нужно ожидать, что в СССР эта ее роль превратится в служение и станет ее исключительной задачей. Мы имели случай также заметить, что стиль архитектуры стоит в прямой зависимости от ее материала и что в России архитектура становится национальной, когда употребляет национальный материал, дерево. Установленный на дерево стиль, как мы видели, переносится и на камень и влияет на формы каменного здания. Но тут происходит некоторое раздвоение, подобное тому, которое и в истории мировой архитектуры происходило всякий раз, когда утверждался новый стиль, созданный новым материалом. А именно линии здания, которые в первое время стиля имели исключительно служебное значение при постройке или, как принято говорить, *конструктивное* значение, начинают свободно употребляться для *украшения*, то есть получают *декоративный*, эстетический смысл. Чем дальше развивается стиль, тем более декоративный элемент начинает преобладать, и, когда он окончательно перевешивает, закрывает собою конструктивные линии здания, тогда происходит падение, вырождение стиля. Так было при переходе от стиля Возрождения к стилю барокко в XVII-XVIII вв. У нас в России спасением от упадочного барокко явилось восстановление на границе XVIII-XIX вв. античного стиля Empire. Но это разрешение было искусственным. Надо было ждать, что развитие промышленности и машины покончит с искусственными подражаниями старым стилям и поведет к созданию совершенно нового стиля, опять строго конструктивного характера. Какой это будет стиль, снова зависело от строительного материала. Давно уже стали говорить, что новая архитектура будет архитектурой *железного* стиля, образцом и торжеством которого может служить Эйфелева башня. Но железо уступило место железобетону. И теперь происхождение ново-

го стиля должно быть связано с железобетонным материалом строения и, конечно, с его промышленно-машинными задачами. Исходя из этих данных, новый стиль, собственно, уже появился в Европе и особенно в Америке. Но непривычные и неприглядные для глаз линии новых строений заставили иностранных архитекторов прибегать к компромиссам и пытаться разными декоративными приемами смягчить, затушевать, скрыть по возможности аскетическую строгость конструктивных линий.

Мы поймем теперь особенности русского архитектурного стиля советского периода, если скажем, что здесь, как везде, он старается довести новую идею до крайности. По идее, он против всякой примеси декоративных элементов. Новый стиль должен остаться строго и последовательно конструктивным. В этом должна заключаться его эстетика.

Мы уже знаем, какое значение имел "конструктивизм" в других областях советского творчества и к каким преувеличениям вели попытки применить эту идею к сферам, ей несродным. Но сфера архитектуры была единственная, где конструктивизм был вполне на месте. Однако же, и тут, вместо постановки конкретных задач, дело началось с фантастических проектов воплотить в жизнь космические порывы поэтов "Кузницы". Выразителем этого настроения явился архитектор Татлин, решивший отвергнуть все старые буржуазные формы искусства и заменить их "машинным" стилем, который бы воплотил в себе признаки времени: динамизм футуризма, рационализм техники и утилитаризм целевых назначений. Материалом для такого строительства должны служить не дерево или камень, а металл, бетон и стекло. Образцом этого "динамического монументального стиля" должны были послужить проектированные Татлиным "Памятник третьего Интернационала" в Петербурге и "Дворец Труда" в Москве. Три этажа гигантского первого здания, построенные в формах куба, пирамиды и цилиндра, должны были находиться в постоянном вращательном движении — годовом, месячном и ежедневном. Первый этаж предназначался для заседаний законодательных учреждений и конгрессов Коминтерна, второй — для исполнительных органов, третий — для печати и пропаганды. Двойные стены должны были обеспечивать постоянную температуру. Исполинская спираль, "символ нового духа", вилась кругом всего здания, воплощая в себе идею коммунистической динамики, в противоположность "буржуазной" горизонтали, изображающей дух стяжательства. Железо и стекло — материалы, созданные огнем, — символизировали силу как бы рождающегося океана. В этом же роде был задуман и "Дворец Труда", здание в 100 метров длины, с аэродромом и радиостанцией на крыше, с центральным помещением на 8000 человек, долженствовавшим вместить представителей трудящихся масс всего мира.

Конечно, из этих затей ничего не вышло, так как величественные планы зданий "конструктивировались" без всякого соображения со свойствами материала, с техническими возможностями и даже с задачами здания. Все это должно было исчезнуть, когда за дело взялись настоящие архитекторы и от картинок перешли к подлинным сооружениям.

Вопрос здесь был лишь в том, следует ли инженерные приемы постройки моста, элеватора, фабрики перенести также и на жилые здания. Заграничное искусство очень редко решалось переходить эту границу. Жилые помещения трудящихся на окраинах больших городов обыкновенно стараются подражать индивидуальным жилищам, сохраняя хотя бы иллюзию изолированности и уюта домашнего очага. Это или ряды коттеджей, или города-сады и т.п. Но известно, как смотрят на семью коммунисты. И их идеал, — правда, пока еще не осуществленный — создать тип здания, вполне приспособленный к жизни коммуны. Переход от фабрики к частному жилищу для них, таким образом, оказывается несравненно более легким — и даже желательным, чем для иностранных строителей.

Первыми гибнут в поисках этого нового стиля все декоративные приставки барокко — все эти колонны, капители, балюстрады, разорванные фронтоны и т.д. Остается один оголенный остов стен, дверей и окон: только то, что необходимо для конструкции здания. Хорошо известным типом такой постройки являются американские "небоскребы". Надо только прибавить, что в последнее время и к небоскребам стараются применить эстетические приемы. Их монотонность пытаются скрыть разными способами расчленения стен на более крупные отделы и расположением верхних этажей в ряде групп, симметрически поднимающихся в центральной башне. Применение формы классики и даже готики становится при этом возможным.

Около вопроса о возможности связи с прошлым и утилизации элементов декоративных и вращаются все споры об архитектурном стиле. Крайнее направление чистого конструктивизма начисто отрицает эту возможность и судит об успехе или неудаче постройки по тому, насколько строго из нее удален весь "эстетизм", объясняемый обыкновенно влиянием Запада. Степень удачи жилого здания определяется тем, насколько строитель отошел от идеи семейного уюта и приблизился к созданию типа коммунальной жизни. Борьба против "буржуазных" тенденций усилилась в последнее время в области архитектуры. Здесь лозунг "Искусство в массы" проявился в требовании, чтобы "общественность" непосредственно участвовала в обсуждении архитектурных проектов. "Комсомольская правда" потребовала в 1928 г., чтобы проект постройки Ленинской библиотеки и начатая уже постройка дома ЦИК и СНК на берегу Москвы-реки были обсуждены публично. Приступ к постройке харьковского почтамта возвал публичный диспут левого архитектора — стро-

ителя Мордвинова — с правыми; рабочие вмешались и в публичном диспуте нанесли поражение защитникам "колонн в индийском, египетском и прочих мудреных стилях". Мордвинов победил. Однако и здесь от отрицания все еще не удается перейти к *положительным достижениям*. И. Маца в цитированной выше статье ставит вопрос: "Что же представляет из себя то, что противостоит регрессивным буржуазным тенденциям, что выдвигается как более современное? Есть ли это единый фронт пролетарской архитектуры, единый фронт стиля индустриального пролетариата?" Он отвечает кратко: Нет, мы не имеем единого стиля, мы не имеем еще своего стиля в архитектуре в четко выработанных формах... Внутри себя левый сектор распадается на ряд направлений и школ (конструктивисты, формалисты, урбанисты)... Все они должны быть поставлены под общественный контроль". Как и в других случаях, здесь группа молодых архитекторов спешит предупредить этот контроль и образует "Общество пролетарских архитекторов", требующее "максимального продвижения вперед... коренной реорганизации методов строительства" и т.д.

Нам остается познакомиться с советским театром, который, будучи оторван от *слова*, представляет, скорее, отрасль изобразительного искусства, чем литературы. В другом месте мы говорили, что театр обыкновенно отстает в своей идеологии от передовых направлений интеллигентской мысли, так как обязан считаться со взглядами и вкусами, более распространенными в широкой публике. Классический период русского искусства составляет в этом отношении исключение: он был настолько длителен, что публика успела догнать передовую мысль и театр сравнялся с нею в лице Островского, заключив тесный союз с передовой литературой. Таков театр Щепкина, Садовского и других корифеев сцены середины и второй половины XIX столетия. Однако именно в результате этой тесной связи театр вновь отстал от интеллигентских настроений к концу века, когда искусство поставило своим девизом: долой "литературщину" и прочь от натурализма. В таком противоречивом положении оказался даже интеллигентский московский "Художественный театр" Станиславского и Немировича-Данченко. Правда, это противоречие было замечено не сразу. Когда 14 октября 1898 г. Художественный театр впервые выступил перед московской публикой, он произвел впечатление большой новинки, даже целого переворота в театральном искусстве. Как полагается, это новаторство тоже имело западноевропейский источник. таким была посетившая и Россию труппа герцога Саксен-Мейнингенского, с ее массовыми ансамблями и верностью исторической правде. Но верность правде жизни была лозунгом всей нашей классической литературы. И этикетка, взятая Художественным театром: "Дом Чехова", не порывала, а, напротив, закрепляла эту связь с литературой — положим, уже не с литературой од-

ного классического периода. Поиски точного воспроизведения действительности давали театру Станиславского характер не только художественного реализма, а натурализма. По воспоминаниям Зноско-Боровского, режиссеры и художники этого театра "для Ибсена или Гамсуна отправлялись в Норвегию; если это "На дне", шли на Хитров рынок в Москве, посещали ночлежки, наблюдали босяков в их интимности... если это "Живой труп", зритель на сцене узнавал кабинет такого-то ресторана, коридор такого-то суда в Москве. А когда шла "Власть Тьмы", ехали в Тульскую губернию и там скупали и копировали предметы крестьянского обихода, детали костюмов, обычаи, чтобы изобразить деревню именно Тульскую, а не какой другой губернии". Все это делалось тогда, когда в литературе восторжествовал уже символизм, а изобразительные искусства уже поставили очередным лозунгом "Прочь от натуры".

Были, впрочем, другие элементы в Художественном театре, которые, идя в том же русле отживавшего реализма, составляли сдвиг чисто сценических средств с прежней традицией и развязывали руки для более смелого почина. Театр обратил усиленное внимание на специфические средства сцены, могущие составить дополнение и дать комментарий к "литературе". Актер должен был проникнуться внутренним содержанием пьесы и дать распространенное психологическое толкование коротким авторским ремаркам; ввести "немые сцены", выявить и создать "настроение". Сюда же относились такие приемы для произведения иллюзии жизни на сцене, как лунный свет, пение птиц, шум дождя, рев бури, звуки отъезжающего экипажа и т.д. Сцена тут становилась автономной, и режиссер вместе с актером приобретали известную независимость от автора. Известны тщетные возражения Чехова против излишества натурализма при постановке его пьес. Создавалось, таким образом, негативное условие свободы сцены, которою можно было в дальнейшем распорядиться так или иначе. При том направлении, которое приняла литература и искусство с конца XIX в., было очевидно, что это дальнейшее развитие пойдет в направлении отказа от реализма и перехода к условности и стилизации. Развиваясь в этом направлении, театр, в первый раз за время своей истории в России, должен был не только догнать, но и опередить настроения широкой публики, от которой, при старом порядке вещей, зависело само его существование.

Первые шаги в направлении новых течений были сделаны самим Художественным театром — не всегда успешно. Символизм поставленных им пьес Метерлинка находился в противоречии с сохраненным "бытовизмом" театра, мольеровский "Мнимый больной" (1913) имел успех благодаря стильной постановке Бенуа, но это был "стиль", а не "стилизация", и мы знаем уже положение Бенуа среди новых течений. Зато "Гамлет" в постановке Гордона Крэга (1910) не был понят публикой,

и Качалов в этой роли слишком напоминал одного из чеховских "лишних людей". Освобождалось место для более смелых попыток в новом направлении, для подлинно нового театра.

Но, отрекшись не только от старой классической "литературы", отзывавшей "политикой", а и от литературы чеховских сумеречных "настроений", этот новый театр оказался на первых порах тоже во власти литературы — только созданной новым поколением. Сцена ощутила на себе сильнейшее влияние обоих главных течений, через которые прошли и литература и искусство той поры: сперва символизма, потом кубофутуризма.

Однако же, корифеи символизма не могли дать театральным деятелям технических, практически приложимых указаний. Одни из них мечтали о "театре-храме", в котором должно совершаться служение невидимому и непознаваемому. Другие, как Вячеслав Иванов, хотели слить публику с актерами, уничтожив разделяющую их рампу, чтобы "творить и деять соборно". Третьи, как Сологуб, хотели превратить актера в чтеца или, как Айхенвальд, утверждали, что театральное зрелище только стесняет воображение и что театру приходит конец. Четвертые принципиально отрицали возможность существования театра в будущем обществе. Правда, Андрей Белый иронически отвечал зарапортовавшимся друзьям, что "храм остается Мариинским театром, а риторика остается риторикой". И театр, в своих поисках созвучности с новыми течениями, был предоставлен самому себе. Мы видели, что попытки в этом направлении Художественного театра, сделанные ощупью, никого не удовлетворили. Правда, сама фразеология Чехова, в которой за прозаическими фразами таится более глубокий смысл, давала основание утверждать, что в этом двойном смысле уже заключается символизм. Но далеко нельзя было пойти на этом пути. И в 1908 г. Художественный театр торжественно объявил, что возвращается к реализму. Роль открывателя новых путей к этому времени уже перешла к его "Студии" и к заведовавшему ею режиссеру Мейерхольду.

Мейерхольд сам рассказал о первых шагах "того течения, которое смыло принципы *натуралистического* театра, заменив их принципами условного театра". По его свидетельству, в мае 1905 г. "Театр-студия" решительно стал на путь бунта. В лице художников Сапунова и Судейкина руководители "Студии" принялись "упрощать" и "стилизовать" намеченные постановки. К их работе "на плоскостях" Мейерхольд присоединил свой "метод расположения на сцене фигур по барельефам и фрескам". Новый режиссер подчеркивал то правило своего стиля, по которому "в интерпретациях образов резкость очертаний вовсе необязательна для ясности образа". "Игра намеками", с предоставлением зрителю, желающему "разгадать тайну", "добавлять воображением недосказанное", признавалась тут главной задачей актера. В этом и должен был заключаться "импрессионизм" и

"символизм" сцены. "Тайна" должна была "владеть зрителем и влечь его в мир грез". Необходимым сопровождением стилизованного диалога или монолога должна была служить музыка. Анализируя, например, "Чайку" Чехова, Мейерхольд усматривал в ней "основную тоскующую *мелодию*, с меняющимися настроениями в пианиссимо и вспышками в форте (переживания Раневской), и *фон* — диссонирующий аккомпанемент — однотонное бряцание захолустного оркестра и пляска живых трупов (обывателей). Эта пляска рисуется Мейерхольду как "пляска марионеток в их балаганчике". Не забудем, что это печаталось в 1908 г., когда Стравинский вместе с Бенуа, вероятно, уже задумывали своего "Петрушку". Все это связывает разные виды искусства в общем настроении, господствовавшем в те годы. Как всегда, есть тут и иностранный источник. Мейерхольд цитирует книгу Георга Фукса о "Театре будущего".

Конечно, главным иностранным влиянием — давшим притом и материал, к которому могли быть приложены идеи о Новом театре, — было влияние Метерлинка. Метерлинк навел Мейерхольда на мысль, что "нужен Неподвижный Театр". "Трагедия, по его (Метерлинка) мнению, выявляется не в наибольшем развитии драматического действия, не в душу раздирающих криках, а, наоборот, в наиболее спокойной, *неподвижной* форме и в *слове, тихо сказанном*". "Не слова, а паузы; не монологи, а музыка пластических движений", — вывел отсюда Мейерхольд.

Но для этого рода достижений нужно было прежде всего переучить актера. Декорации, даже жесты и позы — все это удавалось упростить и стилизовать. Но как стилизовать живого актера, особенно актера, привыкшего к игре интонаций и жестов, культивировавшейся в Художественном театре? На этом затруднении оборвался эксперимент с "Театром-студией", который так и не был показан публике. "Артисты, изучившие условные жесты, о которых грезили прерафаэлиты, — свидетельствует Брюсов, заведовавший "литературным бюро" Студии, — в интонациях по-прежнему стремились к реальной правдивости разговора, старались голосом передать страсть и волнение, как они выражаются в жизни". *Этого рода* реализма Мейерхольду так и не удалось уничтожить в учениках и актерах Художественного театра. Но он извлек из этой неудачи определенный урок. В его "Неподвижном театре" актер должен был "раскрыть свою душу, слившуюся с душой драматурга, через душу режиссера". Из области импрессионизма мы здесь переходим в область *экспрессионизма* и вспоминаем Борисова-Мусатова, с его неподвижностью прерафаэлитских поз, выражающих тихие настроения "души". Разные виды искусства и здесь переживали параллельную эволюцию.

"Студия" закрылась, не открывшись. Но Мейерхольд получил возможность применить вынесенные из "Студии" правила в театре В.Ф. Комиссаржевской, пригласившей его в 1906 г. в ка-

честве режиссера. Артистке, сильной богатством своих голосовых средств, производившей глубокое впечатление своими интонациями раненой красивой души, пришлось, в угоду новой теории, научиться "холодной чеканке слов", медленно "падающих, как капли в глубокий колодезь", и изображать "трагизм с улыбкой на лице", имитируя, без резких движений, барельефы на авансцене и внушая зрителю, на одной-двух нотах, впечатление "очищенных, вневременных страданий". Был и момент успеха, когда требования стилизации совпали с сюжетом выбранной пьесы — "Сестры Беатрисы" Метерлинка. Легенда о молодой монахине, которую заменила Богородица во время ее скитаний по грешному свету, как нельзя лучше подошла к идее превратить спектакль в "мистерию". Имела условный успех и постановка "Балаганчика" Блока, отвечавшая идее "театра марионеток", символизирующих призрачность жизни и смерти. Но этим и исчерпывались удачи символизма на сцене. Театр поддерживали только небольшие кружки и салоны новаторов, увлекшие за собой студенческую молодежь. Большая публика этого театра не понимала. По воспоминаниям Зноско-Боровского, "каждый спектакль превращался в сражение" и "с каждым спектаклем росла вражда широкой публики и большой прессы". Комиссаржевская не вынесла и разошлась с Мейерхольдом. Театр, не поддержанный публикой, закрылся, и измученная артистка скончалась во время предпринятого ею театрального турне (1910). А для Мефистофеля-Мейерхольда вторая неудача лишь послужила началом дальнейшей эволюции.

Оставив в стороне идею "мистерии" и "храма", он теперь начал развивать другую сторону своей теории — идею балагана и непосредственного сближения театра со зрителем ("долой рампу"). В "Доме интермедии" (1910-11) актеры входили на сцену через зал, уставленный столиками, и зрители вовлекались в игру актеров искусственными приемами. Так как импрессионизм и символизм именно в эти годы уступили место кубизму и футуризму, то "неподвижность" должна была смениться "движением". Вместо декораций повисли сверху панно разных цветов. Роль мрачно-торжественных монологов заняла пантомима, уже начинавшая переходить в акробатство, и танцы. В "Дон-Жуане" танцевал все время сам герой. В "Маскараде" Лермонтова и в "Шарфе Коломбины" жуткое впечатление трагедии создавалось контрастом между сгущающимися настроениями действующих лиц и "фоном" танца, в котором место "обывателей" заняли фантастические существа. Commedia del arte привлекает в это время усиленное внимание Мейерхольда, и он издает журнал, названный по имени одной из сказок Гоцци: "Любовь к трем апельсинам". Так, уже до революции 1917 г. создавались формы революционного театра.

К нему мы и можем теперь перейти, миновав режиссерскую деятельность противника Мейерхольда, Ф.Ф. Комиссар-

жевского, пытавшегося сохранить реализм сцены, на почве сохранения стиля каждой данной эпохи, а также и интересные попытки Н.Н. Евреинова, искавшего обновления сцены в стилизованной репродукции театра других исторических эпох. Остановимся только еще на одном прецеденте революционного театра — на московском Камерном театре А. Таирова. В своих "Записках режиссера" Таиров рассказывает, как разочаровал его провал условного театра и как в 1912 г. он бросил театр и столицу, чтобы вернуться к тому и к другой, когда в 1913 г. он был приглашен работать во вновь возникшем "Свободном театре". После закрытия этого театра он продолжал свои искания в собственном "Камерном театре", открытом в декабре 1914 г. и просуществовавшем, с небольшим перерывом в 1917 г., до нашего времени. Придя к самостоятельной работе, после двух последовательных отрицаний — сперва натуралистического театра, а потом и символического, — Таиров искал решения проблемы в синтезе их положительных сторон. От натуралистического театра он берет идею самостоятельности актера, замененного марионеткой у Мейерхольда. Но от условного театра он удерживает идею, что лицедейство этого, вернувшего себе независимость актера не должно иметь ничего общего с действительностью — никаких подражаний реальным эмоциям. Кубофутуризм ведь тоже возвращался от бесформенности и фантастики экспрессионизма к твердой форме. И Таиров будет теперь стремиться сделать из актера, а тем более из сцены нечто приближающееся к твердым геометрическим фигурам. Само собою разумеется, что "динамизм" футуристов достигнет у него высшего своего выражения. Актеру нужно вернуть "трехмерность", отнятую у него двухмерной пластикой и рельефами Мейерхольда. Сцену, с которой старая декоративность уже изгнана, нужно трактовать не декоративно, а "архитектурно". Вместо постановок "на плоскостях" теперь будут использованы "постройки" в пространстве. Самый пол сцены перестанет представлять ровную горизонтальную плоскость, а примет вид ряда изломанных площадок, наклоненных под разными углами к горизонтальной линии. Это будет "клавиатура актера", работающего не столько голосом, сколько ногами. Такое устройство сцены даст возможность актеру проявить акробатические свойства его тела, а группам исполнителей облегчит средства массовых передвижений на сцене и тем усилит динамичность представления. Аксессуары на сцене должны представлять действительные предметы: скамейку, стул, экран. Но и эти предметы будут служить пособиями для актерской гимнастики. Костюм, лишь приблизительно характерный, должен облегчить свободу движений. Главную роль в декламации и музыке должен играть ритм, соответствующий мерным движениям труппы и, таким образом, тоже получающий динамической значение. С содержанием выбранной пьесы Камерный театр не церемонится.

Авторский текст есть только предлог. Так разработан, например, сюжет "Жирофле-Жирофля", где все исполнители находятся в непрерывном движении, то поднимаются, то спускаются по площадкам, создавая ритмические фигуры, и самая сцена участвует в этих передвижениях. Смены света, краски костюмов служат той же цели. Так можно трактовать с успехом оперетку или "ревю"; но можно ли перенести этот стиль "мюзик-холла" в исполнение трагедии? Таиров попытался доказать эту возможность, поставив "Федру" Расина. Расин тут, конечно, был ни при чем. Античный сюжет пьесы дал возможность перенести действие в обстановку вне пространства и времени, вместо декораций развесить кубистические полотнища, напоминавшие паруса, и символизировать дворец двумя белыми колоннами, напоминавшими пароходные трубы. Наклонная площадка производила впечатление палубы парохода в бурю. "Архитектурному" элементу и мерным движениям актеров и здесь было отведено первое место, а декламации — последнее. Интонации были умышленно искажены, чтобы быть подальше от натуральных. Конечно, получилось, что угодно, но не впечатление трагедии.

Мы видим, что "революция" в театре, как и "революция" в искусстве, предшествовала революции в жизни. При наступлении настоящей революции, как мы знаем, революционеры искусства предъявили свои права на участие в "диктатуре пролетариата". В частности, Пролеткульт со своими студиями стал очень близко к проблеме революционного театра. Но и здесь, как в области литературы, за первоначальным натиском последовал отпор со стороны власти. По существу, как там, так и здесь, между искусством эстетов и искусством, которое должно было служить народным массам, не было ничего общего. И в особенности это можно сказать о театре. Революция сама по себе дала ряд зрелищ, не лишенных театрального характера. Лозунг "Театрализация жизни" здесь имел непосредственное применение. Мы уже видели, что искусство должно было выйти на улицу, чтобы принять участие в массовых инсценировках по поводу разных революционных торжеств. Народные демонстрации и шествия, ставшие обычной принадлежностью машинизированного государства, также требовали участия бутафорского элемента и режиссерской подготовки. Но все это вызывало жажду в искусстве реалистическом, а не символическом, непонятном народу. Агитационное и воспитательное значение театра было, конечно, с самого начала хорошо понято советской властью. О нем говорила популярная в России книга Ромена Роллана о "Народном театре", ссылавшаяся на примеры Швейцарии и Великой французской революции. На Роллана ссылалось и воззвание секции массовых представлений и зрелищ Тео Наркомпроса, взявшее своим девизом слова этого писателя: "Счастливый, свободный народ нуждается больше в празднествах, чем

в театрах, он будет сам для себя прекраснейшим зрелищем, и мы должны подготовить для будущего народные праздники". "Да здравствует коллективное творчество масс, да здравствует освобожденный театр", — восклицала прокламация. С таким подходом надо было спускать театр в массы. И сгоряча появилось на всем пространстве России необыкновенное множество театров — не только профессиональных, но и любительских — при рабочих клубах, при избах-читальнях, в которых импровизированные актеры из фабричных разыгрывали самодельные пьесы. Сколько-нибудь урегулировано было это дело только в студиях-лабораториях московского Пролеткульта. Идеологом здесь был лефовский критик Арватов, решительно осуждавший "сценический театр как театр эстетствующих актеров" и требовавший построения нового театра на цирке, трюке, биомеханике, кабаре, мюзик-холле, с полным отказом от "литературщины", подмостков, идеологического сюжета, через такую же деформацию темы, как это оказалось необходимым в живописи (ссылка на "работу, начатую в живописи Сезанном и завершенную Пикассо и Татлиным"). Здесь подготовлялись и первые пролетарские драматурги, режиссеры и актеры. В драмстудиях Пролеткульта до 60-70% актеров состояли из рабочих, не бросавших в то же время и работу на фабриках. Отсюда вышел и "Первый рабочий театр пролеткульта" в Москве.

Все это стояло в резком противоречии с теорией и практикой так называемых "академических" театров, включая сюда Московский Художественный театр Чехова (МХАТ I), Малый (театр Островского), а также МХАТ II, Третью студию МХАТа (потом театр имени рано умершего Вахтангова), Камерный (Таирова). В первые два-три года, когда советская власть занята была борьбой за самосохранение, эти старые большие театры были предоставлены самим себе и продолжали давать старый репертуар. В Большом московском театре шла "Царская невеста", "Садко", "Руслан и Людмила". Художественный продолжал давать Чехова и Горького. Камерный оставался при "Адриенне Лекуврер" и "Покрывале Пьеретты". У Корша и Незлобина шли "Орленок", "Царь Иудейский" и т.д. Даже и в новых театрах была еще сильна старая закваска. "В цитадели Пролеткульта годами работал режиссер Смышляев, вышедший из недр МХАТа и туда же вернувшийся; Чехов, никогда стен МХАТа не покидавший, В.В. Игнатьев, работавший по принципам Станиславского..." Станиславский еще в марте 1927 г. (на совете режиссеров) говорил, что "творчество имеет свои законы и с ними бороться не приходится. Революция сильна, но победить природу человека, победить законы психофизиологические, человеческие она не в силах... Одного нет, а именно того, что есть сущность искусства: человек *не возбужден внутренно*".

Такой человек, внутренно возбужденный, наконец нашелся. Это был все тот же Мейерхольд, вовремя "где-то застряв-

ший в провинции", так что "о нем не слышно было" (Пельше), — и во-время, когда затихали громы гражданской войны, появившийся вновь, в 1920 г. Со свойственной ему гибкостью он и теперь подхватил новые лозунги и поспешил взять "революционный заказ" на их осуществление. Он демонстративно объявил "театральный Октябрь" и открыл свой собственный "Первый революционный театр РСФСР". "С этого времени, — констатирует Пельше, — и Пролеткульт теряет свое "первородство": он сам попадает в поле действия принципов Мейерхольда". В Пролеткульте появляется "начиненный мейерхольдизмом" молодой талантливый Эйзенштейн. Смышляев уходит, и Эйзенштейн "один дает знаменитую постановку "Мудреца" (весна, 1923 г.) в плане цирко-театра".

В чем же состоят новые идеи Мейерхольда? Он опять "экспериментирует", утрируя свои прежние взгляды. "Вместо двухмерных холстов на сцене трехмерная *кубофутуристическая конструкция*, рядом с которой видны камни оголенных стен, поблескивают металлические глаза рефлектора, стоит киноэкран, уничтожена рампа, сорван занавес, разгримирован актер, а вместо костюма какая-то универсальная "прозодежда". В основе актерской игры, вместо психологической естественности, "биомеханическая условность", да плюс к этому акробатика, клоунада, эксцентрика. Диктаторство режиссера-постановщика и сведение актера до роли послушной марионетки" (характеристика Пельше). Словом, все, что нам уже известно, только в более резких проявлениях, свободных на этот раз от какой-либо проверки публики, что Мейерхольд опять во главе "государственного", теперь уже национализированного, театра.

Чем же угодил Мейерхольд своему новому начальству? Он, несомненно, старался ответить на все самые последние требования. Сближение театра с публикой? Средство готово. Актеры, изображающие обездоленный класс трудящихся, будут из зрительного зала осаждать сцену, на которой движется видный сквозь окно "старый мир": танцуют парочки, дамы в изящных туалетах, лакеи разносят яства. Толпа ропщет, надвигается, но ее отделяет от сцены стена, за которой скоро открывается заседание верховного совета мировой буржуазии, обсуждающего способы предотвратить восстание. Толпа кидается на врага: опять стена, к толпе высланы солдаты, происходит схватка; рабочие побеждают, стена падает, за ней ярко горит солнце, мощно звучит "Интернационал", плещутся красные знамена, публика вместе с актерами участвует в пении гимна. Или вот другая, более конкретная постановка: знаменитая "Земля дыбом". На сцене, среди голых стен, деревянные "конструкции" и *настоящие* пушки, аэропланы, полевая кухня и т.д. Построенная в ряды публика марширует в ожидании пьесы в фойе и в таком же военном порядке занимает по сигналу места. Кровавый русский генерал посылает солдат и невинных крестьян на убой. Попада-

ет в плен германский генеральный штаб, представленный тоже в карикатурах, как гнездо кровопийц и хищников. Пушки и пулеметы стреляют, аэропланы приходят в движение, полевая кухня дымит. Но вот по мосту, соединяющему сцену с публикой, мчатся автомобили и велосипедисты. Бой переходит в зрительную залу, в фойе, на улицу. Ряды бойцов редеют, проносят раненых, пушки смолкают. Автомобили мчатся взад и вперед с еще большим оживлением. Внезапно "конструкции" превращаются в ораторские трибуны, солдаты и крестьяне ведут с них пропаганду. Пушки превращаются в баррикады, Керенский ораторствует, но образуются коммунистические ячейки, загорается гражданская война. Новая стрельба и полеты. Наконец, взвивается красное знамя — Красная армия завладевает конструкциями, трибунами, местами для публики и фойе. Коммунистическая революция победила, зрители встают и поют "Интернационал", публика с пением марширует из театра. Трудно узнать в этой переделке оригинал — "Ночь" Мартине. Но Мейерхольд вообще не стесняется с авторами. Уже в своей первой постановке — "Заре" Верхарна — он изменил оригинал до неузнаваемости. Он объявляет, что для его театра нужен только сюжет. Вслед за "революционными" постановками Мейерхольд принимается и за "буржуазные" пьесы, переделывая по-своему Островского, Гоголя, Грибоедова. Это даже считается некоторой уступкой "реальному" театру. Реализма, однако, мало и в этих постановках. На сцене, по-прежнему вместо декораций, — "конструкции", изображающие висячие лестницы, движущиеся площадки, вертящиеся цилиндры, стулья, превращающиеся в качалки, маховые колеса, ускоряющие или замедляющие свои обороты, смотря по тому, бушуют ли на сцене или успокаиваются страсти. Акробатство и буфонство заменяют бытовые сцены в комедиях Островского. В патетических местах лихо играет гармоника или актеры стоят вверх ногами. Если, помимо всего этого, и имеются тут попытки истолковать по-новому традиционные типы русской комедии, то эти попытки слишком отзывают "социальным заказом" и тенденциозной модернизацией.

Между двумя противоположными позициями "академических" театров и "революционного" театра Мейерхольда велась в течение советского периода глухая борьба, прерывавшаяся с "академической" стороны вынужденными компромиссами, а с "революционной" — невольным сближением, вызывавшимся как отсутствием серьезного нового репертуара ("пролетарские" драмы стали ставиться только с 1923-24 гг.), так и необходимостью завлечь к себе публику, не признававшую новых приемов. Перипетии этой борьбы близко совпадают с теми, которые мы проследили в истории советской литературы, и потому нам нет надобности останавливаться на них с той же подробностью. Здесь, как и там, началось с заявлений, что "пролетарское искусство — внеклассовое", следовательно, общечеловеческое

(официальный орган "Изобразительное искусство" за 1918-1919 гг.), продолжалось призывами Луначарского к сохранению и использованию художественных ценностей прошлого ("тезисы" конца 1920 г.), а окончилось предъявленным к театру требованием, чтобы он "выполнял своими специфическими средствами роль одного из важных рычагов способствования социалистическому строительству, вовлекая в него широкие массы рабочих и крестьян, вовлекая и перевоспитывая интеллигенцию и мелкую буржуазию, в соответствии с задачами, стоящими перед пролетариатом (всесоюзное партийное театральное совещание в мае 1927 г.)". Соответственно этим этапам отношения власти к театру изменялась и тематика театральных пьес. Ее перемены повторяют те же три периода, которые мы различили в истории советской литературы. По "линии наименьшего сопротивления" и здесь в начале преобладали сюжеты из области мировой и гражданской войны, "историческая хроника" и "героическая драма". От "попутчиков" эти темы перешли потом и к "пролетарским" драматургам. Таковы, помимо указанных выше постановок Мейерхольда, "Шторм" Билля, "Бронепоезд" Иванова, "Разлом" Лавренева; в качестве послесловия — "Власть" Глебова и т.д. Постепенно стали появляться на смену этому жанру бытовые пьесы — обыкновенно комедии с сатирическим, обличительным содержанием. В то же время "попутчики", как Бабель, Леонов, Катаев, Щеглов, Файко — сюда относится и М. Булгаков, — пользуясь лозунгом "показа живого человека", культивировали психологическую драму. "Пролетарские" писатели пошли было по их следам. Но правоверные критики и здесь ополчились на это "копанье в душе" как на буржуазный пережиток. "Унтиловск" Леонова, обличавший "мещанство" вообще, "Человек с портфелем" Файко, обличавший интеллигента, — словом, разоблачения старых, исчезающих типов, а также и новых нэпманов, разложившихся коммунистов у Бабеля, Катаева, Ромашова, Глебова и т.д. — все это в свою очередь заподазривается, как недостаточно ясное, уклоняющееся в отрицание, вместо положительных строго классовых тем. Появляются, наконец, и эти темы: "пролетарские" авторы начинают развивать "грандиозный пафос, содержащийся в экономических явлениях". В pendant к "Цементу" Гладкова (1926) появляются такие драмы, как "Рост" Глебова или "Рельсы гудят" Киршона, где красные директора фабрик выходят победителями из "коллизий своей психики" и "развивают спящие в них силы" (Рейх). Классовая выдержанность в коллизии между пролетариатом и буржуазией составляет тему и пьесы Билля "Голос недр".

В конце концов, даже и "академические" театры не могли остаться в стороне от этого нового "пролетарского" репертуара. Государственная опера (московский Большой театр) должна была ввести "конструкцию" и "биомеханику" Мейерхольда в но-

вую постановку "Кармен" и "Лоэнгрина". К негодованию своей публики, и Художественный театр поставил "Лизистрату" с применением деревянных "конструкций" и без перемены декораций. Он за то пытался себя компенсировать в тематике. Поставив "Дни Турбиных", вызвавшие нападки слева, он уступил, поставив затем революционный "Бронепоезд". Но затем он поставил "никчемный" Унтиловск и вознаградил своих посетителей постановкой другой пьесы Булгакова "Бег" — "это второе издание "Дней Турбиных", которое ныне менее терпимо, чем первое" (Пельше). Камерный театр поставил и третью пьесу того же автора — "Багровый остров" — прежде, чем цензура окончательно закрыла Булгакову рот. "Консервирование академических традиций ушло вглубь, приспособилось, но не прекратилось", — жалуется обозреватель 1929 г. Бескин. Он доносит советской общественности, что в театре имени Вахтангова "уже три года существует нелегальный художественный актив", рассматривающий работу для театра как подвижничество и придерживающийся девиза: "Искусство для искусства". Еще хуже: в Москве "стала бытовым явлением" так называемая "Понедельничная халтура". Что это такое? Оказывается, что по понедельникам "заслуженные и народные" актеры привлекают огромную публику в обширные залы Большого или Экспериментального театра громадными плакатами, возвещающими представление одной из популярных пьес, снятых с советского репертуара: "Тут и "Осенние скрипки" Сургучева, и архимистический и модернистски-дешевый "Тот, кто получает пощечины" (Леонида Андреева), и сентиментально-бюргерский немецкий "Дурак" Фульда и сусально-балетный "Ванька-Ключник" и прочая макулатура"... "В таком же порядке "возобновляют" "Три сестры" Чехова, его же "Чайку" или, наконец, дают милый сердцу обывателя ансамбль "Плодов просвещения" или "Живого трупа". "Что это означает, — спрашивает автор — и резонно отвечает "*спрос родил предложение*... До последнего времени мелкобуржуазные вкусы таились где-то в глубинах души, а теперь прорвались наружу и *требуют*". То же самое мы заметили и в области живописи: "усиление мелкобуржуазных тенденций на классовом и культурном фронте", по определению критика-марксиста. Поэт Молчанов в "нашумевшем" стихотворении объясняет это проще: "Тот, кто устал, имеет право у тихой речки отдохнуть". И критик перечисляет длинный список подозрительных театральных пьес, старающихся, под разными прикрытиями, удовлетворить спросу "затосковавшего" зрителя, который упорно не желает посещать произведений "пролетарского" репертуара, а бегает на "халтурные понедельники". "Поправение", по его наблюдению, чувствуется даже "и в стане молодых театров". *Сам* Мейерхольд, "пережив глубочайший режиссерский художественный кризис", ищет теперь "лазеек в романтику старого эстетизма". Режиссеры растерялись, замеча-

ет другой обозреватель 1929 г., Новицкий. Они "потеряли свою волю, боятся всякого художественного новаторства". "Драматурги и публицисты их запугали обвинениями в радикализме оформления, излишнем экспериментаторстве, сногсшибательном новаторстве ради новаторства".

Всего любопытнее, однако, что и сами правоверные критики не могут не согласиться с основательностью этих возражений. Как раз для выполнения новейших "социальных заказов" театру — в духе новой сталинской тактики — для того, чтобы театр *мог* сыграть предназначенную ему агитационную роль, нужно прежде всего, чтобы его посещали и затем, чтобы характер исполнения пьесы давал возможность актеру выявить не только гибкость тела, но и известную *идею*. Ни того, ни другого никак нельзя было достигнуть в мейерхольдовской клоунаде. И тот же критик (Новицкий) уже считает "недостаточными" требования, предъявляемые актеру Мейерхольдом. "Вся эта тренировка — только мертвая техника и ремесленная выучка, если она не имеет идеологической целеустремленности и социальной направленности". "Не потрясет сердец и не воодушевит на борьбу и строительство искуснейший мастер, если его самого не зажигает революционная страсть". Таким окольным путем мы возвращаемся к старому спору Белинского о сравнительных преимуществах игры Мочалова и Каратыгина. Также и зритель имеет свои права. "Он больше не хочет пребывать в позе изумления перед тайной... Он требует, чтобы считались с его требованиями и потребностями". Иначе "театр искусственно изолируется (от "пролетарской общественности") в узком кругу мещанской и буржуазной интеллигенции, непосредственно его окружающей... и охраняющей его от пролетарского воздействия (это, очевидно, и есть понедельничные посетители)". Выходит, что даже для выполнения новейших задач, налагаемых на театр последней фазой "строительства социализма", ему надо вернуть его реалистический характер.

Таким образом, с некоторым опозданием, вообще свойственным театру, но в данном случае созданным возможностью для забежавшего вперед государственного театра не считаться с "требованиями" публики, русская сцена следует примеру, поданному литературой и живописью. Она постепенно высвобождается от условностей эстетизма и "формализма", удовлетворявших лишь временному вкусу немногочисленных кружков, и возвращается на традиционный путь реализма, — тот путь, которым шли русские драматурги и актеры с тех самых пор, когда (во второй половине XVIII в.) появился в России театр, доступный для массового зрителя.

Советские критики сами признают именно такой путь развития советской сцены. Так, Пельше делит историю "формальных исканий" советского театра на следующие периоды:

1. Кубофутуристический (1918-22).

2. Отвлеченно-реалистический конструктивизм (1923-24).

3. Условно-реалистический конструктивизм (с начала 1925, т. е. с мейерхольдовской постановки "Мандата").

Но тут надо помнить, что 1) мы имеем дело с советской терминологией, для нас необязательной; 2) что критик признает необходимость "условности" реализма только потому, что полагает, что такие "монументальные" темы, как, например, "1917 г." или "Мятеж", никак не могут уместиться в пределах натуралистического реализма, обрабатывавшего, от Гоголя до Чехова, "маленькие кусочки личной жизни"; и 3) что книжка Пельше не доведена до самого последнего времени, когда советские критики (Новицкий, Бескин) принуждены были признать наличность "кризиса" театра Мейерхольда, его "шаги назад к психологическому и эстетическому театру" и неизбежность этого кризиса, так как "опыт Мейерхольда... пренебрегал идеологическими заданиями нашего времени".

БИБЛИОГРАФИЯ

Руководящими сочинениями по истории византийского искусства являются Ch. Diehl, *Manuel d'art byzantin*, 2 éd (Paris, 1925); Gabriel Millet, *Recherches sur l'iconographie de l'Evangile an XIV-XV et XVI siècles* (Paris, 1916); Dalton O.M., *Byzantine art and archaelogy* (Oxford, 1911). Его же: *East christian art* (Oxford, 1925) Капитальная работа по истории русского искусства (к сожалению, незаконченная), издана под ред. Игоря Грабаря, *История русского искусства*, в 6 т., тт. 1 и 3 посвящены архитектуре (статьи Грабаря, Ф. Горностаева, Щусева, В. Покровского и др.), т.V — скульптуре (Н.Н. Врангеля), живописи (П. Муратова). Краткий, но содержательный обзор см.: в кн. Виктора Никольского, *История русского искусства*, с предисловием П. Муратова, (РСФСР, Госизд, Берлин, 1923), с 49 хорошо подобранными фотографическими снимками, из них 14 в красках, и с библиографией. Louis Rèau, *L'art Russe*, v.I des origines à Pierre le Grand, 104 planches, V.II, de Pierre le Grand ànos Jours, 72 planches hors texte (Paris, 1921-22). В хорошо осведомленной книге проф. Н. Покровского, *Церковная археология в связи с историей христианского искусства*, 417 рисунков, отдел V посвящен церковному искусству в России (Петроград, 1906). См.: также общий очерк *История русского искусства* (А. Сомова и С. Вулича) в первом издании Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, ст. *Россия* (55-й полутом). Общий очерк *История русской архитектуры* см.: в кн. А.М. Павлинова под этим заглавием (М., 1894). Теория восточных влияний на русскую архитектуру и орнамент впервые выставлена Виолле ле Дюком в его сочинении *Русское искусство, его источники, его составные элементы, его высшее развитие, его будущность*, пер. Н. Султанова (М., 1879). Здесь же замечания о своеобразных чертах архитектуры XVI в. Теория зависимости древнерусского зодчества от Малой Азии и Кавказа изложена проф. Ф.И. Шмитом, *Искусство Древней Руси — Украины*, (Харьков, изд. "Союз", 1919). О влиянии деревянных форм на стиль церковной архитектуры, см. статью И.Е. Забелина, *Черты самобытности в русском зодчестве* в "Древней и Новой России" (1878); перепечатано в "Русском художественном архиве" (1894) и отдельной книжкой в серии "Вопросы науки, искусства, литературы и жизни" Гроссмана и Кнебеля. Также см.: Н.В. Султанова, *Образцы древнерусского зодчества в миниатюрных изображениях*. Исследование по рукописи

XVI в. *Житие Николая Чудотворца* (СПб., 1881) в "Памятниках древней письменности". О строителях собора Василия Блаженного см.: *Еще новые летописные данные о построении Покровского московского собора*, свящ. И. Кузнецова в "Чтениях Общества Истории и Древностей Российских", кн. 11 (1896); G.C.Lukomskiy (München, Orchis-Verlag, Kiew, 1923)

Новые данные по истории русской иконописи использованы в соч. Н.П. Кондакова, *The Russian Icon*, translated by Ellis H. Minns (Oxford, Clarendon Press, 1927). Русское издание печатается в Праге. До сих пор вышли: *Альбом*, I, (65 цветных таблиц) и *Альбом*, II (136 черных, меньшего формата, таблиц). *Seminarium Kondakovianum* (Прага, 1928). Paul Mouratow, *L'ancienne peinture russe*, trad. du manuscrit par Andre Caffi (A.Stock. Roma-Praha, 1925). А. Грищенко, Вопросы живописи, вып. 3-й *Русские иконы, как искусство живописи*, с 110 воспроизведениями, (М., 1917). Новейшие исследования и находки зарегистрированы в ряде ценных статей Грабаря, Анисимова и др. в "Вопросах реставрации", два сборника Государственных центральных реставрационных мастерских, (М., 1926, 1928). См. также: Prof. Igor Grabar, *Die Freskomalerei der Dmitrij Kathedrale in Wladimir* (Petropolis Verlag, Berlin). Очень ценная резюмирующая работа произведена на основании всех новейших открытий, со строго научной оценкой их, прив.-доцентом в Бреслау, Филиппом Швейнфуртом, *Geschichte der Russischen Malerei*, mit 8 Lichtdrucktafeln und 169 Abbildungen (Haag, Martinus Nijnhof, 1930). Здесь тщательно разработан и вопрос об италовизантийской школе. См. также: *Masterpieces of Russian painting*, twenty colour plates and 43 monochrome productions of Russian, *Ikons and Frescoes XI-XIII*, by Michael Farbman со статьями Анисимова, Грабаря и др. (London, Europa publications). *Материалы по русскому искусству*, изд. Художественного русского музея (Л., 1928): сборник статей по всем периодам искусства. Для параллелей в других православных странах, см. тщательное исследование André Grabar, *La peinture religieuse en Bulgarie*, préf. de Gabriel Millet (Paris, Gentuer, 1928); *L'art Roumain*, par Nic. Jorga et George Bals (Paris, Boccard, 1922). Для истории русской живописи XVI и XVII вв., см. ряд сохраняющих ценность статей в "Исторических Очерках русской народной словесности и искусства" Ф.И. Буслаева, т. II, *Древнерусская народная литература и искусство* (СПб., 1861) и его же обширную статью *Общие понятия о русской иконописи* в "Сборнике на 1866 г.", изд. Общества древнерусского искусства при Московском Публичном Музее. Данные относительно самостоятельного русского развития иконографических сюжетов в изобилии собраны в капитальных исследованиях Н. Покровского, *Евангелие в памятниках иконографии, преимущественно византийских и русских* (СПб., 1892) в Трудах археологического съезда, т.I, (М., 1890). Его же: *Страшный суд в памятниках византийского и русского искусства*, "Труды археологического съезда", т.III (Одесса, 1887) и его же *Сийский иконописный подлинник* в Памятниках древней письменности, вып. CVI и CXIII (1895-96) с альбомом (CIX). К той же категории работ относится и капитальное исследование Н.П. Кондакова, *Иконография Богоматери. Связи греческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего Возрождения* (СПб., 1910), т.II (СПб., 1915) и монография А.И. Анисимова, *Владимирская Икона Божией Матери*, Seminarium Kondakovianum (Прага, 1928). Статьи В.Н. Нечаева и Е.П. Сачавца-Федорова, *Русское Искусство в XVII в.*, сб. ст. (Acad., 1929). *Временник отдела изобразительных искусств*, I. *Изобразительное искусство* (статьи В.Н. Нечаева об Ушакове и Романова о новгородском зодчестве XV-XVI вв.) (Acad., 1927). Стенные росписи царского дворца XVI и XVII вв. описаны Забелиным, *Домашний быт русских царей*, ч.I, 3-е изд. с дополнениями (М., 1895). Образцы иконной живописи Симона Ушакова см. в брошюре Д.К. Тренева, *Иконы царского изографа Симона Ушакова в московском Новодевичьем монастыре*, с прил. 5 фототипий (М., 1901). А.И. Успенский, *Царские иконописцы в XVII веке*, т.IV, по рукописным данным. По искусству XVIII в. см.: Karl Stachlin, *Aus den Papieren Jacob von Staehlins, 1926*, 199 Abbildungen

(Ost-Europa Verlag, 1926). Louis Réau et Georges Loukomski, *Catherine la Grande, inspiratrice d'art Mécéne* (Calame, Paris, 1930). Специально, по истории живописи: О. Голлербах, *Портретная живопись в России XVIII века* (Госизд., 1923). *История живописи в XIX веке* (Мутера). Александр Бенуа, *Русская живопись* (М., Изд. тов. "Знание"). Значение работы видно из моего текста. Первоисточником для характеристики эпохи передвижников служит В.В. Стасов, Соб. соч. в 3 т. (СПб., 1894). Здесь помещены его большие резюмирующие статьи: *Двадцать пять лет русского искусства* и *Тормозы нового русского искусства* (архитектура, живопись, скульптура и музыка; критико-биографические очерки деятельности Брюллова, Иванова, Перова, хроника картинных выставок и т.д.). См. также: А. Новицкий, *Передвижники и их влияние на русское искусство* (М., 1897). Хроника новейшего периода и богатый материал для оценки западных влияний и для характеристики отдельных художников XVIII и XIX вв. см. в художественных журналах: "Мир искусства" — выходил в 1899-1904, "Золотое руно" — с 1906 по 1909 и "Аполлон", 1909-1914. Описания московских собраний картин новейшей французской живописи И.А. Морозова (С. Маковского) и С. И. Лукина (Я. Тугендхольда), см. в "Аполлоне", №№ 3-4 (1912) и № 1-2 (1914). В этих журналах можно найти также многочисленные биографо-критические очерки старых и новых русских и иностранных художников с многочисленными репродукциями. Биография Борисова-Мусатова, И. Евдокимова, в серии "Искусство", под ред. П.П. Муратова. Библиографию отдельных монографий, посвященных новым русским художникам, см. в вышеупомянутой книге Виктора Никольского. Для знакомства с новейшими иностранными течениями, см. последнее издание Истории искусства Любке: Lübke-Haack "Die Kunst des neuenzehnten Jahrhunderts und der Gegenwart", II Theil, *Die Moderne Kunstbewegung*, 6-te Auflage (1925); Fritz Knapp, *Die Künstlerische Kultur des Abendlandes*, Band III. *Die malerische Problematik der Modernen von Klassicismus zum Expressionismus*; 2 bis 3 Auflage (1923). Julius Meier Graefe, *Die Entwicklungsgeschishte der modernen Kunst*, два тома текста и третий том репродукций (Stutgart, 1914); и его же, *Impressionisten*, 2, Aufl (1907). Th. Duret, *Histoire des peintres impressionistes* (Paris, 1906). G. Apollinaire, *Les peintres cubistes* (Paris, 1913); Gustawe Coquiot, *Cubistes, Futuristes, Passéistes* (Paris, 1914); *Ozenfant, Art. Picasso* von Maurice Raynal, 95 Abbildungstafeln und 8 Kupferdrücke (Delphinverlag, München).

Для новейших немецких течений см.: Ludwig Justi, *Von Corinth bis Klee*, Deutsche Malkunst im 19 und 20 Jahrhundert, ein Gangdurch die Nationalgallerie, Mit 96 Abbildungen (Berlin, 1931) На русском см. И.Маца.

Искусство эпохи зрелого капитализма на Западе, Изд. Коммун. академии (М., 1929). Точка зрения узкомарксистская, но большой подбор фактических данных. Для первого знакомства с импрессионистами полезен сборник статей Тугендхольда, *Французское искусство и его представители* (СПб., тов. "Просвещение"), s.d. Для истории балетов Дягилева см., кроме указанных выше изданий, посвященный теме Numéro special de la *Rewue Musicale* (1 decembre, 1930). *Les ballets Russes de Serge de Diaghilew*, сборник ценных статей и иллюстраций. О "коллективном человеке" и вообще об искусстве времени большевизма см. обширную работу René Füllop-Miller, *Giest und Gesicht des Bolschewismus* (Amalthea-Verlag, 1926). Тут же и о большевистском театре. Множество репродукций плакатов и картин, точка зрения объективная. Для истории русского кубизма и футуризма, см. книгу Эли Эганбюри, *Наталия Гончарова, Михаил Ларионов* (М., 1913); с многочисленными репродукциями *Ослиный хвост и Мишень* (М., 1913); Изд. Мюнстер *Манифест лучистов и будущников* и статьи В. Паркина *М. Ларионова и С. Худакова*, с репродукциями. Каталоги выставок с репродукциями: Salon d'automne, *Exposition de l'art Russe* (Paris, 1906); Exposition des artishes Russes á Paris en 1921 organisee par les membres exposants de la société *Mir Iskousstva* á la gallerie "La Boëtie". О Борисе Григорьеве см. монографию: Boris Grigoriew, *Rasseja*. Mit einführenden

Aufsaetzen von Oskar Bie, Pavel Barchan, Alexander Benois und Boris Grigoriew und 70 wiedevgaben nach den Originalen des Malers (Potsdam-Berlin, 1921). О Марке Шагале см. немецкий перевод книги Эфроса и Тугендхольда, *Mark Schagall* со снимками (Verl. Kiepenkener). Waldemar George, *Mark Chagall* с 29 снимками в серии "Les peintres francais" (1928). Selection, chronique de la vie artistique, cahier 6, *Mark Chagall* (Anvers, 1929) со многими снимками. Rene Schwob, *Chagall et l'âme Yuive* со снимками (ed. Correa, Paris, 1931).

О советском искусстве см. ряд содержательных статей в *Ежегоднике литературы и искусства на 1929-й год* (М., 1929), изд. Ком. Акад. (статьи И. Маца, Д. Аркина, Н. Масленникова, А. Михайлова; коллективная статья: основные моменты в развитии советской живописи, хроника изоискусств и библиография). М.Я. Гинзбург, *Стиль и эпоха, проблемы современной архитектуры*, Госизд. (М., 1924) (с 41-й таблицей фасадов). См. также цитированную в предыдущем отделе книгу: Р. Пельше, *Наша театральная политика*, Госизд. (1929). Об эволюции русского театра, см.: талантливую книгу Е.А. Зноско-Боровского, *Русский театр начала XX в.*, изд. "Пламя" (Прага, 1925); *Театр, книга о новом театре*, изд. Шиповника (1908); статьи Бенуа, Мейерхольда, Горнфельда и др. О традиции реализма, см. Кизеветтер, *М.С. Щепкин* (Прага, 1925).

IV

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ ИСКУССТВА И ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: МУЗЫКА

Сходства и различия с Западом. — Роль народной песни и церковного напева. — Древнейшая нотация, ее рецепция в России. — "Хомовое" пение. — Первые попытки самостоятельного отношения к заимствованному. — Нововведения Шайдурова и Мещенца. — "Демественное" пение. — Первые попытки многоголосия ("знаменное" пение. — Заимствование "партесного" пения из Польши. — "Грамматика мусикийская" Дулецкого. — Появление светской музыки. — Итальянские композиторы в России. — Русские любители. — Первые русские композиторы: Митинский, Фомин, Бортнянский, Козловский. — Гармонизация церковного пения. — Распространение интереса к музыке. — Классический период русской музыки. — Глинка и Пушкин. — Национальный элемент в музыке Глинки. — Прием опер Глинки. — Реализм Даргомыжского. — Эклектизм Серова. — Борьба "русской" и "космополитической" школы. — Рубинштейны и Чайковский. — "Дилетанты" балакиревского кружка. — Мусоргский, как реалист. — Национальное значение "кучки". — Бородин. — Значение эволюции Римского-Корсакова. — Римский-Корсаков и Вагнер. — Начало "бунта". — Изолированное положение Скрябина. — "Новая музыка" XX в. Судьба мелодии, гармонии и ритма в новой школе. Импрессионизм, экспрессионизм и "предметность" в новой музыке. Ее иностранные представители. — Отличительные черты нового музыкального стиля. — Русские инициаторы и подражатели. — Стравинский. — Прокофьев. — Музыка в послереволюционной России.

Если мы от изобразительных искусств обратимся к истории русской музыки, то и здесь найдем тот же параллелизм развития в общих чертах и те же особенности в частностях — подчас весьма существенных — сравнительно с развитием западной музыки, какие могли уследить в истории живописи и литературы. Естественно, что и тут различия с Западом, объяснимые особой средой национального развития, особенно велики в начале русского исторического процесса, а по мере приближения к современности эти различия сглаживаются и уступают место все более явственно выраженному параллелизму. Параллелизм этот и в данном случае сперва выражается в непосредственном подражании образцам, данным высшей культурой, а затем, после того как подражание принесло свой плод и вызвало самостоятельное национальное творчество, параллелизм становится результатом взаимодействия равноправных культур или, в более глубоком смысле, однообразия законов развития коллективной психики культурных народов. Отметим также, что и в данной области творчества нам придется постоянно указывать на

связь и солидарность, которая существует между нею и другими областями творчества, по видимости совершенно независимыми друг от друга.

Мы начинаем с установления глубокого различия, которое в начале изучаемого процесса существовало и в области музыки между культурной обстановкой востока и запада Европы. Западная музыка была продуктом могущественного культурного влияния церковного элемента на народные задатки. Церковный григорианский хорал, прежде всего, решительно вытеснил древнюю пятитонную гамму народной песни, лишенную кварты и сентимы, заменив ее античной семиступенной (диатонической). Затем в пределах той же церковной музыки началась разработка современной гармонии. Народная песня дала напев; церковный средневековой стиль научил сопровождать этот напев другими созвучными голосами. Таким образом явилось в музыке нового времени сочетание мелодии с гармонией, одноголосного стиля с многоголосным. В России и в этом случае церковь сторонилась от народной старины. В течение веков церковное пение и народная песня существовали рядом, не оказывая друг на друга влияния. Церковь, как мы знаем, преследовала народную песню. Еще в 1636 г. по приказу патр. Иоасафа русские музыкальные инструменты были преданы в Москве торжественному сожжению. И результаты получились те же. Русская песня донесла до нашего времени свой своеобразный ритм и даже свою первобытную гамму. С другой стороны, и церковное пение ("знаменное") долго жило своей отдельной жизнью, не получая импульсов извне и не передавая их в мирскую среду. В результате оно надолго осталось таким же не подвижным, неразвитым, одноголосным, каким пришло к нам, как составная часть не подлежащей изменениям церковной службы, из Византии или от южных славян. Таким образом, Древняя Русь не принимала никакого участия в той грандиозной выработке многоголосного стиля, которая на Западе уже заканчивалась в XV столетии, подготовив почву для Палестрины. Естественно, что русская музыка не могла принять *непосредственного* участия в *дальнейшем* развитии европейской музыки, дополнившей хроматизмом (полутонами) старую диатоническую гамму и перешедшей от системы церковных ладов к современной нам системе мажора и минора. Чтобы получить возможность самостоятельного развития, русской музыке пришлось, таким образом, начать — хотя и поздно — с простого заимствования готовых элементов европейской техники. И только впоследствии, усвоив эту технику, она нашла свободу от ее оков в старинной народной песне и внесла в историю музыки свои собственные национальные элементы.

Однако же и в области русской церковной музыки, как в области иконописи, можно заметить некоторое движение, параллельное европейскому, хотя гораздо более элементарное.

К сожалению, за развитием этого движения очень трудно следить, так как особый способ изображения нот, заимствованный нами у греков, через посредство южных славян, чрезвычайно затрудняет изучение того нового, что было введено русскими певцами в византийское наследство. Древнейшая нотация так наз. "кондакарного" пения до сих пор не расшифрована[1]. Мы знаем только, что она именно сохраняет богатство древней византийской церковной музыки, отличающейся от позднейшей преобладанием сплошной мелодии над заменившим ее впоследствии чтением нараспев, речитативом. Другая нотация, ставшая общеупотребительной, под названием "знаменной" (то есть собственно "знаковой", от греч. semeion — знак), тоже остается малопонятной для нас до конца XV в. Но самая неизменность этой системы нотных знаков (позднее их прозвали "крюками") свидетельствует о неподвижности обозначенных ими мотивов. Эта неподвижность, конечно, прежде всего объясняется неприкосновенностью песнопений, составляющих часть богослужебного культа. Но тут, как мы видели это и в других областях заимствованной Россией культуры, действовала и другая причина. Музыкальные достижения Византии были слишком высоки и недоступны для усвоения в русской среде: они просто остались непоняты. И самую систему музыкального "осмогласия" русские певцы понимали чисто внешним образом. Не зная звукоряда и не понимая "гласа" как "лада" они учились "гласу", как неграмотные учились псалтырю, схватывая внешние формы начертаний. Они связывали в памяти каждый "глас" с особыми свойственными ему музыкальными оборотами, которые называли "попевками", и давали каждому обороту особое название, например "подъем, перегиб, завивец, пригласка и возгласка, задевец и подвертка, скачек большой, переметка" и т.д. Таких попевок различалось до сотни в каждом гласе: понятно, как усложнялось и затруднялось этим обучение пению. Не меньше труда стоило усвоить и самое обозначение нот и целых мелодий — "крюками", помещавшимися вроде стенографических знаков, над текстом. Постепенно к прежним знакам стали прибавляться некоторые изменения, которые еще усложнили нотацию. Затем в славянском тексте, принесенном к нам с юга, оказывались особенности, разошедшиеся с русским произношением букв. Буквы ъ и ь долго сохранявшие у южных славян значение гласных или полугласных звуков — короткого

[1] Собственно, исследования Флейшера, Римана и др. раскрыли значение греческой нотации, начиная с 1300 г. (реформа афонского монаха Кукузелеса); но, восходя отсюда к XI столетию, и они не могли вполне дешифровать древнейших нотных знаков. Сменившая и у нас в XIV столетии древневизантийскую нотацию так наз. "крюковая" система имеет уже мало общего и с нею, и с нотацией Кукулеса и др., удержавшейся у греков до XVIII столетия. См. библиографию.

о и *е*, в России скоро перестали звучать, и написанные над ними нотные звуки потеряли опору. Древнее "дьньсь" — в три слога — произносилось "днесь" — в один слог. Фразы вроде "съгрешихом, беззаконновахом, не оправдихом пред тобою" читались у славян полногласно: "согрешихомо, безозаконовахомо, не оправдихомо передо тобою". Пришлось так и писать в русских текстах, чтобы не менять мотива. Частое повторение этих "хомо" повело к тому, что всю эту манеру пения на Руси прозвали "хомовой" или "хомонией". Древнее византийское обозначение "гласов" (echoi) различным сочетанием букв а, н, е, обозначавшим разные церковные тональности ("ананес", "неанес" и т.д.), у нас также получило значение чисто звуковых вставок для облегчения певца, прозванных "аненайками". Все это затрудняло понимание текста. Не понимали и переписчики замысловатых нотных значков, и, переписывая рукописи, "тетрадки с тетрадок, не зная добре ни силу речи, ни разум стиха, ни буквы ведая", они вконец искажали "знаменное" письмо. Верх путаницы был достигнут, когда с целью сократить службу церковнослужители ввели обычай читать и петь одновременно несколько молитв и песнопений. Вот как описывает впечатление такой службы современник. "В гласы два, и три, и в шесть церковное совершаху пение, друг друга не разумеюще, что глаголят, и от самих священников, и причетников шум и злогласование в святых церквах бываше странно зело, клирицы бо пояху на обоих странах псалтырь и иные стихи церковные, не ожидающе конца лик от лика, но купно вси кричаху, псаломник же прочитаваше стихи, не внимая поемым, и начинаше иные, — и невозможно бяше слушающему разумети коемало и чтомало". Зато устав и текст службы оставался неповрежденным: все было прочтено и спето, как полагалось, без всякого изменения!

Первые признаки самостоятельного отношения к заимствованному и выразились в протестах против этого, чисто ритуального взгляда на церковную службу. Но появляются они только с XVI в. Уже "Домострой" требует "пети внятно и единогласно" — требование, подхваченное, как мы знаем, предшественниками Никона. В том же XVI в. делались попытки раскрыть секреты знаменного нотописания, умышленно скрывавшиеся опытными певцами от учеников, "дабы кто от ученик не был гораздее их". Большой шаг вперед был сделан, когда новгородскому певцу Ивану Шайдурову "Бог открыл" новую систему. Он разделил всю область звуков, входящих в напевы, от sol малой октавы до re следующей на четыре трихорда: простой, мрачный, светлый и пресветлый, по большой терции, разделенной промежуточным полутоном, в каждой части и стал писать киноварью у нижнего sol — *гн* ("гораздо низко"), у самого высокого re — *в* ("высоко") и т. д. Но при этом сохранились и старые многочисленные значки с их неясными толкованиями. Вот, например,

как пояснялась высота звука. "Крюк *простой* — возгласить мало выше строки. *Мрачный* — мало выше простого возгласить. Светлый — мрачного выше возгласить. Стрелу светлую — подержав, подернути вверх дважды. Громосветлую из низу подернути кверху. Голубчик малой — гаркнуть из гортани. Запятую — изнизка взять. Дербицу — подроби гласом кверху" и т.д. А продолжительность звука: "Две стопицы мерою в гласовнем скорбежании противо крюка единого. Два же крюка — мерою против крюка единого с оттенкою". Усовершенствование, как видим, далеко не шло; но было принято рукописями XVII в.

Дальнейшее упрощение было внесено в нотописание специальной комиссией под руководством звенигородского старца Александра Мезенца, назначенной царем Алексеем Михайловичем, после 1668 г. (то есть после соборов, отлучивших старообрядцев), для исправления и для подготовки к печати церковных нотных книг. Знаки Мезенца должны были печататься черной краской в дополнение к знакам Шайдурова, отмечавшимся киноварью. Упрощение Мезенца состояло в том, что он снабдил "крюки" одной, двумя и тремя точками для означения каждого высшего трихорда Шайдурова (do-remi — одна точка, fa-sol-la — две, si-do-re — три), а внутри каждого трихорда отметил вторую и третью ноту особым знаком посредине и наверху "крюка". Таким образом, каждая из двенадцати нот четырех трихордов получила свое особое обозначение. Затем Мезенец привел в порядок и самый текст песнопений. Он оставил, конечно, знаменные напевы неизменными, но согласовал с напевами текст, выкинув потерявшую всякий смысл "хомовию" или так наз. "раздельноречие" и установив новый "истинноречный" или "наречный" текст. Были выкинуты из текста и архаические "ананейки".

Конечно, и это новшество вызвало протест старообрядцев. Новое нотописание было слишком тесно связано с исправлением церковных книг, чтобы не встретить противодействия. И хотя к 1678 г. все было готово к печати, реформа Мезенца осталась в рукописях. Она и запоздала: к концу XVII в. стало быстро входить в употребление гораздо более удобное линейное письмо римского хорала с квадратными нотами — притом сразу на пяти, а не на четырех линейках. "Крюковое" знаменное письмо сохранило лишь значение освященной временем литургической традиции.

Переходим к более важным попыткам проявить самостоятельность в области церковной музыки. Одной из этих попыток было расширенное применения так наз. "демественного пения". Под этим названием издавна разумелось особоторжественное праздничное пение, противополагавшееся будничному "гласовому" или "столповому". Выбирая свое содержание вне обязательных осмогласных текстов, это пение пользовалось большей свободой — и употребляло ее, чтобы заменить повторение одной и

той же мелодии, обычное в знаменном распеве, развитием разнообразных мелодических фраз, следовавших друг за другом. При этом певцу предоставлялась известная свобода импровизации, выражавшаяся в употреблении апподжатур, то есть рулад на фоне обычной "педали". Так пелось, в присутствии архиереев или патриарха, все "амбонное", величания, многолетия, службы-обряды, как "пещное действо" умовение ног, шествие на осляти.

Еще важнее была попытка сопроводить традиционное одноголосное, унисонное пение другими голосами. На этой почве, как сказано выше, совершилось все развитие западной светской музыки из церковной. У нас при полном незнании музыкальной теории, при игнорировании запаса народных песен, где многоголосие, по-видимому, уже существовало, — а также и при неудачной системе нотописания дело ограничилось, вплоть до следующего периода, немногими бесплодными усилиями. Несомненно, уже в начале XVII в. появляются "знаменитые" партитуры, написанные крюками, на 2, 3, 4 голоса. Это "троестрочное" пение, "единым гласом (тоникой) наченшеся, слагается в трех степенях и пятых (то есть простое тризвучие на терции и квинте). Тем же и гласов имать три: низ, путь, верх, свой кождо глас имущий и воедино согласующий". "Путь", или основную мелодию (cantus firmus), давал средний голос; верхний и нижний голос служили для сопровождения. "Триестествогласие" знали и Шайдуров, и Александр Мезенец. Но, помимо того что три голоса — исключительно мужские — располагались очень тесно и при этом употреблялись запрещенные последовательные квинты и даже секунды, при крюковой нотации вообще трудно было соблюсти нужные интервалы, и эффект получался самый печальный. Певцы сами признавались, что "в тристрочном пении ничто же есть согласия, токмо несогласная тригласия, шум и звук издающая. И несведущим благо мнится, сведущим-же неисправно положено разумевается. Понеже в России степени (интервалы) никому же знаеми суть; сего ради и не могут отлучити злых гласов (то есть диссонансов) от благих (консонансов)". И автор прибавляет, совершенно справедливо: "Как он имать разумети, ничто же сведый учения мусикийского?"

В результате этого неведения и запоздания Россия получила во второй половине XVII в. с запада и линейное нотописание, и многоголосное хоровое пение — но уже отнюдь не "знаменное". То и другое пришло в Москву из Киевской Руси, которая в свою очередь заимствовала эти новинки из Польши. Мы знаем, что этим же путем шли влияния в литературе и архитектуре. Посредниками при усвоении западной музыкальной новизны явились малороссийские певчие, сохранившие эту роль, как увидим, до самого конца XVIII столетия. Ф.В. Ртищев, пришедший в восторг при слушании многоголосного пе-

щев, пришедший в восторг при слушании многоголосного пения в Киеве, выписал в свой Андреевский монастырь и этих певцов. Привез в Москву из Киева малороссийских певцов и музыкантов и боярин П.В. Шереметев. Павел Алепский рассказывает, что на новоселье у патр. Никона "патриарх и царь находили наибольшее удовольствие в пении детей казаков, коих царь привез много из страны ляхов и отдал партриарху, который одел их наилучшим образом, зачислил в свои служители, назначил содержание и потом посвятил в иночество. Они всегда имели первенство в пении, которое предпочитают пению московитов, басистому и грубому". Мы знаем даже случайно печальную биографию одного такого "вспеваки", четырнадцатилетнего "дышканчика" Василия Репского, которого сперва царь "взял вверх в пение", а затем, четыре года спустя, отправил с посольством Ордына-Нащокина за границу учиться. По возвращении он был взят во двор Артамоном Матвеевым — очень недобровольно, так как Матвеев "держал его в оковах, морил голодной смертью и неволей заставлял многожды играть у него на комедиях, на органах и на скрипках". Вероятно, чтобы удержать Репского, Матвеев даже женил его насильно и держал у себя три года. Это — путь, который потом пришлось пройти многим артистам из крепостных.

Многоголосное, или "партесное" (от "партия"), пение быстро привилось, как видно уже из протеста протопопа Аввакума. "На Москве во многих церквах, — жалуется он, — поют песни, а не божественное пение... руками машут, и главами кивают, и ногами топчут (очевидно, тогдашние регенты хора), как де обыкло у латынников по арганом". Защитник нового пения отвечал на это старообрядцу: "Уразумитесь, раскольцы, егда и наше пение древнее не имать согласия со органы? Ей имать. Аще же кое пение отриновенно сотворим, яко имать со органы подобие, — то всякое пение отринути воздолженствуем".

Серьезнее было то, что новый стиль и новая система принесли с собой и новое содержание музыки. В богослужебное пение был перенесен внебогослужебный стиль юго-западных "кантов" и "псалъм". Не имея ни знания, ни права, чтобы переработать в новом стиле древние одноголосные знаменные мелодии, русские певцы заимствовали новые напевы, как некогда и старые, без изменений. Появившиеся тогда в Москве новые многоголосные распевы, греческий и болгарский, уже не могли конкурировать. Масса знаменных напевов были гармонизированы по-"польски" или, точнее, по-"киевски"; старая мелодия отдавалась среднему "пути" тенора, а низкий бас "эксцеллянтовал", то есть разводил на проходящих тонах разнообразный и замысловатый узор. За "вспеваками" явились с юга и композиторы, и теоретики. Один из них, Н.П. Дулецкий, родом из Литвы, сделался директором певческой капеллы царя Феодора Алексеевича и, по предложению "благодетеля", гр. Д. Строганова, пере-

вел с польского свою "Идею грамматики мусикийской" (1679), а также составил "Грамматику пения мусикийского" и др. Через посредство этих сочинений Россия познакомилась с итальянской школой XVI-XVII вв. Ученики Дулецкого стали усваивать себе элементарные формы и приемы западного стиля. Они теперь уже свободно распоряжаются многоголосными хорами в 24 и даже 48 голосов, комбинируя их группами для получения звуковых контрастов и разнообразия колорита. Дьяк Василий Титов особенно выделился из последователей этой школы применением звуковых эффектов. Но их много, этих последователей. В библиотеке б. Синодального училища хранится более 500 произведений польской школы.

Быстрому переходу от православного знаменного пения к этому новому европейскому стилю, несомненно, содействовала та денационализация церкви и то заполнение ее иерархии южнорусскими выходцами, о которых мы говорили. Но и эта протекция не могла удержать этого стиля надолго. Как в области литературы и других областях культуры, так и здесь за заимствованием из вторых рук последовало заимствование из первоисточника при Петре и его преемницах. Партесное пение открыло путь светской музыки, которая широким потоком хлынула в Россию со времени реформы. Правда, сфера этого влияния осталась до второй половины XVIII в. та же, как и влияния польского: это был двор и ближайшие ко двору общественные круги. И исполнители остались прежние. В чине избрания "князя-папы" в 1717 г. участвовали в пении "песни бахусовой" весьма вольного содержания синодальные и государевы певчие. В 1723 г. те же певчие "в однорядках и в халдейском платье" участвуют в маскараде, и один из них изображает Бахуса. Поставив на ноги, как сейчас увидим, светскую музыку, те же певчие вносят ее и в церковь и церковный амвон превращают в концертную эстраду. Русский посол в Константинополе, Булгаков, пишет сыну при Екатерине II: "славные певчие Казакова, которые принадлежат ныне Бекетову, поют в церкви Дмитрия Солунского, в Москве. Съезд такой бывает, что весь Тверской бульвар заставлен каретами. Недавно молельщики до такого дошли бесстыдства, что в церкви кричали: фора (то есть вызывали)". И немудрено. Арию жреца из оперы "Весталка" Спонтини можно было тогда услышать в церкви под аккомпанемент двух клиросов, на слова "Тебе поем, тебе благословим", а "всепетая Мати" прославлялась на музыку хора жриц из "Ифигении" Глюка.

Но вернемся к развитию светской музыки в России XVIII в. Как известно, при дворах императриц безусловное преобладание получила итальянская музыка — и особенно итальянская опера. Начало положила имп. Анна, пригласившая в 1735 г. итальянского композитора Франческо Арайя. Свою первую в России оперу "La forza dell amore e dell odio" он поставил в рус-

ском переводе Тредьяковского на придворном театре с участием певчих придворного церковного хора в качестве хористов. "Эти музыкальные певцы, — рекомендует их Штелин, — настолько вошли в тонкий вкус итальянской музыки, что многие из них в пении арий мало уступают лучшим итальянским певцам".

С этих пор у нас итальянские композиторы и весьма крупные не переводились. Арайя оставался 28 лет (1735-63) и поставил 17 своих опер. В 1756-64 гг. был еще Раупах, до 1768 — Галуппи и вместе Анджолини, до 1775 г. Траэтта; до 1783-85 — Паэзиэлло, потом, до 1798 — Сарти, с ним почти одновременно Мартин-и-Солер и Чимароза (1789-92), с 1794 по 1800 г. Астарити. В 1764 г. выписана была в Россию французская комическая опера, и оперный репертуар был пополнен произведениями Монсиньи, Филидора, Гретри, Далейрака, Мегюля и др. Елизавета возвысила малороссийского певчего и придворного бандуриста Разумовского в сан своего мужа. Петр III сам играл первую скрипку в своем оркестре. Скрипачом — и таким же плохим, но большим меценатом был и Павел I. Известный деятель времени Екатерины гр. Теплов был композитором, виртуозом и дирижером: в великосветском оркестре, которым он управлял в ноябре 1768 г. на придворном театре, играла принцесса Курляндская, два брата Нарышкиных, гр. Строганов, сенатор Трубецкой, камергер Ягужинский и другие "высокоблагородные" музыканты. Когда в следующем году Манфредини устроил публичные концерты, камергер Шувалов дал ему свое помещение, и три дочери Теплова участвовали как исполнительницы. Придворные дамы и кавалеры, слушатели из дворянства и городского купечества переполняли зал и четыре смежные комнаты. Назову еще скрипача-композитора Хандошкина, крепостного Потемкина.

Весь этот подготовительный период в истории русской музыки потонул в лучах славы Глинки. Все предыдущее было окрашено одной краской — слепого подражания. Однако здесь, как и в истории живописи и архитектуры, по мере более подробного изучения мы открываем немало самостоятельных ростков, постепенно создающих ту атмосферу, среди которой появление Глинки уже не кажется ни таким внезапным, ни таким необъяснимым. Любопытно отметить, что первые наши композиторы происходят из низших слоев общества и что их произведения проводят на сцену русскую песню и русский быт — причем, конечно, им уже не приходится держаться "серьезных" музыкальных форм, а остается пользоваться утвердившейся на сцене к концу XVIII ст. легкой формой небольшой по размеру комической оперы, допускающей песни и пляску, в условном тоне восхваления крестьянского благополучия. Мы говорили о первом крупном успехе бытовой пьесы этого рода, комедии Аблесимова. У Аблесимова явилось немало подражателей, но среди них есть один, имеющий право на особое внимание, крепост-

ной человек гр. С.П. Ягужинского, Михаил Митинский, автор русской бытовой оперы "С.Петербургский Гостиный Двор" и нескольких других (1779-1792). Музыкальные достоинства оперы незначительны, и, хотя Митинский путешествовал по Италии на средства своего патрона, не видно, чтобы он вернулся оттуда выдающимся композитором. И оперу его пришлось подправлять "придворному скрипачу Пашкевичу". Тем не менее, по преданию, опера эта "имела огромный успех", объясняемый именно ее бытовым содержанием. Митинский, не довольствуясь, подобно Аблесимову, введением народных песен, внес в оперу полностью обряд девичника со всеми песнями; затем он дал музыкальную характеристику зазывания покупателей купцами Гостиного двора. Гораздо больше значения имеет другой композитор, сын канонира полковой артиллерии Евстигней Фомин. Получив начальное музыкальное образование у пианиста Буини в Академии художеств, Фомин был командирован в Италию (1782- 85) и получил диплом академика в Болонье, у знаменитого контрапунктиста Джамбаттиста Мартини, где кончил до него духовный композитор Березовский. Другой его учитель, Маттеи, был также учителем Россини и Доницетти. Фомину приписывают целых 30 опер, но новейший исследователь Финагин оставляет за ним только десять бесспорных, из которых сохранились только пять, из них одна по заказу Екатерины II на ее текст "Новгородский богатырь Боеславович" (1786) и три наилучше сохранившиеся: "Ямщики на подставе" (1787), "Орфей" (1792) и "Американцы" (1800). В "Ямщиках" механически связаны песни и хоры, но народные мелодии впервые инструментированы без искажения их национальных особенностей. В "Американцах" и особенно в "Орфее" встречаем довольно удачные попытки музыкальной характеристики действующих лиц. Для оперы в "возвышенном стиле" Фомин выбрал сюжет, трактованный Монтеверде и Глюком, и трактовал его в форме мелодекламации. Оркестровка — несложная, но выразительная, соответствовала характеру темы. Национальный колорит проглядывает в свободном художественном претворении русской песни, что уже составляет переход к творчеству Глинки.

Несколько раньше Фомина работал в Италии (1768-79) другой, более сильный русский композитор, составивший себе славу преимущественно в области церковной музыки, Бортнянский, ученик Галуппи. В этой области Бортнянский отдал дань своему времени: он принял церковное пение, как нашел его, — в руках полонизирующих малороссийских певчих, лучше гармонизировал его в своих концертах, не претендовал писать целой литургии, но строил на неверном основании. Он был "последний итальянец". Его оперы незаслуженно забыты. В последнее время о них напомнил проф. Асафьев, который находит "прелесть этих опер... в необычайно красивом слиянии благородной итальянской лирики с томностью французского романса

и острой фривольностью куплета". Речь идет о двух операх "Le faucon" и "Le fils rival", которые были представлены в 1786 и 1787 гг. при малом дворе наследника Павла. Там, в противоположность итальянской опере большого двора, культивировалась французская комическая опера. Русских бытовых черт здесь нет. Но подробный анализ обоих опер дает повод упомянутому автору провести ряд параллелей между музыкальными приемами Бортнянского и позднейших русских композиторов. В конце концов, конечно, стиль опер Бортнянского остается "стилем русского оперного барокко XVIII в., осуществленным в скромных условиях загородного придворного театра".

Есть еще один интересный прецедент — к истории русского романса. Это музыкальная деятельность обрусевшего поляка О.А. Козловского, знаменитого некогда автора многочисленных полонезов. Его "Гром победы, раздавайся", исполненный на празднике Потемкина в 1791 г., "исполнял одно время функции национального гимна". Но Козловский также и автор "Российских песен "(1795-96), весьма в свое время распространенных и популярных. "Сей любитель музыки, — говорит о нем издатель, — сделался творителем нового рода". Новый род этот был русским романсом, и "творитель" его является предшественником Алябьева, Варламова, Гурилева, Титовых и — Глинки. Гармонические приемы Козловского незамысловаты, но его фортепианное сопровождение дает недурные музыкальные иллюстрации текста, а мелодии отличаются сгущенной эмоцией, соответствующей чувствительности текстов, ничуть не характерных для народной песни, но характерных для тогдашней любовной лирики. Еще в 1831 г. в некрологе Козловского отмечено, что с его именем "соединяется множество воспоминаний, сладостных для русского сердца". Тут опять мы встречаемся с атмосферой музыкального дилетантизма, в которой развернулся талант влюбчивого Глинки.

Бортнянский гармонизировал старинные знаменитые напевы по правилам современной ему европейской композиции. И даже Глинка, в конце своей блестящей карьеры, поехал изучать средневековые церковные лады в Берлин — к своему старому учителю Дену, в предположении, что они соответствуют древним русским церковным напевам. Но уже в начале XIX в., преимущественно в старообрядческой среде, сохранялось представление об особенном характере древней мелодии, затрудняющем ее гармонизацию обычным школьным путем. Около 1809 г. сочинен был проект "об отпечатании древнего российского крюкового пения", напрасно приписывавшийся Бортнянскому, приемам которого он прямо противоречит. Неизвестный автор проекта защищает сохранение крюкового пения тем соображением, что никакие другие системы не могут точно передать особенностей древних напевов. Несовершенно в этом отношении и "новонотное" письмо, применявшееся для "переводов" с крюко-

вого пения с конца XVII столетия. "Первые переводчики; — замечает автор проекта, — затрудненные соединением и перемещением тетракорд диатонического пения, прибегли к музыкальным ключам, употребили они знаки родов хроматического и марсинонического (энгармонического), чего никак и ни по каким условиям не допущает свойство диатонического рода". Мелодия церковного пения при этом не могла не "пострадать от неосновательного смешения музыкальных родов, как и от необдуманного мерovведения (то есть такта и ритма), противного истинной мерности". "Можно", соглашается автор, даже и "исправлять церковное пение, покорить оное мерности или превращать оное во все виды гармонического; но не должно отнимать он него существенной мелодии, истребляя фразы, или приводить оное в пение неопределенное".

Эти возражения против секуляризации церковной музыки и против превращения ее в концерт, несомненно, были справедливы по отношению ко всей полосе западного (польского) влияния на эту музыку. Бортнянский гармонизировал то, что застал; а застал он мелодии, уже искаженные польской школой певцов — искаженные даже в монастырских хорах, лучше сохранявших древние напевы. Главным препятствием этому направлению могло лишь служить издание синодом в 1772 г. нотных книг *одногласного* старинного русского пения. Ослабление итальянского влияния в конце XVIII в. также вызвало стремление к "восстановлению древнего пения". Эту мысль преследовал преемник Бортнянского в должности директора Капеллы Ф.П. Львов, пригласивший для этой цели Турчанинова, относившегося более бережно к старинным мелодиям. Имп. Николай I просил Глинку, приглашая его в придворную Капеллу, чтобы певчие "не были итальянцами". Надо прибавить, что в то же время двоюродный брат директора Н.А. Львов собирал русские народные песни, частью напечатанные в сборнике И. Прача (1-е изд. 1790), то есть одновременно усиливался интерес и к этому источнику национального музыкального творчества. Но сам Ф.П. Львов не был композитором, и по инерции эпоха Бортнянского (1796-1825) продолжалась, в лице учеников Капеллы, до назначения сына Львова, А.Ф. Львова, виртуоза -скрипача и композитора в современном европейском духе, лично связанного с музыкальным миром Европы, где ставились (Дрезден, Штутгарт, Вена) его оперы и его симфонические произведения. Естественно, что и тут перемена произошла не в пользу возвращения к древней церковной традиции. Глинка говорил: "Бортнянский был итальянец, Львов — немец". Его два известных духовных концерта заслужили одобрение Спонтини и Мейербера. И на гармонизацию церковного пения Львов мог смотреть только глазами своего учителя Цейнера. В интересах "правильного приложения гармонии" Львов продолжал ломать подлинные напевы, если их интервалы не отвечали гармонии немецко-

го хорала. Его переложения встретили поэтому решительное сопротивление певцов и публики. Наконец и сам Львов заметил, что ритм русского пения несимметричен и не может быть подведен под обычное понятие правильной музыкальной фразы. Все эти неудачи подготовляли появление русской национальной музыки; но решительная победа новых приемов была одержана, как увидим, только в 60-х, и плоды ее пожал только Римский-Корсаков. Диктаторство в Капелле Львова (до 1861 г.) и его преемника Н.И. Бахметева (1861-83) могло, путем разрешений и запрещений, держать искусственно церковную музыку в рамках творчества Березовского (ум. в 1777 г.) и Бортнянского. Но это только обесплодило эту отрасль творчества; истинное национальное творчество окончательно перешло к области светской музыки. Когда Чайковский написал свою "Литургию" opus 41 и Юргенсон обошел цензуру Капеллы, то Бахметев требовал немедленной конфискации всего издания, во избежание "соблазна в молящихся". И уже Сенату пришлось разъяснять, что Капелла присваивает себе права, ей не принадлежащие.

Но вернемся к истории светской музыки. Здесь до появления Глинки, в первую треть XIX в., мы не видим никаких выдающихся событий. Но необходимо отметить, за отсутствием качественных изменений, чрезвычайный количественный рост интереса и способов ознакомления с музыкой.

В области оперы мы имеем длинный ряд постановок иностранных опер с русским текстом, а благодаря энергии капельмейстера прежней итальянской оперы, и с русской оперной труппой. Русская публика услыхала Керубини (1813), Моцарта (1816 и 1828), Россини (1822), Вебера (1829), Герольда и Мейербера (1834) и т.д., а в 1835-36 гг. силами русской труппы разыгран "Роберт" Мейербера, "Семирамида" Россини и "Ромео и Джульетта" Беллини, Кавос и Верстовский дают свои оперы в русском пошибе, — оперы, хотя и забытые после Глинки, но далеко ушедшие вперед от образчиков XVIII в. В то же время получает развитие и симфоническая и концертная музыка. В 1802 г. появляется старейшее Филармоническое общество, где капельмейстер Парис исполняет Гайдна, Моцарта, Генделя, Бетховена, где выступают Роде и Фильде, пожинает лавры певица Каталани. В домах вельмож процветают крепостные оркестры; увеличивается число исполнителей-дилетантов; в 1822-23 гг. в Петербурге насчитывается до 40 магазинов музыкальных инструментов, до 20 дипломированных профессоров и учительниц музыки.

Словом, начинает складываться та музыкальная среда и музыкальная атмосфера, на почве которых профессиональное занятие музыкой перестает быть уделом низшего класса и начинает приносить профессионалам из зажиточного и привилегированного класса, если не доходы, то почет и славу.

Мы переходим теперь к тому периоду, который можно назвать "классическим" в истории[2] русской музыки. Явление Глинки отмечает тот же этап этой истории, который в истории литературы отмечен явлением Пушкина. Оба начинают период самостоятельного, покончившего с подражанием, русского национального творчества. Оба являются начинателями в такое время, когда старая обстановка, соответствовавшая эпохе подражательности, еще не вполне ушла в историю, — и оба становятся жертвами этой неподготовленности среды к их появлению. Литература, как и музыка, только что сбросила — еще не вполне — зависимость от придворной опеки, но новая среда для их восприятия еще не сложилась. Композитор, как и писатель, еще не нашел своей публики и принужден довольствоваться дружескими салонами, а вне их искать покровительства сильных. В музыке, по большей сложности условий ее публичного исполнения, эта зависимость чувствуется еще сильнее и сохраняется продолжительнее, чем в литературе. На судьбе Глинки это различие отражается как нельзя более наглядно. Но, как и в случае с Пушкиным, судьба художника среди современников не мешает нам, обращаясь в прошлое, начинать с Глинки классический период нашей национальной музыки.

Этому не могут помешать ни указания на зависимость Глинки от иностранцев (Ларош), ни упреки Глинки, с высоты, достигнутой позднейшими профессионалами, в некотором "дилетантстве". Несомненно, Глинка жил в ту эпоху, когда и в других странах появилось национальное течение в музыке. Вебер уже явился выразителем этого течения в Германии. Но знакомство Глинки с знаменитыми современниками, Листом, Берлиозом, Мейербером, состоялось позднее. Мысль написать национальную русскую оперу явилась у него не столько в подражание им, сколько по контрасту с итальянцами, во время его заграничной поездки 1830-34 гг. "Все, написанные мной в угождение жителей Милана пьесы убедили меня только в том, — пишет он в своих "Записках", — Что я шел не своим путем и что я искренно не мог быть итальянцем. Тоска по отчизне навела меня постепенно на мысль писать по-русски". И далее Глинка объясняет, как он понимал этот русский стиль письма. "Немалого труда стоило мне подделываться под итальянское sentimento brillante, как они называют ощущение благосостояния, которое есть создание организма, счастливо устроенного под влиянием благодательного южного солнца. Мы, жители севера, чувствуем иначе: впечатления или нас вовсе не трогают, или глубоко западают в душу; у нас или неистовая радость, или горькие слезы. Любовь, это восхитительное чувство, животво-

---

[2] Термин "классический" мы здесь употребляем в условном, нами принятом выше смысле. О том, как понимается обычно этот термин в истории западной музыки, мы поговорим ниже.

рящее вселенную, у нас всегда соединена с грустью. Нет сомнения, что наша русская заунывная песнь есть дитя севера, а может быть, передана нам жителями Востока: их песнь так же заунывна, даже в счастливой Андалузии". Здесь уже намечен основной элемент национальной оригинальности Глинки: русская народная песня. Если прибавим к этому пятимесячные занятия теорией у проф. Дена в Берлине по пути в Россию, то почти исчерпаем ресурсы Глинки. Он говорит О.Толстому в Милане (1832): "Темы-то (то есть народной мелодии) останутся те же, и покрой сарафана или кафтана останется тот же, но уж что касается до прочих других украшений (музыкальной премудрости), по этой части скупиться не станем". И его национальная опера, названная, по совету Жуковского, "Жизнь за царя", соединила эти три элемента: народную песню, итальянские рулады и германскую гармонизацию и оркестровку. А в результате получилось то, что Берлиоз и Чайковский признали "Жизнь за царя" "истинно национальным", оригинальным и не имеющим "образца" и "антецедентов" произведением, выдвинувшим Глинку в ряд "наиболее замечательных композиторов своего времени". Однако тот же Чайковский, который признает, что "Жизнь за царя" "по гениальности, размаху, новизне и безупречности техники стоит наряду с самым великим и глубоким, что только есть в искусстве", не может примириться с "дилетантизмом" Глинки, который он связывает с привычками его социальной среды. "Я готов плакать от досады, когда думаю о том, что бы нам дал Глинка, родись он не в барской среде доэмансипационного времени... Будь Глинка сапожник (в смысле регулярности труда), а не барин — у него, вместо двух — правда превосходных — опер было бы их написано пятнадцать, да, в придачу к ним, штук десять чудных симфоний.

Успех "Жизни за царя" у публики был основан на некотором недоразумении. Большую роль сыграл сюжет, заслуживший Глинке личную благодарность императора, и заглавие, сделавшее ее официальной оперой в торжественные царские дни. Публика познакомилась с "Жизнью за царя" в один год с картиной Брюллова (1836) и чрезвычайно охотно отнесла ее, вместе с этой картиной, к разряду истинно национальных произведений, делающих эпоху. Надо припомнить, что это было время официальных поисков за всем национальным: опера Глинки и картина Брюллова очутились в категории великих национальных созданий по тому же побуждению, по какому попала в эту категорию Тоновская архитектура и чуть не попали патриотические драмы Кукольника. Что касается музыкальной стороны, публика оценила в опере Глинки главным образом ее мелодичность. Народный элемент вызвал лишь презрительный отзыв аристократов: это — "музыка для кучеров". Для простой публики "Аскольдова могила" Верстовского, поставленная годом раньше, была гораздо понятнее и по своей более простой музы-

кальной фактуре, и по большей живости действия. Через шесть лет расстояние между Глинкой и его слушателями еще увеличилось. Глинка за этот период успел окончательно возненавидеть итальянскую манеру; он был теперь и вообще "недоволен существующей музыкальной системой", находил, "что музыке необходимо обновление, освежение посредством других элементов", и осуществил свои новаторские стремления в "Руслане и Людмиле" (1842). Прием, сделанный опере публикой, был на этот раз совершенно иной. Публике понравились декорации и костюмы Брюллова; неудачное либретто некоего Бахтурина расхолодило ее, а музыкальные тонкости вызывали недоумение. "Все пришли в театр с предубеждением в пользу композитора, — рассказывает недоброжелательная рецензия Булгарина в "Северной Пчеле", — с пламенным желанием споспешествовать его торжеству, и все вышли из театра, как с похорон! Первое слово, которое у каждого срывалось с языка: "*Скучно*". Следовательно, — рассуждает далее рецензент, — вся публика не поняла музыки "*Руслана и Людмилы*". Положим, так. Но для кого пишутся оперы? Для ученых контрапунктистов, глубоких знатоков, композиторов или для публики, для массы? Композиции, написанные для бессмертия, для потомства, пусть бы оставались в портфеле, а публике пусть бы дали то, что она в состоянии понимать и чувствовать". Так судили даже друзья — и опера после первого сезона исчезла со столичных подмостков на 21 год. Оскорбленный Глинка уехал за границу, чтобы еще раз убедиться, после парижских успехов, что "в душе он — русский". Этого рода неудачу испытал и Пушкин; мы говорили о холодном приеме "Бориса Годунова". Тот и другой неуспех вытекал из несоответствия между новаторством гения и неподготовленностью среды; несоответствие, которое повторится в истории музыки. Среда — и двор во главе ее — вернулись к более доступному. Итальянцы в следующую зиму праздновали в Петербурге один из самых блестящих своих триумфов.

Положение дела немногим изменилось и тогда, когда другой русский "барин", "дилетант" и новатор, Даргомыжский (1813), поставил задачей сделать новый шаг вперед к развитию русской оперы. "Глинка, — писал он в 1853 г., — по-моему, затронул только одну сторону — сторону *лирическую*. Драма у него слишком заунывна, комическая сторона теряет национальность (это было верно даже в сравнении с Верстовским)... Я в "Русалке" своей работаю над развитием наших *драматических* моментов. Средством должен был служить мелодический речитатив. Глинка, действительно, обращая все внимание на музыкальную сторону, давал другим, бар. Розену и Бахтурину, сочинять слова на готовые музыкальные номера и отодвигать — особенно в "Руслане" — действие на второй план сравнительно с оркестровыми и вокальными ансамблями концертного характера. У Даргомыжского опера должна быть оперой, то есть эле-

мент словесного выражения получал равноправное значение с музыкальной интерпретацией. Этим музыкальное произведение становилось более реалистическим. Но и эта задача не была сразу понята. Небрежно поставленная "Русалка" вначале (1856) не имела особого успеха. Даргомыжский писал в конце 1857 г.: "Артистическое мое положение в Петербурге незавидно. Большинство наших любителей и газетных писак не признает во мне вдохновения. Рутинный взгляд их ищет для слуха "мелодий", за которыми я не гонюсь. Я не намерен низводить для них музыку до забавы. *Хочу, чтобы звуки прямо выражали слово. Хочу правды.* Они этого понять не умеют".

В подчеркнутых словах заключалась программа национальной музыкальной школы. Русская музыка, следуя общему направлению 60-80-х гг., хотела быть реалистической, подобно другим отраслям русского искусства. И когда та же "Русалка" стала даваться в 1866 г., Даргомыжский признал, что она имела "невероятный, загадочный успех". И он сам объяснил "загадку": "дело времени". Что же случилось нового в промежутке?

Помимо того что "Русалка" была оперой из народного быта и этим могла удовлетворить новым настроениям, за эти годы в России создается, наконец, та музыкальная среда, которая до этих пор ограничивалась немногими любителями и салонами, и вырабатывается в этой среде серьезное, а не дилетантское отношение к новейшим явлениям в области музыки. Вместе с тем, однако, начинается и отсутствовавшая прежде борьба направлений.

Характерной фигурой для этого промежуточного периода между любительством и профессионализмом в музыке явился А.Н. Серов, первый русский квалифицированный музыкальный критик, своей резкостью и полемическими увлечениями поссоривший с собой обе начинавшие тогда образовываться музыкальные школы — европейскую, ученую, сложившуюся в столицах около созданных братьями Рубинштейнами музыкальных консерваторий, и русскую, еще полудилетантскую. Последняя имела своим бардом В.В. Стасова, ближайшего друга Серова по училищу правоведения. Но именно тут друзья превратились в злейших врагов. Стасов рекламировал продолжателей Глинки. Серов высмеивал претензии "могучей кучки" и поклонялся Вагнеру, которого выступления в России горячо поддерживал. Сам Серов в своих, заслуживших ему поздний (в 43 года) успех и славу, операх "Юдифь" (1863) и "Рогнеда" (1865) скорее добивался внешних мейерберовских эффектов, более доступных его таланту и степени его музыкальной подготовки. Как часто бывает с знатоками истории своей специальности, Серов был — и сознательно хотел быть — эклектиком. Высказывая свои пожелания относительно "близкой к осуществлению школы славянской", Серов считал себя "вправе ожидать, что в

ней эклектически соединятся многие лучшие стороны ее предшественниц... драматическая правда... как в школах французской и немецкой... мелодическая ясность и певучесть итальянцев, серьезная мысль, ум и глубина контрапунктической разработки, как в школе немецкой, — и все это под условием чего-то особенного, своего индивидуального, в зависимости от новой, свежей почвы музыкальной". En musigue on doit etre cosmopolite, писал Серов уже в юные годы Стасову.

Русской (не "славянской") школе музыки, ведшей себя от Глинки, суждено было окончательно выявить себя среди младших сверстников Серова, им не признанных. Это была, действительно, школа "особенная" и "индивидуальная", но отнюдь не "эклектическая". Рядом с русской школой и одновременно с ней появилась и настоящая "космополитическая" школа, опиравшаяся на серьезное преподавание, организованное А.Г. Рубинштейном при Императорском Русском Музыкальном обществе в Петербурге (1862) и его братом, Н.Г., в Москве (1866). Самоучка Серов, обойденный основателями, восстал и против этой школы, как антинациональной ("немеция"), и дошел даже до отрицания возможности чему-нибудь научиться в музыке при академическом преподавании. С тех пор вошло в привычку преуменьшать значение течения, прозванного "космополитическим". У Антона Рубинштейна, первого русского артиста с мировой репутацией, подчеркивалась именно эта его роль — гениального пианиста — и отодвигались на второй план его многочисленные композиции (8 русских опер, 6 немецких светских и 7 духовных, не говоря об инструментальных произведениях). Только один "Демон" удержался на русской сцене. Это, однако, не мешает признать за произведениями А.Рубинштейна не только значение ученых подражаний старым классикам и романтикам ("академизм"), но и известную индивидуальность, большую мелодическую изобретательность — даже некоторый национальный оттенок — на почве использования восточного элемента, к которому так часто прибегали и другие русские композиторы. Но, конечно, главное значение братьев Рубинштейнов для русской музыки заключается в том большом и важном, что они сделали для насаждения в России настоящего профессионального образования. В этом смысле открытие высших музыкальных школ в столицах составило эру в истории русской музыки.

Но, конечно, это обстоятельство не положило конца борьбе "национального" элемента с "космополитизмом". Напротив, эта борьба только теперь разгоралась с особенной силой. "Космополитом", в свете этой борьбы, был признан, уже совершенно неосновательно, и крупнейший из воспитанников Санкт-Петербургской консерватории, на этот раз настоящий "профессионал", П.И. Чайковский, кончивший курс в 1865 г. и ставший профессором Московской консерватории. Создатель мировых музыкальных ценностей, надолго его переживших и проч-

но вошедших в международный капитал классической музыки, Чайковский вложил, однако, в свою музыку элемент национальной непосредственности чувства и искренности его выражения. Его личной особенностью является то, что это чувство оказалось глубоко элегическим — таким, каким привыкли за границей представлять себе "русскую душу". Чайковский — не новатор в музыке и этим воспользовались его противники, чтобы осудить и его за "академизм". Но у него есть свой стиль — не только глубоко личный, но иногда и автобиографичный; и для создания *этого* стиля он пользуется всеми современными ему красками и техникой. Романтик ли Чайковский? Понятие романтизма, как и классицизма, условно. Если романтизмом называть всякую лирику, всякую эмоцию в музыке, то Чайковский — романтик, ибо он лиричен и эмоционален. Но мы привыкли здесь связывать с понятием романтизма стремление к воображаемому миру, уклон в мистицизм, — и этих черт мы не найдем в Чайковском: он скорее реалистичен, как его время, и он так же ярко и сильно рисует — объективирует — эмоции, как и переживает. Он, во всяком случае, не слезлив и не сентиментален, как обвиняли его противники, ибо его чувство искренно, а к концу жизни и трагично. И именно эти черты делают его "русскую" душу общечеловечной и понятной и гарантируют ему, вопреки осуждению утонченных и пресыщенных, любовь массы, наполняющей театры и концертные залы на "Евгении Онегине" и на шестой симфонии.

Перейдем теперь к другому направлению, которое *себя* считало представляющим национальную традицию русской музыки, пошедшую от Глинки, и смотрело на профессоров и выучеников правильной школы как на вторгшуюся в эту традицию и порвавшую ее "немецию". С 1859 г. постоянными посетителями вечеров Даргомыжского и его личными друзьями становятся начинающие музыканты, не прошедшие, как и Серов, систематической школы и надолго закрепившие за собой репутацию "дилетантов". Тут было два новоиспеченных офицера, Кюи и Мусоргский, и только кончивший в университете Балакирев; несколько позже (в начале 60-х годов) к кружку присоединились воспитанник морского училища, потом морской офицер Римский-Корсаков и молодой профессор химии Бородин. Балакирев был между ними самый знающий и скоро стал признанным главой кружка, членов которого он поочередно ввел в таинства музыкальной техники. В талантах и рвении недостатка в кружке не было. Их молодой задор был еще усилен тем обстоятельством, что пионерам "русской школы" музыки пришлось очутиться в оппозиции тому господствующему положению, которое занял в мнении публики и журнальной критики музыкальный "космополитизм" консерваторских профессионалов. "Балакиревский кружок" не только не думал складывать оружия, но резво перешел в наступление, предводимый энтузиас-

тическим толкователем В.В. Стасовым. В том же году, когда открылась Санкт-Петербургская консерватория (1862), — и за год до известного нам бунта молодых художников против академии — молодые музыканты создали, в pendant к консерватории, свою "Бесплатную музыкальную школу". Концерты этой школы под управлением Балакирева сделались настоящей выставкой — только что не "передвижной" — произведений новой русской музыки. Реализм был выставлен главными девизом этой музыки. Мусоргский — яркая, характерная личность — повел его еще дальше Даргомыжского "бесстрашно, сквозь бурю, мели и подводные камни, к новым берегам", куда громко звала современная литература и живопись. Недаром Мусоргский так симпатизировал Гоголю и Некрасову; недаром также сравнивали его с Перовым по стремительности обличительного натиска, ниспровергавшего по пути все преграды, поставленные техникой искусства и условностью школьной традиции. "Художественное изображение *одной красоты*, в материальном ее значении", говорил он, есть "грубое ребячество, детский возраст искусства". "Не музыки нам надо, не слов, не палитры и резца — нет, черт бы вас побрал, лгунов, притворщиков e tutti quanti, — *мысли живые подайте, живую беседу с людьми ведите*". "Тончайшие черты природы человека и человеческих масс... никем не тронутые... назойливое ковыряньe в этих малоизведанных странах и завоевание их — вот настоящее признание художника". И, верный этому призванию, Мусоргский с небывалой смелостью заставляет музыку говорить и рисовать, негодовать, страдать и смеяться; его перо не останавливается ни перед изображением мужиков и баб в деревне, ни перед ухаживанием юродивого, ни перед скорбной мольбой нищей сироты; он живописует звуками одинаково ярко и ребячью психологию в детской, и картины приятеля на выставке; он даже рисует музыкальные карикатуры — на девушку, испуганную козлом, но не испугавшуюся старого мужа, на семинариста, зубрящего "исключения на is" среди воспоминаний о поповской дочке; то шутливая, то насмешливая, его музыкальная сатира возвышается до злого, бичующего сарказма в его музыкальных памфлетах против современных ему представителей музыкальной казенщины. До такой рискованной близости к "правде" никто даже из собственной "кучки" доходить не решался: Кюи впоследствии осудил ее как нарушившую законы и пределы искусства, а Римский-Корсаков постарался (в своей переделке "Бориса Годунова" в 1896 г.) набросить покрывало на самые непримиримые музыкальные дерзости Мусоргского[3].

---

[3] Римский-Корсаков так определил значение "Бориса Годунова" в предисловии к своей переинструментовке: "Высокая талантливость сочинителя, проникновение народным духом и духом исторической эпохи, живость сцен и очертания характеров, жизненная правда в драматизме и коллизии и ярко схваченная

Две бессмертные оперы Мусоргского "Борис Годунов" и "Хованщина" представляют талант композитора в полном расцвете и вместе свидетельствуют о его верности раз выбранному направлению. Ссылка на "пионерство" Репина сделана им не напрасно: он, очевидно, сознательно остановился на задачах, аналогичных с эпопеями на полотнах Репина (к ним он мог бы прибавить и полотна Сурикова, если бы дожил до их появления). Обе выбранные Мусоргским исторические темы дали возможность нарисовать широкие картины русского прошлого в два замечательных момента истории России. Музыка при этом должна была служить только частью изображения — рамкой, в которую должно было быть вставлено вполне реальное содержание. Задолго до мейнигенцев и до Художественного театра, Мусоргский при помощи Стасова изучал во всех подробностях реальную обстановку избранной эпохи, желая восстановить по первоисточникам события и быт начала XVII и начала XVIII столетия. Над "Борисом" он работал пять с половиной лет (осень 1868 — весна 1874). Работа над "Хованщиной" началась в 1872 г. и с перерывами, не прекращалась до самой смерти Мусоргского (16 июня 1881 г. М. умер в возрасте всего 42 лет). Карамзин и Пушкин дали, правда, композитору готовую канву. Но и по отношению к таким источникам Мусоргский не остался пассивным. Нет надобности говорить об исключительном даре музыкальной характеристики, при помощи которой композитор раскрывает перед слушателями душу своих героев (его *реализм*, конечно, не сводится к *натурализму*). Римский-Корсаков уже заметил по этому поводу, что Мусоргский не нуждается в лейтмотивах, чтобы прилепить, так сказать, этикетику герою и этим удовлетвориться. Он рисует живого человека со всем разнообразием его душевных переживаний. Не менее характерно то, чем Мусоргский обогатил готовый сюжет *вне* области своей собственной специальности. Здесь прежде всего бросается в глаза живое восстановление бытовой и социальной среды, в которой развертывается на сцене хроника Пушкина. Что касается быта, трудно перечислить все те подлинные черты, которые Мусоргский заимствовал непосредственно из собранных им исторических материалов. Но особенно характерна широкая трактовка народных сцен, вполне самостоятельно вставленных Мусорг-

---

бытовая сторона, при своеобразности музыкальных замыслов и приемов, вызывала удивление и восхищение одной части (публики). Непрактичные трудности, обрывочность мелодических фраз, неудобства голосовых партий, жесткость гармонии и модуляций, погрешности голосоведения, слабая инструментовка и слабая вообще техническая сторона произведения, напротив, вызывала бурю насмешек и порицаний, у другой части... **Эти самые недостатки некоторыми возводились чуть-ли не в достоинства и заслугу**"... Мы увидим, что новое поколение русских композиторов и критиков присоединилось к этим "некоторым", и в последнее время появилось новое издание "Бориса Годунова" в первоначальном виде, а переработка Римского-Корсакова подверглась резкому осуждению.

ским. Он недаром назвал обе свои оперы "народными драмами". В трактовке народной психологии Мусоргский проявил необыкновенную проницательность и художественный такт. При всем преклонении перед народом, которого требовала идеология 60-х и 70-х гг., Мусоргский вывел на сцену народные массы такими, какими они должны были быть в действительности, нисколько не идеализируя, но глубоко и сочувственно проникая в народную душу.

"Хованщина" представила Мусоргскому еще более простора для проявления тех же свойственных его таланту и времени черт. Столкновение двух культур, старой и новой, народной и петровской, глубокая трагедия этого конфликта, кончающегося потрясающей сценой самосожжения раскольников, — все это давало необозримый материал и для музыкальной характеристики, и для сцены. Промедление в написании оперы отчасти и произошло из-за невозможности вместить весь собранный материал в рамки сценического исполнения. Трудность заключалась и в том, что здесь не было главного героя: героем были разные социальные круги и народные массы. Сценический интерес двоился. И Мусоргский проявил большое художественное чутье, вплетя в эту пеструю ткань отношений между Хованским, Шакловитым, Голицыным, Досифеем душевную и сердечную трагедию раскольницы Марфы.

На долю автора от обоих замечательных произведений достались одни огорчения. "Борис" с трудом был принят после переделки на казенную сцену и вызвал, рядом с восторгами публики, неодобрение друзей и открыто недоброжелательную критику Кюи. Одни сердились на музыкальные "дерзости" "самомненного" автора, другие жаловались, что Россия изображена в чересчур мрачных красках. Те и другие, к негодованию автора, требовали от него "музыкальной красоты" — и, конечно, не находили ее. А свою "Хованщину" Мусоргский и вовсе не увидел на сцене и не услышал в оркестре. У него имелся только клавираусцуг и несколько оркестрованных сцен. Поняли Мусоргского долго спустя после его смерти — и его посмертную славу основали не на том (не совсем на том), в чем он видел свое главное призвание. "Реалист" Мусоргский оказался и тогда не ко двору. Но понятие о музыкальной "красоте" изменилось в том смысле, какого он желал. И чтобы окончательно примириться с покойником, из реалиста-психолога сделали какого-то мистика, опираясь на мрачные переживания последних лет Мусоргского, когда он думал, говорил и пел больше о смерти, чем о жизни, которую так любил и к которой всей душою тянулся. Мы еще вернемся к Мусоргскому в связи с его посмертным воскрешением.

Другим членам кружка, менее беспорядочным и богемным, чем творец "Бориса" и "Хованщины", но и не одаренным таким крупным индивидуальным талантом, удалось все же оставить

след в истории русской музыки. Не будем останавливаться на теоретике группы Балакиреве, и на музыкальном критике "кучки", Цезаре Кюи — проповеднике программного течения в музыке и декламационного в опере, удачливом авторе изящных романсов и менее счастливом композиторе восьми забытых опер. Гораздо крупнее роль А.П. Бородина, одинаково сильного в симфонической и камерной музыке, как и в оперной музыке. Его знаменитую оперу "Князь Игорь" тоже пришлось оканчивать, после его скоропостижной смерти в 1887 г., Римскому-Корсакову в сотрудничестве с А.К. Глазуновым. По реализму народных сцен и речитативному элементу "Князь Игорь" близок к заветам "кучки". Но Бородин уже не избегал арий, протестовал против "чисто речитативного стиля", предпочитал более округлые формы, выдвигал голос перед оркестром и сам подчеркивал, что приближается к "Руслану". Восточный элемент его музыки у него общий со многими русскими композиторами: выдвижение этого элемента даже произвело за границей неправильное впечатление, будто именно *восточные* мелодии и гармонии и являются особенностью *русской* музыки. Надо отметить, наконец, что критики находили у Бородина общую черту с Глинкой в *объективности* его музыки, то есть умении воздерживаться от передачи собственных настроений действующим лицам, что дало ему возможность придать им больше рельефности и индивидуальности. Нет недостатка и в других параллелях между "Игорем" и "Русланом".

Самым долговечным и плодовитым из членов кружка оказался Н.А. Римский-Корсаков. Естественно, что на нем более всего отразилось дальнейшее развитие русской музыки. В нем он сам деятельно участвовал, подготовив таким образом, в лице своих учеников, появление следующего замечательного поколения даровитых русских композиторов. Вероятно, не случайно народный элемент в творчестве Римского-Корсакова оказывается связанным со стариной того края, в котором он родился (гор. Тихвин, Новгор. губ.). Подобно другим членам "кучки", в которую он вступил в 1861 г. четвертым членом (перед Бородиным), Римский — Корсаков долго оставался самоучкой. Очень скоро, однако, он перегнал других товарищей, написав симфонию (1865) — первую русскую симфонию, имевшую большой успех у публики в концерте "Бесплатной музыкальной школы". За симфонией с необычайно быстротой последовали сразу такие крупные вещи, как музыкальная картина "Садко" (1866), вторая симфония "Антар" (1868) и, наконец, целая опера "Псковитянка" (1868-71). Работоспособность — не только среди членов "кучки", писавших музыку не торопясь, между делом, — у Римского-Корсакова была совершенно исключительная. Но еще удивительнее было то, что молодой композитор не удовлетворялся достигнутыми успехами, а постоянно шел дальше. Он быстро перерос "кучку", и тотчас после окончания "Псковитян-

ки" с ним произошел переворот, имевший значение для всей дальнейшей истории русской музыки. А.К. Глазунов описывает этот переворот такими словами: "В то время существовало печальное заблуждение, что свободному художнику не для чего учиться. Н.А. не разделял этого взгляда. Когда он писал "Псковитянку", он жаловался мне, что у него "связаны руки", что он хочет сделать больше, чем может. Это его страшно тяготило, и он решил ознакомиться с техническими приемами композиции. Это побудило его заняться тщательными изучением гармонии, контрапункта и фуги" — тем более что он был приглашен (1871) занять в консерватории кафедру практического сочинения музыки и инструментовки. Чайковский пришел в умиление, когда Римский-Корсаков послал ему (1875) некоторые плоды своих упражнений в этих "музыкальных хитростях", и боялся только, как бы неофит техники не перегнул точку в другую сторону — в направлении "сухого педантизма". И действительно, третья симфония (1873) грешила преобладанием техники, как и некоторые другие произведения того времени. Но тогда же изданы были Римским-Корсаковым сборники народных песен, приблизившие его к национальному источнику русской музыки. Свои прежние произведения он подверг теперь пересмотру, приложил также свои знания к обработке неоконченных вещей Даргомыжского, Бородина, Мусоргского и с обновленными силами принялся за новое творчество. "Майская ночь" (1878) и особенно "Снегурочка" (1880), написанная в несколько месяцев, дали миру новых достижений композитора и ознаменовали его поворот в сторону народного песенного культа. "Стыдно признаться, завидовал",- писал теперь о "Снегурочке" Чайковский. К этому же времени относится и последние, самые совершенные симфонические произведения Римского-Корсакова, "Испанское каприччо", "Шехерезада" и "Светлый праздник". Последняя вещь связана с новым положением (с 1883 г.) Римского-Корсакова как помощника управляющего Придворной певческой капеллой. Эта должность натолкнула композитора на изучение православного церковного пения и послужила подготовкой к несравненному "Китежу".

Невозможно и нет надобности для целей "Очерков" следить за подробностями дальнейшего творчества Римского-Корсакова после того, как его музыкальный облик окончательно сложился. Отметим лишь главные черты, характеризующие это творчество в период полной зрелости. Тут прежде всего напрашивается часто употреблявшееся сравнение Римского-Корсакова с Вагнером. Начиная с "Снегурочки", Римский-Корсаков все более и более прибегает к лейтмотиву для характеристики своих персонажей. Подобно Вагнеру, он сосредоточивается почти исключительно на сюжетах, взятых из народного творчества и относящихся к сказочному прошлому, когда действительность и вымысел сливались в анимистическом представлении о природе

и слово и песнь составляли одно целое[4]. Чем далее, тем более, наконец, Римский-Корсаков отказывается от округлых форм старой оперы, от кантилены, арии, от разделения действия на отдельные номера и ансамбли и переходит к вагнеровскому непрерывному действию, где развивающиеся события и настроения рисует оркестр, а певцу остается речитатив. С чисто музыкальной стороны необходимо отметить все более широкое пользование красками оркестра, поражающий блеск усложненной инструментовки, вакханалия звуков, не считающихся со старыми школьными законами и т.д. Именно эта черта дала Римскому-Корсакову громкую популярность за границей.

При отмеченных чертах сходства с Вагнером существуют, разумеется, и различия, не менее характерные для *русского* автора. Речитатив Корсакова с его непрерывным оркестровым истолкованием все же не составляет основной ткани музыкального построения, и лейтмотивы не становятся поэтому органической частью текстуры. Но, главное, русский фольклор, песня, былина, духовный стих, народная легенда и сказка не поднимаются на высоту философского обобщения, не претендуют объяснять историю мира и человечества. Эти элементы остаются наивным фольклором в такой степени, что наши декораторы поддаются соблазну иллюстрировать их таким же наивными лубком. Вот почему вместо высоких вдохновений, лирического экстаза, глубоких драматических коллизий тема сказки, как в "Царе Салтане" или "Золотом петушке", разрабатывается в духе сатиры, почти карикатуры, — самое большее художественной миниатюры. Трагедия Снегурочки или приключения Садко трогают зрителя, но оставляют его мыслительный аппарат в бездействии. Мы увидим, что эти черты как раз совпали с требованиями изменившегося вкуса. Следующее поколение выступило с отрицанием Вагнера, между прочим за тесную связь его музыки с идейным содержанием "драмы". Поменьше идей и философии, шутливое отношение к теме, выбор этой темы подальше от реальности — таковы были новые требования. Вместе с некоторыми гармоническими нововведениями, от которых Корсаков не отказывался, идя наравне с веком, эта черта и помогла Корсакову сохранить связь с новым поколением и создать школу, независимую от отошедшей в историю "кучки".

Надо, однако, прибавить, что в музыкальном творчестве Корсакова есть одно исключение. Он написал, помимо своих

---

[4] В "Летописи моей жизни" Р.К. находим следующее любопытное признание, относящееся к 1875-76 гг.: "Прочитав Сахарова, Терещенку, Шейна, Афанасьева, я увлекся поэтической стороной культа поклонения солнцу (теория солнечного происхождения миров потом отрицалась. - *П.Милюков*) и искал его остатков и отзвуков в мелодиях и текстах песен. Картины древнего языческого времени и духа его представлялись мне, как тогда казалось, с большой ясностью и манили прелестью старины. Эти занятия оказали впоследствии огромное влияние на направление моей композиторской деятельности".

шутливых и сказочных опер, "Сказание о граде Китеже". Это произведение, уходя всеми корнями в народное предание, подходит к народной психике с другой, духовно-религиозной стороны и создает у слушателей глубокое настроение, напоминающее "Парсифаля". Но даже и это настроение чуждо страдания и мистики Вагнера. В своих фантастических и сказочных вещах Римский-Корсаков, во всяком случае, остается жизнерадостным реалистом-шестидесятником, и едва слушатель поверит в слияние мира действительного с воображенными в его произведениях, как Римский-Корсаков спешит обратить тайну этого слияния в артистическую шутку.

После всего сказанного неудивительно, что в музыке конца XIX в. мы не можем провести такой резкой грани между поколениями, какие представляют манифест Мережковского в литературе и появление "Мира искусства" в изобразительных искусствах. "Дети" здесь слишком связаны выучкой у "отцов", чтобы сразу восстать против них не только идейно, но и тактически. Вспомним обстановку: в промежутке 1882-92 гг. на оперной сцене безраздельно царил Чайковский. После его смерти наследство перешло к Римскому-Корсакову, помирившему бунтовщиков "кучки" с консерваторами и, так сказать, консервативировавшему самые выдающиеся их произведения. А по смерти Римского-Корсакова (1908) скипетр в консерватории и в музыкальном мире перешел к А.К. Глазунову. Хотя он и стяжал себе впоследствии репутацию последнего русского "академиста", но молодежь конца века видела в нем "классика", сторонника "чистой" музыки, протестовавшего против романтического смешения родов и обратившегося к музыке инструментальной. Таким образом, благодаря силе, блеску, глубине и плодовитости Римского-Корсакова и композиторскому таланту Глазунова, бунт запоздал на десяток-другой лет. Вместо того чтобы проявиться сразу в целой школе, вроде "кучки", он обнаружился прежде всего в индивидуальных явлениях.

Таким индивидуальным явлением, бунтовщиком-одиночкой, был и остался А.Н. Скрябин. В нем мы уже наблюдаем тесную связь с психологией и идеологией эстетов начала XX в., но по отношению к настоящей "новой музыке" XX в. его новаторство является таким же неподлинным, несколько искусственным, как новаторство Рихарда Штрауса по отношению к Вагнеру. Близко знавший Скрябина критик Сабанеев характеризует его, как уже с юных лет "изнеженного, женственного, с обостренным нервным тоном, экзальтированного, рано склонного к мысли над роковыми вопросами мироздания, в то же время чрезвычайно самонадеянного, верящего в себя, убежденного в какой-то грандиозной своей "миссии", с рано развившейся чувствительностью, нервной, утонченной: эротические переживания ему были знакомы с детства, определив на всю жизнь его повышенный чувственный тон". Выйдя из четвертого класса во-

енного корпуса, Скрябин остался без достаточного образования. На почве крайнего несоответствия между планетарными порывами и бессилием не только удовлетворить их, но даже и выразить между чрезмерной развитостью эмоциональной стороны и неразвитостью интеллектуальной, развивается все его музыкальное творчество, свидетельствующее о большой силе художника и крайней наивности мыслителя. Его записи содержат длинный ряд попыток формулировать ускользающую от него философскую мысль о себе самом как центре творения, об иллюзорности внешнего мира, исчерпывающегося его личным сознанием и волей, о развертывающейся из этого личного центра космогонии, упраздняющей Бога, и завершающейся сознательным творчеством гения. На высоте творения мира отдается ему, "как женщина", и сгорает в этом "экстазе" последним пожаром. Он — Бог, он — Мессия. "Весь мир затопит волна моего бытия. Я буду рождаться в Вашем сознании желанием безумным блаженства безмерного". "Что будет, что будет! Я всю дорогу в экстазе! Наконец я нашел себя. Какие взгляды, какая сила выражения! Какое сочетание стальной логики и тонкого чувства!" Таковы суждения о самом себе и о своей задаче. В порывах экстаза эти мысли превращаются в плохие стихи, которые имеют слабость одобрять его друзья-символисты, Бальмонт, Вяч. Иванов, Балтрушайтис. Философствующие друзья поощряют также и его идею "Мистерии" — особого и окончательного творческого акта, в котором не будет зрителей, а только исполнители, для которого будет построено особое здание и к которому надо подготовиться каким-то предварительным посвящением где-то в Индии, куда направила воображение Скрябина теософка Блаватская — одна из главных его авторитетов. "Мистерии" Скрябин не успел написать (ум. 1915), но "Прометей", "Божественная поэма", "Экстаз", третья симфония составляют приближение к ней, а в 7-й и 9-й сонатах он празднует свою "белую" и "черную мессу". Конечно, эти и другие произведения Скрябина имеют музыкальную ценность, независимо от патологии эротического наркоза и философских блужданий. Но и в музыке Скрябина Сабанеев отмечает несоответствие между "миниатюрностью" огромного большинства его сочинений, 216 из 222", — фортепьянных, где он достигает высокого совершенства, — и его больших оркестровых вещей, где количество звуков заменяет качество, их массовость заменяет сложность, музыка превращается в "магические заклинательные формулы", а "звуковые ласки" — в средство "приведения психики в экстатическое состояние, путем непосредственного действия на психофизиологическую сферу".

На этом пути, после Вагнера на Западе и Римского-Корсакова в России, можно было дать только блестящую подделку под новизну. Этим, столько же, как и планетарностью заданий, объясняется, почему, при всем своем бесспорном таланте, при

несомненной новизне и оригинальности своих гармонических исканий ("синтетический" семитонный аккорд, построенный на последовательных квартах) Скрябин попал с своим творчеством в тупик, не получив признания вне России и остался вне той большой дороги, по которой пошло дальнейшее развитие музыки в XX веке. Роль глашатаев новой музыки он должен был уступить представителям более молодых поколений (Скрябин родился в 1871 г., Стравинский в 1882-м, Прокофьев в 1891-м).

Но тут мы опять подходим к моменту, когда, как и в живописи, русское искусство становится космополитическим, — не теряя, впрочем, своего национального характера. Улавливая новейшие западные течения, оно не только подражает им, но делает смелую попытку их опередить — и действительно, на время становится источником западных подражаний. Вот почему и здесь, как в области живописи, мы снова должны сделать экскурсию в область развития западной музыки в ее последней стадии.

Кто-то изобрел для характеристики этой последней стадии злое, но довольно меткое выражение: "раздевание музыки". Несомненно, что основная черта музыки XX в. есть разложение музыкальной техники на ее составные части и доведение каждого из выделенных таким образом элементов до его крайнего выражения. Речь идет, конечно, прежде всего, об основных элементах музыкальной фактуры: ритм, мелодии и гармонии. В истории музыки каждый из этих элементов имел свой период развития; вместе взятые, эти периоды представляют многовековой процесс "одевания" музыки, предшествовавший кратковременному процессу ее "раздевания". Для понимания этого последнего необходимо остановиться на главных моментах предыдущего процесса.

Ритм, мелодия и гармония развиваются в этом процессе в том самом порядке, как мы их переименовали. Начало музыки уходит далеко в глубь доисторического периода; но кажется, можно предположить, что простейшим выражением музыки, не требовавшим даже существования музыкальных инструментов, являются звуки (или точнее, шумы), производимые разными частями тела (руками и ногами), при сопровождении религиозного или военного танца. И первыми музыкальными инструментами являются простейшие ударные, предназначенные для того же сопровождения и подчеркивающие ритм телодвижений. Несомненным пережитком этого древнейшего периода является привычка сопровождать танец ударами в ладоши или в кастаньеты, сохранившаяся во внеевропейских странах и на юге Европы. Большая часть ударных инструментов, употребляемых в современном оркестре и издающих звук неопределенной высоты (шум), ведут свое происхождение от примитивных внеевропейских народов. Известно, какое большое значение имеют ударные инструменты этого типа и резкий ритм, ими создаваемый,

в негрском оркестре ("джаз"), специально предназначенном для сопровождения негрских танцев, перенесенных в Европу (кекуок, чарльстон, шимми и т.д.). Во всех этих случаях элемент ритма выдвигается в музыке на первый план. Мы увидим, как к этому примитивному ритму вернулась новейшая музыка в последней стадии своего "развития".

Значительно позже ритма получает свое законное место в музыке мелодия, справедливо называемая "душою музыки". Появляясь самостоятельно и независимо от ритма — как выражение душевных движений голосовыми средствами, — мелодия и по сие время во внеевропейских странах не подчиняется ритму и не рубится на условные части, представляя бесконечно тянущуюся линию монотонного звука, прерываемого лишь затейливыми руладами певца. Не подчиняется такая мелодия и закону нашей прерывистой скалы тонов; она пользуется не употребляющимися в культурной музыке частями целого тона нашей гаммы (отчего и получается впечатление завывания — то есть непрерывного глиссандо). Потому она и не поддается гармонизации. Вообще, древняя мелодия не знает гармонии. Еще у греков и римлян, как и в начале средних веков, мелодия одноголосна и сопровождается инструментом лишь в унисон или в октаву.

Постепенное развитие гармонии составляет сущность третьего, самого знаменательного периода в истории музыки. Проходит этот период уже целиком на глазах писаной истории и заканчивается (мы увидим как) лишь в наше время. Развитие гармонии есть, по необходимости, позднее явление, ибо ему должно было предшествовать, прежде всего, установление той или другой определенной системы тонов (пяти-, семи-, двенадцатитонной, церковной, диатонической). Надо было затем найти эмпирическим путем натуральные отношения между тонами, которые лишь в середине XIX в. были открыты и подтверждены исследованиями Гельмгольца. Было необходимо, далее, установление системы музыкальных инструментов. Эти последние задачи разрешались, как увидим, так медленно, что развитие гармонии определило их плоды. Первые гармонические формы (так наз. контрапункт — punctum contra punctum) установились в сфере применения человеческого голоса к церковной службе. Это не была гармония в позднейшем смысле, как искусство построения и сочетания аккордов, а лишь необходимое последствие участия в пении второго, третьего и т.д. голоса. При этом соединении голосов мелодии каждого голоса не теряли самостоятельности. Но для сочетания каждой мелодии с остальными надо было установить их взаимную связь — точка против точки, то есть звук против звука. При этом сама собой являлась необходимость избежать явных диссонансов, которыми тогда считались не только секунда и септима нашей гаммы, но и терция — и даже кварта, так что для согласования остава-

лись только наиболее натуральные интервалы квинты и октавы (если не считать унисона). В практике многоголосного (полифонного) пения мало-помалу и установились те аксиомы "контрапункта", которые были потом перенесены на инструментальную музыку (сжимающееся к верхним нотам расположение голосов, с запрещением слишком далеко отодвигать нижние голоса от верхних; отрицание параллельного движения голосов всех вверх или вниз, с безусловным запрещением параллельного движения квинт и октав; запрещение перекрещивания голосов и слишком быстрых скачков мелодии вверх или вниз и т.д.). Необходимость соблюдать строгую одновременность в движении голосов повела также ко введению "мензуры", то есть к разделению мелодии на такты. Вместе с этим появилась первая возможность ввести свободную мелодию народной песни в рамки античного ритма, разделить ее на полуфразы, фразы и периоды (2 — 4 — 8 тактов). Наконец, распределение голосов, каждого в своей "позиции", привело к выявлению и закреплению четырех типов человеческого голоса. Два из них — мужские: бас ("базис", основа) и тенор ("держащий" основную, старую церковную григорианскую мелодию, cantus firmus). Два другие, в противоположность "канту", твердому ходу среднего голоса, исполняют "дискант" — вольные фигурации певца в верхних тонах, превратившиеся мало-помалу в главную мелодию, распределенную между двумя регистрами женского голоса, альтом и сопрано. Эти же четыре типа при дальнейшем развитии инструментальной музыки — уже не как подсобной только при пении, а как самостоятельной, — послужили первообразами, к которым тяготели и на которых в конце концов остановились и четыре основных типа музыкальных инструментов.

История развития этих типов заканчивается уже после того, как период многоголосного стиля ("полифонного") исчерпал все свои возможности и пришел к естественному концу. Напомним, что зарождение полифонного стиля относится к XIII-XIV вв., а расцвет его — к XV и XVI вв. (его наиболее совершенные представители, Орландо Лассо и Палестрина, умерли в одном и том же году, 1594-м). Основным музыкальным инструментом для сопровождения церковного хора оставался орган на всем протяжении этих веков и характер этого инструмента вполне соответствовал характеру полифонного стиля. Орган давал чистую и протяжную ноту, близкую к голосу; равномерность тембра помогала сплетению нескольких самостоятельных голосов, двигавшихся *горизонтально*, в одну цельную ткань, не выдвигая вперед ни одного из них. При этом мелодия лишалась той выразительности, которую она имела в одноголосной народной песне — и которую она вернула себе впоследствии, — но в то же время получившиеся звуковые сочетания не развертывались и в разработанную систему аккордов, построенных *вертикально*. Этот ограниченный характер полифонии, ее связанность

строгими правилами контрапункта и привела к тому, что искусство ведения все более многочисленных голосов в конце концов стало ученой игрушкой в руках специалистов и могло больше интересовать глаз, чем слух. Такое отдаление от жизни в веке, когда уже слагались на родине Петрарки и Боккаччо основы светской песни и восстановлялась в той же Флоренции мелодия классической драмы (будущая опера), и привело около 1600 г. к протесту против контрапунктических хитросплетений во имя "nuove musiche", свободной, выражающей чувство мелодии. Только затем, при условии дальнейшего усовершенствования музыкальных инструментов, мог наступить, наконец, период развития *гармонии*. Монотонный по тембру орган должен был уступить место сочетанию инструментов разных тембров, объединенных в оркестре. Начиналась последняя стадия "одевания" музыки, открывавшая, казалось, безграничные перспективы.

Однако же тут понадобился еще подготовительный период, длившийся около полутораста лет (до 1750), прежде чем, наконец, наступил в истории музыки расцвет *классического* периода. Музыкальные инструменты все еще не приобрели окончательной формы. Смычковые струнные инструменты, последние по времени развития в истории инструментов, еще не были сведены к теперешнему квартету, которому суждено было лечь в основу современного оркестра. Имелось целых семь видов "ручной виолы" (viola da braccio), предшественницы скрипки и альта, и шесть разновидностей "ножной виолы" (viola da gamba), предшественницы виолончели и контрабаса. Еще менее закончены были формы духовых — деревянных и металлических — инструментов, более древних по происхождению, но совершенствовавших свои формы до самого последнего времени. Флейта имелась в начале XVII в. в восьми вариантах. Кларнет был только в конце XVII в. преобразован из старого chalumeau. В начале XVII в. имелось шесть вариантов этой обширной семьи (Schalmei, Bombarde), из них потом выделены были параллельно трем струнным инструментам квартета гобой, английский рожок (cor anglé, то есть согнутый под углом) и фагот. На таком несовершенном и текучем материале строился в XVII в. первый состав оркестра. Монтеверде (1567-1643) первый установил в нем первенство струнного квартета, отобрав из состава виол четыре типа, соответствующие позднейшим, и установив должную пропорцию духовых — деревянных и медных. Скарлатти (1659-1725) научился делать из каждого струнного инструмента индивидуальное употребление и тем усилил самостоятельную роль инструментального элемента в оркестре, которому до тех пор придавали лишь роль аккомпаниатора к арии и речитативу.

Классический период начинается с Баха, Генделя и Глюка и достигает своего завершения в Гайдне, Моцарте и Бетховене.

Для нашей цели нет нужды останавливаться на нем подробно. Но для понимания всего дальнейшего необходимо выяснить его общее значение в историческом процессе "одевания" музыки. С этой точки зрения Бах (1685-1750), как ни велико его значение для нашего времени, представляется для своей эпохи лишь в роли мало замеченного и не повлиявшего на ближайших преемников завершителя стиля полифонической эпохи. Гендель (1685-1759), в противоположность Баху, был более доступен для современников, но гораздо менее глубок и оригинален. Самый младший из трех, Глюк (1711-1787), впервые сумел использовать колорит оркестровых инструментов для усиления пафоса драматических положений и характеров, заимствованных из античной трагедии. Но никакого переворота и он не совершил. Этот переворот суждено было совершить трем гигантам музыки, чьи имена названы во второй серии. И сразу нужно сказать, что как ни велик был их вклад в развитие гармонии, за которым мы следим, следуя нашей общей схеме, — но не в этом одном заключается их право на звание классиков музыки всех времен и народов. Им посчастливилось жить и действовать в тот период истории музыки, когда все основные элементы ее достаточно созрели для творческого использования. И их классицизм состоял в несравненном искусстве, развивая дальше все эти элементы, соблюсти истинно-классическое равновесие между ними — и остаться при этом в рамках "чистой музыки", то есть достигнуть своих целей чисто музыкальными средствами. Из троих, стоящих на этой недосягаемой высоте, средний, Моцарт (1756 -91) занимает вершину вершин. Сравнительно с ним Гайдн (1732- 1809) составляет переход от прошлого, а Бетховен (1770-1827) — переход к будущему. При этом все они связаны сознанием единства того дела, которое они делают, и пониманием того места, которое занимают в истории музыки. "Он — отец, а мы — ребята", говорит Моцарт про непосредственного их предшественника Ф. Эммануила Баха (сына Себастьяна), — первого, который сказал: "Мне кажется, что музыка должна трогать сердца". А про Гайдна Моцарт говорил: "Никто, кроме него, не умел так хорошо заставить и смеяться, и глубоко чувствовать". И если Бетховен на смертном одре говорил про Гайдна: "Посмотри, милый Гуммель, на жалкую хижину, в которой родился великий человек", то и Гайдн в 1805 г. выразился о Бетховене, которого называл в шутку Великим Моголом: "Его искусство безгранично, и то, что еще может случиться в музыке, гораздо больше того, что уже произошло".

В противоположность периоду полифонного стиля обыкновенно называют наступивший за ним период неудачным названием "гомофонного". Этим желают подчеркнуть, что тут выдвинута вперед одна главная мелодия, а остальные голоса превращаются из самостоятельных — и взаимно ограничивающих — в аккомпанемент. Действительно, именно это выдвижение мело-

дии и делает музыку классического периода способной выразить все оттенки человеческого чувства, начиная с здорового юмора молодого Гайдна и кончая трагической мрачностью стареющего Бетховена. Но это только одна сторона сложного явления. Гельмгольц дал периоду, последовавшему за полифонным, более глубокое определение, отнеся "гомофонию" (что, собственно, означает унисонную мелодию) к античному и средневековому (дополифонному) периоду господства одной мелодии, а этот третий период назвав более удачно "гармоническим". Это совпадает и с развиваемой здесь схемой. Но тут надо сделать одну оговорку. Гармоническим может быть назван весь период после 1750 г., вплоть до начала новейшей музыки XX в. Но для классического периода, отдельно взятого, характерной чертой является не столько развитие гармонии самой по себе, как ни велики ее достижения в этот период, сколько именно слияние мелодии, гармонии — прибавим сюда и ритм — в единое органическое целое. Другой характерной стороной его, стоящей в тесной связи с первой, надо признать создание свойственной классицизму формы. Эта форма представляет расчлененный на части, но в то же время единый организм музыкальной пьесы. Эта *организованная* форма, симметрически построенная, прекрасно отвечает своей цели: выражать *смену* настроений, радостных и печальных, бодрых и унылых, переливающегося через край веселья и углубленного созерцания. Это то, что известно под названием *сонатной* формы с ее вступительным прозрачным и ясным аллегро, игривым менуэтом, задумчивым анданте или адажио и бурным финалом. Сонатная форма распространена была с сольного инструмента на инструментальный квартет (трио, квинтет и т.д.) заменив прежние, менее тесно связанные формы (divertimento, вытеснивший в свою очередь более древнюю "партиту" и "сюиту"). Свое высшее приложение она наконец нашла в симфонии. Классики отнюдь не изобрели отдельных частей этого высшего выражения инструментальной музыки. Но они связали их в одно целое и вложили в них определенное содержание. Они также немного изменили в сложившемся к их времени оркестре. Начавши с использования простого состава его — расширенного квартета струнных с присоединением — попарно — квартета духовых, они затем имели возможность воспользоваться усложненным составом и новыми красками знаменитого Мангеймского оркестра рано умершего Штамица. О составе этого образцового оркестра XVIII в. пишет сам Моцарт отцу в 1777 г. из Мангейма: "Оркестр очень хорош и силен, на каждой стороне 10-11 скрипок, 4 альта, 4 виолончели, 2 гобоя, 2 флейты, 2 кларнета, 4 фагота, 4 контрабаса, трубы и барабаны". А о впечатлении от игры этого оркестра свидетельствует посетивший его английский музыкальный критик Берней: "Здесь — родина крещендо и диминуэндо; здесь заметили, что пиано, раньше употреблявшееся и воспринимавше-

еся, как эхо, дает так же, как и форте, такие же краски в музыке, как красное и синее в живописи". Действие этой новой оркестровой динамики на слушателя ярко изображает другой свидетель, немецкий музыкант и поэт Шубарт: "Форте этого оркестра — гром, его крещендо — водопад, его диминуэндо — кристальная речка, плещущая вдали , его пиано — дыхание весны".

Конечно, гармония получила, при применении такого оркестра, новые ресурсы. Но все же термин "гармонической" эпохи получает все свое значение только относительно периода, последовавшего за классическим. Только в нем гармония начала развиваться односторонне, за счет мелодии. Конечно, уже с тех пор, как мелодия разорвала оковы контрапункта и заговорила языком человеческого чувства, плотная ткань линейного письма распалась и каждая музыкальная фраза, каждый отдельный тон ее допускал отдельное гармоническое сопровождение, способное подчеркнуть и углубить желаемое настроение. Но и переросши контрапункт, и Гайдн и Моцарт все же оставались его мастерами, а про Баха Бетховен выражался, что он "не ручей (Bach), а море". С созданием циклической формы сонаты контрапункт не исчез, а получил новое применение. Тягучая мелодия полифонического стиля заменилась коротким "мотивом". Мотив послужил "темой" для органической разработки. Разработка двух или трех контрастирующих тем и составляет тот "язык", которым внятно заговорила классическая музыка. Сопоставление или сплетение тем сделало возможным "разговор". Таким образом, создаваемое музыкой неопределенное "настроение" можно было сделать конкретнее, связав его с той или другой внемузыкальной *идеей*. Уже Эммануил Бах попробовал в одном струнном трио изобразить беседу сангвиника с меланхоликом. Гайдн в одной из ранних симфоний решился даже перевести на звуки разговор Бога с легкомысленным грешником. Одно свое дивертименто он назвал "влюбленным учителем". Посылая приятельнице свою новую сонату, он сообщал, что в ней он "много ей сказал и во многом покаялся". Моцарт прямо вернулся к опере, а про его инструментальную музыку не кто иной, как Вагнер, говорил: "Моцарт поднял до такой высоты способность инструментов выражать пение, что охватил всю глубину бесконечных сердечных стремлений". С технической стороны это достигается именно разделением бесконечной мелодии полифонистов на отдельные фразы и ее разработкой при помощи того же полифонического искусства. Эта разработка темы и давала то органически связанное целое, которое составляет циклическую форму классической сонаты — квартета-симфонии. Вечно юная красота творений Моцарта есть плод сочетания, при этой разработке, неистощимой мелодической изобретательности с огромным чувством меры в применении гармонии. Для полной прозрачности гармонической ткани ему еще не бы-

ло нужды спускаться в неизведанные глубины гармонии. Она хранила свои тайны для будущего.

Музыка Бетховена стучится в это будущее. И он еще не взрывает классической формы и не отступает от классической ясности. Но его гармония — богаче, его модуляция — свободнее, его ритмы разнообразнее, его сопоставления тональностей — смелее. И весь тон его серьезнее, значительнее, величественнее. Это потому, что глубже и его идейное содержание. От беззаветного веселья маленького немецкого кабачка, которое так и пенится в финалах и менуэтах Гайдна, от тонкой чувственной грации двора, которую отразила изящная музыка Моцарта, Бетховен выводит нас на мировую арену. Как современник Канта и Фихте, французской революции и европейских освободительных войн, он ставит в музыке этическую проблему человеческой свободы в ее борьбе с стихией судьбы. Бетховен глубоко религиозен, но его религия — рационалистична и человечна. Он возвращает обмирщившуюся музыку к ее высоким задачам. Он хочет, чтобы музыка говорила языком человечества. Но этот язык должен все-таки оставаться языком музыки, не переходя в программу, как это будет впоследствии. Новых средств выражения Бетховен ищет в чисто музыкальной области, усиливая для последних своих симфоний оркестр, искусно пользуясь тембрами каждого отдельного инструмента, шире утилизируя диссонансы. Его провидение в будущее так велико, что даже глашатаи музыки XX в., ставшие, как увидим, в оппозицию к открываемому Бетховеном новому периоду, в нем же видят своего предшественника, имея в виду его три последние B-дурные фуги для струнного квартета, для missa solemnis и для рояля ор.106.

Обыкновенно период, открываемый Бетховеном второй поры его деятельности и следующий за классическим, называют *романтическим*. Как и по отношению к живописи, это название нельзя считать удачным, потому что оно слишком многозначно. Неприложимость его видна уже из того, что приходится признать романтическим в музыке весь XIX в., хотя в течение его совершилось немало существенных перемен. Для означения этих перемен приходится вводить подразделения: собственный романтизм, романтизм классический, неоромантизм. В действительности термин "романтизм" по отношению к музыке введен в литературный оборот только Шуманом. Его и можно считать настоящим романтиком в том смысле, в каком применение этого термина законно: в смысле поворота от мира действительности к миру воображения — от реальности к чувству. В известной степени сюда подойдет Брамс, у которого с Шуманом много общего. Рано умерший Шуберт (1797-1828) принадлежит еще классической эпохе, как творец "наивный", а не "сентиментальный", по терминологии Шиллера. Путаница тут произошла отчасти потому, что его лучшие симфонии долго оставались не-

известными. Вне романтизма стоит и вся программная музыка и вся музыка реалистического иллюзионизма.

Достаточно назвать в этой последней категории имена творцов современного сложного оркестра "тембров" — Берлиоза, Листа и Вагнера, чтобы найти настоящий центр тяжести, характерный для гармонической музыки XIX в. Весь этот последний отдел "гармонического" периода должен быть назван периодом преимущественного развития гармонии за счет мелодии, какие бы цели при этом ни преследовались: романтические, реалистические или иллюзионистические. Вновь открытый мир гармонии, несомненно, сообщил всему периоду характер известной односторонности: равновесие и ясность классического периода были здесь нарушены в пользу последнего по времени развития элемента музыки. Пользуясь сравнением с живописью, можно сказать, что и здесь пострадал рисунок и контур (мелодия и ритм) за счет "праздника красок". Краски дал оркестр, предоставивший в распоряжение композитора тембры разнообразных инструментов. В классическом периоде все эти тембры служили единому целому — разработке основной темы. Теперь оркестр поделился на группы, противопоставленные друг другу. Свобода от контрапункта облегчила наложение красок-аккордов. В выборе аккордов возобладало все большее разнообразие, а искать разнообразия можно было только в мире диссонансов. Неограниченные возможности, тут представившиеся, были использованы сполна. Известное оправдание для всего этого дали научные изыскания Гельмгольца — того же исследователя, на которого ссылались импрессионисты в живописи. Его открытие натуральных обертонов, сопровождающих каждый звук, собственно, должно бы было санкционировать те ограничения, которые были эмпирически введены в гармонию уже в период полифонии. Гельмгольц показал, что из ряда тонов, дающих слабый дополнительный звук при каждом основном тоне, ближайшие и наиболее слышные тона суть квинта второй октавы и терция третьей, то есть интервалы, и без того входившие в состав "совершенных" или "полусовершенных" аккордов, какими исключительно довольствовались полифонисты старых времен. Но дальше следовал за "гармоническими" обертонами в том же естественном порядке опасный интервал септимы; он является и естественным продолжением (третьей терцией) гармонического тризвучия (c-e-gh). Построенный на септиме аккорд уводил уже в далекие от основного тона (тоники) тональности. Этот предел был перейден довольно рано, но, перейдя его, гармония уже не знала дальнейших непреодолимых препятствий. Тот же Гельмгольц показал, что понятие диссонанса есть понятие относительное, зависящее от способности восприятия нашего слухового органа. Если в известное время наше ухо воспринимает, как консонансы, только октаву, квинту и кварту, а сочетание остальных интервалов производит болезненное ощущение, ка-

кое производит дребезжащий звук или мигающий свет, то с течением времени ухо привыкает и к терции, и к септиме, и к ноне, и к одиннадцатой, и к тринадцатой ступени от основного тона. Все соответствующие аккорды и появились в музыке XIX в., совершенно эмансипировавшись от сопровождения мелодии и заставив, напротив, ее служить себе. Мелодия оставалась уже тонкой, связующей ниткой, на которой висели тяжелые гроздья аккордов (вертикальное письмо). Место длинной, неорганизованной мелодии заняли, с одной стороны, короткий лейтмотив, с другой — свободный речитатив. Практика Вагнера лишь докончила то, что начато в этом направлении его предшественниками. Теперь не мелодия, а гармония должна была выражать настроения чувства, а элемент драмы должен был подчеркиваться употреблением человеческого голоса-инструмента, наиболее богатого обертонами. И "опера" превратилась в "музыкальную драму", с богатым идейным содержанием, которое никогда не могло бы быть выражено одной музыкой. Философские построения Бетховена развернулись в целый мир музыкальных символов. На первых порах эти новые ресурсы могли послужить фантастическим полетам романтизма. Но вновь найденные богатства выражения были таковы, что при их помощи можно было охватить любое содержание реального мира. Можно было даже фантастический мир, как это сделал Вагнер, представить в чертах реальности ("иллюзорно"). Музыка, таким образом, очень сближалась с литературой и могла пользоваться ее обильными ресурсами.

Казалось, теперь процесс "одевания" музыки достиг своей высшей точки. Все технические ресурсы музыки были найдены, применены и использованы. И однако, самое приближение к этому пределу достижений послужило уже началом обратного процесса. Мы видели, что высшее развитие гармонии совершилось за счет мелодии. Но именно мелодия и была организующим элементом музыкальной постройки. Гармония сама по себе не могла служить таким связующим и организующим цементом. Правда, с удалением мелодии на второй план построенное классиками здание не разрушилось сразу. Но очень скоро оно стало бесформенным. Постепенно стирались грани отчетливой циклической постройки. Соната стала сменяться возродившейся к жизни сюитой; симфония — симфонической поэмой. Вслед за внешними контурами архитектурной постройки стало терять очертание и внутреннее строение. Ритм стал намеренно сложным и неясным уже у Шумана. А Вагнеру, при его понимании "бесконечной мелодии", которая "может самым захватывающим образом изменить выражение при помощи одного только гармонического оборота", ритм часто стал и вовсе не нужен. "Смена гармонических оборотов" сделалась в руках Вагнера тем поистине чудодейственным средством, которое действовало на слушателя неотразимо, как бы гипнотизировало его в Тристане.

Но тут и начинается реакция. Уже Ницше, объявивший вначале этот элемент в искусстве Вагнера "дионисиевским", затем низводит его в "актерское". Пауль Беккер, сторонник "новой музыки" XX в. считает этот "наркотик", "опьяняющий напиток" высшим проявлением романтизма. Но он сам поправляет себя, восставая против "натуралистического" "обмана чувств", при помощи которого воображаемый мир Вагнера, этот суррогат религии и культа, выдается композитором за что-то реальное. Музыка должна остаться "игрой", и слушателю надо постоянно напоминать об этом. Иначе композитор неизбежно выйдет за пределы своего искусства.

Здесь мы наталкиваемся на ту же смену настроений, в конце XIX в., которую мы характеризовали выше по отношению к литературе и живописи. На первый раз сопоставление музыки с литературой и живописью может показаться искусственным. Музыка не имеет такой модели в природе или в человеческой фигуре, какую имеет живопись, и не имеет средств для членораздельного выражения чувства и мысли, какими обладает литература. По самому существу своему она развивает свои формы во времени, а не в пространстве, для уха, а не для глаза, и воображает душевные настроения — пусть даже лучше литературы, но звуками, а не словами. Таким образом, может показаться рискованным прилагать к истории новейшей музыки определения, взятые из области живописи и литературы. И тем не менее так велика связанность различных сторон человеческого духа, что стадии, пройденные последними поколениями в литературе и живописи, оказались теми же самыми, через которые прошла и новейшая музыка. Если нужно современное свидетельство этой связи, мы найдем его у выдающегося немецкого композитора и музыкального критика Гейнца Тиссена, лично пережившего переход от психологии старого поколения к психологии младших. Он еще застал последние отклики эпохи натурализма, отразившегося в музыке психологизмом, программностью и внешней рисовкой чувств у эпигонов Вагнера, как Рихард Штраус. И сам он не может отказаться от приобретения этой эпохи. Но в дальнейшем он пережил все известные нам стадии перехода от старого к новому: импрессионизм, экспрессионизм и тот вид условного реализма, соответствующего кубофутуризму в литературе и музыке, который он называет стадией "фактичности" (Sachlichkeit).

Собственно, дойдя до эпохи преобладания гармонии над мелодией, мы уже перешли незаметно в царство импрессионизма. Здесь, как и в живописи, импрессионизм нечувствительно развивается из реализма. Тиссен справедливо связывает настроение музыкантов-импрессионистов с "декаденсом" поколения, пережившего биологические и психологические открытия науки и ставшего "более знающим и более нервным". Здоровое и нормальное кажется этому поколению пошлым, проявления

природной силы — грубыми, пафос — неискренним или глупым. В музыке, как и в живописи, оно хочет быть верным непосредственно данному "мигу", от ясного контура уходит к ярким краскам, от симметрии и ритма — к бесформенным, вне времени длящимся чувственным "настроениям". В момент самого тесного сближения с литературой это поколение ищет литературы особого рода, той, которая от реализма переходит к "искусству для искусства", от академичности к индивидуальному произволу. Чистейшим выразителем импрессионизма, повлиявшим на все новейшее поколение композиторов, является во всех этих отношениях друг и последователь Малларме, Бодлера, Верлена Клод Дебюсси. Мелодия и ритм у Дебюсси — "не конструктивные, а только декоративные" элементы; "се сводится к пассивной отдаче себя на волю впечатлений, все направлено к удовлетворению чувствительных нервов путем претенциозной утонченности вкуса, приятно-блазированной, устало-небрежной элегантности" (Тиссен). Припоминается при этом заявление новейшего из новейших Эрнста Кшенека: "абсолютная музыка современности, в противоположность романтической музыке, не обращается более к одинаково-чувствующим, но к одинаковообразованным. Она стала игрой, интересной только для тех, кто знает правила игры. У ней нет ни желания, ни способности обращаться к непредвзятому мнению широкого круга. Она даже может существовать без участников игры, не выдавая правил игры и не приглашая единомыслящих к участию в исполнении. Последовательно развиваясь, это направление приводит к самоудовлетворению человека, сидящего в своей комнате и изобретающего законы, по которым он потом строит фигуры. При перенесении этих фигур с помощью музыкальных инструментов на доступную слуху материю, ничто из найденной в кабинете закономерности не передается непосредственно слушателю, если только он не подготовлен самым тщательным образом".

Тут мы уже переходим в следующую стадию "новой музыки". Мы уже не в сфере импрессионизма, а в области экспрессионизма. "Прочь от природы": этот клич изобразительных искусств раздался и в области музыки, будучи и тут одновременно и дальнейшим развитием импрессионизма, и его сознательным отрицанием, сопровождаемым намеренной деформацией, окончательным разрушением формы. Свобода от материи, непосредственное выражение души, никаких условностей формы, никаких деталей: прямой, динамический подход к тому, что духовно существенно. В музыке эти лозунги привели к тому, что получило название "абсолютной музыки" или "музыки для глаз". Здесь процесс раздевания музыки, чуть заметный вначале под роскошным костюмом пышной, опьяняющей гармонии, происходит уже вполне наглядно — и в ускоренном темпе.

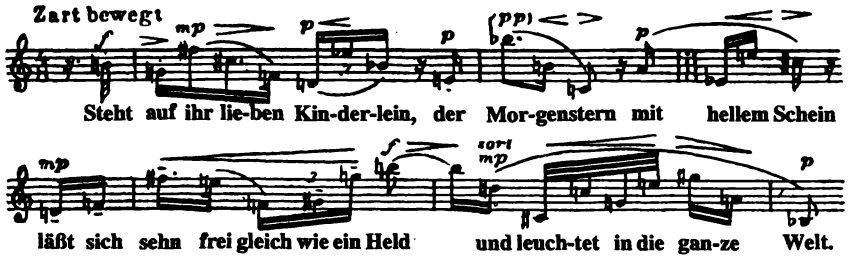
Одним из первых провозвестников новой стадии — экспрессионизма — является блестящий пианист и оригинальный композитор Ферруччо Бузони (1866-1925), на карьере которого можно проследить переход от старого к новому. С 1886 по 1891 гг. он был преподавателем в Гельсингфорсе и Москве и здесь испытал на себе эмансипирующее влияние северного искусства, которое и перенес в интернациональную музыкальную среду. Обладатель петербургской премии Рубинштейна (1890), он сделался продолжателем его интернациональной виртуозной карьеры, преимущественно в Америке. Композиторский стиль Бузони начинает меняться, после десятилетнего перерыва 1890-1900, совпадающего с переломом в художественных настроениях конца в.. В 1906 г. он выступает уже сложившимся новаторским мировоззрением, которое и излагает в своем вдохновенном манифесте: Entwurf einer neuen Aesthetik der Tonkunst, имевшем несомненное и глубокое влияние на новое поколение композиторов. Бузони отвергает здесь все правила и традиции музыкального искусства во имя вечно свежего, непосредственного вдохновения. Он стремится вырваться во что бы то ни стало из оков "рутины". "Рутина означает применение немногочисленных опытов и уловок ко всем случаям, которые могут представиться, — говорит он. — А я мечтаю о таком способе применения искусства, при котором каждый случай составлял бы новое исключение... Рутина превращает храм искусства в фабрику. Она разрушает творчество. Ибо творчество означает: творить из ничего!.. Избегайте рутины, начинайте всякий раз сначала, не знайте ничего, а только мыслите и чувствуйте!.. Внезапно, однажды, меня осенила мысль, что развитию музыки мешает ограниченность наших музыкальных инструментов, развитию композитора - изучение партитур... Если музыка должна сложить с себя условность и формулы, как изношенную одежду, и гордо выступить в прекрасной наготе, то прежде всего на пути стоят музыкальные орудия... То, что мы называем нашей системой тональности, суть только "знаки" — хитрая уловка хоть что-нибудь удержать из вечной гармонии, жалкое карманное издание этой энциклопедии, искусственный свет вместо солнца... Как важна, подумаешь, "терция", "квинта" и "октава"! Как строго мы различаем консонансы и диссонансы — там, где вообще не может быть никаких диссонансов... Рожденный для творчества прежде всего должен выполнить отрицательную ответственную задачу — освободиться от всего выученного, выслушанного, квазимузыкального... чтобы слушать внутренние звуки и, достигнув высшей ступени, сообщить ее людям. Этого нового Джотто музыкального Возрождения увенчает венец легендарной личности. За первым откровением последует эпоха религиозного музыкального творчества, в которой не будут участвовать ремесленники, а только призванные и посвященные... Я вижу, правда, что потом начнется декаданс... но это —

судьба потомков, на которых мы так же похожи, как детство на старческий возраст". Новое "детство" — таков вдохновляющий молодое поколение призыв. Статья Бузони была переведена и по-русски в 1912 г.

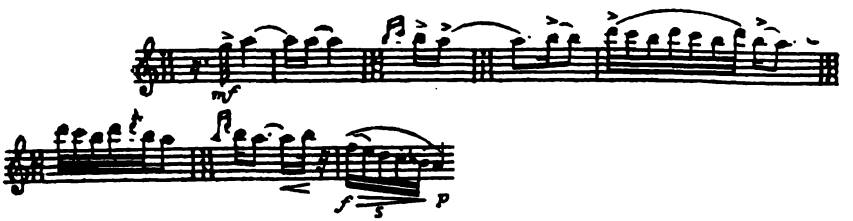
На Западе одновременно с Бузони непримиримым жрецом и суровом аскетом нового откровения становится Арнольд Шенберг и его ученики. Отметим и тут непосредственную связь с живописью: Шенберг был сам недурным живописцем и во время своего пребывания в Вене (1903-07) увлекся экспрессионистской живописью Кокошки и Климта. Именно в это время он от вагнеризма переходит к своему экспрессионистскому конструктивизму. В этом направлении Шенберг скоро дошел до трудно переваримых крайностей. Но в этих крайностях он был строго логичен и искренен. Для большей ясности изложения мы должны остановиться на этих крайних достижениях "абсолютной" музыки. Мы лучше поймем тогда, почему они привели к новому протесту и к третьей, новейшей стадии музыки.

Так как появление нового течения было вызвано засильем гармонии, то, естественно, что первой формой протеста явилось стремление высвободить мелодию из-под влияния гармонии. Эта тенденция напоминает аналогичное стремление, обнаруживавшееся три века назад, освободить мелодию из-под власти полифонии и контрапунктов. Но смысл нового освобождения — прямо противоположное. Тогда освобожденная мелодия явилась новым *организующим* средством и повела к органическому творчеству классического периода. Теперь освобождение мелодии от гармонии имело *дезорганизующее* значение и вело назад — к полифонному стилю и дальше, в глубь истории. Это был случай Rückbildung обратной эволюции. Естественно, что последователи новой музыки отвергли не только Вагнера, но и Бетховена, признали условно Моцарта — за то, что было у него полифонического, и преклонились перед Бахом. Точно так же они отвергли не только расширенный и сенсуальный оркестр Берлиоза и девятой симфонии, но и оркестр вообще. Возвратив музыку из большой концертной залы в салон эстетов, они вернулись к камерной музыке и создали сокращенный камерный оркестр. Богатому обертонами человеческому голосу и близким к нему струнным инструментам они предпочли чистые, свободные от обертонов тембры духовых инструментов и широким оркестровым ансамблям "вертикального" письма предпочли "линейную" мелодию таких сольных инструментов, для которых композиторы давно уже не писали музыки. Это отвечало и их намерению "раздеть" музыку от всего лишнего, разорвать с "программой", покончить с развитием "темы" и дать только скелет музыкального замысла, без всяких интродукций, разработки и заключений. Отсюда было уже недалеко, как и в живописи, перейти к последней стадии разложения: заменить красочный узор гармонистов сухой формальной "конструкцией", отрицающей краску

(гравюра) или пользующейся ею только для установки ребер геометрического построения (кубизм, футуризм). К чему можно было прийти, идя этим путем, покажут следующие примеры. Вот несколько тактов романса Антона Веберна, последователя Шенберга. Они отрицают тональность и, следовательно, не допускают никакого гармонического сопровождения, нарушают старое правило постепенности в движении голоса, заменяя ее крутыми скачками и не обращают никакого внимания на естественные ударения слов. Это пример "абсолютной *мелодии*" в ее крайнем выражении:

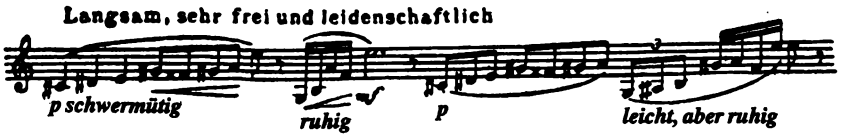


Абсолютное отрицание ритма ведет нас еще дальше в глубь истории — к временам свободной от ритма мелодии, остатки которой мы встречаем у первобытных народов. Часто такая партия мелодии без ритма передается духовым инструментам, напоминающим глубокую старину. Вот пример: партия кларнета из "Прибауток" Стравинского.

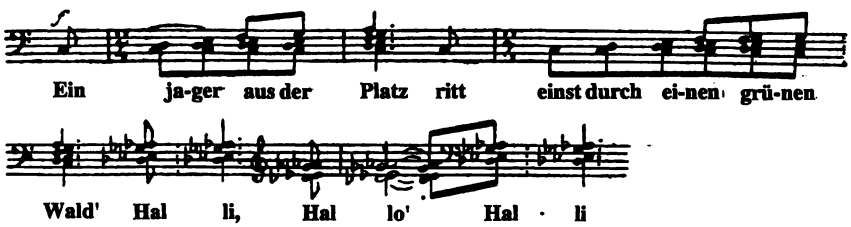


Чтобы уложить такую мелодию в современные деления такта, нужно, конечно, постоянно менять такт или, еще лучше, вернуться к тому периоду, когда никакого деления на такты во-

обще не было, то есть от "полиритмии" перейти к "аритмии". Вот пример такого ad libitum из скрипичной сонаты Артура Шнабеля — еще одного представителя крайнего течения. Протест против получающейся таким образом бесформенности приведет к подражаниям резкому ритму негрского танца.



Наконец, и в области *гармонии* "абсолютный" предел "наготы" достигнут переходом от употреблявшейся уже в предыдущем периоде политональности — ведению нескольких партий в разных тональностях одновременно — к полной атональности, — что опять возвращает нас ко временам до создания современной гаммы. После того, к чему приучило нас употребление диссонирующих аккордов в предыдущем периоде, здесь уже трудно привести достаточно убедительный пример. Мерсман приводит в образец мужской хор из оперы "Воццек" Альбана Берга, ученика и толкователя Шенберга:



В стремлении освободиться вообще от условностей, налагаемых существованием нашей "темперированной" гаммы, уже давно стала употребляться — для специальных эффектов — примитивная гамма из целых тонов. Но современные новаторы идут дальше: они восстановляют четверти тонов, находимые в мелодии примитивных народов. Имеется уже рояль с второй клавиатурой, настроенной на четверть тона выше, а для струнных инструментов это понижение и повышение звука между установившимися тонами достигается еще легче: здесь особой настройкой можно найти и шестые части тона. Имеются и произ-

ведения, специально написанные для четвертьтонной и шестидольнотонной музыки (например, квартеты чешского композитора Хаба, ссылающегося в своих исследованиях на прецеденты древности и народной песни).

Относительно общего значения всех этих рискованных экспериментов будет справедливо повторить слова их защитника Пауля Беккера. "Мы находимся в процессе искания. В этом факте искания иные усмотрят признак слабости. Бетховен говорил: "Все новое и оригинальное рождается само собой, без всяких поисков". Но у нас нет теперь второго Бетховена. Прибавим только, что Колумб не нашел бы Америки, если бы не искал ее. Можно даже признать, что он, собственно, и не искал Америки и не открыл ее, потому что ничего не знал об этом континенте, а искал чего-то совершенно другого. Он обманулся — но он был отважнейшим открывателем по натуре, и его величие заключалось не в непосредственно достигнутом реальном результате, а в той силе, с которой он превратил свою непременную волю в поступок. Мы теперь — в положении Колумба. Старый мир умирает, по признанию самих верующих обывателей, но мы не хотим умереть вместе с ним. Наоборот, мы находим, что его время кончилось, и мы верим в новый мир, которого еще не видим. В факте этой веры есть нечто большее, чем простое отрицание существующего. Это нечто и побуждает нас к плаванию. Найдем ли мы при этом Индию или совсем новую страну, сказать мы не можем. Мы только знаем, что должны плыть — не из авантюрных соображений, а в силу внутреннего побуждения. В его исполнении заключается наша миссия.

В последние годы среди искателей, несомненно, начинает брезжить сознание, что им предстоит открыть не ту землю, которую они считали обетованной. По крайней мере уже теперь можно сказать, что искания не остановились в тупике "абсолютной" музыки. Первым выходом из этого тупика был, как и в новейшей живописи, протест против получившейся бесформенности и возвращение к форме. За "экспрессионизмом" Шенберга последовала стадия Sachlichkeit, психологически связавшаяся с исходом мировой войны и с выступлением закаленного в войне новейшего поколения. Его довоенный эстетизм развеялся под влиянием сурового опыта; его снобизм и расслабленность заменились волей к действию. С другой стороны, стало проходить и стремление к крайнему индивидуализму, потеряла цену горделивая поза непонятого толпою гения, работающего для себя и для потомства в уединенном кабинете. Очевидная мода была теперь — не без влияния большевизма — на "коллективного человека" и, по необходимости, на его вкусы. Камерные формы и архаические инструменты стали опять уступать место оркестру гармонического периода. От фантастической сказки вернулись к легкой опере, ссылаясь при этом на пример Моцарта. Запутанная гармония компенсировалась для профана возвраще-

нием в доступному ритму народного танца. Отрицание всякой связи между музыкой и другими искусствами было уже фактически опровергнуто той весьма тесной связью музыки с новейшей живописью и литературой, о которой говорилось выше. И теперь, наоборот, стали подчеркивать "социологическую" точку зрения на "единство искусств", а это как раз подходило к новому требованию "общественной музыки", предназначенной для "коллективного человека". Поклонник и пропагандист Шенберга, Шерхен, вернувшись (1918) из русского плена и все еще оставаясь "экспрессионистом", стал проповедовать новый взгляд в основанном им журнале "Мелос". "Художественные произведения в стиле Шенберга, — говорил он (1919), — природой которых является высшая степень артистической утонченности, потеряла из-за своего самодовления, своего узкого в своей безграничности индивидуализма, питательную почву, из которой только и может произрастать искусство". "В спокойные времена, когда общественная жизнь течет равномерно, можно несущественное делать главным... а теперь, когда людская нужда кругом исходит судорогами, как никогда прежде, подобное художественное высокомерие превращается в изломанность, которая отметается, как соломинка, взбудораженными до дна жизненными силами". "Не надо больше никакого l'art pour l'art!" "Речь идет о человеке..."! Тиссен подтверждает (в том же году): "Искусство есть общее дело. В нем участвуют не только, как прежде, церковные общины, княжеские салоны и посвященные любители. Не нужно никаких преград, чтобы пугать несведущих. Никакого odi profanum vulgus ("ненавижу невежественную чернь" Горация) придворных льстецов, меценатов. Искусство стоит перед народом во всей целости, никого не отталкивая, не требуя никакой интеллектуальной или цеховой подготовки, не выращивая артистичности на тепличных шпалерах. Без всяких предпосылок оно хочет дойти до каждого". И сам Бузони в письме к П. Беккеру 1920 г. вводит в рамки свое прежнее требование безграничной свободы вдохновения. "Вырождение в карикатуру отдельных экспериментов есть постоянный спутник эволюции: это — искаженное обезьяниченье жестов, подхваченных у людей с действительным весом... В последние 15 лет подобные явления снова участились, и это особенно заметно после застоя 80-х гг. — единственного в истории искусства. Но, когда преувеличения входят к общее употребление и ими дебютирует каждый начинающий, то это означает, что подобная стадия проходит. Дальнейший шаг вперед, к которому должен привести протест против этого, ведет к *новой классичности*. Под нею я разумею преодоление, сортировку и использование всех достижений предшествующего экспериментирования и введение их в твердые и прекрасные формы". Под своим "неоклассицизмом", как видно из дальнейшего, Бузони разумел "отказ от субъективизма (serenitas), стремление к объ-

ективности, возвращение к ясности — не метафизическое глубокомыслие, а чистую, дистиллированную музыку, — не сжатые губы Бетховена, но и не "освобождающий смех" Заратустры, а улыбка мудреца, технически же окончательное возвращение от "темы" к мелодии, царящей над всеми голосами и создающей гармонию — в смысле высоко развитой, но не чрезмерно сложной полифонии".

Мы здесь пришли, таким образом, к тому же последнему моменту развития, который в литературе привел к возвращению к художественному реализму, а в живописи к направлению, тоже назвавшему себя неоклассическим. Нам предстоит теперь перейти к вопросу, для которого и составлен наш беглый очерк: как отразилось все это европейское развитие музыки на ее русских представителях.

До самого конца XIX в. русская музыка была, так сказать, музыкой провинциальной. Мы видели, что именно эта изолированность от европейского хода развития музыки помогла ей приобрести национальный характер и создать ценности, которые впоследствии, когда сношения с внешним миром стали постоянными, оказались имеющими мировое значение. Язык музыки в противоположность языку литературы интернационален и в противоположность изобразительным искусствам легко переносится повсюду и воспроизводится в любом количестве копий. Но он живет лишь в те немногие моменты времени, пока совершается воспроизведение. Таким образом, интернационализация доступна для музыки более всех других искусств, но отсев произведений, удостоившихся попасть в международный оборот, тоже гораздо суровее, и забвение наступает скорее и прочнее. Посмотрим с этой точки зрения, что русские композиторы заимствовали из международного музыкального оборота и что они ему дали.

Мы знаем, что основатель русской национальной школы Глинка вовсе не избегал иностранных влияний, хотя при соприкосновении с ними и чувствовал себя всегда особенно русским. Главным врагом приобретения национальной самостоятельности была тогда "итальянщина". И Глинка, первоначально увлекшийся итальянцами, затем поставил себя в сознательное противоречие с ними. Известно, однако, что итальянизмов все же немало осталось в его первой опере. Зависимость Глинки от немцев доказывается уже тем, что тетрадки берлинского профессора Дена остались до конца его основным учебником гармонии. Эти пять маленьких тетрадок были тогда же (1833-34) тщательно переписаны и другим начинавшим "барином" Даргомыжским. Оба композитора не раз ездили за границу и имели возможность познакомиться в источнике с современной европейской музыкой и с ее представителями. Глинка слышал в Германии (1830) и "Фрейшюца" и "Фиделио", а в Италии свел знакомство с Доницетти, Беллини, виделся с Мендельсоном. По-

зднее он познакомился в Петербурге с Листом (1842-43), а в Париже (1844) с Берлиозом, с которым сравнивали его оркестровку и который, по его собственному признанию, "произвел на него неописуемое впечатление". Берлиоз со своей стороны отвел Глинке место "в первом ряду выдающихся современных композиторов", признавши в нем "крупного гармониста", а в его оркестре — "одну из самых новых и свежих звучностей нашего времени", — присоединив к этому признание и бесспорной "оригинальной мелодической изобретательности" Глинки (статья в Journal des Dèbats). И однако, любимой страной Глинки оказалась наименее культурная Испания; оттуда он привез домой мотивы народных танцев. Игру Листа он сравнивал с "рубкой котлет" и, услышав в 1847 г. в первый раз Глюка, отдал все свое предпочтение этому эмоциональному, но уже начинавшему стареть в век Вебера композитору. Он возил с этих пор всюду с собой партитуры Глюка и внимательно изучал их. Встретивши в Берлине Мейербера, он восхвалял ему до небес Глюка — и весьма нелюбезно критиковал его преемников. Во время последнего пребывания в Берлине Ден вернул Глинку к Баху и к церковной музыке XVII в. и окончательно отрезал от музыкальной современности. У Вебера Глинка приходил в ужас перед доминант-септакордами; Шумана он так и не узнал вовсе. Моцарт и Бетховен, по его выражению, "безбожно обобрали Глюка". Так определяется музыкальный кругозор Глинки — ограниченный даже для его времени.

Преемники Глинки были еще менее связаны с заграницей, чем сам глава национальной школы. Здесь именно начинается отчуждение от Запада, которое скоро переходит в сознательный антагонизм: молодежь хочет стоять на собственных ногах. Даргомыжский дважды побывал за границей (1844 и 1864), но отнесся к современной европейской музыке довольно пренебрежительно, а к западным нравам — особенно парижским — прямо враждебно. В Лейпциге и Париже его встретили довольно равнодушно, а овации, предметом которых он сделался в Брюсселе, не могли преодолеть его собственного равнодушия к европейской славе. Он и в России твердо помнит и часто цитирует стихи Пушкина о поэте. Когда его обошли при назначении в директора вновь основанного Рубинштейном музыкального общества в 1859 г., он так же равнодушно отнесся к этой "обиде", как и к своему назначению на этот почетный пост в 1867 г. А мы знаем, какие острые чувства питали молодые представители национальной школы, "могучая кучка", к этой новоявленной "немеции" или, как откровенно выражались некоторые, "синагоге". Даргомыжский, правда, принимая этот пост, думал о примирении — и провел Балакирева, главу "кучки", в дирижеры концертов музыкального общества. Он также настоял на приглашении в Россию Берлиоза. Но европейское новаторство ушло уже дальше: в эти годы оно стояло под знаменем Вагнера.

Между тем Даргомыжский знал Вагнера очень поверхностно. Реформаторские стремления "кучки" — даже в том, в чем они сходились с Вагнером, — развивались самостоятельно. И автор "мелодического речитатива" "Русалки" признал мелодии "Тангейзера" "неестественными", а его гармонии — проявляющими "болезненные черты". Русское требование правды и реализма на сцене осуществлялось совсем другими путями. Новым заветом "кучки" после "Руслана" сделалась предсмертная (1868) опера Даргомыжского "Каменный гость". Это произведение "для немногих" могло быть оценено по достоинству только гораздо позднее.

В лице Серова, как мы знаем, явился на сцену широко образованный критик, хорошо знакомый с музыкальной современностью. Он поставил себе задачу доказать провинциализм русской национальной школы и вывести русскую музыку из ее изолированности. "Фрейшюц" был его первым юношеским увлечением. Но уже в школе прибавились к программе его студенческих концертов симфонии Бетховена, мало тогда известные в России, Моцарт, а из новых — Шуман, Шопен. Все больше привлекали молодого Серова Вебер и Шуберт; с ними сравнялся Мейербер, le favori de mon âme — несмотря на его "фальш". Появление Листа в Петербурге в 1842 г. имело для Серова "значение мирового события". Наконец, во время первой заграничной поездки (1858) Серов услыхал Тангейзера и был очарован Вагнером, теоретические сочинения которого знал еще в 1853 г. В Веймаре он снова встретился с Листом, ближе сошелся с ним и совершенно увлекся не только его игрой, но и его композициями. В Баден-Бадене к этому созвездию прибавился Берлиоз, в котором он узнал "учителя Листа и Вагнера" в области оркестровых красок. При личной встрече с своим старым идолом Мейербером Серов успел убедиться, что, "как и следовало ожидать, он от всего сердца ненавидит музыку Вагнера и все новое течение". В следующем году Серов узнал "Тристана" и "Лоэнгрина" и был окончательно покорен, особенно после личного знакомства с Вагнером.

Со всем этим новым багажом, столь необычным для России, Серов вернулся домой и нашел здесь своего школьного товарища и старого друга В. Стасова — в роли страстного пропагандиста руского национального провинциализма. Естественно, что он стал в оппозицию к Стасовскому "шовинизму". Но в то же время его поклонение Вагнеру шло вразрез и с вкусами вновь открытой консерватории Рубинштейна, которую он именно и обозвал "немецией" и "еврейским союзом". При таких условиях его обширный заграничный опыт не имел точек приложения, чтобы немедленно привиться в России. Оставалось писать ядовитые статьи, которые создали Серову славу как критику и окончательно поссорили его со всеми. Его собственные оперы, как мы видели, не стояли на надлежащей высоте, чтобы

оправдать его литературную проповедь музыкальной новизны и космополитизма: они даже противоречили этой проповеди. Если "Юдифь" и "Рогнеда" имели шумный успех у публики, то заслугу этого надо приписать не демонстративному преклонению Серова перед Вагнером — до которого эта публика еще не доросла, — а той тайной любви к Мейерберу, в которой Серов признавался в молодости и которой остался верен в своем творчестве. Благодаря усилиям Серова, правда, и Петербургская императорская сцена увидела "Лоэнгрина". Но, несмотря на восторженный отзыв Серова, направленный Вагнеру, об успехе представления, опера не удержалась в репертуаре и вызвала сердитую критику Кюи — одного из "кучки". Словом, серовская пропаганда музыкального космополитизма пришла слишком рано для успеха. Но доросла ли публика до музыки "национальной" школы?

Ответом на этот вопрос может служить история "кучки", нам отчасти уже знакомая. Ко времени ее выступления в России как никак уже сложилась некоторая национальная традиция в музыке. На музыкальных вечерах сперва у Даргомыжского, а потом у вождя "кучки" Балакирева молодые представители "кучки" усвоили себе вначале и преклонение перед Глинкой, и его провинциализм. Бах представлялся здесь музыкальной окаменелостью, Гайдн и Моцарт — "устарелыми", так же как и Бетховен до девятой симфонии и до последних квартетов. Больше всего здесь культивировали Шумана и снисходительно одобряли Шопена. Лист обвинялся в театральности, доходящей до карикатуры. О Вагнере еще вовсе не говорили. Таково было настроение небольшой группы знатоков-любителей к началу шестидесятых голов, когда руководство музыкальным образованием взяла на себя "немецкая" или "еврейская" консерватория Рубинштейнов. К этому времени Антон Рубинштейн уже совершил свою первую триумфальную поездку по Европе и готовился к дальнейшим, более продолжительным в Европе и в Америке. Он мог бы расширить музыкальный кругозор представителей национальной школы. Но он предпочитал не замечать их, а они отвечали на это игнорирование сарказмами. Мусоргский в своих письмах называет Рубинштейна то "Тупинштейном", то "Дубинштейном". Однако же консерватория делала свое дело — и мы уже видели плоды этой деятельности. Скоро обнаружилось, что публика пошла к консерватории, пользовавшейся поддержкой и влиятельных лиц, и богатых меценатов. У "кучки" ни тех, ни других не было. А их отрицание всего старого и их исключительность, в стремлении выработать свой собственный новый стиль, еще возросли в течение 60-х гг. И Балакирев, строгий ментор школы, первый испытал на себе последствия отчуждения от вкусов широкой публики. Открытая им "Бесплатная музыкальная школа" и ее симфонические концерты не могли соперничать с консерваторскими. Уже с начала

70-х гг. Балакирев, обиженный равнодушием публики, уединяется, и мало-помалу из него вырабатывается тип чудака-мистика, мрачного пессимиста, который в тягость и себе и другим. Более уравновешенные члены "кучки" Кюи, Бородин, Римский-Корсаков, недовольные его властолюбием, отходят от него, и к 1875 г. кружок совершенно разрушается. Очень картинно выясняет смысл этого расхождения Бородин в письме 1875 г. "Я вижу в этом, — пишет он Кармалиной, — совершенно естественный ход вещей. Пока мы еще находились под наседкой (я разумею Балакирева), мы были похожи, как одно яйцо на другое. Но когда мы вылупились и оперились, оказалось, натурально, что ни у одного из нас нет одинакового оперения. А когда у нас выросли крылья, каждый полетел туда, куда его тянуло. Различие направлений, стремлений, вкуса, характера в нашем художественном творчестве есть хорошая, а вовсе не печальная сторона дела. И так и должно быть, когда зреет и укрепляется художественная индивидуальность. Балакирев никогда не мог этого понять; не понимает и теперь".

При этой дифференциации членов "кучки" выиграли как раз те, которые стали ближе к консерватории и к вкусам широкой публики. Самым популярным композитором публики был в это время Чайковский. Наследником его популярности явился Римский-Корсаков, благодаря блеску своего оркестра. Бородин остался барином-любителем, известным немногим, но он был равнодушен к славе и мог спокойно ждать суда потомства (который для него наступил довольно рано: он умер в 1887 г.). Всех трагичнее оказалась судьба самого крупного из "кучки", Мусоргского — именно вследствие его желания, не вступая ни в какие компромиссы, высоко нести раз поднятое знамя. "К новым берегам" — таков был девиз, заявленный им в письмах к Стасову 1872 г. А Балакиреву он еще в 1861 г. писал, отвечая на одно из его ворчливых писем: "Пора перестать обращаться со мной, как с ребенком, которого надо пеленать, чтобы он не упал".

Что же такое "новые берега", к которым стремится Мусоргский? Для пояснения он ссылается на "Бурлаков" Репина. "Вот работы пионеров, которые ведут к новым странам, к новым берегам". С декларацией Мусоргского на эту тему мы уже познакомились раньше. С этой точки зрения и распадение "кучки" представляется Мусоргскому не результатом "естественного хода вещей", как Бородину, а черной изменой общему делу, предательством из трусости и рутины. "Я встретил Римского, — пишет он Стасову в том же 1875 г. — Мы оба соскочили с дрожек и обнялись по-хорошему. И тут я узнаю: он написал 15 фуг, одна сложнее другой — и больше ничего! Цезарь (Кюи) — теперь без Рима не обходится — написал, говорят, третий акт "Анжело"... Я у него не был. Боюсь не его, а третьего акта... Когда же эти люди, вместо писания фуг и обязательных тре-

тьих актов, заглянут в разумные книги (Мусоргский в это время читал Дарвина) и войдут в общение с разумными людьми? Или уже это — слишком поздно? Не этого нужно современному человеку от искусства. Не в этом оправдание и задачи художника. *Жизнь*, где бы она ни сказалась; *правда*, как бы она ни была солона; смелость, искренняя речь к людям... вот моя закваска... вот чего я хочу". В другом письме Мусоргский говорит о "неких художниках", которые остались "позади шлагбаума" и расходуют себя "капля по капле, постепенно и прилично". Живого человека разбирает при этом зрелище "скука и ярость". "Покажите, когти у вас или плавательные перепонки; вы — хищные звери или амфибии?" "Безрассудно, безвольно эти люди сами себя запутали в оковах традиции; они сделались странствующим доказательством закона инерции и воображают, что совершают великие дела. Это было бы просто непривлекательно и не особенно симпатично, если бы они — эти художники — не хватались раньше за древко иного знамени и не старались нести его высоко и гордо перед человечеством. Попав по дороге в железные когти Балакирева, они временно дышали его сильными легкими, хотя и не так широко и глубоко, как умел он со своей могучей богатырской грудью... Теперь железная хватка Балакирева ослабла — и они внезапно почувствовали, что устали и нуждаются в отдыхе. Где искать этого покоя? Разумеется, в старине, в традиции, как поступали предки. И боевое знамя поставлено в угол, тщательно спрятано под разной ветошью, заперто под семью замками. Без знамени, без желаний, не смотря вдаль, они сидят над тем, что давно сделано и для чего никто в них не нуждается. А лягушки, квакающие в их наследственном болоте, уделяют им от времени до времени свою липкую похвалу... Могучая кучка превратилась в кучку бездушных предателей; их бичи оказались детскими кнутиками. Мне кажется, что в целом мире нет ничего более чуждого жизни, ничего более лишнего для современного творчества, чем подобные художники".

Так разошлись пути недавних друзей. Мусоргский с этих пор чувствует себя одиноким, всеми покинутым, начинает все чаще искать утешения в вине. Но он не покидает своих исканий. Напротив, он становится еще более смелым, и друзья, даже Стасов, последний из них, перестают понимать его, заговаривают о его "падении", предоставляют его собственной судьбе. Однако этот "взгляд вдаль", "в будущее" оказывается не напрасным. Мусоргский оживает после смерти. Забытый в России, он возрождается к славе за границей, когда его непризнанные стремления начинают совпадать со стремлениями нового поколения новаторов. Вместе с тем наступает пора обратного влияния — России на Европу. Это, однако, происходит не сразу. Иностранцы, прежде чем узнать Мусоргского в его подлинном виде, который казался его русским друзьям непереноси-

мым, узнают его в дружеском толковании. Римский-Корсаков, самый ученый из "кучки", предпринимает обработку его незаконченных творений. Первой восстает из лоскутьев "Хованщина" (1881-82). По свежей памяти, Корсаков восстанавливает подлинные намерения автора. Ему только предстоит сократить чуть не вдвое материал Мусоргского, чтобы сделать оперу пригодной для сцены. Он делает это с надлежащей осторожностью и тактом, почти не прибавляя ничего своего и сливаясь в работе с личностью умершего друга. "Борис Годунов", более законченный автором, перерабатывается Корсаковым двадцать лет спустя (1896). Но это уже не прежний Корсаков. Он познакомился за это время с партитурами Вагнера и взял его оркестровые краски. Конечно, он употребляет их иначе. Он уже последовал за переменой вкуса и вместо серьезной "иллюзии" религиозной драмы дал, как мы видели, пародию и волшебную сказку. Но его "вертикальное" письмо воспроизводит все нововведения Вагнеровского оркестра, его стиль красочен и грузен, чувственен и "наркотичен". Когда на западе поднимается известный нам протест против Вагнера, он коснется и России — и прежде всего приведет к переоценке работы двух друзей, Корсакова и Мусоргского. "Борис Годунов", уже обошедший к этому времени все европейские сцены в блестящей переработке Римского-Корсакова, покажется чересчур вагнеризированным. Новые поклонники начнут доискиваться подлинного Мусоргского — и найдут его, к своему изумлению и восторгу, прежде всего, в его фортепьянных произведениях и романсах.

Было бы несправедливо, конечно, относить эту новую стадию в истории русской музыки, которая здесь получает мировое значение, исключительно к Мусоргскому. Не говоря уже о композиторах так наз. космополитической школы, Рубинштейне, особенно Чайковском, которые предшествовали ему в популярности за границей, Бородин стал известен Европе через Бельгию своими квартетами, популярность которых все время росла и которые оказали несомненное влияние на Дебюсси и Равеля. Полифонический стиль Бородина, в соединении с оригинальной мелодией, пришелся как раз по вкусу новому течению в музыке. Графиня Мерси д'Аржанто старалась популяризировать Цезаря Кюи, приятные для слуха романсы которого, хотя не оригинальные, очень подходили к французскому вкусу. Но несравненно больший успех все же выпал на долю Мусоргского, которого уже в 1896-1900 гг. пропагандировали во Франции и Бельгии Пьер Дальгейм и его супруга, певица Оленина Дальгейм. Дебюсси имел возможность познакомиться с клавирусцугом "Бориса Годунова", вывезенным Сен-Сансом из России (1874), а знакомство с романсами Мусоргского окончательно закрепило его влияние на стиль родоначальника французского импрессионизма. В 1900-06 гг. Оленина Дальгейм ввезла романсы Мусоргского обратно в Россию. На этот раз забытые

произведения непризнанного на родине пророка завоевали публику. Немало содействовало этому и вдохновенное исполнение Шаляпина. В 1904 г. вернулся на сцену Мариинского театра давно уже снятый с репертурара императорских театров "Борис Годунов" в обработке Корсакова 1896 г. В 1911 г. появилась на казенной сцене и "Хованщина", дожидавшаяся постановки с 1882 г., но отвергнутая тогда Направником, на том основании, что "довольно с нас и одной радикальной оперы". После того обе оперы появились на парижской и на других европейских сценах и в 20-х гг. XX в. стали прочным достижением мировой музыки, вместе с "Князем Игорем" Бородина. Таким образом, творчество Мусоргского (умер 1881) приводит нас, через двадцатилетний промежуток, к русской "новой музыке" XX в. Не напрасно автор устремляет свой пытливый взор вперед, в будущее.

Конечно, у этого будущего уже успели в промежутке появиться новые глашатаи. Справедливость требует упомянуть здесь дожившего до революции, но давно превзойденного и забытого предшественника, первого русского "декадента" в музыке Владимира Ребикова (1866-1920). Свои новшества он отчасти мог заимствовать в Германии, где в конце века доучивался у Мюлера (в Берлине) и потом преподавал (в Берлине и в Вене). Его связь с русскими литературными течениями характеризуется тем, что он первый начал пользоваться для своих музыкальных картинок стихами Бальмонта и Брюсова. От грузных музыкальных форм европейских гармонистов он один из первых перешел к музыкальным миниатюрам, рисующим схваченные на лету психологические "миги". О музыкальной драме противоположил "меломимику" — жесты без слов, сопровождаемые легкой музыкой, по образцу немецкого Ueberbrettl (подражание Uebermensch). С технической стороны это выразилось в освобождении от традиционных форм и гармонии. Как и подобало первому намеренному импрессионисту, Ребиков признавал музыку "языком чувств, а чувства не имеют ни формы, ни законов, ни правил". Собственно, от импрессионизма, который не чужд ни Вагнеру, ни Римскому-Корсакову, здесь мы имеем уже переход к позднейшему экспрессионизму. Ребиков уже объявляет, что в области гармонии все позволено, и сам пользуется непривычными для своего времени аккордами. Он первый ввел столь употребительное потом окончание своих миниатюр вместо тоники, на неожиданном диссонансе, что подчеркивает впечатление мимолетности только что нарисованного психологического момента. С началом XX в. Ребиков был оставлен позади. Но он имел основание считать своими "подражателями" и Скрябина, и Дебюсси. У последнего, конечно, был свой предшественник, "отец французского импрессионизма" Эрик Сати (1866-1925), деятельность и судьба которого параллельна судьбе его современника, "русского Сати", Ребикова.

Прежде чем идти дальше, нельзя не остановиться на реакции против этого новаторства. Центром сопротивления ему явилась не случайно московская консерватория. В Москве царил Чайковский. Перебургскому интеллектуальному и активному новаторству "кучки" старая столица противопоставила ленивый сенсуализм. Последним идеологом Москвы в борьбе против западных нововведений эпохи Вагнера и его эпигонов был Брамс. И лучший из учеников Чайковского С. Танеев сделался "русским Брамсом". Тайн гармонии он искал в "строгом стиле" старых контрапунктистов XIII-XV столетий. Подобно последнему из германских "великих", такому же анахорету, как он, Танеев ищет в музыке "красоты" и находит ее в глубоком, серьезном чувстве. Подобно Брамсу, его красоты нелегко доступны и выигрывают при внимательном изучении. Нота новизны есть, конечно, и у того и у другого. Но в своем намерении оба они являются строгими продолжателями классицизма Бетховена; для них уже и Вагнер, не говоря о всем дальнейшем развитии музыки, есть печальное отклонение в сторону и потеря настоящего пути. Танеев жил достаточно долго, чтобы видеть, как изменилась психология музыки. Но он остался чужд этим изменениям и еще больше замкнулся в себе. Его творчество стояло вне изменяющейся моды. Зато оно и оказалось длительнее ее.

Другие москвичи не ограничились одной пассивностью. Когда в Москве явился Скрябин и стал давать тон в московских купеческих салонах, в консерватории образовалась деятельная оппозиция его влиянию. Ученик Танеева и продолжатель Чайковского Рахманинов (1873) становится во главе течения, стремящегося сохранить от новаторства старые заветы. Коренной москвич и в молодости участник буйной московской богемы, Рахманинов также не чужд всякой новизны. Но из молодого похмелья он выносит лишь углубленное чувство мрачного пессимизма. На этой почве — и в *этом* направлении — он становится лириком более сосредоточенным и односторонним, чем сам Чайковский. Такой лиризм представляется анахронизмом среди начинающегося периода искусственного объективизма и сухости в музыке. Представители новых течений отодвигают на задний план и замалчивают Рахманинова. Но он находит себе выход вовне, благодаря своему исключительному таланту пианиста. В конце концов, выброшенный из России революцией, которую он ненавидит, Рахманинов находит созвучный себе круг почитателей и пользуется беспримерным успехом в сентиментальной Америке.

Союзником Рахманинова является в Москве еще один композитор, музыка которого напоминает больше Брамса, чем Чайковского, — обрусевший немец Метнер (1879). В противоположность Рахманинову, красоты музыки Метнера — для немногих. И он не стремится к славе, оставаясь верным своему назначению. Противник нововведений a la Скрябин, Метнер, однако,

сам является новатором, в смысле представительства новых немецких влияний. В музыке он — философ, и тексты для своих романсов он ищет у Ницше, у Тютчева и у Андрея Белого. Своими предшественниками он считает "трех великих Б." (Баха, Бетховена и Брамса). Расшатанности импрессионистского ритма Метнер противопоставляет отчетливый ритм классиков, хотя и усложненный Шуманом и Брамсом; сложности новых гармоний и музыкальному "наркозу" — суховатую полифоническую форму. Окруженный небольшой группой восторженных почитателей в Москве, где в 1905 г. создается Брамсовское общество, Метнер несколько затеривается в эмиграции, где он — только подражатель "великих".

Настоящее новаторство выходит из Петербурга. Вначале оно и стоит в связи с известными тенденциями "Мира искусства". Благодаря Дягилеву новые тенденции в руской музыке, так же как и в живописи, демонстрируются за границей и, после первого громкого успеха, эволюционируют дальше — в направлении очередной европейской моды. Но так как сама эта мода меняется, то дальнейшее развитие новейшей русской музыки приспособляется и следует за ней. В этом дальнейшем ходе можно проследить последовательные этапы, которые близко соответствуют описанным выше этапам в развитии европейской музыки. Вслед за первоначальным импрессионизмом мы наблюдаем и здесь крайности экспрессионизма и бесформенности, затем реакцию в смысле возвращения к "чистой" форме — и в связи с ней возвращение к полифонному и дополифонному периоду; наконец, изживание крайностей и возвращение к методам и стилям, еще недавно перед тем признанным окончательно устарелыми. В этих поисках новейшего поколения — та же незаконченность, с какой мы встретились и в других областях искусства, и то же искание нового, пока неведомого стиля, взамен разрушенного старого.

Чрезвычайно облегчается наблюдение всех этих параллельных стадий в новейшей европейской и русской музыке тем счастливым для историка обстоятельством, что все они пройдены одним и тем же лицом- Игорем Стравинским, постепенно превращавшимся в этом процессе из русского композитора определенной эпохи в общепризнанного европейского вождя. И особенно удобно провести эти параллели именно теперь, когда цикл превращений неутомимого экспериментатора, по-видимому, завершается.

Стравинский родился в 1882 г. и брал частные уроки композиции у Римского-Корсакова, которого встретил в 1902 г. в Гейдельберге. Его первые произведения, до 1908 г., не выходят из сферы влияний петербургской консерваторской атмосферы. Римский -Корсаков, Глазунов остаются его образцами. Несмотря на ранние признаки новаторских стремлений, художественная связь Стравинского со стилем, представляемым в России

Римским-Корсаковым, не прерывается до 1911 г. Стравинский лишь вносит некоторые черты, свойственные русскому "декадентскому" эстетизму этих годов; но и тут с поздним Корсаковым прямого противоречия не имеется, а есть лишь дальнейшее заострение. Римский-Корсаков уже совершил переход от романтической углубленности к фантастической сказке, трактуемой шутливо и иронически. На долю музыкального эстетизма остается лишь подчеркивание элемента нереальности и шаржировка иронии. Поклонники Стравинского настаивают на *объективности* его стиля, связанной с возвращением новаторов к "чистой" музыке. Но трудно говорить о "чистой" музыке в тот период, когда Стравинскому пришлось работать вместе с Дягилевым для "Русского Балета". При всем своем стремлении к независимости он был связан в "Жар-Птице" сценарием Фокина, в "Петрушке" — замыслом Бенуа и даже в "Весне священной" — стилизацией Рериха. Его музыка рисует и искрящийся красками полет "Жар-Птицы", и фальшивые ноты банальной мелодии масленичного гулянья; она послушно следует за всеми перипетиями выбранной фабулы. Подобно импрессионистам, он рисует не линиями, а красками. Но именно тут его связь с оркестром Корсакова особенно заметна. Стравинский, конечно, идет гораздо дальше в своей утилизации тембров разных инструментов. Но он идет в том же направлении — развития гармонических утонченностей. И весь первый период его творчества примыкает к заканчивающемуся и в России, и в Европе гармоническому периоду. Импрессионизм здесь, как и в живописи, выходит как-то незаметно и преемственно из русского реализма (по обычной терминологии — романтизма). Так же как и в живописи, он выражается в усиленном динамизме музыки и в прогрессирующем упрощении и деформации традиционных форм, переходя в стадию "экспрессионизма". В 1908-11 гг. мы присутствуем при самом начале этого нового процесса, уже известного нам из истории живописи.

В истории европейской музыки эта стадия "раздевания" музыки связана с именем "экспрессиониста" Шенберга. Но для тогдашней России Шенберг еще слишком экстравагантен и непереварим, и его влияние (как увидим, все же имевшее место) прошло незамеченным. Гораздо теснее была связь с французским импрессионизмом, в лице Дебюсси, который и сам испытал на себе влияние Бородина и Мусоргского (он побывал также в России) и в свою очередь оказал ощутимое влияние на русских новейших композиторов. Переход от Дебюсси к Шенбергу, от импрессионизма к экспрессионизму в русской музыке, так же как и в живописи, проследить трудно. Тем не менее отметить его следует вовсе не для одного удобства развиваемой нами схемы. Объективным свидетелем этого перехода является музыкальный критик XX в., В.Г. Каратыгин (1875-1925). Интересно сравнить его отзывы о Дебюсси и о Шенберге. Характеризуя

музыку французского автора оперы "Пелеас и Мелизанда", Каратыгин спокойно отмечает его "музыкальный импрессионизм", "полумысли, получувства, полутени, каждое созвучие овеяно дымкой тайны, ирреальности. Повсюду полутона, полукраски. В оркестре на первый план выдвинуты инструменты, дающие "романтические", заглушенные звучности: гобой, фагот, засурдиненные валторны, альты, пассажи арф и флажелеты струнных инструментов применены в изобилии. Речь до крайности пониженная и ослабленная в разнообразии ее мелодических контуров. Голос нередко подолгу стоит на одной и той же ноте или движется по небольшим интервалам" и т.д. Таково впечатление от Дебюсси. А вот впечатление от Шенберга, приехавшего в Россию в 1912 г. и лично познакомившегося с Каратыгиным. Критик готов назвать Шенберга "гениальным", но отказывается осознать его приемы логически. Он чувствует, что тут пределы "импрессионизма", но не знает никакого другого определения. Его это волнует и беспокоит. Имя Шенберга он называет рядом с именем Стравинского. "Стравинский, наряду с германским новатором Шенбергом, подобрался к крайним предельным точкам звуковой изощренности и нервности, почти судорожной. Не их ли именами, именами Шенберга и Стравинского, завершится круг импрессионистского развития для всей европейской музыки? Не заказаны ли для импрессионизма пути дальнейшего его извращения?" Это написано по поводу исполнения "Весны Священной" Стравинского в 1914 г. Но уже в 1912 г. Каратыгин рассказывает нам о постепенном приятии музыки Шенберга в России. "Ярких и убежденных новаторов встречают смехом и свистом. Так было и с Шенбергом за границей и у нас... Год тому назад (то есть в 1911 г.) в зале стоял гомерический хохот, когда "Вечера современной музыки" впервые демонстрировали петербужцам фортепианные пьесы опуса-11 Шенберга (1909, экспрессионистские). Недавно... исполнялся превосходный квартет ор. 10 (1906 — первого периода Ш.) и был встречен уже более мягкой обструкцией... Но вчера не свистали, даже немало хлопали" (исполнялась симфоническая поэма Шенберга "Пелеас и Мелизанда", 1902 г. — в первой манере Ш.). Стоял на эстраде "маленький человечек с голым черепом, горящим беспокойным взором, нервными, странными жестами, сохраняющий свою жуткую, странную страстность и стремительность даже при самых размеренных движениях... весь подвижный, как ртуть... выходец со страниц волшебных сказок Гофмана или зловещих новелл Эдгара По". И критик, отмечая недостатки музыки Шенберга, подчеркнул и "огромное дарование, которое чувствуется в каждом отдельном такте, в этой богатейшей тематической изобретательности, в убедительной смелости гармоний, в первоклассном мастерстве декоративной полифонии". Шенберг — "лаконичен, глубоко оригинален, безумно смел, но в то же время железно логичен". Для нас важно отметить, что

по поводу этой рецензии Стравинский написал Каратыгину из Clarens, 13-26 декабря 1912 г., где он заканчивал "Весну Священную", следующие строки. "Увидел я из ваших строк, что вы действительно любите и понимаете суть Шенберга, этого поистине замечательного художника нашего времени. Поэтому думаю, что вам небезынтересно было бы узнать его самое последнее сочинение, где наиболее интенсивно явлен весь необычайный склад его творческого гения. Я говорю о недавно слышанном мною в Берлине и Dreimal Sieben Gedichte aus Albert Giraud's "Lieder des Pierrot Lunaire" für eine Sprechstimme, Klavier, Floete (auch Piccolo), Klarinette (auch Bassklarinette), Violine (auch Alto) und Violoncelle. Вот что вам — "современникам", следовало бы сыграть. А быть может, вы с ним познакомились уже, и он вам сам рассказал об этом, *так же, как и мне*".

Запасшись этими фактами личного влияния Шенберга и его высокой оценки Каратыгиным и Стравинским, мы можем вернуться к характеристике нового периода творчества Стравинского, начавшегося после 1911 г.

Инстинктивно толпа слушателей, резко протестовавшая в 1913 г. против музыки "Весны священной" при ее исполнении в очередном сезоне "Русского балета", поняла, что тут сделан какойто новый, необычный шаг. Он мотивирован, конечно, самим выбором сюжета. От шуточной игры в восточное "варварство", которая пришлась по вкусу парижской публике в сказочной "Жар-Птице" сезона 1910 г. и в балаганном "Петрушке" 1911 г., композитор, следуя художнику (Рериху), попробовал перейти к изображению подлинного (то есть при всей стилизованности все-таки реального) доисторического примитива — не только — "варварского", но и "дикого". И он наложил на свою музыку соответствующие краски. Не доходя до политональности и атональности, до полиритмии и аритмии Шенберга и его учеников, Стравинский, однако, в своих гармонических и ритмических экспериментах идет очень далеко в этом направлении. "Со времени "Весны священной", — так определяет эту новую манеру поклонник Стравинского Коллар, — Стравинский освобождает ноту от понятия лада и тональности. Нота ré не будет больше служить тоникой для тональности ré мажор или ré минор, ни доминантой для тональности sol, ни септимой для тональности mi b. Она будет просто ré. Звуковые сочетания, группируемые около этого ré, будут более или менее близки к этой ноте... Аккорды, таким образом, построенные, смогут двигаться гораздо свободнее, позволять гораздо более многочисленные и разнообразные отношения, чем в школьной системе. Их тяготение к ré можно будет увеличить в огромной пропорции. Это ré составит *полюс притяжения* для всех других нот, и музыкальная эмоция будет стоять в прямом отношении к величине произведенного притяжения".

Такой прием дает зараз способ и освободиться от основной тональности, и вернуться к ней рано или поздно. Но в промежутке гармонический рисунок окончательно пропадает и получается впечатление стихийности. Этому впечатлению содействует и вольное обращение с ритмом, который может в четырех соседних тактах меняться из 4/8 в 5/8, 9/8 и 6/8, из 3/16 в 5/16, опять 3/16 и 4/16. Эффект очень нов и с непривычки трудно переносим; но не нов самый прием, который сводится к известному уже нам "раздеванию" гармонии — пока еще в пределах самого гармонического периода. Оркестр Стравинского еще блещет всеми красками; в нем выдвигаются резкие тембры духовых и медных инструментов. Но мы — уже в самом процессе перехода от старого к новому.

Новый период мы определили выше как возвращение от одностороннего преобладания гармонии в музыке XIX в. к мелодии. Стравинский, однако, силен именно в гармонии и в ритмике. Мелодической изобретательностью его искусство не блещет. Но ведь и мелодия в новейшей музыке — особенная. И новая стадия в творчестве Стравинского единодушно характеризуется музыкальными критиками как стадия перехода от вертикального гармонического письма к мелодическому линейному. Уже по поводу музыки на два стихотворения Бальмонта (1911) критики ставят вопрос о влиянии Шенберга. По поводу "Трех стихотворений японской лирики", положенных на музыку одновременно с окончанием "Весны" в том же Кларане (1913), Коллар указывает на прямые совпадения мелодий с Pierrot Lunaire и на одинаковое понимание роли оркестра (в "Японских стихотворениях" голос сопрано сопровождается аккомпанементом пикколо, флейты, кларнета-баса, пиано и струнного квартета). Конечно, правильно и указание того же Коллара на разницу в самом настроении обоих композиторов. "У Шенберга этот метод композиции диктуется внемузыкальными данными — желанием дать внешнее выражение патетической, встревоженной, романтической душе. У Стравинского — внимание обращено на данные чисто музыкального, звукового порядка". Так; подойдя к самому источнику экспрессионизма, Стравинский остановился, не найдя созвучных струн в собственной душе.

Как бы то ни было, с этого времени и импрессионизм à la Римский-Корсаков и эстетство конца века остаются позади. Правда, специальная задача "Соловья", законченного к сезону "Русского Балета" 1914 г. (начат в 1909), все еще держит Стравинского в роли иллюстратора сменяющихся на сцене живописных моментов — и для исполнения этой роли его оркестр продолжает играть всеми переливающимися красками и тембрами. Но Б.Ф. Шлецер недаром отмечает, что, собственно, именно с "Соловья" уже надо считать начало "мелодического периода" Стравинского и что "Соловей" в этом отношении представляется "чем-то вроде коридора, в котором Стравинский колеблется и

собирается с мыслями между двумя противоположными исходами, которые ему открываются": "игрой звучаний" или "преобладанием мелодичной идеи". Вместе с тем происходит и превращение композитора из русского в европейца. "Восток" в "Соловье", вслед за изменившимися вкусами публики, перестал быть русским или азиатским, он стал мнимокитайским. "Почвенность" исчезает, а за ней скоро исчезает и вообще экзотизм. Вместе с "Русским Балетом" Дягилева Стравинский окончательно европеизируется, и начинается период его влияния на французских молодых композиторов. Чтобы приобрести это влияние, с ними надо было заговорить на новом европейском языке музыки. В эту сторону и направляется теперь творчество Стравинского. Коллар выражает это так, что период стихийности закончился для автора "Весны Священной" и наступил период "канализации" собранных материалов и целевого употребления их. В этом периоде — 1914-19 — "рассудок берет вверх над вдохновением".

С усилением элемента рассудочности (который, конечно, не отсутствовал и в предшествовавших композициях) усиливается и элемент экспериментирования. В процессе экспериментирования музыка Стравинского становится на этот раз действительно "чистой", в смысле отыскания новых эффектов звуков, тембров, их неожиданных соединений. При этом, следуя общему направлению "новой музыки", которое к этому времени достаточно выясняется в Европе, Стравинский преимущественно экспериментирует над инструментами резко определенного тембра, далекими от переливчатости человеческого голоса и струнных инструментов. Даже у струнных инструментов (три пьесы для струнного квартета, 1914) он извлекает звуки, напоминающие духовые или ударные инструменты. Если он прибегает к человеческому голосу, то и его он утилизирует, как инструмент. В "Лисичке" (1916-17) голоса даже прямо передаются оркестру, а на сцене упражняются танцоры или акробаты, с оркестром позади[5]. Текст заимствуется из русских сказок и "Прибауток" (1914) или придумывается самим автором, в том же стиле. Но он большей частью совершенно бессмысленен и не играет никакой роли в музыке. Композитор не только не считается с естественными ударениями речи, но намеренно, в поисках новых ритмов и при широком употреблении синкоп, переставляет сильные и слабые части такта. Поиски нового стиля требуют и нового оркестра; вместе с заграничными товарищами поисков, Стравинский употребляет отныне камерный оркестр необычного состава, меняя соединения инструментов (преимущественно, духовые — деревянные и медные — и ударные) соответственно задаче эксперимента. Самые композиции нового типа сокращаются в размере. Все это отражается и на новых поста-

[5] Ср. Ueberbrettl и опыты Шенберга.

новках для "Русского Балета". Теперь уже не Стравинский служит целям Дягилева, а Дягилев — целям Стравинского. "Лисичка" (сезон 1922), "Свадебка" (сезон 1923, написана 1914-18) меняют стиль — а вместе и репутацию "Русского Балета".

В конце концов сам Стравинский как бы устает от непрерывного искания, плоды которого доступны немногим. Уже в "Истории солдата" ему удается связать утонченность поисков с легкостью и доступностью исполнения, — отчасти при помощи внесения танцевальных форм и ритмов, включая "Регтайм" (1918). С 1919 г., наконец, его искания опять принимают иное направление или, точнее, иные направления, и его присяжные почитатели и критики не поспевают за напряженными усилиями композитора уловить новые течения и удовлетворить новому вкусу.

Этот вкус направляется, как мы знаем, к воскрешению старых мастеров полифонического, доклассического периода. Дягилев как раз отыскивает в Миланской библиотеке рукописи одного из них, автора игривой Serva-Padrona Перголези (1710-36), родоначальника Opera Buffa. Это было как раз то, что могло пригодиться для "Русского Балета". И Дягилев предложил Стравинскому восстановить балет из обрывков рукописи. Стравинский создал *Pulcinella* (сезон 1920). Он, конечно, рассыпал и здесь перлы своей гармонии — и превратил переделку в самостоятельное произведение. Но, сохраняя дух неаполитанской веселой и лукавой шутки, он отказался от крайностей новой гармонизации и дал, вместо обычного анализа, нечто синтетическое, под знаком возвращения к классицизму. Коллар отмечает, что именно эта "универсальность" музыкального языка *Пульчинеллы* дала возможность Стравинскому повлиять на молодое поколение французских композиторов, для которых ни "Весна", ни "Свадебка" не были еще доступны. После возвращения к итальянцам последовало возвращение к русским. Опера-буфф "Мавра", написанная по заказу Дягилева для сезона 1922 г., посвящена, точно назло почитателям, критикам, Глинке, Пушкину, давшему материал для текста... Чайковскому, балет которого шел в этом сезоне! Синкопированные по-американски ритмы, частые модуляции, задержанные каденцы, полное исключение из оркестра струнного квартета, конечно, и здесь удаляют композитора от его образцов. Но он все же выдерживает тональность, допускает bel canto и снисходит до заимствования мелодий из русского, цыганского и итальянского источников. Для лозунга возвращения к классицизму произведение дает достаточные основания. А разлитой в "Мавре" иронией автор забронировал себя от обвинения в серьезном отступничестве.

Тем большее впечатление произвело демонстративное возвращение к классицизму в "Аполлоне Мусагете" и "Эдипе-царе" (оба произведения 1927), возвращение к Баху в фортепьянном концерте (1924) и опять к Чайковскому в "Поцелуе феи". Каж-

дое из этих произведений дезориентировало публику и критиков своими новыми приемами. Оркестр все сокращался (в "Эдипе" Стравинский вернулся к струнному оркестру), гармония упрощалась (критики уже заговорили о Люлли), стиль становился все прозрачнее, "динамизм" уступал место величавой неподвижности... Оставалось, по замечанию Шлецера, написать... мессу. А Стравинский вновь удивил почитателей "Поцелуем феи". Наконец, добравшись в самом деле до религиозного сюжета, он написал "Симфонию псалмов" (1930). Как бы зачеркивая всю длинную полосу своих экспериментов, Стравинский здесь вернулся к своему началу: к давно отвергнутому им оркестру красок, с которым он умел так искусно справляться в первый период творчества. Результат не замедлил сказаться: публика приняла исполнение "Симфонии" с давно не проявлявшимся энтузиазмом. Французский критик Лалуа по этому поводу подсмеивался над молодежью, увлекшейся экспериментами Стравинского. Что скажут восторженные последователи, наложившие на себя музыкальный пост вслед за Стравинским, теперь, когда он этот пост нарушил? Что будут делать знаменитости тесных кружков, салонная слава которых основалась на взаимных похвалах снобов, а не на серьезном изучении? Не пора ли понять им, что годы запустения концертных зал в военное безвременье прошли и что эти залы наполнились теперь новой публикой, с непредвзятыми вкусами — публикой, вовсе не склонной принимать на веру репутации, раздаваемые художественными алхимиками. Положение критиков действительно оказалось трудное. Б.Ф. Шлецер за "нарядной внешностью" "Симфонии", за ее наружной "мощью, звуковым великолепием, возвышенной красотой" обнаружил... пустоту содержания. Немедленное, непосредственное действие на публику он объяснил "обеднением субстанции" этой музыки. И Коллар закончил свою энтузиастическую книгу, посвященную анализу произведений Стравинского, удивленным и тревожным вопросом — именно по поводу "Симфонии": "Куда направляет Стравинский свои взгляды? В течение 25 лет его гений руководил музыкой в опасных теснинах, через которые надо было пройти, чтобы уйти от XIX в. Он вел ее на правильный путь. Теперь пускается в путь новое поколение. Творец "Весны", "Свадебки", "Симфоний" будет ли продолжать быть его гвоздем и кормчим? Некоторые признаки показывают, что уже более молодые ведут нас к новым горизонтам. Пойдем за ними, не оглядываясь назад. Пожелаем им и нам самим быть руководимыми человеком, который бы был так же велик, как Игорь Стравинский".

Но, следовательно, не им? Итак, вождю первой четверти XX в. суждено остаться позади? Ответ мы найдем в новейших протестах против "геометрической" музыки, которые приведены выше. Отказываясь от долговременного "поста", Стравинский, по-видимому, знал, что делал, и остался верен своему му-

зыкальному ясновидению. Пусть эта проницательность рассудочна, добыта не непосредственным чутьем, а долгим опытом: это только придает ей больше вероятности. Чтобы решить, чей прогноз более правдоподобен: Стравинского или недавних почитателей его крайностей — посмотрим теперь на поведение молодежи.

Здесь прежде всего нас встречает другое громкое имя в русской — и не только в русской — современной музыке, — имя Прокофьева. На десять лет моложе Стравинского, Прокофьев не только по возрасту, но и по своей натуре представляет другой, в некоторых отношениях даже противоположный тип. То, чего Стравинский добивается своей рассудочностью, долгим изучением, тщательной работой над партитурой, Прокофьеву дается как будто даром. Критики говорили про него, что он "поет, как птица". Слово "молодой", "жизнерадостный" прилагается к нему всеми, и с этим понятием так же единодушно связывается другое: понятие неистощимости его музыкального творчества. Как Гайдн и Моцарт, Прокофьев непосредствен, наивен, вечно молод, и, как они, он поражает своей плодовитостью. Насколько Стравинский протееобразен в своих постоянных мучительных превращениях, настолько продукция Прокофьева едина в своем стремительном потоке. И насколько мнения критиков о первом резко расходятся, настолько же они единодушны относительно второго. Стравинский только в конце процесса приходит к реставрации классицизма. Прокофьев в известном смысле классик по природе — классик с самого начала, как бы ни были капризны и причудливы внешние выражения его бурливой фантазии и как бы непосредственно он ни откликался на всякие новые моды. Это потому, что он не может не оставаться сам собой; всякая рефлексия и Grübelei чужды его натуре. Отсюда же, а не из снобизма проистекает и его молодой задор и его невинное желание эпатировать — но не вводить намеренно в заблуждение. Для протеста против всякого рода психологизма в музыке, против философии, метафизики, мистики Прокофьев был самым подходящим человеком, и ему посчастливилось выступить в то самое время, когда этот протест созрел и стал в очередь (примерно с 1909-11 г.).

В чем состоит "классицизм" Прокофьева? Прежде всего в отказе от употребления оркестра для красочных эффектов при помощи расчлененных тембров отдельных групп инструментов и в возвращении к оркестру как целому. Такой оркестр более способен к развитию и разработке тем в классической циклической форме, чем к углублению романтических настроений при помощи растекающейся мелодии на гармоническом фоне чувственных, разнеживающих аккордов. Оркестр Прокофьева возвращается от колорита к *рисунку*, который — уже в силу личной особенности прокофьевского дарования — выходит резким и терпким. Отсюда возможность резких контрастов, кру-

тых поворотов, восстановление в правах мелодии, которая так туго давалась ученой музыке и на которую так неистощим в своей изобретательности Прокофьев, поклонник "классика" Шуберта. Восстановленное равновесие между гармонией и мелодией освобождает и ритм Прокофьева от того утрированного употребления, которое он получил при "раздевании" музыки. Ритмы Прокофьева ясны и четки — и немало прибавляют к той ясности, общепонятности его творчества, которая так увлекает слушателей. Искусство Прокофьева не есть искусство "для немногих": оно возвращает музыку в большие залы и делает ее доступной для масс.

Конечно, все эти черты — не простая реминисценция классической эпохи. Прокофьев современен; он хочет жить жизнью своего времени — и полной жизнью. Начав с задорной "мальчишеской" иронии "Сарказмов" и с подражания "мимолетностям" современных поэтов, он усваивает себе динамизм эпохи, ее стремительность и "кинематографичность". Его здоровая энергия заражает, а его изобретательность в развитии тем не дает слушателю времени успокоиться в повторениях. Пишет ли он свою "Скифскую" симфонию, они отражает дерзкий блоковский вызов Европе, а не ужасающее коснеющее варварство "Весны священной". И даже его преклонение перед коллективным человеком Ленина ("Стальной скок") не приводит к рабству перед машиной. Но он вообще не застаивается перед поразившими его воображение темами — и разбрасывает свои перлы с расточительностью стихийной силы, не знающей пределов и удержу творчеству.

Не делая своим лозунгом "чистой музыки", Прокофьев в действительности ей служит. Ему не приходилось становиться в позу протеста против литературных и философских влияний в музыке, потому что эта позиция была уже завоевана ко времени его выступления. Но он воспользовался плодами этого завоевания — и отдал дань эпохе, выбирая смехотворные сюжеты для своих музыкально-сценических произведений. Сказка Гоцци ("Любовь к трем апельсинам", 1919), по крайней мере, дает обильный материал для музыкальной живописи. Но уже совершенно нелепа тема "про шута, семерых шутов перешутившего" (1920). Конечно, и тут спасает ссылка на Моцарта и на опыт более модерного Хиндемита, в свою очередь подражавшего Стравинскому.

Какое место занимает Прокофьев в той схеме эволюции новейшей музыки, которая повторяет аналогичную схему развития живописи? Мы назвали его (вслед за Л.Сабанеевым) "классиком" — термин, обыкновенно противопоставляемый "романтику". Но мы уже знаем условность этой терминологии. Вообще, со своим необузданным темпераментом, Прокофьев не умещается в рамках схемы. И все же сравнение его творчества с известным нам моментом в истории живописи не только воз-

можно, но и напрашивается само собой. При этом мы еще получаем возможность заполнить пробел, оставшийся при изложении эволюции Стравинского: пробел между экспрессионизмом и реставрацией прошлого. Мы знаем, что в живописи этот пробел заполняется не только отрицательным протестом против бесформенности экспрессионизма, но и положительными попытками восстановить, вместо этой бесформенности, рисунок и твердую форму. Творчество Прокофьева дает нам возможность и в данном случае распространить на русскую музыку схему, уже примененную немецкими критиками к музыке европейской. Уже цитированный выше критик Каратыгин провел интересующую нас параллель. В статье 1916 г. (в "Речи") он сравнивал Прокофьева с "наиболее искренними и талантливыми из наших кубистов и футуристов". Основная черта Прокофьева, возвращение к форме и рисунку от бесформенности и красок музыкального неоимпрессионизма, вполне оправдывает эту параллель. "Долой всяческую отточенность и изысканность, импрессионистскую (по-нашему, уже "экспрессионистскую") зыбкость и хрупкость, "вкусное" изящество и деликатность рисунка и колорита, и да здравствует полновесная сила, мощная энергия выражения, крупные линии, плотные, веские формы, насыщенные краски". Так формулирует дух этого протеста Каратыгин. "Пусть и у него (Прокофьева), и у них (футуристов) боевой азарт и страстность исканий "новых берегов" приводит к тому, что сила зачастую обращается в грубость, плотность и увесистость, а насыщенность колористическая в резкость, в красочное варварство. Сильная реакция неизбежно сопряжена с крайностями". Конечно, окончательная манера Прокофьева тоньше и шире этой характеристики, скорее основанной на его раннем гротескном стиле. Но общий тон характеристики остается верным и для созревшего Прокофьева. Есть типы творчества, которые навсегда связываются с понятием молодости. И недаром фигура Прокофьева напоминает физически того здорового парня с буйными нравами "уличного мальчишки", кубиста, футуриста или "лучиста" Ларионова, которого, вероятно, и имел в виду Каратыгин в своей ссылке на "наиболее талантливых и искренних" художников этого направления.

Новейшее поколение русских молодых композиторов выросло под влиянием Стравинского и Прокофьева. Но оно уже не пережило тех процессов "раздевания" музыки, через которые прошли оба эти мастера, и не приняло личного участия в этих процессах. Оно приступило к самостоятельной работе, когда и у самих этих вождей влияния первого двадцатилетия XX в. были уже в прошлом. Таким образом, это молодое поколение могло шире взглянуть на задачи и методы новой музыки и воспользоваться всеми приобретениями, как своих непосредственных предшественников, так и вождей предыдущих периодов, "гармонического" и "классического", ярыми противниками кото-

рых явилась молодежь начала XX в. Конечно, при этом сказывается и преимущественное влияние здравствующих и продолжающих работать учителей. Чтобы привести отдельные примеры, назовем только несколько имен молодых композиторов, уже получивших известность в музыкальном мире. Так, Маркевич является по преимуществу последователем Стравинского — включая, однако, и его новейшую эмансипацию от крайностей "новой музыки". Н. Набокова можно скорее признать последователем Прокофьева, проявляющим наряду с модернистскими увлечениями также и темперамент, и непосредственность вдохновения учителя. Самый молодой из этого поколения, Юлий Крейн, сын Александра Крейна, проявляет независимость от обоих русских мастеров и следует — поскольку вообще следует — более старым романтикам и классикам музыки. Конечно, пути всей этой музыкальной молодежи только начинают выясняться; только будущее определит их окончательный облик.

Музыка в послереволюционной России представляет картину трагического распада. Среди него с трудом пробивается молодая поросль, которая вовсе не подходит притом под понятие "новой" — в смысле созвучности окружающей ее современности. Отчасти этот распад вызван теми же причинами, с которыми мы знакомы в области литературы. Как там, так и тут крупнейшие деятели предреволюционной эпохи эмигрировали за границу. К акклиматизировавшемуся уже там Стравинскому присоединились Рахманинов, Прокофьев; уехали Гречанинов, Метнер. Нашли широкое применение своему искусству талантливые дирижеры, Кусевицкий, Купер, певцы и певицы, как Шаляпин, Кошец и целая плеяда оперных исполнителей, виртуозы-пианисты, как Боровский, Орлов, Софроницкий, Горовиц, скрипачи — Ауэр, Могилевский, Ц.Ганзен, Любошиц, Пресс, виолончелисты — другой Пресс, Гарбузова, Белоусов и т.д. Те, кто остался, вынуждены были вести полную лишений жизнь и жить впроголодь, в шубах и перчатках, в непротопленных помещениях. Чтобы как-нибудь пополнить свой заработок, они пользовались короткими досугами от обязательной служебной работы для полуобязательных слушателей и "халтурили", потрафляя пониженному вкусу некультурных аудиторий. Когда начался НЭП и художественные предприятия, как другие, были переведены на "хозяйственный расчет", обнаружилось другое горе. Для "квалифицированного" исполнения утонченной модернистской музыки не хватило подготовленных слушателей; серьезные концерты не окупались, и новая продукция этого рода музыки могла предназначаться лишь для самого тесного круга "своих", без малейшей надежды на публикацию, а для более широких музыкальных форм — даже и без расчета на исполнение. Составлять оркестры становилось все более трудным, так как, хотя исполнители на струнных инструментах продолжали изобиловать, но духовые инструменты, как гобой, флейта

и медные, не привлекали новых исполнителей, а старые вымирали. Кроме того, среди оркестровых исполнителей новый демократический дух проявился в отрицании прав дирижера ограничивать свободу рядовых оркестрантов, и была сделана в 1922 г. попытка организовать оркестр без дирижера ("Первый симфонический ансамбль" или, сокращенно, "Персимфанс"). Предприятие имело успех, пока сохранялся первоначальный энтузиазм и разыгрывались старые вещи; но на разучивание новых не хватало ни охоты, ни дисциплины.

Основным противоречием, губившим новые всходы, было противоречие между "социальным заказом" на самую новую музыку для победившего "пролетариата" и предложением, упорно державшимся за достижения прошлого, хотя и самого недавнего. Эти достижения удовлетворяли *прежнему* "социальному заказу" — утонченному и упадочному вкусу московских меценатов, поощрявших небывалые сочетания новых слов, красок и звуков. Но доступные немногим, они были непонятны для сырой, неподготовленной массы. А "оздоровлять" упадочное искусство было некому. Вначале, в период военного коммунизма, сделана была попытка культивировать самое новое течение в музыке — в предположении (как это было и с футуристами), что оно и есть самое революционное. В этом духе пробовал *командовать* музыкальным делом А.С. Лурье. Но недоразумение скоро выяснилось. Стало видно, что для этого рода музыки просто нет слушателей, а для наличных слушателей нужно что-то другое, более простое, ритмичное, певучее и веселое. На этой почве и расцвели "халтуры" голодных артистов, потрафлявших вкусам толпы. Кроме "социального заказа" был еще и правительственный заказ на агитационную правительственную музыку для торжественных случаев. Но для агитации в музыке, как и в литературе, нужна была упрощенная форма музыкальных Демьянов Бедных. Поставщики, конечно, нашлись. Курьезным образом таковыми оказались представители самого консервативного рода музыки — церковного пения, а также те мастера, которые и при прежнем режиме поставляли всякие коронационные кантаты, торжественные марши и праздничную музыку (Кастальский, Сахновский, Юрисовский, Слонов и т.д.). Не мудрено, что настоящие художники звука замкнулись в себе и, не откликаясь на рыночный спрос, продолжали работать в старом направлении, хотя и с новыми поправками.

Каково это направление, мы отчасти знаем. Прежде всего, революция не застала какого-либо *одного* направления, которое бы господствовало в музыке. Это была, как мы видели, пора исканий под общим знаменем новаторства. Положительные стороны исканий определялись скорее путем отталкивания, чем путем притяжений. Это было, во-первых, отталкивание от наиболее доступной публике музыкальной формы — оперы. Опера осуждалась как искусственная, условная, смешанная форма,

вовсе не удовлетворяющая ни требованиям реалистического искусства, ни требованиям свободного вдохновения. Уже до революции молодые композиторы перешли к симфонической и камерной музыке. После октября это отчасти вызывалось и тем, что казенная опера обеих столиц (Большой и Марринский театры) осталась, в сущности, в руках старой администрации, вовсе не склонной поощрять новаторов и предпочитавшей "новые" постановки старых опер, вроде "Фауста" или "Кармен". Не стоило писать музыку, заведомо осужденную остаться в портфеле автора. Опера в национальном духе притом же считалась вышедшей из моды, а новых доступных массе сюжетов и форм как-то не находилось.

С другой стороны, не манили и грандиозные, монументальные, героические темы, подсказывавшиеся исключительными событиями. Революция еще не успела обрасти поэзией и легендой; а воспеть ее в сыром виде ученому музыканту было не так легко, как самоучке-литератору. Не привлекала больше и грандиозность замыслов в скрябинском роде. Не говоря уже о том, что для таких заданий нужно было наивное самомнение Скрябина, мистика была теперь вообще не ко двору. Сабанеев очень характерно описывает это настроение "дескрябинизации" музыки советского периода. "Мы убедились, — пишет он, — что ничто не стареет так быстро, как "новизна", и что нет ничего старее, чем новизна вчерашнего дня... После скрябинских утонченностей, после его мистических экстазов... мы получили стремление к культуре настроений лапидарных, грубоватых, комических, гротескных. Хотелось чего-то свежего, яркого, живого, радостного после болезненно-напряженной атмосферы, исступленной, могуче захватывающей, но в итоге нездоровой. В Скрябине не чувствовалось чистого воздуха, в нем был экстаз запертого и задушенного фимиамами жертвенника колдуна, гашишный, опиуматический экстаз, после которого наступал мир галлюцинаций. Лозунг был -"к здоровью". Мы видели, что в литературе это самое настроение выразилось в возвращении к художественному реализму. В музыке это было не так просто. "Естественный путь, — продолжает Сабанеев, — намечался во вражеский стан музыкальной реакции, к Метнеру, в объятия ретроспективности и академизма". Но этот путь был чересчур уже дискредитирован самими новаторами, и мы получили картину блуждания творческой мысли, какое-то неоформленное состояние, в котором можно констатировать присутствие иногда больших творческих порывов, но в котором органически нет мощи и цельности. Отсюда и характерная черта новейших советских композиторов: при очевидном нежелании "оформиться" в сторону революционных исканий какая-то крайняя сдержанность в высказываниях и намеренная неопределенность. Сабанеев называет трех авторов как занимающих первые места в рядах музыкантов-творцов в современной России: Н.Я. Мясков-

ского, С. Фейнберга и А. Александрова. В виду их малой известности за границей я буду держаться характеристик Сабанеева (который, надо прибавить, сам занимал среди советских композиторов, вместе с Н. Рославцем, крайнюю левую позицию). Мясковский (1881), автор восьми симфоний, ученик Глазунова и Римского-Корсакова — товарищ Прокофьева по консерватории, но его антипод по настроению, болезненно-меланхолическому, мучительно-тревожному, наложившему и на его музыку печать темноты и неясности. По манере письма он разделяет умеренность, которая характеризует "творчество воспитанников Петербургской консерватории". Его музыка, серьезная, владеющая техникой, но не блещущая яркой индивидуальностью, "мастерски балансирует между модернизмом и консерватизмом". С Чайковским роднит его лирический пессимизм, "мрачность без героизма, но с ужасом". Но ему не чужды и другие влияния, от Дебюсси и Скрябина до Моцарта и Грига. Это и делает его "протеем" в музыке, — творцом, лишенным индивидуального стиля. Программы своих симфоний он хранит про себя, давая "мрачные загадки без разгадок". Таково, например, соединение в финале шестой симфонии погребального хора раскольников с революционным темами в оркестре. Его фортепьянное творчество так же проникнуто мрачным колоритом и "так же чуждо резким вывертам современности, не приемлет крайностей".

С.Фейнберг (1889), пианист и композитор для фортепиано, — другой сын нервного конца века, заблудившийся среди нового, прозаически настроенного поколения. Это, по характеристике Сабанеева, "музыкальный визионер, окруженный вечно исступленными призраками, которые им управляют". Его творчество — "больная, страшная музыка, от которой ни автору, ни слушателям не поздоровится". Его неясность "приобретает характер почти клинический, какой-то уже физиологический". С такими свойствами он ближе других к Скрябину, которым увлекался в годы расцвета его славы. Но у Фейнберга нет "титанической" *позы* Скрябина и его потуг на "величие духа". Он — скромнее и целомудреннее; в его сонатах, напоминающих Шумана, нет ничего "космического". Его гармонический материал тоже "проще"; у него "нет острой и пряной, утонченной и исступленной эротики, нет растворения в звучаниях", нет вообще места для лирики в стремительном беге его композиций, не знающих медленных темпов и ритмов. Вот этот, наконец, быть может, "связан" с революционной "современностью"? Да, но эта "связь" и придала его музыке полупатологический характер, "отразила кошмарность и фантастичность жизни"... Фейнберг — мистик, и в музыке он, запоздалый романтик, продолжает искать недоступных земному ощущению звуков. Он пишет для себя, и его семь сонат — произведения чрезвычайной трудности, мало известны за пределами тесного круга друзей.

Наконец, А. Александров (1889) — на этот раз "спокойный мастер", типичный "ретроспективец", "тщательный выделыватель музыкальных миниатюр", наиболее родственный по духу Метнеру. Он "менее всего затронут стихийным воздействием революции"; он "невозмутим в своем академизме", и этот академизм "уже не на брамсовско-классической подпочве, а на новой, скрябино-метнеровской".

Далее Сабанеев называет группу национальных еврейских композиторов, М. Гнесина и двух Крейнов, Александра и Григория. У первого тоже "невыявленность его физиономии, какая-то общая неопределенность мешает узнавать его лицо". Отчасти это объясняется его бесстрастностью, его "ученым" подходом к созданию национальной еврейской музыки. Гнесин попытался написать и "революционную" симфонию на слова Сергея Есенина, положил на нее много труда, но требуемого большевиками "монументального" стиля не создал: в пьесе говорит скорее ученик Корсакова и последователь русской национальной школы, чем революционный новатор, У Григория Крейна тоже "революционные годы мало наложили отпечатка на общий стиль его композиций". И только А. Крейн как будто склонен "выйти из интимной среды в более широкую". В противоположность Гнесину он горяч и страстен. Он начинает с Ребиковского "революционного" отрицания музыкальной традиции. Но он "глубоко национален". В нем кипит восточная кровь расы, создавшей "Песнь Песней". И от Равеля и Дебюсси он переходит к мелодиям древней синагоги, в которые вносит свою динамичность и эмоциональность. Он слишком реалист, чтобы остаться неоимпрессионистом.

Как мы видим, все выдающиеся композиторы, названные выше и продолжавшие работать в СССР, суть продукт иного влияния, а не влияния октябрьской революции. Все они родились в 80-х гг., и их творчество складывалось под влияниями, господствовавшими на рубеже столетий. Радикализм того времени был специфически художественным — и специально музыкальным радикализмом. Самая сущность известных нам крайних течений, направленных к освобождению музыки от литературных, философских и т.п. ассоциаций, скорее отдаляла новаторов от политики, чем приближала к ней. При таком настроении наиболее талантливых художников советской России, они, конечно, не могли поставить своей задачей создать ту "монументальную", героическую, грандиозную новую революционную музыку, которой требовала политика коммунистов. Но мы уже упоминали, что и здесь нашлись сторонники крайних течений в музыке, которые попытались связать себя с крайними течениями в политике и на этом словесном недоразумении основать свое влияние при новом режиме. Самым выдающимся из таких "попутчиков" был Н. Рославец (1880), музыкальный Маяковский, создатель своего собственного "формального" ме-

тода в музыке, деловой "специалист музыкального дела", стремившийся регламентировать музыкальное творчество согласно законам собственной теории. Объявив себя позитивистом и марксистом, Рославец высмеивал "душу музыки" и сам писал бездушную, формалистическую музыку по строгому "научному " рецепту, гораздо более сложному, чем скрябинская практика, послужившая ему исходным пунктом. Его доктрина, рассчитанная на тесный круг "знатоков формального совершенства", очутилась, однако, в таком же противоречии с лозунгом советского режима "музыка — массам", как и доктрина "формалистов" в литературе. Для рабочих клубов надо было писать совсем иную музыку, и самому Рославцу пришлось сильно упростить свой музыкальный язык в своих "революционных произведениях". Противники его тотчас заметили, что Рославец "сражается сам с собой, опровергая своей кантатой "Октябрь" то, что он написал ранее". И Рославца ждала судьба литераторов-формалистов. Более посчастливилось другому музыкальному алхимику, Болеславу Яворскому — Переверзеву советской музыки. Свою теорию музыкального "тяготения", на которой он построил объяснение ладов, Яворский имел возможность преподавать в музыкальных учебных заведениях, где она была сделана обязательной. У него оказалось, благодаря этому, большое количество учеников, и одно время вся музыкальная молодежь разделилась на два лагеря — "явористов" и "антиявористов" (как это было и со школой Переверзера). Но Яворский не мог дать примеров, которые бы доказали превосходство его теории, а его ученики (из них более выдаются Мелких и Протопопов) были связаны по рукам и ногам тысячью и одним мелочным предписанием его эзотерического учения. Однако же писать музыку надо было спешно — и писать надо было просто, удовлетворяя спешному заказу на доступную массам музыку. И тут на помощь властям пришли другие, подготовленные предыдущим режимом и способные приспособиться к новым требованиям, второстепенные композиторы. А. Острецов в обзоре за 1928 г. отмечает, что "такие композиторы, как Г. Лобачов, Д. Василий Буглай, К. Корчмарев, раньше других отозвались на запросы масс и на деле сумели показать, в каком направлении и как следует работать". Эти представители "рабочего направления" ведут "войну с эстетизмом импрессионистского толка, с искусством чистых самодовлеющих форм". Лобачев пишет "для хоровых коллективов" четко-графичные вещи, с "твердой, уверенной ритмичной поступью", с "горячими" концовками трубных фанфар", на тему "Зов мятежный", "Песня победная", "Стройтесь в шеренги", "Марш рабфаковцев" и т.д. Корчмарев, "внешне более связанный с корсаковскими традициями, тем не менее также стремится "интесифицировать показ общественного отношения человека к действительности" — и пишет такие "характерные" вещи, как "Паровоз С. 15" или "Комсомольская чехар-

да". Но обозреватель все же признает, что "осоветизация попутчиков есть глубоко сложный и трудный процесс". "Чары Дебюсси все еще владеют умами", и "французские тяготения тех же Лобачева и в еще большей мере Корчмарева — факт". Насколько трудно положиться на этих "старших", видно из примера Артура Лурье, декадента и неоимпрессиониста, одного из пионеров "ультра-хроматической" музыки в четверть тона, который сперва попал в комиссары от музыки — и в этом звании диктаторствовал, а потом оказался в Париже. Те же оговорки надо отнести и к Золотареву (1873), ученику Римского-Корсакова и члену кружка Беляева, заменившего разложившуюся "кучку", к Глиеру, Ипполитову-Иванову и т.д. Больше надежд коммунисты возлагают на "композиторский молодняк", который "идет экспериментальным путем, пробуя свои произведения на эстрадах рабочего клуба". "Таковы В.Белый, Чемберджи, А.Давиденко, С.Клячко, Коваль, З.Левина и др."

Несомненно, социальный переворот, приблизивший низы к верхам, дает и музыке новые возможности, которых она не имела в эпоху эстетских салонов. Рабочие массы хотят и требуют музыки — и не только музыки своих прежних "частушек". Тот же обозреватель отмечает, что "Ярославна от станка", "Маргарита"-текстильщица или "Фауст-деревообделочник" "смело ставят в рабочих поселках и "Князя Игоря", и "Русалку", и "Кармен". Другие, под девизом "Назад к Бетховену, ибо он был революционер", ставят в Днепропетровске "Фиделио" и финал Девятой симфонии. За отсутствием новой подходящей музыки приходится выбирать из старого репертуара. Советское радио прибегает даже к передачам музыкальных программ заграничных станций. Конечно, все это должно оказывать влияние и на выбор направления новым поколением композиторов. Какое же направление будет избрано? Некоторый ответ на это дает триумф Прокофьева и громадный успех его музыки в советской России. Бодрая, молодая, понятная — таковы реквизиты, осуществляемые Прокофьевым.

Но, конечно, тут есть и другая сторона, ставшая особенно чувствительной, как и в других отраслях искусства, вследствие политики Сталина. Музыкальные объединения (имеется, например, "Ассоциация пролетарских музыкантов", издающая свой орган "Пролетарский музыкант" и др.) зорко следят за созданием "музыки политически благонадежной" (выражение упомянутого обозревателя). "Советская установка музыки ... все более дифференцируется", как и все другие целевые "установки". Между журналом Рославца ("Музыкальная культура") и "Пролетарским музыкантом", например, происходит острая полемика по этому самому поводу. "Когда Ассоциация наша, — рассказывает "Пролетарский музыкант", — вступила в борьбу с левым фразерством (Рославца), Художественный отдел Главнауки, призванный руководить художественными организациями и

учреждениями, осудил эту позицию Ассоциации". Ассоциация обвинялась именно "в недооценке достижений европейской и русской музыки последних десятилетий и в переоценке классической музыки". Тогда собрался "пленум" Ассоциации и 28 октября 1928 г. постановил считать правильным "взгляд ВАПМ на современное *буржуазное* музыкальное творчество как на творчество, в основном упадочное". Эта ссылка на "буржуазность" новой музыки подействовала. Главискусство собралось и 9 марта 1929 г. вынесло иное постановление: "Считать, что непримиримая борьба Ассоциации с влиянием на нашу молодежь со стороны упадочной буржуазной музыки — а также пропаганда Ассоциацией лозунгов необходимости учебы (Рославец предлагал "решительно покончить с багажом школы") в первую очередь у *близких нам* композиторов прошлого (Бетховен, Мусоргский) — является особенно ценным в ее деятельности". Конечно, "сходящий с исторической сцены" Рославец не сдался. За него выступил товарищ Блюм (Садко), который объявил Бетховена "отжившим стариком", а творчество Мусоргского — "достоевщиной". Значит, надо учиться у "утонченного, салонного, архибуржуазного Дебюсси", язвила Ассоциация. Затем заведующий отделом искусств Логинов запретил прочтение по радио доклада Ассоциации, выражавшего ее мнение. Ассоциация приняла и этот вызов и задала Логинову строгий вопрос: "Известны ли ему взгляды на искусство современной буржуазии Ленина, Плеханова, Воронского, Меринга, Луначарского, разделяет ли он эти взгляды и если нет, то что он, Логинов, может противопоставить этим взглядам?" ("Пролетарский музыкант" 1930, № 1). Так ведется в СССР принципиальный теоретический спор. В этом же роде журнал следит за "перевоспитанием попутчиков" и записывает в кондуит "прорывы". Заподозренные отвечают ему "порицаниями". В составе антагонистов "Пролетарского музыканта" и защитников новой музыки оказывается при этом вся вышеназванная музыкальная молодежь. Словом, создается атмосфера, которая объясняет нам, почему подлинные художники замолкают, пишут "для себя" и т.д. Состав среды, прикосновенной к музыке, действительно "дифференцируется", то есть происходит то же, что мы наблюдали в области литературы и в других областях искусства.

БИБЛИОГРАФИЯ

Общие руководства по истории музыки см.: З. Дуров, *Очерки истории музыки в России*, приложенные в виде отдельных глав к *Руководству к изучению музыки* Доммера (М., 1884); Перепелицын, *История музыки в России* (СПб., 1889) и Сакетти, *Очерке всеобщей истории музыки*, гл. 49-53 (СПб. 1891). См. также Saubies, *Histoire de la musique en Russie*, внешний перечень факторов, с иллюстрациями (Paris, 1898). К сожалению, я не мог пользоваться издаваемой в СССР работой Н.Ф. Финдейзена, *Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII в.*, в 2-х т. с иллюстрациями и нотами. О древ-

нейшей народной и церковной музыке см. Д.В. Разумовский, *Об основных началах богослужебного пения православной греко-россиiской церкви* в Сборнике на 1866 г., Изд. Общество древнерусского искусства при Моск. публичном музее. Ряд статей Разумовского, кн. Одоевского и др. в *Трудах Первого археологического съезда в Москве*, т.II (М., 1871). Также статью Кн. Одоевского в "Каликах-Перехожих", П. Бессонова и статьи из "Сочинений" Стасова *О демественном и троестрочном пении*, Т. III. Новые работы использованы в общем очерке 1913 (8-й том серии Yohannes Wolf, *Handbuch der Notationskunde*; Theil I. *Tonschristen des Alterthums und des Mittelalters* (Leipzid, "Kleine Handbücher der Musikgeschichte nach Gattungen, hg. von Hermann Kretschmar). Работа Оскара фон Риземана *Die Notationen des Alt Russischen Kirchengesanges* издана отдельно у Брейткопфа и Гертеля. Дальнейшие указания см.: Е.М.Браудо, *Всеобщая История музыки до конца 16 века*, т.I, Госизд. (СПб., 1922). Сжатое популярное изложение истории церковной музыки, сделанное знатоком предмета см. в книге А.В.Преображенского *Культовая музыка в России*, Росс. инст. ист. искусств, изд. Academia (СПб, 1924). О пятитонной гамме см. брошюру А.С. Фаминцына, *Древняя индокитайская гамма в России и Европе*, с особенным указанием ее проявления в русских народных напевах (СПб., 1889). О зачатках многоголосия в русской народной песне см. *Русские песни*, непосредственно с голосов народа записанные и с объяснениями изданные Ю.М.Мельгуновым (М., 1879). Восстановление многоголосной песни по фонографическим записям см.: ст. Е.В. Гиппиус, *Крестьянское искусство СССР*, *Искусство Севера*, т.I. *Заонежье*, т.II. *Пинежско-мезенская экспедиция* (Academia, 1927). О периоде до Глинки см.: Сборник истор. работ И.Т.И.М. *Музыка и музыкальный быт старой России*, т. I. *На грани XVIII и XIX столетий* (Academia, 1927); ряд солидных исследовательских работ Б.В. Асафьева, А.Н. Римского-Корсакова, В.А. Прокофьева, А.В. Финагина, А.В.Дружинина. Сведения о старой опере в России см.: Всеволод Чешихин, *История русской оперы* (с 1674 по 1903 г), 2-е испр. и доп. изд. Юргенсона (М., 1905); Ц.А. Кюи, *Русский романс* (СПб., 1896); *Русский романс* (Academia, 1930). Сборник статей под ред. Б.В.Асафьева, *О новой русской музыке*. См. хронику В. Стасова и его биографии Глинки и Мусоргского в III томе сочинений. Прекрасно составленные биографии Глинки, Даргомыжского и Серова с вступительной статьей о русской музыке до Глинки см. в т. I. Oskar von Riesenmann, *Monographien zur Russischen Musik* (München. Drei Masken Verbag, 1923). Второй том этих монографий целиком посвящен Мусоргскому. Там же: К.Чернов, *Эстетико-тематические разборы "Жизни за Царя" и "Руслана и Людмилы"*, изд. Юргенсона (М., 1907 и 1908). Н. Финдейзен, *Биографии А.Н. Серова*, изд. Юргенсона, 2-е изд. (1904); *Н.А. Римского-Корсакова*, Изд. Бесселя (1908). Н.А.Римский-Корсаков, *Летопись моей музыкальной жизни*, Под ред. и с доп. Андрея Римского-Корсакова, Госизд. (М., 1928). См. также биографии композиторов русской школы, составленные П. Трифоновым в "Вестнике Европы" (Даргомыжского (1886, I-II), Бородина (1888, X-XI), Римского-Корсакова (1891, V -VI), Мусоргского (1893, XI). След влияния Мусорского за границей сказался в монографии Pierre d'Alheim *Moussorgski* (Paris, 1896). См. также: В.В.Березовский, *Русская музыка*, критико-исторический очерк национальной музыкальной школы в ее представителях (СПб., 1898). Ю.Энгель, *Очерки по истории музыки*, изд. Клочкова (1911). О новой музыке за границей см. Das neue Musiklexikon, nach dem *Dictionary of Modern Misik and Musicians* hgb. von A. Eaglefield-Hull übersetzt und bearbeitet von Adfred Einstien (Berlin, Max Hessen Vevlag, 1926). (статьи о русских композиторах Б.Ф. Шлецера, Виктора Беляева и Calvocoressi) и его же новое двухтомное издание *Musiklexicon Riemann'a*. Интересно составлен *Cobbet's Cyclopedic Survey of chamber Musik* (статьи о русских композиторах Л. Сабанеева, А. Лурье, Н. Финдейзена, Виктора Беляева, Calvocoressi и издателя), с тематическим анализом, тт.I и II (Oxford Univ. Press, 1929-1930). Paul Bekker, *Neue Musik* (Deutche Verlag, Anst., 1923). Сборник статей, Изд. "Мелоса" (Melosbücherei): Baendchen

1. Haus Mersmann, *Die Tonsprache der neuen Musik*, mit zahlreichen Notenbeispielen (1930); Baendchen 2. Heinz Tiessen, *Zur Geff der Iüngsten Musik*, 1913-1918 (Melosverlag, Meinz, 1928). О влиянии упомянутых в тексте открытий Гельмгольца (натуральные обертоны) на новую музыку. см. Auguste Laudel, *La voix, l'oreille et là musique, Bibliotheque de philosophie contemporaine* (Paris, 1867). О развитии современного оркестра см. книгу: L. Coerne, *The evolution of Modern Orchestration* (N.Y., Macmillan, 1908). Манифест Ферруччо Бузони переиздавался неоднократно. Я пользовался 2-м изд. *Entwurf einer neuen Aestbetik der Tonkunst* (Jnsel-Verlag, zu Leiprig). О русской музыке новейшего периода см. работы Л. Сабанеева, *Всеобщая история музыки* (М., 1925). Его же, *История русской музыки* (М., 1924); *Музыка после октября* (1922). Все изданы "Раб. Просв.". Его же, *А.Н. Скрябин* (М., 1922). И записи Скрябина (изд. Б.Ф.Шлецером в "Русских Пропилеях", т.6. (М., 1919) (немецкий перевод Alexander Skryabin, *Prometheische Phantasien*. (Ubersetzt und eingeleitet von Oskar Riesemann, 1924). *Ygor Stravincky par Boris de Schloezer* в серии "La musique moderne" (Paris. 1929). Paul Collaer, *Stravinsky*, Bruxelles. ed. "Equilibres". Сборник статей и биография В.Г. Каратыгина, *В.Г.Каратыгин*, изданы Гос. Институтом истории искусств (1927). О Прокофьеве см. статьи Игоря Глебова в сборнике программ *Персимфанс. Концерты 1926-1927 гг.*. Много интересных наблюдений собрано В. Друскиным, *Новая фортепианная музыка, Тритон* (Л., 1928). Статьи Острецова, Демьянова и Чемоданова и хронику музыкальной жизни за 1928 год. см.: "Ежегодник литературы и искусства на 1929 год".Изд. Комм. Академии (М., 1929). *Modern Russian Composers* by Zeonid Sabaneyeff (N.Y., Jnternational Publishers, 1927). Ряд талантливых портретов современных русских композиторов, начиная с Танеева, Рахманинова, Гречанинова и кончая младшими современниками, в СССР и в эмиграции. Характеристики не лишены преувеличений, метко схватывают преобладающие черты каждого.

ОЧЕРК ЧЕТВЕРТЫЙ
ШКОЛА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

I

ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Разница взглядов на образованность Древней Руси. — Грамотность старинного духовенства. — Советы Геннадия и решения Стоглавого собора. — Решения собора 1666-1667 гг. — Постепенное расширение понятия об образовании. — Грамматика и "свободные знания". — Программа православной школы в юго-западной Руси. — Киевская академия. — Взгляд на чтение и на "свободные знания" в Москве. — Попытки устройства школы в Москве под влиянием прений о вере. — Возобновление этих попыток под влиянием борьбы с расколом. — Школа Полоцкого и направление Славинецкого. — Полемика их учеников по поводу латинского и греческого языков. — Решительная борьба при Федоре и компромисс. — Латинская школа с греческими преподавателями. — Академия, как средство борьбы против религиозного вольномыслия. — Латинское преподавание Лихудов и их судьба.

Кажется, ни по одному вопросу нашей внутренней истории не существует такой разницы во мнениях, как по вопросу о роли школы и образования в Древней Руси. Тогда как одни считают существование школ до Петра — редким исключением, другие, наоборот, покрывают всю допетровскую Русь целой сетью церковно-приходских училищ. Одни признают Древнюю Русь чуть не поголовно безграмотной, другие готовы считать распространение грамотности обязательным и повсеместным. По мнению многих, вся наука наших предков ограничивалась часословом и псалтырем, между тем как, по мнению других, на Руси преподавалась вся средневековая энциклопедия "свободных знаний". Источники дают нам слишком мало сведений, чтобы можно было с их помощью доказать верность того или другого взгляда. Но весь контекст явлений русской культуры говорит скорее в пользу первого взгляда, чем в пользу последнего. Конечно, одно молчание источников само по себе не есть еще доказательство отсутствия в допетровской Руси правильной школы. Но и существования этой школы в Древней Руси отнюдь нельзя доказать при помощи тех косвенных показаний, которые подбираются защитниками того мнения, что допетровская Русь уже стояла на высокой степени просвещения. Чтобы доказать это свое положение, им приходится понимать *буквально* общие места древних житий, выводить *просветительную* де-

ятельность церкви из показаний о ее *благотворительной* деятельности, опираться при этом на толкования в этом смысле *поздних* и сомнительных источников (Степенная книга, Татищев) и, наконец, умозаключать о древнерусской педагогии на основании постановлений *византийских* и даже западных властей. При помощи этих методических вольностей упомянутая теория получает ряд показаний в свою пользу. Разбирать их здесь мы не можем; скажем только, что все эти показания перевешиваются совершенно бесспорными противоположными данными, о которых мы сейчас и напомним.

Мы не будем пока говорить об образовании, а лишь о простой грамотности. Не будем разбирать и степени грамотности *всего* населения (относительно которой никакие статистические утверждения невозможны) ограничимся лишь той частью населения, для которой грамотность была ремеслом, то есть древним русским духовенством. Если мы найдем, что даже *это* сословие долго не имело никаких средств достигнуть хотя бы простой грамотности, то этот факт сам по себе покажет, как мы должны судить об образовании других сословий Древней Руси.

Ряд свидетельств о грамотности старинного духовенства открывается известным уже нам показанием новгородского архиепископа Геннадия. Мы знаем то зло, против которого пришлось Геннадию бороться[1]; теперь познакомимся со средствами борьбы. Обращаясь к митрополиту Симону (конец XV и начало XVI в.), Геннадий убедительно просит его "печаловаться" перед государем, "чтоб велел училища учинити". "Мой совет, — прибавляет он, — учить в училище прежде всего азбуке, словам под титлом да псалтырю: когда это изучат, тогда уже можно читать и всякие книги. А то мужики-невежи учат ребят — только портят. Сперва он научит его вечерне, и за это приносят мастеру каши да гривну денег. То же полагается и за заутреню, а за часы — плата особая. Сверх того, даются еще поминки, кроме условленного магарыча. А отойдет (такой ученик) от мастера — ничего и не умеет, только бредет по книге. Нельзя ведь иначе постигнуть смысл книги, как выучивши азбуку да титла". Мы видим, что "мастера" — педагоги Древней Руси — умели натаскивать кандидатов в священство прямо с голоса, минуя хитрую науку грамоты. Сообразно практической цели такого обучения и содержание его состояло исключительно из зубрения наизусть важнейших церковных служб. В выучку шел, конечно, человек взрослый, а не ученик, и "мастер" обучал его не в школе, а с глазу на глаз, получая, по условию, свою плату за каждую вытверженную службу особо. Таким образом, правильное обучение азбуке, в правильно устроенной школе, оставалось

[1] "Земля, господин, такова: не можем найти, кто бы горазд был грамоте", — жалуется архиерею паства, приведшая к нему для посещения безграмотного священника.

во времена Геннадия идеалом даже в такой наиболее просвещенной части тогдашней России, какою была Новгородская область.

Прошло полвека после советов Геннадия, но его идеал все еще не сделался действительностью. На Стоглавом соборе те же жалобы повторялись чуть не слово в слово. По-прежнему кандидаты в дьяконство и священство "грамоте мало умеют", и, когда святители их "о том истязают с великим запрещением, почему мало умеют грамоте", им приходится выслушивать старый ответ. "Мы-де учимся у своих отцов или у своих мастеров, а *инде де нам учиться негде*; сколько отцы наши и мастера умеют, столько и нас учат". И действительно — сознаются члены собора, — отцы их и мастера сами так же мало умеют, и силы в божественном писании не знают, и учиться им негде. Собор постановил, как известно, устроить в домах лучших *городских* священников училища, в которых бы проходилась "грамота, книжное письмо, церковное пение и налойное чтение". В состав учеников должны были входить, главным образом, дети духовенства. Не возбранялось и "всем православным христианам" отдавать в эти училища своих детей. Но цель обучения оставалась прежняя, чисто профессиональная: "чтобы им (ученикам), пришед в возраст, достойным быти священнического чина".

Мы не знаем, что было сделано для исполнения распоряжений собора. Судя по общему оживлению религиозного и литературного интереса в XVI в., можно думать, что число учащих и учащихся грамоте возросло к началу следующего столетия. Может быть, в больших городах, вроде Москвы и Новгорода, и в крупных монастырях, вроде Сергиевской Лавры, и сделаны были попытки устроить правильную элементарную школу. Но в общем положение дела изменилось мало. Маржерет мог говорить в начале XVII в., что "невежество русского народа есть мать его благочестия: он не знает ни школ, ни университетов; одни священники наставляют юношество чтению и письму, но, впрочем, и этим занимаются немногие".

Прошло еще полвека после Маржерета. Раскол показал русскому обществу, что невежество действительно было матерью русского благочестия в его старинной форме. Собор, осудивший раскол, снова поднял вопрос о грамотности: не о грамотности народа, а лишь о грамотности духовенства. Но в 1666-67 гг. этот вопрос был разрешен еще менее радикально, чем в 1551 г. Вместо уверенности Стоглава на этот раз в решениях собора чувствуется горькое сознание бессилия. Об устройстве училищ нет более и речи. "Повелеваем, чтобы всякий священник *детей своих* научил грамоте", — решает собор, исходя из установившегося факта наследственности духовных мест. "Пусть они будут достойны восприятия священства и наследуют церковь и церковное место, а не торгуют ими, предоставляя посвящаться

во священство сельским невеждам, из которых иные даже и скота не умеют пасти, не то что людей. Отсюда и происходят в церкви Божией мятежи и расколы".

Мы увидим далее, что было сделано для элементарного образования духовенства в XVIII в. Но, предваряя наше изложение, мы уже теперь можем сказать, что добиться поголовной грамотности священнослужителей и этому веку не удалось. Вытесненное из городов, безграмотное духовенство продолжало существовать в селах; цивилизованное в центре, оно оставалось невежественным на окраинах. Еще в 1786 г. оказалось в одной казанской епархии 381 человек священно- и церковнослужителей "в чтении неисправных, а других и совсем читать по книге, петь и писать не умеющих".

Так стоял вопрос о *низшем* образовании класса, для которого грамотность была необходимой принадлежностью профессии. Естественно, что церковь, не имевшая возможности обеспечить правильного школьного образования даже собственным членам, тем не менее могла воздействовать посредством школы на светское общество. Любознательные и в конце XVII в., как при Геннадии, должны были, чтобы научиться грамоте, искать себе "мастера".

Характерным образом потребность в правильной организации *среднего* и *высшего* образования выяснилась для духовной и светской власти скорее, чем потребность в элементарной школе. Что простая грамотность может быть достигнута без посредства школы — этот взгляд как-то вошел у нас в привычку. Первоначально ничего другого, казалось, и не нужно для образования, кроме простой грамотности. Научившись читать, русский любитель просвещения отважно погружался затем в море рукописей и печатной литературы. Смысл ее казался ясен без всякой предварительной подготовки, и русский читатель быстро превращался в начетчика.

Мало-помалу стало, однако, выясняться, что одной грамоты мало даже для того, чтобы достигнуть ближайшей цели русского читателя: чтобы узнать *силу* в писании. Начали ходить слухи о какой-то грамматике, о необходимости различать части речи и предложения и т.п. Для людей, обладавших секретом новой науки, старый начетчик был уже невежда и "неук". Исправление книг скоро показало одним всю пользу грамматики, другим — всю ее опасность. Начетчик и представитель грамматической хитрости должны были сделаться врагами. В XVI в. господствующее положение принадлежало начетчику. В первой половине XVII в. оно перешло к сторонникам грамматического учения, а начетчик очутился в оппозиции.

Итак, рядом с грамотой стала теперь в образовательной программе грамматика. Но грамматика в свою очередь была только исходным пунктом для преподавания дальнейших предметов средневековой школы. По выражению одного документа

конца XVI в., она служила "основанием и подошвой всем свободным хитростям". Круг этих "свободных знаний", преподававшихся в школе после чтения и письма, перешел через Климента и Оригена к средневековому христианству от греков и римлян. За грамматикой следовала здесь диалектика и риторика; все вместе, эти словесные предметы составляли одну группу, так наз. trivium. После прохождения "тривиальных" знаний наступала очередь следующей, математической группы, состоявшей из арифметики, геометрии, астрономии и музыки (quadrivium). Все "семь искусств" служили в древности подготовкой к "философии". У Оригена сама философия является подготовкой к богословию. При дальнейшем упрощении в основу регилиозного образования была положена одна только первая, словесная или тривиальная группа (грамматика, диалектика и риторика). С прибавкой философии и богословия эта группа и составила средневековую программу средней и высшей школы, перенесенную иезуитами в XVI в. из Западной Европы в юго-западную Россию.

Эта программа завоевала себе признание не без борьбы даже в южнорусском обществе, хотя это общество и было гораздо более подготовлено к восприятию средневековой европейской науки, чем жители Московского государства. В отпор новым научным стремлениям представители западнорусского православия создали целую теорию, в силу которой любовь к знанию представлялась изменой вере, развитие ума вело к погибели души. Православный полемист усматривал в этих стремлениях одну гордость и напоминал, что гордость была первородным грехом Рима. Гордость побудила Рим искать опоры в человеческом разуме, вместо Священного Писания, и обращаться за развитием разума "во тьму поганских наук", к Аристотелю и Платону. Не "в художестве высшего наказания" (то есть высшего образования) заключается сила духа, а в "вере смиренномудрия" — этот тезис сформулирован еще на рубеже XVI-XVII вв. полемистом Иоанном Вишенским. Западный рационализм увлекателен, но спасти может одна восточная вера. "Уния, по-славянски *юная*, — говорит Вишенский, — действительно на вид красна и чудна, разумом хитра и мудра, но эта юная вера есть ложная и непостоянная, от человеческого мудрования вымышленная". Напротив, старая православная вера, "хотя на вид некрасива и противна, разумом глупа и не хитра, обычаем проста, ветха и неубранна, но зато это — коренная, неподвижная, прочная вера, от Христа-фундатора основанная". Таким образом, истинная православная наука должна быть "оградой благочестию, препятствующей благочестивому помыслу выходить самомненной думой изнутри православной мысли на двор за ограду, где зверь ереси живет и слабоумных прельщает и похищает". Сообразно такой задаче Вишенский попытался создать, в противоположность старой, испытанной программе западной школы, но-

вую православную программу. Грамматику и этот писатель принужден был признать "ключом" всего остального школьного преподавания. Но он хотел прямо от нее перейти к изучению религиозных предметов, минуя все остальные латинские "хитрости". "Лживую диалектику, учащую претворять белое в черное и черное в белое", он предлагал заменить часословом; "вместо хитроречивых силлогизмов и велеречивой риторики" — проходить псалтырь; наконец, "вместо философии, научающей разумную мысль скитаться по воздуху", — изучать октоих. После часослова, псалтыря и октоиха Вишенский прямо советовал переходить к "деятельному", то есть нравственному богословию, и к изучению Евангелия и Апостола "с толкованием простым, а не хитрым".

Советы Вишенского не могли быть, однако, приняты на юге. Для борьбы с католицизмом южнорусское общество нуждалось в такой схоластической выучке, какой не могла дать школа, устроенная по программе Вишенского. Поэтому первый в России богословский факультет, Киевская духовная академия, учрежденная в исходе первой четверти XVII в., принял полную программу "свободных знаний". Вскоре после своего основания академия принуждена была даже усилить дозу латыни в ущерб греческому языку.

За отсутствием других подобных учреждений, Киевская академия надолго оставалась единственным рассадником духовных лиц, обладавших высшим богословским образованием. Москве пришлось дожидаться высшей богословской школы еще более полувека. Правда, еще при утверждении патриаршества (1591) восточные патриархи настаивали на поднятии уровня духовного образования. И Борис Годунов, по сообщениям иностранцев, сделал было попытку основать в Москве богословский факультет. Но попытка оказалась преждевременной. Посланные Борисом для подготовки к профессорской деятельности за границу 16 человек предпочли там остаться. И духовенство убедило Бориса отказаться от своего намерения, приводя тот довод, что иначе разрушится неприкосновенность веры в России и единство веры во всех сословиях.

Только в 30-х гг. XVII столетия воспитанники Киевской академии стали наконец появляться и в Москве. Их пришлось приглашать в качестве экспертов по исправлению книг и переводчиков с греческого и латинского. Как принимали здесь этих выученников латинской школы, мы уже знаем. В Москве не только "свободные знания" казались подозрительными, но даже и простое начетничество не всем казалось безвредным. "Не читайте много книг", — говорили москвичи; "вот такой-то от книг с ума сошел, а другой в книгах зашелся, а третий в ересь впал". Понятно, что здесь должны были отнестись к новым наукам латинской школы еще враждебнее, чем отнесся к ним Вишенский. "Не высокоумствуйте, братие, — читаем в одном па-

мятнике, — но в смирении пребывайте... Если кто тебе скажет: знаешь ли философию, — ты ему отвечай: еллинских борзостей не текох, ни *риторских астроном* не читах, ни с мудрыми философы в беседе не бывах, учусь книгам благодатного закона, аще бы можно моя грешная душа от грех очистить". Таким образом, высшей науке противопоставляется христианское смирение, теоретической работе мысли — деятельное богословие.

Еще в конце XVII в., однако, были выставлены возражения против такой постановки вопроса. "Полезнее ли нам учиться грамматике, риторике, философии и богословию — и оттуда познавать божественные писания, или же, не учась этим хитростям, в *простоте* Богу угождать и из чтения познавать разум святых писаний?" Так сформулировано основное недоумение русского ревнителя веры в заглавии одной статьи 80-х гг. XVII столетия[2].

Статья старается устранить это недоразумение. Простота бывает двоякая, отвечает автор статьи на поставленный вопрос. Одна простота есть незлобие (то есть известное нравственное состояние), а другая — невежество. Можно сочувствовать "простоте" нравственной — вполне совместимой с образованием — и бороться против "простоты" умственной или невежества. Невежество — это тьма, ослепляющая очи ума, а учение — ясный луч, разрушающий тьму и просвещающий естественное зрение человеческого разума.

Раньше, чем подействовали на русского человека эти теоретические доводы, он должен был убедиться в необходимости высшей науки чисто практическими соображениями. Мы видели, как в прениях с датчанами о вере[3] пришлось обратиться к помощи южнорусской богословской литературы и заменить русского начетчика киевским богословом. Московская церковь попала в этом случае в то самое положение, в котором постоянно находилась южная и которое привело к самому основанию Киевской академии. Естественно, что и в Москве стал теперь на очередь вопрос о высшей богословской школе. Еще за четыре года до споров с датчанами, в 1640 г., сам преобразователь Киевской академии, митрополит Петр Могила, прислал в Москву предложение: основать в Москве монастырь из монахов киевского монастыря с тем, чтобы эти монахи учили "грамоте греческой и славянской". Митрополит благоразумно умолчал о "латинской" грамоте, но, конечно, и она имелась в виду.

---

[2] Вишенский формулирует дилемму несколько иначе: "Не лучше ли тебе изучить часослов, псалтырь, октоих, апостол и евангелие с прочими, нужными для церкви (знаниями) и быть простым богоугодником и жизнь вечную получить — чем постигнуть Аристотеля и Платона и философом мудрым в сей жизни звться, — и в геенну отойти?" Сравнение его формулы с нашей может показать, насколько потребность в богословском образовании чувствовалась юго-западной Русью в начале XVII в. сильнее, чем северо-восточною — в конце.

[3] См. выше.

В 1640 г. предложение Петра Могилы осталось без последствий. Но несколько лет спустя, после прений о вере, правительство нового царя Алексея принимается за усиленную просветительную деятельность. Московский печатный двор начинает усиленно выпускать учредительные и учебные книги[4]. Новое предложение (1645) случайно подвернувшегося палеопатрасского митрополита Феофана — завести *греческую* школу — удостаивается внимания. Рекомендованный Феофаном учитель, преподававший греческий язык в Киевской академии, перводится, хотя и не надолго (до 1647 г.), в Москву. Одновременно с этим и идея *латинской* школы пускает корни. Правительство предполагает поручить "риторическое ученье" греку Арсению, рекомендованному иерусалимским патриархом. Предположение это, по-видимому, не осуществляется, и Арсений остается в Москве только в роли переводчика. Зато в то же время (1648-49) осуществляется идея Петра Могилы. Царский любимец Ф.М. Ртищев создает на свои средства новый монастырь (Андреевский, близ Воробьевых гор) и населяет его южнорусскими монахами. "Хотящие внимати" новому учению могли теперь, под руководством ртищевских монахов, не только научиться "грамматике словенской и греческой", но дойти "даже до риторики и философии". Первым из добровольцев оказался сам Ртищев; но, кроме него, были у андреевской братии и другие вольнослушатели. Двое из них добились даже с помощью Ртищева разрешения доучиться по латыни в Киеве. Их примеру готовы были последовать и другие москвичи, несмотря на усиленные отговаривания своих духовных отцов. Конечно, в то время нужно было много смелости и решительности, чтобы проложить себе путь к латинской школе. Даже среди самих московских учеников киевских иноков упорно держалось убеждение, что "кто по-латыни научится, то с правого пути совратится".

Такое отношение общества к киевской науке сильно тормозило первые ее шаги в Москве. Начиная с половины XVII в. на полтора десятка лет просветительное движение как будто ослабевает. Новый и сильный толчок дает ему борьба с расколом. Связь раскола с отрицательным отношением к школе и к образованию была слишком ясна, чтобы можно было ее долее игнорировать. "Будь ты, мудрый латынник, со своей верой и мудростью, сам по себе, а мы со своей верой и с апостольской глупостью — сами по себе", это изречение Вишенского буквально повторялось Аввакумом как последний, самый сильный аргумент. Пора было признать теперь хоть то, что готов был признать сам Вишенский, строгий афонский монах. Такие бесспор-

[4] В предисловии к одному из этих изданий, к грамматике 1648 г., грамматика рекомендуется "как первая и начальная из семи свободных наук", и необходимость заниматься этими науками доказывается примером св. отцов. См. ниже, с. 242.

ные авторитеты, как греческие святители, приглашенные для разбирательства домашних споров, единогласно признавали, что главной причиной раскола является отсутствие богословского образования. "Искал я корня сего духовного недуга",- говорил газский митрополит Паисий Лигарид в своем опровержении соловецкой челобитной раскольников, "и в конце концов нашел два источника его: отсутствие народных училищ и недостаточность библиотек... Если бы меня спросили, что служит опорой духовного и гражданского сана, то я ответил бы: во-первых, училища, во-вторых, училища и, в-третьих, училища. Из училищ жизненный дух разливается, как сквозь жилы, по всему телу; это — орлиные крылья, на которых слава облетает всю вселенную". И Паисий обращается к царю с увещанием — создать училища греческого, латинского и славянского языков. Из них, обещает он царю, как из троянского коня, выйдут христоименитые борцы. То же самое внушали царю и сами восточные патриархи. От имени их Симеон Полоцкий обратился к Алексею Михайловичу с церковного амвона (1666): он призывал предвечную мудрость вложить царю мысль об училищах и уговаривал его "положить отныне в сердце своем" это намерение. Конечно, это означало, что дело уже решено правительством принципиально. Тот же Симеон сделался руководителем школы, для которой за год перед тем уже было отстроено даже отдельное помещение. Ученики в школу назначены были на этот раз самим правительством. Это были четверо молодых подъячих: трое дворцовых и один из приказа тайных дел — известный нам Медведев. Официально эти ученики командированы были в школу Полоцкого учиться "по латыням" и грамматике. Может быть, при этом у правительства была идея употребить впоследствии их знания для государственных и дворцовых надобностей. Но на деле киевский ученый вышел из этих рамок и преподал своим ученикам, более или менее правильно, полный курс своей киевской alma mater. В 1668 г. этот курс наук был закончен. Ученики Полоцкого отправлены были при посольстве Ордын-Нащокина в Курляндию. Как студенты они должны были кончать здесь свое учение; как чиновники — обязывались тайно наблюдать за действиями русских послов.

Школа Полоцкого, по-видимому, и прекратила свое существование на этом первом выпуске. Но киевская наука на этот раз прошла для Москвы далеко не бесследно. Один из учеников Симеона Полоцкого, Медведев, настолько проникся настроением учителя, что при первой возможности бросил столицу и светскую карьеру, постригся в одном провинциальном монастыре и скоро вернулся в Москву ревностным пропагандистом как взглядов своего учителя вообще, так и идеи латинской богословской школы в особенности. Эта идея, однако, продолжает встречать препятствия со стороны высшего московского духовенства. Во главе протестующих против латинского типа шко-

лы становится киевлянин же, но воспитанный Киевской академией до реформы, произведенной в ней (в пользу латинского типа преподавания) Петром Могилой. Это был именно Епифаний Славинецкий. Вызванный в Москву для переводов с греческого, Епифаний не занимался учительством, но успел также приготовить себе ревностного последователя, совсем не ученого, но очень усердного чудовского монаха Евфимия. Как учитель, так и ученик много поработали над переводами с греческого и были ревностными приверженцами греческой богословской литературы.

Напротив, Симеон Полоцкий почти не знал греческого языка и всю свою ученость почерпнул из латинских католических авторов. Чуждые русским привычкам литературные приемы должны были поражать русского читателя на каждом шагу в его богословских, проповеднических и поэтических произведениях. Боги и герои классической древности, вводимые в стихи и прозу, средневековые астрономические и космографические сведения, ссылки на западных писателей и учителей церкви, на Августина и Ансельма, на Беллярмина и Барония, подозрительно спокойное отношение к основным учениям католичества, например о чистилище, о чтении Символа Веры, и даже явная склонность к таким католическим толкованиям, как, например, о времени пресуществления св. даров — все это вызывало сильное недоверие ко всему направлению, представителем которого явился Симеон и в еще более крайней степени его ученик Сильвестр Медведев.

Что высшая богословская школа нужна в Москве, на это теперь готова была согласиться и партия Славинецкого и Евфимия. Вопрос слишком настойчиво ставился на очередь Медведевым, чтобы можно было его замолчать. Но центральным предметом спора между последователями Епифания и Симеона сделался теперь вопрос, в каком направлении должно было идти преподавание в будущей школе. Орудием для преподавания программы "свободных искусств" был латинский язык. Но старомосковская православная партия старалась настоять, чтобы исключительным языком, преподаваемым в школе, был греческий. До нас дошло два полемических произведения этого времени, усиленно доказывавших, что для русских необходима именно греческая школа. Из Греции пришло на Русь христианство; по-гречески написан был Новый Завет и большинство произведений отцов церкви; греческий язык был языком оригинальной античной литературы и науки; он гораздо "ближе и свойственнее" славянскому, чем латинский; наконец, латинский язык привел белорусов к унии и вообще ведет к искажению православного вероучения; таковы были аргументы, приводившиеся в пользу введения греческого языка в православную богословскую школу. Противники отвечали, что сами греки не могут обойтись без латинской науки и лучше уж черпать ее в перво-

источнике. В спорах по этому поводу принял участие даже сам Константинопольский патриарх, настойчиво предостерегавший Московского государя против увлечения латинской школой.

Особенно обострились все эти споры, когда наконец вопрос об открытии высшей духовной школы, целый век дожидавшийся решения, стал при Феодоре Алексеевиче на практическую почву. Сильвестр Медведев "молил царя Феодора... построить в Москве *академию*", очевидно, по образцу киевской. Под рукой он рекомендовал царю и нескольких киевских ученых для преподавания в будущей академии. Впрочем, и не дожидаясь открытия академии, он добился от царя разрешения возобновить школу Полоцкого в Заиконоспасском монастыре. В 1682 г. школа была отстроена и Сильвестр приступил к преподаванию "грамоты, словенского учения и *латыни*". Еще в 1686 г. в этой школе было 23 ученика. Но и сторонники греческой школы не дремали. Воспользовавшись прибытием в Москву из Палестины (1681) русского иеромонаха Тимофея, эта партия добилась открытия "на первый случай" греческого училища при типографии. В 1684-86 гг. в этой школе было 200 учеников. Из них 23 в первый год, 54 во второй и 67 в третий учились "греческого языка книжному писанию".

Таким образом, оба типа школы, греческий и латинский, теперь существовали в Москве фактически. Надо было окончательно решить, в каком духе будет вестись в Москве высшее богословское преподавание. Сильвестр мечтал о преобразовании в академию заиконоспасской школы. Его противники, Иоаким и Евфимий, усердно доказывали преимущества греческого языка и вред латинской премудрости. Неожиданно для обеих враждующих сторон явился и представитель третьего, более крайнего направления "философии и феологии профессор", которого самому Медведеву пришлось уличать в еретичестве: кальванист Ян Белободский, сам себя предлагавший в учителя, скептик в делах веры и сторонник новой образованности, проникавшей к нам из Европы через Польшу. Припомним, что то было время, когда, по выражению Медведева, замечалось "в царствующем граде в вере колебание и ереси прозябание от неискусных нашей веры, римские, люторские и кальвинские книги на польском языке читающих". Несколько лет спустя из таких "читателей люторских и кальвинских книг" сложился, как мы знаем, кружок Тверитинова. Естественно, что против этого направления одинаково восстали обе споривше в Москве партии; оно и было тотчас же устранено. Между двумя другими, греческим и латинским, правительство выбрало средний путь. Оно согласилось, наконец, принять более широкую программу преподавания, но исполнение этой программы не захотело вверить киевлянам. Рекомендации Медведева не только не были приняты во внимание, но в устав будущей академии введен был даже параграф, по которому киевляне и впредь не могли быть преподава-

телями академии. Запрещение это было притом сделано в таких выражениях, которыми прямо задевались и Симеон Полоцкий, уже покойный (ум. 1680), и сам Медведев. Напротив, грекам открывался в академию свободный доступ. Несомненно, такая редакция устава свидетельствовала о полной победе Иоакима и греческой партии. Однако в окончательном виде устав был вручен царевне Софье (1685) Сильвестром Медведевым. Последний отплатил врагам киевлян тем, что к проекту устава сделал прибавку, которою задевались в свою очередь и греки. По этой вставке и их определялось испытывать в вере, чтобы не повторилась история митрополита Исидора. Это было, во всяком случае, уже чисто платоническое удовлетворение обиженного самолюбия.

Выбор преподавателей для вновь учреждаемой академии правительство предоставило Константинопольскому патриарху. Грамота с этой просьбой была еще при жизни Феодора, в 1681 г., отправлена в Константинополь. В 1685 г. рекомендованные патриархом учителя, братья Иоанникий и Софроний Лихуды, получившие высшее образование в Венеции и Падуе, приехали в Москву. Тогда же они начали обучать "греко-латинскому книжному писанию" более подготовленных учеников типографского училища. В 1687 г. школа Лихудов была переведена во вновь отстроенные в Спасском монастыре каменные палаты. С этих пор и упомянутые выше два училища, латинское и греческое, перестали существовать, передав своих учеников новоучрежденной "славяно-греко-латинской Академии". При своем учреждении (конец 1687) Академия имела (кроме подготовительного русского класса, или "школы словенского книжного писания", насчитывавшей 23 ученика) 76 учеников, которые распределялись между тремя классами, каждый из двух отделений: "нижней школой" ("греческого книжного писания") — 27 человек; "средними школами" ("грамматичниками") — 35 человек; "верхними школами второй статьи" (риторики) — 9 человек; "верхними школами первой статьи" — 5 человек. По социальному составу это были священники, иеродиаконы и монахи, князья, спальники, стольники и "всякого чина москвичи" — вплоть до челядинцев и сына конюха.

Итак, плоды долговременной пропаганды Полоцкого и его ревностного ученика пришлось пожать старомосковской партии. В лице Лихудов Медведев встретил гораздо более опасных противников, чем были для него патриарх Иоаким, "человек добрый, но учившийся мало и речей богословских не знавший", или даже Евфимий, научившийся с грехом пополам по-гречески "из лексиконов", "не млад и не во училище, но в монастыре за медом, за пивом и за вином". Воспитанникам падуанского университета сразу удалось зарекомендовать и свое православие и свою ученость. Они нашли латинскую ересь в том самом учении Медведева, в котором до тех пор даже его враги, Иоаким и

Евфимий, принуждены были признать, следуя установившейся в XVII в. практике, истинно-православное мнение. Речь шла о пресуществлении св. даров и поклонении им при словах Христа. Патриарх, разумеется, очень рад был возможности "подвигнуть в помощь себе" против Медведева таких сильных союзников, как Лихуды. При их услужливом содействии полемика против латинских и киевских мнений (начатая, быть может, уже до их приезда) приняла сразу (1686-89) те обширные размеры и тот острый характер, при которых дело могло кончиться лишь решительным поражением одной из партий, боровшихся за влияние со времен Полоцкого. В результате полемики, как мы видели раньше, старомосковская партия восторжествовала. Казалось, победа в догматическом споре должна была окончательно закрепить и победу старомосковской партии в школьном вопросе. Посмотрим же, как в действительности отозвалась вся эта борьба партий на дальнейшей постановке в Москве высшего богословского преподавания.

Прежде всего, как мы уже заметили, обе боровшиеся партии относились вполне отрицательно к проникавшему тогда в Москву религиозному вольномыслию. Какая бы из них ни победила, — результат, вероятно, был бы одинаков. Общий враг должен был быть истреблен, и высшая школа облекалась для этой цели самыми широкими правами духовной цензуры. Со времени открытия Академии монополия обучения иностранным языкам и свободным наукам, по уставу, предоставлялась ей. Никто не мог без разрешения Академии держать у себя домашних учителей греческого, латинского, польского и других языков, под страхом конфискации имущества. Одно это распоряжение может показать нам, что подобные учителя были уже не редкостью в Москве конца XVII в. Далее, мы видим в уставе Академии указание и на плоды их учения. Тем, кто не прошел школы "свободных учений", безусловно, запрещалось держать у себя польские, латинские, немецкие и иные лютеранские и кальвинистские сочинения, рассуждать о вере и вступать, хотя бы частным образом, в религиозные споры, под страхом наказания. За "иностранными учеными свободных наук" Академия должна была иметь строгое наблюдение; только с ее одобрения подобные лица могли оставаться на житье в России и вступать в царскую службу. Под такой же надзор Академии отдавались иноверцы, перешедшие в православную веру. Всякое их колебание в вере наказывалось ссылкой на Кавказ и в Сибирь, а за сохранение прежних религиозных убеждений полагалось сожжение. Сожжение угрожало и тем, кто держал у себя "волшебные, чародейные, гадательные и всякие от церкви возбраняемые" книги, и тем, кто на пиру или в какой бы то ни было обстановке порицал православную веру, критиковал почитание икон, мощей, святых и т.д., и, наконец, тем, кто переходил из православной веры в другую. Наблюдение за всеми эти-

ми опасностями, грозившими православию, возлагалось на Академию.

Вот в какой обстановке и при каких предосторожностях "свободные науки" сделались у нас впервые предметом официального школьного преподавания. Выражаясь словами историка Соловьева, "Московская академия — это цитадель, которую хотела устроить для себя православная церковь при необходимом столкновении своем с иноверным Западом; это не училище только — это страшный инквизиционный трибунал. Произнесут блюстители (директора) с учителями слова: виновен в неправославии, — и костер запылает для преступника". Что это были не простые слова и не пустые угрозы, об этом свидетельствует участь Квирина Кульмана.

Однако же, намерение монополизировать всякую свободную мысль и всякое высшее знание оказалось уже в конце XVII столетия совершенно невыполнимым. Зло успело пустить слишком глубокие корни, чтобы можно было надеяться на его полное уничтожение. "Цитадель" не могла выдержать напора окружающей жизни уже по одному тому, что враг был в самой цитадели. Как ни скромна была доза просвещения и науки, предлагавшаяся на первый раз русскому обществу, но и она стояла в противоречии с привычным мировоззрением старины. Господствующая партия это чувствовала с самого начала: недаром она отстранила вовсе киевских ученых и согласилась оставить под сомнением греческих; недаром и от принятых на службу учителей академический устав требовал присяги на верность православию и грозил им также сожжением, если, вопреки присяге, они будут предлагать толкования, ведущие к "усумнению восточной веры", или приравняют православную веру другим, или даже будут ставить иные веры выше русской.

Лихуды со своей стороны старались преподавать Аристотеля "согласно с религией и православием". Западные схоластические приемы они вносили в свои курсы в возможно умеренной степени. Но при всем том преподаваемая ими наука была схоластическая, — потому что никакой другой науки и не существовало в то время ни в западной, ни в восточной школе. Понятно, что Лихудам, при всей их покладистости и при всех усилиях "оставить всякие буесловства" в стороне, все-таки не удалось удовлетворить требованиям старомосковской партии, чтобы в Академии преподавались одни только "благочестивые науки". И они подверглись скоро упрекам в том, что, вместо простой грамматики, "забавляются около физики и философии"; и им в укор ставилось преподавание латинского языка, на котором они читали лекции для высших курсов.

Итак, победа консервативной партии не помешала латинской программе проникнуть в высшую школу. Это было совершенно естественно, так как высшей школы с чисто греческой программой нигде не существовало — и неоткуда было ее заим-

ствовать. Старая партия — враждебная, в сущности, всякой школе — могла сделать теперь только одно для своей собственной победы: именно взять назад и те уступки, которые она сделала умеренному направлению. Она так и поступила, тем более что на этом настаивал и сам Константинопольский патриарх. Вместо прежних похвал Лихудам он теперь сравнивал их с Иудой-предателем и требовал их отставки. "Вы нас презрели, — писал он им летом 1693 г., — вы учите латинскому языку, чтобы ввести в простые души латинские беззакония". Надо учить по-гречески, а не по-латыни и преподавать одну грамматику "и иные учения" (патриарх сам хорошенько не знает какие — только не физику и философию)... В конце 1694 г. Лихуды были действительно удалены — раньше, чем от риторики, логики и физики (естественной философии) успели довести своих учеников до высшего класса — богословия. Преподавание в Академии передано было на время их недоучившимся ученикам и ограничено одними грамматическими предметами, которые, кажется, преподавались по тетрадкам тех же Лихудов. На несколько лет Академия пришла в полное запустение. В этом случае опять проявилась та черта старого московского направления, с которой мы уже встречались раньше. Выступая против новшеств, хотя бы и самых умеренных, это направление ничего не могло предложить взамен их и, таким образом, достигало результатов, диаметрально противоположных своим собственным намерениям: оно открывало только дорогу более крайнему направлению. В Москве и Константинополе не хотели, чтобы латинский язык и высшие знания преподавались у нас — хотя бы и греком, хотя бы и между прочим. Но так как со своей стороны эти люди не могли дать никакой другой программы и никакого специалиста, способного выполнить ее, то в конце концов, к началу XVIII столетия, преподавание перешло целиком в руки сторонников латинской школы.

Таким образом, старомосковкая партия, как видим, не сумела воспользоваться собственной победой и упустила последний случай взять в свои руки дело высшего образования в стране. Пока она боролась против умеренной реформы, время умеренных реформ прошло безвозвратно. Заведенная веком или даже полувеком раньше, московская школа, может быть, могла бы сыграть свою роль в руководстве отечественным просвещением. В конце XVII в. ей пришлось уже только сопротивляться — и сопротивляться безуспешно — тем влияниям, которые руководили просвещением общества помимо ее. И даже в этот критический момент устроители этой школы были далеки от мысли о каких-либо уступках, далеки от возможности — создать что-либо положительное, кроме простой работы разрушения. В результате допетровское просвещение создалось помимо высшей школы, как допетровская грамотность развивалась помимо низшей. В том виде, в каком московская Академия

пришла к началу XVIII в. — с обрушившимся потолком, с развалившимися печами, с учениками, лишенными возможности учиться, — эта Академия представляла самую верную картину того состояния, в котором находилась русская школа ко времени петровских реформ. Не сделав ничего для русского образования, господствующая партия сама поставила преобразователя в необходимость все делать самому и все начинать сначала. Как и в других нам известных случаях, Древняя Русь не завещала и здесь новой России никакой культурной традиции. Вот почему и здесь новое водворилось так легко и оказалось так чуждо старому.

БИБЛИОГРАФИЯ

Для этого и следующего отдела см. А.Н. Пыпин, *История русской литературы*, Т.I, гл. II и VII (СПб., 1898). Сравнительно высокую степень образованности Древней Руси защищали Н. Лавровский в диссертации *О древне-русских училищах* (Харьков, 1854); А.И. Соболевский в актовой речи *Образованность Московской Руси XV-XVII веков* (СПб., 1892); Владимирский-Буданов в статьях в "Журнале Мин. Народного Просвещения" (1873, октябрь и ноябрь). Ср. также рецензию В.С. Иконникова в "Киевских Университет. Известиях" (1874) О программе православной школы Иоанна Вишенского и о характере первоначального преподавания в Киевской Академии см.: Голубев, *История Киевской духовной академии*, Т.I. (Киев, 1886) и д-р Иван Франко, *Иван Вишенський и его твори* (Львив, 1895). История московских школ XVII века изложена в статье Н.Ф. Каптерева *О греко-латинских школах в Москве в XVII веке до открытия славяно-греко-латинской Академии* (1889). О борьбе латинской партии с греческой по школьному вопросу см. также Л. Майкова, *Симеон Полоцкий* в "Очерках из истории русской литературы XVII и XVIII столетий" и названное раньше сочинение Прозоровского о Сильвестре Медведеве. Устав славяно-греко-латинской Академии напечатан в *Древней Российской Вивлиофике* Новикова, т.VI. О братьях Лихудах см.: ст. в "Энциклопедическом словаре" Ефрона; Образцов *Братья Лихуды* в "Журнале Мин. Народного Просвещения" (1867) и Н.Ф. Каптерев, *Сношения иерусалимского патриарха Досифея с русским правительством* (М., 1891). Об учебниках, составленных Лихудами, и их учениках и о судьбе Академии после них см.: С. Смирнов, *История московской славяно-греко-латинской Академии.* (М., 1855). Подробное исследование о Лихудах и обо всех явлениях, связанных с их биографиями (об Академии, о хлебопоклонной ереси и т.д.), принадлежит М. Сменцовскому: *Братья Лихуды* (СПб., 1899). Здесь же, в приложении, напечатано цитированное в тексте рассуждение: "Учитися ли нам полезнее грамматике" и т.д. Автор относит его к концу 1684 или началу 1685 г.

II

СОСТОЯНИЕ ЗНАНИЙ ДО ПЕТРА

Состояние знаний в допетровской Руси. — Математические знания: арифметика, геометрия (землемерие), астрономия и астрология. — Естественно-исторические знания: физиолог, гуморальная теория, лечебники и травники. — Книжные источники народной мудрости. — Исторические знания: хронографы, самостоятельные произведения. — Словесные знания: буквари, грамматика, диалектика и риторика, отношение к философии. — Энциклопедия древней Руси: "Азбуковник" двух видов.

В допетровской Руси не существовало, как мы теперь знаем, правильной школы. Но из этого еще не следует, чтобы в ней вовсе отсутствовали научные знания. За отсутствием школы знания эти только приобретались частным путем, посредством чтения или посредством выучки у мастеров-специалистов. Потребность в просвещении значительно опередила школу. Главным образом, эта потребность вызывалась практической нуждой. Но до некоторой степени, особенно к концу XVII в., здесь играла роль и любознательность. Откуда же получало допетровское общество свои научные сведения и каков был характер последних? Отвечая на этот вопрос, мы уже не будем отделять школьных знаний от тех, которые не входили в программу школы. Те и другие мы рассмотрим в порядке наук, начиная с математических, переходя затем к космографическим, естественно-историческим и антропологическим, и кончая гуманитарными.

По самой трудности усвоения математические знания принадлежали к числу наименее распространенных в древней Руси; их приобретали только по необходимости, и сами специалисты владели ими в очень несовершенной степени. Самый способ изображать цифры буквами, заимствованный из Византии, мешал русским воспользоваться всеми удобствами десятичной системы счисления. Каждый цифровой знак мог иметь только одно значение, на каком бы месте он ни стоял. Количество букв в славянском (точнее, греческом) алфавите хватило на изображение единиц (от *а* до *и* с прибавлением *ф*), десятков (от *і* до *н* с прибавлением *ч*) и сотен (от *р* до *кси* с прибавлением *ц*). Но дальше уже приходилось прибегать к условным знакам. Для обозначения тысяч прибавляли каждой букве черту внизу и влево, дважды пересеченную; для десятков тысяч ставили те же

буквы в круге, для сотен тысяч — в круге из точек, для миллионов — в круге из черточек и т.д. Впрочем, к письменному обозначению крупных чисел совсем не приходилось прибегать на практике.

Ближайшими практическими нуждами определился и состав дальнейших математических знаний. Из четырех правил арифметики употреблялись на практике преимущественно сложение и вычитание. Умножение и деление плохо давались нашим предкам. Но что давалось им еще труднее — это дроби. Единственными употребительными на практике дробями были: половина, четверть и треть, полчетверти и полтрети, полполчетверти и полполтрети, и, наконец, полполполчетверти и полполполтрети. Всякую другую дробь старались выразить приблизительно, путем механического сопоставления перечисленных дробей. В совершенное смущение приходил древнерусский грамотей, если дроби приходилось складывать или вычитать. Не зная приведения к одному знаменателю, он употреблял другой прием: приравнивал наименьшую дробь единице, остальные выражал кратными числами и, таким образом, ему удавалось действие над дробями заменять действиями над целыми числами.

Таков был весь обиход русской практической арифметики — едва ли выработанный самостоятельно, а, скорее, подсказанный средневековой Византией. Рядом с ним появились, однако, — вероятно, еще в XVI в. — более подробные арифметические учебники, в которых уже излагались все четыре действия как над целыми числами, так и над дробями. Верхом премудрости в этих учебниках являлась так называемая "золотая строка", или, по-нашему, простое тройное правило. Составитель учебника с большим энтузиазмом говорил о чудодейственной силе тройного правила, хотя внутренние основания этого чуда и оставались непонятны ему самому. Он знал только твердо, куда поставить разные условия задачи и какие на этих местах произвести действия: как вытекал из этих механических манипуляций правильный результат — это было и для него самого весьма удивительно. В XVII в. этот старейший русский учебник арифметики был еще раз переработан сообразно практическим нуждам русских читателей. Славянские цифры уступили на этот раз место арабским[1]; задачи на отвлеченные числа заменены более наглядными и близкими к житейским потребностям задачами — на именованные числа. Однако же, все неуклюжие

[1] Арабские цифры появляются впервые в славянских книгах, напечатанных за границей, в Венеции и в Риме, с 1611 г. В 1647 г. издается первая книга с арабскими цифрами в московской типографии. Но еще в 1676 г. "цифирь" в лечебнике Матвеева заставила его обвинителей по всему его дому разыскивать эту "непотребную и противную закону Божию" книгу. Как непривычны были для читателей арабские цифры еще во время Петра, видно из того, что, издавая в 1702 г. дневник взятия Орешка, он не решился выпустить все издания с "цифирными числами" и половину велел отпечатать с "русскими".

рецептообразные приемы прежнего учебника сохранились и в новом. По прямой линии от этого математического руководства XVIII столетия происходит и первая печатная русская арифметика, скомпилированная воспитанником московской Академии Леонтьем Магницким (1703).

Из других отделов математики единственным, известным в древней Руси, была геометрия. Под геометрией, впрочем, разумелось совсем не то, что теперь проходится в школе под этим заглавием. Знакомство с этой Эвклидовой геометрией было мало-помалу утеряно к началу средних веков. Западная Европа вновь узнала Эвклида в начале XII в., когда он был переведен с арабского на латинский. В России же элементы Эвклида оставались неизвестными до самого Петра. Геометрией называлось в буквальном смысле искусство мерить землю. Правила этого искусства выработались древней практикой, основанной на самых наивных представлениях о линейной геометрии. Не зная никакой теории, это примитивное землемерие систематически впадало при измерении площадей в целый ряд грубых ошибок, одинаковых в древнем Египте и Греции, в Риме и средневековой Европе. К этим ошибкам приводили самые приемы измерения. Единственным землемерным орудием была веревка; средств для измерения углов не было никаких. При этих условиях единственным способом вычислить площадь оставалось — перемножение измеренных сторон. Площадь *всякого* треугольника измерялась произведением одной стороны на половину другой (вместо половины высоты на основание), то есть искусственно приравнивалась площади прямоугольного треугольника с соответствующими катетами. Площадь всякого четырехугольника и даже круга — точно также искусственно приравнивалась и площади прямоугольника с равным периметром. Для этого в неправильном четырехугольнике бралась средняя арифметическая длина двух противоположных сторон и множилась на такую же полусумму двух других сторон. Окружность круга прямо делилась на четыре равные части: две из них принимались за стороны равновеликого квадрата и перемножались. Таким образом, древнерусский землемер разрешил по-своему задачу о квадратуре круга. Естественно, что все эти операции давали совершенно фантастические размеры измеряемых площадей. При измерении объемов совершались такие же неточности; только здесь эмпирическая проверка была легче, чем при измерении земель, и поэтому ошибка была введена, при помощи разных практических приспособлений, в более узкие пределы. Кое-какие попытки исправить основания расчета делались уже до Петра, но они или оставались незамеченными, или даже приводили иногда к более крупным ошибкам. До какой степени допетровская Русь была бессильна не только самостоятельно двинуть вперед свою геометрию, но даже сознательно усвоить правила, полученные из чужих источников, — об этом красно-

речиво свидетельствуют все рукописи, сохранившиеся от XVII в. Во всех них, без исключения, первоначально правильный текст и чертежи безнадежно искажены переписчиками, не понимавшими, очевидно, ни слова из того, что писали. Нам даже трудно представить себе теперь, как из подобных рукописей наши предки ухитрялись чему-нибудь научиться. Весьма вероятно, что большая часть их пролежала на полках без всякого употребления.

Таким образом, кроме начал арифметики, все остальные отделы низшей математики ведут у нас свое начало с Петра. Выписанный им англичанин Фарварсон, учитель навигацкой школы, приготовил, с помощью своих учеников, первые в России учебники геометрии ("Эвклидовы элементы", 1719), алгебры и тригонометрии (1730). Тогда же изданы были первые руководства "землемерия" (1708) и механики (1722).

Переходим к астрономическим познаниям древней Руси. Единственным сколько-нибудь серьезно изучавшимся отделом астрономии был отдел чисто прикладной. И по религиозным, и по другим житейским причинам древняя Русь нуждалась в календарных сведениях. Для определения времени переходящих праздников необходимо было знать "круг луны" и "круг солнца". Собственно, все нужные вычисления были сделаны еще в первые века христианства на все время до конца XV в. С окончанием этой старой "Пасхалии" в 1480 гг. ждали на Руси и кончины мира. Но так как мир продолжал существовать, то пришлось составить и новую пасхалию. Впрочем, и независимо от составления пасхалии — просто для того, чтобы уметь пользоваться составленными таблицами, а также чтобы разрешать самостоятельно частные хронологические вопрос, — надо было знать некоторые приемы вычисления. Эти-то приемы, по обыкновению, в виде готовых рецептов, иллюстрируемых задачами, и излагаются главным образом в старинных астрономических руководствах.

По справедливому выражению новейшего исследователя, в данном случае мы имеем "единственный пример передачи России Византией отрасли физико-математических знаний, заслуживающей это название и имеющей научное значение". В других отделах той же астрономии и космографии Византия далеко отодвинула нас назад сравнительно с состоянием, достигнутым древнегреческой наукой. Египетский монах VI столетия Козьма Индикоплов (то есть пловец в Индию) уже решительно восставал против тех, которые "осмеливаются схоластическими умозаключениями объяснять фигуру и положение мира, которые оказывают сферическое и кругообразное движение неба и хотят геометрическими вычислениями, на основании затмений солнца и луны, определить форму мира и фигуру земли". "Разве могут они дойти до своей мудрости иначе, как только посредством измерительных инструментов и продолжительных

исследований?", — пренебрежительно спрашивал Козьма. "Конечно, они говорят нечто правдоподобное о солнечных и лунных затмениях, но от этого миру мало пользы. От подобных знаний скорее рождается гордость". Напротив, сам он, Козьма, "не сам собой и не своими мнениями, а божественным писанием научен". Земля для него имеет форму четырехугольной плоскости, длина которой вдвое больше ширины, потому что такова была форма престола в святая святых, устроенного Моисеем по подобию земли. Земля стоит на самой себе, потому что сказано: ты утвердил землю на ее основании. За пределами океана, окружающего земную плоскость, есть еще земля, потому что писание говорит: кто перейдет за пределы моря, чтобы извести оттуда Бога? Там был и рай; на краю этой земли поднимается высочайшая стена, которая сверху закругляется и образует небесный свод. Там, где стена начинает закругляться, растянута наподобие скатерти твердь и отделяет от земли небо, где живут Бог и святые. Небесные явления производятся разумными силами. По Епифанию Кипрскому (IV в.), это делают ангелы: они управляют движением светил, они собирают трубами морскую воду, чтобы пустить ее в виде дождя на землю. Оба только что названных писателя, Козьма Индикоплов и Епифаний, принадлежали к числу авторитетов древней Руси в области космографических представлений.

Сравнительно с этими понятиями было уже шагом вперед, когда к нам стали проникать идеи средневековой европейской астрономии и космографии. Эти идеи были, правда, только грубым искажением теорий древнегреческих астрономов. Из семи гипотетических "сфер", то есть математических поверхностей, по которым движутся планеты согласно учению древних астрономов, средневековые ученые сделали семь небес или материальных оболочек, к которым эти планеты прикреплены. Вместе с двумя небесами византийской науки (твердь и верхний небесный свод Козьмы) получалось девять небес, окружающих землю. Несмотря на грубую реальность такого объяснения, наука все-таки от него выигрывала больше, чем от богословско-астрономического метода Козьмы и Епифания. Движение девяти небес, во всяком случае, становилось при средневековом понимании правильным и закономерным. На такое новшество никак не мог согласиться почитатель православной астрономии, вроде, например, псковского монаха XVI в. Филофея. Нельзя отказаться от мысли, что планетами управляют разумные силы, двигающие их по собственной воле, возражал он; следовательно, нельзя и допустить, что людям может быть известно движение планет.

Средневековая европейская наука не остановилась перед такими сомнениями. Идею закономерности она не только допустила, но давно уже вывела из нее все логические последствия. На закономерности движений планет средние века построили

целую теорию о связи этих движений с развитием человеческой судьбы, о влиянии планет на людей. Отсюда явилась возможность предсказывать людские происшествия по положению планет относительно созвездий. Эта астрологическая сторона средневековой астрономии становится известной в Москве в XVI столетии и на первых порах вызывает сильный протест. Против нее со всею энергией ополчается Максим Грек, доказывая ее несовместимость с промыслом Божиим и свободой человеческой воли. По Иоанну Дамаскину, он готов допустить влияние звезд на погоду, но не на человеческие поступки. "Если мы делаем все по движению звезд, значит, *по необходимости* поступаем так, как поступаем; а то, что происходит по необходимости, не может быть ни добродетелью, ни грехом". И духовенство спешит осудить сочинения и обычаи, в которых отразились астрологические учения, и занести их в список запрещенных церковью. Напротив, Козьма Индикоплов в том же списке получает формальное одобрение, и Максим Грек твердо держится его авторитета в своих представлениях о вселенной. "Если небо движется и влечет своим движением солнце, луну и звезды на запад, — говорит он, — то, стало быть, богодухновенное писание ложно глаголет: поставил небо, как шатер или комару, то есть твердо, неподвижно".

В следующем, XVII в. киевские ученые приучили, однако, мало-помалу москвичей к новым астрологическим теориям. Первый из них, Лаврентий Зизаний, еще подвергся в 1627 г. сильным нареканиям за то, что ввел в свое сочинение новые для москвичей объяснения комет, затмений, небесных кругов, грома, молнии и т.д. Особенно смущало москвичей то обстоятельство, что для обозначения созвездий Зизаний ввел названия "животных зверей", то есть знаки Зодиака. Звезды движутся не зверьми, а ангелами Божиими, говорили они, по-своему понимая новое учение и защищая против него привычное старое. Прошло 43 года после диспута Зизания, и другой киевлянин по образованию, Симеон Полоцкий, в своем "Венце веры" развивал уже совершенно свободно учения средневековой астрономии. Надо прибавить, что Полоцкий разделял и мнение о влиянии звезд на людскую судьбу[2]. Он только выгораживал из этого влияния свободу воли и нравственную ответственность, оставляя на долю звезд происхождение человеческого темперамента:

Звезды в человецех воли не повреждают,
Токмо страстьми плоти нечто преклоняют.
Темже на звезды вины нельзя возлагати,
Егда кто зло некое привык деяти.

---

[2] Известно предание о том, что во время рождения Петра Симеон наблюдал созвездия и по яркой звезде, замеченной им около Марса, предсказал Петру великое будущее.

Итак, идеи средневековой астрономии и астрологии проникали на Русь и оставались в ней новыми в течение XVI и XVII вв. Это было как раз то время, когда на Западе те же идеи стали терять кредит и быстро старели после великих открытий Коперника, Кеплера, Галилея и Ньютона. На Руси имя Ньютона встречается впервые в устах Петра Великого. С его времени Россия впервые обзавелась телескопами, инструментами и книгами, необходимыми для серьезных астрономических наблюдений. Однако же, старые заблуждения не сразу потеряли силу. В географии, напечатанной у нас в 1710 г., мнение Тихо-де-Браге еще предпочиталось системе Коперника[3]. В астролические предсказания наполовину верил еще и сам Петр, как видно из его собственноручных заметок на старом отцовском календаре 1670 г. Первые печатные календари, уступая вкусам публики, также сохраняли эти предсказания — не только о погоде, но и о великих происшествиях, имеющих случиться; а самый первый из этих календарей (1708 г., после которого календари издавались ежегодно) так и сохранил в народной памяти эту репутацию, вместе с несправедливой кличкой "Брюсова календаря". В 1719 г., наконец, появился первый научный календарь, составленный — "по меридиану и ширине царствующего града Санктпитербурха" — русским ученым, учившимся за границей, Алексеем Изволовым. Автор предупреждал, что в его работе "астрология", то есть "назначивание о перемене воздуха и прогностика или пророчение предбудущих времен", оставлена и что это сделано намеренно, так как астрономия не может дать подобных предсказаний и помещение их в календарях есть простое шарлатанство, "чтобы наполнить больше бумаги и достать от простого народу больше денег".

Переходим теперь к естественно-историческим познаниям в древней России. И в этой области мы встретимся с теми же явлениями, как в предыдущих. Новые естественно-исторические сведения проникают в Москву через посредство киевских ученых в XVII в.; но и эти "новые" для России сведения оказываются заимствованными из средневековых энциклопедий XIII-XV вв. А тот старый запас естественно-исторических сведений, который существовал до киевского влияния, пришел на Русь из Византии в том виде, в каком сложился в первые века христианства. Уже в III в. по Р. Х. складывается сборник сведений о зверях и каменьях, получающий позже название "Физиолог". В основе этого сборника лежат наблюдения, сделанные еще классическими авторами. Но выборка этих наблюдений составляется христианскими писателями со специальной целью — сопоставить их с текстами из Священного Писания и подготовить таким образом материал для христианской литературы и искусства. При таком сопоставлении образы зверей, часто и сами по себе фантастические (например, единорог), получают символическое значение, то есть начинают обозначать Христа, или Бо-

жию Матерь, или какое-нибудь христианское свойство и т.п. Приведем для наглядности пример того, как "Физиолог" воспользовался одним рассказом Юлия Цезаря[4]. "Естество слона таково: если упадет, не может встать; не сгибаются у него колени. Когда он захочет спать, то засыпает, прислонившись к дубу. Охотники же, понимая слоновое естество, подпиливают дерево. Когда слон, придя, обопрется о него, дуб сломится и слон начнет реветь. Другой слон, услыхав, придет ему помогать и, не будучи в состоянии помочь, упадет сам, и закричат оба. Тогда придут 12 слонов; и те не смогут поднять лежащего, и снова все возопиют. После же всех придет малый слоник, просунет хобот под лежащего и подымет его. Естество же малого слона таково: если покадишь или волосом, или костью его, где бы то ни было, — ни бес, ни змея туда не войдут. Пришел великий слон: это значит *закон*, — и не может его (человека) поднять. И 12 слонов пришли и не могли поднять; а после всех пришел святой разумный слон и поднял человека; сам всех больший, он смирился и принял рабий образ, чтобы всех спасти". Так зоологическое описание переплетается с символическим толкованием, и символ дает первообразу целебную силу. В этом случае мы опять имеем дело с огромным шагом назад от классической науки. Живое наблюдение и здесь, как в астрономии, сознательно устраняется, и накопленный материал продолжает употребляться лишь настолько, насколько он может пригодиться для целей религиозных. "Следует изучать сочинения языческих писателей, — говорил еще Иоанн Дамаскин, — с той целью, чтобы и в них найти что-нибудь душеполезное". Это как раз тот рецепт, по которому из рассказа Юлия Цезаря получился рассказ "Физиолог".

Благодаря такому характеру "Физиолога" его сказания с самого раннего времени нашли обширное применение в христианском творчестве. Отцы церкви употребляли их в своих описаниях сотворения мира ("Шестодневах"), которых уже в III-VI вв. появилось не менее дюжины. Воспользовался этими сказаниями и сокращенный рассказ о ветхозаветных событиях, известный под названием "Толковая Палея". И "Шестодневы", и "Палея" — все это были глубокоуважавшиеся на Руси произведения греческой религиозной литературы; в их сообществе перешел к нам свободно и "Физиолог" и даже был разрешен официально церковью, вместе с Козьмой Индикопловым. Но, несмотря на это разрешение, судьба "Физиолога" у нас и на Западе

---

[4] De bello gallico, VI, 27: у лосей (cervus alces) "колени лишены связок и сочленений: они не ложатся для отдыха и, если случится им упасть, не могут подняться и встать. Вместо ложа служат им деревья: они прислоняются к ним и таким образом отдыхают. Охотники, заметив по следам такое место, подкапывают или подрубают деревья...; животные, опершись о них по привычке, своей тяжестью валят надломленные деревья и падают вместе с ними".

была совершенно разная. На Западе сведения "Физиолога" немедленно вошли в круговорот средневековой мысли; "Физиолог" разошелся в таком количестве списков, что даже и до нашего времени их сохранилась целая сотня. Затем появились разные переделки; уже в XIII в. с латинского языка "Физиолог" был переведен на национальные языки Европы, вошел в состав средневековых энциклопедий и т. д. У нас "Физиолог" разделил судьбу многих других произведений, перешедших из Византии. Перенесенный к нам, вероятно, в готовом переводе, через посредство южных славян, "Физиолог" до XVI в. пролежал без движения, известный очень немногим. Поэтому он и сохранился всего в трех полных экземплярах и не оказал никакого влияния ни на богословскую, ни, в частности, на проповедническую литературу.

Когда началось наконец — в XVI в. — оживление духовной жизни в России,время греческого "Физиолога" прошло. Южнорусские ученые, наехавшие в Москву в XVII в., пользовались уже не старым "Физиологом", а прямо той новой формой, которую принял этот сборник на западе, — формой средневекового "бестиария". Любопытно, однако же, что и византийский "Физиолог" не отбрасывается просто в сторону. За него продолжает крепко держаться партия национальной старины — староверы. Но, кроме того, является среднее течение, которое стремится удовлетворить новым запросам, не обращаясь к новым источникам. Эта средняя партия берет "Физиолог", как он был, но выбрасывает из него все символические толкования, сохраняя только часть зоологическую и минералогическую. Само собою разумеется, что ни это исправленное издание "Физиолога", ни даже западный "бестиарий" не могли вернуть естественно-исторических знаний на тот путь реализма, на котором когда-то стояла классическая наука и на который стремилась стать наука новой Европы. Достаточно пересчитать животных, вошедших в "Физиолог", чтобы увидать, что элемент чудесного, баснословного был уже в самом выборе их, а не только в нравоучительных толкованиях их "естества". Еще в меньшей степени, чем материал средневековой арифметики, и даже еще меньше, чем материал средневековой астрономии, естественно-исторические знания средних веков могли перейти в состав новой европейской науки.

Но надо сказать, что ко времени Петра важнейшие открытия этой науки и на самом Западе были еще впереди. В ожидании их новый научный дух проявлялся лишь в накоплении эмпирических наблюдений над живой природой. Вот почему интерес к естествознанию мог обнаружиться у самого Петра только в форме собирания всевозможных "монстров" и "раритетов", которыми полны были тогдашние европейские кабинеты "натуральной истории". Один из таких кабинетов был даже целиком приобретен Петром в 1715 г. для его "кунш-каморы". Здесь

находим "неизреченных, чудественных, странных зверей", "весьма удивительных фигурами гадин", "странных птиц" и иные "всякие куриозитеты". Рядом с этими, подчас очень богатыми, зоологическими, ботаническими, энтомологическими, минералогическими и даже палеонтологическими коллекциями встречаем "удивительную машину" из Японии, "любопытного мастерства распятие" из Гишпании, суд царя Соломона и т.д. Первым важным последствием этого коллекционерства было пробуждение интереса к изучению русской природы. Указ 1718 г. приказывал всем жителям государства приносить местным властям всякие диковинки и опровергал, кстати, мнение "невежд", будто "уроды родятся от действа дьявольского". Этот указ был первым предвестником научных экспедиций, предпринятых вскоре русскими академиками по России и Сибири.

Помимо религиозных применений и удовлетворения любознательности, естественно-исторические сведения имели в древней Руси важное прикладное значение. На них основывалась именно наша старинная фармакопея. Но надо сказать, что сюда только что разобранные источники натуралистических познаний внесли самую мутную струю. Еще в середине XVII в. ученые немецкие врачи продавали русскому правительству на вес золота "единороговы рога" (то есть мамонтовы клыки) и чудодейственные камни, в лечебную силу которых сами добросовестно верили. К этой же категории древних суеверий, переданных книжным путем, относятся всевозможные приворотные зелья и симпатические средства старинной медицины.

Здесь, впрочем, мы переходим в область *антропологических* познаний наших предков. Прикладная, именно лечебная, цель была в этой области главной. В основе медицины лежало древнее учение о четырех основных жидкостях человеческой природы, соответствующих четырем стихиям мира. Учение о четырех стихиях уже в Шестодневе Иоанна экзарха Болгарского (X в.) доказывается Книгой Бытия. Бог создал *землю*; Он же не сказал: да будет свет — то есть *огонь*. Бездна, на которой носилась тьма, — это *вода*; а дух Божий, носившийся над водою, — это *воздух*. Дальнейшее развитие учения о стихиях мы находим в русских рукописях XV-XVI вв., где оно приписывается знаменитому древнему врачу Галену. Человек ("малый мир", то есть микрокосм) устроен по образцу вселенной ("большого мира", то есть макрокосма). Мир состоит из четырех вещей — огня, воздуха, земли и воды; малый мир — человек — из четырех стихий: крови, мокроты (флегмы), красной желчи и черной желчи. Кровь подобна воздуху: мокра и тепла. Флегма подобна воде: мокра и студена. Красная желчь подобна огню — суха и тепла. Черная желчь подобна земле: суха и студена. Если все стихии находятся в равновесии, человек бывает здоров; если равновесие их нарушается, наступает болезнь. Каждому возрасту и каждому времени года соответствуют свои болезни, кото-

рые могут быть предупреждены соответственной диетой. У отроков 15 лет "умножается кровь"; то же состояние вызывает весна, потому что она тепла и мокра. "В юноше 30 лет умножается красная желчь, так же как и летом, потому что оно тепло и сухо". "В совершенном муже, 45 лет, умножается черная желчь, как и осенью, потому что она суха и студена". Наконец, "в старце умножается флегма, сиречь мокрота, как и во время зимы, мокрой и студеной". Каждому из этих состояний соответствует особое настроение: подвижное и легко меняющееся в отроке — от крови, бодрое и решительное в юноше — от красной желчи, "благостоятельное" в зрелом муже — от черной желчи, тупое и печальное в старце — от флегмы. Отсюда один шаг до знаменитого учения о четырех темпераментах: сангвиническом, холерическом, меланхолическом и флегматическом. Это учение и развивается в другом средневековом памятнике, "Луцидарии", переведенном на славянский язык с немецкого в XVI в. Сопоставление микрокосма с макрокосмом ведет здесь прямо к установлению зависимости человеческого темперамента от светил. "Какая планета ближе душе человека (имеющего родиться), от той он и приемлет рождение. Одни планеты и звезды — студеного свойства, другие — влажного, третьи — сухого, четвертые — горячего. Те же самые естества получает от звезд и человек. Человек естества теплого и влажного — бывает разговорчив и высказывается скоро (по предыдущему памятнику в нем преобладает кровь, следовательно, он сангвиник). Человек естества сухого и горячего дерзок, храбр и непостоянен в любви (красная желчь — холерик). Человек студеного и сухого естества бывает молчалив и важен (черная желчь — меланхолик). Наконец, человек естества студеного и влажного — флегматик".

Все эти сопоставления и объяснения не только удовлетворяли теоретическому интересу, объединяя по-своему понятия о мире и человеке, но и давали также твердую опору для всевозможных врачебных и житейских предписаний. С их помощью определялось самым точным образом, что когда нужно есть и даже какие дела лучше всего предпринимать. В этом заключается объяснение и тех календарных советов, которые являлись естественным последствием основных положений средневековой астрологии.

До практической медицины отсюда, конечно, еще было далеко. Это искусство издревле практиковалось у нас по преимуществу иностранцами и шло первоначально с востока. Уже в XI-XII вв. мы встречаем в качестве врачей армянина, половчанина, сирийца. В конце XV в. эта восточная медицина заменяется западной. Но первые представители ее в Москве, немец и еврей, гибнут жертвой неудачного лечения своих высоких пациентов. С XVI в. вызов иностранных врачей к царскому двору становится постоянным. В 80-х гг. этого века заводится в Моск-

ве приезжими английскими медиками и первая аптека. Но и то и другое, и врач и аптека, существовали только для двора и для приближенных ко двору лиц. Сначала XVII в. правительство старается завести также военных врачей в полках. Но только в конце века, после приезда 75 медиков, вызванных Петром (1695-97), военно-медицинская помощь становится сколько-нибудь заметной. Все остальное население, не принадлежащее к служилому составу, продолжает лечиться своими средствами. Только в 1672 г., после устройства второй московской аптеки ("Новой"), открыта была из нее вольная продажа лекарств. В 1687 г. запрещено торговать сильнодействующими средствами в "зелейном" ряду, но случаи отравления лекарствами, приобретенными этим путем, встречались и позже (например, в 1700 г.).

С половины XVII в. в московских аптеках наряду с иноземным персоналом, являются и русские ученики, которых правительство велит учить, ничего от них не скрывая. Мы знаем, что аптека даже становится к концу XVII в. одним из очагов вольнодумства. Что же перенимали русские аптекарские ученики в области своей специальности? По-видимому, медицинский персонал, попадавший в Москву, не принадлежал к разряду людей, двигавших науку на Западе. По крайней мере в приспособленных для русского употребления руководствах XVII в. мы не находим того нового духа, который оживлял анатомию со времени Везалия, начавшего впервые после древних изучать ее на трупах (1514-64), и физиологию со времени Гарвея, открывшего кровообращение (1578-1657). Русская наука XVII в. и в этом случае принимала за новое то, что отслуживало свой век в Европе. Знаменитая книга Везалия была, правда, переведена для царя еще в 1650 г. Епифанием Славинецким. Но этот экземпляр так и остался единственным. Распространилось же у нас руководство, латинский источник которого напечатан был в XV в. (а составлен, может быть, еще раньше). В свое время это руководство, так называемый "Благопрохладный Вертоград" или "Цветник", вероятно, стояло на уровне тогдашней науки. Но оно уже совершенно устарело, когда перевод его (по-видимому, через Западную Россию) дошел до Москвы. Древнейшая рукопись "Вертограда" относится к 1616 г. В 1661 г. эта рукопись была одобрена как руководство докторами Аптекарского приказа. Не позже 1672 г. явилось в русском переводе латинское или немецкое сокращение того же руководства под названием "Прохладный Вертоград". Это сокращение, приспособленное к практическому употреблению, особенно понравилось ученикам и публике. Оно распространилось в большом количестве списков и продолжало употребляться еще в XVIII в. По нему, таким образом, мы можем судить о среднем уровне московской медицины XVII столетия. Что же там преподавалось? В отделе лекарств "Прохладный Вертоград", так же как и его первоисточ-

ник, сохранял статью "о камнях драгих, ко многим делам угодных, и о силе их". В перечне "немощей" и "чем которую немощь по дохтурским наукамлечить" предлагаются средства для сохранения красоты и для истребления домашних насекомых, указывается способ обезвредить "всякого супостата", "зверя и гада" и даже "нечистого духа". "Прохладный Вертоград" знает, как обеспечить обильный улов рыбы, сохранить пчел и предохранить хлеб в поле от града, какие дни добрые и дурные и что в каждый день лучше всего делать, как "добыть счастье в людях" и даже как узнать пол ребенка, который должен родиться.

При полном застое медицинской науки одна только часть ее обнаруживала своеобразную жизненность — это учение о лекарствах. И здесь тоже наиболее распространенным руководством был перевод, на целый век опоздавший сравнительно со своим подлинником (изданным в 1534 г.). Перевод этот тоже подвергался переделкам и сокращениям в течение всего XVIII в., пока не превратился, как сейчас увидим, в народный лечебник. Но рядом с этим переживанием когда-то научного материала шло постоянное подновление русской фармакопеи новыми средствами, постоянное накопление чисто эмпирических наблюдений. "Замечено в общей врачебной истории не раз, — говорит по этому поводу новейший исследователь, — что во времена застоев строгой науки фармакология всегда расцветала". Только при Петре у нас возникла наконец правильная медицинская школа (1706), преподавание в которой шло уже по Везалию и вообще приближено было к научному уровню современной Петру европейской медицины.

Обозревая развитие точных знаний в России, мы до сих пор следили лишь за теми из них, которые в свое время имели претензию на научность и уже поэтому оставались достоянием или специалистов, или одного только более образованного круга публики. Необходимо упомянуть теперь и о тех космографических и антропологических представлениях, которые уже в рассматриваемую эпоху или немного позже сделались достоянием народа. Этого рода представления, подобно первым, тоже распространялись книжным путем. Но книги, распространявшие их, с самого начала были заподозрены и отвергнуты церковью. Для церкви особенно подозрительно было то, что и помогло быстрому распространению этих представлений в народе: именно их несомненное сходство с понятиями языческой старины. Трудно теперь отделить, что перешло в народное мировоззрение из книг и что уцелело в нем от языческой эпохи. Но чем более мы изучаем старинный книжный материал, тем доля книжного влияния оказывается больше.

В одной сербской рукописи XV в. мы встречаемся, например, со следующими космогоническими представлениями, бесспорно, византийского происхождения: "Скажи мне, что держит землю?" — "Вода высока". — "А что держит воду?" —

"Камень плоск вельми". — "А что держит камень?" — "Четыре кита". Как видим, всем известные киты, на которых держится земля, — весьма древнего и почтенного происхождения, и притом не народного, а книжного. Тот же памятник указывает нам источник и антропологических понятий, перешедших потом в народную словесность. Адам создан был, по этому памятнику, из восьми частей: из земли, воды, камня, ветра, солнца, мысли, ангельской быстроты и духа. Другой памятник того же времени объясняет еще полнее: "Тело от земли, кости от камня, кровь от моря, очи от солнца, мысли от облака, дух от ветра, теплота от огня, душу Господь вдохнул". Так далеко никогда не шли ни Шестодневы, ни Козьма Индикоплов. Из апокрифов этот широкий размах фантазии прямо переносит нас в русские духовные стихи. Мы упоминали только что еще об одном явлении подобного же характера: о превращении переводного немецкого травника в простонародный. Обыкновенно говорят, наоборот, о влиянии народной медицины на ученую; и это предположение имеет, конечно, за себя серьезные основания. Но роль книги и в этом случае, по-видимому, придется представлять себе более значительной, чем это казалось до сих пор. Это особенно справедливо по отношению к суеверному элементу народной медицины. Многие фантастические травы народной фармакопеи оказываются просто искаженными учеными названиями. Так, абратанум превратилось в "оборотень-траву", сабина в "сову", ревень в "ревеку", подсолнечник в "синего ворона" и т. д. Книжные элементы отыщутся и в заговорах, и в хозяйственных приметах народного календаря. XVIII и XIX вв. продолжают в этом отношении ту же работу усвоения народом знаний, брошенных высшими классами, которая шла и в XVI и в XVII столетиях. Только народная школа может покончить с этими переживаниями науки в народе, как школа петровского времени покончила с переживаниями европейского знания в среде старинных русских специалистов.

Нам остается теперь познакомиться с состоянием гуманитарных знаний допетровской Руси.

Историческое чтение было, после религиозного, самым любимым чтением древнерусского грамотея. Но удовлетворить потребности исторического знания в древней Руси было довольно мудрено. При всем обилии летописей и исторических сказаний о русских исторических событиях разобраться в них было нелегко, так как ни общего руководства, ни какой-либо цельной системы в изображении хода русской истории не существовало. По всеобщей истории существовали только византийские всемирные хроники, построенные на библейской основе и, помимо священной истории, занимавшиеся почти исключительно римскими и византийскими императорами.

С конца XV в. и в области исторического знания наступает оживление, обнаруживающееся прежде всего в усиленной пере-

работке и усвоении чужого материала, юго-славянского и польского, а затем и в самостоятельных попытках исторического рассказа. Первый опыт русской переработки производится над старинным "Летописцем еллинским и римским", скомпилированным в очень давнее время каким-то болгарином из двух византийских хроник (Малалы и Амартола) по болгарским переводам X в. Приемы русской переработки "Летописца" хорошо характеризуют вкусы русского читателя первой половины XVI в. Ему прежде всего сильно не нравится то, что болгарский "Летописец" переплетает рассказы о допотопных патриархах с рассказами из греческой мифологии: о гигантских змееногих, о Кроносе и Зевесе, которые, в духе Эвгемера, изображаются царями ассирийскими, и т. д. Все эти "эллинские сплетения словес и капищ идольские требы" вовсе выброшены из "Летописца" и заменены полным списком библейских книг до 4-й Книги Царств включительно. Далее, религиозный интерес русского читателя проявился в целом ряде вставок по поводу событий византийской церковной истории: к "Летописцу" прибавлены распространенные на Руси повести о построении Св. Софии, о разделении церквей, наконец, о взятии Константинополя турками.

Очень скоро, однако же, "Летописец еллинский и римский" был совершенно вытеснен из употребления другим "Хронографом". Он представлял такие важные преимущества для русского читателя, что именно этот "Хронограф" и сделался предметом всех дальнейших русских переделок и обработок. В основе этого хронографа лежали уже не старые византийские хронисты VII-IX столетий, а два хрониста XII в. (Манассия и Зонара). Положим, и их сведения кончались началом XI столетия. Но далее составитель "Хронографа" — вероятно, серб — доводил рассказ до начала XV в., пользуясь болгарскими и сербскими источниками XIII-XV вв. Между этими источниками некоторые представляли уже не простую летопись, а попытки прагматического рассказа. Таким образом, русский читатель впервые получил образец новой, неизвестной ему ранее формы исторического изложения. Впрочем, гораздо важнее для него было то, что в "Хронографе" он впервые получал связное изложение славянской истории в связи с главнейшими событиями древней русской. Эта часть "Хронографа" и сделалась тотчас же основой для целого ряда русских исторических вставок. Отчасти они были взяты из тех же византийских хронистов, но отчасти были и вновь сочинены в национально-патриотическом духе. С помощью этих вставок и других поправок искусного редактора юго-славянский хронограф XV в. уже в 1512 г. сделался окончательно русской собственностью.

Прошло сто лет после этой второй переделки "Хронографа". На Руси окончательно повеяло новым духом. Летописание прекратилось; западное, латинское влияние все более вытесняло

греческое; польские или южнорусские переводы заменяли югославянские; сильно развился среди читателей интерес к светским знаниям. Этим новым потребностям соответствовала и новая переделка "Хронографа" в 1617 г. Исходной точкой переделки послужил все еще "Хронограф" 1512 г. Но и ветхозаветные, и юго-славянские известия подверглись в нем сильному сокращению. Зато появилась вновь классическая история и мифология, выкинутая когда-то из "Летописца Еллинского", а теперь из того же летописца заимствованная вновь, с прибавками из римской мифологии. Самая главная перемена заключалась в том, что в основу рассказа положена была теперь, вместо византийских хроник, польская хроника Мартина Бельского, появившаяся в русском переводе еще в 1584 г. По содержанию эта хроника была, правда, однородна с византийскими. В ней встретим все ту же ветхозаветную и новозаветную историю, четыре монархии, статьи по греческой мифологии, троянскую войну и Александрию, статьи о Магомете. Но все это составлено по новым латинско-польским источникам и, *кроме того*, дополнено совершенно новым материалом, космографией, историей Западной Европы. Любознательный читатель мог почерпнуть из новой переделки массу неизвестных ему сведений о морях, реках, городах, диковинных людях, о колоссе родосском, о пророчествах сивилл и "дивах разнобываемых", о готах и вандалах, о папах до разделения церквей[5] и об открытии Америки. Русская история обработана была здесь тоже в новом вкусе. Она начиналась обычными в средние века сближениями новых народов с античными (руссов с роксоланами) и столь же обычными словопроизводствами народных имен (славян от слово, руссов от русых, или от гор, Русы, или от Руса, брата Ляха). И дальше, мы встречаемся с новыми учеными приемами исторического изложения. В основу положен ряд летописных заметок. Но они объединены литературными прикрасами и попытками исторического прагматизма. А в изложении событий XVI-XVII вв. встречаем ряд характеристик, от Грозного до первого самозванца.

В том же духе, который вызвал появление "Хронографа" 1617 г., совершалось и его дальнейшее развитие на русской почве. Вкус к реальным знаниям отразился вторжением в самый библейский отдел целого ряда сведений, почерпнутых из самых подозрительных источников. Шесть дней творения изложены были вновь, помимо "Толковой Палеи", по книге Еноха и, помимо бесед св. Василия Великого на Шестодневы, — по Луцидарию. Из этих и других подобных источников сюда введен был ряд сведений по математической географии, астроно-

[5] Дальше составитель не считал нужным идти, заключая свое повествование словами: "...и тако совершенно удалишася православной веры, и к тому же о папах римских писать нечего".

мии, метеорологии и естественной истории. И для дальнейших отделов библейской истории апокрифы употреблялись все более и более свободно. Еще свободнее реальные сведения притекали в отделе космографическом. К космографии Мартина Бельского присоединены были выписки из космографии Герарда Меркатора (переведенной в 1630 г.); вслед за тем явились в составе "Хронографа" и самостоятельные обработки. Сперва это было русское предисловие к переводной космографии, а потом, в конце XVII в., и русская переработка географического описания четырех частей света, со внесением национальных и православных тенденций. Московское государство, помимо описания его у Меркатора (по Иовию и Герберштейну, источникам конца XV и начала XVI в.), было здесь описано еще в особой, оригинальной русской статье, так же как и Сибирь.

Прогрессировало и усвоение русской историографией польских ученых приемов. У Словена, родоначальника новгородских славян, появилась "жена Шелонь, сын Волхов" и т.д. Гостомысл перед смертью обращался к новгородцам с речью: "О мужие новгородстии, совет даю вам, да пошлете в Прусскую землю мудрые мужи (для призвания Рюрика)" и т.д. Рядом с этой "ученой" разработкой древнейшего периода "Хронограф" дополнялся и современными историческими известиями. Эти дополнения стали наиболее важной и оригинальной частью старого памятника.

Впрочем, русские исторические произведения уже давно составлялись и вне рамок "Хронографа". Летописная бессвязность и фактичность мало-помалу исчезали из них под влиянием новых образцов, заменяясь прагматичностью изложения и системой в выборе фактов. Первые примеры разработки русской истории в этом духе показаны были москвичам опять-таки южными славянами и Киевом. В Киеве обработан был по средневековым правилам, древнейший исторический период и сделан выбор фактов, пригодных для *религиозного* возвеличения последующей национальной истории. Таким образом, составился древнейший учебник русской истории, напечатанный под названием "Синопсис" (1674). В Москве, еще в начале XVI в., положено было основание искажению исторических фактов под влиянием *политической* тенденции. По-видимому, немаловажную роль сыграли при этом поселившиеся в Москве ученые сербы. К религиозному герою русской истории, Владимиру Святому, выдвинутому Киевом, присоединился, таким образом, выдвинутый Москвою политический герой ее Владимир Мономах, наследник византийских императоров. Весь ход русской истории объяснен был систематически, как следствие распоряжений ее государей, касавшихся формы правления. По этой теории первоначальная Русь была единой монархией. Затем ошибочное распоряжение о разделе раздробило ее на уделы. Последствием этого было отделение от нее Юго-Западной Руси и северных

республик и порабощение России татарами. Новый на этот раз мудрый акт воли Ивана III уничтожил разделы и все их последствия, объединил Русь, освободил от татар и восстановил благодетельное для России единовластие.

Таким образом, и здесь практическая надобность была главным двигателем научного развития. Конечно, понятие "научного развития" надо понимать весьма относительно. Построение русской истории по указанной схеме было шагом назад от объективной истины, но и шагом вперед к ее постижению. Какова бы она ни была, эта схема впервые вывела русскую историографию из периода летописания.

Сравнительно с успехами европейской историографии того времени это, конечно, было еще немного. Средневековые приемы исторического изучения и изображения проникали к нам из Польши тогда, когда на западе новый дух возрождения одушевлял историографию, когда появились знаменитые произведения итальянских историков-психологов, доводившие исторический прагматизм до крайней степени глубины, к которой только этот род истории способен. Потребность в жизненном, а не книжном только изображении истории отразилась и у нас в появлении мемуаров, в описании современных исторических событий. Но эти успехи реалистического понимания нисколько не устранили еще старых теологических толкований. "Ненавистник рода человеческого, дьявол", все еще продолжал фигурировать в роли вдохновителя человеческих поступков, как в старое летописное время; исторические бедствия по-прежнему продолжали изображаться как наказание за людские грехи. Характерный пример такого соединения новых приемов изложения со старой мотивировкой встречаем в недавно открытом "Временнике" дьяка Ивана Тимофеева. К размышлениям над историей побудила автора "Временника" его теологическая точка зрения на текущие события. Кто виноват в том, что меч ярости Божией столько лет подряд поражает Россию не переставая? Вот вопрос, который мучил Тимофеева в исходе смутного времени. Он разрешил этот вопрос тем, что виноват он сам и все его сверстники и что вина его не иначе может быть искуплена, как публичным покаянием в собственном малодушии. В чем же дело? Дело в том, что он и все сверстники молчали, когда Борис губил старую законную династию; это преступление и повлекло за собой все последующие казни. "Если бы мы не смолчали перед Борисом в первый раз (когда, по предположению автора, он погубил царя Ивана Грозного), то он не дерзнул бы на второе убийство (Димитрия); и если бы не попустили ему в этих случаях, он не вооружился бы в третий раз — прекратить жизнь незлобивого царя Федора, и если бы нашим молчанием не пособлялось ему на все эти поступки, то он не искоренил бы без остатка благородное семя и Гришка Расстрига не наскочил бы на высоту помазанников Божиих, не явилось бы и его подражателей. А если бы их не

было, то не было бы и их слуг, опустошавших с ними землю; не радовались бы иностранцы нашему внутреннему бедствию. Нам не пришлось бы призывать на помощь исконных врагов своих, шведов; в таком случае не выступали бы против нас и их противники (поляки). Русская земля не была бы пленена чужеземцами; не будь этого, неприятели не осадили бы и не взяли бы Москвы". Таков своеобразный прагматизм, характеризующий православного исторического писателя начала XVII в. Тут есть уже попытка найти руководящую нить в водовороте событий. Но причинная связь событий рисуется перед встревоженной совестью автора не иначе, как в виде ряда целесообразных "казней". Основной причиной их является людское малодушие, а целью, поставленной свыше, — приведение людей к покаянию.

Для того чтобы встретиться с вполне светской манерой исторического изложения, нам придется передвинуться на целый век позже, и притом не к мемуарам начала Петровского царствования, а к "Гистории", написанной в 1727 г. старым дипломатом кн. Куракиным. Читатель, не забывший еще высокопарного трактования истории Петра у позднейших русских историков, будет приятно удивлен, найдя у кн. Куракина рассказ, совершенно чуждый каких бы то ни было провиденциальных тенденций, проникнутый тонкой наблюдательностью и знанием людей, пересыпанный блестками юмора и той добродушной злости, которую французы называют malice. Почти хочется думать, что Куракин выучился этой манере у старых итальянцев, на языке которых он привык выражать свои задушевные мысли[6].

---

[6] Для примера вот несколько характеристик Куракина. "Помянутый Лефорт был человек забавный и роскошный или, назвать, **дебошан французский**. И непрестанно давал у себя в доме обеды, суне и балы. И тут в доме первое начало учинилось, что его царское величество начал с дамами иноземными обходиться, и амур начал первый быть к одной дочери купеческой, названной Анна Ивановна Монсова. Правда, девица была изрядная и умная". А вот характеристика знаменитого начальника Преображенского застенка кн. Ф. Ромодановского. "Сей князь был характеру партикулярного; собою видом, как монстра; нравом — *злой тиран*; *превеликий нежелатель добра никому*; *пьян по вся дни*; но его величеству верный так был, что никто другой. И того ради увидишь ниже, что оному (царь) во всех деликатных делах поверил и вручил все свое государство". Вот далее характеристика большого барина, Льва Нарышкина, брата царицы: "Был человек гораздо посреднего ума и невоздержный к питью, также человек гордый, но хотя не злодей, токмо не склончивый, и добро многим делал **без резону, но по бизарии своего гумору**". А вот Тихон Никитич Стрешнев, старый приказный делец: "Человек лукавый и злого нраву, а ума гораздо среднего, токмо дошел до сего градусу (главного государственного деятеля) таким образом: понеже был в поддядьках у царя Петра Алексеевича с молодых его лет и признался к его нраву и, таким образом, был **интриган дворовой**"; царь, "хотя внутренно не любил, ниже эстимовал" его, однако же, "во все дела внутренние положился на него", так как он "наиболее в делах был и секрет всех дел ведал".

Словесные предметы средневековой trivium составляли, как мы знаем, центр тяжести в программе латинской школы. Для первого и основного из этих предметов, грамматики, нашлось место даже и в строго православной программе. Этот отдел знаний был единственным, который сделался в Москве, по крайней мере к концу века, предметом правильного школьного преподавания. Но словесные знания вообще интересовали публику меньше, чем многие из упомянутых раньше отделов, распространились крайне незначительно и не вызвали никакой самостоятельной научной деятельности.

Исключение составляла только простая грамотность. Однако и тут первый московский букварь (Вас. Бурцова) появился только в 1634 г. и составлял простую перепечатку виленского издания (1621 г.). После того буквари и другие учебные книги переиздавались постоянно московской типографией в довольно значительном количестве экземпляров. Но это были, кроме богослужебных, единственные ее издания, сколько-нибудь широко распространенные. В середине века, например, букварь выдержал три издания в течение четырех лет (1648-51), всего в количестве 9600 экземпляров; учебный часослов в семь лет издавался 8 раз (1645-52), учебный псалтырь — в шесть лет (1645-51) — 9 раз. В последней четверти века, в течение 12 лет (1678-89), мы имеем следующие цифры тех же изданий: букварей не менее 25 тысяч экземпляров, то есть по две с лишком тысячи ежегодно, часословов — 36 тысяч, то есть по три тысячи ежегодно, псалтырей больше 18 тысяч, то есть более полуторы тысячи экземпляров ежегодно. На 16 миллионов тогдашнего населения России это было немного: приходилось всего по одной учебной книге на каждые 2400 человек населения. Но и это огромные цифры сравнительно с той, которою можно было бы выразить распространение грамматики. В 1648 г. — в момент оживления школьного вопроса — московский печатный двор переиздал грамматику Мелетия Смотрицкого, первый и единственный свод законов литературного церковно-славянского языка, напечатанный еще в 1619 г. около Вильны. В особом предисловии к этому изданию московские издатели убеждали читателей, что грамматика есть неизбежная "дверь" к достижению высших степеней знания, что, не пройдя ее, легко заблудиться и сильному разумом. Они ссылались, в доказательство справедливости своих слов, и на Максима Грека, и на святых отцов; приводили в подтверждение исправление церковных книг. Но все это, очевидно, мало подействовало на публику. По крайней мере издание 1648 г. так и осталось единственным вплоть до 1721 г., когда один из самых деятельных учеников Лихудов, Поликарпов, вновь перепечатал эту грамматику, как будто к ее столетнему юбилею. В предисловии издатель жаловался, что даже в греко-латинской московской школе славянская грамматика не "предподавалась за

оскудением сих книг" и что их приходилось разыскивать, "аки искру в пепле".

О распространении в России следующих степеней тривиума — диалектики и риторики — нечего и говорить. Мы не знаем, дошли ли до этих наук ученики Ртищевской школы. Из учеников Полоцкого добрался до них, может быть, один Медведев. Наконец, Лихуды дошли до них наверное. Но их преподавание шло на латинском и греческом языке и доступно было лишь десятку-другому учеников. В самом конце века московские любители просвещения начали тоже интересоваться лекциями славяно-греко-латинской Академии: например, курс риторики, читанный Лихудами, был переведен на русский язык по специальному заказу одного московского купца.

Лихуды первые стали знакомить москвичей и с чисто философскими предметами. Сюда относятся два курса, составленные главным образом по Аристотелю: логики и физики. Третий курс, психологии, составленный Иоанникием Лихудом еще в Венеции, не понадобился вовсе для Академии. Мы видели, что и за преподавание "физики" Лихудам пришлось пострадать. Под "физикой" разумелось у них учение об основных элементах мира, о материи, форме, о причинах — материальной, формальной, действующей и конечной и т.п. Таких философских тем в Москве до них не затрагивал никто, и самое слово "философия" принадлежало к числу слов, возбуждающих страх у москвичей. Заниматься "философией", по мнению публики, значило "мерять аршином хвосты звезд", и даже такие ученые люди, как Максим Грек, считали "платонские и аристотельские мнения" тождественными с ересью. Если все-таки кое-какие отдаленные отголоски этих "мнений" и проникали на Русь — как, например, учение о троечастном составе души, которое Курбский сообщает Грозному как последнюю ученую новинку, — то, конечно, это не дает еще повода говорить о распространении на Руси философских познаний. В лучшем случае — как у Дамаскина — под философией разумелось своего рода естественное богословие. И в этом смысле старые русские грамотеи готовы были понять философию так же, как они понимали богословие, — в смысле искусства благочестивого поведения. "Философия есть страх Божий, добродетельная жизнь, избежание греха, удаление от мира, познание божественных и человеческих вещей. Она учит, как человек должен своими делами приближаться к Богу". Это определение философии, приписанное св. Кириллу, всегда присоединялось к спискам единственной философской книги древней Руси — "Диалектики" Иоанна Дамаскина — как наиболее удобопонятное резюме всего ее содержания.

Мы не исчерпали бы всех образовательных ресурсов допетровской Руси, если бы не упомянули в заключение еще об одном. Как старый византийский, так и новый европейский ре-

пертуар сведений, перечисленных нами выше, предлагался русским читателям в слишком разрозненном и специальном виде, чтобы сделаться достоянием большой публики. Чтобы овладеть всем содержанием старой и новой образованности, надо было иметь под руками целую библиотеку. Естественно, что у обыкновенного читателя рано должна была явиться потребность в общедоступном своде всех этих знаний — в форме сборника или энциклопедии. На сборниках, этой любимой форме древнерусской литературы, мы останавливаться здесь не будем: ограничимся беглым обзором древнерусских энциклопедий или так называемых "Азбуковников". В своем происхождении "Азбуковник" — это список иностранных или славянских слов, с объяснением их. Такие списки, без алфавитного порядка, известны в рукописях XIII и XV столетий. В XVI в. списки слов увеличиваются в количестве, располагаются по алфавиту и в этом виде получают название "Азбуковник". Нас "Азбуковник" интересует, однако же, не в этой своей форме, а в своем дальнейшем развитии. К объяснению слов в нем присоединяются объяснения понятий из разных отделов знаний, и, таким образом, лексикон превращается в энциклопедический словарь. В этом виде "Азбуковник" переживает несколько превращений, для нас очень интересных. В начале XVII в. "Азбуковник" еще черпает свои сведения из старорусского, то есть византийского, литературного запаса. Он ссылается на Толковую Палею и Козьму Индикоплова, на Шестодневы Иоанна Болгарского, на Дамаскина и Григория Богослова — словом, на все признанные авторитеты византийской науки. Из свободных наук и он, однако, делает единственное исключение — для грамматики. Высший курс свободных знаний (quadrivium): арифметику, музыку, геометрию и астрономию — этот "Азбуковник" безусловно считает запрещенными ("отреченными") науками. Во второй половине XVII в. содержание "Азбуковника" совершенно обновляется. Стремясь поспеть за расширением научных знаний, он начинает черпать свои сведения из польских хроник, из космографий, лечебников и ссылается на классические и средневековые авторитеты: на Плиния, на Авиценну, на Альберта Великого и т.д. Наиболее развитою частью "Азбуковника" остаются и в это время сведения грамматические: он обстоятельно знакомит своих читателей с восемью частями речи, с "супружествами" глаголов и "падениями" существительных. Но помимо грамматики, "Азбуковник" старается дать общее понятие и о других "свободных мудростях". Грамматика, диалектика, риторика, музыка, арифметика, геометрия, астрономия — все эти науки поочередно выводятся в лицах, рассказывают читателю свое содержание и восхваляют приносимую ими пользу. Правда, что, кроме грамматики, отчасти риторики и диалектики, остальные науки не идут в "Азбуковнике" дальше своих предисловий; но важно уже самое старание заинтересовать читателя

в пользу наук, заподозревавшихся раньше в неправославии. Не менее интересна другая сторона того же "Азбуковника" второй половины XVII в. Он не только пропагандирует свободные науки среди публики: он стремится провести их в школу и для этого принимает форму школьной хрестоматии для чтения. К энциклопедии свободных знаний он присоединяет также и правила школьной дисциплины, составленные по образцу малороссийских школ XVII в. Мы не знаем, осуществились ли благие намерения "Азбуковника", существовала ли предположенная им школа и сделал ли московский учитель из "Азбуковника" надлежащее употребление в классе. Скорее всего, что ничего этого не было. Но, как бы то ни было, "Азбуковник" еще раз подчеркивал необходимость средней и низшей школы для правильного удовлетворения наличной потребности в просвещении и для дальнейшего развития этой потребности в обществе. С этой последней чертой история "Азбуковника" является полным резюме того, что мы могли бы вывести из всего предыдущего изложения. Легко заметить, что резюме это очень близко сходится с тем, которое мы вывели из истории допетровского творчества. Как там, так и здесь византийское культурное влияние оставалось бессильным до конца XV в. С этого времени оно, несомненно, начинает укореняться в русском православном сознании; но тут же, следом за ним, появляются первые признаки западного влияния, которое мало-помалу усиливается и, несмотря на все препятствия, к концу XVII в. делается господствующим. Однако, при ближайшем рассмотрении, и это новое влияние оказывается вовсе не таким уж отличным от прежнего. Дело в том, что на смену византийской мудрости к нам идет теперь средневековая латинская ветошь. Научный материал, воспринятый через Киев Москвой XVI в., был накоплен на Западе еще в XII-XIII столетиях, а с XV стал быстро терять свою свежесть. Вот почему и этому влиянию не суждено было быть долговременным. Сколько-нибудь прочно оно укоренилось у нас лишь в высшей богословской школе. Светская школа, которую только предстояло заводить, осталась от него совершенно свободной и прямо взяла свое содержание из современной европейской науки. Секуляризация школы стала необходимостью. За светской школой, после непродолжительного колебания, пошло и образованное русское общество.

БИБЛИОГРАФИЯ

Общий очерк научного влияния Византии см.: В.С. Иконников, *Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории* (Киев, 1869). Перечень фактов, свидетельствующих о латинском влиянии см: Шляпкин, *Димитрий Ростовский и его время* (СПб., 1891). О допетровской арифметике, землемерии и астрономии см.: В.В. Бобынин, *Очерки истории развития физико-математических знаний в России*, Вып. 2 (М., 1886-1893) и мои *Спорные воп-*

росы финансовой истории Московского государства (СПб., 1892). О "Физиологе" см. А. Карнеев, *Материалы и заметки по литературной истории "Физиолога"*, Изд. Общ. древней письменности, т. XCII (СПб., 1890). О старинной медицине см.: Л.Ф. Змеев, *Русские врачебники*, Памятники древн. письменности, т. CXII (СПб. год?) и брошюру Н.П. Загоскина, *Врачи и врачебное дело в России* (Казань, 1891). Другие библиографич. указания см. в брошюре Дм. Цветаева, *Медики в московской России и первый русский доктор* (Варшава, 1896). Историю переделок хронографов см. в исследовании А. Попова, *Обзор хронографов русской редакции*, Вып. 2 (М., 1866-1869). О русских исторических построениях XVI в. см. в моих *Главных течениях русской исторической мысли*, Т.1. (М., 1897); 2-е изд. (М., 1898), и у И. Жданова, *Русский былевой эпос* (СПб., 1895). *Временник* Тимофеева издан С.Ф. Платоновым в "Русской Ист. Библиотеке", Т. XIII; кн. Б. Куракина *Гистория*, Архив князя Куракина, Т.1. (СПб., 1890) и в "Русской Старине", Обзор букварей и грамматических сочинений допетровской Руси см. у А.Н. Чудинова, *Очерк истории языкознания в связи с историей обучения родному языку* (Воронеж, 1872). Об издании учебных книг см. в указанных ранее исследованиях Голубцова и Прозоровского. О лекциях Лихудов см. С. Смирнов, *История славяно-греко-латинской Академии* (М., 1855). Об "Азбуковнике" см.: статья Д.Мордовцева, *О русских школьных книгах XVII в.* "Чтения Общ. истории и древностей российских", IV (1861) и рецензия Н.С. Тихонравова на *Историю русской словесности* Галахова, в его "Сочинениях", т.1. (М., 1898) (под заглавием "Задачи истории литературы и методы ее изучения"). О научных познаниях начала XVIII в. см. П. Пекарского, *Наука и литература в России при Петре Великом*, т.1., *Введение в историю просвещения в России XVIII столетия* (СПб., 1862).

III

СВЕТСКАЯ ШКОЛА ПЕТРА И ИМПЕРАТРИЦ

Профессиональный характер петровской школы. — Ее организация. — Первая сеть провинциальных школ: цифирные и архиерейские школы, их состав и судьба после Петра; слияние первых с гарнизонными школами, преобразование последних в семинарии. — Неудачная попытка устроить народную школу. — Задачи петровской школы. — Ее сословность, как последствие профессионального характера. — Начало общеобразовательных школ и их неудача в первую половину века; академия наук, академический университет и гимназия. — Переходный характер шуваловских учреждений: московский университет, гимназии в Москве и Казани. — Воспитательные идеи Екатерины II. — Закрытые учебные заведения, начало женского образования в России. — Неудача воспитательной деятельности школы. — Устройство средней общеобразовательной школы: главные и малые училища. — Австрийская система и ее применение на практике. — Препятствия для правильного развития общеобразовательной школы. — Цифровые результаты школьного образования в конце XVIII века. — Проекты и попытки низшей народной школы.

В то самое время, когда братья Лихуды сочиняли и вводили в академическое преподавание свои схоластические учебники, шестнадцатилетний Петр усердно сидел над своими математическими тетрадками. Слогом, который не только не делал чести его диалектике и риторике, но жестоко грешил и против грамматики и орфографии, он выводил правила аддиции и субстракции, решал задачи по артиллерии и астрономии. Всем известны последствия этих математических упражнений. Лет через пять Петр щеголял в матросском костюме в единственной тогда русской гавани, Архангельске, и ломаным языком повторял голландские приветствия и ругательства. Еще через пять лет, в той же матросской куртке и с несколько большим запасом голландских словечек, он точил, строгал, пилил и т.д. в Амстердаме. Вернувшись домой, он стал требовать, чтобы и все русские, желавшие служить, умели точно так же строгать, пилить, строить корабли и плавать на них, как выучился он сам.

Ближайшим средством научиться всему этому было поехать, подобно Петру, за границу. Так и заставил он сделать многих из своих сверстников. Но за границей русский человек оказывался слишком неподготовленным и не мог, как следует, воспользоваться путешествием. Приходилось "не то языкам учиться, не то наукам", как жаловался один из таких невольных туристов. Поэтому в первую же свою поездку (1698) Петр

выписал в Москву, для преподавания математики и морских наук, учителя — англичанина Фарварсона. В 1701 г. учреждена была "школа математических и навигацких наук", и Фарварсон занялся с этого времени обучением русской молодежи — "добровольно хотящих, иных же паче и со принуждением" — мореплаванию на Сухаревой башне.

Таким образом, рядом с богословской профессиональной школой стала в Москве другая — профессиональная морская. Взгляд правительства на цель образования, в сущности, еще не переменился. И теперь, как и прежде, наука и школа должны были служить практическим потребностям государства. Только понимание этих потребностей изменилось: вместо исправления церковных книг и охранения веры речь шла теперь о преобразовании армии и флота.

Как видим, первая русская светская школа явилась с довольно случайной программой. Создавая ее, молодой реформатор меньше всего заботился об удовлетворении потребности в общем образовании. Но жизнь сама исправила дело. Моряками, возвращавшимися из заграничных командировок и кончавшими курс в навигацкой школе, приходилось слишком часто пользоваться не как специалистами своего дела, а как образованными людьми вообще. Они становились и администраторами, и дипломатами, и учителями, и строителями, и геодезистами, и инженерами, и т.д. Таким образом, сам Петр скоро должен был убедиться, что "не токмо к морскому ходу нужна сия школа". Это не помешало, однако, навигацкой школе сохранить характер военно-морского учебного заведения. Таким она осталась и после переселения своего, с Петром, в Петербург (1715), где она получила название "Морская академия".

Обе академии, "морская" и "славяно-греко-латинская", сделались скоро двумя исходными пунктами целой сети низших школ, учрежденных Петром в провинции. Создание этой первой в России сети духовных и светских школ, собственно, и было тем огромным шагом вперед, который делает из петровского царствования эпоху в истории русского образования. Без обеих столичных академий устройство провинциальных школ было бы невозможно, так как для них неоткуда было бы взять учителей. Таким образом, по отношению к провинциальной школе "Морская" и "славяно-греко-латинская Академия" сыграли роль учительских семинарий. Наоборот, для столичных заведений провинциальные школы стали служить подготовительной ступенью. Низшая светская школа давала предварительные математические сведения, низшая духовная — сообщала познания словесные.

В один год с переселением в Петербург навигацкой школы Петр распорядился разослать по губерниям по два ученика этой школы, выучивших геометрию и географию, "для науки молодых ребяток из всяких чинов людей". В силу этого распоряже-

ния уже в следующем, 1716 г. открыто было в разных городах России 12 школ; к ним в 1720-22 гг. присоединилось еще тридцать. Новая школа обучала арифметике и геометрии, почему и получила название "цифирной" школы.

К счастью, мы имеет возможность подвести итог деятельности цифирных школ за первое время их существования. По сведениям, собранным в 1727 г., набрано было в эти школы учеников, охотой и силой, несколько больше 2000. По сословному составу ученики эти распределялись на следующие группы.

1. Из духовного звания	931 (45,4 %)
2. Солдатских (драгунских, казачьих и пушкарских детей)	402 (19,6 %)
3. Приказных	374 (18,2 %)
4. Посадских	93 (4,5%)
5. Дворян и детей боярских	53 (2,5%)

Не долго, однако же, удержали цифирные школы этот состав учеников. Едва указы об устройстве школ стали приводиться в исполнение, как тотчас же разные группы населения начали протестовать против новой для них школьной повинности. Посадские люди первые стали просить освободить их от обязательной посылки детей в школы, так как детям надо сидеть за прилавком, приучаться к отцовскому ремеслу. Правительство удовлетворило требования горожан (1720), и цифирные школы лишились части своих учеников. Несравненно важнее была конкуренция духовных школ с цифирными.

Духовная школа в провинции явилась вследствие предписания Духовного Регламента, обязавшего архиереев открыть в епархиях школы при архиерейских домах (1721). Во исполнение этого предписания в ближайшее пятилетие (1721-25) открыто было в России до 46 епархиальных школ. Таким образом, в последние годы царствования Петра чуть ли не каждый (позднейший) губернский город имел по две школы: светскую и духовную. Вербовать учащихся той и другой приходилось насильно; естественно, между обеими началась борьба за учеников. Синод потребовал, чтобы дети духовного сословия возвращены были в епархиальные школы. Таким образом, у цифирной школы отнята была очень значительная часть ее питомцев. Как велик был этот урон в отдельных случаях, видно из того, что после отнятия посадских и церковнических детей в четырнадцати цифирных школах совсем не осталось учеников. Эти школы пришлось закрыть, и учителя вернулись из провинциальных городов назад, в Морскую академию. В уцелевших 28 школах остались почти исключительно одни дети приказных. Число их было к 1727 г. всего 500 чел., вместо двух тысяч, навербованных первоначально. Причины убыли остальных 1500 учеников будут ясны из следующей таблицы:

1. Выбыли посадские и церковные	572	(37%)
2. Бежали, отпущены в дома и не явились	322	(20,8%)
3. **Выучено и отпущено**	302	(19,9%)
4. Безграмотных, идиотов и неспособных	233	(15%)
5. Взято в разные должности	93	(6%)

Как видим, больше трети покинувших школу воспитанников взяты у нее насильно. Больше пятой части бросили школу самовольно. От седьмой части школа отказалась сама. Семнадцатая часть поступила на должности, не кончив курса. И только относительно одной пятой цифирная школа вполне выполнила свое назначение: отпустила их "выученными".

Вслед за только что изложенным разгромом светской школы поднят был, немедленно после смерти Петра, вопрос о самом ее существовании. Петр отдал цифирные школы в ведомство морского министерства ("Адмиралтейской коллегии"), так как своих учителей эти школы получили из Морской академии. Теперь адмиралтейство попробовало от них отделаться и возобновило предложение Петра (1723) соединить цифирные школы с архиерейскими (1726). Однако против такого соединения восстал сам Синод, относившийся вообще неблагосклонно к "светским навигаторским наукам". "Передавать ученикам одну арифметику и геометрию, без связи с богословским образованием — не духовное дело. Поэтому просим оставить цифирные и геометрические школы в светском правлении", — так докладывал Синод в 1727 г. Только благодаря этому отказу петровская цифирная школа просуществовала до 1744 г. Впрочем, к этому году оставалось уже всего лишь 8 школ из 28. И из этих восьми — три самые обширные соединены были с гарнизонными школами. Гарнизонные школы при полках учреждены были в 1732 г. Они содержались на полковые средства; учителями были офицеры и унтер-офицеры. Преподавались, кроме грамотности, солдатская экзерциция, а также арифметика, артиллерия и инженерство.

Итак, петровская светская школа оказалась недолговечной. Остатки ее уцелели лишь в слиянии с военной школой, отчасти заимствовавшей ее программу. И в этом виде она, однако, сослужила службу русскому просвещению. Еще в первые годы царствования Екатерины II "Цифиркиных" нельзя было ниоткуда достать, кроме гарнизонной школы.

Познакомимся теперь с судьбой епархиальных школ, устроенных, как сказано, вследствие предписания Духовного Регламента. Ближайшее наблюдение за этими школами принадлежало не светским властям, а местным преосвященным. Государственная власть не вмешивалась в их судьбу так, как она вмешивалась в судьбу цифирных школ. За неявку учеников не сажали на цепь в тюрьму, как это нередко бывало с клиентами светской школы. Правительство не заботилось и о снабжении

этих школ контингентом учителей. Учителя набирались довольно случайным образом. В лучших случаях это были ученики Московской или даже Киевской академии; в других — учителями становились просто местные церковнослужители. Впрочем, не только выбор учителей, а и самое существование архиерейских школ зависело от доброй воли епархиального начальства, обязанного содержать их на свои собственные средства. Школы эти возникали и падали вместе с переменой преосвященных. Такие деятельные пастыри, как Иов Новгородский, или Питирим Нижегородский, Дмитрий Ростовский, Гавриил Бужинский (в Рязани), поднимали школы и наполняли их сотнями учеников. При других архиереях ученики распускались по домам, школы совсем закрывались или даже вовсе не открывались — под предлогом скудости средств или за ненахождением учителя. Программа преподавания также вполне зависела от наличных средств и от степени усердия местных властей. В лучших школах преподавание приближалось к объему московской Академии, и приходились все свободные науки. В большинстве же дело ограничивалось грамматикой и риторикой. Иногда, как, например, в вятской школе, ученики только выучивались читать и писать — за неимением учителей высших наук. Впрочем, одной грамотностью приходилось ограничиваться иногда и в виду настоятельной нужды в священниках. В нижегородской школе, например, из 832 перебывавших в ней учеников больше половины, именно 427, ограничились выучкой букварей и тотчас после того были посвящены в священники, в дьяконы и т.д. Так как учеников духовных школ не принуждали к учению такими насильственными мерами, как это бывало в светских школах, то и процент дезертиров был здесь гораздо меньше. В 1727 г. епархиальных школ было в России 46. Можно насчитать в них 3056 учеников. Убыль из этого числа была только 239. Надо, впрочем, прибавить, что из 2827 оставшихся учеников почти половина (1331) приходится на долю трех малороссийских епархий (Киевской, Черниговской, Белгородской) с десятью школами. Таким образом, собственно, в Великороссии светская школа по общему числу перебывавших в ней учеников несколько опередила духовную. В некоторых случаях она, вероятно, опередила ее и по уровню знаний. Но период процветания петровской светской школы был, как мы видели, крайне непродолжителен. Напротив, епархиальная школа в общем оказалась значительно устойчивее. Почти не сокращаясь в количестве, полсотни епархиальных школ дожили до того времени, когда началось превращение их в семинарии. И самое превращение в семинарии было результатом их развития, тогда как превращение цифирных школ в гарнизонные было последствием их падения. Архиерейская школа превращалась в семинарию, расширяя свой курс до пределов академии, то есть вводя, кроме низших классов — средние и высшие. Полный курс составлялся,

таким образом, кроме грамоты, из грамматики и риторики, философии и богословия. Прохождение этого курса распределялось по классам, число которых доходило до девяти[1]. С такой программой епархиальная школа из низшего училища превращалась в среднее и сама становилась центром для школ низшего типа, возникавших в пределах епархии. Первый случай такого развития духовной школы относится к очень раннему времени, благодаря личному почину. Новгородский архиерей Иов приютил у себя изгнанных из Москвы братьев Лихудов и с их помощью поставил курс новгородской архиерейской школы почти на одинаковый уровень с славяно-греко-латинской Академией. Благодаря этому обстоятельству, при учреждении в двадцатых годах XVIII в. других епархиальных школ — новгородская школа могла сыграть роль учительского института. Она послужила таким же рассадником учителей для них, каким для цифирных школ была Морская академия. В то же самое время новгородская школа организовала в районе епархии до 15 *низших* школ, в которых с 1706 по 1726 гг. обучалось 1007 учеников.

Это был, однако же, исключительный случай. Другие епархиальные школы стали переходить на положение семинарий гораздо позднее. В 1737 г. издан был общий указ о таком переходе. Но значительность расходов, сопряженных со введением нового типа духовной школы, во многих местах задержала учреждение семинарий до воцарения Екатерины II. После первого толчка, данного Петром, и здесь, так же как и в светских школах, развитие пошло очень медленными шагами: "оттого ли, что было трудно, или оттого, что попечение к тому малое прилагаемое было, — мы уже не исследываем", иронически заметила по этому поводу имп. Екатерина II. Полный курс был введен к ее воцарению только в восьми семинариях[2].

Насколько, при всем том, духовная школа XVIII столетия стояла прочнее светской, — это видно из тех постоянных заимствований, которые делает у нее светская школа на протяжении чуть ли не целого столетия. Учреждается ли медицинская школа д-ра Бидлоо, открывается ли академический или московский университет, создается ли учительская семинария для "народных училищ" Екатерины II, — везде воспитанники семинарии заполняют пустые кадры и скрашивают своим участием первые шаги деятельности светских учебных заведений. Таким образом, духовная школа XVIII в. оказала светской ряд незаменимых услуг.

---

[1] **Подготовительный** класс и **низшие**: аналогия, инфима, грамматика и синтаксима; **средние**: пиитика и риторика; **высшие**: философия и богословие.

[2] Всех семинарий было к 1738 г. 17 с 2589 учениками, к 1764 — 26 с 6000 учениками.

Познакомившись с судьбой цифирных и архиерейских школ, открытых в петровское царствование, мы почти исчерпали вопрос об организации русской школы первой половины XVIII в. Если и нельзя начинать с этого времени связную историю нашей средней школы, то все-таки надо признать, что для устройства такой школы была в первой половине в. подготовлена почва. О русской низшей школе нельзя сказать и этого. Попытки Петра в этом направлении остались совершенно бесплодными. Тот же новгородский архиерей Иов, который так много сделал для средней духовной школы в своей епархии, вот как обрисовывает нам эту попытку Петра — создать элементарную народную школу. По его словам, составители переписи 1710 г. "священников неволят на всяком погосте строить школы и велят учить разным наукам, а чем школы строить, и кому быть учителями, и каким наукам учеников учить, и по каким книгам учиться, и откуда пищу иметь, и всякую школьную потребу приискать — того они, переписчики, определить не умеют, только говорят: впредь указ будет". Такого указа Россия не дождалась при Петре, и не могла дождаться: почему не могла, это лучше всего объяснил нам сам Иов в приведенной цитате. Для народной школы, — даже церковноприходской, какая тут, по-видимому, имеется в виду, — при Петре ничего еще не было подготовлено: ни учителей, ни учеников, ни помещений, ни школьных пособий, ни средств, на которые можно было бы все это создать. Так было в наиболее передовой по части народного просвещения области России. Эти замечания Иова составляют лучший ответ исследователям, которые доказывают существование церковноприходской школы в допетровское время.

От организации школы первой половины XVIII в. мы переходим теперь к задачам, которые она преследовала.

Первая характерная черта русской школы этого времени заключается в том, что она не ставит своей задачей воспитания и общего образования, а имеет в виду, главным образом, техническую выучку для профессиональных целей. Взгляд этот целиком унаследован от XVII в. Но только XVIII в. вывел из него точную регламентацию школьного дела. Может быть, поэтому некоторым исследователям и представлялось, что первая половина XVIII в. внесла что-то новое в русскую педагогию. В действительности, педагогическая точка зрения так же чужда была школе рассматриваемой эпохи, как и школе XVII в. Та и другая одинаково не смотрели на ученика, как на предмет педагогического воздействия. Если он приходил добровольно, то школа обращалась с ним, как прежний мастер с нанимателем. Это были отношения свободного договора. Если ученика посылало в школу правительство, тогда ученье было для него уже службой. За службу он получал жалованье; а за неисполнение обязанностей он подвергался служебным взысканиям. Таким образом, ответственность ученика ничем не отличалась от от-

ветственности взрослого человека. Проступок подводился под обыкновенное нарушение закона и наказывался, как преступление. Задачи воспитания ограничивались установлением внешней дисциплины. За "неты", то есть манкировки, ученики штрафовались; за "продерзости" — их били батогами; за более серьезные проступки наказывали на школьном дворе плетьми. В классе велено присутствовать отставным солдатам и иметь в руке хлыст: "а буде кто из учеников станет бесчинствовать, оных бить, несмотря, какой бы он фамилии ни был". Далее, не только воспитание, но и образование не входило в число задач петровской школы. Новая математическая школа ставила целью не умственное развитие, а приобретение необходимых технических навыков. Лишь поневоле, — постольку, поскольку для технической выучки все-таки необходимы были некоторые элементарные знания, — школа приобрела до некоторой степени общеобразовательный характер. Вслед за приобретением предварительных знаний, во всяком случае, должна была следовать профессиональная выучка: она-то и была главною целью, для которой средством служила предварительная общая подготовка. Школа должна готовить к различным частям государственной службы, и потому должна быть профессиональной, — такова была основная идея преобразователя. Он принял тут, как мы уже говорили, старый взгляд XVII в. Только к единственной профессиональной цели прежней московской школы — готовить к духовному званию — он присоединил целый ряд новых государственных задач.

Первою мыслью Петра было возложить исполнение этих задач на ту же московскую школу. По крайней мере, только что вернувшись из-за границы, Петр вел с патриархом Андрианом очень интересный разговор по этому поводу. "Благодатиею Божией, — говорил царь, — и у нас есть школа, и пусть бы из этой школы люди, благоразумно учася, происходили во всякие потребы: и в церковную службу, и в гражданскую, и в военную, и в строительную, и в медицинскую". Скоро, однако же, царь должен был заметить, как далеки словесные хитросплетения средневековой учености от той реальной науки нового времени, в которой он нуждался. Так как специальных школ все-таки не было, то на первых порах его помощником прямо пришлось учиться на службе путем практики. Навигатор учился на корабле, чиновник гражданской службы — в приказе, медик — в госпитале, аптекарь в аптеке, совершенно так же, как и до Петра поп учился в церкви, а купеческий сын — за прилавком. Конечно, этого было недостаточно. При первой возможности, профессиональная выучка стала вводиться в школьные рамки. Она от этого не перестала быть службой, и как служба, не переставала быть обязательной для тех же лиц, для которых вообще служба была обязательна раньше. Вот почему петровская (военная) школа сама собой сделалась повинностью служилого

класса. Вместе с тем она должна была сделаться сословной, и если этого не случилось сразу, то только потому, что на первых порах для правительства слишком дорог был всякий желавший учиться, из какого бы звания он ни происходил. По замечанию историка морской академии, "немногие дворяне поступали добровольно" в это учебное заведение; добровольно являлись более разночинцы, а не дворяне". Это не помешало провести различие между учебными занятиями и дальнейшей карьерой тех и других . "Юноши низших сословий — разночинцы", по словам того же историка, "научившись в русской и цифирной школах (то есть в первых двух классах) читать, писать и считать, этим оканчивали свое ученье и назначались в писаря, к разным должностям в адмиралтейства, в помощники архитекторам, аптекарям и т.п. Дети дворянские, "шляхетские", из русской и цифирной школ поступали в высшие классы для дальнейшего обучения и для военной службы во флоте. При переводе училища в Петербург оно совсем сделалось военным и стало преимущественно принимать дворян, и притом более достаточных; в Москве же оставлены для разночинцев низшие классы. Отсюда вышли и учителя цифирных школ". Те же самые наблюдения можно было бы повторить и относительно другой военной школы Петра, инженерной (учр. в 1712 г.). Точно так же она предназначалась преимущественно для дворян, за их "нетями" наполнилась разночинцами и, наконец, сделалась исключительно дворянской после перевода в Петербург (1719). Третья школа, артиллерийская (1712), в низших своих классах долго продолжала учить "пушкарских" детей. Но высшую профессиональную выучку она тоже давала дворянам и только их допускала к высшей военной карьере.

В 1745 г. Сенат прямо высказал мнение, что "в артиллерийскую школу, кроме дворян, никого и определять не следовало". После Петра этот сословный характер профессиональной военной школы вполне утвердился. Естественно, что последнее военно-учебное заведение этого периода, сухопутный шляхетский корпус, уже с самого своего открытия предназначался исключительно для дворянства. Вместе с выяснением сословного характера высших военных школ определился и особый круг знаний, свойственных специально "шляхетству". В состав этих "рыцарских" или шляхетских наук входят, прежде всего, новые языки, фехтованье и танцы. Как увидим сейчас, эта программа шляхетской школы отразилась и на первой общеобразовательной школе в России.

Конечно, не все дворянство попадало в столичные учебные заведения. Не попавшие туда должны были проходить практическую "школу" в гвардии "и тем путем, яко школою, далее дослуживаться". Оставаться в провинции дворянству не полагалось, и потому провинциальная "цифирная" школа предназначалась не для него. Уже в 1716 г. Петр формально запретил

брать в цифирные школы дворянских детей. В них, как позднее в гарнизонных школах, должны были учиться дети служилых людей низших разрядов ("солдатские"). Вместе с детьми приказных они оставались единственными посетителями цифирной школы после выключения из нее детей горожан и духовенства.

Была еще одна отрасль государственной службы, помимо военной, требовавшая со времени Петра особой специальной подготовки. Мы говорим о гражданской службе, для прохождения которой все более и более становилось нужным знакомство с политическими, юридическими и экономическими науками. Правительство пыталось и для этой отрасли завести профессиональную школу. Но здесь оно встретилось со старым предрассудком дворянства против "приказной" службы. Школа не состоялась, так как не было для нее подходящего социального материала. Напрасно Петр, настаивая на необходимости подготовки к гражданской службе, убеждал "сего фамилиям знатным и шляхетским в укоризну не ставить, ибо кроме сего пути (то есть профессиональной выучки) никто в высший градус и до министерского чина произведен быть не может". Общество хорошо знало, что попасть "в высший градус" гражданской службы можно было различными путями, не имеющими ничего общего с профессиональной подготовкой. Вот почему даже введение юриспруденции в программу дворянской школы не могло заставить дворян заняться этой наукой. Из 245 дворян, учившихся в 1733 г. в только что открытом сухопутном корпусе, юриспруденцией занималось только 11. Посылаемые в коллегии для практического знакомства с приказными делами, дворяне тоже не хотели работать вместе с "крапивным семенем", и приходилось, в конце концов, отсылать их обратно в военные школы.

Остается упомянуть о духовной школе, тоже преследовавшей прямую профессиональную задачу — готовить церковнослужителей, "дабы впредь неученых в духовных чинах уже не было" (указ 1737 г.). Мы знаем, что задачу эту ей далеко не вполне удавалось выполнить, тем более, что и из того незначительного количества церковнических детей, которые попадали в эту школу[3], многие и лучшие постоянно покидали духовное звание. Зато во всю первую половину XVIII в. духовная школа продолжала привлекать к себе детей других сословий: дворянских, солдатских и даже крестьянских. Это было нарушением общего порядка, по которому дети должны были обучаться занятию отцов; и правительство неоднократно требовало, чтобы в духовные школы принимались лишь дети духовенства, но чтобы за то из них никто не ускользал от школы. Ни того, ни другого нельзя было добиться в первой половине века. Духовной

[3] Так, в 1737 г. числилось в духовном сословии 124 923 души муж. пола, не считая малолетних, а в духовных школах было только 5289, то есть 1 на 48.

школой слишком еще дорожили, как общеобразовательным заведением, и слишком мало, как профессиональным, чтобы можно было одним запретить, а другим принудить в ней учиться. Московская академия вполне основательно находила в 1732 г., что если не принимать желающих и отыскивать укрывающихся от науки, то, в конце концов, "учение распространением пресечется". Во второй половине века положение дела совершенно изменилось. Духовная молодежь стала приливать в изобилии[4], "ученых" кандидатов в священство школа стала выпускать больше, чем было мест. Естественно, что при этих условиях духовное начальство перестало дорожить посторонними учениками. С другой стороны, и эти посторонние находили, где учиться, помимо духовной школы. Таким образом, к концу XVIII в. духовная школа сама собою превратилась в замкнутое сословное учреждение.

Все эти факты приводят нас к тому заключению, что при Петре и его ближайших преемниках русское общество нуждалось преимущественно в *элементарном* образовании, и искало его, при скудости образовательных средств, где случится. Со своей стороны правительство нуждалось в людях, получивших *профессиональную* подготовку, и употребляло все усилия, чтобы загнать молодежь всех сословий в такие профессиональные школы, которые подготовили бы ее к тем же самым занятиям, какими отцы и деды обязаны были заниматься раньше. Наконец, *общее образование* само по себе одинаково мало ценилось как правительством, так и обществом. Вот почему правительство ограничилось на первых порах тем, что открыло ряд специальных школ для удовлетворения своих ближайших надобностей, а остальное предоставило времени и собственным усилиям общества.

Новый период в истории русского образования наступил тогда, когда на смену узкопрофессиональной и сословной школы первой половины XVIII в. явилась школа общеобразовательная и бессословная, преследовавшая чисто педагогические цели. Окончательно утвердилась у нас такая школа только к концу XVIII столетия. Но уже и в рассмотренном периоде времени, вопреки общему характеру тогдашнего образования, некоторое основание общеобразовательной и бессословной школе было положено. Происхождение ее можно даже вести от самого Петра. В конце царствования — его отношение к образованию было несколько иное, чем то, которое мы видели в начале. Если первые годы самообразования и деятельности развили в Петре страсть к техническим и прикладным знаниям, то в последние десять лет жизни, под влиянием новых по-

[4] В 1783 г. в духовных школах училось 11 329 чел.; в 1807 г. — уже 24 167, да при отцах оставалось обученных грамоте 13 531, и не обученных: моложе 15 лет 49 460, старше — только 1166.

ездок по Европе, его кругозор значительно расширился. При том же, главные государственные нужды были теперь удовлетворены, ряд специальных школ устроен, и Петр мог больше внимания уделить вопросам простой любознательности. На первых порах любознательность эта, конечно, была обращена на то, что всего больше кидалось в глаза некультурному москвичу среди европейских диковинок. Но из этого зародыша должно было развиться новое, менее корыстное, чем прежде, по отношению к вопросам науки и общего образования. Таким образом, начав с собирания "раритетов", Петр кончил устройством первого в России естественно-исторического и анатомического музея. Интерес к типографскому делу привел к учреждению первой публичной библиотеки. А желание поскорее изобрести perpetuum mobile утвердило Петра в мысли устроить в России Академию Наук.

Действительно, первые переговоры со знаменитым немецким философом, Вольфом, об основании Академии Наук вызваны были печатным известием в немецких газетах, что какому-то Орфиреусу удалось найти perpetuum mobile. Петр приглашал Вольфа приехать, на каких угодно условиях, в Петербург, только бы он согласился усовершенствовать изобретение Орфиреуса. Сперва намеками, а потом и прямо, знаменитый философ дал понять, что для России было бы полезнее распространять науки, чем двигать их дальше. Вместо "общества ученых людей, которые бы трудились над усовершенствованием искусств и наук", лучше было бы пригласить профессоров для чтения лекций. А для этой последней цели нет нужды в знаменитых ученых, которые, к тому же, и не поедут. Достаточно обзавестись людьми, только что начинающими карьеру.

Из русских советчиков Петра многие были также согласны с мнением Вольфа. Первоначальная мысль — учредить Академию "для славы среди иностранцев" — была, правда, удержана Петром. Но и совет учредить при Академии университет для пользы России — был принят и еще дополнен идеей — устроить при университете гимназию. Обсужденная еще при Петре, вся эта система первых в России общеобразовательных учреждений начала действовать год спустя после его смерти.

С первых же шагов, однако, сделалось ясно, до какой степени этот тип школы не имеет еще почвы в России. Законтрактованные на 5 лет, немецкие профессора приехали в Петербург. В числе их было несколько настоящих и будущих европейских знаменитостей: Бернулли, Бильфингер — оба, рекомендованные Вольфом, потом Герман, Эйлер и другие. Устроившись в столице, они скоро увидели, что в качестве профессоров им там нечего делать. Так как по уставу они должны были читать лекции, а лекций читать было не для кого, то решили и слушателей выписать из Германии. Вызвано было и приехало восемь студентов. Профессоров все-таки было вдвое больше (17). Чтобы ис-

полнить устав, профессора стали сами ходить друг к другу на лекции.

Несколько удачнее началась деятельность устроенной при университете гимназии. В первый год (1726) поступило в нее 120 учеников, во второй (1727) — 58, в третий (1728) — 26, в четвертый (1729) — 74 ученика. Очевидно, некоторая потребность в среднем образовании существовала, — особенно среди живших в Петербурге иностранцев[5]. Но в первые же годы весь наличный запас детей школьного возраста был израсходован. Этим, вероятно, и объясняется быстрое падение числа поступавших в гимназию детей. Чтобы остановить это падение, пришлось и здесь принять искусственные меры. В 1729 г. в гимназию навербовали детей солдат, мастеровых, даже крепостных. Этот состав — дети среднего сословия, — скоро и сделался единственным составом академической гимназии, так как через год открылся сухопутный шляхетский корпус, и дворянских детей стали отдавать туда. Но при такой перемене состава гимназия, очевидно, не могла рассчитывать на постоянный прилив добровольных учеников. Еще менее она могла ожидать, что эти ученики доучатся в ней и перейдут в студенты. Дети среднего сословия обыкновенно ограничивались прохождением курса низших классов или даже прямо выбирали из программы какой-нибудь отдельный предмет. Между тем, главным назначением гимназии было все-таки готовить к университету. Оставалось, для прохождения полного гимназического курса, подбирать особый состав *обязательных* слушателей. В 1735 г. было для этой цели учреждено при гимназии 20 казенных стипендий, и стипендиаты вытребованы из славяно-греко-латинской академии (в их числе попал в академическую гимназию и Ломоносов). В 1750 г. число стипендий было увеличено сперва до 30, потом до 40. В 1760 г. оно доведено было даже до 60. Но все эти усилия увеличить число кончающих гимназистов оказывались не вполне успешными. Даже на казенные стипендии не находилось достаточного количества охотников, и наличное число стипендиатов никогда не достигало комплекта.

Разумеется, это положение гимназии отразилось и на судьбе академического университета. Понуждаемые начальством, профессора не раз объявляли публичные лекции, печатали программы предполагаемых курсов, назначали даже часы и вызывались читать обещанные курсы, "если найдутся слушатели". Но слушателей не находилось, за единичными исключениями. Очевидно, чтобы установить непрерывное чтение лекций, и здесь приходилось прибегнуть к системе обязательных слушате-

---

[5] Еще при Екатерине II в 1780 г. в 23 частных пансионах Петербурга из 500 учеников было только 200 русских, а из 72 учителей 20 русских; Закон Божий преподавался по Лютерову катехизису, и русские ему не учились. Другими словами, пансионы учреждаются в столице специально для иностранцев.

лей. По новому регламенту Академии Наук (1747) учреждалось и при университете общежитие для 30 казеннокоштных студентов. На эти места был произведен принудительный набор — и притом не из гимназии, а из школ старого типа — из лучших тогдашних семинарий, Московской, Александро-Невской и Новгородской. 24 набранных таким образом студента оживили на несколько лет преподавательскую деятельность профессоров. Однако и в эти годы лекции читались с перерывами. После экзамена, произведенного двадцати студентам (1753), они скоро опять прекратились.

Как видим, попытка устроить общеобразовательную школу в первой половине XVIII в. имела весьма плачевный исход. Из академического университета вышло очень немного выдающихся профессоров, ученых и писателей[6]. Несколько большее количество лиц занялось переводами с иностранных языков. Их участие сделало возможным издание первого популярно-научного журнала в России "Ежемесячных сочинений" (1755-64)[7]. Наконец, значительное большинство кончивших курс или шло в учителя, — между прочим, в ту же гимназию, — или выбирало приказную, канцелярскую службу.

Новая попытка двинуть вперед общее образование или, как тогда выражались, "размножить науки в империи", сделана была в середине XVIII в. при более благоприятных условиях и с несколько лучшим результатом. Петербург с обязательной военной выучкой шляхетства и и с искусственной подготовкой казенных стипендиатов оказался плохой почвой для "возрастания наук". Правительство стало рассчитывать тогда найти больше добровольцев в Москве. Оно основывалось при этом на центральном положении старой столицы, на "великом числе" живущих в ней дворян и разночинцев, на большей легкости содержания учащихся — у родных или знакомых; наконец, в несомненной потребности в образовании, о которой свидетельствовало "великое число домашних учителей, содержимых помещиками в Москве". Все эти соображения привели к открытию в Москве, в 1755 г. университета и при нем двух гимназий; одной для дворян, другой для разночинцев. Соответственно этому дворянскому составу учащихся, университет должен был удовлетворять зараз двум целям, которым в Петербурге служили два разных типа учебных заведений: шляхетские и академические. Учение зачиталось здесь в военную службу; гимназист, становясь студентом, получал шпагу и с ней дворянство; кончая университет, студент выходил из него с обер-офицерским чином. В гимназии дворянский сын не соприкасался с детьми из "подло-

---

[6] Крашенинников, Ломоносов, Румовский и первые профессора Московского университета, Барсов и Поповский.

[7] Об участии учащейся молодежи в "Ежемесячных сочинениях" и вообще в журналистике XVIII в. см.: Очерки, III, с. 281 и след.

го звания". Последних учили искусствам, музыке, пению, живописи, техническим знаниям; из гимназии их предполагалось переводить в академию художеств, скоро отделенную от университета. Напротив, в дворянской гимназии главное внимание обращено было на науки, пристойные шляхетству, и особенно, на иностранные языки[8]. Все эти уступки привилегированному сословию имели последствием то, что общеобразовательная школа скоро привлекла в свои стены детей самых родовитых дворянских фамилий. У учредителя Московского университета, И.И. Шувалова, уже шевелилась в голове мысль — привлечь все русское дворянство к правильному прохождению общеобразовательной школы. Для этого он проектировал (1760) покрыть всю Россию сетью учебных заведений. В маленьких городах, это должны были быть элементарные школы — для обучения грамоте и арифметике; из них учащиеся направлялись в "знатные города", где проектировалось устроить гимназии; а из гимназий кончившие должны были переходить в высшие учебные заведения обеих столиц. Из этого грандиозного проекта осуществилась, однако, самая ничтожная часть. Шувалов обратился к академикам за советом: "Где и какие гимназии должны быть учреждены в России?" Академик Фишер дал на этот вопрос очень любопытный ответ. "Если бы науки в Российском государстве, — говорил Фишер, — больше приращение получили и если бы подданным совершенно было известно, на какой конец учреждаемы бывают училища, то бы я советовал стараться без упущения времени о заведении во всех главных городах каждой провинции новых школ и гимназий. Но понеже подданные не подлинно еще ведают, сколь великие и полезные плоды приносят науки государству, то я за благо рассуждаю не вдруг сие дело производить, но сперва только в некоторых городах учинить тому опыт... Прежде всего, по моему мнению, надлежит гимназию основать в Казани". Казанская гимназия, или, точнее, две гимназии — для дворян и разночинцев, действительно, была основана уже в 1758 г. и осталась единственной. Характер преподавания в ней был тот же, как и в Московской. Иностранные языки наиболее одобрялись публикой; на них обращено было и главное внимание начальства. Местное дворянство, однако, не особенно охотно отдавало детей в Казанскую гимназию. В 1785 г. в ней было, например, 19 дворянских и обер-офицерских детей — и 71 из разночинцев (почти исключительно солдатских). Система казенных вознаграждений за ученье широко практиковалась и в Казани, и в Москве: большинство гимназистов (и дворян, и разночинцев) получали казенное содержание.

---

[8] По уставу, в гимназии преподавалось четыре трехлетних курса: русского языка, латинского, первых основных наук (арифметики, геометрии, географии и краткой философии) и иностранных языков.

Несмотря на это поощрение, до университета доходили из гимназий немногие. В первые годы пришлось целиком наполнить университет учениками духовных семинарий и академий. Но и потом университет всегда нуждался в слушателях, хотя и здесь были введены казенные стипендии. Когда, в 1764 г., медицинская коллегия потребовала 25 студентов из университета, то профессора заявили, что это равносильно прекращению учения на пять лет. В 1767 г. взято было 18 студентов-юристов в комиссию для составления Уложения, на факультете осталось всего четыре студента, и университетская конференция, чтобы помочь делу, определила: уступить еще пятерых студентов с философского факультета. Были моменты и хуже: например, в 1765 г. на всем юридическом факультете оказался один студент, а в 1768 г. то же самое повторилось на медицинском факультете. Надо прибавить, что и преподавательскими силами оба эти факультета были не богаты. До первых годов царствования императрицы Екатерины II, то есть до возвращения молодых русских профессоров из заграничной командировки, весь юридический факультет сосредоточивался в одном профессоре Дильтее, а медицинский — в одном профессоре Керстенсе. Только третий, философский факультет (совмещавший физику с гуманитарными науками) заключал в себе около полудюжины преподавателей.

Таким образом, и второй опыт устройства высшей общеобразовательной школы в России оказался на первых порах неудачным. На запрос Екатерины о причинах неудачи московские профессора (1765) ссылались на недостаток средств, не позволявший заполнить пустовавшие кафедры, на отсутствие автономии и на тормозящую роль "директора", — начальника по назначению правительства, который, "не будучи собственно из ученого состояния", склонен "больше препятствовать, нежели споспешествовать" развитию университета. Они требовали далее улучшения социального и материального положения профессоров, просили не брать студентов на службу до окончания курса (на 300 пришедших, таким образом, приходилось в 1770 г. только двое окончивших курс — юристов). Наконец, они настаивали на том, что потом провел Сперанский, — на признании университетского экзамена необходимым условием при поступлении на государственную службу. Все эти указания были вполне справедливы и своевременны. Но из всех них выясняется с полной очевидностью одна коренная неустранимая причина неудачи. Потребности в высшем образовании еще не было в самом обществе; правительство нуждалось в нем, как прежде, лишь для целей государственной службы, а люди из "общества" привыкли смотреть на службу как на привилегию известного общественного слоя и отнюдь не хотели — в самый период расцвета дворянских вольностей — связывать службу с дипломом. Другой, также весьма существенной причиной *неудачи* универ-

ситетской школы в XVIII в. было отсутствие правильно организованной средней школы, которой, очевидно, не могли заменить ни духовные, ни гарнизонные училища. При отсутствии этой необходимой промежуточной ступени между грамотностью и наукой, переход от Кутейкиных и Цифиркиных к профессиональным лекциям (да еще на иностранных языках), был, разумеется, слишком резок.

Как бы то ни было, шуваловская школа послужила естественным переходом от петровской к екатерининской. Сословный состав первой она хотела соединить с общеобразовательной программой второй. Не ее вина была, что российское дворянство (как пришлось констатировать директору Казанской гимназии) "по непростительному о детях своих нерадению, обыкло воспитывать их паче в деревнях своих без учителей и в грубости, нежели отправлять в место, посвященное наукам и хорошему воспитанию". Освобожденное как раз в то время (1762) от обязательной службы, дворянство, разумеется, вместе с тем почувствовало себя свободным и от школы, которую привыкло связывать со службой. Было уже анахронизмом со стороны казанского директора предлагать Сенату "некоторым образом принудить таких людей детей своих записывать в гимназии". Меньшинство дворянства имело и более серьезные основания не посылать детей в общественную школу. При тогдашних школьных порядках оно могло опасаться порчи своих детей, а при низком уровне преподавания иногда имело возможность гораздо лучше учить детей дома. Как бы то ни было, по невежеству или по требовательности, дворянство надолго устранилось от пользования общественной школой. Вместе с тем уничтожался и повод — приспособлять программу школы к более или менее случайным потребностям высшего класса. Все это развязывало руки для превращения русской школы в бессословную и общеобразовательную. При Екатерине II это превращение наконец совершилось. Вместе с тем, явилась возможность создать наконец ту сеть провинциальных учебных заведений, которая была намечена еще распоряжениями 1720-х гг. и которая разрушилась, как только выяснился сословный и профессиональный характер петровской школы.

В первое время царствования Екатерина, впрочем, не думала ограничиться только что указанными задачами. Увлеченная педагогическими идеями просветительной литературы, она задалась более широкой мыслью — в корне изменить самое назначение общественной школы. Прежняя школа только учила; новая школа должна была *воспитывать*. Выражаясь словами Бецкого, "главное намерение" Екатерины в то время "клонилось к тому, дабы не науки токмо и художества умножились в народе, но и вкоренить в сердца добронравие". Таким образом, впервые в России школа брала на себя задачи воспитания, принадлежавшие до тех пор исключительно семье. С этим перене-

сением воспитания из семьи в школу должно было совершиться полнейшее изменение его приемов и целей. Древнерусская семья воспитывала своих членов по определенному, веками выработанному шаблону. В основе его лежали предписания религии. В выборе религиозных принципов воспитания замечалось, однако же, в Древней Руси некоторое колебание. Религия предоставляла на выбор два типа воспитания: суровый тип воспитания библейского и любовный тип воспитания евангельского. В *теории* допетровская Русь иногда проповедовала второй тип, но на практике почти всегда держалась первого. По верному наблюдению одного историка русского воспитания, "вся старинная русская педагогика до конца XVII в. продолжала сохранять чисто библейский характер и весьма медленно уступала евангельскому учению и учению отцов церкви". Как известно, начала библейского воспитания выражаются в предписаниях старинных наших памятников "на щадить жезла, сокрушать ребра, не играть и не смеяться с детьми" и т.д. На смену этого библейского педагогического идеала является со стороны Екатерины II новый, но уже не евангельский, а гуманитарный. С евангельским он во многих выводах совпадает, но его исходные мысли совершенно иные. Зародившись в Европе в эпоху Возрождения, гуманитарный идеал исходит из уважения к правам и свободе личности; он устраняет из педагогики все, что носит характер насилия или принуждения. Преклоняясь перед природой и естественностью, этот идеал ограничивает задачи воспитания наблюдением и уходом за всеми самобытными, оригинальными склонностями каждого воспитанника. Зато в этих пределах новая педагогика признает себя всемогущей. Не веря в прирожденные качества детей, плохо веря вообще в наследственность, гуманитарный идеал хотя и не смотрит на человека, как на белую доску, на которой можно написать, что угодно, но зато охотно сравнивает душу ребенка с мягким воском, из которого можно вылепливать самые разнообразные формы. Воспитательный материал признается готовым данным; но в руках опытного педагога этому материалу предстоит получить правильную обработку.

В России XVIII в. были небезызвестны основные сочинения сторонников нового воспитания. "Златая дверь языков" Амоса Коменского употреблялась уже в начале в. в частных пансионах. Фенелоново L'éducation des filles Фонвизин дает, как известно, в руки своей Софье. Наконец "Мысли о воспитании" Локка разошлись в русском переводе в двух изданиях прошлого столетия. Императрица черпала из них целые страницы для своей инструкции (Салтыкову) о воспитании внуков.

Вслед за педагогами и философами Запада Екатерина мечтает пересоздать человечество посредством воспитания, — создать "новую породу людей". Средства для этой цели указал еще Феофан Прокопович в "Духовном регламенте": Екатерина и

Бецкий с ним очень близко сходятся. Воспитание должно вестись в закрытой школе — таково необходимое условие для создания новой породы людей. Дети должны быть изолированы от всех влияний окружающей жизни и всецело предоставлены в распоряжение педагога. Для этого, во-первых, надо как можно раньше поместить воспитанника в учебное заведение, "не выше десяти лет, ибо такового возраста дети еще не вельми обучилися злонравию". Далее, сношения воспитанника с семьей должны быть, по возможности, прерваны. Отпуски на дом могут разрешаться на самый короткий срок, а в школе свидания с родителями должны происходить при свидетелях. Все эти приемы Феофана усвоены Екатериной. Точно так же дети, по ее теории, считаются не злыми от природы, и "злонравие" объясняется, как последствие дурного жизненного опыта. Но, чтобы еще основательнее уберечь будущее поколение от этого опыта, возраст принимаемых в закрытое заведение понижался до 4-5 лет, а сношения с внешним миром, с семьей, делались еще затруднительнее. Из школы вовсе не полагалось пускать воспитанников домой (или только по праздникам); в школе вводилась та же обстановка родственных свиданий при свидетелях.

По этому типу императрица начала переделывать существовавшие учебные заведения. В академической гимназии, так же, как и в сухопутном шляхетском корпусе, открыты были отделения для малолетних детей 4-5 лет. Родители, отдавая своих детей в школу, должны были приносить присягу, что не будут требовать их обратно. Но реформой мужских заведений дело не могло ограничиться. Цель Екатерины была "произвесть новое порождение, от которого прямые правила воспитания непрерывным порядком в потомство переходить могли". Другими словами, посредством новой школы она хотела создать новую семью. Таким образом, нужно было позаботиться и о женском воспитании. До того времени воспитанием девушек, кроме семьи и некоторых монастырей, занимались в России только частные пансионы, преимущественно содержавшиеся иностранцами. Оставить в их руках дело женского воспитания Екатерина не могла, и ей пришлось для исполнения своей любимой мысли создать первую в России общественную школу для женщин. Одновременно с устройством малолетних отделений при мужских школах устроено было при Смольном монастыре женское закрытое заведение — сперва для одних благородных, а потом и для мещанок. Составляя учебный план женской школы, императрица и ее помощники исходили из того мнения, что между мальчиками и девочками, по отношению к общему образованию, не нужно делать разницы. Впоследствии эта непривычная для тогдашнего общества мысль была оставлена: еще при Екатерине определено было правительственной комиссией, что "намерение и конец воспитания девиц состоит наипаче в том, чтобы сделать (их) добрыми хозяйками, верными супруга-

ми и попечительными матерями". Еще определеннее стала преследоваться эта цель, когда во главе женского образования стала супруга имп. Павла, императрица Мария Федоровна. Но в те первые моменты устройства женской школы, о которых теперь идет речь, задача этой школы ставилась иначе и шире: более широкая постановка лучше соответствовала личным взглядам императрицы, не похожим в этом отношении на вкусы ее невестки. "Будь у меня десять внучек", писала она раз одному из своих корреспондентов, "я бы назвала их всех именем святой девы Марии: тогда, по-моему, они держались бы прямо, заботились бы о своей талии и о цвете лица, ели бы за четырех, с осторожностью выбирали бы себе чтение и, наконец, достигли бы того, что все называли бы их превосходными гражданками". Идеал женского воспитания и образования у самой имп. Екатерины был совсем другой. Самостоятельное умственное развитие при посредстве серьезного чтения и размышления, выработка своего собственного взгляда на жизнь и подготовка к деятельной роли в жизни — эти задачи стояли для Екатерины на первом плане. "Не сыщется еще такой, — говорилось в генеральном плане Московского воспитательного дома, — кто бы толь далеко отступил от здравого разума, кому бы нечувствительно было благоденствие рода человеческого и кто бы не желал, дабы все девушки не только обучились читать и писать, но имели бы и разум, просвещенный различными знаниями, для гражданской жизни полезными".

Чтобы провести в жизнь широкую затею имп. Екатерины, нужно было слишком много благоприятных условий, и прежде всего нужны были подходящие воспитатели. "Если найдутся подобные учители, — рассуждает Бецкий по поводу реформы шляхетского корпуса, — то об успехах сомневаться не можно; *буде же, по несчастью, таких людей не достанем, тщетны будут все предписания и все старания* о произведении благонравия и успехов". Действительно, там, где нашлось такое лицо, — в Смольном, под руководством начальницы madame Lafont — по крайней мере, часть предначертаний императрицы исполнилась. Учебное дело, правда, было в Смольном отодвинуто на второй план (как, впрочем, и требовала педагогическая теория Екатерины); на первый план выступило приобретение светскости и развязности в обращении. "Буде которая девица, — говорилось уже в самом уставе, — сделает какое остроумное примечание, то, с дозволения, имеет она сообщить о том всему классу, ибо изрядно и кстати сказанное слово будет для других наставлением и поощрением к подражанию". Как средство для приобретения бойкости в разговоре употреблялись любительские спектакли, концерты, вечера, на которые приглашались и настоящие кавалеры из учеников шляхетского корпуса. Судя по дневнику одного из них, беседы между молодыми людьми на этих вечерах принимали иногда направление, наверное не

предусмотренное в уставе. Но, как бы то ни было, нельзя согласиться с отзывом князя Щербатова, будто из Смольного не вышло "ни ученых, ни благонравных девиц, как толика, поколику природа их сим снабдила, и воспитание их более состояло играть комедии, нежели сердца, нравы и разум исправлять". Незнанием жизни и непрактичностью своей, вошедшей в пословицу, смолянки, вероятно, и тогда отличались не в меньшей степени, чем потом. Но мы имеем целый ряд отзывов современников, показывающих, что многие из смолянок приносили в эту незнакомую им и часто совершенно дикую жизнь высокий нравственный склад и живые умственные интересы. Благодаря Екатерине, в русской семье впервые появилась образованная женщина и внесла в это последнее убежище дедовских предрассудков струю свежего воздуха и света.

Во всяком случае, Смольным и ограничились все почти успехи воспитания "новой породы людей". Близко ко двору, на глазах самой императрицы, не мудрено, что кое-что здесь было достигнуто. Кое-что было сделано и в шляхетском корпусе, начальником которого в одно время с учреждением Смольного сделался Бецкий (1765). Целью нового начальника было сделать из кадетов не "искусных офицеров", а "знатных граждан", и современники заметили, что со времени Бецкого из корпуса стали выходить не военные, а энциклопедически образованные люди. По замечанию одного недружелюбно настроенного наблюдателя, "они играли хорошо комедию, писали стишки, одним словом, знали все, кроме того, что нужно знать офицеру". И сама Екатерина прямо хвалилась этим. "Напрасно думают", писала она, "что мои кадеты приготовляются единственно для войны... Мои кадеты сделаются всем тем, чем пожелают быть, и выберут себе поприще по своим вкусам и склонностям".

Меньше всего соответствовало намерениям императрицы положение малолетнего отделения при академической гимназии. Бурсацкие нравы слишком укоренились здесь среди казенно-коштных стипендиатов, чтобы несколько десятков воспитанников, переведенных в гимназию по окончании малолетнего отделения, могли поднять нравственный уровень гимназистов. К тому же, если переберем всех тех "мадам" и "мамзелей", которые беспрерывно то нанимались, то снова прогонялись из малолетнего отделения, то получим полное основание сомневаться, чтобы из рук таких воспитательниц могла выйти новая порода людей.

Увлеченная просветительными теориями, энтузиастически настроенная, Екатерина шестидесятых годов могла мечтать о создании этой новой породы. Охлажденная житейским опытом и разочарованная, Екатерина восьмидесятых годов должна была видеть, как недостаточным были для выполнения этого грандиозного замысла находившиеся в руках ее средства. Если на глазах у нее при самом тщательном надзоре за выполнением

ее планов получались не совсем те результаты, на которые она рассчитывала, то чего же можно было ожидать от распространения этих попыток на всю Россию? Таким образом, то, что в шестидесятых годах могло казаться Екатерине началом великого общественного переворота, в восьмидесятых свелось к действительным размерам — разрозненных и бессильных отдельных попыток. Естественно, императрица охладела мало-помалу к идее воспитания новой породы и даже на близкий ее сердцу Смольный должна была взглянуть другими глазами. Она не затруднилась наложить руки на Смольный и отстранить Бецкого от управления корпусом, как только комиссия восьмидесятых годов обнаружила низкий уровень преподавания в обоих заведениях. Воспитательные цели с этих пор перестают быть задачей Екатерины; вопросы обучения снова выступают для нее на первый план. Но от ее педагогических увлечений остается в ней прочное убеждение, что школа должна быть общеобразовательной и что обучение должно преследовать педагогические, а не профессиональные цели. Такую школу и такое обучение она стремится теперь создать и распространить на всю Россию.

Для нового дела являются и новые лица. Главным из них был некто Янкович де Мириево, серб, имя которого заслуживает быть гораздо более известным образованной России, чем оно известно до сих пор. Во второй половине XVIII в. образцовым типом общеобразовательной школы считалась прусская. По прусскому образцу реформированы были и австрийские училища (1774) под руководством самого устроителя прусской школы и реформатора школьного метода, Фельбигера, которого для этой цели Мария-Терезия выпросила у Фридриха II. В одном из округов Венгрии устраивал школы по методу Фельбигера серб Янкович, прошедший курс юридических и экономических наук в венском университете. По просьбе Екатерины II, Иосиф II рекомендовал ей Янковича "как человека, трудившегося уже по устроению народных школ, знающего язык российский и исповедующего православный закон". Вызванный в Россию, Янкович сделался истинным творцом первой русской общеобразовательной школы, сравнительно с которой все предыдущее является только отрывочными попытками. Выработанный им (по Фельбигеру и Гену) план учебных заведений был принят "комиссией об устройстве народных училищ", учрежденной в 1782 г., и положен в основу "устава народных училищ", высочайше утвержденного 5 августа 1786 г. По плану Янковича предстояло учредить три типа общеобразовательных школ: двухклассные, трехклассные и четырехклассные. Школа первого типа носила название *малой*, второго — *средней*, третьего — *главной*. О преподавании излюбленных предметов русского шляхетства — иностранных языков и танцев — эта школа заботилась очень мало. Она преподавала главнейшие общеобразовательные предметы, распределяя их по классам концентрическими кругами,

так что программа каждого класса представляла нечто цельное. В первом классе малой школы проходилось чтение, письмо, знание цифр, краткий катехизис, священная история и начатки русской грамматики. Во втором классе катехизис проходился подробнее, но без текстов, и, кроме того, арифметика, книга "о должностях человека и гражданина", чистописание и рисование. Средняя школа состояла из тех же двух классов, но присоединяла к ним третий, в котором проходился катехизис с текстами, объяснение Евангелия, русская грамматика с орфографическими упражнениями, всеобщая и русская история и краткая география России[9]. Наконец, в главной народной школе присоединялся к трем предыдущим еще четвертый класс: в нем география и история проходились подробнее[10], затем преподавалась математическая география, грамматика с упражнениями в сочинениях преимущественно делового характера (писем, счетов, расписок и т.п.), основания геометрии, механики; физики, естественной истории и гражданской архитектуры. Главное отличие новой школы от предыдущей должно было, однако, заключаться не столько в программе, сколько в способе ее выполнения. По австрийской системе учитель находился в классе не для задания и выспрашивания уроков, а для самого усвоения проходимых предметов. Для этого прежде всего учитель должен был заниматься с целым классом, а не с отдельными учениками. В прежнее время каждый ученик учился сам по себе: одни уходили вперед, другие отставали, так что никакого общего дела в классе нельзя было делать[11]. Идеальным порядком в классе считалось, когда каждый зубрил свою часть предмета вслух, и учитель, уверенный, что все ученики заняты делом, сам мог тоже заняться своими делами. Теперь этот шум должен был замениться молчанием и общим вниманием к тому, что говорит учитель. В классе явилась классная доска, на которой учитель писал то, что надо было учить, так, чтобы все видели. Объяснения и рассказа учителя все еще не требовалось и в этой школе; по крайней мере они не составляли главного в преподавании. Ученик еще не привык учиться вне школы, и поэтому школа должна была заниматься не только разъяснением, но и самым усвоением урока. Для этого рекомендовались особые приемы: учитель читал вслух текст учебника, за ним читали то же самое ученики поочередно, затем все хором; далее

---

[9] В школе высшего типа арифметика не кончалась во 2 классе, а переходила также и в третий.

[10] При окончательном устройстве школ за первым типом "малого училища" прямо вводился третий: поэтому география и история преподавались не концентрическими кругами, а прямо распределялись между 3 и 4 классами.

[11] Например, в рязанской цифирной школе в 1727 г. из учеников арифметического класса 11 учились счислению, 5 — сложению, 1 — вычитанию, 3 — умножению, 5 — делению, 3 — тройному правилу, 1 — десятичным дробям, 1 — циркульным приемам геометрии, 1 — плоской тригономертии, тангенсам.

учитель писал на доске начальные буквы каждой фразы, подлежащей запоминанию, и заставлял класс повторить фразу на память; наконец, и буквы стирались, и та же фраза произносилась наизусть. Правда, в некоторых случаях Янкович требовал рассказа своими словами; где было можно, он советовал прибегать к наглядному обучению: в высших классах рекомендовалось даже вызывать в ученике самостоятельную работу мысли. Но основой преподавания все же оставался учебник и его усвоение — по возможности, буквальное — целым классом в течение урока. Воспитания в собственном смысле школа Янковича не ставила своей задачей; но отношения учителя к детям должны были основываться на новых педагогических идеях. Наказания, особенно телесные, безусловно, изгонялись из школы. Для поддержания классной дисциплины считались достаточными увещания, предостережения, угрозы, лишение приятного и устыжение. Эта градация, прямо переведенная из австрийского Methodenbuch (как и другие правила для учителей), очень близко сходится с идеями екатерининской инструкции.

Чтобы ввести в действие австрийскую систему, нужно было, во-первых, создать подходящие учебники и, во-вторых, приготовить учителей, знакомых с новым методом преподавания. То и другое настойчиво рекомендовалось Екатерине всеми советниками, к которым она обращалась по поводу задуманной реформы. Австрийские учебники она получила от самого Иосифа II еще в 1780 г.; для их перевода и для личного руководства будущими учителями, собственно, и был вызван Янкович. Приехав в сентябре 1782 г. в Россию, он энергично принялся за дело. В 1786 г. было уже готово и отпечатано 27 руководств и пособий, большая часть которых самим Янковичем переведена или переделана из австрийских учебников. Содержание этих учебников соответствовало их назначению — быть выученными наизусть. По географии и истории Янкович давал ученикам один конспективный набор фактов; по естественной истории, геометрии, физике (механике) выдвинута была на первый план практическая, прикладная сторона и оставлены в стороне теоретические объяснения и доказательства. Школа должна была служить, очевидно, усвоению знаний, а не развитию мысли — и в этом ее связь со школой старого времени.

Не менее энергично принимались меры и для подготовки будущих учителей. Для этой цели вызвано было в Петербург до 100 воспитанников духовных семинарий и московской академии: для обучения их методу преподавания открыто в Петербурге (1783) главное народное училище. В 1786 г. учительская семинария отделилась от главного училища и просуществовала до 1801 г., выпустив за этот промежуток времени 425 учителей. Первый выпуск готов был к середине 1786 г.: в нем было до 100 воспитанников, из которых половина признана была годной для занятия учительских мест в высших двух классах, а другая

в двух низших. Таким образом, считая по учителю на каждый из четырех классов, "комиссия народных училищ" имела запас учителей для 26 главных училищ. Это количество и велено было открыть ко дню коронации императрицы (22 сентября) в 26 губернских городах России. После следующего выпуска указ 3 ноября 1788 г. распорядился об открытии "главных народных училищ" в остальных 14 губерниях. Из других типов, проектированных Янковичем, правительство остановилось на малой двухклассной школе. Такие школы предполагалось открывать в уездных городах, по мере того, как губернские главные училища подготовят для них учителей.

Посмотрим теперь, как осуществилась на практике система Янковича де Мириево. Прежде всего, надо заметить, что указы об открытии главных училищ не создавали никаких новых источников для содержания новых учебных заведений: училища должны были содержаться на средства "Приказов общественного призрения". Отказаться от этого расхода приказы не могли, но они постарались сделать, что только было возможно, чтобы сократить свои траты до минимума. За счет учительского жалованья и в ущерб школьному благоустройству им удавалось иногда сберечь до половины издержек, положенных по штату. Так или иначе, материальная сторона дела была улажена. Учителя и учебники присланы были из Петербурга. Оставалось найти учеников — и как можно скорее, потому что к коронации главные училища обязательно должны были быть открыты. Так как охотников учиться все еще оказывалось слишком мало, то местные власти прибегли к знакомым нам приемам. Державин в Тамбове забирал детей в школу насильно, через полицию. Вятский наместник тоже записывал учеников в народное училище "силою своей власти": чтобы наполнить новую школу, он распорядился закрыть все старые. Таким образом, лишены были своего заработка все местные педагоги и отставной писец Глухих, и мещанин Ланских, и дьякон Луппов, и солдатка Васильева: и все-таки набралось в главное училище всего только 43 ученика. В Петербурге тоже закрыты были при устройстве народных училищ все русские пансионы, и, таким образом набрано было 159 лишних учеников. Так, наверное, происходило дело и в других губернских городах. Разумеется, поступать таким образом нельзя было с "благородными"; благородных и оказалось очень мало в составе народных училищ. В Петербургской губернии еще в 1801 г. из 4136 учащихся было только 670 дворянских детей, то есть 16%; в Новгородской в 1803 г. из 507 учащихся — только 67 благородных, то есть 13%. Огромное большинство учеников были дети купцов, мещан и солдат. Родители предназначали их или для продолжения своего занятия или для приказной службы; в обоих случаях для них достаточно было пройти низшие классы народного училища. Посланный "комиссией" в 1789 г. ревизор, Козодав-

лев, принужден был констатировать, что программа "главных училищ" повсюду превышает потребности населения. "Во всех главных училищах, — писал он, — найдено мною, что число учащихся в третьих и четвертых классах весьма мало и что учащиеся во вторых классах обыкновенно не желают продолжать учения в третьем разряде. Сие происходит от того, что родители учащихся не видят цели учения, в высших классах преподаваемого. Они почитают, что детям их нужны только предметы двух низших классов, да и то по причине чтения и чистописания, а прочие науки почитают они бесполезными... Всякий знает, что для снискания места в гражданской службе нужно одно токмо чистописание, — почему и невозможно ожидать, чтобы многие детей своих посылали в высшие классы". Действительно, недоучившийся дворянин мог откровенно заявить в прошении того времени: "Российской грамматике и писать *отчасти* умею, но дальнейших наук не в состоянии проходить, и достигши в совершенные лета, уже не могу иметь об них понятия, и *потому* возымел ревностное желание служить". И исключенный семинарист с такой же откровенностью писал в своем прошении: "По слабости моего здоровья и *некоторых понятий* исключенный из духовного училища, но теперь, поправившись в здоровье, имею желание продолжать статскую службу в канцелярии губернского правления". Дальнейшее пребывание в школе не могло дать этим кандидатам на гражданские должности никаких особых прав перед такими просителями, как, например, другой дворянин, который, "*обучась дома* российской грамоте читать и писать", изъявил такое же "ревностное желание" служить, — или певчий из архиерейского хора, желавший по "усовершенствовании певческими дисциплинами и по спадении гармонического голоса поступить в губернское правление под премудрую десницу начальства". Эти житейские условия объясняют нам, почему, например, в Архангельской губернии из всего количества учившихся за 1786-1803 гг. (1432 чел.) — только 52 ученика получили аттестат в окончании полного курса.

Еще хуже обстояло дело с "малыми народными училищами", проектированными в уездных городах. Потребность образования чувствовалась здесь гораздо слабее, чем в губернских городах, а открытие школ поставлено было в зависимость от щедрости местных городских дум. На первых порах, сгоряча, малых училищ открылось сразу довольно много в уездах. Но скоро думы начали тяготиться содержанием училищ; и не только открытие новых школ не шло с первоначальной быстротой, но и раньше открытые стали местами закрываться. Так, в 1790 г. обыватели Лебедяни, Шацка, Спасска и Темникова подали губернской власти следующие, почти одинаковые заявления: "Купецких и мещанских детей в школах не состоит, да и впредь к изучению в училища отдавать детей мы не намере-

ны. Того ради содержать училища желания нашего не состоит и мы не видим для себя от оных пользы". И училища были закрыты. Козловский купец, смотритель местного училища, шел еще дальше: он находил, что вообще все училища вредны и что "оные полезно повсеместно закрыть". При таком отношении местного населения к школе малые училища посещались очень плохо и часто переставали существовать фактически. Так покончило свое существование только что упомянутое козловское училище. То же самое случилось с училищем в Онеге. В тихвинском училище тотчас после открытия (1788) из 68 учеников разбежались 54. В обширном Екатеринославском наместничестве все усилия властей открыть малые училища разбились о пассивное сопротивление дворянства и горожан, не желавших нести никаких денежных расходов на дело, от которого не видели никакой выгоды для себя. Неприязненное отношение к новой школе чувствовалось, впрочем, и в губернских городах. Так, в Вятке причины малого количества учеников в главном училище объяснялись в 1797 г. следующим образом: "Здешние обитатели, мало соревнуя предположенной цели просвещения, неохотно отдают детей своих в народные училища... Многие лучше хотят их заблаговременно приучать к познаниям в домашних делах и для купечества и мещанства нужностях, в которых они сами обращаются. Также многие... отдают детей своих для обучения по церковным книгам к причетникам, восхищаясь, когда дети их могут читать в церкви часослов и псалтырь". На другом краю государства, в Чернигове, встречаем совершенно то же самое: "Училище час от часу начало приходить в упадок, ибо многие нетерпеливые родители, будучи побуждаемы самым пустым прибытком, отнимали детей своих и отдавали их в школы церковников".

Таким образом, старые привычки семьи и школы составляли самое важное препятствие для распространения екатерининских общеобразовательных училищ и для их успеха в провинции. Но надо сказать, что и самые эти училища вышли на практике далеко не такими, как проектировал их Янкович.

Устранив много препятствий к успеху своего предприятия, он не в силах был устранить одного — и самого главного: тяжелого материального и нравственного положения учителя в русской школе. Положение это являлось неизбежным последствием только что указанного нами отношения общества к школе. Попадая в учительское звание, большею частью не по своей воле, а по назначению епархиального начальства, преподаватель XVIII в. не мог ни продвинуться вверх по социальной лестнице, ни уйти со службы иначе, как в солдаты — за пьянство и "дурную нравственность". Таким образом, о выборе учительской профессии по призванию и о переходе непризванных в другие профессии в громадном большинстве случаев не могло быть и речи. Учителю приходилось мириться с положением, из которо-

го невозможно было выйти, — или искать забвения в вине. А между тем примириться с этим положением для человека сколько-нибудь талантливого было слишком трудно. Грошовое учительское жалованье большею частью не доплачивалось или просрочивалось приказом. Старый педагог, служивший с самого основания народных училищ, говорил по этому поводу в 1811 г. следующее: "Мною в продолжение 25-летнего служения замечено, что все учителя, служащие на старом положении, были всегда бедны и претерпевали великий недостаток, ныне же, по дороговизне всех вещей, еще более увеличилась их бедность и доводит иных до крайности. Я всегда скорбел и ныне скорблю душою, взирая на бедного трудолюбца". Социальное положение провинциального учителя было самое унизительное. Его третировали и местные богатеи, и местные чиновники, и те, кто преклонялся перед силой чинов и денег, то есть, в сущности, все, не исключая и его самого. Милость сильных к нему выражалась обидной подачкой; при немилости он рисковал быть побитым "палочьем", как грозила одному педагогу жена упоминавшегося выше козловского смотрителя. Что удивительного, если при всех этих условиях люди, сохранившие теплоту сердца и интерес к своему делу, являлись единичными исключениями?

Огромное большинство скоро махало рукой на все и кое-как тянуло служебную лямку. Педагогические приемы Янковича уступали место старому зубренью в одиночку; учитель ограничивался обязанностью выспрашивания, а чаще всего и эту обязанность перелагал на более способных учеников. Сам он считал себя еще очень исправным, если высиживал в школе все назначенные дни и часы: очень часто и этого не бывало. Словом, учителя и ученики, к обоюдному удовольствию, сводили свои обязанности к минимуму и составляли молчаливый заговор, чтобы обмануть начальство в годичных отчетах и местную публику — на ежегодных торжественных актах.

В начале царствования имп. Александра I его воспитатель Лагарп, подводя итоги деятельности "комиссии народных училищ", был удивлен контрастом между блестящим началом и вялым продолжением этой деятельности. Он приписывал это ослабление энергии личным побуждением, руководившим членами комиссии. "О таковом неимоверном успехе (169 школ в 1787 г.) много говорили в свое время, — заметил он, — награды посыпались тому, кто приписывал себе это чудо (Лагарп намекает на Завадовского), а также и клиентам чудотворца. Награды розданы, и чудеса прекратились. В два последние года царствования Екатерины основаны только три училища. С воцарением имп. Павла комиссия словно проснулась, основала вдруг 13 школ и затем погрузилась в свою обычную летаргию". Несомненно, намеки Лагарпа имели некоторое основание; но, зная, с какими средствами приходилось действовать комиссии училищ и как отнеслось к ее деятельности население, мы най-

дем, что и то, что было ею сделано, — было все-таки очень много. Скорее, чем ждать от нее продолжения "чудес", следовало бы подумать о том, что чудес вообще не бывает. Комиссия остановилась в своей деятельности не потому, что была пресыщена "наградами", а потому, что все ее ресурсы для получения наград были истощены. Становилось трудно даже просто удерживать народное образование на достигнутом уровне, не говоря уже о достижении дальнейших успехов. Одно это обстоятельство доказывает, что комиссия сделала скорее больше, нежели меньше того, что можно было от нее ожидать при тогдашних условиях ее деятельности.

Развитие народного образования в России после учреждения комиссии видно будет из следующей таблицы. Кроме главных и малых школ, здесь присоединены также и другие учебные заведения (то есть пансионы, домашние и сельские училища; о последних см. ниже).

		Число	
Годы	*Училищ*	*Учащих*	*Учащихся*
1786	40	136	4398
1787	165	395	11088
1788	218	525	13539
1789	225	576	14389
1790	269	629	16525
1791	288	700	17787
1792	302	718	17500
1793	311	738	17297
1794	302	767	16620
1795	307	716	17097
1796	316	744	17341
1797	285	664	15628
1798	184	752	16801
1799	281	721	17598
1800	315	790	19915

На эти цифры нельзя полагаться вполне, но некоторое, относительное значение они, несомненно, могут иметь. Судя по ним, число учащихся достигло своего максимума на шестой год реформы (1791), число школ — на восьмой и число учителей — на девятый. Вслед за тем все эти цифры начинают сильно падать. В последний год царствования Екатерины II они, правда, снова возвращаются к старому максимуму, но опять резко падают в первый год царствования имп. Павла. Затем число учащихся опять начинает быстро подниматься.

По половому составу учащиеся в школах Екатерины распределялись очень неравномерно. Хотя главные и малые училища предназначались одинаково для мальчиков и

девочек, но старый взгляд на женское образование, а также и боязнь посылать девочек в такую школу, от которой опасались порчи даже для мальчиков, помешали обществу воспользоваться этой возможностью. Из 176730 учащихся, прошедших школу в промежуток 1782-1800 гг., девочек было всего 12595, то есть только 7%. И притом большая часть этого количества приходилась на столицы. Так, из 1121 девочки, учившейся в школах в 1796 году, на Петербургскую губернию приходилось 759; следовательно, на всю остальную Россию остается всего 362.

Сравнительно с цифрами школьной статистики 1727 г. только что приведенные цифры представляют значительный шаг вперед. Но по отношению ко всему населению тогдашней России и эти цифры оказываются еще совершенно ничтожными. Принимая население России в 1790 г. равным 26 миллионам, мы получим вывод, что один учащийся (в светской школе) приходился в это время на 1573 души всего населения. Одной этой цифры достаточно, чтобы показать, что школа Екатерины была "народной" только по имени и что народная масса до самого XIX столетия лишена была всякого культурного воздействия школы.

Нельзя сказать, чтобы вопроса о народной школе вовсе не возникало во время Екатерины. Напротив, вопрос этот ставился не раз и был формулирован весьма определенно. Два-три депутата Екатерининской комиссии для составления уложения заговорили об элементарной школе для низших классов уже в 1768 г. Предложения этих депутатов вызвали, однако, решительное сопротивление. Один их противник находил, что училищ для крестьян "совсем иметь не надлежит, потому что земледельцу — других наук, состоянию их не принадлежащих, совсем иметь не следует, кроме российской грамоты"; а грамоту "могут оные иметь и без учреждения для них училищ, как и доныне оное было". Школа, по мнению этого депутата, только отвлечет крестьянина от земледелия, которое и должно для него оставаться единственной школой. Защитникам народной школы не трудно было, однако же, доказать, что на их стороне — сам автор Наказа. В конце концов, в числе многочисленных комиссий, выбранных для рассмотрения специальных вопросов, возбужденных депутатами и Наказом, организована была при "Большом собрании" — и "комиссия об училищах". К весне 1770 г. комиссия эта представила готовый проект устройства деревенских школ. По ее проекту предполагалось, по примеру Пруссии, ввести в России обязательное обучение грамоте для всех детей мужского пола. В каждом селе или большой деревне должны были открыться школы по одной на 100-250 семей. Все расходы по школам возлагались на прихожан. Надзор за школами поручался священникам, а преподавателями назначались диаконы, или дьячки, или, наконец, светские лица.

"Мысли училищной комиссии об устройстве сельских училищ, — заметил по этому поводу министр Александра II, Д.А. Толстой, — были так здравы, что не только опередили свое время, но и наше. И доселе мы не дошли до убеждения, что единственное верное средство для всеобщего образования народа есть обязательность начального обучения... Легко себе представить, какие благодетельные последствия имело бы принятие правительством, более в. тому назад, начала обязательности учения. Теперь почти весь русский народ был бы грамотен, как германский, и общий уровень образованности страны, влияющий на все ее положение, как духовное, так и экономическое, был бы гораздо выше".

Мы увидим, почему достигнуть этой цели оказалось не так легко и в каком смысле министр-реакционер, главный враг начальной школы, мог говорить о ее "обязательности". Во всяком случае, при Екатерине дело ограничилось единичными усилиями отдельных лиц. Можно насчитать до дюжины сельских школ, открытых в разных губерниях и вмещавших до двух с половиной сотен крестьянских детей. Но не говоря уже о том, что это была только капля в море, почти все эти школы тогда же закрылись. Низшая школа в России оставалась делом будущего, делом до конца XIX и начала XX вв. XVIII-й век едва оказался в состоянии поставить на ноги среднюю школу.

БИБЛИОГРАФИЯ

Подробное изложение данных о русской школе и образованности см.: М.И.Демков, компилятивная *История русской педагогии*, в 3-х т., Ч.I, *Древнерусская педагогия (X-XVII в.)* (изд. 2-е, 1899); Ч. II, *Новая русская педагогия, (XVIII в.)*, изд. 2-е, испр. (М., 1910); Ч. III, *XIX в.* (М., 1909). Его же, *Русская педагогика в главнейших ее представителях, Опыт педагогической хрестоматии* (М., 1898). Более продумана и нова по взглядам книга П.Ф.Каптерева, *История русской педагогии*, изд. О.Богдановой. Школьной системе первой половины XVIII в. посвящено исследование проф. М. Владимирского-Буданова, *Государство и народное образование в России XVIII в.*, Ч.1, *Система профессионального образования (от Петра I до Екатерины II)* (Ярославль, 1874). История "навигацких школ" в Москве и "морской академии" в Петербурге изложена по подлинным документам в книге Ф.Веселого, *Очерк истории морского кадетского корпуса* (СПб., 1852). Статистика цифирных школ в 1727 г. составлена по документу, напечатанному в "Сборнике Императорского Русского исторического общества", Т. VI, С. 320-321. Статистика архиерейских школ в том же году — по документу, использованному Пекарским, *Наука и литература в России при Петре Великом*, Т.I (СПб., 1862). Там же, см.: о переговорах Петра с Вольфом. С *Академической гимназией* и *Академическим университетом в XVIII столетии по рукописным документам архива Академии Наук* знакомит гр. Д.А.Толстой, см.: "Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук", Т. XXVIII, №№ 5 и 6 (СПб., 1885). Для истории Шуваловских учебных заведений см.: Шевырев, *История Московского университета* (М., 1855) и В.Владимиров, *Историческая записка о 1-й Казанской гимназии XVIII столетия*, Ч.1 (Казань, 1867). Мнение московских профессоров 1765 г. о причинах неуспеха университетского преподавания напечатано в

"Чтениях" Общества истории и древностей российских, II (1875). Об идеалах древнерусского воспитания см. статью Н. Лавровского, *Памятники старинного русского воспитания* в "Чтениях Общества истории и древностей российских" (М., 1861). О воспитательных идеях Екатерины см. его же книгу *О педагогическом назначении сочинений Екатерины Великой* (Харьков, 1856). О закрытых учебных заведениях Екатерины II см.: гр. Д.А. Толстой *Взгляд на учебную часть в России в XVIII столетии до 1782 г.* в указанном "Сборнике". В частности, материалы для истории женского образования в России см.: Е.Лихачева, *Общество благородных девиц* при Смольном монастыре, в 3-х т. (СПб., 1890-95). О новой системе Янковича и о первых шагах деятельности "Комиссии народных училищ" см.: А.Воронов, *Историко-статистическое обозрение учебных заведений С.-Петербургского учебного круга с 1715 по 1828 г.* (СПб., 1894) и гр. Д.А. Толстой, *Городские училища в царствование имп. Екатерины II*, прил. к IV т. "Записок" Имп. Акад. Наук (СПб., 1866). Примеры тех условий, при которых система Янковича вводилась в провинции см.: брошюра А.Спицына, *История Вятского главного народного училища (1806-11 гг.)* (Вятка, 1891), также: *Календарь Вятской губернии* на 1891 г.; И.Дубасов, *Очерки из истории Тамбовского края*, Вып. 2; Гусаковский, *Из прошлого курской школы* (Курские губерн. ведомости, 13-15, 20, 23 декабря 1895, 14, 18, 20, 27 января, 10 и 14 февраля 1896); Н.Ф. Казанский, *Народное образование в Астраханской губернии*, Русская Мысль (1898, июнь); И.М. Чернявский, *Материалы по истории народного образования в Екатеринославском наместн. при Екатерине II и Павле (1784-1805)* (Екатеринослав, 1895); Андрияшев, *Материалы для истории учебных заведений Черниговской дирекции (1789-1832)* (Киев, 1865). Школьная статистика 1786-1800 гг. разработана по данным министерства народного просвещения в статье К.Арсеньева, *Историко-статистический очерк народной образованности в России до конца XVIII в.*, в "Ученых Записках" Академии Наук, кн. 1. Проекты устройства низшей школы см. во *Взгляде на учебную часть* и т.д. гр. Д.А. Толстого; попытки отдельных лиц в цитированной статье К.И. Арсеньева.

IV

БОРЬБА ЗА ШКОЛУ И ПРОСВЕЩЕНИЕ ПРИ СТАРОМ РЕЖИМЕ

Политический характер учебных реформ XIX в.: пять перемен. Неполнота екатерининской учебной системы и систематическая реформа школы в 1804 г. — Средняя школа по уставу 1804 г. — Происхождение университетов в Петербурге, Казани и Харькове. — Положение профессоров по уставу и в действительности. — Положение студентов: их подготовка. — Новые меры для подготовки профессоров и студенчества. — Отношение общества к средней школе. — Перемена задачи средней школы в реформе гр. Уварова. — Побуждения и задачи общей реформы 1828 г. — Средняя школа по уставу 1828 г., споры о ее программе, устройство пансионов. — Университетский устав 1835 г. — Триединая формула гр. Уварова. — Новые профессора и новая аудитория. — Гимназическая реформа 1849-51 гг. — Новые меры против университетской автономии. — Третья общая реформа школы в 1863-64 гг. — Ее приемы. — Университетская автономия по уставу 1863 г. — Полемика по вопросу об организации учебной части и отношении университета к студентам. — Полемика между сторонниками классической и реальной школы. — Компромисс устава 1864 г. — Гимназическая реформа 1871 г. и ее результаты. — Университетская реформа 1884 г. — Цифровые итоги высшего, среднего и низшего образования в учреждениях министерства народного просвещения. — Народная школа. — Приходские училища уставов 1804 и 1828 гг. — Первая сельская школа (у казенных и удельных крестьян). — Новая русская педагогия. — Конкуренция ведомств и реформа 1864 г. — Усиление правительственного контроля. — Земская школа и роль в ней прогрессивных педагогов. — Поддержка правительством церковно-приходской школы. — Вопрос об обязательном обучении в 1870-х гг. — Возвращение к школе грамотности. — Новая постановка вопроса о всеобщем обучении. — Роль Государственной думы. — Рост книгоиздательства и повременной печати. Запросы народа и работа интеллигенции. — Работа "самоуков" из народа. — Прилив и отлив книжной продукции. — Распространение грамотности. — Просвещение при Временном правительстве.

Мы озаглавили этот отдел "Очерков" — "борьбой за школу и просвещение": борьбой между властью и общественностью. До сих пор мы тоже наблюдали борьбу *из-за* школы: но целью этой борьбы было, по возможности, уклониться от пользования школой. Эта цель и в XIX в. не сразу исчезает, — но уже с самого начала XIX в. она дополняется другою: борьбою за и против идей, которые неизбежно несло с собой образование. В течение XIX в. эта борьба все более обостряется, и правительственная власть из наступления постепенно переходит к обороне. История школы и просвещения в XIX в., собственно, и есть замаскированная история этой борьбы. Четыре раза, в начале четы-

рех царствований XIX в., русская высшая и средняя школа подвергались коренной перестройке. Уже по этой периодичности учебных реформ можно догадаться, что они вызывались далеко не одними только педагогическими соображениями.

После устройства екатерининской школы общественное образование стало силой, которую государственная власть могла употребить на служение своим целям. Соответственно тому, как менялись эти цели, менялись и способы их достижения. Таким образом, либеральная учебная система имп. Александра I (1804) заменена была, после 14 декабря и июльской революции, реакционной системой имп. Николая (1828 для средней, 1835 для высшей школы), и та же смена систем еще раз повторилась при переходе от либеральных уставов 1863-64 гг. к реакционным уставам 1871-го (для гимназий) и 1884-го (для университетов) годов. Пятая смена готовится, благодаря общественному оживлению, уже в конце 90-х гг.; но осуществляется она в революционные годы 1905-17-й. Основной чертой второй половины XIX в. является усиление общественной инициативы в деле народного образования. Либеральные педагоги разрабатывают программу народной школы; земство кладет почин ее осуществлению, а освободительное движение расширяет ее рамки, содействует ее количественному росту и, наконец, привлекает к делу государственные ресурсы.

При такой тесной связи между историей русской школы и политическими настроениями русской власти и общества совершенно невозможно говорить об одном, не касаясь другого. Но так как история общественных настроений составляет содержание III тома "Очерков", то здесь мы будем ограничиваться по возможности короткими напоминаниями об этой стороне дела для понимания перемен, совершившихся во внутреннем строе средней и высшей школы на протяжении XIX и начала XX вв.

Первая из существенных перемен в учебном деле относится к первым годам царствования имп. Александра I, к началу XIX в. Народное образование так еще недавно присоединилось к числу задач, принятых на себя государственною властью, что государство не успело даже создать особых центральных органов для выполнения этой своей функции. Во главе школьного дела стояло случайное учреждение, вызванное к жизни единовременным и специальным поручением — открыть новые средние школы: а на месте, в области, непосредственными начальниками этих школ были старые губернские власти. Не имея своего специального управления, русская светская школа не имела еще и своего собственного бюджета[1]. Она находилась, как мы видели, в полной зависимости от местных присутственных и сословных касс — и даже от частной благотворительнос-

[1] Духовная школа уже с 1765 г. получала определенное, хотя и скудное, содержание от казны.

ти. В области народного образования, как и в других своих начинаниях[2], Екатерина II не успела довершить начатой реорганизации правильным устройством соответственных центральных учреждений. С другой стороны, новые екатерининские "главные" и "малые народные училища" стояли совершенно особняком от других существовавших тогда учебных заведений. Ни в учебном, ни в административном, ни в хозяйственном отношениях не было ничего общего между ними и раньше их учрежденными школами высшими и средними.

Либеральное законодательство первых лет имп. Александра пополнило все эти существенные пробелы в организации и системе русских образовательных учреждений. Первым параграфом "Предварительных правил народного просвещения" (24 января 1803 г.), составленных под влиянием французских образцов времени революции, — в частности, проекта Кондорсе, внесенного в 1792 г. в Законодательное Собрание, — определено было, что "народное просвещение в Российской империи составляет *особенную государственную часть*, вверенную министру сего отделения и под его ведением распоряжаемую Главным училищ Правлением". Дальнейшие параграфы тех же правил установляли и все последующие ступени учебной иерархии. Шестеро из членов Главного правления училищ назначались вместе с тем и "попечителями" шести "полос" России, — округов, на которые делилась вся империя по отношению к учебному управлению. Попечитель был представителем интересов своего округа в Петербурге, а на месте стоял во главе округа университет. В трех округах университеты уже существовали (Московском, Виленском и Дерптском); в трех других их следовало еще учредить. И уже указом 8 сентября 1802 г. ("о должности комиссии училищ") было признано, что "главною целью, которую должны иметь члены (они же и попечители) тех отделений, где еще нет университетов, есть учреждение оных". Таким образом, правительство ставило на первую очередь осуществление задачи, которую наметили еще советники Екатерины II, проектируя университеты в Пензе, Чернигове и Пскове. Но теперь эти учреждения должны были занять определенное место в целой системе. Каждый из губернских городов округа должен был иметь свое "губернское училище или *гимназию*", находившуюся под наблюдением университета. Директор гимназии был вместе с тем и директором *уездных училищ*, которых должно было быть, по крайней мере, по одному в каждом уездном и губернском городе. Наконец, смотритель уездного училища был, в свою очередь, начальником *приходских училищ* своего уезда. Кроме городов, эти приходские училища должны были заводиться во "всяком церковном приходе или двух приходах вмес-

---

[2] См.: "Очерки", т.I.

те". В помещичьих имениях они поступали под наблюдение помещика, в казенных селениях — под наблюдение священника и "одного из почтеннейших жителей". Преподавание должно было быть бесплатное и доступное для всех сословий.

При переделке прежних екатерининских школ в новые первый класс малого (и главного) училища превращался в *приходскую школу*. Второй класс становился первым классом *уездного училища*, и к нему еще вновь прибавлялся второй. Наконец, высшие классы главного училища, 3-й и 4-й, превращались в 1-й и 2-й классы *гимназии*, и к ним вновь прибавлялись еще два старших класса, вовсе не существовавшие прежде. Таким образом, прежний четырехлетний курс главного училища превращался в семилетний и последовательно проходился в трех отдельных школах. В уездном училище уже не учили тому, что преподавалось в приходском, а в гимназии предполагалось известным то, чему учили в уездном. Естественно, что и программа средней школы развернулась и стала теперь гораздо обширнее и сложнее. Приходская школа, кроме начатков Закона Божия, учила чтению, письму и началам арифметики. В уездном училище, кроме продолжения Закона Божия и арифметики (с геометрией), преподавалась еще грамматика, география и история, начатки физики, естественной истории и технологии. В гимназии, в свою очередь, ни Закон Божий, ни русский язык уже не проходились. Взамен Закона Божия преподавалась книга "О должностях человека и гражданина", написанная Янковичем и проредактированная Екатериной II, в духе морального обоснования существующего строя. Затем освобождалось место для целого ряда новых предметов, проходимых в наше время в составе университетского курса. Сюда относились, прежде всего, философские науки: логика (проходившаяся в первом классе), психология и этика (во втором классе), эстетика (в третьем). В четвертом классе преподавались общественные науки (естественное и народное право, политическая экономия). Наконец, расширены были программы физико-математических и естественных наук; преподавались также коммерция и технология. Эта многопредметная программа, на практике оказавшаяся неосуществимой, также заимствована из проекта Кондорсе; но у него курс первичной школы рассчитан не на один, а на 4 года, курс вторичной школы — не на 2, а на 3 года. Одно это обстоятельство уже показывало, что значительная часть реформы 1804 г. останется на бумаге.

Зная уже из предыдущего, что дворяне неохотно отдавали своих детей в среднюю школу, а купцы и мещане большею частью брали их обратно, не доводя до высших классов, мы недоумеваем, для кого же в самом деле предназначалась эта сложная программа. "Главное училище" Екатерины было уже так устроено, что его можно было бросить в какой угодно год, и все-таки ученик выносил из него нечто цельное. В гимназию же 1804 г.,

чтобы только поступить, надо было предварительно учиться целых три года. Что могло побуждать учеников доходить до гимназии и кончать в ней курс? Правительство предусмотрело это затруднение и попыталось принять для его устранения целый ряд поощрительных и понудительных мер. Гимназия становилась путем в университет, а университет обещал в перспективе обер-офицерский чин. Чтобы закрыть обходные пути к чинам, в "Предварительных правилах" 1803 г. было постановлено: "Ни в какой губернии спустя пять лет по устроении училищной части никто не будет определен к гражданской должности, требующей юридических и других познаний, не окончив учения в общественном или даже частном училище". И действительно, в 1809 г. вышел знаменитый указ Сперанского об экзаменах на чин. Указ находил, что "дворянство, обыкшее примером своим предшествовать всем другим состояниям... менее других приемлет участия" в школьном обучении своих детей. Объяснялось это "удобностью достигать чинов не заслугами и отличными познаниями, но одним пребыванием и счислением лет службы". Этот-то широко раскрытый перед дворянством путь к чинам помимо школы Сперанский решился преградить своим указом об экзаменах. Теперь всякий, желавший получить чин коллежского асессора, должен был выдержать экзамен в университете.

Насколько помогли гимназиям все эти меры, мы скоро увидим. Теперь же заметим, что при новом уставе существование средней школы вообще не зависело более от того, насколько она была нужна или не нужна тогдашнему обществу. Увеличив штатное содержание училищ вдвое сравнительно со штатами Екатерины II, правительство решилось принять дополнительные расходы на счет казны. Перед началом реформы рассчитывали, что содержание новых учебных заведений (4 университетов, 42 гимназий, 405 уездных училищ) обойдется в 1319450 р.: почти на миллион дороже, чем обходились школы Екатерины (342700 р.). В действительности министерству пришлось расходовать гораздо больше, так как приказы общественного призрения и городские думы были очень рады случаю отказаться от дальнейшей уплаты своих субсидий на школы. Таким образом, и в хозяйственном отношении русская средняя школа (гимназия) сделалась с этого времени государственной. Нужно, однако, прибавить, что правительственный план был осуществлен далеко не сразу. Так, в 1809 г., то есть через пять лет после введения реформы, было открыто в четырех округах (не включая Польшу) 26 гимназий на 39 губ. городов и 72 уездных училища на 436 городов, то есть программа в первом случае была выполнена на 66%, а во втором на 19%. Нечего и говорить, что по отношению к приходским училищам, не обеспеченным никаким бюджетом, программа почти вовсе не была выполнена. За 1803-13 гг. открыто было всего 192 приходских училища, и до самого конца царствования Александра I открывалось в год

средним числом по 10. Сперанский мог заявить Александру, что вся система построена "вопреки здравому смыслу, ибо здравый смысл требует начинать вещи с их основания и вести к совершенству постепенно, и, следовательно, должно бы было начать народными школами и кончить академией". То же возражение можно было сделать Петру Великому и всем его преемникам. Но и прошлая и последующая история русской школы покажет, что, даже независимо от политических соображений, ввести начальную школу было всего труднее — и появилась она последней, ибо требовала наибольших денежных средств и предварительной подготовки огромного корпуса учителей. За их отсутствием при реформе 1804 г. было предписано епархиальным архиереям командировать на должности учителей уездных училищ и гимназий семинаристов; а в сельских приходских училищах должны были обучать приходское духовенство и причетники. Другими словами, правительству снова пришлось прибегнуть к тому же единственному ресурсу, к которому оно прибегало в XVIII в.

Обеспечить новой школе учителей было теперь гораздо труднее, чем прежде, ввиду большей сложности школьных программ. Предметы университетского курса, введенные в гимназию, требовали совершенно новых преподавателей, хорошо усвоивших курс высшей школы. Эта потребность в преподавателях, прошедших высшую школу, и становится теперь главным побуждением, заставляющим торопиться с устройством университетов. Уже "предварительные правила" постановляют, что "всякий университет должен иметь учительский или *педагогический институт*". Институт этот должен пополняться казенными стипендиатами, которые за получаемые ими стипендии обязуются прослужить в учительском звании по крайней мере шесть лет. Самый выбор мест для учреждения новых университетов, несомненно, определялся тем, насколько легко было именно в этих местах доставать желаемое число "кандидатов" на должность учителя.

Петербург был, конечно, уже по екатерининской традиции, первым из таких мест. Учительская семинария, доставлявшая учителей в "главные" и "малые народные училища", окончила свою роль; выпустив в 1801 г. последних своих студентов, она существовала только по имени. 20 мая 1803 г. она была возобновлена. Через два месяца вызваны были для преподавания новых предметов, необходимых для гимназий, трое уроженцев карпатской Руси: Лодий — для философский наук, Балугьянский — для общественных и Кукольник — для физики, химии, технологии и сельского домоводства. Студенты, в количестве ста человек, по прежнему обычаю, вызваны были из духовных семинарий. Таким образом, "учительская гимназия", переименованная в 1804 г. в "Педагогический институт", сделала первый шаг к превращению в университет. Второй шаг был сделан

в 1811 г., когда профессорам института пришлось открыть особые курсы для вольных слушателей, желавших экзаменоваться на чины коллежского асессора и статского советника (по указу 6 августа 1809 г.). Этими двумя рядами лекций — для будущих учителей и для будущих чиновников — ближайшие задачи института были выполнены; на том пока дело и остановилось.

Другим местом, которое само собой намечалось, как будущий университетский рассадник учителей, являлась Казань. Казанская гимназия, уступившая было при Екатерине место "главному народному училищу", но возобновленная при Павле с расширенной программой, была, благодаря этой программе, в своем роде единственным среднеучебным заведением. Превратить ее воспитанников в казеннокоштных студентов "Педагогического института" ничего не стоило. В этом — или почти в этом — и заключалось первоначальное устройство (1804) Казанского университета. За первые десять лет его существования число его студентов колебалось между 40-50, и из этого числа от 30 до 40 принадлежало к числу казенных стипендиатов, готовившихся в учителя. Так как этим главное назначение университета вполне достигалось, то и здесь министерство не спешило с превращением нового учреждения в настоящий университет.

Третьим пунктом, удобным для устройства педагогического института, являлся Киев со своей старинной академией. Но случайное обстоятельство заставило главное правление переменить Киев на Харьков. Дело в том, что известный энтузиаст и ревнитель просвещения В.Н. Каразин, делопроизводитель главного правления училищ, решился употребить все усилия, чтобы изменить выбор в пользу своей родины. Он достиг своей цели, хотя и несколько рискованным путем. Он сообщил государю о крупном пожертвовании (100000) на университет харьковского дворянства раньше, чем получил согласие самих дворян. Этим он заставил своих собратий волей-неволей быть щедрыми. Дворянство, самое большее, желало привилегированного военно-учебного заведения. Вместо того оно получило за свои деньги сколок с германского университета.

Правда, и в Харькове существовало старое учебное заведение, которое могло оказать некоторую помощь будущему университету. Это был харьковский "коллегиум" — духовная школа с семинарским курсом и с всесословным составом учеников. Но привязывать университет к "коллегиуму", ввиду крупного пожертвования, не было никакой надобности. Таким образом, здесь впервые учрежден был сразу настоящий университет такого типа, какой был намечен в "Предварительных правилах" 1803 г. 5 ноября 1804 г. Харьковский университет получил свой устав — в одно время с Казанским. Но на этот раз устав был не одной мертвой буквой. Съехавшиеся в Харьков иностранные профессора, по преимуществу немцы, могли на самом

деле думать одно время, что привезли в дикие русские степи академическую атмосферу своей родины. Они заседали в "совете", автономной корпорации, выбиравшей своего ректора и деканов; эти выборные лица заведывали хозяйственными делами в "правлении". Организация преподавания была отдана всецело в распоряжение совета. Для своих членов университет имел собственный суд, на который жаловаться можно было только сенату. До местной полиции профессорам не было никакого дела. В глазах местного общества профессор был раздаватель чинов[3] и сам — чиновник высокого ранга. Ближайший начальник, попечитель, жил в Петербурге, далеко от университета, как и следовало, по мнению ученого историка немецких университетов Мейнерса, находившего, что такая отдаленность лучше всего предупреждает партийное вмешательство попечителя во внутреннюю жизнь университета.

Очень скоро все эти тонкости устава 1804 г. оказались чистейшей иллюзией. При первой же попытке совета настоять на одном из своих постановлений, незаконно кассированном попечителем, велено было профессоров, подписавших протест, "призвать в Харьковское губернское правление и сделать им строжайший выговор, с подтверждением, что ежели впредь окажут подобное непослушание, то будут преданы суду". Выборы совета без церемонии отменялись, ученые степени давались по усмотрению попечителя. Русские члены, составлявшие меньшинство совета, постоянно ставили иностранцам ловушки и запутывали их в лабиринте русских указов. Лучшие из иностранцев не выдержали этой борьбы и спешили уехать, чтобы не поплатиться здоровьем и силами. В Казани положение дел было еще хуже. Рядом с "советом" профессоров по уставу 1804 г. там распоряжался директор гимназии (Яковкин), находивший безусловную поддержку в попечителе. Все его противники получили в результате борьбы за автономию отставку, и университет на несколько лет опустел. Место серьезных ученых заняли молодые карьеристы, вроде Кондырева, умевшие читать все науки, какие потребуется, писать, о чем угодно, угождать начальству "благонравием" и не церемониться с подчиненными. В 1815 г. Казанский университет отделен был, наконец, вполне от гимназии и пополнен новым составом профессоров. Но этот период его автономии продолжался не долго. В 1819 г. он сделался первой жертвой реакции, применявшей к русским университетам политику Священного союза. Как известно, система Священного союза, особенно после так называемых Карлсбадских постановлений 1819 г., внесла в школьную политику идею борьбы с революционными стремлениями, причем оздоровления народного образования предполагалось достигнуть, основав его

[3] Кончивший университет студент числился в 14-м классе, кандидат — в 12-м, магистр — в 9-м, доктор — в 8-м.

на религиозном начале. Исполнителем этой системы в Казанском округе явился ревизор и новый попечитель Магницкий, обвинивший почти всех профессоров в неблагонадежности, а студентов в распущенности, и предложивший поправить дело приостановкой или "публичным разрушением" университета. Так далеко дело не пошло, но неблагонадежные профессора были уволены, учреждена должность директора по "экономической, полицейской и нравственной части" и дана ему знаменитая "инструкция", по которой не только "политическое право", но и физика, и естественная история, и астрономия, и даже медицина и математика должны были преподаваться в духе Священного Писания, словесность изучаться по Библии, древние языки — по творениям святых отцов, история — начинаться с христианства и т.д.

Период процветания Петербургского университета был еще короче. Только в 1819 г. он превращен был окончательно в университет из педагогического института. Это была последняя уступка, вырванная у реакции молодым тогда попечителем гр. С.С. Уваровым. Недоверие к университетской автономии выразилось здесь в том, что рядом с выборным ректором оставлен был правительственный "директор": профессорская "конференция" занималась только учебными делами. В 1821 г. разразилась и над петербургским университетом гроза по поводу либерального направления профессорских лекций. Новый попечитель, Рунич, должен был применить тут казанскую инструкцию, прием студентов был приостановлен, либеральные профессора отданы под суд и т.д. Последствием грозы и здесь была замена лучших профессоров поколением совершенных ничтожностей. "Из новых лиц — замечает об этом поколении историк петербургского университета, — не было, за исключением Сенковского, ни одного, которое бы о знаниях и способностях своих заявило чем-нибудь в ученом мире... Они не подняли понизившегося уровня университета, ни умственного, ни нравственного. Еще менее способны были заменить выбывших молодые воспитанники самого университета, окончившие курс в 1823 г. и оставленные при нем для исправления должности магистров... Молодежь эта болезненно поражена была разгромом 1821 г. в самой весне жизни... до такой степени, что никогда, даже и при благоприятной перемене обстоятельств, не могла уже очнуться, чтобы думать не по заданной программе и действовать не по чужой указке".

Таким образом, первые успехи русских университетов оказались непрочными. Правительство забыло ту истину, которая еще при имп. Екатерине II, в 1787 г., высказана была комиссией, вырабатывавшей план университетского устройства. По плану этой комиссии, профессора "не подвергаются принуждению ни в рассуждении правил науки, ни в рассуждении книг учебных: свобода мыслей способствует вообще знаниям, но при та-

кой науке, в коей ежедневно являются новые разрешения и новые открытия, нужна она особливо".

Была, однако же, и другая, не менее важная, причина неуспеха университетов. Эта причина заключалась уже не в положении профессоров, а в положении студентов. Прежде всего, как мы знаем, число поступавших в университет было крайне незначительно. Старый Московский университет, имевший в 20-х годах 700-900 студентов, был в этом случае исключением; новые университеты насчитывали в первое десятилетие своего существования всего по нескольку десятков слушателей: и ко второму десятилетию число последних едва перевалило за сотню[4]. Это было совершенно естественно, особенно ввиду новой политики правительства, закрывшего доступ в гимназии "детям несвободных состояний" без специального разрешения министра (1813) и начавшего покровительствовать сословной школе. Дворянство, стремившееся в военную службу, предпочитало специальные учебные заведения, которые правительство охотно для него открывает. Для чиновников заведены были особые, упрощенные курсы. А лица, желавшие обеспечить детям не одну только карьеру, но и правильное воспитание, предпочитали частные пансионы. Уступая требованиям дворянства, правительство и при университетах стало открывать "благородные пансионы". Одно время даже пансион при Петербургской гимназии был превращен в привилегированное "Высшее училище", дававшее права университетского курса. Как все это отвлекало молодежь от университетов и гимназий, видно будет из следующей таблицы учащихся в Петербургском учебном округе:

	1810 г.	*1820 г.*	*1824 г.*	*1828 г.*
1. Педагогический институт и университет[5]	102	85	51	168
2. Благородный пансион	—	105	68	100
3. Высшее училище (1822-37)	—	—	395	386
4. Гимназия	458	760	450	431
5. Частные пансионы и училища	1647	2002	2027	2275
6. Уездные и приходские училища	4043	3770	4465	4689

Мы видим, как вторая и третья рубрики (благородный пансион и Высшее училище) растут в ущерб первой и четвертой (университету и гимназии), а пятая (частные пансионы) — в

---

[4] Число студентов в русских университетах (то есть не считая Дерптского, Виленского и Гельсингфорского) в 1808 и 1824 гг. следующее:

	Моск.	Харьк.	Казанск.	Петерб.
1808 г.....	135	82	40	—
1824 г.....	820	337	118	51

[5] В 1810 г. все казеннокоштные, то есть стипендиаты для подготовки к учительской профессии; в 1820 г. только 24 своекоштных, в 1828 г. — только 48.

ущерб всем остальным. Пансионы отвечали требованиям зажиточных классов, обучая новым языкам и хорошим манерам. Других требований пока еще никто и не предъявлял средней школе. Это отзывалось и на положении высшей школы. Туда оставалось идти только для педагогической карьеры или для получения казенной стипендии. Конечно, второе привлекало больше, чем первое. Родители казенных стипендиатов и сами они употребляли всевозможные усилия, чтобы ускользнуть от учительской службы по окончании курса; в крайнем случае они предпочитали даже вовсе не кончать курса. Таким образом, студенты не были ничем заинтересованы в успешном прохождении курса — кроме, конечно, идеальных побуждений, встречающихся не часто.

Но и при всем желании для успешных занятий в университете у слушателей не хватало надлежащей подготовки. Гимназия, в лучшем случае, выпускала их с механически вызубренной номенклатурой знаний, которая скоро испарялась из памяти, не оставляя следов. Таким образом, в университете, вместо прохождения университетского курса, студентам приходилось прежде всего повторять гимназические предметы, или так называемый "приготовительный курс". Этим курсом часто — как например, в Казанском университете первых годов — и кончались все занятия в университете. До "специальных" факультетских курсов доходили только отдельные, наиболее усердные студенты. Но тут являлось новое препятствие. Специальные курсы читались приглашенными из-за границы профессорами, преимущественно на латинском языке. А в латинском языке студенты были еще слабее, чем в новых, которых они, впрочем, тоже почти не знали. Что же было делать? Понятно, что при этих условиях профессору приходилось сперва диктовать латинский текст лекции, а затем дважды объяснять его: по-немецки той части аудитории, которая не училась французскому языку и по-французски другой части, которая не училась немецкому. И при всем том содержание лекции должно было оставаться для слушателей в тумане. Меньше всего страдала от вытекавших отсюда взаимных недоразумений математика; поэтому математические науки и были единственными, в которых тогда уже русские студенты оказали блестящие успехи. Всего хуже шло медицинское преподавание. Требуя от университетов на первый раз только учителей, правительство не спешило устраивать медицинские факультеты. Большинство медицинских кафедр оставалось незанятыми; необходимых пособий не было; наличные курсы посещались только из любознательности отдельными студентами и нередко прекращались вовсе, за отсутствием слушателей. Из других специальных курсов только лекции по философским и политическим наукам могли рассчитывать на постоянную аудиторию: они подготовляли будущих гимназических учителей к преподаванию этих предметов, зна-

чившихся, как сказано выше, в гимназической программе 1804 г. Впрочем, при пересмотре учебных планов гимназий в эпоху реакции, в 1819 г., как раз эти предметы (право, политическая экономия, философия, эстетика) были исключены и заменены греческим языком и чтением Священного Писания.

Два вывода само собою вытекали из описанного состояния высшей школы: оба они и были немедленно сделаны. Во-первых, надо было, очевидно, постараться, чтобы профессора читали лекции на языке, понятном для слушателей. Вызов иностранных профессоров оказался мерой нецелесообразной: после первого массового призыва при введении устава 1804 г. эта мера более и не повторялась. Но невозможным оказалось также и подготовить компетентных заместителей этим профессорам в юных русских университетах. Оставалось одно: посылать русских за границу. Уже в 1808 г. этот способ был испробован с 12 воспитанниками педагогического института; из них вышли такие выдающиеся профессора, как Галич, Плисов, Куницын, — все пострадавшие в погроме 1821 г. Когда наступивший затем "общий научный упадок университетов... сознан был самим высшим правительством", для поднятия профессорского уровня решено было прибегнуть к той же самой мере. В ноябре 1827 г. состоялось высочайшее повеление послать сперва в Дерпт, а затем в Берлин и Париж 20 способнейших студентов, выбранных из всех университетов. К ним присоединены были в следующем 1828 г. еще шестеро лучших студентов, выбранных из Московской и Петербургской академий для подготовки на кафедру законоведения. Таким образом предполагалось устранить ту причину неуспешности университетского преподавания, которая зависела от состава профессоров.

Другой причиной была, как мы видели, неподготовленность студентов, вытекавшая из неудовлетворительной постановки гимназического преподавания. Реформа 1804 г., как мы знаем, наполнила гимназическую программу университетскими предметами. Она исходила при этом из того предположения, — прямо высказанного 1812 г. министром Разумовским, — что "*не всякий* имеет возможность продолжать занятия в университете", и поэтому гимназия должна дать законченный курс сведений, необходимых для развития и для практической жизни. Самое устройство университетов, как мы видели, должно было служить прежде всего лишь *средством* для подготовки гимназических учителей. В своем скептипизме реформаторы были, однако же, еще слишком большими оптимистами. Не только университет доступен был "не всякому", но и созданная вновь гимназия почти *никому* не была нужна при тогдашнем отношении общества к образованию. Большинство продолжало, как и прежде, ограничиваться прохождением младших классов главного училища; а эти классы составили теперь, как мы знаем, приходское и уездное училища. Даже новый, высший класс

уездного училища казался обществу излишним обременением. Смотритель Валдайского малого училища писал, например, в 1817 г. перед предстоявшим преобразованием его в уездное: "Родители учащихся I, а особенно II класса просят, дабы детей их обучать токмо чтению и чистописанию, отнюдь не занимая никаковыми предметами, положенными в уставе, потому что не признают оных для детей своих нужными, объявляя притом, что, в противном случае, они не будут их пускать в училище, и *доказывающие сие самым делом*". Можно подумать, что так смотрело тогда на дело только купечество и мещанство уездного города, дававшее огромное большинство учеников в уездную школу. Но то же узнаем и о чиновничестве губернских городов. Например, пермский директор пишет: "Чиновники более достаточные спешат поскорее пристроить своих детей к должности, не столько для получения жалованья, сколько *для ранней заслуги чинов*; а бедные и матери сирот часто безвременно детей своих отвлекают от учения, с тем чтобы снискать пособие в хозяйстве и иногда и самое пропитание". Словом, положение оставалось таким же, каким мы видели его при введении екатерининской школьной реформы. Дворянство, тоже по-прежнему, не доверяло воспитательной стороне казенной школы и интересовалось совсем другими предметами, чем преподававшиеся там. В виде уступки дворянским вкусам, гимназиям приходилось усиливать практику французского языка, вводить фехтованье и танцы. Но и это мало помогало.

Итак, образовательная часть в гимназиях 1804 г. стояла гораздо выше, а воспитательная значительно ниже, чем требовалось для дворянства и для зажиточных классов того времени. В результате гимназия, и особенно ее высшие классы, — существовала для слишком немногих, чтобы продолжать быть *целью* самой по себе. Между тем, при уставе 1804 г. она не годилась и как *средство* для подготовки к высшей школе. В ней преподавались, неизвестно для кого, университетские курсы; последствием этого было то, что в университете приходилось преподавать гимназические. В результате университет страдал от постановки преподавания в гимназии, а гимназия — от постановки преподавания в университете. Надо было выйти из этого круга. Если, как оказывалось, гимназия не может служить своим собственным задачам, то нужно было, чтобы она, по крайней мере, служила задачам университета. При тогдашнем составе университетских профессоров достигнуть этого лучше всего можно было, научив гимназистов как следует латинскому языку. "Мне кажется, — писал уже в 1807 г. казанский попечитель, — что гимназист, оказавший довольные успехи в латинском языке, при посредственном успехе в других предметах, достойнее назван быть может студентом, нежели не могущий разуметь профессорских лекций, но успевший в истории, географии, математике и в прочем, потому что в гимназии преподаваемые на-

ставления знающий латинский язык будет иметь случай повторить, посещая профессорские лекции". В 1811 г. на эту же точку зрения стал решительно петербургский попечитель, гр. С. Уваров, и основал на ней новую реформу гимназий своего округа, долженствовавшую вскоре послужить образцом для всей империи.

"Цель гимназии вообще есть приготовление учащихся к слушанию академических или университетских курсов наук" — таково основное положение реформы гр. Уварова. В XVIII в. эта цель определялась совершенно наоборот. "Целью воспитания и учения в гимназии, — говорилось в 1797 г., — полагается то, чтобы со временем можно было получить людей, способных более к гражданской жизни, и к военной, и гражданской службе, нежели к состоянию, отличающему ученого человека". Мы видели, что и программы 1804 г. готовили гимназическую молодежь для жизни, а не для школы. Неудача этих программ создала для гимназий то положение, которое формулировано в приведенном тезисе Уварова. Выводы из него следовали сами собою. Во-первых, "в курс гимназический не должны входить такие предметы, которые предоставляются одним университетам", то есть науки философские и общественные. Во-вторых, гимназия должна ввести как главные те предметы, без которых научные занятия в университете были невозможны в то время, то есть классические языки, и прежде всего латинский. Закон Божий и русский язык, отведенные уставом 1804 г. в программу уездных училищ, снова водворялись в гимназической программе. Примыкали к гимназии и отделенные от нее низшие классы. Таким образом получался семигодичный курс с предметами, очень близкими к позднейшей программе гимназий. Латинский язык начинался с третьего класса (всего 32 часа в неделю): в двух старших проходился и греческий (6 часов). 7 ноября 1811 г. план Уварова был утвержден и применен в виде опыта в петербургской гимназии. В 1817 г. решено было ввести уваровскую программу во всех русских гимназиях.

Таково происхождение и первые шаги классической школы в России. Древние языки, как видим, введены были в ее программу не как орудие формального развития, а как необходимое средство к приобретению высших познаний в университете. "Знание латинского языка, — говорилось в указе 7 июля 1811 г., — доказывает приобретение глубоких и твердых сведений в словесности вообще, истории, археологии, мифологии и прочих подобных сим науках". Этот аргумент, очевидно, мог сохранять свою силу лишь до тех пор, пока русскому студенту приходилось слушать "словесность, историю, мифологию и прочие науки" у иностранного преподавателя по-латыни.

Как видим, поводом для новой общей реформы высшей и средней школы имелось налицо достаточно. Общая реформа произведена была, однако, не под влиянием приведенных выше

педагогических, а под влиянием главным образом политических соображений. Так поставило и решило задачу правительство Николая I.

В манифесте 13 июля 1826 г., объявлявшем в общее сведение приговор над декабристами, правительство обращало внимание родителей на необходимость "нравственного воспитания детей". "Не просвещению, но праздности ума, более вредной, нежели праздность телесных сил, — недостатку твердых познаний должно приписать сие своевольство мыслей, сию пагубную *роскошь полупознаний*, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча правом, а конец — погибель. Тщетны будут все усилия, все пожертвования правительства, если домашнее воспитание не будет приуготовлять нравы и содействовать его видам". Так говорилось в манифесте. Реформа школы представлялась императору Николаю первым и самым действительным средством для отрезвления общества "от дерзновенных мечтаний". Рескриптом 14 мая 1826 г. он назначил особый "комитет устройства учебных заведений", целью которого было "без всякого отлагательства" ввести единообразие в учебную систему, "дабы уже, за совершением сего, воспретить всякие произвольные преподавания учений, по произвольным книгам и тетрадям". Во исполнение этой директивы министр Шишков, крайний националист и враг "французского вольномыслия", выступил перед комитетом с обширным планом общей реформы. План этот построен был на двух основных идеях. Первая идея заключалась в предложении "расположить учение в каждом из учебных заведений таким образом, чтобы оно могло служить окончательным образованием того класса людей, для которого таковые училища преимущественно учреждаются". Другими словами, вместо одной бессословной школы с одинаковой программой для всех предполагалось создать несколько сословных школ с различными программами. Екатерининская школа была, как мы знаем, одна для всех; во всякой школе можно было начать ученье сначала и бросить, когда кто хотел. С такой системой достигалось единство образования, но нельзя было высоко поднять его уровня. Напротив, александровская система связывала все учебные заведения в одну непрерывную цепь, так что низшая школа по необходимости являлась главным образом ступенью к высшей. Если первую систему можно представить себе в виде ряда концентрических кругов, то вторая скорее похожа на лестницу, низом своим опиравшуюся на народную массу, а верхом достигавшую университета. Николаевская система стремилась занять среднее положение. Александровскую лестницу учебных заведений она решила снова разнять на части, но из каждой части сделать совершенно особое, самостоятельное целое. Шишков исходил из несомненного факта, "что из уездного училища разве сотый человек поступит в университет, между тем как 99 окончат учение свое в сем училище и частию

в гимназии". "Следовательно, — выводил он отсюда, — при назначении постепенности учебных заведений отнюдь не должно исключительно иметь в виду приготовление учеников к переходу из одного заведения в другое высшее, но потребности тех состояний, которые должны были получить в них окончательное образование... Приходские школы должны существовать у нас преимущественно для крестьян, мещан и промышленников низшего класса; уездные — для купечества, обер-офицерских детей и дворян; гимназии преимущественно для дворян, не лишая, впрочем, и другие состояния права поступать в них". Таким образом, из педагогических соображений искусно выводился тот политический тезис, что никто не должен получать образование выше своего звания. Но сделанные при этом оговорки уже могли показать, что в действительности все останется по-старому.

Другая идея реформы 1828 г. была та, что школа должна не только учить, но и воспитывать и что это воспитание должно всецело находиться в руках государства. Эта идея всего ярче выражена в известной записке Пушкина, поданной Николаю. "Должно увлечь все юношество в общественные заведения, подчиненные надзору правительства; должно его там удержать (на большое количество лет), дать ему время перекипеть, обогатиться познаниями, созреть в тишине училищ, а не в шумной праздности казарм... Нечего колебаться во что бы то ни стало подавить воспитание частное". Поэт угадал намерение министра. Шишков предлагал для достижения намеченных им целей, во-первых, поощрительные, во-вторых, запретительные меры. Поощрительные меры, чтобы привлечь дворянство к прохождению длинного гимназического курса, должны были гарантировать дворянам, что их дети *не* испортятся в гимназии и что годы учения *не* пройдут без пользы для выслуги чинов. Для первой цели проектировалось учредить при гимназиях "и даже при некоторых уездных училищах" воспитательные закрытые заведения (пансионы) для дворянских детей. Вторая цель достигалась служебными привилегиями для гимназистов и предоставлением лучшим ученикам права на XIV класс. Запретительные меры должны были заключаться в закрытии всех частных мужских пансионов через три года после введения реформы, в обязательстве со стороны родителей не брать детей из казенных заведений до окончания курса, наконец, в запрещении принимать на канцелярскую службу без диплома хотя бы уездного училища.

План, как видим, был очень строен и смел. Но выполнить его оказалось труднее, чем предложить. В целом он никогда и не был осуществлен; принятие же частных мер, вытекавших из этого плана, растянулось на долгое время. Ближайшими и важнейшими реформами, основанными на плане Шишкова, были: Устав гимназий и училищ уездных и приходских (8 декабря,

1828), Положение об учебных округах (22 июня, 1835) и Общий устав университетов (26 июля, 1835).

Неизменным в системе низших и средних школ осталось при новом порядке только *приходское училище*. Оно продолжало служить и подготовительной ступенью для следующих. Курс *уездных* училищ составил самостоятельное целое. За исключением языков, здесь преподавались теперь почти все те же предметы, как в гимназии, но только в меньшем объеме. На прохождение курса назначено было 3 года, вместо прежних двух, и число учителей увеличено с двух до пяти. Начальником уездных и приходских училищ оставался несколько лет попрежнему директор губернской гимназии; но в конце 1836 г. устроена для этой цели особая дирекция училищ. Чрезвычайно важно было для дальнейшей судьбы уездных училищ, что устав 1828 г. решился взять их содержание на счет казны: это был шаг вперед, сравнительно с уставом 1804 г., обеспечившим одни гимназии.

На преобразование *гимназии* обращено было новым уставом особенное внимание. Здесь именно сосредоточивалась та "роскошь полузнаний", которую предполагалось заменить серьезным прохождением немногих предметов. Гимназическую же молодежь предполагалось продержать в школе несколько лишних лет, пока "перекипят" страсти, и выпускать в жизнь не по шестнадцатому, а по крайней мере по восемнадцатому году. Всем этим требованиям удовлетворяла уваровская гимназия. Естественно, что она и положена была в основу гимназического устройства 1828 г. Курс приходской школы предполагался известным уже при поступлении в гимназию; но дальнейшее преподавание велось сначала — параллельно с курсом уездного училища. Вся программа должна была проходиться в семь лет, то есть еще на год больше, чем в уваровской гимназии 1811 г. Но относительно ближайшего содержания этой программы мнения членов комитета разошлись. Все согласны были с положением, что при составлении программы "должно иметь целью более основательное, нежели обширное образование"; поэтому о сохранении в гимназическом курсе философских и общественных наук не было и речи. Но основной принцип реформы 1828 г. требовал, чтобы гимназия давала законченный курс и существовала бы для подготовки дворянских детей к практической жизни. Между тем гимназия уваровского типа главной целью ставила готовить молодых людей к университету. Для университета двадцатых годов, с его наличными профессорами и курсами, необходимо было, чтобы гимназисты знали латинский язык. Древние языки предполагалось сделать главным предметом и в новой гимназии: на латинский назначалось в проекте 70 часов в неделю во всех классах, на греческий 50. Но один из самых влиятельных членов комитета, гр. Сиверс, напомнил сочленам об интересах "тех, кои не имеют намерения

изучать университетский курс". Для них он выдвигал на первое место, рядом с древними языками, математику, на которую в проекте отведено было всего 44 часа[6]. Другой член, кн. Ливен, назначенный скоро министром народного просвещения, ставил вопрос еще резче. "Университет получает", по его словам, от уваровской гимназии "ту выгоду, что гимназии доставляют ему гораздо лучше приготовленных воспитанников. Напротив, дворянство весьма жалуется, что их детей, — из коих меньшая только часть посвящает себя службе в провинциальных присутственных местах и потому обучается в университете правам, гораздо же большая часть приготовляется в военную службу или для занятия сельским хозяйством, — мучат ненужными для них древними языками, что похищает у них время для изучения полезнейших познаний". Ливен соглашался, что "сия жалоба слишком справедлива", и находил, что для удовлетворения ее "не остается никакого другого удобного средства, как или основать совершенно отдельные училища, в параллельном отношении к гимназиям состоящие, или при самых гимназиях образовать отдельные реальные классы, в равном отношении к верхним классам гимназий, где молодые люди, не посвящающие себя ученому занятию, во время часов, в кои другие пользуются наставлениями в древних языках, учились бы живым языкам и необходимым для них предметам".

В конце концов, комитет согласился действительно допустить разделение гимназического курса, начиная с IV класса, на две ветви. Но к этому побудило его не столько мнение Ливена, сколько судьба проектированного в будущей гимназии греческого класса. Уваров, сам делавший попытку ввести греческий язык в гимназический курс, хорошо знал, как мало имелось для этого налицо подходящих преподавателей. Поэтому он решительно предлагал ограничиться введением греческого языка только в гимназиях университетских городов. Взамен того он советовал ввести в программу исключенные проектом новые языки. В том же духе высказался сам император Николай, только что получивший записку Пушкина. В записке этой говорилось, между прочим: "К чему латинский или греческий? Позволительна ли роскошь там, где чувствителен недостаток необходимого?" Вероятно, Николай имел в виду это замечание Пушкина, когда против определений комитета о греческом и французском языке написал: "Я считаю, что греческий язык есть роскошь, тогда как французский — род необходимости, а потому на это согласиться не могу" (на введение греческого и исключение французского). Мнение императора окончательно решило дело. Комитет старался, правда, оправдать свои прежние

---

[6] Из других предметов на историю назначалось 24 часа, на русский язык — 26, географию — 14, естественную историю — 12, физику, рисование, чистописание — по 6; новых языков не полагалось вовсе.

ние предположения тем, что "одною из главнейших причин ложного направления воспитания" он считает "преобладание французской словесности", что знание французского языка развивает самонадеянность, тогда как изучение древних языков приводит к скромности и к сознанию своего неведения. Но практического значения эти рассуждения уже не имели. В окончательной редакции устава на долю латинского языка оставлено было только 39 часов, на долю греческого 30; и притом этот язык вводился только в некоторых гимназиях. В остальных эти часы делились между математикой и новыми языками[7].

Из других предположений "Комитета учебных заведений" особенное внимание правительства обращено было на устройство на дворянские средства, "Благородных пансионов" при гимназиях. К 1849 г. этих пансионов открыто было 47; с тех пор до 1863 г. к этой цифре прибавилось только четыре. В пансионах дворянским детям дозволялось проходить "учебные предметы, ближе принадлежащие к образованию высшего сословия", и во многих из них заведено было преподавание французского языка, танцев, музыки, фехтования и верховой езды. Но, вообще говоря, пансионы должны были оставаться исключительно воспитательными заведениями, а учиться пансионеры обязаны были в гимназии. Однако же, ставши раз на путь сословных привилегий, трудно было остановиться на этом первом шаге, и скоро одна губерния за другой стала добиваться специальных разрешений на открытие "дворянских институтов", то есть пансионов с гимназическим и притом сокращенным курсом. Мало того, скоро появились особые пятиклассные дворянские училища. По форме они должны были быть чем-то вроде прогимназий. Но на деле они давали дворянским детям окончательное образование, так как "на сто учеников дворянских училищ приходилось довершающих образование в гимназии — не более одного". Таким образом, план — загнать дворянских детей в общие гимназии и продержать их там до конца курса — совершенно не удался.

Еще менее удачна была попытка бороться с частными пансионами. Недоверие правительства к иностранным содержателям этих пансионов особенно усилилось после революции 1830 г. Директорам гимназий предписано было в 1831 г. "узнавать их образ мыслей и нравственные качества". Раньше чем через пять лет по приезде в Россию иностранец не мог открывать учебное заведение. А в 1833 г. прибавлено требование, чтобы учредители пансионов были русскими подданными. Тогда же вообще запрещено было открывать *новые* пансионы в столицах и затруднено устройство их в провинциях. Несмотря на все эти меры, число учащихся в частных пансионах продолжало расти.

[7] В гимназиях с греческим языком был обязателен только один из них.

Не ограничиваясь контролем над публичным обучением, правительство сделало попытку установить наблюдение за домашним преподаванием. Для этого "домашние наставники и учителя" сделаны были (1831) своего рода чиновниками (с производством в чины) и обязаны отчетностью перед учебным начальством. О родителях, принимающих учителей, не имеющих узаконенных свидетельств, предписано доносить самому Николаю. Учебники для домашнего обучения допускались лишь одобренные для казенной школы или, во всяком случае, прошедшие цензуру. Очень сомнительно, конечно, чтобы эта смелая попытка связать частное обучение увенчалась успехом.

Распределение учащихся к середине века по сословиям и по школам видно будет из следующих цифр учащихся по петербургскому округу за 1853 г. (за предыдущее время см. ниже).

	Дворян	*Прочих сословий*	*Всего*
1. В университете	299 (70%)	125 (30%)	424
2. В гимназиях	2265 (80%)	566 (20%)	2831
(в том числе в благор. пансион. 1099)			
3. В уездных училищах	1814 (39%)	2872 (61%)	4686
4. В приходских (город.) училищах	883 (12%)	6730 (88%)	7613
5. В частных пансионах и школах	2960 (48%)	3192 (52%)	6152

Таким образом, министерству удалось только создать привилегированную дворянскую школу; но превратить школу в сословную было; очевидно, невозможно. "В государствах, где состояния строго отделены одно от другого, — говорил по этому поводу в комитете кн. Ливен, — где переход из одного в другое, наипаче из среднего в дворянское, чрезвычайно труден... в таких государствах очень легко завести таковой порядок: Но в Российском государстве, где нет среднего сословия... где ремесленник во всех отношениях равен земледельцу... где достаточный крестьянин во всякое время может сделаться купцом, а часто бывает и тем и другим вместе, где линия дворянского сословия столь необозримое имеет протяжение, что одним концом касается до подножия престола, а другим — почти в крестьянстве теряется, где ежегодно многие из гражданского и крестьянского сословия чрез получение военного или гражданского офицерского чина поступают в дворянство, — в российском государстве таковое устройство училищ затруднительно". Нельзя было яснее и основательнее показать нелепость сословной школы — даже в *крепостной* России.

По уставу 1804 г., как мы знаем, гимназии подчинялись университетам. С новым устройством округов (1835) это подчинение прекратилось, так же как и подчинение низших школ гимназическому директору. Низшая и средняя школа непосредственно подчинялась теперь учебной администрации округа. Той же администрации решено было подчинить и высшую шко-

лу. Шишков уже в 1826 г. предлагал в комитете предоставить попечителю округа участие в выборе профессоров, а ректора назначать от правительства. "Чиновник сей, зависящий от выбора своих товарищей, — говорил Шишков, — не в состоянии исполнять возложенную на него обязанность с той твердостью, какая требуется... для обеспечения правительства насчет направления преподавания и цели общественного воспитания". Против расширения попечительской власти восстал, однако, тогда кн. Ливен, находивший, что "злоупотребление весьма тесно связано с человеком; чем большая предоставлена ему власть, тем злоупотребление опаснее, и нигде не имеет вреднейших действий, как в воспитании юношества". Примеры петербургского и казанского попечителей, Рунича и Магницкого, очевидно, слишком еще свежи были в памяти у всех. Тем не менее университетский устав 1835 г. покончил с фикцией академической свободы, существовавшей по уставу 1804 г. Попечитель обязан был теперь жить в том городе, где находился университет. Ректор и деканы пока оставались выборные, но власть совета была сильно ограничена. Судебные функции были вовсе отняты у университета; административные и хозяйственные дела по-прежнему ведались правлением, но начальником правления был не совет, а попечитель. Попечителю же принадлежал надзор за дисциплиной в университете. Инспектор из выборного и ответственного перед советом лица превратился в чиновника, назначавшегося попечителем, — и притом не из профессоров, а из посторонних университету "военных или гражданских" служащих. Студентам дана была форма; устав регламентировал их нравственные обязанности и даже заботился о их "наружном образовании", прическе, манерах и т.п. Инспектору студентов предписывалось (в Московском университете) посещать "в разные часы и всегда неожиданно" квартиры казеннокоштных студентов, наблюдать за их знакомствами, следить за посещением церкви и т.д. Богословие, церковная история и право делались обязательными предметами для всех факультетов. Философия, политическая экономия и статистика переводились с юридического факультета на филологический (называвшийся тогда первым отделением философского); взамен того юридический факультет наполнялся кафедрами существующего русского законодательства, изучение которого должно было готовить студентов к роли чиновников, а не ученых юристов. На филологическом факультете открывались особые кафедры русской и славянской истории. Русские профессора должны были читать теперь *русскую* науку, основанную на *русских* началах, как их формулировал С.С. Уваров, занимавший пост министра народного просвещения в 1833-49 гг.

Новый дух преподавания Уваров определил в своем обращении к попечителям (21 марта 1833) в знаменитой триединой формуле: "православие, самодержавие, народность". В записке,

представленной Николаю к десятилетию своего управления (1843), он возвратился к этой формуле и чуть ли не своему изобретению приписал спасение России от "общественной бури, потрясшей Европу". "Надлежало укрепить отечество на твердых основаниях, на коих зиждется благоденствие, сила и жизнь народные; найти начала, составляющие отличительный характер России и ей исключительно принадлежащие; собрать в одно целое священные остатки ее народности и на них укрепить якорь нашего спасения... Без любви к вере предков народ, как и частный человек, должен погибнуть... Самодержавие составляет главное условие политического существования России... Наряду с сими двумя национальными началами находится и третье, не менее сильное, народность".

Так сложилась боевая политическая формула, которой суждено было до конца старого порядка сделаться его знаменем.

Уваров, однако же, не подозревал опасности присоединения к двум неподвижным формам, религиозной и политической, на которых держался его "якорь", этой третьей — не формы, а сущности народной жизни, живой и развивающейся вместе с национальным сознанием. А опасность эта сказалась тут же, как только, по распоряжению министра, русские профессора стали преподавать в университетах русскую науку. Мы знаем, что в это самое время начался классический период русской литературы и искусства: настоящий расцвет русского национального творчества. Не могло это цветение не отразиться и в жизни университета, *вопреки реформе*, только что произведенной в его устройстве. Если автономный устав 1804 г. не мог сразу поднять русские университеты на должную высоту, то и авторитарный устав 1835 г. не мог помешать им достигнуть впервые расцвета. Ближайшим образом университеты были обязаны этим своим расцветом молодым профессорам, посланным, как мы видели раньше, в Дерпт и за границу для подготовки к ученому званию. Эти командировки дали таких замечательных ученых и преподавателей, как Неволин, Редкин, Пирогов, Крюков, несколько позже Грановский и т.д. Глашатаи уваровской "новой эры" преподавания в духе официальной "народности", вроде Шевырева, Погодина, встретили это новое поколение профессоров недружелюбно и недоверчиво и имели на это полное основание. Молодые ученые привезли с собой "немецкие тетрадки" и немецкие теории; они и самое "начало народности" стали выводить не по Уварову, а по Гегелю. Даже когда они одобряли и оправдывали, они все-таки рассуждали, а нужно было просто верить и умиляться. Словом, старое поколение не поняло нового; а новое, не справляясь о мнении старого, пошло вперед, и в этом был залог его успеха.

Однако же успеха не могло бы быть вовсе, если бы молодые профессора тридцатых годов проповедовали, как ученые знаменитости 20-х и 10-х гг., перед пустой аудиторией. Самое важное

было то, что и в этом отношении положение дела тоже совершенно переменилось. Кругом профессора собралась многочисленная, симпатизировавшая ему аудитория, преисполненная идеальных стремлений. Конечно, идеальные стремления не были новостью в русском обществе. Но тут впервые выросло целое поколение молодежи, которое обратилось за удовлетворением своих идеальных стремлений к университетской науке. Ввиду этого нового факта — переполнения аудиторий — и отношение правительства к студентам совершенно переменилось. Мы видели, как прежде был редок и дорог начальству каждый студент; как ему платили жалованье за науку, смотрели сквозь пальцы на его большие и малые грехи, всячески поощряли его научное рвение, только чтобы дотянуть его до окончания курса и получить в нем нужного работника. Теперь дело стоит совершенно иначе. В секретном циркуляре 31 декабря 1840 г. министр Уваров сообщает, "что, при возрастающем повсюду стремлении к образованию, наступило время пещись о том, чтобы *чрезмерным* этим стремлением к высшим предметам учения не поколебать некоторым образом порядок гражданских сословий, возбуждая в юных умах порыв к приобретению *роскошных* знаний". Эта реминисценция из манифеста 1826 г. показывает нам, в чем усматривает министр причину зла и где он будет искать лекарства. Беда в том, что к высшей науке стремятся низшие классы. Это надо устранить "действием мер тихих и негласных", не путем закона, а путем "министерских распоряжений". Так, в 1847 г. отменено право вольнослушателей посещать университетские лекции. В 1845 г. повышена плата за учение, "принимая во внимание, что в высших и средних учебных заведениях через меру умножился прилив молодых людей, рожденных в низших слоях общества, для которых высшее образование бесполезно, составляя лишнюю роскошь и выводя их из круга первобытного состояния без выгоды для них самих и для государства". Повышение платы, докладывал министр, необходимо "не столько для усиления экономических сумм учебных заведений[8], сколько для удержания стремления юношества к образованию в пределах некоторой соразмерности с гражданским бытом разнородных сословий". На докладе Уварова Николай надписал: "Притом надо сообразить, нет ли способов затруднить доступ в гимназии для разночинцев". И от детей купцов и мещан стали после того требовать при поступлении в университет увольнительных свидетельств от обществ.

Меры против распространения просвещения еще усилились при Ширинском-Шихматове, заменившем Уварова в 1850 г. Новый министр уже прямо докладывал Николаю, в духе Магницкого, что "все положения науки должны быть основаны не на

[8] Именно для этой цели впервые была введена Уваровым плата за учение в гимназиях Петербургского округа в 1817 г.

умствованиях, а на религиозных истинах в связи с богословием..." Он утверждал, что "лица низшего сословия, выведенные посредством университетов *из природного их состояния*, не имея, по большей части, никакой *недвижимой собственности*, ... гораздо чаще делаются людьми беспокойными и недовольными настоящим положением вещей". Как лекарство против "чрез меру возбужденного честолюбия" подобных разночинцев, он рекомендовал новое повышение платы за ученье.

Все эти удары били, однако же, мимо цели. Приведенные выше цифры показывают, что наплыв "разночинцев" в гимназии и университеты был не так уже велик (20-30%). Опасаться, что университет создаст "интеллегентный пролетариат", было тогда во всяком случае преждевременно. В только что упомянутой идеально настроенной аудитории безусловно преобладали своекоштные студенты из привилегированного сословия. Они совсем не искали в университете хлебных занятий и не спешили, по окончании курса, пристраиваться на казенную службу. Скоро правительство заметило это небывалое до тех пор явление и приняло новые меры, чтобы, с одной стороны, привлечь университантов к государственной службе, а с другой — отвлечь молодежь привилегированного сословия от поступления в университеты. "Многие молодые люди, — говорится в одном любопытном распоряжении 1850 г., — по окончании университетского курса, не поступая на службу, остаются в столице[9] и принимает участие в изданиях журналов и газет. Таким образом, молодые люди увлекаются на это скользкое поприще, нередко вопреки призванию, и, не имея еще никакой опытности и благоразумия, подвергаются влиянию благонамеренных издателей периодических сочинений". Причину такого уклонения от государственной службы министерство находит... в том, что молодежь брезгует местами в губернии. А потому оно разрешает принимать кандидатов университета прямо в высшие присутственные учреждения Петербурга. За год перед тем, в 1849 г., число своекоштных студентов в университетах было ограничено комплектом в 300 человек, и правительство, вводя эту меру, прямо замечало, что лучше бы было, если бы "дети благородного сословия искали преимущественно, как потомки древнего рыцарства, службы военной перед службой гражданской. На сей конец им открыта возможность поступать в военно-учебные заведения или же прямо в ряды войск, *для чего университетское образование не есть необходимость*".

Как видим, обстоятельства быстро и круто изменились после реформы 1828 г. Охранительные меры, принятые этой реформой в среднем и высшем образовании, теперь уже казались недостаточными, особенно после того, как разразилась февраль-

[9] Так, за три предыдущие года распоряжение насчитывает из 333 человек, окончивших Петербургский университет, только 96 поступивших на службу.

ская революция. Под впечатлением новых событий русской и европейской жизни уставы 1828-35 гг. подверглись целому ряду значительных изменений. Из гимназии прежде всего устранены были остатки "роскошных знаний" — философских и общественных, — уцелевшие в ней от программы 1804 г. Циркуляром 17 ноября 1844 г. было отменено отдельное преподавание статистики и решено соединить ее с географией, "отсекая от статистики всякие рассуждения, имеющие ближайшую связь с политическими науками". Циркуляром 9 января 1847 г. отменено и преподавание логики. Еще важнее были перемены, произведенные в гимназическом курсе после революции 1848 г. Если молодые люди не уважают законов, говорилось теперь, то это потому, что они совсем не знают действующего законодательства, а увлекаются республиканскими учреждениями классического мира. Следовательно, заключали отсюда, классицизм вреден, и древние языки должны быть заменены законоведением. Киевский ген.-губ. Бибиков уже в 1847 г. предлагал "дать образованию направление более материальное, которое не давало бы времени воображению отвлекать молодых людей от полезных занятий". Исходя из этих положений, петербургский попечитель Мусин-Пушкин предложил разделить гимназический курс, начиная с IV-го класса, на два отделения: одно латинское — для тех, кто готовится перейти в университет, и другое юридическое — для желающих из гимназии идти прямо на службу.

Но было и другое основание для этого разделения гимназического курса на два отделения. Правительство попробовало этим путем положить начало реального образования для торгово-промышленного класса и тем отвлечь его от дворянской классической гимназии. В 1836 г. было впервые разрешено учреждать при гимназиях и уездных училищах "отделения реальных училищ... с направлением их к мануфактурной промышленности и торговле". В 1839 г. с этой же целью в нескольких гимназиях и уездных училищах были открыты с четвертого класса "реальные" отделения, где преподавалась промышленно-естественная история и химия, товароведение, бухгалтерия, счетоводство, коммерческое законоведение и механика". Уваров прямо объявил Государственному Совету, что это "клонилось к тому, чтобы удержать низшие сословия государства в соразмерности с гражданским их бытом и побудить их ограничиться уездными училищами".

Дальнейшее ослабление классического преподавания произведено было уже после Уварова, отставленного в 1849 г., при его преемнике, кн. Ширинском-Шихматове. Министерство прямо было запрошено, "не полагает ли оно, так же как Его Величество, что преподавание греческого языка во *всех* гимназиях совершенно излишне". Николай находил, что достаточно оставить греческий язык для местностей с греческим населением

(Таганрога и Нежина). Он, очевидно, путал новогреческий язык с древним. Министр предложил сохранить греческий язык также и в одной из гимназий каждого университетского города, для подготовки студентов филологического факультета. Таким образом, в 1851 г. во всей коренной России осталось восемь полных классических гимназий[10]. Место греческого языка занято было, по предложению нового министра, естественными науками, которые "составляют потребность современного образования" и могут ощутительно облегчить подробное и основательное изучение естественных наук для студентов физико-математического и медицинского факультета. Не надолго, конечно, сохранилось это предпочтение власти к естественным наукам.

Подвергся изменениям в сороковых годах и университетский устав 1835 г. Правительство считало необходимым подвергнуть университеты еще более сильному контролю, чем допускал этот устав. Первый опыт такого контроля произведен был над новым Киевским университетом, который и учрежден был в 1833 г. с совершенно определенною целью: представлять собою "умственную крепость вблизи военной", чтобы тем лучше можно было "подавить дух отдельной польской национальности и слить его с общим русским духом". По уставу 1812 г. ректор назначался министром из двух кандидатов, выбранных университетом. Профессора, рядом с выбором их советом, могли назначаться министром. Чтобы избежать посылок за границу (запрещенных для всех в 1831 г., для оставляемых при университете — в 1848 г.), устав 1842 г. вводил для подготовки к профессорскому званию институт доцентов. Вообще же административной централизацией устав 1842 г. пробовал соединить некоторые черты германской академической свободы и в обоих этих отношениях являлся первообразом устава 1884 г. Первый шаг к распространению киевского устава на другие университеты сделан был положением о ректорах 11 октября 1849 г., в силу которого ректорская должность не должна была совмещаться с профессорской и ректор назначался не по выбору. Тем же положением предоставлено было министру увольнять деканов по усмотрению и назначать в деканы профессоров факультета без выборов[11]. Подчиненные таким образом министерству, ректоры и деканы получили в следующем 1850 г. инструкцию, устанавливавшую правила самого детального надзора за преподаванием. Все преподаватели должны были, сообразно этой инструкции, представлять перед началом курса точные программы преподавания с указанием сочинений, которыми они будут пользоваться. Деканы должны были наблюдать, "чтобы в содер-

---

[10] Перед реформой 1851 г. греческий язык преподавался в 45 гимназиях из 74. Устав 1828 г. предоставлял его введение в губернских гимназиях министру.

[11] Так, например, вместо выбранного Грановского назначен был Шевырев.

жании программы не укрылось ничего, несогласного с учением православной церкви или с образом правления и духом государственных учреждений", а также следить за тем, чтобы чтения соответствовали программе. О малейшем отступлении, "хотя бы безвредном", они обязаны были доводить до сведения ректора, лекции профессоров подлежали проверке в рукописи. Еще с 1848 г. литографированные записки за профессорской подписью должны были доставляться в Публичную библиотеку; печатать же речи и лекции профессоров можно было (с 1817 г.) только с разрешения попечителя. Некоторые предметы подверглись особому решению. "Таковы, например, — говорилось в специальной инструкции министерства, — государственное право, политическая экономия, наука о финансах и все вообще исторические науки, возможность злоупотребления коих не подлежит сомнению". "К сему (к злоупотреблениям науками) относятся, — поясняла инструкция, — рассуждения, имеющие целью унизить достоинство и пользу какого бы то ни было сословия в государстве (в частности, строго запрещено касаться отношений между помещиками и крестьянами)... двусмысленные или сомнительные намеки насчет несбыточных теорий об общности капиталов и недвижимых имуществ, одним словом, всякого рода попытки притязания пролетариев к общественной и частной собственности". Государственное право европейских держав, "потрясенных внутренними крамолами и бунтами в самых основаниях своих", было, "по нетвердости начал и неудовлетворительности выводов", исключено вовсе из числа предметов университетского преподавания (1849). То же случилось в 1850 г. и с философией, которая признана была — "при современном предосудительном развитии этой науки германскими учеными" — бесполезной, за исключением логики и психологии. Но чтение этих наук было запрещено светским преподавателям и поручено профессорам богословия, под условием "сроднить" их "с истинами откровения".

В результате всех этих мероприятий (включая и повышение платы) число студентов в университетах сильно упало. В течение 30-х гг. цифра студентов стояла на 2000-2500. В 40-х гг. она возросла до 3000-4000. Но это, как мы видели, сразу изменило отношение власти к студентам из поощрительного на охранительное. После 1848 г. цифра быстро упала до 3000. Понизился сильно и уровень преподавания. Вместо одушевления и таланта, принесенных на кафедру молодыми профессорами 30-х и 40-х гг., явились, по позднейшему официальному признанию, "мертвенность и застой". Иначе и быть не могло, когда, например, с кафедры всеобщей истории нельзя было говорить о падении язычества и водворении христианства; с кафедры русской истории — о вечах и ересях XV в.; когда юрист не мог не только касаться английских учреждений, но даже и ссылаться на русский Свод законов; когда даже такая тема диссертации, как

"Областные учреждения XVII в. в России", едва проходила через университетскую цензуру. В университете водворилось то же безнадежное настроение, которым характеризовался, как мы видели, "гоголевский период" русской литературы.

Годом перелома и здесь был 1855-й — начало нового царствования. С воцарением имп. Александра II политика Министерства народного просвещения переменилась; правда, действие этой перемены обнаружилось не сразу. Одна за другой отменялись стеснительные меры 40-х гг. Харьковский и Киевский округа, отданные в 1847-48 гг. в ведомство генерал-губернаторов, вернулись под управление попечителей (1856); ректоры и деканы снова сделались выборными, и данная им инструкция уничтожена (1861). Инспектор потерял власть над студентами за стенами университета (1858), где им разрешено было носить партикулярное платье; в 1861 г. форма была вовсе отменена. Отменены и все ограничения относительно приема в студенты: число их снова поднялось до 4-5 тысяч в 1856-58 гг.; до 5,5 тысяч к началу 60-х гг. Посылка профессоров за границу, приостановленная в 1848 г., возобновилась с 1856 г. Чтение публичных лекций было облегчено (1862). Кафедры философии и государственного права были восстановлены. Все эти отдельные меры правительство приняло, не дожидаясь общей реформы; но вопрос об общей реформе был одновременно с ними поднят в министерстве. При обсуждении учебной реформы, как и других реформ того времени, правительство впервые прибегло к услугам гласности в самых широких размерах. Проект нового устава был разослан университетам, частным лицам и иностранным ученым, несколько раз переделывался, согласно их замечаниям, и только в пятой редакции был утвержден Александром II 18 июня 1863 г. Приблизительно таким же путем выработан был и закон 19 ноября 1864 г. о реформе средней и низшей школы, вызвавший (во 2-й редакции) замечание 110 педагогических учреждений и 255 частных лиц и утвержденный тоже в пятой редакции. Естественно, что при таком способе обсуждения имели возможность высказаться лица всех партий и направлений, и новая учебная система до некоторой степени сообразовалась с высказанными таким образом желаниями общества.

В своих замечаниях на проект Роберт фон-Моль очень удачно характеризовал университетский устав 1863 г. как соединение немецкой системы с французской. Согласно с порядком немецких университетов в нем была организована университетская автономия. Напротив, согласно с французскими порядками учащиеся были подчинены обязательному плану преподавания. В первом отношении огромное большинство лиц, участвовавших в обсуждении проекта, обнаружило замечательное единодушие. По отношению же ко второму вопросу мнения значительно расходились.

Автономия профессорской корпорации — это была основная идея нового устава. Слишком хорошо испытавшие неудобства прежнего порядка, составители проекта задались целью "развить такие начала, которые усилили бы самодеятельность ученого университетского сословия и влияние его на студентов". *Власть попечителя* должна была теперь ограничиться общим контролем; критики проекта провели эту мысль еще последовательнее, чем его составители; их статьи полны замечаний по поводу "бывших злоупотреблений попечительской власти". *Совет профессоров* восстановлялся в правах, которые имел до устава 1835 г., и снова становился центром корпоративной жизни университета. Факультеты были его учебным органом, ректор — исполнительным, правление — хозяйственным и административным, инспектор — полицейским, особая комиссия профессоров — судебным. Конечно, удержать судебные права университета в размерах устава 1804 г., то есть над всеми служащими, по всем гражданским и частью уголовным делам, было бы смешным анахронизмом; но университет сохранил суд по студенческим проступкам в стенах университета. Инспектор перестал быть грозным орудием попечителя, и попечитель перестал считать себя ответственным за всякое мелочное нарушение дисциплины. Не только распределение текущего преподавания, но и перемены во внутренней организации факультетов, например замена одной кафедры другою, зависели от совета. Ученые степени теперь присуждались советом *окончательно*. Факультеты имели право цензуры над сочинениями своих членов, — право, поразившее иностранного критика, но хорошо понятное русским, которым памятно еще было время, когда ученые диссертации по некоторым вопросам отсылались, кроме обычной цензуры, на рассмотрение III отделения.

Гораздо более спорным оказался вопрос, как определить отношение университета к студентам. Костомаров выступил по этому поводу с крайним мнением, которое по частям разделялось и некоторыми другими критиками. Студент не школьник — такова основная аксиома Костомарова; он — взрослый человек и приходит в университет исключительно с целью удовлетворить своей любознательности. Никакой другой связи, кроме этой, между профессором и слушателем не существует: университет для обоих есть нейтральное место беседы. Аудитория профессора должна быть просто залой публичных лекций, посещение которой не налагает никаких обязательств и не дает никаких привилегий. Превращать эту временную и случайную связь в корпоративную — есть чистый анахронизм; всякие корпорации суть не более как остатки средних веков.

Не трудно было заметить, что мнение Костомарова, при всем его кажущемся радикализме, в сущности сходилось с взглядами крайних противников университетской автономии: как и они, Костомаров отрицал университет как некоторое

нравственное целое. Но вопрос был не в том, чтобы уничтожить университет, а чтобы, при существовании университета, установить нормальные отношения между учащими и учащимися. Значительная часть обсуждавших устав лиц искали разрешения этого вопроса в "Своде преподавания и учения" (Lehr- und Lernfreiheit) германских университетов. Наиболее красноречиво и продуманно развил эту точку зрения в целом профессор и бывший попечитель двух учебных округов Н.И. Пирогов. Некоторые из его единомышленников еще решительнее его высказали вытекавшие отсюда последствия. Для Пирогова развитие науки есть также главнейшая цель университета, а свобода научных занятий и сношений профессоров и студентов — единственное средство для достижения этой цели. Он тоже желал как можно меньше обязательств и привилегий с обеих сторон. Он был решительно против соединения ученой степени с чином и службой: если ученая степень и должна давать служебные права, то пусть это будет делом государства, а не университета. Профессора Чичерин и Горлов прямо предлагали экзаменовать на государственную службу вне университета, и Пирогов "только по необходимости" оставлял экзамен на должность в университете. Сами профессора, во всяком случае, не должны иметь чинов. Кафедра не должна быть для профессора казенной синекурой, и Пирогов настаивал на перебаллотировке профессора, вместо 25 лет, уже через 12,5. Больше всего он восставал против непотизма и застоя профессорской корпорации, но как средство противодействия предлагал не ограничение корпоративных прав, а воздействие общественного мнения и конкуренцию. Чтобы дать влияние мнению общества, коллег и самих учащихся ("автономический университет немыслим и без общественного мнения учащихся"), Пирогов рекомендовал возможно большую гласность в университетских делах — например, в частности, публичные конкурсы при занятии кафедр. Чтобы поддержать рвение в стареющих ученых, необходима конкуренция молодых сил: нужно открыть доступ к чтению лекций начинающим работникам, то есть создать в России институт приват-доцентства. Для того же, чтобы приват-доценты могли читать параллельные курсы с профессорами, необходимо предоставить студентам свободу выбора лекций и преподавателей. Для вознаграждения приват-доцентов надо изменить систему платы за лекции и вместо однообразного взноса в казну ввести гонорар по числу часов. Словом, Пирогов и его сторонники развивали тот самый план, который потом пытался осуществить устав 1884 г. Но в то время эти предложения большею частью не прошли. Создание государственных экзаменов найдено было невозможным по тем же причинам, которые изменили смысл этого учреждения впоследствии. А отменять переводные экзамены, при тогдашних нравах студенчества, значило, по мнению критики, "ставить им ловушку". Институт

приват-доцентуры был принят в принципе, но, как известно, совершенно не привился на практике при действии устава 1863 г. Обязательное посещение лекций по расписанию факультета сохранилось в уставе вместе с переводными экзаменами.

Остался вопрос об устройстве надзора за учащимися: обойти этот вопрос тем более было нельзя, что одним из толчков ко введению нового устава послужили петербургские беспорядки 1861 г. Большинство обсуждавших устав пыталось вывести решение этого вопроса из общего принципа университетской автономии. Беспорядки объяснялись с этой точки зрения как естественное последствие того, что совет университета устранен уставом 1835 г. от нравственного воздействия на учащихся. Необходимо было, следовательно, вернуть ему средства оказывать это воздействие, восстановив его судебную и полицейскую власть над учащимися. При этом условии некоторые сторонники приведенного мнения соглашались, "подчинив учащихся особому университетскому управлению", "дать им возможность группироваться в товарищества и кружки под наблюдением, с разрешения и за ответственностью университетского начальства". При таком устройстве "самое закрытие студенческих заведений университетским начальством, в случае замеченных злоупотреблений, будет иметь значение мелкого факта академического, а не важного события политического". На совершенно другую и более правильную почву ставил обсуждение вопроса Н.И. Пирогов. Он прежде всего откровенно усомнился в силе нравственного воздействия профессора на учащихся. "Сильной нравственной связи между коллегиею профессоров и студентами у нас почти никогда не было... Трудно верить, чтобы новый порядок вещей, и при автономии университета, скоро укрепил связь коллегии со студенчеством... Если же и при таких условиях коллегия возьмет на себя ответственность перед правительством за сохранение порядка между студентами, то это будет готовность, которой нельзя не желать успеха. Но для этого коллегия, прежде всего, должна восстановить свое нравственное влияние, а чтобы восстановить его, одной автономии мало..." И для самого факта студенческих волнений Пирогов предлагал другое объяснение. "Университет выражает современное общество, в котором он живет, более чем все другие учреждения". Это есть "лучший барометр общества", и "если он показывает такое время, которое не нравится, то за это его нельзя разбивать или прятать — лучше все-таки смотреть и, смотря, по времени, действовать... Только там, где политические стремления и страсти проникли глубоко через все слои общества, они уже не ясно отражаются на университете". "Где политическая жизнь общества качается ровно, как часовой маятник, где политические страсти из высших сфер не доходят до незрелого поколения, там в университете выступает на первый план его прямое назначение — научная деятельность". "Но чем более

(политические страсти) настигают общество врасплох, чем менее оно привыкло к переходам и переворотам, тем сильнее выразится его настроение в университете". Как же следует "действовать", по мнению Пирогова? В 1859 г. он предлагал министерству "или ослабить корпоративное начало, или правильно его организовать". В 1863 г. он находит и то и другое очень трудным. "Где только собираются люди на продолжительное время, ввиду известной цели, — да к тому же еще если их сближает возраст, воспитание и национальность, — то там корпоративное начало уже есть непременно. Оно в нашем студенчестве имело, в некоторой степени, и юридическое значение, потому что было соединено с некоторыми правами". Ввиду этого совершенно разрушить корпорацию не легко: она "все-таки будет существовать, но уже совершенно незаконная, неорганизованная и вовсе устраненная от нравственного влияния университета". С другой стороны, "для организации студенчества в правильную корпорацию нам недостанет двух главных условий: предания — организующего изнутри — и нравственной супрематии организаторов", которая бы могла "организовать извне". Не находя этих элементов в студенчестве и в коллегии того времени, Пирогов останавливался в нерешительности перед самым трудным в то время вопросом академической жизни. Он не мог договорить, что вопрос этот неразрешим при самодержавном политическом строе.

Устав 1863 г. в результате всех этих рассуждений ввел институт профессорского суда над студентами. Но на практике этот суд значения не имел, и судьи даже вовсе не выбирались советом. Несколько более успеха имели предложения открыть двери университетской аудитории для посторонних посетителей. Фактически эти посетители допускались свободно уже в годы обсуждения устава. По окончательной редакции устава, совет каждого университета получал право сам выработать правила о допущении "посторонних слушателей", утверждаемые министром. В этом случае сохранены были уклончивые выражения проекта, несмотря на то что ученый комитет предлагал прямо разъяснить в примечании, что "под посторонними лицами, упоминаемыми в этом параграфе, разумеются *лица обоего пола*". Таким образом, устранено было допущение в университет женщин, в пользу которого тогда уже единогласно высказались советы четырех университетов (С.-Петербургского, Киевского, Харьковского и Казанского).

Переходим теперь к реформе средней школы в 1864 г. Здесь копья ломались главным образом по поводу вопроса, следует ли дать среднему образованию классический или реальный характер. Мы знаем, что спор этот велся уже давно, но теперь он получил иной, более широкий смысл, чем прежде. С 1828 г. (или, точнее, с 1811 г.) на стороне классического образования стояли те, кто смотрел на гимназию, как на путь к университету. На-

против, за реальную программу были те, кто видел в ней окончательную школу, какою она тогда и была для большинства. Но с тех пор положение изменилось. С усилением потребности в образовании значительное большинство гимназистов (до трех четвертей) стало поступать в университет после окончания курса. От этого, однако, симпатия общества к реальной школе нисколько не уменьшилась, а только приобрела новые основания. В университете давалось *специальное* образование; следовательно, в гимназии должно было приобретаться *общее*, соответствующее современному состоянию знаний о природе и человеке. И сторонники классицизма, в свою очередь, защищая его положение в средней школе, начинают выдвигать теперь на первый план не его подготовительное, а его общеобразовательное значение. Итак, вопрос о реальном или классическом образовании стал решаться в теории совершенно независимо от вопроса о назначении средней школы. Точнее говоря в теории обе стороны были убеждены, что назначение средней школы — давать общее образование.

Но общее образование может быть только *одно*. Следовательно, и средняя школа, в глазах сторонников ее общеобразовательного характера, должна быть одна. Таким образом, сам собой на очередь становился вопрос: какая школа, классическая или реальная, может считаться более соответствующей идеалу общего образования? Борьба по этому вопросу в печати и в письменных отзывах, представленных министерству, велась весьма ожесточенно. В пользу классицизма выдвигалась *формальная* цель общего образования, достигаемая, по мнению его защитников, всего лучше с помощью древних языков и математики. В пользу реальной школы приводилась необходимость приблизить образование к *жизни*, дать ученику не один только *метод*, гимнастику ума, но и положительные *знания и идеалы*. Когда классицизм обещал дать и то и другое, ему отвечали, что знакомство и любовь к древнему миру всего лучше дается историей и литературой, заниматься которыми именно и препятствует "латынь". В свою очередь, защитники классицизма не оставались в долгу и обвиняли реальное направление в утилитаризме, в стремлении "приготовлять из учащихся не людей с нравственными убеждениями, а безжизненные складочные магазины, более или менее наполненные грузом разного рода знаний". На стороне классицизма стояли все иностранные педагоги, приславшие свои замечания; на стороне реализма — значительное большинство педагогических советов, учителей, представителей печати. Ученый комитет занял середину, однако, с большим наклонением к классицизму. Так как, стоя на точке зрения *общеобразовательной* школы, пришлось бы делать выбор между одной из двух школ, рекомендуемых крайними мнениями, то естественно было в основу среднего мнения положить старую идею о *подготовительной* роли школы. Как способ го-

товить к высшим училищам *различного типа*, обе программы годились, и обе школы могли быть учреждены рядом. "У нас есть много высших специальных учебных заведений, — говорилось в одной официальной статье того времени, — которые требуют от поступающих таких познаний из математических и естественных наук, которых не в состоянии дать классические гимназии. Поэтому, если гимназии должны служить приготовительными заведениями не только для университетов, но и для других высших специальных училищ, то и преподавание в них должно быть распределено соответственно этой двоякой цели". И ученый комитет предлагал ввести два типа гимназий: "филологическую" и "реальную".

Примиряя, таким образом, крайние мнения, проект в то же время примыкал с своими двоякими школами к существующему положению вещей. После гимназической реформы 1849-51 гг. в России (включая Дерптский округ) было только 12 гимназий с обоими древними языками; в остальных 65 оставался один латинский, который начинался с IV класса. Взамен греческого 29 гимназий ввели законоведение, а 36, кроме него, еще и естественные науки. Совершенно то же самое (за исключением законоведения) предлагал и ученый комитет. Так называемых "филологических гимназий" (с двумя древними языками) он предполагал ввести немного, а "перевес дать" "реальным гимназиям" с одним латинским. Однако этот план никого не удовлетворял. Сторонники классицизма справедливо находили, что древним языкам нельзя научиться как следует, даже в "филологических гимназиях" — по малому количеству времени, отведенного для них (24 и 22 часа, вместо 60-70 и более немецких гимназий). Сторонники реальной школы не менее справедливо замечали, что и так называемые "реальные гимназии" не удовлетворяют цели, так как в них нельзя научиться реальным знаниям. Латинский язык с своими 18 часами перевешивал и естествоведение с физикой и математической географией (на все — 19 часов), и математику (16 часов), не говоря уже о прочих предметах. Между тем защитники реальной программы хотели бы ввести в нее, как это было в уставе 1804 г., науки философские (логику и психологию), общественные (общий курс обществоведения) и антропологические (антропологию, физиологию, гигиену). Ученый комитет уступил реалистам и сделал латинский язык необязательным в "реальной гимназии", но никаких новых предметов в программу он все-таки не хотел вводить. Неучившиеся латинскому языку могли поступать только на физико-математический факультет. Дальнейшая фактическая уступка сделана была вследствие того, что в собственно классических гимназиях греческий язык можно было вводить только "по мере приготовления учителей этого языка". Таким образом, значительная часть этих гимназий осталась при одном латинском языке и, следовательно, очутилась почти

в том же положении, в которое проект хотел поставить реальную школу. Государственный совет закрепил эту фактическую уступку, постановив, что *половина* всех русских гимназий должна быть обращена в гимназии с одним латинским языком. Остальную половину он разделил между сторонниками крайних мнений: четверть должна была сделаться реальными и четверть вполне классическими. Из 61 гимназии коренной России это составляло 15 с двумя древними языками (против прежних 8), 30 — с одним и 16 — без древних языков. Защитники классицизма могли теперь смотреть на преобладающий тип как на временный, переходный к полной классической гимназии (так и было прямо сказано в уставе). Напротив, защитники реализма имели некоторые основания считать введение этого типа замаскированной победой реальной школы.

Очевидно, на таком компромиссе дело остановиться не могло. Обе стороны стремились к более полному торжеству. Обстоятельства времени дали возможность восторжествовать классической школе. Уже в ближайшее время министерству удалось число реальных гимназий низвести с 16 до 5. Это, впрочем, объясняется, главным образом, желанием населения доставить детям доступ в университет. Само министерство высказало, несколько лет спустя, что если бы был дан доступ из реальной гимназии на три факультета (исключая филологический), то "неминуемо возникли бы домогательства в тех губерниях, в коих были бы настоящие гимназии, чтобы эти учебные заведения были преобразованы в реальные училища". И наоборот, с закрытием доступа из реальных гимназий в университет, "почти отовсюду последовали настоятельные просьбы о том, чтобы местные гимназии были классическими".

Вскоре судьба учебной реформы 1864 г. была решена окончательно. При этом решении, так же как и в предыдущих подобных случаях, главную роль сыграли соображения не педагогические, а политические: Рескрипт 1866 г. (после выстрела Каракозова) поставил вопрос на точку зрения манифеста 1826 г. На школу возложена была ответственность за "пагубные лжеучения, распространявшиеся" в обществе. Реформа школы должна была искоренить "стремления и умствования, дерзновенно посягающие на все, для России искони священное, на религиозные верования, на основы семейной жизни, на право собственности, на покорность закону и на уважение к установленным властям".

Источник всех подобных "стремлений и умствований" усматривался теперь в реалистическом направлении современной науки и образованности. Отражением этого "духа времени" считалась, во мнении реакционера Каткова и его сотрудников, и программа реальной школы. В переводе на педагогические термины реальная программа страдала "многопредметностью" и развивала "верхоглядство", в результате которого укреплялись

в учениках "крайнее самомнение" и, на почве его, "превратные воззрения". Лекарства против всех этих зол рекомендовалось искать в "сосредоточении" преподавания на немногих предметах, по возможности далеких от жизни и этим облегчающих учительский контроль над формированием взглядов и характеров учеников.

Для проведения этих взглядов в жизнь назначен был министром народного просвещения гр. Д.А. Толстой (1866). "Я постараюсь", — говорил он в одной из своих речей (1867), — "чтобы из гимназии выходили не самонадеянные верхогляды, все знающие и ничего не знающие, но молодые люди, скромные и солидно образованные". Классицизм должен был послужить средством для достижения этой цели.

Взгляды нового министра, однако, далеко не встретили общего одобрения. Попечители, к которым гр. Толстой прежде всего обратился с предложением — указать недостатки устава 1864 г., дали ответы "мало утешительные" для министра и для его идеи — ввести классическую школу как господствующий тип. В "особом присутствии", созданном для обсуждения министерского проекта реформы, образовалось сплоченное меньшинство шести членов, протестовавшее против смешения педагогических вопросов с политическими и доказывавшее, вопреки министру, что, при желании и при благоприятных условиях, в естественных науках можно найти все гарантии против "лжеучений", а в классицизме можно заподозрить источник всех опасностей, которых хотят избегнуть при помощи школьной реформы. В итоге меньшинство не только настаивало на сохранении правил 1864 г. относительно реальных училищ, но предлагало даже превратить в этот тип *половину* гимназий и дать кончившим курс в реальных училищах (если они учились необязательному латинскому языку) право поступления на математический *и медицинский* факультеты. В общем собрании государственного совета это меньшинство превратилось в большинство 29 против 19. Александр II, однако, по политическим соображениям, согласился с меньшинством. 30 июля 1871 г. новый устав гимназий и прогимназий, вопреки настроению общественного мнения, сделался законом. Реакция восторжествовала.

Вслед за тем и по тем же политическим соображениям, поставлена была на очередь реформа высшей школы. Сотрудники Каткова (особенно проф. Любимов) и в данном случае искали источника всех зол в новом университетском уставе 1863 г. Устав дал университетам "республиканское" устройство; необходимо было уничтожить их "самовластие", подчинив их непосредственно попечителям и министру. Оригинальным образом проект уничтожения университетского "самовластия" явился под личиной академической свободы: свободы факультетов от совета, профессоров от факультета и студентов от профессоров. После ряда студенческих волнений (1869, 1874, 1878) проект

проф. Любимова был принят правительством. В других сферах он вызвал, как и проект гимназической реформы, сильное сопротивление. Еще в 1872 г. министр пригласил университеты высказаться по поводу изменений, желательных в уставе 1863 г. Советы и факультеты ответили предложением одних только частичных перемен. В 1874 г., по поводу студенческих беспорядков в Петербурге, составлена была комиссия, которая решила "ограничить автономию профессорских коллегий", "усилить правительственный контроль за направлением преподавания", для чего "отделить выпускные экзамены от преподавания"; наконец, "стеснить дальнейший приток учащихся". Так намечены были все основные черты устава 1884 г. Устав 1863 г. организовал, как мы видели, управление университетов по-немецки и учебное устройство — по-французски. Теперь, наоборот, учебное устройство должно было реорганизоваться по-немецки, на началах Lehr- und Lernfreiheit, а управление университетом — по-французски, на началах административной централизации. Попечитель получал над университетом власть, какой он не имел ни по одному из прежних уставов. Ректор, назначенный правительством, становился начальником над коллегией. Вместе с назначенными же деканами и инспектором он составлял правление, сделавшееся, таким образом, как бы отделением министерства внутри университета. Между профессором и слушателями устанавливалась связь, очень похожая на ту, которой желал Костомаров. Аудитория становилась местом их случайной встречи.

Для обсуждения этих предположений приглашены были в особую комиссию (1876) ректоры университетов и избранные министерством эксперты. "Защитники реформы оставались в комиссии в меньшинстве, так как ректоры составили против них сплоченную оппозицию", — передает историк реформы. Только 6 февраля 1880 г. проект был представлен в Государственный Совет. Но 24 апреля гр. Толстой получил отставку, и законопроект, по обычаю, вернулся в министерство. Новый министр Сабуров повел дело в смысле восстановления устава 1863 г. с некоторыми изменениями, например с корпоративной организацией студенчества по курсам и факультетам. Между тем, в январе и феврале 1881 г. произошли новые волнения в Петербургском университете, которые повели за собой, уже в царствование Александра III, отставку Сабурова. Его преемник, барон Николаи, держался на почве устава 1863 г.; но уже 16 марта 1882 г. он уступил свой пост гр. И.Д. Делянову: это знаменовало переход и нового царствования к консервативной политике. Законопроект гр. Толстого был снова внесен в Государственный совет. Бывшие либеральные министры, Головин и Николаи явились здесь решительными противниками реформы и имели на своей стороне подавляющее большинство: "почти по всем главным вопросам 16-18 членов (из 24) подавали голос

против проекта", — говорит цитированный выше автор. Голосование в общем заседании государственного совета тоже дало большинство против реформы. Но Александр III согласился с меньшинством и утвердил законопроект в той форме, в какой предложил его министр народного просвещения (13 августа 1884 г.). И здесь, таким образом, победила реакция.

Так осуществились оба устава средней и высшей школы, действовавшие до конца XIX в. Роль того и другого устава в жизни была весьма различна, но оба постигла одна судьба: вслед за обществом и власть, после долгого сопротивления, принуждена была официально признать их непригодность для жизни. Гимназический устав долго применялся неукоснительно и беспощадно; его тенденции, чем далее, тем откровеннее, подчеркивались. В своих речах 1875 г. гр. Толстой еще говорил, как полагалось по уставу, что "наше правительство не делает никакого различия в своих училищах, ни по вероисповеданиям, ни по сословиям". Отрицая сословные тенденции реформы, он утверждал, что "действительно, гимназии наши должны производить аристократов, но каких? аристократов ума, аристократов знания, аристократов труда". Однако же преемник Толстого, Делянов, в 1885 г. заявил, что гимназическое образование вредно для "низших классов". В 1887 г. было запрещено принимать детей лиц, занимающихся "предосудительными профессиями" и решено закрыть приготовительный класс для "отвлечения от гимназии таких учеников, которым, по условиям быта их родителей, совершенно не следует стремиться к среднему гимназическому образованию". 18 июня того же 1887 г. появился знаменитый циркуляр Делянова, в котором рекомендовалось директорам гимназий и прогимназий "неуклонно соблюдать правило" о непринятии детей, родители которых не представляют "достаточного ручательства в правильном домашнем надзоре". Таким образом, — говорилось в циркуляре, — эти учебные заведения "освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детей коих, за исключением разве одаренных необыкновенными способностями, вовсе не следует выводить из среды, к коей они принадлежат, и чрез то, как показывает многолетний опыт, приводит их к пренебрежению своих родителей, к недовольству своим бытом, к озлоблению против существующего и неизбежного по самой природе вещей неравенства имущественных положений". Что касается педагогической стороны дела в классической гимназии гр. Д.А. Толстого, она представляла совершенно безотрадную картину. Под предлогом, что древние языки лучше всего пригодны для гимнастики ума, центр тяжести изучения был перенесен с литературы и жизни древних на зазубривание тонкостей грамматики, совершенно не научавших языку. Так как русских преподавателей, тренированных в этом направлении, оказалось чересчур недостаточно,

министерство выписало учителей-славян, недостаточно знакомых с русским языком, и преподавание окончательно приняло сухой, безжизненный характер. Несмотря на то, что на древние языки уходило 85 часов в неделю, что составляло 41% всего учебного времени, цель преподавания не достигалась даже в узких, строго отмеренных рамках. Об этом красноречиво свидетельствует уже тот статистический факт, что в 1872-90 гг. из сотни только 4-9 учеников кончали эту гимназию в срок, то есть за 8 лет. Только 21-37 % добирались до конца с остановками, а от 63 до 79 гимназистов из каждой сотни, то есть огромное большинство, выбрасывались из школы, как непригодные для нее. Выходило, таким образом, что не школа существует для учащихся, а учащиеся для школы.

Были ли по крайней мере те, кто оказался пригодным для этой школы, действительно, такими "аристократами ума и знания", как обещал гр. Толстой? Профессора университетов, ревизовавшие гимназии, неизменно отвечали на этот вопрос отрицательно. Они констатировали непрерывный упадок уровня развития кончающих гимназистов. Но, может быть, зато из гимназии выходили "скромные" и благонравные юноши, какие нужны были правительству? Опять-таки, нет; скорее можно было бы классифицировать прошедших классическую школу и выброшенных ею за борт — на меньшинство забитых и большинство озлобленных. Естественно, что рано или поздно факт неудачи классической школы пришлось признать в полном размере. Общественное недовольство по поводу этой школы, долго сдерживаемое, очень ярко проявилось при первой возможности. Правительственный циркуляр 1899 г. констатировал, что, при излишестве механического труда, классическая гимназия гр. Толстого давала слишком мало знаний и охоты приобрести их, что воспитание личности было совершенно невозможно в ней, вследствие канцелярского формализма, характеризовавшего отношения школы к семье и учителей к ученикам. Очевидно, политическая роль, более или менее открыто навязанная школе, роковым образом парализовала производительность ее работы. Из боязни передовых идей и сильных характеров, школа систематически занималась искоренением всяких идей и обезличением индивидуальности.

Совершенно иного рода была судьба университетского устава 1884 г. Применить его на практике вовсе не удалось: на первых же порах самые основные черты устава оказались не приложимыми, и фактически восстановлен был порядок, действовавший при старом уставе. Таким образом, остались на бумаге и свобода преподавания и слушания, и независимый от университета государственный экзамен, и отмена переходных экзаменов, более или менее восстановленных под новыми формами. Действительная и весьма существенная, конечно, перемена состояла в подчинении профессорского преподавания и службы

университетскому начальству и министерству, и в усилении инспекторского надзора за студентами. Для облегчения внеуниверситетского надзора была в 1885 г. вновь введена форменная одежда. Последствия всех этих мер сказались в той "разобщенности" студентов "с профессорами и с учебным начальством", на которую комиссия ген Ванновского указала в 1889 г. как на "главнейшую" из "общих причин, содействовавших возникновению и распространению беспорядков" среди учащейся молодежи. После неудачной попытки министра Боголепова установить "общение между студентами и профессорами", "на почве учебных потребностей", рескриптом 25 марта 1900 г. признана была, наконец, необходимость "коренного пересмотра и исправления нашего учебного строя". В основу этого пересмотра легли положения, давно указывавшиеся печатью и общественым мнением: восстановление университетской автономии и создание нормальных условий для корпоративной жизни учащихся. В смысле благоприятном обоим этим положениям высказывались и все русские университеты, когда министерство обратилось к ним с прямым запросом по этому поводу. Однако осуществить оба положения сколько-нибудь последовательно и полно оказалось невозможным, оставаясь в рамках одного только университетского вопроса. На эту трудность указал уже петербургский университет в своем отзыве, заявив совершенно основательно, что студенческие волнения — главный толчок всех русских университетских реформ — "зависят не только от причин внутреннего характера, коренящихся в строе университетской жизни, но также еще и от различных внешних обстоятельств, которые не могут быть устранены никакими изменениями в уставе". Намек на политический строй был достаточно понятен.

Какое влияние оказали все описанные нами перемены уставов на общий ход развития русского просвещения до конца XIX в.? Следующие цифры могут нам до некоторой степени ответить на этот вопрос.

Годы	*Число учащихся в университетах*	*Число учащихся в гимназиях*		*Число учащихся в гор. и уездных училищах, женск. прогимназиях и мариин. училищах*	
		муж.	жен.	муж.	жен.
1809	450	5569	—	?	—
1825[12]	1691	7682	—	?	—
1836	2016	15476	—	?	—
1848	4566	18911	—	?	—
1854	3551	17809	—	?	—

[12] Число студентов в университетах показано за 1808 и 1824 гг. без Виленского и Гельсингфорского университетов, с которыми вместе проведенные цифры повысились бы до 1447 и 2956.

1864	4323	28202	4335	25658	4630
1875	5679	51097	27470	31827	?
1885	12939	93109	35205	?	—
1894	13944	87411	45544	69848	17761
1897-1900	16520	82371	44795		23199

Эти цифры не дают общих итогов развития образования в зажиточных классах, так как сюда не введены специальные и иные заведения различных ведомств; но они имеют значение для характеристики роста русской общеобразовательной школы в ведомстве министерства народного просвещения. Непрерывное увеличение количества учащихся мы видим только в женских учебных заведениях, с которыми государство слишком запоздало. Только со времени "положения о женских училищах министерства народного просвещения", утвержденного в 1860 г., возникла правильно организованная правительственная средняя школа для женщин. До того времени девочек приходилось учить в частных пансионах: в 1864 г., например, учились в пансионах, стоявших на одной ступени с гимназиями, 3231 ученица и в пансионах, уравненных с уездными училищами, — 4261. В 1869 г. в пансионах 1-го разряда было три тысячи, 2-го — шесть тысяч и 3-го — девять тысяч учениц. Мужские пансионы, хотя и освобожденные при Императоре Александре II от стеснений предыдущей эпохи, уже перестали в это время тягаться с общественной школой. Затем, обращаясь к университетам, мы видим, что быстрое увеличение их слушателей останавливается в промежутках 1848-64 и 1885-94 гг. В середине обоих промежутков оно даже падает: в 1854 г. с 4,5 до 3,5 тысяч; в 1800 с 12939 до 12495. Несомненно, конечно, падение этих цифр вызвано известными нам мерами 1848-54 гг. и введением устава 1884 г.; точно так же и подъем их соответствует подготовке устава 1863 г. и фактическим изменениям в применении устава 1884 г. Ту же самую остановку роста и даже уменьшение числа учащихся встречаем в эти же промежутки и в гимназиях. Цифры, относящиеся к 1885-97 гг., станут еще характернее, если рассмотрим их отдельно по классическим гимназиям и реальным училищам:

в классических гимназиях	в 1885 г. — 72592,	в 1897 г. — 58092
в реальных училищах	в 1885 г. — 20517,	в 1897 г. — 24279

то есть в классических гимназиях число учащихся уменьшилось почти на 20 %, а в реальных училищах возросло на 18 %. Изменился вместе с тем и сословный состав, совершенно так, как того хотел циркуляр Делянова 1887 г. Вообще, в наших гимназиях сословный состав изменился в последние 60 лет следующим образом (в %):

	1833	*1864*	*1869*	*1875*	*1884*	*1892*
Дворяне	78	70	64	52,8	49,2	56,2
Городское сословие	17	20	26	33,1	35,9	31,3
Сельское	2	4	5	6,9	7,9	5,9
Духовное	2	3,5	3	1,5	2	1,9

Эта маленькая таблица чрезвычайно поучительна. В непрерывном падении первого (горизонтального) ряда цифр и столь же последовательном увеличении второго и третьего ряда мы видим неумолимый ход исторического процесса. Лишь в последней графе он отброшен назад реакционными распоряжениями власти. Но тот же процесс неуклонно продолжается в реальных училищах, в ожидании, пока жизнь войдет в свои права и в привилегированной школе. В реальных училищах было (в %):

	1880	*1884*	*1892*
Дворян	44	40,7	38
Городских сословий	37	41,8	43
Сельских	10,4	10,9	12,7
Духовного звания	2,6	1,8	0,9

Нам остается теперь познакомиться с историей начальной русской школы XIX в. Мы видели, что для этой школы XVIII век не успел сделать ничего. Устав 1804 г. стремился осуществить предложение Лагарпа, чтобы все селения были снабжены школьными учителями, и установил для этой цели сельские приходские училища. Карамзин находил даже, что "главным благодеянием сего нового устава останется заведение сельских школ". Но, как мы знаем уже, его предсказание не исполнилось. "Жители казенных селений, — говорит историк Петербургского округа, — неохотно соглашались на заведение училищ, которые должны были содержаться на их счет; помещики со своей стороны также весьма немногие заботились об этом. Одно только духовенство, *поощряемое училищным начальством*, старалось о заведении сельских училищ". Однако же и результаты этих стараний были незначительны и непрочны. Так, например, в Новгородской губернии "при содействии директора" сразу открылось в 1806 г. 100 школ: "местные священнослужители приняли в них безмездно учительские должности и уступили под училища собственные свои дома". Но через два года все школы до одной закрылись. В других губерниях Петербургского округа действие устава 1804 г. оказалось еще слабее. В Олонецкой губ. открыто было 20 сельских училищ, в Архангельской — 9, но к 1819 г. ни там, ни здесь не оставалось ни одного. Так, вероятно, шло дело и в других округах. Кое-как держались только приходские школы в городах,

при уездных училищах, для которых они были подготовительным классом. Таким образом, министр Шишков был совершенно прав, когда при обсуждении реформы 1828 г. признал начальное образование в России почти не существующим. Он считал тогда на всю Россию не более 600 школ. Действительно, и 8 лет спустя их было только 661. По времени своего происхождения эти школы, вероятно, почти исключительно городские, распределялись в 1836 г. следующим образом:

Уцелели от времени Екатерины (1775-1796)		63 школы
Открылись при имп.	Павле (1797-1801)	6 -"-
-"- -"-	Александре I (1802-1825)	349 -"-
-"- -"-	Николае (1826-1835)	243 -"-
	Всего	661 школа

Как видим, в первую четверть XIX в. открывалось средним числом по 14 приходских школ ежегодно, в следующие десять лет — по 24. И в последующие годы приходские училища возрастали в числе чрезвычайно медленно. В 1841 г. их число дошло до 1021, а в 1858 г. числилось не больше 1129 (с 53659 учащимися).

Только с начала 30-х гг. начинают наконец возникать в России правительственные сельские школы. Впервые они появляются в селениях казенных (с 1830) и удельных (1832) крестьян с очень определенным назначением: подготовлять писарей для сельского управления. Естественно, что в такие школы крестьянских детей приходилось вербовать силой. Семевский рассказывает, что крестьяне этих селений жаловались ему: "За что нас обижает начальство? У помещичьих крестьян воля дадена: учи или не учи ребят, с них не взыскивают, а вот у нас по 20, по 30 лет мают училищами-то: все давай, все давай в них ребят". И богатые крестьяне откупались взятками сельским властям, попу или учителю; посылали по наряду или по найму детей бедняков, которых меняли в процессе учения. Крестьяне предпочитали свои "старинные", вольные школки. Развитие правительственных школ шло поэтому так медленно, что с 1840 г. решено было посылать юных кандидатов в писаря на выучку в *городские* приходские училища. Собственно же сельские школы с 1842 г., по докладу министра Киселева, получили сверх прежнего новое назначение: "Распространять между государственными крестьянами религиозно-нравственное образование и первоначальные для каждого сословия более или менее нужные сведения". С этих пор число школ в ведомстве государственных имуществ стало расти, как видно из следующих цифр:

	Школ	*Учащихся*
1884	1884 (в том числе в 1843 г. заведено 1009)	89163
1846	2319	?

1851	2542	139320
1853	2795	153117

В удельных имениях число сельских школ за это время тоже значительно поднялось. В 1835 г. было в них 44 школы с 750 учащимися; к 1853 г. школ числилось 204, учащихся 7477. Но насильственный характер обучения сохранился и в тех, и в других школах. Так, в 1855 г. велено было "назначать из сирот постоянных учеников", в 1854 г. запрещено брать детей из школы до окончания курса.

Содержались те и другие школы на счет самих крестьян: государственные крестьяне обложены были для этой цели особым общественным сбором. В 1845 г., например, истрачено было на школы 259 тысяч общественных денег, в 1850 г. 324 тысячи рубл. серебром. Как видим, в среднем содержание школы обходилось в 110-120 рублей, то есть, при тогдашних ценах, это могла быть, действительно, правильно устроенная школа[13]. Таким образом, здесь, в последние годы перед крестьянской реформой, мы наконец впервые имеем дело со сколько-нибудь серьезным мероприятием в пользу сельской школы. Но мы видели, какою ценою это предприятие осуществлялось. Немудрено, что уже в спорах 60-х гг. эту самую школу Киселева довольно единодушно приводили в пример того, как *не следует* вести школьное дело.

В действительности, можно сказать, не преувеличивая, что русскую начальную школу создало не правительство, а русская общественность — в тот период времени, когда голос русского общественного мнения стал звучать громко в вопросах народного образования, то есть не раньше начала царствования Александра II. Вопросы начальной школы суть не только вопросы образования, но и прежде всего вопросы воспитания. Поэтому первая роль в создании русской начальной школы, конечно, не со стороны материальной, а со стороны духовной, должна была принадлежать русским педагогам. На их роли нам и следует прежде всего остановиться в этом отделе.

Русская новая педагогия развилась начиная с 60-х гг. на заветах Белинского. Белинский указал на развитие человечности в ребенке, как на цель воспитания, и на развитие природных свойств ребенка, при внимательном отношении к его личности, как на основное средство. Из уважения человека в ребенке выводилось затем правило — не возбуждать фантазии детей таинственными и пугающими сказками и не питать их искус-

---

13 Городские приходские училища получали зачастую от уездных городов всего несколько десятков рублей на содержание; 100 руб. было порядочным жалованьем приходского учителя; иногда ему платили гораздо меньше, до 30-40 руб., а расход на жалованье учителям составлял наибольший процент всего расхода на школу.

ственной, специально-детской литературой. Знакомство со своим близким, конкретным, русским рекомендовалось, как самая естественная пища для развития сознательного отношения к окружающему. Любовное отношение к ребенку родных и близких, отказ от телесных и иных унижающих наказаний — такова должна была быть атмосфера гуманитарного воспитания.

Эти идеи были быстро усвоены передовой русской общественностью и положены в основу педагогических работ специалистов, занявшихся вопросами народного образования. Общее реалистическое и народническое настроение 60-х гг. как нельзя более содействовало широкому применению популярных идей и приемов к практической постановке народной школы.

С конца 50-х гг. пропаганда новых педагогических идей переходит со столбцов общих журналов в специальные педагогические журналы. Из них особенным влиянием пользовался "Учитель" Паульсона (1861-70 гг.), заявивший в первой же редакционной статье, что "воспитание состоит в правильном всестороннем развитии всех сил и способностей человека", что особенное внимание журнала будет обращено на психологию в применении к воспитанию и что главной темой журнала послужит народная школа. Руссо и Песталоцци были главными авторитетами "Учителя". В начале же 60-х гг. создается Петербургское педагогическое общество, в котором работают Ушинский и Водовозов; в 1861 г. образуется комитет грамотности при Вольном Экономическом Обществе. Молодежь следует за руководителями; провинция — за столицей. Наглядное обучение, звуковой метод, метод изучения чисел, родиноведение — таковы темы журнальных статей и споров 60-х гг. На некоторое время вождем общественного мнения по этим вопросам становится Н.И. Пирогов; но он скоро разочаровывает своим двойственным положением между правительством и общественным мнением. Сенсацию производит его статья "Вопросы жизни", защищавшая в 1856 г. идею общечеловеческого воспитания, бессословного, всеобщего и обязательного, против сословно-специального и требование образования в гуманитарном духе. С разрешения Пирогова была в 1859 г. открыта первая воскресная школа — форма применения интеллигентного труда к народному образованию, которая быстро сделалась любимой и популярной. За три года (1859-62) число этих школ, по преуменьшенным официальным сведениям, дошло до 500. Интересно, что начальник III отделения кн. Долгоруков предложил в 1860 г. Александру II поставить во главе движения министерство народного просвещения, ибо "правительство не может допустить, чтобы половина народонаселения была обязана своим образованием не государству, а себе или частной благотворительности какого-либо отдельного сословия". Так казалась страшна и необычна общественная инициатива в деле народного образования. Конечно, в основе тут лежало опасение политической пропаганды. В

1861 г. воскресные школы были подчинены надзору трех ведомств — внутренних дел, народного просвещения и Синода. А в июне 1862 г. все воскресные школы "впредь до преобразования" их были закрыты. Но скоро для педагогической деятельности интеллигентного учителя открылась более широкая арена.

В начале 60-х гг. общее внимание приковывают своими взглядами на школьное дело два столь несходных писателя, как Писарев и Лев Толстой. Мы уже имели случай отметить курьезное совпадение их индивидуалистических стремлений в области морали. В области педагогии они одинаково развивают идею вполне свободного воспитания. Уважение к правам и к индивидуальности ребенка здесь достигло крайнего, почти парадоксального выражения. Только не вмешивайтесь: ребенок сам себя воспитает — таков этот парадокс начала 60-х гг. Несколько позднее на первое место в педагогике выдвинулся авторитет К.Д. Ушинского, этого "учителя учителей", автора "Проекта учительской семинарии" (1861), "Родного Слова" и трехтомного исследования "Человек, как предмет воспитания" (1867-69).

Но посмотрим, что было действительно сделано для начальной школы в этот подготовительный период перед созданием земской школы.

С самого начала царствования имп. Александра II вопрос о начальной школе был поставлен в законодательстве — одновременно с вопросом о средней и высшей. Но еще прежде, чем закон успел что-либо сделать для народного образования, оно сильно двинуто было вперед общественным одушевлением, передавшимся тотчас же и самим правящим сферам и вызвавшим соревнование ведомств. Ведомство государственных имуществ приняло усиленные меры для открытия новых школ; но результаты этих мер были, по-видимому, более показные, чем действительные. По крайней мере по отчетам, поданным в министерство государственных имуществ, к январю 1866 г. состояло (кроме инородческих школ): приходских училищ почти столько же, сколько мы видели в 1853 г.: 2754 с 137580 учащимися, и *кроме того*, 3812 начальных *школ грамотности* с 83128 учениками. Легко понять, в чем выразилось усердие местных властей: они просто записали в списки те вольные школы, которые и прежде и, как увидим, после существовали в большом количестве в селах и деревнях, но имели свои основания не показываться на глаза начальству. Дело в том, что учителя этих школ, разные мужички и отставные солдаты, не имели никакого желания экзаменоваться в уездном училище для получения права быть преподавателями. Подавать прошение об открытии такого училища — это значило обязаться отчетностью, записывать число учеников, перебираться в приличное помещение и т.д.; и при всем том можно было рисковать целые

годы не получить ответа, так как прошение по инстанциям восходило до попечителя, а раньше и до самого министра. Наконец, заставлял скрываться и пятирублевый штраф за незаконное преподавание, наложенный уставом 1828 г. на сельских педагогов, одновременно с содержателями частных пансионов. По всем этим соображениям крестьянские вольные школки всегда ускользали от точного учета. Но как много можно ,было предполагать их, видно из того. что при обсуждении устава 1864 г. один из участников рассчитывал набрать в них до 60000 учителей-грамотеев. Нет ничего мудреного, что при первой надобности ближайшему начальству удалось записать из них 3842 в число казенных училищ. То же самое, в одно время с министерством государственных имуществ происходило в Ведомстве Святейшего Синода. Это ведомство в отчете за 1868 г. показало 16287 школ и 390049 учащихся обоего пола. Правильные школы здесь не отделены от школ грамоты, вероятно, потому, что отделить их было бы не легко. Несомненно, однако, что на этот раз мы имеем дело не только с регистрацией уже существовавших ранее школ грамоты, а и со школами, в большом количестве вновь открытыми[14]. "Кто не знает, — замечает по этому поводу один из участников реформы 1864 г., — что открытие их последовало не добровольно, а вследствие распоряжений епархиального начальства, и что в одной епархии было даже объявлено, что если местные священники не заведут немедленно школ или не будут обучать детей, то начальство вышлет учителей насчет местного причта". Какие школы получались этим путем, видно из заявления другого эксперта той же реформы, В. Куломзина. "Сначала народ в эти школы с радостью посылал детей, — пишет он министерству народного просвещения, — но вскоре он разочаровался; священники и церковнослужители, вместо учения, иногда заставляли детей колоть дрова, возить воду и корм скотине, вообще прислуживать по дому; учение шло вяло, за детьми присмотра не было никакого; школы опустели за весьма немногими исключениями". Таким образом, к приведенным цифрам необходимо относиться крайне осторожно. "По всем отзывам и свидетельствам, — говорит Н.Н. Мосолов, — цифры в епархиальных отчетах значительно

---

[14] В какой степени темп открытия церковно-приходских школ был форсирован в 60-х гг., видно из следующих официальных цифр:

1839 — 2000	школ	19000	учащихся
1841 — 2700	"	25000	"
1851 — 4713	"	93000	"
1860 — 7907	"	133660	"
1865 — 21420	"	413524	"
1881 — 4404	"	104781	"

Очевидно, что цифра 1865 г. искусственна: уже 1868 г. показывает падение (см. в тексте).

преувеличены, и потому *трудно было бы делать из них какие-либо выводы*; достаточно сказать, что по некоторым губерниям число школ и учащихся, в ведении *одного* духовенства, показано в них больше, нежели по отчетам училищных советов, обнимающим начальные училища *всех* ведомств".

Что же сделало министерство народного просвещения при такой конкуренции ведомств? Обсуждение реформы начальных училищ в 1864 г. шло в том же порядке, как и обсуждение устава среднеучебных заведений. Одновременно с ученым комитетом министерства народного просвещения, обсуждавшим устав, работал еще Особый комитет из членов всех ведомств, в которых были народные училища, включая Синод, на рассмотрение которого Александр II приказал даже передать составленный этим комитетом проект. Оба комитета выработали два совершенно противоположных проекта организации начального образования. Тот и другой согласны были лишь в сохранении старой традиции, что народная школа не должна ложиться на государственный бюджет, ибо "дело народного образования есть дело самого народа и, следовательно, об учреждении и содержании народных училищ должны заботиться городские и сельские общества". Но это не помешало Особому комитету предложить — сделать учреждение народных училищ *обязательным* — для городских и сельских обществ. На каждую тысячу душ должно было быть основано одно училище, на содержание которого назначался поголовный сбор по 44 коп. с души в городах и по 27,5 коп. — в селах и деревнях. Напротив, ученый комитет предоставлял открытие училищ свободной инициативе самих обществ, обещая только, в случае нужды, помогать им в некоторых случаях уплатой жалованья учителю.

Мнения лиц, обсуждавших эти проекты, разделились. Часть их стояла за обязательность начального обучения. Ниже мы увидим, что требование обязательности вытекало из отрицательного отношения населения к новой школе в 60-х гг. Некоторым даже казались недостаточными меры понуждения, проектированные для этой цели в уставе, и они предлагали более сильные, вроде штрафов, недопущения к причастию, к общественным должностям и т.д. Другие предпочитали меры поощрения, например освобождение грамотных от телесных наказаний. Многие из сторонников обязательного обучения считали необходимым, чтобы правительство прямо приняло и устройство и содержание училищ на счет казны. В то время еще не понимали, каких огромных расходов это будет стоить; не принимали в расчет и того, что обязательности обучения должна предшествовать его *всеобщая доступность*, а для открытия необходимого количества школ не было налицо ни контингента обученных учителей, ни готовых помещений. Для противников обязательного обучения вопрос решался тем, что само общество в значительном большинстве было тогда настроено *против* вся-

кой правительственной инициативы в деле народного образования. Народ мог и должен был сделать все сам. Кто возражал на это, что масса глубоко невежественна и невозможно заставить ее учиться добровольно, тому указывали на оживление в народе интереса к образованию в последние годы. Кто опасался, что при добровольном устройстве школ дело надолго затянется, тому отвечали, что и при принудительном заведении школ можно достигнуть только таких же скороспелых, но непрочных успехов, какие получались в ведомстве государственных имуществ и духовном. На утверждения, что народ не захочет тратиться на школу, отвечали ссылками на вольных учителей, солдат и дьячков, получавших плату, а также и на то, как туго платят казенные крестьяне обязательный школьный налог. Словом, все доказательства в пользу обязательного обучения считались безусловно опровергнутыми: значительное либеральное большинство стояло за проект министерства народного просвещения, то есть за свободу общественной инициативы.

Но в этом направлении оно шло гораздо дальше ученого комитета и находило его проект непоследовательным. "Признавая везде в теории, — говорил, например, педагогический совет киевской второй гимназии, — что образование народа лежит прежде всего на его собственной ответственности, что вмешательство правительства, самое легкое, парализует частную деятельность, — проект на практике боится принять эти начала искренно и постоянно колеблется между свободой и стеснением правительственным... От этой двойственности параграфы будущего проекта носят какой-то характер нерешительных полумер". Находя, что "дело правительства в этом случае только помогать, содействовать, устранять препятствия", критики требовали, чтобы была "допущена полнейшая свобода частного обучения, без всякого участия правительства". Злоупотреблений бояться нечего: "Не легче ли будет следить тогда, когда все злоупотребления будут происходить открыто и на свободе; тогда всякое действительное злоупотребление, принявшее серьезные размеры, может преследоваться судом и обыкновенным уголовным порядком". Все эти замечания до некоторой степени были приняты во внимание при дальнейшем обсуждении проекта. Объяснительная записка к новой редакции проекта соглашалась, что невозможно и бесцельно следить за политической благонадежностью доморощенных учителей вольной народной школы и что следует отказаться от регламентации преподавания в этой школе. Принимая принцип добровольности народного образования, ученый комитет тем самым признавал значение школы грамотности и должен был облегчить ее существование. Он снял с нее обязанность отчетности и дозволил разрешать ее существование в ближайшей учебной инстанции: в уездном училищном совете. Это был первый шаг к полному официальному признанию доморощенной, до сих пор укрывавшейся от всякой

регламентации народной школы. Но относительно "нормальной народной школы" предложения критиков большею частью не были приняты.

Одинаково не согласилось ни правительство, ни критики с предложением, сделанным некоторыми лицами духовного ведомства, — о передаче всего начального образования в руки приходского духовенства. Синод настаивал на том, что "духовенству должно предоставить в начальной школе *естественное законное первенство*". Против этого предложения замечено было, что, прежде всего, сельские священники и причт сами не хотят и не могут фактически уделять своего времени школе; что если бы они хотели и могли, то их не может хватить на все школы, так как в России 305000 селений и только 36000 приходов, считая городские. Но если бы даже их и хватило, то, во-первых, они совершенно не подготовлены к педагогической деятельности. Если "желают вести народное образование на началах рациональных", то надо согласиться и на то, что в "звании преподавателя должен быть специалист своего дела". Затем, "образование в государстве, для собственных его выгод, должно находиться в ведении одного управления, а предоставив народные школы духовенству, такая цель не достигается". С другой стороны, вместе с правительственным контролем уничтожается и общественный, без которого, как показывает опыт, "учебные заведения разумно существовать и развиваться не могут". Все же Синоду была сделана уступка: школы духовного ведомства были изъяты из ведения министерства народного просвещения (указ 18 января 1862 г.).

Подобно уставам средней и низшей школы, проект "Положения о народных училищах" до представления его в Государственный Совет был рассмотрен в Особом совещании. Здесь уничтожено было то правило проекта, по которому преподавание должно было вестись на языке края, в котором находилась школа (например, в Малороссии на малороссийском). Затем министр Головин предложил здесь организовать постоянное управление народными училищами из представителей всех заинтересованных ведомств: народного просвещения, внутренних дел, духовного и, наконец, ведомств, которые содержат школы. В Государственном совете против этого предложения выступил бар. Корф, поддержанный бывшим министром Е.П. Ковалевским. Оба они присоединились к мнению нижегородского и с.-петербургского дворянских собраний, полагавших, что управление школами должно быть всецело передано нарождавшемуся тогда земству. Государственный совет избрал средний путь: он удержал предложенные министром "училищные советы" в уезде и губернии, но в состав их ввел двух представителей от земства. Это не мешало, конечно, нисколько всем ведомствам заботиться о дальнейшем развитии народного образования. Но так как только на земство забота о начальных школах была возложена

законом и так как расходоваться на содержание школ никто не был *обязан*, даже и земство, то естественно было ожидать, что все другие ведомства сложат все попечения о народной школе именно на земство. Лучше всего обставлены были раньше школы ведомства государственных имуществ, содержавшиеся из специального сбора; но казенные крестьяне только и ждали случая, чтобы отказаться и от этого сбора, и от школ, которым они предпочитали свои школы грамоты. Случай представился, когда законом 1867 г. школы государственных крестьян были переданы земству. За отказами сельских обществ большая часть этих школ осталась на руках у земства — и это в самое трудное время, когда приходилось кое-как налаживать выполнение *обязательных* расходов бюджета. У бывших же помещичьих крестьян нужно было почти все начинать с начала. Церковно-приходские школы нисколько не помогали. Из 22 епархий поступили в 1863-64 гг. донесения в высочайше утвержденное Присутствие по делам православного духовенства, что крестьяне равнодушны к грамотности. Большинство епархий настаивало, как и многие земства, на немедленном введении обязательного обучения грамоте. Местные священнослужители могли еще прежде жертвовать своим трудом и помещением, чтобы исполнить приказание своего начальства, но теперь не было уже никакой надобности трудиться даром — для земства. Естественно, что должны были исчезнуть скоро и те церковно-приходские школы, которые существовали не на одной бумаге. "Так как училище уже устроится *не на время, а навсегда*, — простодушно заявляю,т например, священнослужители одного рязанского села в 1866 г., — то можем ли мы, как люди смертные, подверженные болезням и смерти, обязать безмездно навсегда других в том, в чем наши наместники будущие не обязаны отвечать, когда нас не станет на свете... По опытам других видим, что безмездный труд часто охлаждает ревность в самых сильных деятелях, а в слабых он может подорвать всю охоту к учению".

Дальнейший ход дела зависел исключительно от того, как само земство посмотрит на дело народного образования.

Нельзя сказать, чтобы "Положение о начальных народных училищах", утвержденное 14 июля 1864 г. облегчало земству его задачу. К его роли, которая была вся в будущем, оно заранее отнеслось с недоверием. Цель начальной школы была указана узко и тенденциозно: "Утверждать в народе религиозные и нравственные понятия и распространять первоначальные полезные знания". Узка была и программа: Закон Божий, чтение русское и *церковно-славянское*, письмо, четыре арифметических действия и, где возможно, *пение*. О продолжительности обучения ничего не говорилось. Вопрос о плате за учение и о ее размерах предоставлялся на усмотрение ведомств, содержащих школы. Приниматься могли дети без различия сословий и веро-

исповеданий. Заведовали училищами уездные училищные советы в упомянутом выше составе: два члена земского собрания представляли в них меньшинство. От уездного совета зависело открытие новых училищ и закрытие признанных вредными, увольнение учителей вследствие политической неблагонадежности ("доносить" об этом был обязан приходский священник — он же и законоучитель), забота об улучшении школ и о снабжении их пособиями. Над уездным советом стоял еще губернский под председательством архиерея и при участии губернатора; правда, это учреждение оказалось нежизненным.

После замены либерального министра Головина реакционером гр. Д.А. Толстым контроль над начальной школой был еще усилен созданием в 1869 г. новой должности "инспектора народных училищ" в каждой земской губернии. Число инспекторов в 1874 г. было увеличено с 34 до 102 (по трое на губернию), в 1876 г. до 176, а к 1900 г. дошло до 350. Полицейский характер этой должности был подчеркнут в 1876 г. заявлением министра, что "ввиду обнаруженного в некоторых местностях империи стремления к преступной политической и нравственной пропаганде" в народной школе "необходимо для предотвращения... привлекать... инспекторов как лиц, имеющих более возможности уследить за посягательствами названной пропаганды". В книге Е.А. Звягинцева об "Инспекции народных училищ" (1914) было констатировано, на основании многочисленных примеров, что "втянутые в политическую борьбу инспектора забывают об учебном деле: ...то открывается поход против учебных книжек, недостаточно одобренных сверху, то преследуется малороссийский язык; там выслеживается тайная школа, а здесь подмечается на экзамене вредное направление мыслей у детей; в одном месте надзор следит за тем, говеют ли ежегодно учащие с своими учениками и т.д.".

На основании собранного этими инспекторами материала гр. Толстой приступил к пересмотру "Положений" 1864 г. в охранительном духе. В новом "Положении", утвержденном 25 мая 1874 г., председателями училищных советов сделаны были предводители дворянства; заведывание учебной частью передано дирекции и инспекции училищ, а за советами оставлена одна административная и хозяйственная часть; инспектор и еще один член министерства введены в состав совета, как и представитель министерства внутренних дел (обыкновенно, исправник) и один член духовного ведомства по назначению архиерея, то есть пять членов совета являлись представителями правительства.

Задание, которое получило земство, было, как видим, не из приятных и не из легких. Немудрено, что на первых порах в отношении земства к школе обнаружились значительные колебания. В 1868 г. более трети уездных земств (109 из 324) еще ничего не ассигновали на народное образование; 40 уездных

земств ассигновали ничтожные суммы. Воздержавшиеся от расходов на школу земства рассуждали, как михайловское: "Предоставим все это грядущему будущему с упованием, что Провидение, ведущее человечество прогрессивно к своим целям, даст способы нашему народу почувствовать потребность к образованию и тем расположить его к нему". И на самом деле, освобожденное крестьянство вначале перенесло на земскую школу то же недоверие и отрицательное отношение, какое государственные и крепостные крестьяне питали к казенной и помещичьей школе. Например, по свидетельству Владимирской управы (1868) крестьяне проявили "решительное нежелание отдавать детей в школы". В Воронежской губернии в 60-х гг. "население высказывало полный индифферентизм к грамоте, учителям и училищам". В Вологодском земском собрании гласный от крестьян заявлял, что "не надеется на успех... без употребления некоторой власти". То же самое подтверждали Московская (1867), Новгородская (1869), Нижегородская (1866), Княгининская (1866) и др. земские управы. К прежним мотивам недоверия присоединилось тут еще непонимание методов обучения, применявшихся новой педагогией, и ее взгляд на общеобразовательные, а не прикладные задачи школы. С другой стороны, и земства на первых порах вовсе не считали поддержание начальной школы своей общественной обязанностью. Их помощь школам выражалась вначале в выдаче "наград" учителям; ассигновки были незначительны и часто оставались даже неизрасходованными. В это время земства сочувствовали "упрощенным" или "дешевым" школам грамоты и церковно-приходским, игнорируя их политическую роль. Только с конца 70-х гг. установился порядок, что основное жалованье учителям (притом повышенное) платит земство, а сельские общества только приплачивают. И только с 90-х гг. земства стали принимать на свой счет все жалованье учителям. С 80-х и особенно с 90-х гг. они стали снабжать школы и учебными принадлежностями (с 1902 г. 171 земство из 207 обследованных даже приняло на себя целиком этот расход). Так наз. "хозяйственные расходы" (на помещения школ, обыкновенно, крайне неудовлетворительные) лежали до середины 90-х гг. целиком на сельских обществах; в 1902 г. из 175 обследованных уездных земств 80 не принимали в этом никакого участия, а 101 участвовало лишь в части. Таким образом, в 1880 г. на земстве лежало 2 млн.руб. расходов на начальные школы, тогда как сельские общества вносили 3 млн.руб. К концу 90-х гг. это соотношение изменилось: земство платило 7,5 млн.руб., а сельские общества 1,7. Тип земской школы был установлен трехгодичный при одном классе и преподавателе. Только с 90-х гг. земства начали ассигновывать пособия на министерские двухклассные училища и ходатайствовать о введении высшего (двухклассного) типа в своих школах.

Были, конечно, и исключения. Часть земских деятелей с самого начала ставила задачу земства так, как она развернулась впоследствии.

"Призвание земства в этом деле, — говорил, например, рязанский земец Д.Д. Дашков, на собрании 1872 г., — не волочиться за обществами, а твердою поступью вести их за собою по торной дороге; его дело — сосредоточить свои небольшие средства на немногих училищах, но поставить их так, чтобы они горели, как огни в темном поле, маня усталого путника и обещая ему приют и покой и хлеб-соль". Для этой, более широкой постановки прогрессивные земцы нашли поддержку в работе русских педагогов, отчасти нам уже известных. Созданием типа сельской трехгодичной школы при одном учителе земство обязано, главным образом, члену Александровского (бывшей Екатеринославской губернии) училищного совета Н.А. Корфу, соединявшему положение земца с горячей защитой начал русской педагогики 60-х гг. В своих книгах: "Руководство к обучению грамоты", разошедшемся в 70000 экземплярах, и книге для чтения "Наш Друг", разошедшейся ко времени смерти автора (1883) в 250000 экземплярах, Корф применял и развивал выработанные этой педагогикой методы. Воспитание посредством обучения, подготовка к практической жизни и наглядное знакомство с окружающим миром, но отнюдь не преобразование школы в ремесленное или сельскохозяйственное училище — чего уже начали добиваться реакционеры; ознакомление с естественными науками, "чтобы народ не думал, что земля на ките стоит, а гром происходит от стука колесницы"; повторительные занятия в воскресных школах (3 года по 20 воскресений в учебный сезон), чтобы избежать рецидива безграмотности, грозящего при неизбежно кратком трехлетнем курсе школы; наконец, подготовка учителей: вот взгляды, которые пропагандировал Корф, сам содействовавший открытию за пять лет (1867-72) свыше 50 школ в двух уездах Екатеринославской губернии. Надо упомянуть здесь и других педагогов-специалистов, послуживших земской школе в этот период: уже известного нам редактора "Учителя", И.Н. Паульсона, автора "Методики грамоты" и ряда книг для чтения в начальной школе, а также первого арифметического руководства по "изучению чисел" методом Грубе, выдержавшего многочисленные издания; В.И. Водовозова, составителя "Книги для первоначального чтения в народных школах", где были даны сведения по географии и истории России, природоведению, физике и т.д.: первая часть этой книги за 20 лет разошлась в 70000 экземплярах. В особенности ярким представителем педагогов-энтузиастов 60-х гг. является Н.Ф. Бунаков, специализировавшийся на роли лектора на курсах и съездах учителей и руководителя этих курсов по приглашению земств, а также в качестве организатора первого народного театра в селе Петине (Воронежской губернии), просущест-

вовавшего около 14 лет (1888-1902). Соединенными усилиями этих и других педагогов по призванию было воспитано несколько поколений учителей-идеалистов, "горевших", действительно, "как огни в темном поле" и помогших народной школе пережить долгие годы реакции, которые ее ожидали.

Что касается количества училищ, созданных в земский период начального образования, число их очень трудно определить путем прямого сравнения с цифрами, показанными на бумаге разными ведомствами в шестидесятых годах. Если мы сложим цифры, частью упоминавшиеся выше, то получим вывод, что перед переходом начальной школы в земские руки было налицо:

	Училищ	*Учащихся*		*Всего*
		м	*ж*	
Ведомства госуд. имущества (1865) 1. Сельских приходских	2754	121001	16579	137580
Ведомства госуд. имущества (1865) 2. Школ грамотности	3842	71976	11152	83128
Ведомства госуд. имущества (1865) 3. Инородческих и иноверческих	1273	38329	21289	59618
Удельного ведомства (1864)	1831	28827	8681	37508
Духовного ведомства(1868)	16287	335130	54917	390047
Итого	25987	595265	112618	707883
Городских приходских (1867)	1168	—	—	18555
Всего	27155	—	—	726438

При передаче земству, прежде всего, должно было обнаружиться уже известное нам обстоятельство, что некоторое количество этих школ существовало только на бумаге; другие закрылись в самом процессе перехода. Когда в 1880 г. земство произвело первое статистическое расследование начальных школ, то их оказалось в 60 губерниях Европейской России всего 22770, с 24389 учителями и учительницами и 1140915 учащимися. В этом числе сохранившихся от доземского периода школ было чрезвычайно мало; а именно:

От дореформенного времени уцелели	4622	(22%)
Открыто с 1861 по 1863	1984	(9,4%)
Открыто с 1864 (по учреждении земств)	14466	(68,6%)

Если мы расчленим эти цифры 1880 г. между земскими и неземскими губерниями, то роль земства при создании новой школы станет еще яснее:

	В земских губ.	*В неземских губ.*
Сохранилось от прежнего времени	14,6%	32%
Открыто в 1861-63 гг.	6,9%	12,9%
Открыто с 1864 г.	78,5%	55,1%

То есть более трех четвертей начальных школ создано уездными земствами в первые 16 лет их существования, причем тип школы был поднят. В то же время в неземских губерниях почти половина школ сохранилась в прежнем виде.

Однако, по мере укрепления и численного роста земской школы, усиливалось и ревнивое отношение к ней правительства. Упустив момент, когда оно могло сделать начальную школу такой же государственной школой, какой оно сделало в 1804 г. гимназии, а в 1828 г. уездные училища, правительство скоро поняло, что оно не может угасить дух общественной инициативы и либеральной педагогики в земской школе никаким инспекторским или ведомственным контролем; что этого можно добиться, лишь уничтожив самую школу. А так как противопоставить ей свою собственную школу оно не имело возможности, то оно решило воспользоваться для борьбы с земской школой соперничеством с ней духовенства. Но для этого надо было еще возбудить, подогреть, а главное, финансировать это соперничество. И мы видим с середины 70-х гг. ряд мер в этом направлении, предпринятых гр. Д.А. Толстым, к которому при Александре III присоединяется и глава Синода К.П. Победоносцев.

Ряд мероприятий против земской школы открывается общей директивой высочайшего рескрипта 25 декабря 1873 г. министру народного просвещения, где ставится крест над земской школой. При утвердившейся постановке дела народного просвещения, говорится тут, "народные школы, вместо служения истинному просвещению молодых поколений, могут быть обращены в орудие растления народа, к чему уже и обнаружены попытки". Мы видели уже, что эта директива повела, прежде всего, к переделке "Положения 1864 г." и к усилению мер контроля. Но это были, так сказать, паллиативы. Более решительно поступила в 1879 г. комиссия гр. Валуева, которая в качестве одной из главных мер против непрекращавшейся "крамолы" предложила "предоставить духовенству преобладающее участие в заведовании народными школами". И тогда же Д.А. Толстой в своем двойном качестве министра народного просвещения и обер-прокурора синода предложил епархиальным архиереям побудить духовенство к открытию школ, число которых тогда упало до 4000. Тотчас по воцарении Александра III Победоносцев, его воспитатель, обратил его внимание (в письме 22 марта 1881 г.) на необходимость создать среднюю школу, где бы "люди низшего класса могли получать нехитрое, но солидное образование, нужное для жизни, а не для науки", а для этого "искать главной опоры в духовенстве и церкви в народном первоначальном образовании". "Прежнее министерство, — утверждал он, — шло едва ли верным путем, умножая сеть школ и наполняя их учителями, приготовляемыми в учительских семинариях, оно не в силах было следить за этими учителями". Тогда же, в марте 1881 г., комитет министров нашел, что "влияние

духовенства должно распространяться на *все виды* элементарных училищ". В ожидании, пока удастся этого достигнуть, правительство решило поднять церковно-приходскую школу до уровня земской. Для этой цели 13 июля 1884 г. были высочайше утверждены "Правила о церковно-приходских школах", и император "начертал" на подлиннике: "Надеюсь, что приходское духовенство окажется достойным своего высокого призвания в этом важном деле".

Задача церковно-приходских школ была определена "Правилами" в более точных выражениях, чем в "Положении" 1864 г. о начальных училищах: "Утверждать в народе *православное* учение веры и нравственности *христианской* и сообщать первоначальные полезные знания". Для этого "вменялось в обязанность епархиальному начальству располагать и поощрять приходское духовенство к заведению и поддержанию при церквах училищ в виде простом и приспособленном к народному быту, для обучения детей поселян чтению, письму, молитвам и началам катехизиса" по руководствам, "указанным Святейшим Синодом". Учить должны были "местные священники или другие члены причта (в 1892 г. дьяконов принудили к этому угрозой вычета трети их содержания), а равно особо назначаемые для того, с утверждения епархиального архиерея, учителя и учительницы, под наблюдением священника". При церковно-приходских школах разрешалось открывать дополнительные классы, ежедневные уроки для взрослых, особые ремесленные отделения и воскресные школы. В 1891 г. все воскресные школы, а также и все школы грамоты, циркуляром обер-прокурора были переданы в исключительное ведение духовенства. 12 мая 1887 г. Государственный Совет поручил обер-прокурору и министру народного просвещения обсудить вопрос, "не представляется ли более удобным сосредоточить дело первоначального народного образования в одном ведомстве" (разумеется, духовном). Вопрос об этом поднимался еще не раз: в 1893 г., в 1895 г. и только в 1897 г. опасность эта миновала.

У церковно-приходской школы был и свой идеолог и педагог, на которого опирался Победоносцев. Это был землевладелец и профессор, С.А. Рачинский. Покинув в 1868 г. Московский университет, где он оказался по тому времени слишком консервативным, Рачинский провел период школьной реакции, 70-80-е гг., в своем смоленском имении Тачеве. Там он занимался лично обучением крестьянских детей, "в нераздельной связи с церковью и приходом" и труды его "послужили образованию нескольких поколений в духе истинного просвещения, отвечающего духовным требованиям народа", как признано в данном на имя Рачинского рескрипте Николая II. Рачинский считал, что "первая из практических потребностей русского народа... есть общение с Божеством"; "не к театру тянется крестьянин в поисках искусства, а к церкви, не к газете, а к Бо-

жественной книге". Лучшие учителя — студенты, окончившие духовную семинарию и готовящиеся быть священниками; худшие — крестьяне, окончившие учительскую семинарию, которая портит деревенского парня. Конечно, учение должно начинаться с церковно-славянского языка, раньше перехода к русскому чтению и письму; практиковаться дети могут, читая псалтырь по покойникам. Проза доступна ученикам — только "пушкинского периода" (в тесном смысле); послепушкинская литература "для них абсолютно неудобоварима". Не надо сообщать ученикам "энциклопедии реальных сведений" по природоведению, географии, истории, — к чему стремилась земская школа. Напротив, видное место должно занять в школе церковное пение. Возражая против расширения программы народной школы грамоты, Рачинский очень приветствует упрощения в деревенской школе грамоты[15]. Правда, учителя там часто — пьяницы, "но зато всякое опасение какой-либо неблагонадежности — политической или религиозной — тут невозможно: контроль имеется полный, ежедневный, единственно действительный, существующий в России" (то есть контроль самого крестьянства).

К концу XIX в. церковно-приходская школа действительно начинала становиться опасным конкурентом земской, отчасти благодаря тому, что при этом соперничестве ей пришлось сильно подтянуться, улучшить состав учителей и заменить (в 90-х гг.) двухлетний курс таким же трехгодичным — главным же образом благодаря тому, что правительство не жалело ассигнований на свое любимое детище. Вот красноречивые цифры, свидетельствующие об этом:

1885	отпущено	55000 руб.
1887	"	175000 руб.
1894	"	525500 руб.
1895	"	875500 руб.
1896	"	3454645 руб.

Дальше мы можем сравнить ассигнования на церковно-приходскую школу с ассигнованиями на начальные школы министерства народного просвещения:

	М.Н.П.	*Ц.-Прих.*
1896	1569661	3454645
1897	1812895	4954645
1898	2012895	4954645
1899	2512895	4954645
1900	3012895	6813446
1901	4012895	6826046
1902	5012895	10338916

15 В этом он сходился с Л.Н.Толстым, на которого вообще любил ссылаться.

Увеличивается соответственно и число церковно-приходских школ. В 1887 г. их было 5517, в 1889 г. — 17715, а в 1905 г. — 42696 почти с 2 миллионами учащихся (а земских, министерских и других ведомств министерства народного просвещения — 48288, то есть церковно-приходские школы составляли 46,5 % всего числа начальных школ).

С конца 90-х гг. меняется и прежнее полуравнодушное, полу-сочувственное отношение земств к церковно-приходским школам на отношение боевое. До этого времени земства все еще продолжали поддерживать церковно-приходскую школу и "школу грамоты" как "дешевую". Поддержку эту в 1880 г. давали 28 земств, в 1890-96 гг., в 1902 г. — 158 земств. С этих пор их число начинает быстро уменьшаться.

С переходом к предреволюционным годам (конец 1890-х.-1917) вся картина народного образования постепенно изменяется, доходя до полной противоположности. Бюрократический строй школы, с ее религиозно-монархическими тенденциями, уступает место строю, основанному на все более широком участии общественной инициативы, с тенденциями светскими и демократическими. Характерно, что революционные настроения, прежде всего, проявляются именно в среде, связанной со школой. В высшей школе учащаются студенческие волнения и все чаще переходят из чисто академических в смешанные с политикой. Профессора, вынуждаемые и поощряемые обострившимися отношениями к власти, начинают все более настойчиво добиваться самоуправления в высшей школе. Со стороны низшей школы в то же время постоянно усиливается напор прогрессивных элементов, земского и городского самоуправления и все лучше организующегося учительства. Правительство оказывается бессильным — и идейно, и морально — противиться этому двойному давлению и постепенно сдает все свои позиции, теряя, в конце концов, всякую возможность влиять на дальнейший ход событий, принимающих в области школы, как и в других областях государственной жизни, открыто революционный характер. С постепенными этапами этого ускоряющегося процесса нам и остается познакомиться.

В области высшей школы борьба идет против академических условий, созданных уставом 1884 г. Правительство отвечает на студенческие волнения, прежде всего, усилением репрессий. Высшая точка, до которой оно доходит в этом направлении, — это правило 29 июля 1899 г. об отдаче в солдаты участников беспорядков. 183 студента киевского университета были, действительно, отданы в солдаты в силу этих правил. Ответом было убийство министра народного просвещения Боголепова студентом (социал-революционером) Карповичем (14 февраля 1901 г.). Тогда советам высших учебных заведений было предложено высказаться о желательных изменениях в уставах. Советы потребовали восстановления автономии и возвращения

прав студенческим организациям. Пришлось, однако, дожидаться революции 1905 г., чтобы этим пожеланиям был дан ход, восстановлен выборный характер ректора, деканов и профессоров, ослаблен надзор за студентами и признано за ними право создавать образовательные кружки. Известен опыт этого рода, предпринятый ректором кн. С.Н. Трубецким в широком размере в Московском университете, но сорванный дальнейшим ходом революционного движения, неудержимо прорвавшегося в стены университета, где оно находило некоторый суррогат свободы сходок и собраний. После подавления революции 1905 г. устав 1884 г. был восстановлен в полной силе и управление реакционного министра Кассо (с осени 1910 г.) вернулось к порядку назначения профессоров, разгромив либеральную профессуру и заполнив кафедры наскоро сфабрикованными за границей ставленниками министра, к усилению значения государственных экзаменов и т.п. Настроения военного времени, уже перед самой февральской революцией, в 1915-16 гг., вызвали новый поворот к либерализму. Министр (с января 1915 г.) гр. П.Н. Игнатьев начал подготовлять возвращение к уставу 1863 г., допустил женщин на некоторые факультеты; к открытым уже после 1905 г. Саратовскому и Пермскому университетам присоединил вновь открытый Донской (в Ростове-на-Дону) и наметил открытие ряда новых факультетов, особенно медицинских; разработал реформу профессионально-технических высших школ, в добавление к тем, которые были открыты в 1896-1901 гг. Докончить все это старому режиму уже не пришлось.

В области средней школы неудовлетворительность гимназии гр. Д.А. Толстого была настолько ясна, что уже в 1890 г. правительству пришлось пойти на кой-какие уступки, выразившиеся, правда, в небольшом уменьшении числа часов для древних языков и таком же увеличении часов русского языка. Дальше пошел Боголепов, признавший (1899 г.) отчужденность школы Толстого от семьи, ее крайний формализм, обремененность учащихся, излишества классицизма и слабость преподавания русских предметов и т.д. Но основных типов средней школы он менять не хотел. Созданная им комиссия предложила (1900) несколько сблизить гимназию с реальным училищем по программам. Решительнее поступила комиссия 1901 г., назначенная министром Ванновским: она предложила ввести единый тип школы, приравняв первые три класса — полному курсу низшей школы и разделив учащихся с 4-го класса на две группы: одну с дополнительными курсами естествознания и графических искусств, другую — с теми же часами латинского языка. Не дожидаясь полной реформы, с осени 1901 г. прекращено было преподавание латыни в 1-м и 2-м классе и греческого в 3-м и 4-м. Взамен этого усилено преподавание русского языка, географии, введена в 1-й класс русская история, отменены перевод-

ные экзамены. В 1902 г. курс первых двух классов гимназии и реальных училищ был сделан общим; сохранено лишь несколько классических гимназий. Так покончено было с классической гимназией гр. Толстого. Однако же после подавления революции 1905 г. тотчас же последовали, при министрах Кауфмане и Шварце (1907-10) ряд попыток отдельными мерами восстановить дисциплину, форменную одежду, переводные испытания, повысить требования по латинскому языку, возобновить по нему письменные испытания и т.д. Родительские комитеты при гимназиях, разрешенные либеральным министром И.И. Толстым (1905-06), были сведены на нет требованием участия в них двух третей всех живущих в городе родителей. Но министерство не могло удержать быстрого роста средней школы после 1906 г., когда дана была возможность открытия частных гимназий с правами казенных. С 236 гимназий к 1 января 1906 г. число их к 1 января 1912 г. поднялось до 417, причем число правительственных гимназий увеличилось только на 45,5%, тогда как число частных поднялось в 4,5 раза (452,6%). Число учащихся в гимназиях и прогимназиях увеличилось с 1892 г. до 1 января 1906 г. на 40%, дойдя до 101790 (с ежегодным приростом около 3000); за промежуток 1906-11 гг. оно поднялось еще на 22,6%, до 124455 (с ежегодным приростом около 4700). За это время число детей дворян и чиновников продолжало падать до 34,7%, а детей мещан, цеховых, крестьян поднялось до 45%. Во время войны министр Игнатьев разработал новый тип средней школы, в которой семилетний курс делился на две ступени: первая, в 3 года, должна была давать законченное начальное образование, одинаковое с "высшими начальными училищами (см. ниже). Вторая ступень, в 4 года, проходилась в двух направлениях: гуманитарном (разветвлявшемся в свою очередь на неогуманитарное и старогуманитарное, то есть классическое) и реальном. Допускалось совместное обучение и снова привлекалась к делу воспитания "семья, при посредстве родительских комитетов и попечительских советов". Третья Государственная Дума относилась к проектам гр. Игнатьева с сочувствием, тем более что большинство ее было довольно предположением — уменьшить многопредметность школы и "придать среднему образованию национальный характер" — посредством усиления преподавания русского языка, литературы, географии и истории.

Главнейшие перемены предреволюционного периода произошли в области народного образования, как начального, так и внешкольного. Именно здесь сильнее всего чувствуется напор новых веяний, перед которыми старая власть оказывается бессильной. Борьба сознательных и организованных общественных сил здесь развертывается на фоне стихийного роста народного сознания и поэтому теми или другими путями, мирным или насильственным, законным или как тогда выражались "явоч-

ным", ведет к победе. Помимо ускоренного роста начальной школы, наглядными признаками этого стихийного процесса служат распространение в народной массе книги и рост ее грамотности. К рассмотрению этих явлений мы теперь и переходим.

Мы видели отрицательное отношение народной массы к начальной школе в 60-х и 70-х гг. Чрезвычайно важно отметить, что в течение 80-х гг. это отношение меняется — и притом, меняется в прямой связи с разрушением старого "сплошного" (см. выше, Глеб Успенский), крестьянского быта и развивающихся на почве отхожих промыслов и общения с городом товарных и денежных отношений в деревне. Дополнительным толчком к этим мотивам является, впрочем, то обстоятельство, что "Положение" 1874 г. дало грамотным и учащимся льготы по воинской повинности. В тех местностях России, откуда крестьяне больше ходят на заработки, а также среди более состоятельных крестьян перемена взгляда на пользу грамотности замечается уже в 60-х и 70-х гг. Но к 1880-м гг. она становится довольно частым явлением и регулярно отмечается земскими статистиками. Н.М. Бычков делает из их исследования по 110 уездам такой общий вывод: "промышленность и торговля больше предъявляют требований на знание грамоты, чем земледелие" (статистические сборники по Воронежской, Курской, Самарской, Саратовской и Тверской губ.

И в самом деле, вот, для примера, что говорят сами крестьяне. Из Кромского уезда они свидетельствуют: "учить стало нужно: в солдаты возьмут, облегченье дается; записать что по извозу; деньги получить... Письменный всюду гож: приведи к купцу, в лавочку, в шинок, его принимают; и дома — расписка какая, и всякое дело — ему видней... По торговле грамота много значит... А как неграмотный, то не до всего может дойти, и цена ему — другая". То же слышим и в Острогожском уезде. А вот что говорят в Московской губернии. "Мальчика обязательно надо учить: на чужую сторону пойдет — может хорошее место получить. Кроме того, и в солдатах, говорят, легче служить. Живет на стороне, с хозяином, — нужно дела делать. В старосты, может, когда придется идти — опять нужна грамота... Примерно, неграмотный поедет в Москву; ничего он не запишет и все забудет, а грамотный все смекает". Этими житейскими соображениями объясняется и то, что грамотность среди девочек продолжает стоять очень низко: до них не дошло еще осложнение быта. "Зачем девочек учить? Ведь им не в лавке сидеть?" И "не за барина же выходить замуж", — говорят крестьяне.

Чрезвычайно интересно сравнить с этими наблюдениями, которые относятся к 80-м гг., подобные же наблюдения конца XIX в., собранные в Воронежской губернии. Известный статистик Ф.А. Щербина подводит такой итог совершившимся в промежутке переменам: "В 1884 г. из 100 опрошенных крестьян по

крайней мере человек 60 или 70 заявляли, что им школа не нужна, что это — дело барское и для крестьянина неподходящее... Содержать школу казалось и дорого и тяжело населению... С тех пор прошло 15 лет, и картина сильно и ярко изменилась. И сельская школа, и народный учитель, и грамотность, и книга — все это стало насущной необходимостью крестьянской среды... Книга проникла в деревню и в убогие лачуги земледельца... Знания заметно увеличились, и сельская школа... играла в этом отношении если не единственную, то во всяком отношении преобладающую роль... Внешний вид, несомненное сознание собственного человеческого достоинства заметно отличают грамотного человека между неграмотными сверстниками... Появился и свой круг единоличных, но, несомненно, собственных представителей нарождающейся деревенской интеллигенции". Этот отзыв мог бы показаться преувеличенным; но его в значительной степени подтверждают собранные на месте факты. Из 976 отзывов крестьян 88,4% высказались в пользу грамотности; в том числе было 66% неграмотных. Безразлично отнеслись 8,9%, а против высказались 2,7%, но и это были на 90% неграмотные старики, остаток старого поколения. Правда, относительно девочек старый взгляд сохранился крепче; по-прежнему крестьяне говорили, что "девочек обучать не заведено; их дело ткать, да прясть, матерям помогать". Но и тут положение улучшилось. Из 551 ответа на этот вопрос 376 (68,3%) оказалось положительных, 91 (16,5%) безразличных и только 84 (15,2%) отрицательных. Изменились несколько и соображения в пользу грамотности. Из 135 отзывов этого рода утилитарные соображения продолжали преобладать почти наполовину (48,9%). Но 31% высказались за грамотность как за средство самосовершенствования. Сюда можно прибавить и 18,3%, приводивших, по старине, религиозно-нравственные соображения, и, пожалуй, также 6,7%, говоривших о пользе не личной и непосредственной, а общей.

Если земская школа сыграла видную роль в этой смене настроений, то надо признать, что и новые настроения крестьянства, в свою очередь, дали дальнейший толчок развитию школы — в смысле расширения в ней общеобразовательных элементов. Мы увидим далее, как на этой же почве и средства внешкольного образования становились распространеннее и общедоступнее. Посмотрим прежде всего, как усилившийся запрос народа на образование повлиял на земство.

Историк земства Б. Веселовский говорит по этому поводу: "Земства 90-х гг. (реформированные гр. Д. Толстым, с преобладанием дворянства) были проникнуты гораздо менее сословными тенденциями, чем "всесословные" земства 60-х гг. (только что вышедшая из крепостной эпохи). Изменились времена, повыдохлись традиции крепостного права; земские деятели должны были больше прислушиваться к общественному мнению..."

Мы уже видели, как эта перемена сказалась в расширении рамок земской работы для начальной школы. Характерным симптомом той же перемены было и то, что с 1900-х гг. губернские земства, предоставлявшие до тех пор почти всю школьную работу уездным, начинают признавать общественное и государственное значение школы, ставят на очередь вопросы о всеобщности образования, разрабатывают типы школьной сети, необходимой, чтобы сделать школу доступной, задумываются над вопросом о школьном возрасте, принимают участие в школьном строительстве, идут на расширение программы и повышение типа школы. При самом приступе к вопросу о всеобщем обучении выясняется, как много еще надо сделать для достижения этой цели. В 1898 г. училось в школах менее трети детей школьного возраста, и из них только пятая часть — девочек. И уездные земства идут на новые расходы, вносят новое оживление в работу и ускоряют темп школьных достижений, чтобы приблизиться к заветной цели. Школьный бюджет земства растет следующим образом (в тысячах):

1871	1600	1895	9128,6
1876	4091	1901	16924
1880	5200	1903	19756
1890	7225,8	1906	25314

Расход одних уездных земств продолжает дальше расти: в 1906 г. — 21,8 млн.; в 1909 г. — 36,7 млн.; в 1910 г. — 47,4 млн. Соответственно растет и пропорция расходов на школу в земской смете. В 1877 г. она составляет около 15% сметы, в 1880 г. — около 15-20%, в 1901 г. до 20-25% сметы. На одну душу населения это составляет: в 1871 г. — 3,5 коп., в 1880 г. — 9,9 коп.; в 1890 г. — 14,4; в 1900 г. — 22, в 1903 г. — 29; в 1906 г. — 32,9 коп. Количество земских школ также возрастает, но в меньшей пропорции, в виду повышения расходов на каждую отдельную школу, вместе с ее усовершенствованием. В 1894 г. земских школ насчитывается 13146; в 1898 г. — 16411; к 1 января 1903 г. около 18700. Оживление школьной деятельности сказывается также и в том, что с конца 1890-х гг. земства переходят к состоянию войны с училищными советами и с приходскими школами. Наконец, они принимают все более энергичное участие в организации внешкольного образования, для которого до середины 90-х гг. почти ничего не было сделано отчасти уже потому, что на эту область правительство с самого начала наложило свою руку.

Так, народные чтения начались уже в 1872 г., — как средство отвлечь рабочих от революционной пропаганды. Они были разрешены только в Петербурге, только по брошюрам, специально для этого отобранным, и только лицам, вполне благонадежным политически. Но и тут труден был лишь первый шаг.

В 1876 г. разрешено устраивать чтения в *губернских* городах — причем для того, чтобы прочитать перед провинциальными слушателями одобренную книгу без всяких пропусков и прибавлений требовалось каждый раз разрешение трех министров: внутренних дел, народного просвещения и Синода! В 80-х гг. разрешено книжки *религиозного* содержания читать и в уездных городах и селах — священникам. С начала 90-х гг. начались ходатайства земств о разрешении народных чтений как единственного способа ознакомить крестьянство хотя бы с элементарными знаниями. Правительство, после ряда отказов, наконец уступило, но с условиями, продиктованными в специальных "правилах" 15 мая 1890 г. Чтения должны были производиться вне школы, с разрешения губернатора и по особому каталогу, в который включено было лишь 3,5% книг, разрешенных цензурой, и только 17% периодических изданий. Этот же каталог определял состав книг, допущенных для бесплатных народных библиотек. Из него были исключены произведения таких писателей, как Достоевский, Короленко, Лесков, Некрасов, Салтыков, Успенский, Чехов, не говоря уже о Белинском и Добролюбове. Земства все же приступили по побуждению Санкт-Петербургского комитета грамотности, к устройству *при школах*, "библиотек-читален". В 1898 г. таких библиотек-читален было открыто в 34 губерниях 3002: в 1904 г. их число дошло до 4500. Новые "Правила" 18 января 1904 г. допустили для библиотек при школах несколько расширенный состав книг (некоторые были допущены для средних учебных заведений). И нужно было дожить до революционного 1905 г., чтобы допущено было в народные библиотеки все то, что не было вообще запрещено цензурой.

После 1893 г. губернские и уездные земства приступили к открытию книжных складов и к организации собственной книжной торговли — с целью довести книгу до народа. Таких складов к 1904 г. было 132 с 50 отделениями, всего 191.

Следует еще упомянуть о мерах для подготовки учителей. Тут правительство было особенно заинтересовано — создать кадр учителей, пригодных для проведения его взглядов. В 1875 г. была утверждена инструкция для правительственных учительских семинарий, полагавшая в основу подготовки православие и народность; учителя должны были проникнуться духом преданности "церкви, царю и отечеству". Вся жизнь воспитанников строилась на начале строгой церковности: посты, говение, чтение религиозно-назидательных книг, духовные песнопения придавали учительским семинариям монастырский характер. Земствам после этого стали отказывать в учреждении земских учительских семинарий и всячески стесняли те, которые успели открыться. Земство искало замены в устройстве периодических курсов для учителей. Самый процесс общения учителей имел большое воспитательное значение. Но темы кур-

сов в 70-х гг. могли быть *лишь* специально *педагогические*. В 80-х гг., ввиду препятствий со стороны правительства, курсов почти не удавалось устраивать. С начала 90-х гг. занятия на курсах получили *технический* характер (по сельскому хозяйству и т.д.). В середине 90-х гг. курсы стали снова *педагогическими*, а с конца 90-х гг. приняли *общеобразовательный* характер.

Таково было положение начального образования перед революцией 1905 г. Несмотря на ее неудачу, появление народного представительства дало народному образованию новый и сильный толчок. На очередь был окончательно поставлен вопрос о введении всеобщего обучения, отчасти, как мы видели, уже подготовленный земством. С тех пор как всеобщность и обязательность обучения была, как мы знаем, отвергнута в совещаниях о реформе 1864 г., вопрос этот пережил несколько фазисов. Припомним, прежде всего, что обязательность обучения в 1862 г. проектировал особый комитет сановников, выработавших свой "план" по Высочайшему повелению. Мы имели также случай познакомиться со взглядом на этот вопрос гр. Д.А. Толстого. Победившее в ученом комитете министерства народного просвещения мнение о добровольности образования было, напротив, мнением большинства тогдашнего интеллигентного общества. Однако же и тогда не вся интеллигенция одинаково надеялась на народную инициативу. В 1874 г. два губернских и девять уездных земских собраний обратились к правительству с ходатайством о введении обязательного начального обучения. Гр. Толстой дал ход ходатайствам. Составленная в министерстве записка резко опровергала мнение тех, кто, подобно А.И. Кошелеву, доказывал, что государство не имеет права "навязывать людям выгоды под страхом наказания". Начальное образование детей, правильно возражало министерство, есть общественная обязанность родителей и неотъемлемое право малолетних. "Утверждать, что отец, не дающий своим детям никакого образования, не совершает деяния противозаконного, значило бы отвергать непреложные основы права естественного, защищать, под предлогом ненарушимости родительских прав, свободу невежества и содействовать общественному злу поддержанием и размножением невежества, порождающего, главным образом, различные общественные недуги. С этой точки зрения правительство, принуждая родителей-невежд исполнять их обязанности, ограждает только право малолетних от злоупотребления родительской власти и предупреждает вредные последствия для общественного блага..." Однако на первых порах и само министерство считало возможным ограничиться частичными разрешениями обязательного обучения — "не иначе, как по ходатайству земских собраний". С другой стороны, оно признало, что частичное разрешение вопроса есть "не более, как полумера, от которой нельзя ожидать сколько-нибудь значительных послед-

ствий". "Система настоящего обязательного обучения тогда только может принести свои плоды, — утверждал комитет, — когда она будет введена, как общий для всего государства закон". Только что перед тем (1871-72) министерство отвечало земствам на подобные же ходатайства, что "как бы ни было желательно введение обязательного обучения, оно в настоящее время невозможно". В 1875-76 гг. оно уже отвечает, что поставлен "общий вопрос о введении обязательного обучения в империи".

В самом деле, министр обратился к директорам и инспекторам народных училищ, наблюдавшим за земскими школами с 1871 г., за материалами для решения вопроса. Однако материалы, доставленные ему, были неутешительны. По расчетам училищных властей, выходило, что всеобщее обязательное обучение будет стоить страшных денег. К тому же выводу пришел и г. Дубровский, разработавший в центральном статистическом комитете данные о сельских училищах, собранные в 1880 г. Он рассчитывал, что для обучения *всей* молодежи, находившейся в школьном возрасте, надо бы было иметь в России не 22000 школ, а 269000, то есть в 12 с лишком раз больше; и вместо шести миллионов, тратившихся на народные училища в 1879 г., пришлось бы издерживать 82 миллиона. Другими словами, каждый житель государства должен бы был платить на школу вместо 9 коп. 1 р. 25 к. налога. Естественно, перед перспективой такого огромного увеличения расхода правительство отступило, и вопрос об обязательном обучении снова сошел со сцены. Вместо него выдвинулся опять вопрос о развитии вольной народной школы — школы грамотности — как единственного *дешевого* средства приблизиться к всеобщему обучению. 80-е гг. были порой преувеличенной идеализации школы грамотности, и притом одновременно в двух совершенно различных направлениях. Оба эти направления одинаково утверждали, что школа грамотности есть старинная, исконная школа русского народа, существовавшая с незапамятных времен. Но выводы из этого утверждения делались неодинаковые. Тогда как одни видели в старинной русской школе грамотности продукт самобытного народного творчества — другие считали ее созданием духовенства, воспитывавшего народ в христианских идеалах. Одни поэтому смотрели на эту школу как на точку приложения сил интеллигента-народолюбца, другие — как на способ правительственного воздействия на народную массу. Различны были и результаты этих двух взглядов. Взгляд народников привел к целому ряду единичных интеллигентных усилий. А правительственный взгляд вызвал создание церковно-приходской школы, о котором мы уже говорили.

Параллельно с правительством и общество 80-х гг. начало думать о "дешевой" и общедоступной народной школе. С.-Петербургский комитет грамотности возбуждал в 1884 г. вопрос

об изыскании дешевых способов распространения грамотности. И здесь хотели воспользоваться тою же вольной крестьянской школой. На нее настойчиво обращали внимание общества публицисты и педагоги. Было признано, что такие школы существуют в большом количестве и что преподают в них, в качестве учителей, люди, вышедшие из народа. Комитет циркулярно рекомендовал всем земствам школу грамотности как "такой способ распространения грамотности в России, который, кроме дешевизны, имеет за собою... то достоинство, что он возник из самой жизни и на опыте показал свою плодотворность". Но еще за два года до комитета обратил внимание на школу грамотности и министр народного просвещения бар. Николаи. 14 февраля 1882 г. он разъяснил, по ходатайству одного уездного земства, что правила о домашнем обучении в частных домах не относятся к домашнему обучению грамоты в селах и что учителю грамоты не нужно иметь преподавательских прав. С этого циркуляра бар. Николаи начинается официальное существование школа грамотности. Земства стали ею интересоваться, статистики собирали о ней сведения. Однако при возобладавшем тогда течении в пользу церковно-приходской школы, — и школа грамотности была эксплуатирована в интересах того направления. Правительство "правилами 4 мая 1891 г." подчинило "все школы грамоты, как существующие уже, так и вновь открываемые, исключительно ведению и наблюдению духовного начальства". В то же самое время, как мы знаем, подчинены были духовному ведомству и вновь открывавшиеся воскресные школы.

С этого времени интеллигентное русское общество заметно охладевает к школе грамотности. Исследователи народного образования доказывают, что и при помощи школы нормального типа достижение всеобщего обучения вовсе не так невозможно, как это представлялось после вычислений Дубровского. В том же году (1884), когда была издана работа последнего, одним из московских статистиков (И.П. Боголеповым) сделан был гораздо более оптимистический расчет, скоро принятый и другими русскими статистиками, а затем популяризованный и среди более широкой публики благодаря статьям В.П. Вахтерова. В расчетах г. Дубровского и его последователей все эти исследователи находили именно одну основную ошибку. Г. Дубровский исходил из предположения, что в России, как за границей, надо поместить в начальную школу сразу всех детей от 7 до 14 лет. Это было бы верно, если бы действительно в русской школе сельская молодежь согласилась сидеть семь лет подряд. Но курс начальной сельской школы длился три года, и, очевидно, в случае обязательного обучения надо было иметь в школе место только для детей трех возрастов, например от 8 до 11. Еще меньше места понадобилось бы, если бы в деревнях сделать школу обязательной только для мальчиков. Исходя из этих соображений, В.П. Вахтеров в своем реферате, читанном в 1894 г.

в московском комитете грамотности, приходил к выводу, что для всеобщего обучения нужно было бы прибавить к существующим школам всего только 25 тысяч школ в селах и 6 тысяч в городах и что обойдется это всего в 11 миллионов. Такой расчет не без оснований казался многим уже слишком урезанным и скромным. Курс начальной школы часто уже в то время фактически превышал три года, приближаясь к четырехлетнему. Устранение девочек не могло быть оправдано теоретически. Как бы то ни было, сокращенные расчеты, несомненно, произвели свое психологическое действие. Обязательное обучение в России перестало казаться утопией, и вопрос о всеобщем обучении снова поставлен был на ближайшую очередь. Статистики, комитеты грамотности и земства, как мы уже говорили, усердно принялись за выработку нормальной сети школ для той или другой местности. Оживление общественных настроений заставило наконец и правительство вернуться к этому вопросу.

Однако же, чисто канцелярский проект всеобщего обучения, выработанный бюрократическим путем, в министерстве народного просвещения Фармаковским в 1903 г., а также и проект статс-секретаря Куломзина в 1904 г. не встретили сочувствия в земской среде. В 1906 г. министерство составило новый проект и 20 февраля 1907 г. внесло его во Вторую Государственную Думу. Но эта Дума была вскоре распущена, и вопрос пришлось решать Третьей Государственной Думе в измененном новым избирательным "положением" составе. Однако, несмотря на преобладание в этой Думе правительственного большинства, по вопросам образования "октябристский" центр ее был склонен защищать установившиеся в земстве взгляды. Опасаясь усиления правительственного контроля, большинство Думы хотело бы достигнуть всеобщего образования путем снятия преграды к увеличению земского бюджета (см. выше) и дальнейшего развития земских расходов на школу, скорее чем путем увеличения правительственных ассигнований. Затем Дума хотела бы издать общий, органический закон о народном образовании вместо отдельных единовременных мер, которые вносило министерство. Оппозиционные члены Государственной Думы внесли с этой целью в 1907 г. очень радикальный проект "Лиги Образования". Согласно этому проекту, вводилась единая школа, разделенная на три ступени. Вмешательство государства в ее внутренние распорядки сводилось к минимуму. При расчете одной школы на район с трехверстным радиусом и с комплектом учеников от 35 до 45 нужно было открыть 154088 школы первой ступени, чтобы обслужить *всех* детей школьного возраста, принимая этот возраст от 8 до 11 лет. Школ второй ступени (12-15 лет) предполагалось открыть 17390, в расчете удовлетворить $^1/_5$ часть населения. Наконец, школы третьей ступени (16-18 лет), в количестве 2114, удовлетворяли $^1/_{20}$ часть населения. Издержки и на это количество школ были исчислены на пер-

вый год осуществления всего плана в 432 763 200 руб., из которых на государство приходилось 316 280 000 руб. и на местные источники — 116 483 000 руб. Это, конечно, во много раз превосходило действительные расходы и финансовые возможности того времени. Депутат-октябрист Анрен представил другой проект, растягивавший введение всеобщего обучения на более продолжительный срок (к 1928 г.) и предполагавший открыть к этому сроку 351546 школьных комплектов (по 50 учеников в комплекте): расход на это был высчитан в 276 786 000 руб., из которых 168 328 000 приходилось на долю казны. Скомбинированный проект, принятый думской комиссией и Думой в 1911 г., исходил из передачи начального образования в руки органов городского и земского самоуправления, с изменением состава училищных советов и ограничением компетенции инспектора. Приходские школы передавались в ведение министерства народного просвещения. За министерством оставалось лишь общее руководство и официальный контроль. Устанавливался общеобразовательный характер школы, и ее программа расширялась введением географии и истории России, природоведения, обществоведения, геометрии с черчением и рисованием. В местностях с нерусским населением разрешались школы с четырехлетним курсом на материнском языке. Высшие начальные училища служили связующим звеном между низшими школами и школами второй ступени. Сохранялась возможность приспособления школы к местным условиям, и допускалось сотрудничество местных элементов со школой.

Государственный Совет отверг все главные черты думского проекта и голосовал против всего проекта в целом. Органического закона Думе так и не удалось провести; ей пришлось пойти на компромисс, принимая и, по возможности, изменяя отдельные предложения, вносимые правительством. Но все равно эти предложения шли в направлении всеобщего образования. Первый же, проведенный через Думу закон — 3 мая 1908 г. — вместе с кредитом в 6 900 000 руб. в прибавку к ассигнованным раньше правительством 1 400 000 руб. установил и условия, на которых эти субсидии выдавались земствам и городам. Органы самоуправления заключали с министерством договоры, которыми обязывались в течение 10 лет открыть достаточное количество школ для всех детей от 8-11 лет, считая и десятилетний прирост населения и включая в школьную сеть трехверстного радиуса существующие фабричные, церковно-приходские и частные школы — или заменяя их, в случае закрытия, собственными. Программа школ должна была быть не ниже одноклассных начальных училищ министерства народного просвещения; учителя — обязательно русские подданные христианского исповедания — не ниже окончивших среднюю школу или получивших звание народного учителя (ницы); помещения — соответствующие требованиям школьной гигиены, обеспечение

квартирой для учителя и снабжение школьными книгами и пособиями. Министерство со своей стороны обязывалось выдавать на каждый комплект учеников ежегодно по 360 руб. учительского жалования (с пятилетними прибавками по 60 руб. до 600 руб.), по 60 руб. законоучителю и единовременно на школьные пособия по 150 руб. на комплект. Законом 22 июня 1909 г. был создан сверх того особый школьно-строительный фонд, из которого выдавались пособия — $^1/_5$ стоимости постройки безвозвратно и до $^4/_5$ стоимости — ссуды на 40 лет за 3% годовых. С 1911 по 1916 г. было построено 20172 школьных помещения.

Законопроект, внесенный в Четвертую Думу П.Н. Игнатьевым 27 августа 1916 г., частью повторял положения отвергнутого Государственным Советом проекта 1911 г. Гораздо более умеренный, он уже не был рассмотрен Думой, ввиду февральского переворота.

В начале мировой войны (на 1 июля 1915 г.) почти все уездные земства (414 из 426) вступили в договоры с министерством о введении всеобщего обучения. Ассигновки министерства на начальное образование росли с каждым годом в небывалых размерах. Вот сравнительные цифры до и после появления Думы и ее приступа к осуществлению всеобщего обучения (в рублях):

1990	3084672	1908	15884672
1903	5784672	1909	22884672
1906	8286672	1910	35884672

Число училищ, по данным всероссийской школьной переписи 18 января 1911 г., было 100295 (из них церковно-приходских 37922); к 1915 г. оно еще поднялось до 122123. Число учителей и учительниц в 1911 г. было 154177 (из них церковно-приходских 46151); число учащихся — 6180510 (из них церковно-приходских 1793429); к 1915 г. это число дошло до 8146637.

Интересно остановиться на составе учительского корпуса, как он выяснился по данным переписи народных училищ 1911 г. Социальный состав учителей был следующий (в %):

	М.п.	*Жен.п.*	*Всех*
Крестьяне	56,6	19,0	36,2
Духовного звания	10,3	28,6	20,2
Мещане	16,0	27,1	19,3
Дворяне	3,8	14,6	9,6
Прочие	13,3	15,7	14,7

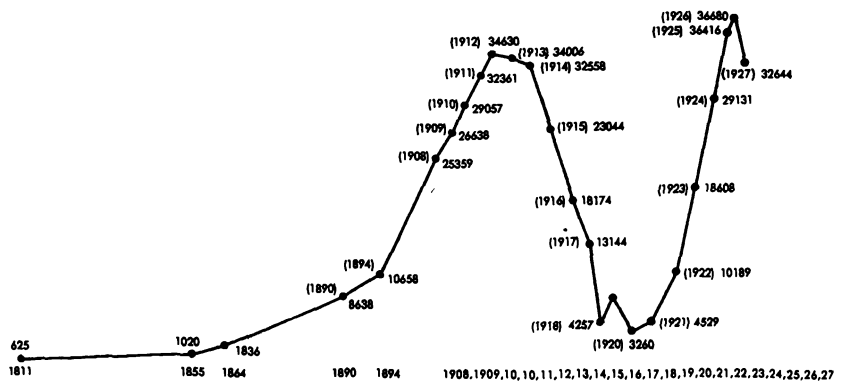
По образовательному цензу состав учительского корпуса в 1911 г. определился следующим образом (в процентах мужского пола, в скобках — учительницы):

Образование	*Зем. и гор. школы*	*Церковные школы*	*Все школы*
Низшее и домашнее	49,6 (31,8)	85,9 (47,7)	61,3 (36,5)
Среднее педагогическое	44,5 (4,3)	6,3 (1,9)	31,9 (3,5)
Среднее духовное	4,4 (20,1)	7,5 (42,1)	5,5 (25,8)
Среднее ивысшее светское	1,7 (43,8)	0,3 (8,3)	1,3 (34,2)
Нет сведений	0,5 (0,6)	0,9 (0,9)	—

Как видим, корпус учителей к концу дореволюционного периода был весьма демократичен по социальному составу, и образовательный ценз его был невысок. Но женский состав в последнем отношении стоял значительно выше мужского, особенно в земской и городской школе (64% против 6%). Это, очевидно, стояло в связи с более культурным социальным составом: 65% учительниц происходило из дворян, мещан и духовенства против 30% мужчин такого же происхождения.

Чтобы судить, в какой степени общие условия культуры народных масс изменились к началу революции, мы остановимся еще на двух рядах фактов: на росте издательства и распространения книг и повременной печати и на росте грамотности населения.

Общая кривая книгоиздательства (по числу названий книг) с начала XIX в. представляется в следующем виде (кривая охватывает промежуток времени от 1811 до 1927 г. и основана на цифрах, сообщенных ниже в более подробном виде).



Нелегко представить себе, какую длинную повесть человеческих усилий — успехов, и неудач, и новых достижений — таит в себе эта короткая ломаная линия. Она требует хотя бы краткого комментария. О книжной продукции XVIII в. мы говорим в другом месте (см. "Очерки", т. III, "Национализм и европеизм"). В первую четверть XIX в. производство книг поднялось со 150 названий в год (718 за 1801-05) до 575 (в 1825 г.). Книжная торговля за это время продолжала сохранять тот же характер, который она получила к концу XVIII в.: ходко шел только популярный товар Никольского рынка, поставляемый "писателями" типа Матвея Комарова. К. Батюшков так характеризует эту торговлю в 1810-е гг.: "Кто не бывал в Москве, тот не знает, что можно торговать книгами точно так, как рыбой, мехами, овощами и проч., без всяких сведений о словесности; тот не знает, что здесь есть фабрика переводов, фабрика романов и что книжные торгаши покупают ученый товар, то есть переводы и сочинения, на вес, приговаривая бедным авторам: не качество, а количество, не слог, а число листов".

Это положение изменилось в тот момент, который мы отметили как появление писателя-профессионала в "большой" литературе. В книжной торговле этот период — вторая четверть XIX в. — отмечен названием: "Смирдинский период". Смирдин явился первым покупателем произведений настоящих русских писателей (он издал их более семидесяти); он "канонизировал" авторский гонорар — довольно щедрый не только по тому времени (в 1839 г. "Сын Отечества" платил 200 руб. за лист оригинальных и 75 руб. за лист переводных произведений). Правда, он и поплатился за это. Никитенко в 1834 г. уже писал: "Наши литераторы владеют его карманом, как арендой; он может разориться по их милости". Но его коммерческий расчет был правильно построен на трех данных: понижение цены книги путем увеличения тиража, появление новых покупателей в столицах и организация книжного рынка в провинции и поместье. Булгарин свидетельствовал в 1841 г., что "число русских писателей в последние 10 лет возвысилось более нежели впятеро против прежних годов". А обозреватель торговли Глазуновых за 1830-40 гг. писал: "Стали появляться (в книжных лавках) аристократы и люди высшей администрации, до того времени в руки не бравшие русских книг; зимою появились, в значительном числе, помещики, покупавшие зараз на большую сумму книг... Все книгопродавцы стали издавать втрое, вчетверо более, чем прежде". Эта новая читательская среда и поддержала расцвет русской классической литературы. Но тут же на рубеже 30-х и 40-х гг. произошел и первый кризис на книжном рынке. "Вдруг все пало: и книгопечатание, и книготорговля, и письменность", — прибавляет Булгарин вслед за приведенными строками. Что же случилось? Обозреватель Глазуновской торговли отвечает: "Уменьшение покупателей на книги (повести,

романы и проч.) в начале 40-х гг., кроме оскудения талантов, следует приписать отчасти возникновению и процветанию в это время толстых журналов, в которых обильно помещалась этого рода литература". "Таланты", конечно, оставались прежние, но повеял холодный ветер николаевского царствования. Литература не замерла, однако, а переселилась в "толстые журналы" — тип специально-русский, сохранившийся с того времени до нашего. Появление толстых журналов, отмеченное нами выше, знаменует собой наступление нового периода: организации общественного мнения, начавшейся с Белинского династией "учителей жизни".

С началом царствования Александра II эта перемена и сказывается в ускоренном росте книжного производства. Число типографий, доходившее в 1813 г. (по Сопикову) до 18 в Петербурге, 8 в Москве и 39 в провинции (всего 65), поднялось за 42 года (к 1855 г.) до 73 в Санкт-Петербурге, 22 в Москве и 55 в провинции (всего 150), а за следующие десять лет (1855-64) достигло цифры 276. В это же десятилетие количество выпускаемых книг возросло с 1020 названий до 1864, а всего за 10 лет было напечатано 16380 названий (по 1638 в год). И далее этот рост продолжался, составив следующий ряд:

1855	1020	1873	2668
1864	1864	1877	5451

В год это составляло (прибавим для сравнения цифры прежнего времени):

1801-1805	150
1825	575
1855-1864	1638
1865-1869	2922
1873-1877	4312

Во время реакционного десятилетия рост книжной продукции остановился, и для 1888 г. мы имеем даже меньшую цифру напечатанных книг, чем для 1877 г.: всего 5317 названий. Но со следующего года и до конца XIX столетия производство книг растет и к концу века по количеству названий удваивается, а по количеству экземпляров утраивается:

	Названий	*Экземпляров*		*Названий*	*Экземпляров*
1889	6420	18777891	1895	8699	35512814
1891	6583	22918105	1898	9526	44221864
1893	7782	27224903	1901	10318	58529480

Нужно прибавить, что этот значительный рост числа книг и в особенности их тиража объясняется главным образом увеличением спроса со стороны *народных* масс. Это доказывается тем, какой род книг находит наибольший сбыт. Так, из 35,5 млн.экз. 1895 г. и 58,5 млн.экз. 1901 г. приходится (в млн.экз.):

	1895	*1901*
На духовную литературу	5,4	16,5
Дешевые народные, лубочные издания	4,7	8,8
Справочные (на $^3/_4$ календари)	7,0	8,4
	17,1 (48%)	33,7 (57,6%)

Далее следуют группы, которые тоже отчасти расходятся в народе, а только отчасти в культурном классе (млн. экз.):

Учебные и детские книги	7,7	9,8
Беллетристика	3,8	2,7
	11,5 (32%)	12,5 (21,4%)

Интересно пропорциональное, а для беллетристики и абсолютное падение цифр этих категорий. Падают также абсолютно исторические и юридические сочинения. Напротив, растут медицинские, сельскохозяйственные и технические — с 1,7 млн. до 2,6 млн. экз. Остальные отделы все менее значительны; и если среди них растут пропорционально очень сильно книги по политическим, общественным вопросам и политической экономии, с одной стороны (с 103 тыс. экз. до 378 тыс.), и по философии и изящным искусствам — с другой (с 230 тыс. экз. до 566 тыс.), то абсолютное их значение в общей продукции ничтожно (меньше 1-2%). Эти цифры могут характеризовать лишь направление литературных вкусов интеллигенции. Если народные книги печатаются в 30-50 тыс. экз., беллетристика в 10-15 тыс., а учебники, монополизированные авторами, которым протежирует министерство, доживают до 20-100 изданий, то научные книги имеют тираж самое большое 5-6 тысяч. "Допущено" ученым комитетом министерства в 1899 г. — 285 названий, в 1900 г. — 486, в 1901 г. — 659.

Помимо книжной продажи, в культурных странах доводят книгу до читателя публичные библиотеки. Но по исследованию Н.А. Рубакина, который сам является популяризатором, распространившим в народной массе более 20 млн. своих сочинений, влияние этого способа распространения книг в описываемый период совершенно ничтожно и далеко не доходит до массы. Еще в 1830 г. сенатор Мордвинов свидетельствует, что "публичные библиотеки для чтения заведены только в С.-Петербурге, Москве и Одессе". К этим городам в 1831 г. присоединяется

Смоленск и Нижний, в 1835 г. — Саратов, в 1834 г. — Екатеринослав и Симферополь, в 1836 г. — Вятка и т.д.; заведение библиотеки есть целое событие. В 1842 г. во всей России числится 42 библиотеки и в них 93000 томов. В 1856 г. это число снова доходит до 49. Но что это за библиотеки? В четырех из названных городов и в ряде других — библиотеки были свалены за ненадобностью на чердаках или в подвалах, оказывались без употребления по 14, по 17 лет, и еще в 1888 г. Уральск отличился сожжением своей библиотеки, которую не знал куда девать. После временного оживления в 60-х гг. библиотечное дело снова падает. Подписчиками состоят исключительно чиновники и дворяне; только в 1900-х гг. появляется "читатель из народа". "Почитать" просят "что-нибудь" и любят, по старине, романы с приключениями. К концу века это положение меняется.

На оживившиеся запросы народа откликнулась интеллигенция. Кружок университетской молодежи, окончившей в середине 80-х гг. Петербургский и Варшавский университеты, образовал в С.-Петербурге в начале 1884 г. "группу для изучения народной литературы". Во главе стояли наиболее деятельные в этом направлении члены группы: Ф.Ф. Ольденбург и Д.И. Шаховской. Это не были ни революционеры, ни народники: они хотели быть независимы от "радикальных шаблонов" и занялись в своем "братстве" личным самоусовершенствованием. Они искали, по словам Гревса, историка кружка, "новых, более глубоких и полноценных идеалов и путей, чем те, к которым звали ходячие прогрессивные знамена". Другими словами, они отдавали дань известным нам настроениям 80-х гг. Но рядом с культом личности в "декларации прав" молодого союза значились "свобода и культура *для всех* и работа за всех". И это "реально-жизненное, при всем его идеализме, направление — служить прогрессу родины сознательной работой мирных культурных сил" — вывело кружок на широкую дорогу. Скоро около центрального ядра сгруппировались новые сочлены; кружок завязал сношения с земством, с А. Алчевской, харьковской деятельницей, руководившей составлением обширного сборника разборов до 5000 книг, пригодных для народного чтения ("Что читать народу?", 3 тома, 1884, 1889 и 1906).

В 1885-86 гг. названный здесь петербургский кружок, к которому примкнули Рубакин, Фальборк и Чарнолусский, вошел в состав Санкт-Петербургского комитета грамотности и обновил его деятельность. В эти годы составлены были комитетом два каталога лучших народных книг. Собственно, комитеты грамотности существовали в одних столицах с середины 40-х гг. и имели короткий период расцвета в 60-х гг. Петербургский комитет, по почину учредителя А.С. Маслова, разослал в конце 40-х гг. до 30000 экз. книжек по народным библиотекам и "грамотным избам" для крестьянок. Но этот почин замер, не

найдя благоприятной почвы, так же как и начинания 60-х гг. 70-е и половина 80-х гг. были периодом увядания Санкт-Петербургского комитета, хотя в Московском уже начались тогда сношения с земствами. Но со второй половины 80-х гг. и там, и здесь начинается большое оживление. Характер и причина этой перемены очень наглядно отражаются на сношениях Санкт-Петербургского комитета грамотности. "В 60-х и начале 70-х гг., — говорит Д.Д. Протопопов, историк этого комитета, — на сероватой бумаге, скверным почерком, неуклюжим языком, порой с ошибками, пишут комитету губернаторы, архиереи, предводители дворянства, мировые посредники и помещики, благочинные и священники; редко проглянет письмо волостного правления, народного учителя или головы государственных крестьян, пишут и обрусители окраин. В 70-х гг. дело начинает меняться: все больше находим обращений крестьян, волостных правлений, учителей. В 80-х гг. обрусители почти смолкают. Письма... канцелярски-условные, прошения унизительно-почтительные почти исчезают... Пишут земские управы, училищные советы, учителя народных школ, крестьяне, правления библиотек... на хорошей бумаге, четким почерком, проникнутые чувством собственного достоинства... Часто встречаются требования *хороших* книг: о Бове, Еруслане отзываются с презрением. На комитет смотрят с доверием... просят советов". И комитеты, кроме издания каталогов, принимаются в 90-х гг. за бесплатную рассылку книг и целых библиотечек, привлекая к тому частные средства, а также и за издательство народной литературы, начинают устраивать читальни. Подбор книг, однако же, чрезвычайно затруднен правилами, нам уже известными. Из 75000 названий русских книг, зарегистрированных в каталогах Межова и вновь вышедших в 1894 г., было допущено в библиотеки школ министерства народного просвещения только 3288 учебных книг и 2347 книг для чтения, то есть меньше 8%; и из этих 2347 книг надо еще исключить значительное количество, допущенных лишь в фундаментальные *учительские* библиотеки средней школы, а также земских, которые вышли из продажи или устарели и появились в новых изданиях с *изменениями*. "Одобренные" монополисты повышали цены на свой товар. Нового "одобрения" приходилось ждать 9-17 лет. До сотни русских писателей, в том числе и самых крупных, совсем не попали в официальные каталоги; долго не попадало даже Евангелие и Псалтырь.

Несмотря на эти препятствия Санкт-Петербургский комитет приступил еще в 1862 г. к печатанию "Списка" одобренных им книг; за десять лет вышло 8 изданий этого списка, а число названий в нем с 36 поднялось до 212. В 1878 г. "Список" был заменен "Систематическим Обзором", в котором были помещены отзывы о 965 рекомендованных книгах. В 1882 г. понадобилось издать "1-е дополнение", куда включены отзывы еще о 324

книгах, а также примерный каталог народно-школьной библиотеки для чтения. В 1895 г. оба комитета были внезапно закрыты по распоряжению министерства народного просвещения.

Это, однако, не прекратило просветительной деятельности интеллигенции, а лишь направило ее на частные пути. Прежде всего, настойчиво продолжалось исследование читательских интересов народа, начавшееся почти одновременно в разных местах России, в Харькове — силами кружка Алчевской, в Московской губернии (1883) — по почину статистика В.И. Орлова, потом также в Вятской, Орловской, Воронежской. Почин в Петербурге принадлежал Д.И. Шаховскому, автору первой "Программы для собирания сведений о том, что читает русский народ"[16]. За этим последовали доклады А.М. Калмыковой и Н.А. Рубакина на ту же тему в Санкт-Петербургском комитете грамотности (1888-89), программа Н.А. Рубакина, 1889 г., и два издания программы А.С. Пругавина (1888-91), причем второе издание, уже воспользовавшееся программой Рубакина, свидетельствует о многочисленных откликах (в числе 200), полученных со всех концов России и вызвавших переработку программы. В 1890 г. появилось исследование А.С. Пругавина: "Запросы народа и обязанности интеллигенции в области просвещения и воспитания", значительно дополненное во втором издании, 1895 г. Оно уже использует материал анкеты (так же, как и цитированные выше "Этюды" Рубакина). Большинство ответов на вопрос, есть ли потребность в чтении, свидетельствует о том, что она есть по преимуществу среди окончивших школу, но не может быть удовлетворена, потому что "нет книг" и "читать нечего". Несомненно, есть уже потребность купить книгу, но предлагается обыкновенно лубочный товар. Одни московские лубочники торгуют на 75000 руб. в год, не считая "никольских" книгопродавцев, некоторые из которых продают тысяч на сто и больше. Земские книжные склады — там, где они лучше поставлены, как в Тверской, Харьковской, Саратовской, Нижегородской губерниях, имеют сбыт до 20000 руб. Конечно, это уже более культурный материал. Очень характерно, что в последние десять лет (то есть со средины 80-х гг.) трактиры стали выписывать газеты для своих крестьянских посетителей. Крестьяне Московской губернии выписывали в 1883 г. 218 экз. газет, Новгородской в 1884-85 гг. — 120 экз. Слобода Владимирской губернии, получавшая в 1872 г. 36 экз. изданий, в 1888 г., получала 122, то есть больше чем втрое, и большая часть читалась крестьянами. Дешевый "Сельский Вестник", издававшийся с 1881 г. при "Правительственном вестнике", несмотря на сухой официальный тон, расходился в 50000 экземплярах, а газета "Свет", читавшаяся большей частью крестья-

16 "Русский Начальный Учитель", 1885 г.

нами, имела тираж в 60000. Библиотеки при земских школах начали открываться в 80-х гг., но далеко неравномерно. Например, в Московской губернии мы имеем богатый рост их: 129 в 1882-83 гг.; 256 в 1886-87 гг.; 366 в 1890-91 гг.; 371 в 1891-92 гг. и можно сказать, что к концу века большинство школ было обслужено. В Харьковской губ. на 426 школ имелось только 233 библиотеки, и из них только 73 удовлетворяли своему назначению. В других дело обстояло еще хуже. Зато мы имеем длинный список библиотек, открытых в эти годы крестьянами на собственные средства... В шести уездах Воронежской губ. было записано статистиками 44285 экз. книг, принадлежавших крестьянам. Перечитав небогатую школьную библиотеку, крестьяне покупают книжки у разносчиков, у коробейников и офеней и меняют их на домашние продукты. Неграмотные покупают и дают читать грамотным. Часто книги берутся в ночное, но особенно много читают зимой, и для этого собираются по домам, не только члены семьи, но и посторонние. Старые люди, не побывавшие в школе, любят слушать книги церковной печати, не столько понимают, сколько чувствуют. "С плачем слухаем, душу нам отводит", — говорит такой слушатель. И грамотеи-начетчики старого типа, способные прочесть "божественное", почитаются как "подвижники", хотя в то же время их и считают "как бы за дурачков" — по-прежнему "блаженных". Другой тип читателей — парни, которые любят читать в одиночку или в компании книги "смешного или удалого содержания", читают с увлечением и по нескольку раз. Наконец, третий тип — солидного читателя-практика, окончившего земскую школу и приверженного к популярному чтению серьезного содержания. Этого считают "пользительным для мира человеком" и выбирают в должности, хотя иной раз и побаиваются как "гордеца". Этими разнообразными вкусами определяется и содержание приобретенных книг. Из 28728 книг, переписанных в 2,5 тыс. дворов, оказалось:

1. Духовных (из них жития 33,7%)	50,5%
2. Светских (в том числе сказки 7,6% изв. авт. 7,3%)	26,6%
3. Научно-популярных (ист. геогр. 8,9%; ест.-ист. 1.8%)	13,8%
4. Справочных (календари, сонники, песенники)	6,9
5. Учебные	2,2

Библия читается редко: "Можно рассудка решиться". О "нечисти" и о Страшном суде читать боятся. Жития очень любят: тут и история, и чудесное, и поучительное. "Страсть хорошо" житие Алексия Божия человека: это "каждый поймет, хоть не умеет читать". "Сказки" тоже очень нравятся: но про Бову и Еруслана уже так "все доподлинно известно", что ищут, хоть и "похуже Бовы", но "совсем новую" — за те же деньги. Тут и "богатырь Сидоне", и "семь Семионов", и "Францил Венециан",

наш старый знакомый, и "храбрый воин Протупей-прапорщик", и "Зелим царевич", и "Громобой витязь новгородский". Это все — московский лубок. Читают с большим рвением, с чувством и выражением. Но солидные крестьяне называют их "болтушками" и конфузятся: то "хлопцы читают". Больше уважения вызывают такие повести, как "Милорд Георг", "Битва русских с кабардинцами", "Анекдоты о Балакиреве". Наконец, из 28728 книг нашлось 2094 известных русских автора, и из них 45% (940 экз.) принадлежит Льву Толстому, за которым следует Пушкин (18,6%) и Григорович (12,5%). Все это, конечно, мелкие рассказы. Те из них, "в которых описывается все знакомое и близкое крестьянам, читаются всегда с большей охотой, чем те, в которых изображаются господа, разные высокие лица и их жизнь", вроде "Пиковой Дамы" и "Выстрела". "Ты нашего брата покажи; до князей и графов нам нет дела", — говорят эти читатели. "Про деревенское читать, может, и не так занятно, да для нас полезнее". Интересно отметить, что из 83 читателей, о которых имеются сведения, в школе выучилось читать еще только 14,3%; остальные выучились "самоучкой" (33,7%), на военной службе (27,7%) или "в семье и у соседа" (21,7%). Мы еще в самом начале действия школы на среду — и состав чтения об этом свидетельствует. В большей своей части это все еще литература XVIII столетия.

Этим вкусам сельского читателя отвечают и цифры тиражей популярной литературы. Продукты сельского чтения выпускаются в 20-50-80 тыс.экз., а календари 200-600 тыс.экз.; Сытин продает такого товара 8-10 млн.экз. в год, тогда как издания комитета грамотности расходились в 35-70 тыс.экз. И все же А.С. Пругавин счел возможным вывести из всех этих, наводивших и на него "грустные мысли", данных тот вывод, что "читатель вырос" количественно, вырос и качественно. В 1887 г. народные издания Толстого были выпущены в количестве 397000 экземпляров (а все сочинения в 677600 экземплярах). Сочинения Пушкина в том же году, по минование права собственности, были изданы не только культурными, но и "лубочными" и "никольскими" издателями, расхватывались моментально и разошлись в этом году в 1481375 экз. Наконец, с 1884 г. начала работать издательская фирма "Посредник", впервые попытавшаяся соединить интеллигентское содержание с популярной формой, дешевой ценой и даже с внешним видом изделий, рассчитанных на народный рынок. В первые же 9 месяцев издания "Посредника" разошлись в 400000 экз. В 1885 г. на этот же путь вступила редакция "Русского Богатства", соединившись с Сытиным, а в 1888 г. испробовала тот же способ и редакция "Русской Мысли". Начали и лубочники печатать некоторые произведения русских классиков. Это, очевидно, вызывалось тем, что к концу столетия улучшенные дешевые книжки нача-

ли забивать лубочную литературу. По расчетам Павленкова, те и другие издания печатались в следующем количестве экземпляров:

	лубочные издания		*дешевые, улучшенные*	
	названия	*экз.*	*названия*	*экз.*
1887	190	1689400	147	1360300
1889	89	719400	105	636182
1891	99	947700	221	1720040
1893	202	1892350	233	1572140
1894	194	2107660	326	2652215
1895	109	1578100	335	3176847

Однако же, сам Л. Толстой, сделавший больше всех для успеха "Посредника", извлек из своего опыта вывод: "Наша (то есть интеллигентская) литература не прививается и не привьется народу. Надеюсь, люди, знающие народ и литературу, не усомнятся в этом". Несомненность этого вывода была особенно ясна Н.А. Рубакину, который проводил в народные массы не художественную, а научную литературу, и знал, каким языком надо писать *специально* для народной аудитории, чтобы быть понятным и интересным. И Н.А. Рубакин, вопреки ходячему народническому взгляду, разделявшемуся и Алчевской, что все, что годится для культурного класса, годится и для народа, поневоле пришел к выводу, что писатель должен знать своего читателя и что у крестьянского читателя *психология* особая. К этому же приблизительно выводу пришел и другой исследователь народной литературы, С.А. Ан-ский (Раппопорт). Оба поняли, что до сближения двух культурных уровней путь еще не близкий.

Это был, однако, тот путь, по которому шла русская жизнь. "Читатель вырос" к концу века и скоро, как мы знаем, стал выставлять собственных писателей. Располагая до 5000 ответов на свою программу, Рубакин знал настроение выраставшего писателя. Мы видели даже, что, подобно Горькому, он сделался одним из литературных крестных отцов новых крестьянских и рабочих писателей. Он насчитал их 147. В своих "Этюдах о русской читающей публике" (1895) он уже прямо становится на точку зрения французского критика Геннекена, что читателей можно разделить на "длинный ряд интеллектуальных типов и, соответственно этому, на ряд общественных групп, свойства которых выражены в терминах научной психологии". Это зародыш его "библиопсихологической" теории, с которой мы еще встретимся в дальнейшем. Поддержал его и Ан-ский в своей новой книге "Народ и книга". Оба автора при этом особенно подчеркнули разницу между более отсталым жителем деревни и более развитым горожанином, фабричным, заводским, или мещанином. Именно в этой среде особенно наметилось то явление,

которое П.А. Рубакин назвал "Борьбой народа за свое просвещение". Доклад об этом вызвал закрытие съезда по профессиональному образованию, где он был прочитан, а докладчик был выслан из столицы. Это было уже в 1904 г., "накануне революции", как значится в подзаголовке доклада; но материалы, использованные автором, взяты из ответов на упомянутую уже программу. 67% собранных им ответов принадлежало именно рабочим и городским ремесленникам и только 22% — крестьянам, живущим в деревне. Это определяет настроение большинства отвечавших. Общее впечатление — это растущее раздражение против тех, кто насильственно лишает их просвещения — и такая же растущая решимость добыть "самоуком" то, что у них отнимают. Мы видели до 70-х гг. *равнодушие* к образованию, потом видели проснувшийся *интерес*; теперь видим сознательную *потребность* в просвещении как орудие в борьбе за лучшее будущее. Безработные фабричные ходят по городам и деревням и за грошовую плату читают вслух собравшейся толпе: читают и объясняют: "по-книжному и по-ученому", — вкладывая в комментарий свою накопившуюся злобу. Это замена недостающей народу газеты, в которой он уже чувствует практическую нужду, не находящую удовлетворения. Далее, масса хочет сама читать и в значительном большинстве все еще получает грамотность *вне школы* — у своих учителей. Так в Вяземском уезде из 13,5 тысячи грамотных научились грамоте в школе только 46%. "Время теперь не такое, — пишет Рубакину один из таких импровизированных учителей, — я стал учить товарищей, потому что не мог вынести их темноты. Темный человек с руками и ногами отдает себя на съедение". Вот новый тон для учителя доморощенной школы грамотности! Но он идет и дальше, этот учитель. Вот он на фабрике или в казарме рассказывает товарищам про то, что сам знает из политической экономии или истории. Он имеет свои списки "лучших книг", и такими иногда как раз оказываются... списки книг запрещенных; лучшая рекомендация! В школе ведь "о нужном часто молчат, а ненужным нам мозги заколачивают". Да ведь и спрашивать нельзя: "За такие вопросы и ответы и учеников, и учителя не похвалят". "Настоящие учителя" те, которые "тайны" не скрывают, это "те самые, которых ловят сыщики, арестует начальство, ссылают по указу Его Величества". И появляются тысячи "вольных библиотек", особенно на фабриках и заводах; "нелегальные книги" играют в них не последнюю роль. Там и Дрэпер, и Дарвин, и "Русское богатство" и "Русские ведомости", и "Новое слово". Проф. Коркунов говорит: "Цензурный запрет служит вящей рекламой, обеспечивающей широкое распространение книги". Встречаются среди этих новых читателей и подписчики московских "программ домашнего чтения". Из 1473 лиц, вступивших в переписку с комиссией и работавших по ее программам в 1895-99 гг., 50% живут в уездных городах, мес-

течках и селениях; 56% не кончило средней школы, 48% — женщины-учительницы. Разрешенные книги правого направления снабжаются рукописными примечаниями или опровергающими их газетными вырезками, которые иногда систематизируются, наклеиваются и составляют импровизированную книжку. Поверивший в скрытую тайну читатель ищет правды между строк, научается понимать "эзоповский язык" и, перескакивая через цензурные загородки, видит в книге не то, что написано, а то, что ему хочется в ней видеть. "Это о нас, а не о зверях писано, — говорит один кочегар, прочитав в книжке о зоологии, как пеструшки страдают от голода и холода, — вроде, как в баснях, где тоже действуют звери". Появляется наконец в народе своя рукописная или домашним способом литографированная газета, распространяются гектографированные листки, которым принуждена подражать полиция, чтобы распространять в народе черносотенные прокламации... Народ уже не "просит" и не "ходатайствует", а "просто-напросто прет, выдвигая в первые ряды свою собственную, фабрично-заводскую и деревенскую, интеллигенцию". Доклад Рубакина, из которого мы заимствуют приведенные данные, кончался фразой: "Русская революция наступила".

И вот, наконец, она приходит. Наступает 1905 г., и сразу обнаруживаются плоды всего этого скрытого движения умов и страстей в массах. Становится ясно, что задержка роста внешкольного просвещения действительно шла не только снизу, от неподготовленности массового читателя, но и сверху, со стороны власти, вгонявшей это просвещение в возможно узкие каналы. Как только властью сняты временно и даже кратковременно-искусственные шлюзы, "книжный поток превращается в настоящее книжное наводнение", говоря словами того же библиографа-библиолога Н.А. Рубакина. В его очередной работе мы уже находим теперь вместо минорного тона "Этюдов" новый, повышенный и бодрый тон. Через несколько месяцев после 17 октября 1905 г. Россия, по его наблюдениям, заняла по числу названий и экземпляров книг *первое место* на всем земном шаре. Тяжелая артиллерия толстой книги разбилась на целую армию мелких брошюрок: не менее 10-11 тысяч названий в 1905-07 гг., а считая в среднем завод такой книжки в 20000 экземпляров — до 200-220 млн., то есть около 70 млн. в год, а причисляя сюда обычную, "обязательную" литературу (около 60 млн.) до 130-150 млн. книжных выстрелов. Завод в 50000 стал обыкновенным, как и случай повторения его до трех раз в год. В четыре месяца подготовки к выборам в первую Думу (до апреля 1906 г.) возникло 93 новых издательства — маленьких, ударных, брошюрных; но выросли и большие фирмы; всего зарегистрирована Рубакиным 351 фирма. Духовный и беллетристический отделы уступили первенство политическому и экономическому. Тот же автор насчитывает, кроме 50 млн. изданий

общепрогрессивного направления, не менее 24 млн. литературы социалистов-революционеров, не менее 26 млн. социал-демократической, не менее 8-10 млн. анархической литературы. Брошюра "Хватит ли на всех земли" разошлась в 51 издании, не менее полумиллиона экземпляров. На брошюру "Что нужно делать крестьянам в Гос. Думе" получено в три дня 100000 заказов.

За этим "книжным приливом", правда, быстро наступил книжный отлив. С конца 1906 г. начались конфискации книг. Список книг, подлежащих аресту (1908), заключал 577 русских названий, но конфискации производились без разбора. Эфемерные издательства полопались, книжные магазины закрылись, читатель стал спрашивать детективные и порнографические романы. И все же годы последовавшей за книжным "наводнением" реакции не могли уже остановить роста книжной продукции. Она развивается дальше, стихийно, и останавливают этот "прилив" без отлива только годы войны. 1912 год оказывается кульминационным пунктом. С 1913-14 гг. цифры падают, и падение их особенно усиливается в 1915-16 гг. Приводим эти характерные цифры:

	Названия	*Экземпляры*		*Названия*	*Экземпляры*
1908	23852	75868320	1913	34006	118836713
1909	26638	101466908	1914	32338	130167102
1910	29057	109990500	1915	26004	107908823
1911	32361	127799440	1916	18174	109148721
1912	34630	133561886			

Распространение книги также значительно улучшается и усиливается в эти последние годы предреволюционного периода. Уже в конце XIX в. мало-помалу стало падать ремесло офеней и начали появляться земские книжные склады, с которыми школьные и сельские библиотеки могли входить в правильные сношения. Вместе с тем, как мы видели, удешевляются издания "Хорошей книги" и опережают лубочное производство, принужденное также считаться с этим улучшением потребительского вкуса. Большую роль в этом улучшении сыграли идейные издательства, получившие теперь возможность опереться на нового массового читателя. Мы уже говорили о новом направлении, которое дано было книжной продукции старым знатоком книжного рынка И.Д. Сытиным. Ф.Ф. Павленков, много пострадавший за свою прогрессивную издательскую деятельность, имел возможность широко развернуть свое дело к концу жизни (ум. 1900 г.). К началу 1878 г., по его возвращении из ссылки, числилось только 16 однотомных его изданий на сумму 18 тыс.руб. К началу 1900 г. он довел число своих изданий до 255, в 722 томах, стоимостью в 804628 р. В этом числе были и дешевые библиотеки — биографические, научно-по-

пулярные, нашедшие широкий сбыт в массе. Надо упомянуть здесь и о просветительной деятельности В.В. Битнера. Его журнал "Вестник Знания", предназначенный для средней интеллигенции, провел в новые круги читателей, которые он отчасти и создал, множество популярно-научных сведений, как в виде журнальных статей, так и в виде приложений — переводных произведений лучших авторов, особенно по естествознанию. "Новый Журнал для всех!" В.С. Миролюбова собрал также около себя довольно широкий круг читателей, интересы которых шли гораздо дальше простой грамотности или любительства "почитать" книжку на досуге. Оба упомянутых журнала сделали интересные попытки — выяснить круг своих читателей путем анкет. Первая из них (1909) дала 624 ответа, вторая (1910) — 805. Обе анкеты выяснили следующий состав читателей-подписчиков того и другого журнала:

	"Вестник знания"	*"Н.Ж. для всех"*
1. Учителя	159 (25%)	85 (10,6%)
2. Служащие(госуд., обществ., технич. промышл. служба, письмов. и контор. занятия)	293 (47%)	368 (46,0%)
3. Духовенство	20 (3%)	36 (4,5%)
4. Торговцы	22 (3,5%)	47 (5,9%)
5. Свобод. профессии (интел.)	19 (3%)	51 (6,3%)
6. Учащиеся	55 (9%)	?
7. Крестьяне (землед.)	31 (5%)	31 (3,8%)
8. Женщины	17	96 (11,9%)
9. Прочие	25	29
	624	743

Круг читателей "Вестника знания" несколько выше по культурным запросам, чем "Нового Журнала для всех". В их среде, безусловно, преобладают побуждения общественно-идейного характера при выборе чтения. Но и там, и здесь беллетристика стоит на первом месте (50% в "В.З."; 61,3% в "Н.Ж."). Далее идет спрос на естествознание в "Вестнике знания", тогда как в "Новом Журнале для всех" впереди идет интерес к общественным наукам, а затем уже следует естествознание. Надо прибавить, что при тогдашнем настроении читателя интерес к естествознанию отнюдь не имеет прикладного характера, а связан с теми же вопросами мировоззрения, к которым, с другой стороны, сводятся и общественные стремления. Из первых 17 авторов, которые в анкете "Вестника знания" получили больше 50 голосов, первые 8 чередуются в любопытном порядке:

Л. Толстой	(205)	Горький	(93)
Дарвин	(152)	Гегель	(91)
Л. Андреев	(120)	Тургенев	(89)
Бельше	(106)	Бебель	(87)

А дальше идут опять три классика (Достоевский, Чехов, Гоголь) и три популяризатора естествоведения (сам Битнер, Фламмарион и Бюхнер). Маркс стоит на предпоследнем месте. Декадентская литература 90-х гг. вовсе не привлекает внимание этого читателя. Он следует в своем выборе, как видим, традиции старого реализма в творчестве и в науке. Ту же традицию он поддерживает и в общественных вопросах. Большинство читателей "В.З." думает о "стойкой борьбе", хочет "быть гражданином", "бороться с невежеством низших классов" и т.д. И Н.А. Рубакин, разработавший анкету "Н.Ж.", отмечает "бодрое" настроение большинства ее трудовых читателей, в противоположность минорным настроениям небольшой верховой прослойки. Волостной писарь пишет: "Не выношу современного нытья". "Мы, — восклицает другой читатель из низов, — ни для кого в угоду жить собачьей жизнью не желаем". Третий зовет к "поднятию народного духа, к самозащите", хотя и оговаривается осторожно: "Чтобы широко размахнуться, пока нужно терпеть". Лучшая жизнь "не может не придти", уверен четвертый. "Солнце взойдет, больше бодрости", — призывает крестьянин Уфимской губ. Вестовой из Саратова требует "больше жизнерадостности" и "более бодрой беллетристики". Еще одному волостному писарю больше нравятся в журнале произведения, "изображающие борьбу, борьбу и еще борьбу". Словом, читательские вкусы публики, которую принято называть полуинтеллигентной, эволюционируют в том же направлении, в каком, как мы знаем, меняется и тон литературы начала XX в.

Относительно распространения грамотности в дореволюционной России сведения наши весьма неполны и относятся к сравнительно позднему времени. Наиболее ранние из них основаны на числе неграмотных новобранцев, призываемых по закону о всеобщей воинской повинности. Но эти цифры касаются только одного мужского населения, и притом призывного возраста, в котором обыкновенно число грамотных наивысшее. Позднее к данным переписей присоединяются данные земских статистических исследований, охватывающие уже все население. Но они не дают общей картины по всей России. Эту последнюю картину мы можем лишь получить по данным всероссийской переписи 1897 г.

Однако и по данным о новобранцах можно следить за постепенным ростом грамотности и за той ролью, которую сыграла при этом земская школа. В промежутке между 1874 и 1896 гг. число грамотных новобранцев увеличилось от 21,3% до 40,2%. Выделяя земские губернии, мы замечаем, что, тогда как в этих губерниях в десятилетие 1876-86 гг. процент неграмотных сократился на 9,5%, по всей стране он сократился только на 6,9%. Во второе десятилетие 1886-96 гг. в земских губерниях этот процент уменьшился на 14,5, а по всей стране — на 12,4. Конечно, помимо школы, тут влияли и другие условия, отчасти

указанные выше. В промышленных губерниях с развитыми отхожими заработками процент грамотных выше, в чисто-земледельческих — ниже. Не русское население на западе России выше русского по грамотности, на всем юго-востоке — значительно ниже. Интересно также отметить специально рост группы, получившей законченное школьное образование, дававшее право на сокращенные сроки военной службы. По всей России таких новобранцев оказалось в 1876 г. — 1,3% общего числа, в 1886 г. — 4,9%, в 1896 г. — 9,3%. А в земских губерниях эти цифры, начавшись с тех же 1,3% в 1876 г., в конце второго десятилетия (1886) составили 6,3%, а в конце третьего (1896) уже 12,4%: то есть численность получивших право на льготу прогрессивно росла в части России с земским школьным образованием.

По земским статистическим исследованиям 80-х гг., охватившим 20 губерний (114 уездов с населением в 17 миллионов), грамотность крестьянского мужского населения, конечно, оказалась несравненно ниже грамотности призывного возраста. Она равнялась лишь 14,8% вместо 22-30% грамотности новобранцев 1880-89 гг., то есть 85,2% крестьян были неграмотны. Максимум грамотности показало лишь крестьянское населения двух столичных губерний (Петербургская — 27,4%, Московская — 31,9%). Еще ниже — менее чем в пять раз — была цифра женской грамотности; всего 2,7%, причем в 12 губерниях эта разница увеличивалась до 10-20 раз. Земские исследования доказали также безусловную зависимость грамотности от степени благосостояния различных крестьянских групп. Изучение вопроса в двух уездах Московской губернии И.П. Боголеповым (1893 г.) показало, что неграмотность детей школьного возраста в 52% случаев объясняется бедностью и стесненностью "семейных обстоятельств". Лишь в 2,8% случаев относительно мальчиков и в 15,5% — относительно девочек (а всего в 12,6%) нехождение детей в школу объяснялось отрицательным или равнодушным отношением крестьян к школе ("у нас моды нет", или "у нас не принято учиться"); так изменилось то враждебное или недоверчивое отношение, которое нам пришлось отметить в 60-х гг.

Дальнейшие данные конца XIX в. и начала XX в. показывают значительное улучшение грамотности *всего* населения. В 1894 г. в России считалось 70,8% неграмотных; в 1911 г. уже только 61,7%. Перепись 1897 г. установила цифру грамотности всего населения в 21,1%, в том числе мужского пола — 29,3%, женского пола — 13,1% с обычными колебаниями по губерниям. В трех прибалтийских губерниях грамотность поднималась до 71-80%, в столичных губерниях — Петербургской — 55%, Московской — 40%. В центральных она колебалась между 20-27%, в приволжских — между 20-24%.

Таково было положение народного образования к началу революции 1917 г. За короткий "февральский" период революции

это положение успело значительно измениться. Как в 1905 г., тут хлынул сдерживавшийся сверху напор новых требований жизни, преломившихся сквозь призму народных педагогических идей, в значительной степени окрашенных на этот раз политическими тенденциями. Разница с 1905 г. была та, что эти требования предстали перед растерявшейся властью в более обработанном, систематизированном виде и были поддержаны гораздо лучше сорганизовавшимся корпусом учителей народной, а за ним и средней школы.

Собственно, эта борьба с правительственной школьной политикой ведется на всем протяжении между двумя революциями, 1905 и 1917 гг., при посредстве целого ряда всероссийских съездов, с трудом разрешавшихся правительством и с еще большим трудом удерживавшихся в пределах "благонамеренности". Таких съездов, связанных с вопросами педагогики и народного образования, можно насчитать за 1908-13 гг. целых двенадцать. Наиболее значительными между ними были общеземский съезд по народному образованию 1911 г., Всероссийский съезд по сельскому воспитанию (святки 1912-13 гг.), собравший 1253 члена, и самый радикальный из всех первый Всероссийский съезд по вопросам народного образования (святки 1913-14 гг.), на котором участвовало 6507 членов, почти сплошь народные учителя. Борьба между умеренной и радикальной частью педагогов происходила уже на земском съезде 1911 г., исключившем из своей резолюции все политические элементы и все-таки подведшем итог полувековой работы земской школы. Съезд высказался за всеобщее образовательное обучение и за общеобразовательный характер школы, против профессионализма, за наглядность преподавания и за сближение его с жизнью, за упрощение программ и за сообразование их с местными условиями; за сокращение преподавания грамматики и за упрощение правописания; за допущение в начальный период родного языка учащихся, при сохранении, однако, обучения русскому языку с самого начала; за принятие ряда мер физического воспитания и образования; наконец, за повышение образовательного ценза и улучшение материального положения учителей. Съезд обратил также внимание на внешкольное образование и указал на ряд мер для его дальнейшего развития. При всей умеренности этих решений, они все же проводили взгляды прогрессивной русской педагогии.

Съезд по семейному воспитанию пошел дальше и уже заговорил о "коренной реформы всех условий нашей жизни на самых широких демократических началах". Он потребовал и "коренной реформы школы на началах полной автономии", подчеркнул требования о преподавании на родном языке учащихся, о реформе правописания, о введении совместного обучения, он, однако, отказался выдвинуть общественное воспитание за счет семейного и обошел молчанием щекотливый вопрос о рели-

гии в школе. Наконец, съезд народных учителей, начавшийся молебствием и всеподданнейшей телеграммой, развернул радикальную программу школьной реформы до конца. Он потребовал передачи дела начального образования органам земского и городского самоуправления, преобразованным на демократических началах, уничтожения училищных советов, протестовал против бесправия учителей и рекомендовал им объединиться для защиты своих прав в профессиональный союз, резко выдвинул вопрос о "светской школе", осудил обрусительную политику в "инородческой" школе и "антисемитские проявления в школе", потребовал отмены всех ограничений, сословных и национальных, и осуществления прав народных меньшинств на школу, внес новое требование о "широком применении трудового начала в деле воспитания и обучения" и об организации преподавания "на принципе свободной дисциплины и самостоятельности детей". Нечего и говорить, что этот съезд поддерживал прогрессивные требования предыдущих съездов.

С такой подготовкой деятели народного образования перешли в восьмимесячный период февральской революции 1917 г., открывшей для них возможность осуществления самых радикальных их положений, в духе тогдашнего "двоевластия". Представители ряда общественных организаций, как-то: советов рабочих и солдатских депутатов, совета крестьянских депутатов, всероссийского учительского союза, кооперативных, профессиональных и национальных организаций, земского и городского союза и т.д., — собрались по почину учительского союза в апреле на съезд, признавший деятельность министерства февральской революции неудовлетворительной. Они организовали "явочным порядком" "Государственный комитет по народному образованию". Вопрос об утверждении этого комитета правительством так и остался нерешенным до самого октября; один из его членов, Елесов, заявлял в октябре, что комитет "живет, так сказать, на нелегальном положении". Министр Мануилов принужден был стать по отношению к решениям этого "совещательного" комитета в оборонительное положение, и комитет выразил ему недоверие. Со следующим министром, С.Ф. Ольденбургом, комитет работал "в контакте". Связанный с этих пор с временным правительством известной солидарностью, учительский совет стал в оппозицию к захватившим власть большевикам и с декабря 1917 по март 1918 г. вел против них политическую забастовку. Только в середине марта 1289 учителей из 1305 опрошенных высказались за ликвидацию забастовки. 24 декабря 1918 г. учительский союз был закрыт.

Естественно, что, несмотря на борьбу "Государственного комитета" с министерством, большевики оценили его позицию как "соглашательскую" и объяснили ее "мелкобуржуазной народнической идеологией большинства его состава" (социал-революционеры и народные социалисты). "Соглашательством" они

объяснили и "половинчатость" проектов "Государственного комитета". При признании права каждой национальности на культурное самоопределение проект комитета допускал преподавание на родном языке только для младших групп начальной школы. Признавая принцип светской школы, комитет не хотел, однако, изгонять из школы Закон Божий, вводил содержание законоучителей в штат учебных заведений, предоставил право открывать школы профессиональным организациям. Хотя представители учащихся допускались к участию в педагогических советах, но сам педагогический совет определял "круг вопросов, разбирающихся в присутствии учащихся". Провозглашая начало совместного воспитания, комитет сохранял мужские и женские учебные заведения. Естественно, что к деятельности министра народного просвещения левые относились еще более отрицательно. Надо признать, что действительно, в чаду событий этих восьми месяцев, министерство не успело почти ничего сделать для реформы школы. Его внимание было больше обращено на высшую и среднюю школу, чем на начальную. Это выразилось в открытии ряда новых учебных заведений, в улучшении материального положения профессоров и учителей, в смене лиц. Но общая система управления, с попечителями, директорами, инспекторами училищ, формально оставалась прежняя, хотя фактически она переставала действовать. Передача церковно-приходских школ министерству просвещения натолкнулась на сопротивление на местах. Несомненный успех имело только введение нового упрощенного правописания. Вообще же говоря, при общем распаде второй половины 1917 г. и в области школы царило полнейшее самоуправство на местах и, как следствие созданных войной разрушений, далеко пошел материальный упадок школы. Уже перед самым октябрьским переворотом (статья напечатана в ноябрьском номере "Учителя") земский деятель по народному образованию П.К. Казанцев писал о февральском периоде в жизни школы: "Вот уже восемь месяцев, как мечемся как угорелые из стороны в сторону, а воз ни с места... Мне, работнику народного образования, хочется теперь кричать, плакать, биться головой об стенку, ибо я чувствую грядущее одичание страны, которое страшнее немца. Нет учебников, нет учебных принадлежностей, нет книг; классики — единственное наше культурное наследство — исчезли с рынка; школы в течение трех с лишком лет занимаются лазаретами и военным постоем; учителя — частью сидят в окопах, частью обезумели от голода; детишки в течение войны успели окончательно исхулиганиться; в будущем году... кажется, уже окончательно закроют школы и все другие правительственные учреждения... Вот что стоит перед нами, вот что ждет нашу несчастную страну". С таким диагнозом и прогнозом мы вступаем в период советской школы.

Общий обзор, более подробный, начиная с XIX в., см. у проф. Е.Н.Медынского, *История педагогики в связи с экономическим развитием общества*, Т.III, "Русская педагогика" (Раб. просв., 1929). Марксистская точка зрения легко отделима от фактического изложения, основанного на Демкове в *Очерках* и новой литературе, подробно указанной. Общий очерк истории высшей школы см.: в ст. В.С.Иконникова, *Русские университеты в связи с ходом общественного образования*, "Вестник Европы", №№ 9-11 (1876). Пересказ университетских уставов 1804, 1835, 1863 и 1864 гг. и других правительственных мер см.: "Академия Наук и университеты", Вып. I, в компиллятивном очерке П.Ферлюдина, *Исторический обзор мер по высшему образованию в России* (Саратов, 1894). (Подлинные тексты в первом и втором "Полном собрании законов" и "Сборнике постановлений по министерству народного просвещения"). См. также мою статью *Университеты* в Энциклопедическом Словаре Брокгауза и Ефрона. Общий очерк истории средней школы см. в книге Е.Шмида, *История средних учебных заведений в России*, пер. с нем. А.Ф. Нейлисова с дополнениями по указанию автора (СПб., 1876) (печаталось в приложении к Журн. Мин. Нар. Просв. и отдельно); также указанная выше книга Воронова и ее вторая часть: *Историко-статистическое обозрение учебных заведений С.-Петербургского учебного округа с 1829 по 1853 год* (Спб., 1854). См. также архивную работу И. Алешинцева, *История гимназического образования в России (XVIII и XIX век)* (СПб., 1912). Для истории отдельных реформ см.: М.И.Сухомлинов, *Материалы для истории образования в России в царствование имп. Александра I* в "Исследованиях и статьях ", Т.I (СПб., 1889); Н.Булич *Из первых лет казанского университета* (1805-1819). Рассказы по архивным документам, отдельно в 2-х ч. (Казань, 1887 и 1891) и в "Ученых записках казанского университета", за 1875, 1880, 1886, 1890-91 годы; Д.И. Багалей, *Опыт истории харьковского университета* (по неизданным материалам), Т.I, (1802-1815 г.), вып. 1 и 2. (Харьков 1894, 1896); В.В.Григорьев, *Императорский С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования* (СПб., 1870), историческая записка, составленная по поручению Совета университета и вызванная этим сочинением ст. В.Д.Спасовича *Пятидесятилетие С.-Петербургского университета* в сборнике "За много лет" и в Соб.соч. Владимирского-Буданова, *История Императорского университета св. Владимира* (1884). A. Krusenstern, *Précis du systeme, des progrès et de l'etat de l;Instructiin publique en Russie, d'après des documents officiels. Varsovie* (1837). "Записка", представленная Государю гр. Уваровым, *Десятилетие министерства народного просвещения 1833-1843*, (СПб., 1864). Обсуждение реформы 1863-64 гг. см. в официальных изданиях: *Замечания на проект общего устава Имп. российских университетов*, Ч. 1 и 2 (СПб., 1862) и *Дополнение* к замечаниям etc: Н.И. Пирогов, *Университетский вопрос* (СПб., 1863); Журналы заседаний ученого комитета Главного правления училищ по проекту общего устава Имп. рос. университетов (СПб., 1862) (со "Сводами замечаний"); *Своды замечаний* на проект устава общеобразовательных учебных заведений по устройству гимназий и прогимназий (СПб., 1863) и Журналы ученого комитета по рассмотрению этого проекта (СПб., 1863); наконец, *Замечания иностранных педагогов на проекты уставов* (университета и гимназий) (СПб., 1863). C. Woldemar, *Zur Geschichte und Statistik der Gelehrten- und Schulanstalten des K. russ. Min. d. Volkaufklaerung, nach officiellen Quellen. bearbeitet* (St. Petersburg, 1865). Официозное изложение последней универ. реформы см. в книге *Die Reform der russischen Universitaeten nach dem Gesetz von 23 August 1884* (Leipzig, 1886). Полемика по поводу реформы устава 1863 г. указана в статье *Трилогия на трилогию, исторический очерк из современной жизни русского университета* в "Чтениях Общества истории и древностей российских", I (1873). См. также статьи В.И. Герье в "Вестнике Европы", № 4 (1873), №№ 2, 10, 11 (1876) и статьи

Н.А. Любимова, собранные в Т.I его сборника *Мой вклад* (М., 1881). Речи графа Толстого по гимназическому вопросу см. в "Журнале Министерства Народного Просвещения" № 10 (1867); №№ 10, 11 и 12 (1875). Таблица окончивших курс классической гимназии перепечатана в "Русском Календаре" Суворина за 1902 год. Статистическая таблица составлена по Военно-статистическому сборнику, *Россия*, Вып. IV (СПб., 1871); в цитиров. книге Waldemar'а; Карачунского, *Статистике производительных сил России* (Берлин, 1878); статье о народном образовании в издании министерства финансов *Производительные силы России* (СПб., 1896); Материалам для истории и статистики наших гимназий в "Журнале Мин. Народ. Просв.", CXXI. Таблица развития приходской школы до 1836 г. составлена по Крузенштерну. О приходских школах по уставам 1804 и 1828 гг. и о школах министерства. госуд. имуществ и уделов см. Воронова цит. соч.; Семевский, *Грамотность в деревне государственных крестьян Псковской губернии* и Петров, *Очерки по истории грамотности в России*, "Новое Слово", октябрь-ноябрь (1896). Обсуждение устава 1864 г. см., в Журналах заседаний ученого комитета гл. пр. уч. etc., отдел "Об устройстве народных училищ". (Спб., 1863). Статистические данные о школах земского периода см.: *Военно-статистический сборник 1871 г.*; *Статистические сведения по начальному образованию в Российской Империи*, вып. II, данные 1898 г. (СПб., 1900); *Всеподданнейший отчет обер-прокурора Синода за 1898 г.* (СПб., 1901); *Начального русского образования в России*, изд. Вольно-экономич. общества под ред. членов бывшего Комитета грамотности Г.Фальборка и В.Чарнолусского; их же очерк *Народное образование в России*, в приложении к соч. Левассера "Народное образование в цивилизованных странах" (СПб., 1899) и отдельно, издание "Знания". Ср. критическую статью Ф.Ольденбурга, *Заметки по статистике начального образования в России*, в "Журнале Мин. Нар. Просв.", № 3 (1901). Обсуждение проекта обязательного обучения в 1874 г. см. в официальных брошюрах: *О введении обязательного обучения по ходатайствам некоторых земских собраний* и *Выписка из журнала соединенного заседания основного и особого отделов ученого комитета министерства народного просвещения*, 25-го и 26-го ноября 1874 г. (№ 474). Ср. также Н.Карышев, *Земские ходатайства*, (М., 1900). О школах грамоты в 80-х годах см. в книге А.С. Пругавина, *Запросы народа и обязанности интеллигенции в области просвещения и воспитания*, изд. 2-е (СПб., 1895) и у С.А.Ан-ского, *Очерки народной литературы* (СПб., 1894). Там же и о литературе для народа. О воскресных школах см. В.П.Вахтерова, *Внешкольное образование народа* (М., 1891). Общий очерк внешкольного образования в XIX и начале XX в. см. у Е.Н.Медынского, *Внешкольное образование народа*, изд. 2-е, перераб. (М., 1916). Работа А.В. Дубровского издана в *Статистическом временнике русской империи*, серия III, вып. I; *Сельские училища в Европ. России и привислянских губерниях* (СПб., 1894). Новый расчет относительно всеобщего обучения впервые был сделан в "Сборнике статистических сведений по Московской губернии", Т.IX. *Народное образование*, гл. III. Затем последовали реферат И.П. Боголепова (автора предыдущего расчета) на съезде земских статистиков в Москве в 1886 г.; его же статья в "Русск. Ведомостях", № 219 (1887); его же: *Грамотность среди детей школьного возраста в Московской губернии* (М. 1894). См. также статью Я.В. Абрамова, *Земство и народное образование*, "Русск. Мысль", III (1889). Реферат В.П.Вахтерова в исправленном и дополненном виде, а также его дальнейшая полемика по вопросу, собраны им в книге *Всеобщее образование в России* (М., 1908). Проект Лиги изложен с комментариями в книге Г.А. Фальборка, *Всеобщее образование в России* (М., 1908). Примеры из времени перехода школ в ведение земства взяты из исследования А.Д. Повалишина, *Рязанское земство в его прошлом и настоящем* (Рязань, 1889). О русской книге: *Русская книга от начала письменности до 1800 г.*, под ред. В.А. Адарюкова и А.А.Сидорова, Госизд. (1924-25); М.И. Куфаев, *История русской книги в XIX веке* (Л., 1927). О первых опытах изучения читателя и составления программ для народного чте-

ния см. статью И.М. Гревса о "братстве" кружка Ф.Ф. Ольденбурга, "Былое", № 16 (1921) и статью А.А. Корнилова ("о юности Ф.Ф. Ольденбурга"), "Русск. Мысль", VIII (1916); *Историю Санкт-Петербургского Комитета грамотности* (1861-95), сост. Д.Д. Протопопов. Статья о *Комитете грамотности* в Энцикл. Словаре Брокгауза и Ефрона, 30-й полутом. Брошюры и книги Д.И. Шаховского, А.С. Пругавина и Н.А. Рубакина названы в тексте. Результаты изучения читателя см. в книгах Рубакина, *Этюды о русской читающей публике* (СПб., 1893) и С.Анского, *Очерки народной литературы* (СПб., 1894); его же, *Народ и книга* (1914). Доклад Рубакина на съезде в 1904 г. напечатан в сборнике его статей: *Чистая публика и интеллигенция из народа* (СПб., 1906). Об оживлении книжного рынка в предреволюционные годы см. Рубакина, *Книжный поток* (факты и цифры из истории книжного дела в России за последние 15 лет), "Русск. Мысль", III, XII (1903) и IV (1904). Его же *Книжный прилив и книжный отлив* в "Современном мире", XII (1909). О распространении книги в деревне: А.А. Николаев, *Книга в современной русской деревне*, "Вестник знания", 1904, № 8. *Статистический Ежегодник земства Полтавской губернии на 1903 г.* ("Домашние библиотеки сельского населения"). Воронов, *Материалы по народному образованию Воронежской губернии*. Данные анкеты "Вестника Знания", разработаны А.А. Николаевым: *Хлеба и Света*, безпл. прил. к № 71 (1910). Анкета "Нового Журнала для всех" разработана Н.А. Рубакиным в октябрьской и ноябрьской книжках этого журнала за 1911 г. Характеристику деятельности Павленкова, составленную Рубакиным, см. в доп. выпуске к *Сочинениям Д.И. Писарева*. О просветительной работе "Вестника Знания" см. *Десять лет культурной работы журнала "Вестник знания", 1903-1913*, юбилейное издание (СПб., 1913). О грамотности в дореволюционной России см. в Энциклопедическом словаре Ефрона, статья Н.А. Рубакина *Грамотность*, изд. 1-е и 2-е. И.П. Боголепов, *Грамотность среди детей школьного возраста в Московской губернии* (М., 1894). История школы в февральскую революцию 1917 г.изложена по архивным материалам в неизданной работе А.Г. Вигдорова, см. изложение Е.Медынского в т. III *Истории педагогики* . См. также статьи, помещенные в *The Russian series of the Great War*, publ. by Yale univ. for the Carnegie Endowment for International Peace: D. Odinetz и P. Novgorotsev, russian Schools and Universities in the World War. (1929).

V

ШКОЛА НА СЛУЖБЕ ПОЛИТИКИ В СССР

Цель народного образования по Ленину. — Новая школа. — Иностранные источники марксистской педагогики. — Споры о педагогическом правоверии как результат необходимости компромисса со "средой". — Партия определяет задачи "трудовой" школы и "политехнического" образования. _ "Опытно-показательная" школа и трудность перехода к массовой. — Отношение учителей к советской власти. — "Великий переворот". — Разрушение старой школы. — Первоначальные планы Луначарского и неудачи. — Построение "единой" школы и разрыв ее на части. — Борьба с "профессионализмом" и капитуляция. — Судьба "девятилетки". — "Комплексные методы" в программах ГУС'а 1923 года. и в практическом применении. — Опять "среда". — Растерянность учителя и недовольство массы. — Неудачи "комплексов". — "Общественнополезный" труд в школе. — "Детские коллективы" и "пионеры". — Насколько дети поддаются обработке коммунистов? — Уступки ГУС'а в 1927 году. — Перелом в отношении населения к школе. — Рост школьного бюджета и количества школ. — Переход к всеобщему обучению. — Его трудности. — Профессиональная школа: новые типы ее. — ФЗУ, профшколы и "рабфаки". — Пятилетка и проблема кадров. — Решения ноябрьского пленума 1929 г. — Недоверие власти к средней школе и попытки остановить "перепроизводство". — Ее состав. — Боевая политика по отношению к высшей школе и ее профессионализация. — Новая постановка образования в связи с пятилеткой. — Возвращение к "политехнизму" в ФЗС и в школе II ступени. — Боевые темпы 1930 года — Съезд по политехническому образованию. — "Политически-просветительная" деятельность вне школы.

На первом съезде работников просвещения Ленин употребил энергичную фразу: "Победу революции может закрепить только школа". Сидевший возле него официальный руководитель Наркомпроса Луначарский заметил ему на это; "Уж очень вы крепко насчет школы сказали". Ленин пояснил: "Я хотел этим сказать, что воспитанием будущих поколений закрепляется все, что завоевано революцией".

"Воспитание будущих поколений" есть, конечно, понятие более широкое, чем работа учителя в школе. И мы увидим, как марксистская педагогика заменила идею "народного образования" идеей "социального воспитания". Но и при такой расширенной постановке первая роль все же принадлежала народному учителю. И очень часто приводилась другая фраза Ленина: "Учитель в социалистическом государстве должен стоять на такой высоте, на которой он никогда не стоял в буржуазном государстве". Школьное образование и "социальное воспитание" — эти два понятия советским педагогам никогда не удавалось

привести в полное согласие. Как видно будет дальше, конфликт между ними неизбежно вытекал из сопротивления "среды". Но в идее то и другое должно было служить одной цели, намеченной Лениным: созданию нового поколения людей, от деятельности которых зависела степень быстроты превращения России в социалистическое государство и более или менее скорое окончание "переходной эпохи".

Естественно, что эта задача была существенно различна от той, которую преследовали даже самые радикальные педагоги предшествовавшего периода, находившиеся, как мы знаем, в непрерывном конфликте с правительством старого режима и с его попытками опереться на духовное ведомство. Те прежние руководители школы, работавшие в союзе с земством как его "третий элемент", конечно, тоже стремились создать новую школу, построенную на началах, выработанных современной европейской педагогией. Но их взгляды опирались также и на традицию прогрессивной русской педагогической школы. Согласно этим взглядам, школа должна была быть построена на идее общего и одинакового преподавания для всех, на развитии самостоятельности личности и ее природных задатков, на новом понимании школьной дисциплины, на применении новых методов преподавания, цель которых — учить детей не словам, а вещам — и тем будить в них с самого начала самодеятельность мысли и воли, — наконец, на упрощении формальной стороны обучения элементарным навыкам чтения, письма и счета. Многое из этих взглядов и привычек преподавания перешло и к учителям советского периода. Но по мере того как школьному преподаванию ставилась внешняя ему, политическая цель, все эти идеи получили лишь служебное значение для достижения главной задачи. И новейшим педагогам-большевикам пришлось подводить передовые учения мировой педагогии к извне поставленным задачам. Они искали — и нашли — новые авторитеты, дававшие им основание оторвать новую педагогику от старой русской традиции. Но главнейшие из этих авторитетов — авторитеты обязательные — это были, все же, Маркс, Энгельс и Ленин, хотя ни тот, ни другой, ни третий, не занимались специально школьными вопросами. Все равно именно из их попутных и беглых высказываний надо было извлечь начала, способные превратить новейшую европейскую педагогику в марксистскую.

"Чем же питалась теоретическая мысль русского педагога", — спрашивает А.И. Пинкевич, один из наиболее влиятельных теоретиков-марксистов, и отвечает: "Педагогическими трудами иностранных авторов". У кантианца Наторпа они взяли одну из главных основ марксистской педагогики — понятие "*социального воспитания*", рассматривая его, как "обусловливаемого жизнью общности и в свою очередь обусловливающего ее формы". "Человек становится человеком только благодаря

человеческой общности", — эта социологическая истина, в формуле Наторпа, казалась пригодной, чтобы выразить марксистский тезис о "бытии, создающем сознание", конечно, в мягкой форме, подобной той, в которой Плеханов выразил зависимость высших "надстроек" от экономики. Но Наторп был "идеалистом"; его идеи были "облечены в туманную форму высоких идеалов, бесконечного идеала человечества"; он стремился смягчить классовую борьбу, призывал к социальному миру. Все это для марксистов не подходило. Практически для них оказалось более пригодно другое начало, развивавшееся иностранными педагогами: начало *трудовой школы*. Тот же Пинкевич расклассифицировал все иностранные авторитеты, сообразно степени напряженности, с которой они проводили в школе трудовое начало, на три категории. Первая группа — это те, которые признают труд в школе, но "приравнивают его другим методам". Это как раз оказались "буржуазные демократы": Лай (1862-1921), провозгласивший, в противоположность "пассивному" словесному преподаванию в школе, "школу действия", активизм ребенка, выражающийся в самостоятельной переработке "восприятия" в "изображение", — и педагоги-неоромантики, Г. Шаррельман (р. 1871 г.), целиком отрицавший систематическое преподавание в школе и заменявший его, отчасти вроде Толстого, непринужденным сотрудничеством с детьми, при котором "обычные школьные предметы растворяются в целостном преподавании", и его единомышленник Гансберг, провозгласивший наряду с началом свободного творчества детей и учителя также и тот принцип, что в "наш век машин" "современный человек должен уметь мыслить технически". Вторая группа сторонников трудовой школы признает, что "труд занимает *особое* место, как метод и как предмет преподавания". Сюда Пинкевич отнес другую группу "буржуазно-демократических педагогов" и одного "мелкобуржуазного псевдо-социалиста", Зейделя. Первым в ряду демократов назван имевший большой успех у марксистов мюнхенский педагог Кершенштейнер, введший в свою трудовую школу *для рабочих* ручной труд в форме разных ремесел, домоводства, садовых работ (но не труда на фабриках). Он не только писал, но и практически осуществлял свои идеи. Отсюда его популярность, хотя он демократизировал свою школу "для отвлечения широких масс рабочего класса от тлетворного влияния социал-демократии" и не думал распространять ее на подготовку к "чисто духовным" профессиям. Другие практики трудовой школы в Германии, Эртли, Викингер, Пабст, также включены в эту группу. Они, между прочим, ввели в программу трудовой школы общеобразовательные экскурсии, в том числе и на фабрики. Что касается Роберта Зейделя, единственного социал-демократа в этой среде, он первый указал в своей малозамеченной в свое время (1885) книге марксистский подход к педагогике, связав трудовое образование с новейшей стадией экономи-

ческого развития человечества. Но он... провозгласил всех людей "детьми Божьими" и тем проявил свой "мелкобуржуазный" характер.

Следует, наконец, третья группа иностранных проповедников "трудовой школы": та, согласно которой "вся работа школы базируется на производительном труде учеников". Сюда Пинкевич относит, прежде всего, "буржуазного демократа" Дьюи, известного профессора Колумбийского университета, недавно посетившего школы Советской России. Дьюи также исходит из мысли, что современная школа отстала от жизни. Чтобы сблизиться с экономическим строем, оторвавшим людей от домашнего труда, и вместе с тем использовать самодеятельность ребенка, Дьюи делает "производительный труд" центром, около которого располагаются все научные занятия в школе. В процессе работы дети получают массу сведений из географии, естественных наук, истории и т.д. Четверной инстинкт ребенка — социальный, созидательный, исследовательский и художественный — естественно предъявит запрос на эти сведения. "Ребенок должен стать тем солнцем, около которого вращаются все образовательные средства". Однако и Дьюи, со своей "школой жизни", все-таки буржуй, преследующий в школе цель "спайки воедино разношерстных элементов", то есть примирения классовых противоречий; школа для него — орудие демократа в борьбе против "сил, делящих население на классы". Ближе к марксизму стоят отнесенные к этой же третьей группе "мелкобуржуазные псевдосоциалисты", Пауль Эстрейх, вождь "Союза решительных реформаторов школы", основанного в 1920 г. и включившего левых социал-демократов, Зигфрид Каверау, другой член Союза, и анархисты — французский учитель Робэн и Кропоткин. Эстрейх — марксист, противник классной системы; дети должны работать в саду, в огороде, в мастерских, и школа должна "самоокупаться". Труд в школе есть "общественно полезный труд". И все-таки этого недостаточно: недаром "Союз" затушевывает классовые противоречия, дети буржуазии воспитываются вместе с детьми пролетариата, и, отвергая религию в школе, Эстрейх оставляет один свободный день в неделю — для частного преподавания религии.

Словом, русскому марксисту-ленинисту нужна особая педагогика. И Пинкевич прибавляет к трем иностранным группам авторитетов, оказавших пользу советским педагогам, четвертую, состоящую из этих педагогов. Число их весьма значительно, и созданная ими литература так обильна, что обозреть ее здесь нет возможности. Отметим две характерные черты этой литературы. Во-первых, педагоги-марксисты далеко не обнаруживают единодушия в своих достижениях и вступают друг с другом в бесконечные споры, еще более детальные, чем то, что мы видели в области литературы. Более ортодоксальные при этом неустанно уличают в "меньшевизме" менее ортодоксаль-

ных. Так, например, упомянутый выше Пинкевич оказывается на положении Воронского. Он слишком "любит своих педагогических попутчиков". И точно так же защитником его является Луначарский, напоминающий спорящим, что есть вещи, в которых даже и для правоверного марксиста дважды два — четыре. Это напоминание было сделано на диспуте, устроенном коллегией Наркомпроса 3 декабря 1928 г. с участием выдающихся советских педагогов. Докладчиком был защитник самой левой позиции, которая в то же время являлась и официальной, Шульгин. Он особенно настаивал на том, что воспитание создается "неорганизованным" процессом воздействия среды, что на эту среду воздействуют сами дети своим участием в общественно полезном труде, что задача учителя ограничивается "приобщением ребенка к самой настоящей борьбе и к самому настоящему общественному строительству" путем "самоорганизации", "детского движения", что школа должна "овладеть индустриальными и сельскохозяйственными навыками", а не предметами и что вообще школа осуждена на "отмирание", вместе с "переходной эпохой". Отношение этой точки зрения к другим оказалось таково, что Луначарский в заключительном слове обозвал доклад Шульгина "военным танцем ирокезов", причем он хочет кого-то оскальпировать и так как неизвестно кого, то каждый хватается за собственную голову. Педагог-практик Шацкий вывел из этого спора на 11-м году существования советской власти, что споры происходят "вне времени и пространства", а "работать-то мы как раз не умеем" и "барахтаемся сейчас в наших школах, как слепые щенки". Были и другие указания на то, что "хлестко бьет нас эта самая среда" и что "в значительной степени не мы воспитываем, а воспитывает эта среда", конечно, не в духе Шульгина, а "в духе той среды, откуда выходят" дети. Говорил и проф. Моложавый: "Мы выпускаем молодежь из наших рук" и "трагический вопрос, изменяет ли эта сумма знаний действительно поведение подрастающих поколений". Педагог Калашников, единственный из видных, не принадлежавший к коммунистической партии, попробовал было эти самые замечания облечь в форму теории. В своих "очерках марксистской педагогики" он решился сказать, что "даже в эпоху революции воспитательная надстройка не может быть быстро приспособлена к целям новых классов и требует сравнительно медленного эволюционного переустройства ее элементов"; что "существенное изменение государственного строя весьма мало отражается на воспитательных формах" и что "нельзя готовить подрастающее поколение к такому общественному строю, который еще ни в какой мере не сложился в окружающей социальной среде". Конечно, для осуждения этой "либерально-реакционной" ереси собрался весь синклит педагогов и на заседании методологической комиссии Московского исследовательского института научной педагогики 25 декабря 1929 г. и

1 января 1930 г. разбивал "вредные" учения Калашникова, на этот раз уже не споря между собой.

В результате игнорирования этих замечаний о роли среды приходится отметить вторую черту советской педагогической теории и вытекавших из нее практических начинаний: глубокое противоречие между ними и русской действительностью. Признаки этого противоречия мы в дальнейшем будем встречать на каждом шагу.

Основная задача народного образования в советской республике определялась, конечно, не теоретическими спорами и идейными построениями, а постановлениями партии, исходившими из упомянутого выше тезиса Ленина. Программа партии (март 1919 г.) формулировала эту задачу следующим образом: " В период диктатуры пролетариата, то есть в период подготовки условий, делающих возможным полное осуществление коммунизма, школа должна быть не только проводником принципов коммунизма вообще, но и проводником идейного, организационного, воспитательного влияния пролетариата на полупролетарские слои трудящихся масс *в целях воспитания поколения*, способного окончательно установить коммунизм". Далее следовали основные положения, вытекавшие из всего того, за что боролось радикальное учительство до большевистского переворота. Тут значилось: "1) проведение бесплатного и обязательного общего и *политехнического* (знакомящего в теории и на практике со всеми главными отраслями производства) образования для всех детей обоего пола до 17 лет; 2) создание сети дошкольных учреждений (яслей, садов, очагов и т.п.) в целях улучшения общественного воспитания и раскрепощения женщин; 3) полное осуществление принципов трудовой школы, с преподаванием на родном языке, с совместным обучением детей обоего пола, безусловно светской, то есть о свободной от какого бы то ни было религиозного влияния, проводящей тесную связь обучения с общественно-производительным трудом, подготовляющей *всесторонне развитых* членов коммунистического общества; 4) снабжение всех учащихся пищей, одеждой, обувью и учебными пособиями за счет государства... 7) всесторонняя государственная помощь самообразованию и саморазвитию рабочих и крестьян (создание сети учреждений внешкольного образования: библиотек, школ для взрослых, народных домов и университетов, курсов, лекций, кинематографов, студий и т.п.); 8) широкое развитие профессионального образования для лиц *от 17-летнего* возраста, в связи с общими политехническими знаниями; 9) открытие широкого доступа в аудитории высшей школы для всех желающих учиться, и в первую очередь для рабочих... материальное обеспечение учащихся... 10) ...сделать доступными для трудящихся все сокровища искусств"...

Понятие "политехнического" образования и идея "всестороннего развития" были заимствованы в партийной программе

непосредственно от Маркса и Энгельса, то есть принадлежали к "железному фонду" идей, не подлежащих изменению. Энгельс говорил: "Воспитание позволит молодым людям быстро знакомиться со всей системой производства, оно позволит им *поочередно переходить* от одной отрасли производства к другой в зависимости от потребностей общества или их *собственных склонностей*. Таким образом воспитание освободит их от той однородности, к которой вынуждает в настоящее время каждого современное разделение труда между городом и деревней..." Это было, правда, ближе к Фурье, чем к сторонникам сверхиндустриализации. Но Маркс примирил эту основную идею утопистов с машинной индустрией своим утверждением, что "природа крупной промышленности обусловливает перемену труда, постоянную смену функций и всестороннюю подвижность рабочего"... Социалистическое общество "может пойти гораздо дальше, создав поколение всесторонне обученных производителей, понимающих научные основы всего промышленного производства и практически изучивших от начала до конца целый ряд отраслей производства". Это и есть, по составленной Марксом резолюции I конгресса I Интернационала, "политехническое воспитание".

В форме, более соответствовавшей учениям иностранных педагогов, эти основы новой школы были формулированы в "Положении об единой трудовой школе", одобренном I Съездом по народному образованию 16 октября 1918 г. "Основой школьной жизни должен служить производительный труд... не только как метод преподавания, но именно как производительный, общественно необходимый труд. Он должен быть тесно, органически связан с обучением, освещающим светом знания всю окружающую жизнь... Школа является школьной коммуной, тесно и органически связанной по своим трудовым процессам с окружающей жизнью... Старая форма дисциплины не может иметь места в школе труда... Коллективный производительный труд и организация всей школьной жизни должны воспитывать будущих граждан социалистической республики. Обучение в трудовой школе носит *общеобразовательный политехнический характер*, на общих ступенях, причем физическому и эстетическому (позднейшая вставка) образованию отводится видное место".

Все это было очень хорошо — на бумаге. Но даже на Западе новые педагогические идеи применялись лишь в исключительно благоприятных условиях, обыкновенно по частному почину какого-нибудь энтузиаста — создателя какой-нибудь из новых систем, поддержанного небольшим кружком просвещенных родителей, соглашавшихся вверить своих детей авторитетному экспериментатору. За границей эти новые школы были наперечет. Дьюи сам признавал, что только 8 школ на пространстве Северо-Американских Соединеных Штатов он может считать свои-

ми. И в России также попытки создания новой школы были, но это тоже были единичные случаи, исключительно в столицах, и имена педагогов-инициаторов были всем известны.

Ничего другого на первых порах не могли предпринять и большевики. Их первые попытки свелись к устройству или поддержанию готовых уже "опытно-показательных" школ. Эти школы обыкновенно и показывались иностранным педагогам, приезжавшим в Россию, в качестве примера огромных успехов, достигнутых в короткое время новой властью. Немало этих случайных наблюдателей уезжали из России в твердой уверенности, что были свидетелями эксперимента, величайшего в мире и единственного в истории.

Однако же советская власть серьезно думала распространить эти опыты нового воспитания на всю Россию. Ее расчеты сразу же натолкнулись на непреодолимые препятствия. Первым из них было отсутствие корпуса учителей, готовых служить созданию нового коммунистического поколения. Вторым была невозможность для этой власти поддержать даже тот уровень, какого достигла школа в довоенный период, ввиду общего распада, разорения и величайшей нужды в годы гражданской войны.

Что касается учителей, мы уже видели, что тотчас после октябрьского переворота всероссийский учительский союз выступил активно против большевиков и был в конце концов распущен. Это положение не могло сразу перемениться. Во время гражданской войны, пока была надежда свергнуть большевиков, учителя продолжали стоять на стороне их противников. Зиновьев еще в 1925 г. напоминал учителям, что они организовали в Казани отряд помощи "народной армии" и приветствовали приход "белогвардейцев"-чехословаков. На том же съезде другой оратор объяснял эту позицию тем, что "около 50% сельского учительства — выходцы из духовного звания, сынки и дочери попов". Ленин был более снисходителен, когда, предвидя необходимость обратиться к тем же учителям, извинял их тем, что эти "сотни тысяч учителей в деревнях" — "забиты, запуганы кулаками, заколочены до полусмерти старыми царскими чиновниками" и потому "не могут, не в состоянии понять принципов советской власти". Наконец, встречаем и идеологическое объяснение поведения учителей "наивными увлечениями народническим социализмом, которые в прежние годы усиленно поддерживались в сельском учительстве эсерами" (Ингулов). Влияли, конечно, все эти мотивы: социальная среда, и инерция подчинения, и народническая идеология. Период военного коммунизма, бывший, как увидим, и периодом разгрома дореволюционной школы, конечно, не мог изменить этого настроения учительства, тем более что до провинции и не скоро доходили вести о переменах, происходивших в центре.

Для отсева неблагонадежных учителей Государственная комиссия постановила — не позже конца июля 1918 г. произвести

во всех "советах народного просвещения" перевыборы учителей на основании их заявлений, сопровожденных надлежащими удостоверениями, а также и "рекомендацией политических партий" и "изложением своих педагогических и общественно-политических взглядов". Эта чистка должна была определить физиономию и состав учителей новой школы.

Перелом в политическом настроении учительской среды наступил лишь со времени НЭПа. На первых порах он выразился в переходе от открытой враждебности к "нейтралитету". Но учительство не составляло одного целого. В его среде были немногочисленные группы, давно настроенные в пользу большевиков: такими были союз учителей-интернационалистов и союз работников просвещения и социалистической культуры. Из этой среды и заговорили от имени всего учительского состава о примирении. Сверху имели полный интерес затушевать различие между этим авангардом и остальным корпусом, а среди учителей также усилилась склонность не подчеркивать разногласий, когда власть принялась за восстановление школы и обеспечила учительству возможность хотя и скудного существования. На почве этих обоюдных умолчаний и состоялся худой мир, заменивший добрую ссору.

Новый "Всероссийский союз работников просвещения" организовался уже в 1919 г. как профессиональный союз. Наученный опытом "всероссийского коммунистического союза учителей", организованного в 1918 г. в противовес союзу забастовщиков, но потерпевшего неудачу, потому что предъявлял каждому члену политические требования, — "союз работников просвещения" объявил, что принимает членов "без различия политических и религиозных убеждений". В то же время он обещал сочленам экономическую поддержку. По отношению к власти он воздержался от объявления себя "нейтральным"; напротив, он обещал "принять активное участие в строительстве рабочего класса" и помочь своим сочленам, по слову Ленина, "пройти практически школу коммунизма". По уставу союз "воспитывал и подготовлял своих членов к... осуществлению коммунизма через диктатуру пролетариата". Это было достаточно гибко, чтобы примирить "безразличие" убеждений с перспективой превращения учителей в членов коммунистической партии. Очень скоро явилась возможность показать и выгоды присоединения учителей к профессиональному движению. "Ставка заработной платы городских работников просвещения, — сообщал А.А. Коростелев I Всероссийскому учительскому съезду, — равнялась 11 р. 48 к. В 1921 г. эта ставка равнялась 25 руб.: повышение за это время в два с лишним раза. Сельские работники в 1922 г. получали 6 р. 33 к. В 1924 г. эта ставка была 24 р. 57 к.: повышение в 387%". "В результате хлопот союза, — утверждал тот же Коростелев, — в 1922-23 гг. на зарплату работников просвещения было отпущено (по общему и местному бюджету) 50

млн.руб.; в 1924-25 гг. — 167 млн.", то есть более чем втрое[1]. Кроме того, на пополнение дефицита в местном бюджете прибавлено в 1923-24 гг. 4,5 млн., а в 1924-25 гг. уже 14 млн.руб. И притом, "эти достижения, конечно, не окончательны". Далее, союз улучшил правовое положение учителей, приостановил практиковавшиеся на местах увольнения учителей перед каникулами, урегулировал "переброски" их с места на место, даже пытался защитить "верующих учителей" от исключения из союза "за выполнение религиозных обрядов"[2].

Такая постановка дела, естественно, привлекала в ряды "Союза" все больший и больший состав учителей. "Союз учителей-интернационалистов" 1918 г. включил почти исключительно активных работников Наркомпроса. К концу 1918 г., однако, он насчитывал уже до 12000 членов, составлявших "революционный авангард" учительства. В это время оппозиционный ВУС, насчитывавший до 45000 членов в июне 1918 г., был распущен. На учредительном съезде "Союза работников просвещения и *социалистической культуры*" 28 июля 1919 г., которым "союз интернационалистов" решил заменить свой, было представлено, благодаря профессиональной позиции, занятой учредителями, уже 70000 организованных в местные группы и отделы учителей. Наконец, в начале 1921 г., после второго всероссийского съезда, союз отбросил "социалистическую культуру" и, приняв вышеописанный вид, приступил к массовой работе. Тогда же и правительство обратило на него внимание, начав ему покровительствовать. Получилось положение, которое на одной уездной учительской конференции перед всесоюзным учительским съездом 13 января 1925 г. было формулировано так: "Мы, партийная организация, находимся как бы в роли жениха, а вы, учительство, как бы в роли невесты". "Жених", в лице Зиновьева, встретил "невесту", то есть съезд, в бархатных перчатках, и "невеста" не оказалась чересчур "разборчивой". "От имени сотен тысяч ("250000", говорит другая декларация) беспартийного народного учительства, тысяч волостных собраний и конференций" делегаты заявили, выслушав обращение правительства, что учительство "безоговорочно принимает

---

[1] В дальнейшем жалование учителя продолжало возрастать, но все же было значительно ниже жалованья других профессий. "Народный учитель" (1929, № 9) дает следующую сравнительную таблицу (в рублях):

	1925-26	*1926-27*	*1927-28*
Учитель	32	39	45
Врач	"	75	90
Участковый агроном	73	83	93
Лесничий	80	80	90
Землемер	103	140	140

[2] XIII съезд РКП постановил в своей резолюции о народном просвещении: "Лица, посягающие на свободу веры и богослужения для граждан всех вероисповеданий, должны быть подвергаемы строгому взысканию".

над собою руководство со стороны партии" и "знает, что руководимая коммунистической партией советская власть есть подлинная власть трудящихся, власть широчайших народных масс". Так совершился "великий перелом" в массе сельского учительства, окончательно порвавшего со своими эсеровскими городскими руководителями. Сорок пять членов принесли индивидуальные покаяния. "Съезд дал... не оставляющий никаких сомнений ответ: учительство с нами", — объявило правительство. В дальнейшем число членов Союза уже непрерывно росло. В 1923 г. их было 382000, в 1925 г. — 551000, в 1926 г. — 710000, в 1927 г. — 754000 и в 1928 г. — 798000 (считая тут и служащих при школе — около 25% и студентов педагогических учреждений — около 8%). Правда, сделать из них коммунистов не удалось. Еще в 1927 г. из сельских учителей только 4,8% принадлежали к коммунистической партии; из городских — только 5,6%. Руководство союзом, конечно, находилось всецело в руках учителей-коммунистов.

В 1920 г. было произведено по 32 губерниям обследование образовательного ценза 111906 учителей первой ступени и 14105 — второй. Оно дало следующие результаты (в скобках проценты):

	Школы 1 ступени	Школы 2 ступени
Среднее светское законченное	46390 (41,4)	3441 (24,4)
" " незаконченное	11159 (10,0)	267 (1,9)
" духовное законченное	15265 (13,6)	444 (3,1)
" " незаконченное	2067 (1,9)	86 (0,6)
Специальное педагогическое	15482 (13,8)	1668 (12,0)
Высшее законченное	2197 (1,9)	5000 (35,3)
Высшее незаконченное	1390 (1,2)	1072 (7,6)
Домашнее	2551 (2,3)	211 (1,6)
Низшее	" "	963 (6,8)
Неизвестно	2328 (2,0)	953 (6,7)

С этой стороны, таким образом, препятствий для организации в стране новой школы более не представлялось. Оставалось одолеть другое препятствие, заключавшееся в факте развала *старой* школы, к которой, надо признать, большевики, в бурях гражданской войны, проявили полное равнодушие. Это было, впрочем, понятно ввиду, прежде всего экономических затруднений, которые переживали большевики в эпоху "военного коммунизма". Даже простое поддержание начальной школы на достигнутом до революции уровне требовало продления весьма значительных денежных ассигнований, которыми она питалась не только из государственной кассы, но и из закрывшихся теперь местных и частных источников. А всякое движение вперед от этого уровня, в направлении всеобщего образования, взятом до революции, предполагало дальнейший огромный рост бюджета. У советской власти на первых порах не было никакого

бюджета — и некогда было думать о таком второстепенном для удержания власти предмете, как народное образование. Поэтому она просто предоставила существующую школу самой себе, в результате чего и получилось ее быстрое разрушение. Впоследствии сами большевики не жалели мрачных красок для описания того тяжелого положения, в котором эта школа оказалась в годы гражданской войны и в ближайшие следующие за ними. Учителя не получали даже того ничтожного жалованья, которое им полагалось. Они зимой "ходили из дома в дом, чтобы кормиться", летом нанимались в работники, читали псалтырь по покойникам и т.д. Школьные помещения ветшали или забирались для правительственных нужд; школьных пособий — бумаги, учебников, досок и т.п. — неоткуда было достать ни за какую цену. Местное население не брало на себя не только той части расходов, в которой отказывало правительство, но не хотело платить и своей прежней доли. Официальные "договоры" с учителем не исполнялись или заменялись частными, более льготными. Школы не отапливались. С 1921 г. было приказано — и формально — отнести содержание школ на "местные фонды". Но таковых еще не было. Отсюда те трагические картины положения школ, которыми полна тогдашняя литература. На XIII съезде коммунистической партии, то есть в 1924 году, вдова Ленина, Крупская, представила одно из таких описаний, как вполне актуальное. Она основывалась при этом на документальных данных: на обследованиях, предпринятых Наркомпросом в семи разных губерниях (Псковской, Гомельской, Тамбовской, Пензенской, Саратовской и двух областях — Уральской и Чувашской) и ЦКК через 149 сельсоветов и 60 волисполкомов. Картина получилась "кошмарная, ужасающая". "Перед нами разваливающиеся здания, нетопленые классы; окна, заколоченные досками вместо стекол; дети, жмущиеся друг к другу в комнате учительницы, одетой в лохмотья. За отсутствием досок — учитель пишет на стене; за отсутствием лавок — дети сидят на полу; нет ни бумаги, ни чернил, ни книг. Госиздат издает массу учебников... Но до деревни не доходят все эти учебники. Она живет старыми учебниками, оставшимися от дореволюционного времени. Вот собрали крестьяне 50 пудов ржи. Учитель поехал в город, ткнулся в госмагазин, купить ничего не смог — цены совершенно неподходящие. Попал на базар и на 50 пудов купил 20 старых учебников... Крестьяне и больше денег ни на пособия, ни на учебники не собирали. Карандаш стоит 10 ф. хлеба, букварь стоит 1 пуд хлеба"...

"И все это, — докладывает Крупская, — не есть исключительный случай". Напротив, хорошая школа составляет *редкое исключение* в современной России".

Таковы были ресурсы, с которыми народное просвещение вступало в период НЭПа. По признанию Луначарского, это был самый тяжелый момент в истории советской школы. Он, конеч-

но, оговаривался, что "было бы неправильно говорить так, что НЭП принес с собой глубокий кризис 21 года", этот "черный порог". "Нет, этот кризис должен был прийти сам собою" как неизбежный результат такого положения, когда "учителя голодали" и разбегались, а "новое на месте старого сломанного осуществлялось туго и часто в уродливых формах". Однако, Луначарский не снимает ответственности "с политики правительства". "Когда правительство решило начать настоящее скупое, расчетливое хозяйство, — говорит он, — когда оно лишило нас всяких иллюзий и надежд (см. выше заявление Луначарского) и определенно указало, на какие скудные средства мы должны впредь существовать и работать, то это, конечно, обострило или, вернее, выявило и оголило таящийся кризис... Так называемый переход на местные средства был, конечно, ужасающей катастрофой. Веревка, на которой висело дело народного образования, сверху, от казны, оборвалась, и дело это упало в бездну, в болото, ибо никакой опоры снизу, из местных средств, оно получить не могло".

В результате мы присутствуем при следующей картине дальнейшего падения школы. (Число учреждений без Сибири и республик; в скобках — число учащихся):

	Школы 1 ступени	*Школы 2 ступени*	*Семилетки*
1 января 1921	76052 (6,0 млн.)	3719 (0,41 млн.)	
1 апреля 1922	61340 (4,9 -"-)	2224 (0,33 -"-)	203 (52 тыс.)
1 апреля 1923	50357 (3,6 -"-)	1565 (0,29 -"-)	498 (119 -"-)
1 октября 1923	43568 (3,3 -"-)	979 (0,23 -"-)	608 (160 -"-)
1 июня 1924	42783 (3,0 -"-)	866 (0,21 -"-)	651 (164 -"-)

Подводя итог разрушения школьного дела за время "военного коммунизма", сам глава ведомства, Луначарский, приходил в совершенный ужас, как видно из его речи на X съезде Советов. Он утверждал, что, начиная с 1921 г. число школ постоянно уменьшается, причем в некоторых губерниях уменьшение составляет до 60%. Число школ на 22 октября 1922 г. было, по его показанию, 55000, а учащихся в них 4750000. Сравнивая эти цифры с довоенными (1915 г. — 116234 школы с 8039867 учащимися, — цифры по Министерству Народного Просвещения; но из них на послевоенной территории СССР осталось только 104610 школ с 7235988 учащимися), находим, что начальная школа погибла на 41-47%[3].

Подойти от этого положения к построению новой школы было нелегко. Принципы, на которых она была построена, как мы видели, были провозглашены партией и учебным началь-

[3] По другим данным, в 1921- 22 и в 1922-23 гг., то есть в голодные годы, закрылись 27000 школ и оставалось на 1923-24 год 87559 школ с 6808157 учащимися. Если цифры Луначарского относятся только к РСФСР, то действительная убыль школ по всей территории СССР должна была составить около 25-15%. В 1927-28 гг. насчитывалось уже 116373 школы с 10503000 учащимися.

ством уже в 1918-19 гг. Но самые эти декларации показывали, что основы новой марксистской школы далеко не выработаны еще самой властью. Луначарский при вступлении в должность Народного комиссара просвещения еще говорил в своей декларации 11 ноября 1917 г. об "истинной демократической организации просвещения" и неосторожно ставил ближайшей задачей "добиться *в кратчайший срок всеобщей грамотности*, всеобщего обязательного и бесплатного обучения". Он подчеркивал "идеал... возможно более высокого образования для всех граждан" и защищал традиционную позицию русской педагогии, единую школу с "естественным переходом по всем ступеням, вплоть до университета", "вне зависимости от степени зажиточности семьи". Он подчеркивал, что "расходы на народное просвещение должны стоять высоко" и обещал "щедрый бюджет просвещения". Он формально устанавливал, наконец, свою идейную связь с "лучшей частью русской интеллигенции" и звал ее "работать вместе" (28 ноября 1917 г.). Созданную за несколько дней до этого воззвания Государственную Комиссию по просвещению он составил по образцу Государственного Комитета Февральской революции и передал туда "целый ряд ценных проектов, разработанных этим комитетом, демократическим по своему составу, богатым опытными специалистами", для пересмотра и "проведения в жизнь без канцелярской волокиты, в революционном порядке", "не предрешая" при этом "воли Учредительного собрания". Управление делом народного образования должно было быть децентрализовано.

Не прошло, однако, и года, как управление это было централизовано в Государственной Комиссии, с участием представителей разных организаций; одной из задач ее становилась выработка "общих принципов" и соответственного "плана организации школьного устройства" (декрет 26 июня 1918 г.). Демократическую точку зрения очень скоро сменила "классовая". "Мы не можем стоять на старой точке зрения аполитического просвещения, не можем ставить просветительную работу вне связи с политической, — заявил Ленин на совещании 3 ноября 1920 г. И отдел "внешкольного образования", считавшийся, по словам Крупской, "самым острым, самым жизненным" тогда, был в этом же году (1920) переименован в "политико-просветительную работу". В том же боевом порядке было объявлено (26 декабря 1919 г.), что население от 8 до 50 лет "*обязано* обучиться грамоте". С другого конца, в высшей школе, тогда же (2 августа 1918 г.) отменен всякий ценз, кроме возрастного, для поступления в высшую школу, 16 октября 1918 г. появилось и общее "Положение о единой трудовой школе", по которому эта школа делилась на две ступени: пятилетку для детей от 8 до 13 лет, и четырехлетку — от 13 до 17 лет. Об основных началах этой школы мы упоминали выше. Для осуществления намеченного плана все учебные заведения всех ведомств переходили в

ведение Наркомпроса. К 2- и 4-классным начальным училищам прибавляли дополнительный год для их превращения в пятилетку" (первая ступень). То же происходило и с четырьмя классами гимназий (включая приготовительный). Четыре старших класса (4-7) образовали школу второй ступени; 8 класс упразднялся.

Далее последовал ряд новых реформ в учебном деле. Прежде всего, перестроена система управления: общее руководство отделено в Государственный ученый совет (ГУС) от финансов и администрации. Затем, несмотря на всю предыдущую идеологию, со всевозможными оговорками введена была платность обучения. Так как "договоры" с населением, сохранившееся от дореволюционного времени, теперь "исполнялись туго, и учителя ставились ими в трудное и унизительное положение", то, "учитывая крайне тяжелое материальное положение республики, X Съезд Советов установил, в виде временной меры, рассчитанной только на тяжелый переходный период, введение платности в школах 1 и 2 ступени... с перенесением тяжести на более обеспеченные слои населения"[4]. В то же время, так как замечено было, что особенно охотно содержат школу на свой счет кулаки, ЦК РКП предложил "не допускать непосредственной связи между школой и обывательскими организациями". Этого самого принципа держалась еще власть старого режима относительно земских школ: плати, но не вмешивайся. Чтобы прекратить путаницу неподготовленного учительства в методах "трудовой школы", ГУС наконец издал примерные программы осуществления этой школы для руководства учителям, хотя и сохранив некоторую свободу применения их к местным условиям.

К этим программам мы скоро вернемся, но предварительно остановимся на вопросе, как была применена на практике главная часть первоначального плана: учение о единой общеобразовательной школе.

Употребляя выражения Луначарского, и в этой части "иллюзии и надежды" идеологов новой школы осуществлены не были. Весь план пришлось понизить, чтобы сблизить "иллюзии" с действительностью. Устав 1918 г. был заменен новым уставом 18 декабря 1923 г., который отказался от ряда первоначальных "иллюзий". В нем уже не говорится ни слова ни о всеобщности, не о бесплатности (за исключением "пролетариата") обучения, ни о нейтральном отношении к религии, которое заменено обязательной пропагандой безбожия как официальной доктрины. Устранена также и полная свобода преподавания; а единоличное управление школой поставлено над школьным "советом" и над автономией учащихся.

---

[4] На практике платили именно одни "буржуазные" родители. В 1925 г. платящих было 40,7% всех учеников, в 1927-м это число упало, как и состав "буржуазных" детей, до 27%. Плата была высокая: 160-300 руб. в год.

"Единый план" школы при этом рассыпался на части, очень напоминающие николаевскую систему 1828 г., а общеобразовательный принцип должен был значительно потесниться, чтобы дать место профессиональному. При всех этих изменениях из-за прежней общегуманитарной и "демократической" вывески выглянули собственные практические цели новой власти. Надо прибавить, однако, что самая вывеска при этом снята не была. Так же как в вопросе о платности, переход от "единства" к разорванности и от общеобразовательного идеала к профессионализму был, по возможности, затушеван. В толстых "педагогиках" и трактатах о "социальном воспитании" вы очень часто ничего об этом не найдете — или найдете одни лишь глухие отклики.

Остановимся, прежде всего, на "единстве" школы. Здесь большевики сразу отказались от проведения первоначального деления школы на две ступени, пятиклассную *низшую* и четырехклассную *высшую*, — обе одинаково "всеобщие" и обязательные, по уставу 1918 г. Для массовой школы, которую приходилось создавать из училищ, не дотянувших даже до 4-классного низшего типа, пятиклассная начальная школа была слишком высока и громоздка. Даже сниженная, она, как увидим, была значительно выше предъявляющихся населением запросов. И пришлось вернуться, в общих чертах, к той организации, которая, как мы знаем, уже проводилась в жизнь законодательством Государственной Думы. В основу было положено *четырехклассное* народное училище, к которому подтягивались, но далеко еще не подтянулись, предшествовавшие типы начальной школы — земской, городской, приходской, железнодорожной и т.д.; во многих из них было только три или даже два класса. За этой "четырехлеткой" должна была следовать "семилетка", в которой к первым четырем годам прибавлялись еще три. Эта вторая ступень (или "первый концентр второй ступени") соответствовала прежнему "высшему начальному (четырехклассному) училищу", сокращенному, однако, на один класс. Наконец, третьим, высшим типом становилась "девятилетка", где прибавлялись еще два класса: этот тип соответствовал прежним восьмиклассным реальным училищам и гимназиям, но без восьмого класса и с двумя приготовительными.

Другой ряд уступок сделан был началу профессионализма, более понятному для населения, чем туманное понятие "политехнической", общеобразовательной школы. "Политехнику" попросту стали понимать как "многоремесленность". Но интерес населения, стремившегося возможно скорее научиться какому-нибудь ремеслу, совпал с практическими задачами большевиков, которым нужны были, в сущности, не ученые, а ремесленники. Первый толчок в этом направлении дал украинский Наркомпрос, по мнению которого политехнизм был "утопичен и нереален". На Всеукраинском II совещании по народному просве-

щению нарком Гринько доказывал, что очередные задачи России — это поднятие промышленности, восстановление транспорта и т.д.; что на гибнущий капитализм Европы "рассчитывать нельзя" и что необходимо прежде всего и теперь же "спешно готовить специалистов разных областей народного хозяйства". "Политехнизм" — это хорошо в партийной программе, как "направляющая звезда, путеводный маяк" для далекого будущего; а в настоящем нужна не "единая трудовая", а ограниченная определенным заданием профтехническая школа. Ленин созвал тогда специальное совещание (31 дек. 1920 — 4 янв. 1921 г.), на котором украинцы доказывали, что лозунг трудовой школы нежизнен и требует пересмотра. Прения были бурными и закончились компромиссом: большинство совещания согласилось понизить начало профессионального образования с 17 лет, как требовала программа партии, до 15. Этим осуждались на гибель два высших класса, делавших из "семилетки" "девятилетку". Ленин был шокирован этим решением, и напечатал в "Правде" статью, в которой обвинял профессионалистов в незнании программы, а их доводы назвал "сплошным вздором". Он допустил, однако, в конце концов, снижение до 15 лет, как *временную* меру, вызванную "нищетой и разорением страны". Луначарский в одной статье презрительно заметил, что "общее образование до 15 лет и выбор профессии в 15 лет могут позволить себе только крайне варварские и бедные страны". Но это брюзжание не помогло делу. Украинцы провели у себя свою линию, ограничив общее образование "семилеткой". А РСФСР, по признанию Луначарского, "пошел по этому пути с осторожностью и сократил немного девятилеток".

Этим "немногим" профессионалисты, однако, не ограничились. Был поднят вопрос вообще о смысле существования "девятилетки". У Пистрака находим *политическую* мотивировку, враждебную этой школе. Взгляд на девятилетку, как на подготовительную ступень в университет (к "вузу") есть "вредный предрассудок", свойственный "инертному составу учителей бывших гимназий", продолжающих держаться "привычных представлений о так называемом среднем образовании", и социальному составу этой школы — "старо-интеллигентскому, буржуазному, мещанскому по идеологии, который традиционно ищет возможности окончить гимназию, чтобы выйти в люди". На самом деле, "школа второй ступени не может быть только ступенью к вузу": оттуда "весьма малый процент окончивших поступает в вуз... основная же масса заканчивает II ступенью свое образование". Действительное положение дела было иное: большинство кончавших девятилетку просто *не могли* попасть в вузы по ограниченности приема и вследствие конкуренции рабфаков (см. ниже). Так, в 1926-1930 гг. число оканчивавших вторую ступень и девятилетку колебалось от 57 до 60 тысяч, а свободный прием в вузы был ограничен 11-13 тысячами, то есть

около 80% кончавших "среднюю школу" просто не могло попасть в высшую. Не было, очевидно, более и основания называть ее средней. Бывшая "гимназия" превращалась в школу с законченным курсом образования, получала другую "целевую установку" — в направлении "практизации", к чему и приспособлялись разные профессиональные "уклоны" ее двух последних классов (16-й и 17-й годы возраста). Попытки удержать после этого общеобразовательный характер этих классов превращались в чистое лицемерие.

Но, помимо отсечения "девятилетки" от "вуза", и низшие ступени квази-"единой" школы были тоже отсечены одна от другой. Возможность свободного перехода из низшего типа в высший становилась и тут совершенно фиктивной. Каждый тип школы становился законченным и замкнутым сам в себе. Уже в виду переполненности "семилеток" переход туда из "четырехлеток" был возможен только в исключительных случаях. Лишь для 3-4% кончавших четырехлетку могло найтись в ней место. При том же программа и уровень выучки в четырехлетке — особенно деревенской — были значительно ниже соответственных младших четырех классов "семилетки". В свою очередь и "семилетка" обособилась в отдельный тип школы: программа последнего года в ней, в конце концов, была установлена иная, чем в седьмом классе "девятилетки". Свобода выбора образования была, таким образом, снова ограничена. Выбирать жизненный путь приходилось с детства, как и в дореформенной школе.

Разбив на куски "единую" школьную нить, "практики" сделали и следующий шаг. Они сообщили каждому отделившемуся звену роль подготовительной школы к окончательному выбору профессии. Прикрыв доступ из каждого типа в высший, они зато открыли выход в соответственные профессиональные учреждения. Из "четырехлетки" можно было идти в низшие профессиональные школы и в школы "фабрично-заводского ученичества" и "крестьянской молодежи". Здесь было место примерно для 10%, кончавших "четырехлетку". "Семилетка" давала право поступления в "техникум" с трехгодичным курсом. Наконец, "девятилетка" сама, как мы видели, в последние два года ("второй концентр второй ступени") давала, помимо подготовки к университету, также и профессиональную выучку. Прикладной характер всей этой постройки подчеркивался следующей формулой украинского официального органа: "нам нужны в государственном строительстве массы квалифицированных сознательных рабочих... Это — низшее образование. Нам нужны техники-специалисты высшей квалификации... Это высшее (среднее) образование. Нам нужны организаторы высшей квалификации... Это специальное научное образование..." Дифференция функций здесь проводится со строгостью муравейника или пчелиного улья.

Сообразно с этой переменой школьной политики, большевики вспомнили и о технической школе дореформенного периода, о которой забыли в первые годы увлечения педагогическими "утопиями". С 1888 г. существовала, благодаря Вышнеградскому, целая система технических учебных заведений. Перед войной (1914) на территории будущего СССР числилось 2877 низших и средних технических школ с 266982 учащимися. Из них в 1918-19 гг. оставалось (в европейской части РСФСР) 1500 проф. школ с 33259 учащимися. Декрет 29 января 1920 г. исправил признанную Луначарским "ошибку". Было вновь открыто "главное управление профессионального образования" ("Главпрофобр") и введена (20 июля 1920) упомянутая выше система, сходная с системой 1888 г.

В конце концов, общеобразовательный характер закреплялся только в низшей школе, предназначенной для народной массы. Но здесь общее образование сталкивалось и приходило в конфликт с другой струей, нам уже известной: с задачами "социального воспитания". Объединить то и другое, образование и воспитание, должен был чудодейственный новый метод "комплекса", вместе с другими, его сопровождающими. В последнее время советские педагоги-теоретики предпочитают, впрочем, говорить не о "комплексном *методе*", а о "комплексной *системе*". Они рассчитывают, очевидно, что видоизмененная терминология предохранит массового учителя от многочисленных недоразумений и извращений, созданных прежним туманным термином.

Что такое "комплексовый метод"? Автор специальной работы о "методах комплексного преподавания", дожившей до 6 издания (1925), Соколов признает, что даже в советской педагогике этот термин выплыл как-то неожиданно. "Когда Цектран в 1920 г. обратился в Центральный педагогический институт с просьбой написать небольшую брошюру по этому вопросу в 1-2 печатных листа, педагогическая секция Института была поставлена в большое затруднение, — рассказывает он. — Ей пришлось искать материалы не в книгах, а в непосредственной практике опытно-показательных учреждений". В результате этих поисков у самого автора появился целый ряд сомнений, которыми мы и поделимся с читателем. Оговорим, что за эти сомнения Соколов подвергся осуждению ортодоксальных педагогов.

Прежде всего "комплекс" — в том, что в нем есть верного, — не нов. Основная мысль его — "объединить содержание школьной работы между преподаваемыми предметами" — "стара, как сама педагогика". В России еще Ушинский выдвинул идею "концентрации" преподавания. Он сделал таким центром, вокруг которого объединялись другие предметы, родной язык. Причины были понятны: они были и педагогические, и практические. С педагогической точки зрения язык есть единственный

предмет, знакомый школьнику до поступления в школу: на нем и надо строить. Практическая цель (о ней Соколов не говорит) состояла в необходимости расширить слишком узкую программу начальной школы старого режима. Путем "объяснительного чтения" можно было передать ребенку любое конкретное знание — по литературе, морали, естествоведению и т.д. Этим путем и проводилась в то время в школу просветительная контрабанда. И самый метод сообщения сведений путем свободного, непринужденного разговора (метод Шаррельмана) был привычен прежнему учителю, практиковавшему "объяснительное чтение". Но "новая школа", как мы знаем, на этом не останавливалась. Она требовала не школьных "сидячих" разговоров, а выхода школы в жизнь — не словесных пояснений учителя к книге, а накопления ребенком собственных опытов, в порядке самодеятельности. В таком порядке не только естествознание, история, география, арифметика, но и самый язык переставали быть предметом отдельного преподавания. Знания, вместо систематического изложения, сообщались мелкими клочками. Получалась "лоскутность", против которой первые восстали естественники. Они потребовали возвращения к "концентрации", но уже не вокруг родного языка, а вокруг изучения окружающей природы, в соединении с деятельностью человека. Для "трудовой" школы такая постановка была очень удобна: в такую "концентрацию" можно было легче ввести требуемые "трудовые" процессы в школе. Для работ среди природы — в саду, в огороде, в поле было необходимо знание ручного труда, столярного, слесарного ремесла и т.д. Так, вместо "лоскутной" системы занятия по этому способу должны были вестись "пачками" около живых предметов: корова, мышонок, колодец, река, стрекоза, рыба. Эти "пачки" и есть "комплексы".

Тут, однако, являлись новые возражения. Еще вопрос, можно ли заинтересовать ребенка окружающей обстановкой, хорошо ему известной. Мальчики предпочитают экскурсиям на Воробьевы горы путешествия по Альпам, а крестьянские девочки мечтают выйти замуж за герцога. Те и другие любят сказки и фантастические приключения. Надо уметь затронуть фантазию и любопытство ребенка. Иначе новый метод вызовет ту же пассивность и скуку, как и старый. Самый же крупный недостаток метода тот, что при нем упускается преподавание отдельных предметов и сообщение элементарных навыков. "В результате — обычное явление: орфографическая неграмотность, отсутствие навыков в счете. А география, литература, история, в угоду методу, почти изгоняются из школы". Мы видим, какие серьезные возражения вызывал "комплексный метод" даже у советского специалиста. А вводить его приходилось не в образцовой школе при помощи опытного, талантливого педагога, а в школе, которую мы знаем по описанию Крупской, и с известным нам составом сельских учителей.

Не будем останавливаться на различных способах разрешить все эти затруднения в "опытных" школах, пытавшихся применить к русской практике методы Лая и Дьюи, порознь или вместе. Рядовой русский учитель в годы этих колебаний был вполне предоставлен самому себе — и совершенно растерялся. Он понимал, что старая школа должна быть заменена какой-то новой. Но какой именно, он не знал; а общие начала марксистской школы применить на практике не умел. Конец этому недоумению хотели положить официальные программы Государственного ученого совета" (ГУС'а), обсужденные специалистами и изданные в 1923 г. Учителя спорили, следует ли исходить в преподавании от программы или от самодеятельности ребенка. А ГУС решил, что надо исходить из *цели* воспитания. Цель эта нам известна: в последнем счете, это — создание нового коммунистического поколения.

С педагогической точки зрения, основная цель программы ГУС'а была, конечно, иная. Программы преследовали цель — устранить такие случайные "комплексы" отдельных самоучек-преподавателей, как "колодезь", "кошка" и т.п. Программы ГУС'а привели комплексы в систему и распределили их в известном порядке между четырьмя годами школы первой ступени. Но основной мыслью этой классификации комплексов было — сосредоточить все преподавание четырехлетки около излюбленных положений марксистской школы. Таких положений было намечено три: трудовая деятельность человека, как центр; изучение производительных сил природы, на которые направлена эта деятельность, и тех общественных отношений, которые создаются в процессе трудовой деятельности. Это тройное делений комплексов, заимствованное у бельгийского педагога Деклори и голландского Лигтгарта, было предложено Крупской. Его значение для *марксистской* программы — очевидно.

В первом издании 1923-24 гг. преподавание по программе ГУС'а должно было вестись по трем "колонкам": в центре "труд"; по бокам — "природа" и "общество". Центральной "комплексной" темой первого года обучения должна была служить "Трудовая жизнь *семьи* в деревне или городском квартале". По сторонам ее "времена года" и "семья и школа". На второй год центральная тема: "Трудовая жизнь в деревне или городском квартале", а по бокам: "воздух, вода, почва, культурные растения и животные и уход за ними". В третьем году: "Хозяйство местного края", а в боковых колонках плана: "элементарные наблюдения из физики и химии, общественные учреждения губернии или области, картины из прошлого местного края". Наконец, на четвертый год: "Хозяйство РСФСР и других государств", а по бокам: "география россии и других стран, жизнь человеческого тела" и "государственный строй России и других государств, картины из прошлого человечества". Все это

предлагалось внушить ребенку в возрасте от 8 до 12 лет! В следующие три года марксистская подкладка программы становилась уже совершенно откровенной, и вместе с тем выяснялась, что дело идет уже не о самодеятельности ученика, — для чего, собственно, и рекомендовался комплекс передовой педагогикой, а просто о пассивном усвоении коммунистического мировоззрения. Так, на седьмой ступени ученик должен был усвоить, что "советская система — переход от капитализма к коммунизму" и т.д.

Естественно, что такая программа вызвала уже не отдельные сомнения, вроде соколовских, а общий предварительный вопрос, который и был поставлен другим педагогом, Н. Иорданским. "Своевременно ли в период только что изживаемой разрухи и налаживания местного школьного бюджета ставить вопрос о *массовой* трудовой школе? Есть ли для нее какие-нибудь реальные возможности? Не проще ли — и не отвечает ли больше действительности — ограничиться поддержкой немногих опытных учреждений... и ждать нескольких лет результатов их опыта?" Нарисовав известную уже нам картину недостатков существующей школы, Иорданский указывал и на тот необходимый минимум благоустройства ее, без которого, очевидно, программа ГУС'а была просто невыполнима. Он, однако, отдавал предпочтение "благоприятным симптомам". Правда, учительство — "малосознательно, инертно, тяготеет к прошлому". Дети — "еще не дети революции". Население мелкобуржуазно. Но... ничего, везде имеются и признаки грядущей перемены. "Комплекс не применим целиком в наших школах, бедных средствами и силами". Но ведь он не применим и "ни к одной стране в культурном мире"! Учитель "не может серьезно и глубоко проработать программу ГУС'а"? Ничего, "помогут местная власть, общественность, кооперация". Новая школа "снижает успехи учеников"? "Зато она дает жажду самообразования". "Где кабинеты и лаборатории"? "Первая лаборатория — сама жизнь".

С такими настроениями подходили официальные педагоги к внесению трудовой школы экспериментального типа в массы. На все сомнения педагога-практика педагог-теоретик (в данном случае проф. М.М. Рубинштейн) отвечал одним решающим соображением. "Единственным правдивым критерием в данном случае может быть сознание, что мы вступили в новую полосу жизни, когда нужен новый человек, человек характера, большой самостоятельности, большой волевой и социальной культуры, борец и творец и т.д. — одним словом, сознание всего того, что наше время объединило под названием трудовой школы... Трудовая школа есть не просто школа данной эпохи... она есть выражение огромных исторических итогов, выражение воли к новому человеку, к новой культуре и новому содержанию образования". Во всей книге Рубинштейна нет ни одного указания на русскую действительность. Но зато в ней очень много указа-

ний на то, что "Гербарт говорил", как "Гербарт правильно отмечает" и т.д.

Как же реагировала действительность, нам уже известная, на все эти педагогические мудрствования? Едва прошел год после введения "трудовой школы" по первому уставу 16 октября 1918 г., как с мест стали поступать (конец 1919 г.) известия, что там ничего не делается. Из Владимирского уезда, например, местный отдел сообщал, что, вследствие отсутствия денег на введение трудовых процессов в школе, преподавание происходит по-старому". В Меленковском уезде "преподавание ведется по-старому. Учительство мало подготовлено к занятиям по-новому; относится пассивно к проведению школьной реформы". Муромский уезд "за отсутствием инструкторов остался почти незатронутым". В этом уезде "нет подготовленного педагогического персонала, кредитов, приборов и материалов для введения трудовых процессов". Из Рязани писали, что "подавляющее большинство учительства второй ступени относится к школьной реформе с крайним нерасположением". Из Симбирска сообщают: "Учительство почти в полном объеме не осведомлено о принципах трудовой школы", и "во всех школах преподавание ведется по старым, архаическим методам". Почти повсеместно отнеслись отрицательно к отмене религиозного преподавания. Из Олонецкого и Вытегорского уездов сообщали, что в 40% (133 и 137 случаев) ни учительство, ни население не пожелало исполнить декрета. Краткосрочные педагогические курсы (летом 1919 г. более 200, летом 1920 г. до 300) делу не помогали; иногда сами инструкторы хорошенько не знали, что они должны преподавать. С осени 1919 г. все учительские семинарии были закрыты и заменены трехгодичными курсами для взрослых. К 1 января 1921 г. таких курсов было уже 176, да годичных 89 ("высших" было еще 58). Учащихся во всех них — 30.000.

Это, однако, немногим улучшило положение. Оно стало еще труднее для учителя, когда начальство приступило систематически к применению новых методов. Имеется бесконечный ряд указаний на полную неудачу применения комплексного метода в массовой школе. "Лишь немногие, — свидетельствует защитник этого метода Е.И. Перовский, — да и то робко и неуверенно, сразу приняли его, почувствовав в нем один из решающих элементов новой школы... Гораздо больше было отрицающих, и уже совсем неисчислима была масса непонимающих. А все вместе не знали, что делать. По-старому учить как будто бы было нельзя, по-новому же, по "комплексному методу", было непонятно и страшно". В результате "принципы новой школы в течение первых лет смогли обосноваться лишь в лучших опытных школах. Массовую же школу эти принципы практически мало тронули. Их прицел оказался выше материальных и, главное, персональных возможностей тогдашней школы... Поэтому, и под вывеской "трудовая" наша школа продолжала рабо-

тать над *навыками* — почти так же, как она работала над ними до Октября". "Программы ГУС'а, — прибавляет к этому В.Н. Шульгин, — пытаются и не без успеха проходить по-старому. С внешней стороны все благополучно, все на своем месте: есть и "комплексы", и "местный материал", и диаграммы, и даже как будто бы знания у учащихся. А между тем все только внешность, на самом же деле нет ничего. Нет самой сути, нет связи с практическим делом... Комплексы изучаются по книгам, в классе". Признает наш педагог и то, что, не усвоивши новых принципов и "не сумев стать социально-трудовой ячейкой", массовая школа перестала давать и элементарные "навыки", какие давала старая школа. "Что положение здесь действительно плохо, это едва ли подлежит сомнению... — говорит он. — Ученики, кончающие школу I ступени и не умеющие делать даже простейших операций с десятичными дробями, ошибающиеся в действиях с числами до тысячи, ставящие на каждой странице своего письма по несколько десятков ошибок, — это горький факт наших дней". Но зато, смело утверждает он, вместо "формальных навыков", языковых и математических, новая школа стремится дать другие, "жизненно-практические" навыки: "производственно-технические, социально-организационные, ориентировочные", каких не имелось в программах работ нашей старой начальной школы". А именно *эти-то* навыки и проводят "марксистское миропонимание" в школу. "Схема ГУС'а, — подтверждает и другой педагог Пистрак, — есть марксистский подход к современности"; на ее основе "у нас будет вырастать система коммунистического воспитания".

Отклики снизу, однако, также показали, что цель эта отнюдь не достигается. Когда крестьянин видел, что зачастую на третьем году обучения ученик не может прочесть *объявления* или написать необходимое заявление, то "это вызывало естественное раздражение и недоверие к новой советской школе". "Наиболее волнующее и острое, — говорит педагогический официоз, — что затрагивали буквально все крестьяне, беседовавшие с нами о школе, — это об умении читать и писать". А ведь предполагалось, что на четвертый год ученик трудовой школы должен уметь написать "самое трудное и сложное письмо, дать отчет, вести протоколы митинга, составить петицию, написать доклад о сделанной работе, вести книги" и т.д.

Вот беседа с деревенским учителем, показывающая, к чему приводило экспериментирование над учениками по новейшим методам — и это при *желании* педагога добросовестно выполнить приказания. "Сперва мы ввели метод *самодеятельности*; ученики должны были делать сами". А обучение? "Признаться, никакого обучения не было... Дети слишком уставали, чтобы учиться... Потом был введен другой метод — метод "*дискуссии*", замененный "методом *лабораторным и активного труда*", тесно связанным с "*экскурсионным* методом". Затем насту-

пила очередь "*концентрационного* метода". Впрочем, мы не останавливались долго на "*комплексном* методе" и перешли к "*дальтоновскому* плану"... Почти применили его на практике, но тут вмешались крестьяне и потребовали, чтобы учеников "действительно чему-нибудь учили". Теперь я пытаюсь плюрализировать все эти методы: дети развиваются, толкуют о всякого рода вещах... Но, к несчастью, со всеми этими методами они не научаются читать и писать... Но я не смею учить их по-старому, а из новых методов ничего не выходит. Когда инспектор посещает нашу школу, он видит, что в ней нет ни книг, ни бумаги, ни карандашей. А он спрашивает: "Учите ли вы по комплексному методу? Организуете ли вы экскурсии?"

Не все учителя, однако, были так послушны. Многие пытались спасти школу, не слушаясь начальства. Вот свидетельство Луначарского. "Большинство школ перешло на предметный метод, считая, однако, что они применяют комплекс, потому что он вкраплен в преподавание. Программа у них приблизительно такая: "овца, арифметика, письмо и т.д... "Овца" — это оказывается комплекс; овцу они приносят в жертву этому методу, а потом учат по старинке..."

Справедливость требует, однако же, признать, что выход советской педагогики из школьной комнаты на улицу, так пагубно отозвавшийся на систематическом ("сидячем") преподавании и на приобретении навыков письма и счета, имел и свои положительные стороны. Первая из них, это то действие школы на окружающую среду, которое марксистская педагогика подводит под понятие "общественно-полезного труда". Без сомнения, при отсталости русской деревни школа не может не явиться тем "светочем" среди окружающего мрака, о котором говорили еще земские деятели (см. выше). В советской педагогической литературе имеется несколько классификаций этого рода деятельности: классификация Бернштейна — на 27 групп, Пинкевича — на 9 групп, Перовского — на 5 основных групп и т.д. Для простоты берем последнюю, тем более что у Перовского к каждому отделу и подотделу подведены и соответствующие факты из жизни школы. Мы видим здесь, что в области "хозяйственной деятельности" были случаи охраны учениками леса, луга, улучшение содержания скота, куроводства, борьбы с вредителями, улучшения землепользования, огородничества, садоводства — даже переделов земли. В области "благоустройства" школа начинала с приведения в порядок своего собственного участка, чинила дороги и т.д. В области "санитарногигиенической" школа боролась против деревенской антисанитарии, не только пропагандируя соответственные знания и навыки, но и вмешиваясь активно в охрану чистоты питьевой воды, стремясь улучшить домашнюю жизнь ребенка, борясь с источниками заразы и т.п. В области "культурно-просветительной" школа устраивала спектакли и вечера чтения, содействовала ликвидации безгра-

мотности, создавала ясли и сады для дошкольного возраста, наконец, защищала свои приемы от возражений крестьян: "Занимались бы лучше делом, читали, писали, задачи считали", а то "нечего вам делать в школе: вот и ходите по полям да по лугам".

Во всем этом нет, конечно, ничего специфически-марксистского. Но элемент коммунизма появляется на сцену, когда школу заставляют проделывать "общественно-политическую работу": устраивать революционные праздники, проводить политические "кампании", бороться с религией, участвовать в избирательных кампаниях и т.д. Большевики именно для этой последней отрасли работы создали особые ячейки детей-пионеров и "коммунистической молодежи" (комсомол). И именно здесь они встретили сопротивление деревенской "среды". Возник, конечно, и педагогический вопрос: насколько возможно за "общественно-полезной" работой забывать дело преподавания. Более умеренные педагоги, как Пинкевич, советуют школе работать "в меру сил". Более радикальные готовы пожертвовать школьными "навыками" для "социальных".

Есть, наконец, и другая положительная сторона "новой школы", в которой полезная сама по себе — и не новая — мысль была доведена марксистской педагогией — до крайностей. Это — организация и деятельность самоуправляющегося "детского коллектива" в школе. В какой степени учитель должен открыто или скрыто удерживать в своих руках "бразды правления" над коллективом — и в какой степени он может не только предоставить коллектив самому себе, но и допустить его власть над самим учителем? И по этому вопросу велись острые споры. В первом "утопическом" периоде декрет 1918 г. прямо запрещал какие бы то ни было наказания в школе и давал детям решающий голос в педагогических советах. Это, конечно, привело, на первых порах, к полному хаосу. И декрет 1923 г., как вы видели, внес в положение полную перемену, отдав всю власть в школе назначенному местной властью главному учителю. С этих пор детскому "самоуправлению" старались придать другое направление — на работу вне учебных часов и вне школы. Но, как только что замечено, "общественно-полезная" работа в этом направлении скоро осложнилась вмешательством партийных задач, проводимых через упомянутую организацию "пионеров". Зародившись в 1922 г., когда она насчитывала всего 4000 ребят, эта организация уже к ноябрю 1924 г. имела в своих рядах более 600 тысяч, а к 1928 г. достигла 2 миллионов. Устроенная по образцу бойскаутов, эта организация постепенно была направлена всецело на выполнение партийных задач. Педагоги, как В.Н.Шульгин, советовали власти в этом отношении не стесняться. Надо "беспощадно бороться в школе": "в семью, на улицу нашу идеологию должны *нести дети* и разбивать, крушить, переделывать прошлое". Мы

уже знаем, какое значение хотели дать "пионерам" в борьбе с религией.

В *настоящем*, во всяком случае, по признанию самих этих педагогов, результаты далеко не полны. Так, научно-педагогический институт опросил 8000 детей в возрасте от 9 до 16 лет, как живут СССР с другими странами, какая разница между красной армией и другими и зачем нужно ГПУ. Цель вопросов была ясна, и тем интереснее ответы. Конечно, *формально*, дети ответили в большинстве, как требовалось. 77% пионеров и непионеров признали "враждебность" международных отношений, 59-57% признали красную армию "классовой" и 89-86% заявили, что ГПУ "нужно". Но в то же время 47-51% находили, что отношения СССР с другими странами *должны* быть мирные, и только 38-35% оказались милитаристами. Это отразилось и на мотивах признания красной армии. А по отношению к ГПУ 53-45% ограничились объяснением инициалов ГПУ, 7% смешали ГПУ с милицией и 19-30% дали абсурдные ответы ("Городской Потребительский Уезд" или "Главное Пароходное Управление" или "это куда поступают жалобы"). По всем вопросам довольно значительный процент уклонился от ответа: по первому 3-6%, по второму 7-12%, по третьему — 12-15%. Эти данные, вместе с теми, которые мы сообщили по вопросу об атеизме (см. выше) очень ярко показывают, в каком незаконченном виде находилось на 12 году существования СССР состояние детского гипноза. Конечно, надо прибавить, что с приближением от 9 лет к 10 детский "пацифизм" падает (с 63 до 35%), а воинственность поднимается (с 20 до 55%). И трудно сказать, в какой степени семья, внешкольные влияния, собственное здоровое чувство самосохранения подрастающего поколения смогут предохранить его от систематического напора из школы, заставляющего ребенка дать и выполнить формальное обязательство бороться с семьей и доносить на старших.

Ознакомившись теперь с тремя главными сторонами деятельности новой советской школы (профессионализм, новые методы, самодеятельность учеников), мы должны признать, что эта деятельность не исчерпывается одними неудачами. Мы указали уже на ее положительные стороны. Что касается отрицательных сторон, ярко подчеркнутых практикой, нельзя считать, что к этой стороне советская власть осталась совершенно нечувствительной. В своих собственных интересах — и, конечно, не жертвуя ими, — она старалась сделать свою школу наиболее эффективной. С другой стороны, и учительство постепенно привыкало мирить новые методы с требованиями житейского опыта. Получая со всех сторон сведения о неприложимых к жизни сторонах своей системы, Наркомпрос пошел на более или менее значительные уступки. Эти уступки, в затушеванном, по возможности, виде, мы находим в новом, пересмотренном издании программ ГУС'а, появившихся в 1927 г. Прежде

всего, новое издание отказалось от распределения учебного материала по упомянутым выше трем колонкам: природа, труд и общество. По вопросу о том, как соединить "трудовую" деятельность школы с приобретением в ней элементарных навыков, программы 1927 г. повели довольно извилистую линию. С одной стороны, они признали, что без специальных упражнений приобретение "навыков" невозможно. Допускаются и отдельные часы для тренирования в орфографических и математических навыках. Но допускать эти отступления можно лишь как пережиток, объясняемый неопытностью учителя. Вообще же надо уметь "увязывать" формальные навыки с комплексным материалом, и выдвигать их на первое место не следует.

Однако же даже и такая компромиссная программа вызвала возражения, которые в дальнейшем привели к ее новому пересмотру. Известный нам В.Н. Шульгин нашел в программах 1927 г. "правый уклон". "Выхолостили содержание программ, правильно говорила Крупская, — напоминал он. — В программах 1927 г., в "новом", "стабилизированном" варианте, было вычеркнуто самое существенное, самое основное — борьба за мировоззрение. Под крики "борьба за навык" выкидывался обществоведческий материал, ослаблялась борьба с религией, меньше уделялось внимания колхозу, совхозу, социалистическим формам хозяйства в деревне, совсем почти было выкинуто интернациональное воспитание и затушевано самое упоминание об идущей классовой борьбе в городе и деревне".

Однако как раз все эти черты обещали закрепить улучшенные взаимоотношения между школой и населением. "Переломным" моментом явилось тут, как и в других областях, наступление НЭПа. Отношение населения к советской школе, вначале бывшее неблагоприятным, с этих пор постепенно изменилось. Конечно, эта перемена объясняется не столько изменением отношения к большевикам, сколько вообще потребностью населения в образовании, которая тут могла проявиться свободнее, чем прежде. По свидетельству Луначарского, изменение отношения к школе становится особенно заметно с 1924-25 гг. Еще в предыдущем году, 1923-24 гг., даже первые две группы сельской начальной школы оказались недогруженными. А в 1924-25 гг. население начинает "осаждать" школу. В этом году сеть школ первой ступени выросла с 46071 до 51180, то есть на 11%. А количество детей в них поднялось с 2761255 до 3811508, то есть на 39%. Одному учителю приходилось заниматься с 100-120 учащимися. То же самое подтверждает в своей брошюре Н.К. Замков. "После переломного 1923-24 гг. деревенские школы загудели, — говорит он, — наполнились до отказу... Сплошь и рядом 8-9-летки сидят рядом с 12-14-летками. За один 1924-25 учебный год в РСФСР в деревенских школах открылось около 15000 новых школьных групп, то есть свыше 17000 нормальных комплектов по 40 чел. Но, несмотря на это,

стихийно стали расти не только договорные, но и своеобразные "подпольные" школы, совсем ускользавшие из поля зрения органов народного образования. В 1925-26 г. открыто около 10000 школьных комплектов; ассигновано около 10 млн.руб. на помощь... поровну из государственного и местного бюджетов". Но тот же автор указывает и пробелы этого интереса населения, удовлетворявшегося *низшими* классами школ I ступени. "Прошлогоднее статистическое обследование, — замечает он, — показало, что еще очень долго четырехкомплектная школа *не будет* для деревни нормальным типом школы. Даже обычных двухкомплектных в СССР оказалось всего 31,5% общего числа, и обучалось в них только 37,9% всех учащихся, 56,7% школ в деревне — *однокомплектные*: в них обучается 35,1% всех учащихся. Учителя там перегружены (больше 40 учеников на учителя); прием — через год". Отсюда выход: введение обязательности обучения будет возможно лишь при условии непременного достижения нормального 4- летнего срока обучения". Из других источников мы знаем, что дети посещали школу вместо 4 лет в среднем только 2,4 года. Таким образом, высчитывает официоз, "современная школа дает элементарное образование лишь четверти (23,6%) поступающих в нее детей, вся же остальная масса уходит из нее, вероятно, с навыками простой грамотности, причем значительная часть, около трети (30,3%), выбывая после первого года обучения, может стать в ряды безграмотных". Надо прибавить, что особенно несклонны к продолжительному учению оказались дети "бедняков", выходящие из школы уже на втором году в количестве 69%. Дети крестьян "середняков" выбывают на третьем году (63%) и только дети "зажиточных и служащих" остаются в школе на четвертый год.

Начиная с 1923-24 гг. растут и ассигнования на народное образование и количество школ. Мы уже знаем, что в тяжелые годы правительство переложило тяжесть расходов по народному образованию на местные средства. Мы видели, что из этого вышло. При окончательном устройстве школы нельзя было не вернуться к распределению расходов между государственным и местным бюджетами. При этом государство принуждено было взять на себя и долю местного расхода по особо интересовавшим его статьям, как увеличение платы учителям, ликвидация неграмотности, школьное строительство (впервые этот "субвенционный" фонд внесен в бюджет 1924-25 гг. в сумме 17 миллионов. Быстрый рост бюджета, государственного и местного, на народное образование виден будет из следующих цифр (в миллионах рублей)[5].

---

[5] Цифры составлены из нескольких источников, которые не совсем сходятся друг с другом и сами с собой (Луначарский, Педаг. Энциклопедия, Нар. Просв. в СССР за 1928-29). Ганс и Гессен дают совсем другие цифры, поднимающиеся за 1923-24 до 1927-28 гг. с 102,8 млн. руб. до 280 млн.руб. по государственному

	Государственный	*Местный*	*Прочие источники*	*Всего*
1922-23	45	36	~	81
1923-24	56,6	114,8	~	171,4
1924-25	76,2	168,0	~	224,2
1925-26	96,3	215,0	~	311,3
1926-27	?	?	?	695,3
1927-28	335,0	513,0	181,0	1029,0
1928-29	379,0	676,0	224,0	1279,0

В государственном бюджете эти расходы составляли за последний год 3,7%, а в местном — 30,3%: в сводном бюджете — 11,7% (в бюджете 1914 г. было 31,4%). Абсолютная цифра превысила ассигнования 1914 г. почти в 2,5 раза. Но и эти цифры официальный отчет признает "далеко не достаточным подъемом и в абсолютном выражении, и в темпе". В самом деле, в докладе VI съезду заведующих отделами народного образования о бюджете 1928- 29 гг. Ходоровский заявлял, что неудовлетворительность работы "упирается, главным образом, в бедность просветительных учреждений, в крайнюю слабость их финансов — материальной базы... В смысле финансовой базы, — говорил он, — мы далеко еще не закончили даже восстановительного периода". Мы поймем эти жалобы, если заметим, что главный процент расхода приходится на плату учителям (не менее 50%) бюджета, а между тем учитель получал в среднем в 1928-29 гг. до 58 руб. в месяц. Официальный отчет признал это вознаграждение "явно недостаточным", отметив притом, что "материальное положение преподавателей улучшалось крайне медленно"[6]. Собственно на учебные расходы оставалась ничтожная доля, и еще меньшая на ремонт и строительство. По отдельным частям школьного и внешкольного образования расходы двух последних упомянутых лет распределялись следующим образом (в миллионах рублей):

	1927-28	*1928-29*
Общеобразовательная школа (социальное воспитание)	587	655
Профессиональная ("подготовка кадров": вузы, техникумы, ФЗУ и т.д.)	225	340
Внешкольное образование ("Политпросвет": ликвидация неграмотности и т.д.	141	185
Научные учреждения	66	75
Кино, радио, печать	10	16

бюджету и с 161,4 млн. до 576 — по местным, а всего с 264,2 млн. до 848,7. Я сохраняю цифры своей таблицы; если нет ошибки в моих сопоставлениях, то разногласие надо отнести на счет советской статистики.

[6] В 1922 г. учитель получал всего 4,38 золотого руб., в 1926 — 32 черв. рубля, что в переводе на золотую валюту составляло 40-50% довоенного содержания. По расчету 1925 г. ставка учительского жалованья составляла 75% самой низкой ставки промышленных рабочих.

Исходной точкой для роста количества школ и учащихся также надо считать переломный 1923 год. В этом году насчитывалось в РСФСР 45742 школы соцвоспитания и в них 3993570 учащихся (в том числе школ 1 ступени 43568 с 3343205 учащимися). На 1 января 1924 г. их было уже 63406 с 5270000 учащимися. Статистика ЦСУ показывала для всей России в 1923-24 гг. цифру 87258 учреждений с 7075810 учащимися. К 1925-26 гг. эти цифры выросли до 100748 учреждений (96% числа школ 1914 г.) и 9468830 учащихся (130% учащихся 1914 г.). В 1927-28 гг. число учащихся в единой школе разных типов дошло до 11344,9 тыс.; в 1928-29 гг. — до 11975,2 тыс. За этот последний год приведем данные по школам и по местностям:

	Учреждений			*Учащихся (в тыс.)*		
	город	село	всего	город	село	всего
Школы I ступени	6498	108237	114735	1142,1	7671,8	8813,9
Семилетки	2961	2746	5707	1293,9	775,5	2071,4
Девятилетки	857	89	946	599,7	35,4	635,1
Самостоятельные школы II ступени	694	203	897	285,7	43,0	328,7
Всего	11010	111275	122285	3321,4	8527,4	11849,1

Осенью 1928 г. было принято в начальную школу 29615 тыс. учащихся, а 316000, то есть 10% подавших заявления отказано за недостатком мест. Это свидетельствует о том, что приток в школу увеличивался быстрее открытия школ. Главным образом, этот приток идет из деревень. Это сказывается и в том факте, что в деревне, особенно на Украине, рост школ идет быстрее, чем в городе. Главный спрос, конечно, по прежнему, — на низшую школу. В девятилетке учились в 1928-29 гг. только 9,4% соответственного возраста в селах и 60,1% в городах. Но и для того, чтобы удовлетворить эти потребности, в Украине пришлось с 1923 г. увеличить количество девятилеток на 264%.

В прямой связи с возрастающими требованиями населения на школу решено было вновь поднять вопрос о всеобщем обучении. Мы знаем, что уже первая декларация Луначарского (29 октября 1917) объявила о введении этого "истинно-демократического начала" "в кратчайший срок". Но только в 1923 г. Наркомпрос вернулся к этой мысли и вместе с ЦСУ начал подготовительные работы. 20 августа 1923 г. Совнарком утвердил закон о всеобщем обучении и установил предельный срок для его введения — через 10 лет, в 1933-34 гг. Следующий, 1924 г. был употреблен на разработку "ориентировочного плана" и на согласование его с Наркомфином и с Госпланом. После этого Совнарком 31 августа 1925 г. издал декрет "о введении всеобщего начального обучения", с которого и можно вести начало реального осуществления плана. В основу был положен проект Государ-

ственной Думы: 40 учащихся составляли комплекс на одного учителя; радиус школ тоже принят трехверстный. Проектировался государственный строительный фонд и развитие сети педагогических техникумов для подготовки учителей. Однако дело, по-видимому, двигалось медленно, и еще год спустя Совнарком счел нужным дать ему дальнейший толчок. Собранные материалы были рассмотрены в заседании 24 сентября 1926 г. и на сессии ВЦИК XII созыва (5 ноября). В результате ВЦИК принял 19 ноября 1926 г. постановление "о мероприятиях по введению" и т.д. Здесь констатировалось, что срок введения всеобщего обучения, установленный 31 августа 1925 г., находится под "угрозой", что темп роста школы "отстает от все возрастающих культурных запросов населения", что выразилось и в последнем учебном году "массовым наплывом в начальную школу, который не мог быть удовлетворен". Этот наплыв, очевидно, обеспокоил правительство по причине, высказанной тогда же в официальном органе Наркомпроса. "Потребность крестьянства в начальном образовании —, говорилось там, — настолько велика, что оно, не считаясь с затратами, *через голову* отделов народного образования, открывает новые школы. Мы стоим перед *опасностью выпустить вожжи* из своих рук. Открытие договорных школ является для нас серьезным предупреждением. Открывая договорные школы, крестьянство стихийно ускоряет темп развития народного образования и *корректирует советскую систему*... Часто они (эти школы) становятся орудием антисоветской политики в руках кулацких элементов деревни". Этот мотив подействовал сильнее, чем "истинно-демократические" "иллюзии" Луначарского. ВЦИК предлагал теперь "всем комиссариатам просвещения поставить в центре всей просвещенческой работы" введение всеобщего обучения "в намеченный срок". Работа по составлению школьных сетей и оперативных планов должна была быть закончена к 1 апреля 1927 г., то есть в четыре месяца. Наркомпрос должен был определить необходимую цифру расхода государственного и местного. При этом ставилась еще задача сопроводить количественный рост школьной сети качественным. Школа должна была стать *действительно* доступной для детей "наименее обеспеченных слоев населения" — путем бесплатного снабжения их учебниками, обувью, одеждой и, где необходимо, общежитиями. Недостатком всего этого объяснялся, как известно, огромный процент "отсева" из школы детей бедноты. Далее принимался ряд мер для обеспечения школьного строительства.

Задача была не легкая. Вспомнили и про работы Думской комиссии и про проект "кадетской" Лиги Образования. Сообразили, что школьные здания, в сущности, "амортизированы" за ветхостью и вместо ремонта требуют новой постройки и что на одно это, при организации 83000 недостающих комплектов, пойдет не менее 1,5 миллиардов рублей. Окончательный расчет

по одной РСФСР (без АССР) устанавливал общий расход в пятилетие на введение всеобщего обучения в 1874257 тыс.рублей. В это число входили:

На 79231 новый комплект (по 381 руб.)	30202 тыс.руб.
На 141241 существующие комплекты оборудование и дооборудование (по 170 руб.)	24031 тыс.руб.
На новое строительство и капитальный ремонт (вместе с общественной инициативой)	498873 тыс.руб.
Фонд заработной платы учителя вырастает с 133211 тыс. до	282000 тыс.руб.
Учебно-хозяйственные расходы с 27104 тыс. до	77113 тыс.руб.

И т.д.

Но что этим достигалось? Предложение школьных мест в пять лет поднимается с 6187200 до 8890100. А спрос в тот же срок дойдет до 9482000. Теперь обеспечены местами 75% детей школьного возраста (99,3% в городе, 68,8% в деревне). Тогда будут обеспечены 93,8% (отдельно по деревне 89,8%). Теперь "отсев" достигает в 2-ой группе 19,3%, в третьей 28,4%, в четвертой — 36,6%. Тогда, по предположению авторов плана, отсев снизится до 9,2%; 14,4%; 18,9%. "Бедноте" будет оказана помощь в размерах 24 руб. на каждого из 617000 детей, а всего учится 8,9 млн. При всей оптимистичности расчетов, получается все-таки нехватка. Но это ведь только *официальные* расчеты. Другие специалисты ещё менее оптимистичны насчет введения всеобщего обучения. На VI съезде заведующих отделами народного просвещения по докладу М.С. Эпштейна была принята следующая резолюция: "Наметившееся уже с 1926-27 гг. бюджетного года понижение темпа роста сети начальных школ ставит страну перед угрозой *срыва плана* введения всеобщего обучения. Это понижение темпа тем более недопустимо, что демографическая перепись 1926 г. выявила значительный рост детских контингентов школьного возраста, которые уже с 1928-29 гг. будут предъявлять увеличенный в сравнении с прошлыми годами спрос на школьные места. Таким образом, мы стоим перед опасностью роста *детской неграмотности*, если только уже с 1928-29 гг. не будет значительно увеличен темп роста сети начальных школ". В согласии с этим в конце 1928 г. главный начальник отдела соц. воспитания писал: "Если мы будем двигаться вперед тем же темпом, (то) в 1933 г. мы будем иметь больше детской неграмотности, чем мы имели в 1915-19 гг."

По мере приближения сроков введения обязательного обучения (1930-31 гг. для детей 8-10 лет, 1931-32 гг. — для 11 лет) нервность официальных и неофициальных педагогов увеличивалась . Мы видели, что в отчете за первый же год выполнения пятилетнего плана пришлось отметить "недовыполнение" плана. XVI партийный съезд повторил решение XV начать "куль-

турную революцию" и сделать "проведение всеобщего обязательного первоначального обучения и ликвидацию неграмотности боевой задачей партии в ближайший период". Но приказать легче, чем исполнить. В порядке приказания Совнарком РСФСР распорядился в августе 1930 г. для пополнения учительских кадров, недостающих до числа комплектов, подлежащих открытию[7], откомандировать для работы в школах 1-й ступени в течение 2 лет всех окончивших курс повышенных школ с педагогическим уклоном вместо перевода их в высшие учебные заведения. Но, по-видимому, именно с распоряжениями подобного рода связано то обстоятельство, что молодежь в последнее время стала уклонятся от поступления в педагогические школы. Официоз "За коммунистическое просвещение" (18 июня, 1930) "бьет тревогу": "педагогический институт наметил принять 1650 чел. ... завербовано пока 222". То в том, то в другом районе обнаруживается нехватка помещений. Преждевременно подводить итоги "социалистического соревнования", которое имеет целью возбудить эта газетная кампания. Но очевидно, что срыв намеченных планов и на второй год пятилетки неизбежен.

На начальном образовании советская власть сосредоточила свое главное внимание по понятной причине: здесь должно было готовиться подрастающее поколение — настоящих коммунистов. Но с ней соперничала, по степени уделенного ей внимания и забот, как сказано выше, профессиональная школа. Наблюдение над ней сосредоточено в особом центральном органе, Главпрофобр (Главное управление профессионального образования), который является естественным соперником "Соцвоса" ("социального воспитания" или общеобразовательной школы), ведаемого "ГУСом и Главсоцвосом". Мы видели, что в жертву профессиональным требованиям был отдан, волей-неволей, со всякими оговорками о "временности" и о советской "нищете", "второй концентр второй ступени (8-й и 9-й класс девятилетки) и предел общего образования положен в 15 лет, вместо 17. Пришлось, конечно, и тут хитрить, утверждая, что профессиональное *завершение* не мешает неприкосновенности "политехнической" *основы*. Украина открыто построила свою систему профессиональных школ и техникумов прямо на семилетке. В РСФСР сохранилась теоретическая возможность перехода на следующую ступень. Но фактически Луначарский уже в 1925 г. утверждал на I Учительском съезде: "У нас нет общей школы, да ее и *быть не должно*", ибо для "настоящей, полной марксистской школы", связанной с фабрикой, время не наступило. Чтобы "подтянуть" наличную школу к марксистской, на всех

[7] В 1929-30 г. должно было прибавиться 11,5 млн. детей, в 1930-31 г. — 14 млн., в 1931-32 г. — 16 млн.; это требовало увеличения учительских кадров на 62,5 тыс. чел. и денежных ассигновок на 400 млн.руб. больше, чем в 1929-30 г.

ступенях был открыт, как мы видели, выход в соответствующую профессиональную школу. Эта тенденция развивалась и дальше, в направлении непосредственной связи школы с производством. Вслед за профессионализированной девятилеткой явилась специальная семилетка "для пролетариата", связанная с той или другой определенной фабрикой. Другими словами, в этих случаях уже и в "первом концентре" второй ступени (6-ой и 7-ой классы) начиналась техническая подготовка к данной специальности. Но и это все еще было слишком высоко для удовлетворения насущной нужды в квалифицированном рабочем труде, который был особенно нужен при восстановлении фабрик — и тем более понадобился при введении "пятилетнего плана". И вот создан был для подготовки *массового* квалифицированного труда тип школы рабочих подростков при каждом производстве или так называемый "фабзавуч" (фабрично-заводское ученичество). Теоретически эта школа должна была строиться на базе семилетки, с "забронировкой" соответственного общеобразовательного курса. Но практически из всех принятых в 1925 г. в школы ФЗУ учеников 80% имели подготовку лишь "не ниже четырехлетки", а неполные 20% — даже ниже этого уровня. В 1926 г. число учеников с подготовкой "не ниже" составляло около 90%. В самой школе уже некогда было поднимать этот уровень навстречу "настоящей марксистской школе". "Практика школ фабзавуча, — говорит Плюснин-Кронин (1926), — показала, что до этого идеала им далеко. Непосредственные задачи данного производства нажимали на общеобразовательную часть их, на политехнизм, часто заменяя его узким профессионализмом весьма невысокой квалификации. И первый период существования школ фабзавуча закончился признанием, что в них наблюдается сильный перевес в сторону простого натаскивания на группы производственных навыков".

Однако директивные органы ухватились за ФЗУ и провели "хозяйственную" точку зрения, прямо противоположную общеобразовательной. С этой точки зрения ФЗУ обвинялись, напротив, в том, что их четырехлетний курс слишком длинен, стоит дорого, выпускает недостаточное количество рабочих — и притом преимущественно металлистов[8]; что общественно-образовательных предметов в них слишком много, и поэтому кончающие, вместо того, чтобы идти в производство, уходят в секретари комсомольских ячеек или в высшие профессиональные школы. Съезд отделов экономики труда летом 1926 г. потребовал

---

[8] Действительно, по количеству школ металлургическая индустрия стояла на первом месте: из 927 фабричных школ с 88572 учащимися (1925-26) на металлистов приходилось 253 школы с 28267 учащимися. Дальше следовали: в текстильной промышленности 127 школ и 16631 учащийся; железнодорожной 147 школ и 13106 учащихся. В остальных отраслях было значительно меньше и тех (48-11), и других (3,5-1 тысяча).

"повышения производительной ценности и сокращения сроков обучения в ФЗУ", что и было сделано — для металлопромышленности до трех лет, а для текстильной и других — до двух.

О быстроте, с которой росли фабричные школы, можно судить по следующим цифрам:

	Школы	*Учащиеся*
1921	45	1825
1923	639	42597
1924	745	68819
1927	903	99122

Не будем останавливаться на низшем типе — на "профшколах" для подготовки квалифицированных рабочих "для кустарной и средней промышленности", составлявшей 25-30% всей промышленности. На них обращали мало внимания, содержались они плохо; сеть их "катастрофически сокращалась". Но как раз в эти школы, "ненужные с точки зрения марксистской школы", обнаружилась, по сообщению И.И. Ходоровского (1927), "громаднейшая тяга со стороны широких слоев крестьянского населения", искавшего в них не общего образования, а ремесленных знаний. Появились, благодаря этой тяге, и частные профшколы в городах, над которыми "фактически никакого руководства нет" и которые "недалеко ушли от прежних курсов, натаскивавших в короткий срок в данной узкой специальности, без всякого общеобразовательного материала". Теоретически "профшколы" были продолжением четырехлетки, но практически это далеко не всегда соблюдалось. Правительство заинтересовалось ими лишь тогда, когда ему понадобились люди, способные ремонтировать и управлять тракторами для колхозов.

Далее, мы увидим, что профессионализация захватила и высшее образование, снизивши и его уровень, так же как и среднего. В этом направлении должны были действовать "техникумы", параллельные по общеобразовательной программе двум последним классам девятилетки, но с трехгодичным курсом. Типов "техникумов" очень много. Есть техникумы текстильные, электротехнические, химические, сельскохозяйственные, рыбопромышленные, жировой промышленности, нефтяные; есть и педагогические и по всем видам искусства. Цель их — дать хорошо подготовленного работника средней квалификации или подготовить для вступления в втуз (высшее техническое учебное заведение) данной специальности. За исключением "пед(агогических) техникумов, общеобразовательная и общественно-политическая часть программы у них "стоит на втором плане: первое место занимают дисциплины, связанные с данной специальностью", и практические занятия ведутся непосредственно в соответствующих производствах. Одни только педтех-

никумы связаны с "соцвосом", проводят программы ГУСа и участвуют в местной работе и в педагогических "ударных" кампаниях. В сущности, они сближаются с десятилетками педагогического "уклона".

Высшей ступенью *профессионального* же образования являются вузы. Но по живописному выражению Луначарского, советская власть "пробила стену" их и открыла "брешь", через которую "рабочий от станка и крестьянин от плуга" прямо могли прорваться туда, минуя промежуточные "ступени", — по "лестнице", которая была специально для этого выстроена и получила название рабфака (рабочего факультета). На этом единственном в своем роде учреждении мы должны остановиться теперь же.

Происхождение рабфаков само по себе очень интересно. Тот же Луначарский охарактеризовал его так: "Мы подставили к университету пожарную лестницу и сказали: ребята, берите на абордаж". Оно почти так буквально и вышло. Раньше чем правительство санкционировало (17 сентября 1920 г.) этот способ проникновения в стены университета, первый рабфак создался путем захвата Коммерческого института в Москве рабочими из Замоскворечья, вторгнувшимися в аудитории в числе 1000 человек и объявившими себя студентами. Это, конечно, было несерьезно. Понимать университетские лекции рабочие, конечно, не могли. Охоты "грызть гранит науки", по меткому выражению Троцкого, было у них сколько угодно. Но "гранит" оставался гранитом, и все усилия вели лишь к тяжелым разочарованиям. Приходилось создать подготовительные курсы, чтобы дать возможность рабочим и крестьянам хоть сколько-нибудь сознательно проходить высшую школу. Прием на эти курсы ограничен был кандидатами от 18 лет, присланными профсоюзами, фабричными комитетами и партийными учреждениями, а также членами партии и комсомола с определенным стажем. Фактически образовательный ценз большинства учащихся был очень низок: школа 1-й ступени и ниже. Но проверки знаний не было; был лишь отбор лучших из двойного количества присылаемых кандидатов. Программу подготовительных курсов ввели было сгоряча очень широкую. Но очень скоро обнаружилась полная невозможность ее осилить. Тогда в течение 1924-26 гг. ее стали сокращать. Вместо подробного курса русской литературы вернулись к грамотности. Вместо аналитической геометрии и дифференциального счисления перешли к элементарной математике. Механику сократили до отдела физики; химию ограничили неорганической химией, географию и биологию сильно сократили, из обществоведения устранили исторический материализм, всю историю заменили "историей классовой борьбы", освободили от элементов истории и политической экономии политграмоту, расширив вместо того ее международный и государственно-правовой отдел. Наконец, с 1925 г. к трем годам

курса прибавили четвертый. Поступающих стали подвергать приемным испытаниям из русского языка, арифметики и политграмоты. С 1923 г. ввели проверку успешности на собраниях учащихся и профессоров; затем, ввиду чересчур снисходительной оценки, в 1926 г. введена была выпускная проверка знаний для оканчивающих. Неуспевающих оставляли на повторительный курс или даже совсем исключали; недостаточно подготовленных при выпуске направляли, вместо вузов, в техникум. Все эти меры постепенно повысили средний уровень поступающих в вузы из рабфаков. Но все же сравнение посетителей вечерних курсов с дневными дало результат не в пользу последних. Официальный отзыв признает, что "случаи упадочничества, карьеризма, отрыва от масс, потери перспективы, анархизма и уродливости в быту (пьянство, половая распущенность, безалаберность в работе и в отдыхе) иногда приходится наблюдать в среде рабфаковцев-дневников. Такой студент, "в случае неуспеха в учебе, очень часто приходит прямо в трепет при одной мысли, что ему нужно "вернуться обратно", теряет всякое равновесие, а часто и всякое достоинство. Начинаются упрашивания и нажим на преподавателя, на аппарат рабфака; обиваются пороги всех организаций (чтобы они "заступились"; "куда же мне деваться"). Рабфаковец-вечерник находится в более благоприятном положении: он не отрывается от своей профессии, что дает возможность более "жестокого" отбора, без всяких "личных трагедий". Это объясняет и более высокий процент отсева. А именно:

		Дневные	*Вечерние*
Из 100%	переходят на II курс:	88	70
"	" " III курс	78	50
"	" " IV курс	70	40

Всего принято рабфаковцев в вузы		*% по отношению ко всему приему*
1923-1924	3870	11
1924-1925	6500	43,3
1925-1926	7320	38,5
1926-1927	5750	28,3
1927-1928	5500	27,9
1928-1929	6650	30,8

Как видим, быстрый рост в первые три года сменился падением цифр, за исключением последнего года. Это, очевидно, свидетельствует об известном разочаровании в доступности или выгодности карьеры, открываемой рабфаками. Интересно отметить, что разочарование это больше коснулось рабочих, чем крестьян. Так, процент рабочих, увеличивавшийся с 10% до 67% в 1919-25 гг., затем упал до 54-48%, тогда как процент крестьян, спустившийся в то же время с 38% до 24%, опять поднялся до 38-36%. Контрабандная рубрика "прочих", вследствие увеличившейся строгости приема, спустилась с 28% до 7 и 6%.

Школьная перепись 15 декабря 1927 г. установила следующее число учреждений профессионального образования и учащихся в них:

	Учреждения	*Учащиеся*
Вузы	129	157595
Рабфаки	122	48799
Техникумы	1038	190226
Профшколы	1417	138481
Школы ФЗУ	903	97789
Долгосрочные профтехнические курсы разного типа	1074	118028
Учебные мастерские	320	21129
Краткосрочные курсы рабоч. образ. и прочие профтехн.	1303	66921
Всего	6309	838968

Внимание к профессиональному образованию особенно усилилось, когда правительство задумало исполнить пятилетний план, так как оказалось, что технических сил для его выполнения в России далеко не достаточно. В самом деле, вот что дало сравнение наличных сил и выпускаемых из профессиональных школ специалистов с требованиями пятилетнего плана (в тысячах):

	Требуется к 1932-33 гг.	*Будет на лицо с учетом убыли*
Специалистов высшей квалификации	82,4	43,4
" выше средней "	123,6	55,2
средней "	1752,3	1262,3

Эти первоначальные расчеты скоро оказались слишком низкими. Контрольные цифры, утвержденные президиумом ВСНХ, определили потребность квалифицированного труда при проведении пятилетки в 176 тыс. инженеров и 260 тыс. техников (сверх наличных кадров). При сравнении этих цифр с возможностями существовавшей сети профессиональных школ оказалась ужасающая нехватка. Наличные втузы могли дать для промышленности лишь 58 тыс. "при максимальном напряжении", и такое же количество работников можно было "ждать от техникумов. Сельскому хозяйству тоже требовалось 90 тыс. специалистов высшей квалификации и 360 тыс. средней. А по РСФСР числилось только 14094 специалиста первой группы, включая сюда и землеустроителей, и мелиораторов, ветеринаров, зоотехников и т.д. Для тракторных заводов требовалось к концу пятилетки 12 тыс. инженеров и техников. Не было ни одного. Транспорту нужны были к тому же 1932-33 гг. 30 тыс.

инженеров, 90 тыс. техников первого разряда, 30 тыс. техников второго разряда, а налицо имелось 10,6 тыс. инженеров и 43 тыс. техников. Вместо 64969 врачей медицинские вузы могли выпустить только 15000 и т.д. Естественно, что при таком положении на первый план выдвигалась проблема кадров. И ноябрьский пленум ЦК партии 1929 г. "с предельной четкостью" формулировал эту проблему. "Гигантский размах социалистического строительства, — говорилось в его резолюции, — осуществление пятилетнего плана, являющегося практическим выражением лозунга партии "догнать и перегнать" передовые капиталистические страны и, наконец, обострение классовой борьбы в стране ставят перед партией во всей широте и остроте проблему кадров в реконструктивный период".

Осуществление этой задачи требовало такого напряжения всех сил государства и так глубоко захватывало все стороны жизни, что специально для этой цели пришлось поставить вопрос о пересмотре всей системы образования в советской России. В этой последней главе истории советской школы все связано одной общей идеей, и намеченный пересмотр глубоко видоизменял установившуюся было систему. Недаром XV съезд, полагая основание "пятилетнему плану", в то же время провозгласил и "культурную революцию". Поэтому прежде чем перейти к этой общей перестройке, необходимо остановиться на других отделах советской школьной системы, которых мы до сих пор не касались: среднего и высшего образования.

Прежде всего, следует тут снова подчеркнуть, что самую эту терминологию уже нельзя применять без оговорок, — да она и не употребляется больше в советской России.

При новой организации ступеней единой школы и при снижении уровня преподавания прежняя средняя школа приблизилась к начальной, а высшая к средней. Все бывшие средние заведения после революции были рассечены на две ступени, причем в составе второй ступени остались одни старшие классы. Затем, в 1923 г., когда стал создаваться тип семилетки и девятилетки, низшие классы этих типов соответствовали прежним приготовительным, а старшие классы прежних гимназий в них отсутствовали — в семилетке не было высших четырех, а в девятилетке двух классов гимназии. Число средних школ нового типа, особенно в деревне, где прежняя средняя школа была малодоступна, сгоряча очень выросло: вместо 1790 школ с 564613 учащимися, числившихся в 1914-15 гг., и 1500 средних школ с 200000 учеников, в 1920-21 гг. числилось уже 4163 школы, правда, с тем же числом школьников (569548). Это объясняется тем, что низшие классы прежней средней школы были отрезаны, а во вновь открытых за 1918-21 гг. (954 школы) было по большей части всего один или два класса. Прирост приходился именно на деревню: из 4163 школ к деревенским относятся 2289, а в городе остались 1874, то есть почти прежнее число.

Но в дальнейшем и те, и другие начали отмирать — и преимущественно сельские, оказавшиеся для крестьян непригодными. А именно (в скобках число учащихся):

	1920-21	*1921-22*	*1922-23*	*1923-24*	*1924-25*	*1925-26*
В городах	1874 (396337)	1499 (367305)	1459 (462202)	1527(604180)	1276(598811)	1221(597899)
В селах	2289 (173011)	1638 (152948)	1019 (124104)	831 (148546)	538(115303)	469(112712)

Это падение цифр сельских школ объясняет, почему в 1925 г., когда поднят был вопрос о введении всеобщего обучения, правительство сделало попытку перенести на него все внимание, а среднюю школу остановить на том уровне, на каком она находилась. Декрет 31 августа 1925 г. гласил: "Впредь до открытия школ I-й ступени в числе, достаточном для действительного введения всеобщего начального обучения, школы II-й ступени и школы семилетки могут открываться в *определенных отношениях* к числу школ I-й ступени", а именно на 40 комплектов учащихся первой ступени (четырехлетки) могли открываться три комплекта учащихся трех групп (5, 6 и 7) семилетки, а пять групп девятилетки могли открываться лишь в количестве одного комплекта на 20 комплектов четырехлетки. Это было равносильно приостановке открытия дальнейших средних школ, в которых уже было значительно больше комплектов высших классов, чем полагалось по этому расчету. Но как раз в это время начался прилив населения в школы, и притом особенно в школы высшего типа. В 1926 г. число начальных школ увеличилось на 6,1%, и учащихся на 2,6%, тогда как число семилеток в том же году возросло на 12,9%, а учащихся на 14%, и число девятилеток поднялось на 8,4%, а учащихся на 13,4%. Эти цифры показывают, что даже и такой рост школ второй ступени отставал от прилива учащихся в них. Это и отразилось в повышении нагрузки на одного учителя, что "вредно отзывалось на ходе занятий" и приводило к "резкому ухудшению школьных гигиенических условий" (официальный отзыв). Интересно, как оценил этот рост спроса на школу II-й ступени правительственный статистический орган, ЦСУ (Центральное статистическое управление). "Поскольку с *сокращением* школ II-й ступени были *связаны надежды на ликвидацию "перепроизводства"* лиц, получающих общее среднее образование и не имеющих возможности получить дальнейшую *профессиональную* подготовку в вузах, эти надежды надо считать неоправдавшимися, чему причиной, надо полагать, является наличие непрекращающейся *тяги населения* к среднему образованию".

Это объяснение бросает луч света на причины невнимания правительства к общеобразовательной средней школе. Власти имели свои основания не доверять этой школе. В составе ее учителей сохранилось наиболее старых преподавателей — а именно эти преподаватели обнаружили в дни октябрьского пе-

реворота враждебное отношение к советской власти. Именно под влиянием городского учительства пошли и сельские учителя на политическую забастовку. И по самому своему составу городские учителя принадлежали к более состоятельным классам. С другой стороны, и в составе учеников школы второй ступени продолжали преобладать дети "классовых врагов" советской власти. Как раз именно они-то и доходили до высших классов и кончали школу, тогда как дети рабочих застревали внизу и "отсеивались". Докладчик на пленуме ЦК комсомола в 1928 г. сообщил по этому поводу следующие факты: "Если на первом году обучения в девятилетке рабочее ядро составляет 34,4%, то на восьмом году обучения оно снижается до 18,8%. Во Владимирской школе школу окончило 23 человека, из них рабочий один. В Москве 57-ю школу окончило 62 чел., из них рабочих — два. В 33-й школе выпуск — 85 человек, из них детей рабочих — 9. Школа № 22 при фабрике "Красная звезда" выпускает 99 чел., из них рабочих 27. Такая же картина имеется не только в Москве, но и во всех других пролетарских центрах". А вот таблица, помещенная в официальном издании и показывающая социальный состав учеников в школах разных ступеней на 1 января 1925 г.(в %):

	Рабочие	*Крестьяне*	*Дети служащих*	*Неизвестно*
Низшие проф. школы	42,7	18,6	27,6	11,1
Школы девятилетки	28,0	14,0	36,0	22,0
Школы II-й ступени	15,0	24,0	37,0	24,0
Высшие учебные заведения	18,0	22,0	43,3	15,8

Мы видим, что чем выше тип, тем значительнее процент детей "буржуазных" классов (к ним, вероятно, надо причислить и большую часть "неизвестных"). Дети крестьян еще удерживают и даже несколько увеличивают свой контингент: это мы видели и в дореволюционной школе. Но "пролетарии" в тесном смысле теряют свои позиции[9].

---

[9] У Ганса и Гессена приведена другая таблица из отчета Наркомпроса на 1928-29 гг., составленная по другой системе и дающая пропорции классов для РСФСР. Цифры значительно отклоняются от приведенных выше, но выводы из них совпадают с приведенными в тексте:

		Рабочие	*Крестьяне*	*Служащие*	*Остальные*
Четырехлетки	1924-25	10,5	77,2	5,9	6,4
	1926-27	10,6	78,0	5,7	5,7
Семилетки	1924-25	34,2	25,1	26,2	14,5
	1926-27	34,4	27,3	26,8	11,5
Девятилетки	1924-25	30,1	11,4	37,5	21,0
	1926-27	28,9	11,0	42,5	19,0
Школы II ступени	1924-25	15,0	25,4	37,2	22,4
	1926-27	17,1	29,4	34,5	19,0

Однако имелись и противоположные соображения, заставлявшие правительство обращать внимание на школу II ступени. Ведь именно эта школа сосредоточивалась в городах, на глазах у всех, и именно здесь учителя не могли игнорировать новые образовательные методы и учить "по старинке". На этой школе сосредоточивалось и то экспериментирование с новейшими педагогическими приемами, о котором мы говорили выше. Здесь же, в городах, находились и специальные "опытно-показательные" учебные заведения, которые преимущественно показывали иностранцам и по которым они составляли себе представление о состоянии образования в советской России. Правда, не все эти отзывы были благоприятны. Если Уошборн находил, что "советская Россия имеет сейчас самые современные программы и методы сравнительно с любой другой страной мира", то главный авторитет советских педагогов, Дюи, побывавший в России в 1928 г. и давший в общем благоприятный отзыв, все-таки оговорился осторожно, что эта школьная система "существует скорее качественно, чем количественно".

Мы видели действительные результаты системы. В конце концов, если школа второй ступени "потеряла при системе классового приема значение единственной двери в высшую школу" (мы видели другую "брешь"), то все же, даже и при постановке для нее "других задач, независимых от задачи подготовки слушателей высших учебных заведений" (выражение "положения", принятого Наркомпросом 7 июля 1924 г.), уровень ее достижений не мог быть безразличен для власти. Между тем вот что говорил об этом Н. Рожков в официальном "Народном просвещении": "Проверка пропускаемых в вузы показала, что *анекдоты* получаются не с одним только обществоведением. Обнаружилось полное незнание основ математики (арифметики, алгебры, геометрии), физики; слабы познания и в других областях программы. Говорить о безграмотности (катастрофической) письма прямо не приходится: она поразительна". То же самое подтверждают и экзаменаторы. "Хотя среди экзаменующихся, — говорит учитель физики Перельман, — преобладали окончившие не семь, а даже девять классов, их подготовка по математике и физике оказалась ниже всяких ожиданий. На экзаменах предъявлялись лишь самые минимальные требования: пришлось понизить их против программы, из опасения провалить чуть не всех экзаменующихся и не набрать нужного контингента". На конкурсном экзамене в Горную академию провалилось 15000: две трети всех экзаменовавшихся.

Такое положение заставило, как мы знаем, постепенно ограничить применение "комплексного" метода и вернуться до известной степени к предметному. Сперва было допущено преподавать "вне комплекса" математику, физику, естествознание. Потом освободили от комплекса родной язык, географию,

иностранные языки. Зашла затем речь о восстановлении истории и истории литературы. Наконец, учебные планы 1927-28 гг. восстановили отдельные предметы и точно распределили между ними количество часов на 5-ый, 6-ой и 7-ой год обучения (например, математика, физика, естествознание, родной язык — наравне с обществоведением по четыре часа в неделю каждый год: иностранный язык и труд в мастерской — по три часа, химия, пение и музыка, изобразительные искусства — по два, география и физическая культура — по одному). О результатах этого возвращения к старому пока преждевременно судить.

Высшая школа при советской власти пережила, подобно другим областям образования, прежде всего свой "утопический" период. Большевикам показалось мало автономии университетов, введенной временным правительством. Образование должно было быть свободно и открыто для всех. *Следовательно*, декретом 6 августа 1918 г. были отменены всякие испытания зрелости, и всякий гражданин, достигший 16-летнего возраста, мог вступить в университет. В результате число студентов сразу поднялось, например, в московских высших школах с 38440 (1917-18) до 69645. Но это только нарушило нормальный строй преподавания. Новоявленные "студенты" скоро сами увидели, что не могут слушать лекций, которых не понимали, и еще меньше способны работать в лабораториях. Они ушли так же быстро, как пришли: в 1919-20 г. около 22000 покинули высшие московские школы, и осталось только 47604. О судьбе рабфаков мы уже говорили.

Легко обошлась новая власть на первых порах и с созданием новых высших школ. В России числилось 69 высших учебных заведений (11 университетов, 22 женских курсов, 16 высших технических институтов, 20 государственных и частных учреждений университетского типа) с 90000 студентами. Большевики прибавили к этому музыкальные и художественные школы, археологические институты, ветеринарные институты и др. и насчитали для того же времени (1914-15) 97 учреждений высшего образования с 110000 студентами. Сами они, разделив университеты на факультеты и открыв ряд новых школ, подняли к 1920 г. общее число до 244 с 207000 студентами; цифры, которые тоже оказались непрочными, так как для 1927-28 гг. они понизились до 129 учреждений с 157595 студентами.

Скоро, как и в других областях образования, политика советской власти и по отношению к высшей школе совершенно переменилась — в духе самого строгого контроля над составом учащихся и преподавателей, так же как и над самым содержанием преподавания. От первоначальной "свободы" и здесь ничего не осталось. Это было и понятно. Ведь с той же точки зрения, с которой вызывала недоверие прежняя средняя школа,

высшая школа и университет прямо заслуживали немедленного уничтожения. Это была цитадель старой интеллигенции. А "нам нужно, — говорил Луначарский на I учительском съезде, — создать на место старой интеллигенции — поскольку она будет уходить от нас, просто физически умирая, — новых людей, путем завоевания вузов. Часто упрекают нас, что мы на вузы обращали слишком много внимания. Но... это вытекало из прямых директив Владимира Ильича".

Какого рода было это "внимание", об этом рассказал также сам Луначарский. По его сообщению, деятельность наркомпроса в области высшего образования началась с того, что правительство "вступило в борьбу с тенденциями профессуры и студенчества к автономии" — за устав, "давший возможность правительству регулировать жизнь высших учебных заведений". Объясняется это тем, что здесь, еще в большей степени, чем в средней школе, "студенчество было переполнено элементами, прямо враждебными, и профессура была в оппозиции". Затем, высших учебных заведений "расплодилось многое множество", но "лишь немногие были жизнеспособны". Для борьбы применены были энергические средства: было "строго проверено социальное происхождение и политическая грамотность" студентов. Затем "развита система рабфаков" и свободные места "распределены между партийными, профессиональными и комсомольскими организациями"[10]. Таким образом, создано было "новое студенчество", опираясь на которое "удалось ускорить и процесс приятия советской власти большинством профессуры — по крайней мере, в такой степени, которая давала возможность совместной работы". Удалось подобрать и "удовлетворительный персонал ректоров" — посредников между вузами и начальством (Главпрофобром).

Поставив задачей сокращение числа студентов, Наркомпрос, прежде всего, ограничил прием на 1924-25 г. в 13 тыс. человек, из которых 8 тыс. было рабфаковцев. Затем, "согласно директиве, полученной в партийном порядке", он произвел, "в чрезвычайно нервной атмосфере", "чистку". Уволено было

---

10 Это распределение часто менялось. В 1923 г. решено было принимать без испытаний рабфаковцев, а остальные места делить между кандидатами коммунистической партии (25%), ЦК профессиональных союзов (35%), крестьян и красноармейцев-инвалидов (10%), провинциальных педагогических учреждений (2%). На долю платных студентов оставалось только 10%. В 1925 г. это положение было изменено. Крестьяне получали 15% вакансий, рабочая интеллигенция 10%, ученики средней школы 25%. Для партийных и профсоюзных кандидатур оставалось только 50%, вместо прежних 78%. В 1926 г. внесены новые поправки к "классовому" отбору. 45% мест оставлено за учениками средней школы (вместо 25%) — под условием конкурентного экзамена. Но и рабфакам дано 35%. 8% оставлено для нерусских национальностей. Остальные 12% распределены между рабочими (прежние 10%) и правительственными организациями, включая армию (2%).

23000 студентов[11]; осталось 79000. В следующем 1925 г. вычищено еще около 40000 студентов.

Не так легко было справиться с автономией и с персоналом профессоров. Первые два года советская власть терпела автономное устройство университетов. Но затем и тут последовали перемены. Осенью 1920 г. изданы были два декрета, которыми совет профессоров был подчинен правлению, состав которого, вместо прежних выборных ректора, проректора и четырех деканов факультетов, назначался правительством: в Москве, напр., правление было составлено из представителей правительственных и партийных учреждений, с участием только двух профессоров (из 11 членов). Так как такой состав правления оказался совершенно непригодным, то в 1924 г. он был заменен пятичленным составом (трехчленным для провинции), в котором большинство назначалось правительством, а профессора были в меньшинстве. За советом профессоров оставлен был только совещательный голос — и притом там участвовали в равном числе представители студентов, — конечно принадлежавших к коммунистическим организациям.

Отмена ученых степеней в 1919 г. облегчила возможность продвинуть на профессорские места молодых представителей "красной профессуры". Впрочем, и для оставшихся свобода преподавания была введена в самые тесные пределы. Как при Николае I, подробная программа лекций на каждый семестр должна была получить одобрение правления, под контролем Главпрофобра; студенты проверяли соответствие лекций духу марксистской доктрины. Изменен был в этом же духе и самый состав факультетов. Больше всего при этом пострадали, конечно, факультеты юридический и словесный. В 1920 г. они были закрыты как несоответствующие новому коммунистическому строю. Словесные факультеты были соединены с физико-математическими и образовали новые педагогические факультеты, специальной целью которых была поставлена подготовка учителей для средней школы. История присоединена к экономическим предметам закрытых юридических факультетов, замененных факультетами социальных наук. Кафедры философии уничтожены; взамен их появились кафедры марксистской идеологии. В итоге получилось новое деление на факультеты: педагогический, советского права, социальных наук, медицины и технические факультеты.

Таким образом, вузы были приведены в надлежащий порядок. Сообразно с этим была поставлена и иная задача, чем прежняя. Мы уже знаем, что эта задача была понята "не столько как изучение науки, сколько как профессиональная подго-

---

[11] В этом числе почти 15000 служащих и их детей, интеллигенции и ее детей, лиц, живущих нетрудовыми доходами, и их детей, то есть по мотивам социальным. Осталось лиц этих категорий около 35 тысяч (из 79 тысяч).

товка специалистов-организаторов". Перестроенные факультеты получили "целевое" задание, соответственно обслуживаемым ими профессиям, и превратились в практические "институты" (название, принятое на Украине): институт народного хозяйства, сельского хозяйства, советского права, электротехнический и т.д. Скороспелые университеты были закрыты. Ограничен был, как мы только что видели, доступ в высшие учебные заведения. Украинский наркомпрос прямо и объяснил сокращение приема на одну треть в 1925 г. тем, что это соответствовало "заявкам" на специалистов со стороны Совнархоза, Наркомздрава, Наркомпроса, Наркомзема и т.д. Никакого "перепроизводства"! Количество принятых студентов в СССР падало таким образом:

1924-25	165 тыс.
1925-26	162 "
1926-27	160 "

Конечно, предпочтение при сокращенном приеме отдается пролетарским элементам: поступление остальных чрезвычайно затруднено, и поступившие контрабандой подвергаются периодическим чисткам. В данном случае коммунистические интересы вступают в открытый конфликт с современной педагогикой. Один из официальных педагогов весьма откровенно поясняет смысл этого конфликта. "Отбор исключительно даровитых и талантливых людей, — говорит он, — по крайней мере, на ряд лет неприемлем. Он означал бы закрытие дверей высшей школы для пролетариата и крестьянства. Через некоторое, более или менее продолжительное время, когда общий уровень развития и образования широких масс пролетариата и крестьянства значительно повысится, мы, может быть, и сумеем перейти к системе отбора исключительно талантливых и одаренных студентов из рабочих и крестьян. Пока же надо ставить ставку на рабочего и крестьянина нормального развития, так сказать, середняка по подготовке". Это ответ на вопрос: "Какого инженера должны готовить наши втузы"?

Конечно, однако же, для отобранной таким образом части слушателей преподавание в высшей школе все же надо было поставить на надлежащую высоту. И большевики возвращаются и здесь к старой системе. В РСФСР стараются стереть только что углубленную грань между наукой и прикладными знаниями, восстановляют (в 1926 г.) ученую степень доктора, частично восстановляют и старые факультеты (юридический в 1922 г., ввиду потребности в юристах), разгружают планы преподавания от обязательных политических предметов, даже ограничивают только что указанный "классовый принцип" при приеме. Но конфликт и при этом оставался в силе — между профессорами дореволюционного времени и новоиспеченной "красной профес-

сурой". Периодически и тут "вычищались" ученые с громкими именами в науке. В 1928 г. начата была "кампания перевыборов *всех* профессоров" и летом 1929 г. предпринята общая чистка высших учебных заведений и перевыбор преподавателей "коллективами" слушателей и служащих. Составлены были специальные комиссии из ректоров, деканов и студентов-коммунистов для проверки научной и педагогической пригодности профессоров и для выяснения характера их "общественной деятельности". В результате последовавшей чистки опустело немало кафедр. В 1928 г. больше четверти должностей профессоров и ассистентов остались незанятыми, за отсутствием способных заменить их кандидатов, хотя требования и были очень понижены. Высшей точки эта борьба достигла в разгар "социалистического строительства". Весь цивилизованный мир был удивлен участившимися в 1930 и 1931 гг. арестами специалистов-ученых с мировыми именами. И не менее глубокое нравственное возмущение вызвал тот невероятный рабий язык, которым вынуждены были заговорить на публичных съездах другие ученые, от которых нельзя было прежде ожидать ничего подобного. Молчание и нейтралитет в таком положении, очевидно, уже считается недостаточным. Кто не друг, тот враг: этот принцип приводится с неумолимой последовательностью.

Чтобы составить себе понятие, кто же идет на смену "вычищаемым" специалистам, познакомимся с составом научных работников. Всего числилось по статистике на 1 октября 1928 г. около 24,5 тыс. ученых. Из них только 5,5 тыс. приходилось на долю прикладных наук. Основная масса (62%) находилась в возрасте 31-50 лет; старше 50 лет 25%, ниже 30 — 13%. По своему стажу большинство из 14805 зарегистрированных принадлежало к дореволюционному времени:

До 1918	7346	(50,8%)
В 1918-22	2847	(19,7%)
В 1923-27	4253	(29,5%)

По качеству ученой работы статистика делит научных работников на три группы:

Выдающиеся ученые	3,3%
С научным стажем и самостоятельными работами	34,5%
Прочие, преимущественно начинающие	63,2%

Количество коммунистов в составе союза научных работников было всего 7-8%; две трети их сосредоточивались в области гуманитарных наук, около 15% в области медицины, а по точным и прикладным наукам было только 9-8%. В научно-технических институтах коммунисты составляли всего 6% (117 из

1915), а в составе руководящего персонала 9,3% (53 из 670). Из этого видно, как слабы были результаты советских усилий коммунизировать науку.

Мы возвращаемся теперь к реформе школы, вызванной потребностями "социалистического строительства".

Со времени XV съезда стало ясно, что главные перемены должны сосредоточиться около следующих четырех пунктов: 1) ускорение *темпов* — примеры чего мы увидим в культ- и бибпоходах; 2) приведение *всех* учреждений в непосредственную связь с "кампаниям" на разных "участках" социалистического строительства; 3) ввиду этого переустройство программ и внутреннего строя школ разных ступеней с целью не столько педагогической, сколько "производственной" — то есть для сближения их с действительными производствами. Ближайшей задачей этого сближения должна была сделаться подготовка кадров квалифицированных специалистов в размерах, сколько-нибудь соответствующих грандиозному размаху "строительства", и, наконец, 4) "чистка" всех просветительных учреждений от "чуждых" элементов, так как при открыто объявленной задаче введения коммунизма никакие формы нейтралитета или аполитичности уже не могли быть терпимы. С другой стороны, и элементы, до сих пор нейтральные и "беспартийные", должны были сами посторониться — "дифференцироваться и выявить свое отрицательное отношение к начатому эксперименту".

Радикальную перестройку приходилось начать с самой верхушки, с головы, так как было ясно, что прежний руководитель ведомства, Луначарский, для новой "ударной" работы не подходит. Послушно выполняя требования новой политики, он тем не менее вносил в них поправки, которые сперва и были приняты, но по мере ускорения "темпа" и усиления нервности попали под обстрел. Эта компромиссная позиция Луначарского особенно отчетливо обрисовалась в его докладе на VII съезде Союза работников просвещения. Хотите ускорить темп, спрашивал он: прекрасно, я сам "беспрестанно указывал, что у нас происходит отставание". Но — давайте "смазочного масла"; давайте денег; тогда никто не скажет, что лозунг культурной революции "мы провозгласили рановато". Нужен контакт учебы с производством и общественно-полезной школьной работы с политическими актуальными кампаниями? Это очень хорошо, *если* в массах "сейчас найдется та активность, которой мы тогда "при Ленине" не нашли", и если фабрики, заводы, местные исполкомы, которые "туги" на помощь, "помогут в боевом порядке". Необходим соответственный пересмотр всей системы образования? Но тут Луначарский от скрытого скепсиса переходит к открытым возражениям. Пересмотр программ ГУСа? "Это разорительная вещь — так часто менять программу... но некоторые отдельные поправки мы, конечно, склонны сделать, *если* эти поправки окажутся нужными. Все же... программы ГУСа

себя оправдали". Надо продлить курс школы для лучшей подготовки? Ну, да; иностранцы учат 11-14 лет, и "мы будем требовать от партсовещания 10-го года обучения в девятилетке и согласны превратить ФЗУ в ФЗС (семилетку), подведя под фабрично-заводской профессионализм улучшенную общеобразовательную школу". Но только, продолжал настаивать Луначарский, пусть школа останется общеобразовательной: "здесь нами проводится принцип — и профессионализация, и общеобразовательный уклон". "Одинаково вредны, — подтверждалось в резолюции, — и культурнический уклон, не принимающий во внимание конкретных потребностей промышленности, и меркантильный подход, исходящий из временных узких соображений". От себя уже Луначарский поднимал вопрос о дисциплине в школе. "Мы имеем заявления даже из среды учительства: мы безоружны перед озорством наших детей и учеников". И рабочие говорят: "школа слаба" и даже — "мы смотрим на этих детей как на пропащих; по крайней мере других воспитайте в большей строгости".

Остается четвертый пункт о чистке "чуждых элементов": и здесь Луначарский проявил большую осторожность. В такой момент, когда не хватает ни учителей, ни инженеров, нельзя выбрасывать почти кончившего школу студента за то, что он сын "лишенца", попа или хотя бы "генерала". Нельзя отказывать ребенку в приеме, если есть свободные места, только потому, что его отец не красный, а "бледно-розовый"; или выгонять учительницу потому, что она не решается сказать, что нет Бога. Нужно, конечно, увеличивать состав детей крестьян и рабочих; нужно помочь им материально, чтобы уменьшить отсев. Другое дело, если "на крайнем правом крыле профессуры и представителей науки образуется дальнейший откол, происходит мобилизация враждебных сил, или если "учительство дифференцируется" и "некоторое негодное, черносотенное, и кадетское и всякое другое меньшинство старается вредительствовать". Но "основная масса научных работников с энтузиазмом идет к нам", и "массовое учительство мобилизуется под нашими знаменами".

Что с этой готовностью на компромиссы и с этим официальным оптимизмом далеко уйти нельзя было, показали официальные признания по поводу неудовлетворительных итогов первого года выполнения педагогической пятилетки. Вот эти признания, как они изложены в предварительном отчете Наркомпроса о "Народном просвещении в СССР за 1928-29 гг.".

"Темп подъема был совершенно недостаточным. Налицо — отставание не только от требований жизни, но и от проектировок культурной пятилетки, хотя сама культурная пятилетка далеко не являлась пятилеткой подлинной культурной революции... Данные об основном участке культурного строительства, о всеобщем обучении свидетельствуют о недовыполнении проектировок пятилетки. По всему Союзу рост контингентов началь-

ной школы не превысил роста предыдущего года, составив те же 4%, что и в 1927-28 гг."; по РСФСР контингенты выросли лишь на 5,0% против запроектированных 6,9%. По той же РСФСР (без автономий) в дело народного образования вложено было из всех источников 565,3 млн.руб. вместо 628 млн.руб. предусмотренных планом. То же недовыполнение плана отмечается и по линии ликвидации неграмотности. По всему Союзу, вместо запроектированных 2291 тыс. неграмотных, прошли школу ликбеза только 1619 тыс. Не менее остро обстоит дело и с кадрами специалистов для народного хозяйства. В сравнении с тем, что может дать сеть высших и средних учебных заведений, к концу 1928-29 гг. определился дефицит в 11 тыс. индустриальных инженеров и в 18 тыс. агроспециалистов для одного только обобществленного сектора хозяйства. Не было резких сдвигов и в направлении изживания основных пороков наших учебных заведений: отсевов, второгодничества, долголетнего пребывания учащихся в большинстве школ, крайне низкого процента оканчивающих высшую школу. Несмотря на некоторые достижения в качестве и эффектности культурной работы... остро ощущается отставание большинства культурно-просветительных учреждений от массовых задач социалистического строительства и от растущих запросов широких рабоче-крестьянских масс. Нередки искривления и недостаточная четкость классовой линии в борьбе за укрепление позиций пролетариата на культурном фронте". Таково было положение, при котором более решительное направление взяло верх.

Новая система народного образования была уже подробно разработана и утверждена комиссией Наркомпроса еще до VII учительского съезда, в связи с XIV съездом Советов, 18 мая 1929 г. Здесь была сделана попытка связать потребность в дальнейшей профессионализации школы с возвращением к основной партийной идее "политехнической" школы (см. выше). Мирясь "временно" с преобладанием профессионального элемента над "политехническим", Наркомпрос полагал смягчить в будущем это противоречие удлинением срока преподавания: в начальной школе до пяти лет вместо четырех (как мы знаем, далеко еще не достигнутого фактически), в ФЗУ укреплением семилетней базы, в девятилетке — доведением ее до десяти, а с прибавкой приготовительного ("ноль-группа") и до 11 лет. Признавалась необходимость поднять и дошкольное образование, совершенно упавшее, и тем, во-первых, освободить женщину, а во-вторых, дать начальной школе не сырой, а уже несколько обработанный детский материал. Цель всего этого была — восстановить идею "единой" школы и начать уже на первой ступени выработку "мировоззрения", ибо доказано, что "кончающие четырехлетку не имеют никакого представления о социализме". Все это, однако, при новой постановке "боевых" задач школы было слишком тонко и рассчитано на слишком долгие

"темпы". И VII учительский съезд, перед которым говорил Луначарский, в своей резолюции пошел по другой линии — линии введения всей культурно-просветительной деятельности в политическую борьбу как "неотъемлемого звена", "неразрывной части целого социалистического переустроительного процесса ".

Правда, на первых порах эта радикальная постановка встретила сопротивление и вызвала внутреннюю борьбу в самом союзе "работников просвещения", как и на VIII съезде профсоюзов. Но руководящая коммунистическая группа перед этим не остановилась. "Оппортунисты" из ЦК союза были удалены, и на II пленум ЦК "цеховые настроения отсталой части просвещенцев", "элементы аполитичности, узкого делячества и безынициативности" были окончательно осуждены. "Переход на боевые темпы", превращение органов союза в "боевые штабы", "мобилизация масс просвещенцев на преодоление трудностей строительства" и т.д. были объявлены очередными лозунгами. Вся 800-тысячная армия учителей была приглашена обратиться вниз, к массам, и ей рекомендованы методы "культпохода" и "социалистического соревнования". "Самоочищение своих рядов" было указано как способ борьбы против элементов, "срывающих классовую пролетарскую линию". О педагогических вопросах в собственном смысле в решениях II пленума нет ни звука.

Так, в промежутке от мая до августа 1929 г. новое направление просветительной политики, согласованное с политикой сверхиндустриализации и коллективизации, окончательно определилось, а в сентябре Луначарский был заменен молодым генералом А.С. Бубновым. Смысл этой перемены ясен из всего сказанного. В октябрьской книжке "Народного учителя" появилась статья Бубнова, в которой он определяет позицию учителя как находящуюся "на точке острейшего пересечения классовой борьбы нового со старым, активности кулацкой-нэпманской с социалистической пролетарской активностью". Такое "острое столкновение... требует от работников просвещения... связать черновую работу по достижению элементарного культурного уровня с развертывающимся строительством социализма". Отсюда — выделение и постановка "на первый план" трех групп учительской деятельности: 1) обслуживание "элементарных потребностей": всеобщее начальное обучение и ликвидация неграмотности, 2) ускорение темпа и повышение качества подготовки новых кадров специалистов, чтобы уменьшить громадные недочеты, вытекающие из пятилетнего плана, и 3) обслуживание "опорных баз социализма — фабрично-заводских районов, совхозов и колхозов".

В общем, этот вывод в бой "полумиллионной армии" учителей чрезвычайно осложнил положение учителя, вызвал массу недоумений, а у того передового отряда, который проникся коммунистическими задачами, и немало жертв — в результате

ряда конфликтов с населением. Если учитель употреблял 70% своей деятельности на общественную работу и только 30% на школу, это считалось правильным и вызывало одобрение педагогического официоза. Неудивительно, что среди учительства пошли разговоры об "отмирании школы". Авангард убежденных за сезон 1928-29 гг. (восемь месяцев перед апрелем) понес 153 жертвы убитыми. А в следующий сезон эта цифра учителей и учительниц, убитых населением, поднялась до 217. Что касается второй группы Бубнова, подготовки специалистов, "Работник просвещения" в ноябре 1929 г. подвел такой итог предшествующей работы: "Июльский пленум ЦК ВКП наметил основные вехи... С тех пор прошел год... Директивы июльского пленума в большей своей части оказались невыполненными. Главпрофобр, Главтуз, Цутранпрос, хозорганы, профсоюзы — все оказались в одинаковой степени не на высоте поставленных перед ними задач... Руководство учебной и хозяйственной жизнью вузов со стороны правлений и деканатов по-прежнему является неудовлетворительным. Учебные планы подверглись не коренному, а лишь частичному пересмотру. Программы в большинстве случаев еще совсем не пересмотрены... Выпуски окончивших крайне незначительны... Постоянной связи высшей школы с производством не существует". Виновата, конечно, "реакционная часть профессуры", которая "относится к этой реформе враждебно, саботирует ее проведение" и у которой "основная масса научных работников плетется в хвосте". Очередной задачей поэтому является "борьба с реакционной профессурой, опираясь на левый сектор", правда, "малочисленный и неорганизованный".

Требование "вовлечения всей массы научных работников в активное социалистическое строительство" было выдвинуто еще III всесоюзным съездом научных работников в 1929 г. Тогда же от них потребовали "усиления рабочего и бедняцко-середняцкого ядра в высшей школе вообще, а в индустриально-технической и педагогической школе особенно", а также "более быстрого и широкого выдвижения и расширения кадров научных работников из среды трудящихся масс". В середине 1929 г. III пленум Центрального Совета секции научных работников поставил ребром вопрос о "борьбе с проявлением чуждой нам буржуазной идеологии со стороны реакционной профессуры", ибо "так называемое просто легальное отношение к советской власти... является уже недостаточным" и "необходимо усвоение марксистской идеологии". За этим последовала кампания перевыборов профессуры; но, по заявлению К. Островитинова, автора и приведенных выше статей, "борьба за марксистскую идеологию" не была при этом развернута, "перевыборные собрания плохо посещались", критиковать друг друга "считалось неэтичным". Дифференциация в научной среде, правда, усилилась, но привлечение новых кадров было проведено слабо. В конце

1929 г. и был заострен вопрос о привлечении аспирантов из рабочей и крестьянской среды. При первом наборе аспирантов в научные работники (1925) оказалось в их рядах 8,8% из рабочей среды, 17,8% из крестьянской и 11% партийцев и комсомольцев. В октябре-ноябре 1929 г. был произведен новый набор. Он дал 18% из рабочей, 33% из крестьянской и 47% из партийной среды. Но это усиление было достигнуто за счет понижения уровня подготовки аспирантов. Профессора, не ответственные за плоды работы навязанных им учеников, дают о них формальные отзывы, а иногда подписывают их отчеты, не читая. Начальство, посылая их, заботится, главным образом о том, чтобы кандидат в ученые был "основательно знаком с марксистской идеологией", чтобы не "подпасть под идеологическое влияние руководителей". Если прибавить к этому "слабую материальную обеспеченность" аспирантов, то понятно будет, почему из 800 аспирантов приема 1925 г. получили своевременно квалификацию только 89, другим 186 дали отсрочку на год, 348 сняты со стипендии, ибо не защитили дипломной работы, а 177 чел. ушли сами. При этом, после такого отсева, особенно уменьшился именно процент рабоче-крестьянско-партийного состава аспирантов. Немудрено также, что большой охоты попасть в аспиранты не обнаруживалось. В октябре 1929 г. на 150 мест по индустриально-техническим наукам (по Наркомпросу) было подано только 55 заявлений, а по сельско-хозяйственным — на 195 мест 103 заявления.

В области средней школы новое течение повело к пересмотру программ ГУСа 1927 г. Мы видели, что Луначарский признал необходимым внести в эти программы "некоторые изменения". Во исполнение этого Главсоцвос представил проект редакционных изменений в комплексных программах первых трех лет и новую редакцию программ четвертого года. Тут были "выполнены все указания. Расширен обществоведческий материал. Усилен антирелигиозный момент. Уже не молчат о... классовой борьбе. Уже чаще возвращаются к интернациональным моментам, уже не смеют затушевывать политику партии в деревне, уже говорят о социалистическом секторе". Всего этого, однако, все еще недостаточно левому В. Шульгину. "Надо пропитать их пятилеткой, бешеным темпом социалистического развития", — восклицает он, подделываясь под новое настроение. Правда, он получает отпор от М. Пистрака и Эпштейна, напоминающих ему, что "производственное окружение неблагоприятно для введения политехнического образования, что нет подготовленных для этого кадров педагогов, нет нужного оборудования" и т. д. Говорить "шапками закидаем — вреднейшее дело". Но эти оппоненты Шульгина явно отстали от времени. "Шапками закидаем", "догоним и перегоним" — именно и есть лозунг момента. 1930 год весь прошел под этими лозунгами, при непрерывном росте нервной спешки и взаимного "соревно-

вания", которое часто обращалось в простое подсиживание. В январе третий пленум ЦК учителей уже окончательно прошел в орбите "борьбы за социалистическое переустройство деревни". И бессменный председатель А. Аболин издал свою новую речь под этим заглавием, переменив обложку из темной на красную. В феврале 1930 г. развернулась чистка ряда управлений Наркомпроса, к которой привлечены были рабочие и студенты. В этом же месяце, в разгар "головокружения от успехов" коллективизации, "Школа крестьянской молодежи" была превращена в "школу колхозной молодежи" (5 февраля) и все ликвидаторы безграмотности направлены на посевный фронт. В конце марта орган Цекпроса забил в набат: ничего еще не сделано для похода ШКМ в колхозы. "Наркомпрос не спешит". В конце апреля на втором всесоюзном совещании по народному образованию объявлено было о прекращении давнего спора между "политехнизмом" РСФСР и "профессионализмом" Украины. Н. Бубнов и Н. Скрипник сговорились, сделав друг другу уступки. Школа второй ступени по существу превращена была в техникум, чего никак не хотели "прежние руководители Наркомпроса". Правда, оговорились, что она не будет "школой ремесленнической", а будет "включать элементы политехнизма и общеобразовательные". Но, в конце концов, "это все же должна быть определенная школа, которая дает профессиональную подготовку, выход к жизни, к социалистическому строительству". Слово "политехническая школа", как=никак, сохранено как последняя дань лицемерия в этом мудреном компромиссе. Это будет, по Скрипнику, "профессиональный политехнизм". Почти одновременно публикуется постановление, по которому семилетка является обязательной для имеющих окончить обязательную четырехлетку, и родители, при известных условиях, довольно проблематических, лишаются права брать из высших классов своих детей. Нет больше отсева — по крайней мере на бумаге.

Заметим попутно, что официоз Цекпроса, который служит нам основным материалом при этом беглом обзоре, с апреля 1930 г. превратился из сравнительно скромной "Учительской газеты" в рекламную "За коммунистическое просвещение". Газета с этих пор поднимает тон соответственно "темпу". Она кричит, вопит, угрожает, обличает, требует: "Довольно разговоров". "Ни одного неграмотного пролетария к XVI партсъезду". "Выкуем большевистские кадры". "Снять замок с избы-читальни". А потом: "Мы второй месяц бьем в набат": "С подготовкой кадров по-прежнему плохо". "Прорыв" там, "преступная небрежность" здесь; "директива ЦК не выполняется"; "по чьей вине сорван слет" и т.д. И минорные объяснения: "тяжелый груз бескультурья", "террор отмирающего класса" и проч. Работа просвещенцев до такой степени сливается при всей этой спешке с работой хозяйственников, что становится трудно выделять одну от другой. И невозможно, среди этих оглушающих криков,

отделить действительные факты от воображаемых "преступлений" и "побед". Но все факторы неудачи нам известны — все они повторяются в только что приведенных ударных заголовках. В середине июня 1930 г. заголовки начинают невольно рисовать действительное положение просвещенцев в кампании. "Категорически прекратить", требуют официальные органы: "прекратить незаконные увольнения и перемещения" (учителей), неправильное раскулачивание и лишение избирательных прав, перебои в снабжении и выдаче заработной платы, использование просвещенцев на технической работе" и т.д В начале июля собирается XVI партийный съезд — и почти в тех же, как и прежде, выражениях повторяет старые решения. Докладчик Каганович свидетельствует, что развертывание кадров натолкнулось на "бюрократическое перерождение и вредительство"; вредителей он насчитывает целых 292: "бывших собственников 161, бывших купцов 8, дворян 123". "Выгнать негодных, расстрелять, выслать в Соловки", — вот язык сотрудника Сталина. Но кем их заменить? "Темпы учебы, — заявляет тот же докладчик, — у нас были обломовские: 6-7% выпуска из наших вузов... Мы добиваемся, чтобы у нас был выпуск в 20-25% и чтобы не было второгодничества... Мы установили в вузах единоначалие". "У нас вузы будут прикреплены к определенным производствам... Непосредственным руководителем... является ВСНХ, объединения и тресты, транспорт, наркоматы, которые будут этих людей использовать у себя. Мы перевели втузы на непрерывную производственную практику... Мы начали строить своеобразные новые формы учебы — заводы-втузы". В конце концов Каганович обещает "уже в ближайшие годы значительно повысить процент рабочих и коммунистов в составе специалистов и тем самым изменить лицо технических кадров".

Среди всего этого шума и гама производится та коренная перестройка учебной системы, о которой говорено выше. При этом все более отчетливо и довольно неожиданно выдвигаются заброшенные на практике принципы "единой" и "политехнической" школы. Вызывается это возвращение к 1918 г. отнюдь не одними идейными соображениями, а главным образом тем, что при узком практицизме и профессионализме невозможно достигнуть того повышения квалификации, той степени сознательности в работе, того понимания задач "социализации", которого требует пятилетка. Подобное же возвращение к идеологии — с тем, конечно, чтобы это была идеология официальная, — мы видели и в литературе, и в театре, и в искусстве. По отношению к производству новая принципиальность окончательно устанавливается постановлениями партийного пленума ноября 1929 г. и развивается в целую сеть практических мероприятий, соединенных декларацией о средней школе "коллегии" Наркомпроса, ЦК комсомола и ЦК союза работников просвещения. Эта коллегия, в прямой связи с необходимостью "увязки всей сис-

темы народного образования с социалистически строящейся экономикой страны", объявляет, "что в отношении всех отдельных, в значительной своей части изолированных друг от друга типов средних общеполитехнических школ (ШКМ, ФЗС, семилетка, девятилетка, вторые концентры II ступени с разнообразными профуклонами и ФЗУ) должно быть подчеркнуто, как важнейшая и первоочередная задача, превращение их в *единую* политехническую школу. В единую, то есть имеющую единую социальную установку — воспитание сознательных и умелых строителей социализма — обеспечивающую *преемственность* между всеми звеньями советской трудовой школы и не допускающую, с одной стороны, школ-тупиков, а с другой — привилегированны учебных заведений; в *политехническую*, то есть дающую понимание единого хозяйственного плана, связи и взаимозависимости между различными отраслями хозяйства, общую трудовую культуру и вооружающую учащихся умением применить технические и агрономически знания в самых разнообразных практических областях". Эта точка зрения исключает две противоположные тенденции, с которыми коллегия "считает необходимым объявить решительную борьбу": с одной стороны, "тенденции к сокращению сроков обучения, к ранней специализации и к узкому ремесленничеству", с другой — "тенденции к подмене политехнического образования словесно-начетнической школой, оторванной от труда и производства". Это идет уже дальше — по крайней мере в теории "профессионального политехнизма" Скрипника.

Окончательно признается теперь, что "такая подготовка может быть обеспечена лишь на базе *семилетнего* образования", и "семилетка выдвигается во всей системе общего среднего образования как решающее на ближайшем этапе социалистического строительства звено". Поэтому коллегия постановляет ввести *принудительное* обучение до этого уровня и для этого 1) установить для всех, кончающих в 1930 г. начальную школу в городах и фабрично-заводских поселках, в возрасте не старше 15 лет, продолжение своего образования в семилетке (в 5 группах) в обязательном порядке, 2) запретить забирать без уважительных причин из семилетки до окончания ее курса обучающихся уже в ней моложе 16 лет (тут, правда, прибавлено: "по мере полной отмены платности обучения, обеспечения школы стипендиальными фондами, а также бесплатным снабжением беднейших учащихся учебными пособиями, одеждой, обувью и даровым проездом": это — возвращение к "утопическому" идеалу 1918 г.) и 3) для тех контингентов *переростков* из рабочих, батрацких и бедняцких детей, которые, имея начальное образование, ныне не учатся в семилетках, развернуть при последних, в первую очередь при ШКМ(молодежи) и ФЗС (семилетке), широкую сеть *вечерних* семилеток и семилеток с *ускоренным* курсом (то есть, значит, не семилеток? - *П.Милюков*)". Ставя эти зада-

чи "наравне с такими задачами, как индустриализация страны и коллективизация сельского хозяйства", коллегия требует, с одной стороны, "ускорить развитие и укрепление ФЗС, с тем чтобы с 1930-31 гг. сделать ее *массовой школой* в фабрично-заводских районах", а с другой — "реорганизовать на протяжении оставшихся лет первой пятилетки все вторые концентры (школу II ступени) в школу типа политехникума, дающую квалификацию в определенной отрасли труда". Понятие "политехнизма" при этих практических переменах, надо сказать, значительно расплывается. "Политехнизм не должен превращаться в чисто школьную учебу и тренировку": это понятно. "Он должен вооружить умением применять технические и агрономические знания для преобразования всей нашей хозяйственной жизни на социалистических началах; он должен дать направление общественно-полезной работе школы, способствуя превращению ее в культурно-производственную ассоциацию": это уже менее понятно, труднее достижимо и более растяжимо.

Во всяком случае, одно ясно: к такой работе уже нельзя привлекать человека, "социалистическим началам" не сочувствующего. "Дифференциация" между своими и чужими, которая до сих пор происходила фактически, должна быть проведена уже формально. Прежде всего, должен быть изменен состав школы. Коллегия Наркомпроса установила на 1930-31 учебный год обязательные "социальные нормы" приема в вузы. "Во втузах рабочие и их дети должны составлять не меньше 70% общего контингента приема. В сельскохозяйственных вузах рабочие, батраки, бедняки, середняки и колхозники — не меньше 75%; в социально-экономические вузы должно быть принято не меньше 60%, в художественные — не меньше 50% и в педагогические — не меньше 40% рабочих и 20% крестьян. Автор, показаниями которого мы пользуемся (Бронтман), уверен, что эти директивы будут выполнены, так как были выполнены соответственные указания прошлого (1929-30) учебного сезона. А именно, "в вузы РСФСР принято 53,2% рабочих (в 1928-29 гг. 42, 3%) и 22,1% крестьян. Члены партии и комсомола среди принятых составляют (1929-30) 66,4%, что дает увеличение по сравнению с прошлым (1928-29) годом на 11,2%. Служащих в вузы принято 18,5% и детей специалистов — 5,5 (мы видели, что в 1925 г. дети служащих составляли от 27,6% до 43,3%, начиная с низших школ и кончая высшими). Сравнение с цифрами 1923-24 гг., когда "по всем видам образования дети рабочих составляли только 15,3%, а крестьяне 23,5%", когда "члены партии среди студентов всех вузов составляли только 6,9%, комсомольцы — 6%", преисполняет автора оптимизмом. Он констатирует, что "в 1928-29 гг. мы уже имеем 21,2% членов партии и 22,9% комсомольцев", причем, "наибольший рост партийно-комсомольской группы дают социально-экономические вузы (69,4%), сельскохозяйственные — 41,2%, индустри-

ально-технические (38,1%); наименьший художественные (13,2%) и медицинские (31,8%). Автор беспокоится только относительно женщин, число которых в вузах не увеличивается, а уменьшается (в 1923-24 — 37,8%, в 1928-29 — 33,4); особенно быстро идет снижение как раз в индустриально-технических (с 19,9% до 9,3%) и в социально-экономических (с 38,1% до 18,2%).

Из сравнения всех этих цифр можно было бы сделать и иной вывод: о насильственности, с которой подбирается состав учащихся, начиная с 1928-29 гг.[12]. Скачки цифр вверх за последние три года все же слишком велики, чтобы объясняться естественным ходом вещей. Можно сделать и другой вывод: это искусственное повышение состава учащихся в пользу партии и комсомола не может обойтись без дальнейшего понижения образовательного уровня, тогда как новая реформа исходит из сознания необходимости повысить его. В очевидной связи с этим вновь стал на очередь вопрос о приемных экзаменах. Эти экзамены давали и в 1930 г. столь же неудовлетворительные результаты, как те, о которых приходилось говорить выше. "Главсоцвос указывал, что сведения, полученные из ряда техникумов, показывают, что ни с количественной, ни с качественной сторон знания поступающих не соответствуют тем минимальным требованиям, которые к ним предъявляются. Сплошь и рядом наблюдается отсутствие навыков в обращении с простыми и десятичными дробями, в преобразовании алгебраических формул, в составлении уравнений и решении геометрических задач и т.д., причем все отзывы сходятся на том, что окончившие семилетку, даже при наличии формальных знаний, не в состоянии приложить их к практическим заданиям. То же отчасти и в отзывах о подготовке по физике и химии. По русскому языку отмечается значительная неграмотность, выражающаяся в большом количестве орфографических и стилистических ошибок, а в особенности в недостаточном умении владеть письменной и устной речью. По обществоведению отмечается слабая увязка окончившими исторических вопросов политической и экономической жизни с современностью". Все это говорилось о той самой школе-семилетке, которую теперь решено положить в основу реформированной системы.

Что же было тут делать? На помощь пришла, прежде всего, психологическая лаборатория Академии коммунистического воспитания, которая (в специальной книге "Экзамен и психика") доказала вполне научно, что "экзамен создает у школьника, студента, да и у вполне взрослого ответственного человека явле-

---

12 Бронтман устанавливает, что "осенью 1928 г. в втузы была послана первая тысяча коммунистов, принятая "реакционной профессурой, а кое-где и самими студентами буквально в штыки. Затем последовали рабочие "тысячи", в которые вошли исключительно рабочие от станка".

ния, полностью соответствующие симптомам острого травматического психоневроза". Иначе, конечно, и не могло быть у категории учащихся, принужденных безысходно "грызть гранит науки". Отсюда был сделан вывод, что надо отменить экзамены. И с 1930 г. были отменены вступительные экзамены при приеме в техникумы лиц, окончивших школы семилетки (ФЗС, городскую и сельскую семилетку и ШКМ), и тем более для окончивших девятилетку в 1929 г. Так как можно было предвидеть, что из этого выйдет, то решено было "срочно организовать целый ряд дополнительных мероприятий", чтобы подтянуть недоучившихся "к концу учебного года" — притом еще "за весь семилетний курс". В то же время вводилась "в вузах и втузах самая жестокая учебная дисциплина". Учебный час увеличивался до 50 минут; учебный день — до 6 часов, срок обучения во втузах сокращался до 4 лет, во втузах нового типа до 3 лет, причем в год должно было проходиться два курса, каждый по 140-150 дней, и учение должно продолжаться круглый год, с двумя перерывами в 10 и двумя в 30 дней. Непосещение семинарий, лабораторий и др. практических занятий могло вести за собой исключение; условные переводы отменялись; оставление на второй год допускалось лишь в случае полугодовой (и более) болезни. Отменялись дипломные работы[13].

Как видим, практические меры по необходимости шли более или менее вразрез с идеологической "установкой". Это заранее обрекало идеологию на провал, как и прежде. Но, при той настойчивости, с которой во что бы то ни стало проводилась сталинская система, идеология должна была торжествовать, хотя бы формально. Интересную картину борьбы между идеологией и действительностью развертывает перед нами Первый всероссийский съезд по политехническому образованию, состоявшийся 12 августа 1930 г. Съезд этот был созван спешно, по настоянию все тех же "нажимателей", и сам Бубнов тщетно хлопотал о его отсрочке, чтобы лучше его подготовить. Подготовка состояла в том, что, помимо Наркомпроса, в съезде должны были принять участие учреждения, которые до сих пор очень вяло занимались школьным вопросом. В центральном управлении профессиональных союзов пришлось даже, вслед за самим Наркомпросом, переменить руководителей, чтобы заставить его повернуться лицом к очередным лозунгам. Высшее управление народным хозяйством также было втянуто в подготовку съезда и разработало соответственные тезисы. Конечно, сюда же был притянут и Союз работников просвещения. Все эти учреждения выставили докладчиков, и во главе их профигурировала Н.К.

---

13 "В среднем студент обучался во втузе, вместо 4-4,5 лет — 7, 8 и 9 лет. На выполнение одной дипломной работы уходило от полутора до двух лет. В 1927-28 гг. количество второгодников составляло по втузам 55,2% общего состава студентов" (Бронтман).

Крупская, так как речь ведь шла о восстановлении наследия Ленина, который в 1921 г. требовал для "политехникума" и для семилетки того центрального положения, которое собирались дать им в 1931 г. В речах докладчиков, конечно, были выдвинуты все намеченные требования. Докладчик ВСНХ очень убедительно говорил, по Струмилину и Хуверу, что "один год школьного образования дает в два с половиной раза большую прибавку квалификации для рабочего, чем год заводского стажа", и что в Америке "приспособление обученного рабочего к производству обходится в 50 долларов, а подученного в 150 долларов". Отсюда был прямой вывод, что надо сперва хорошенько обучить рабочего в ФЗ семилетке и только потом передавать его для практики в ФЗавуч. И докладчик ВУСПС даже убедительно говорил об огромном значении идеи "политехнизма". Но в этих же речах обнаружена была и та необработанная почва, на которой предполагалось воздвигнуть грандиозное здание "политехнической школы". Самая идея "политехнизма" не только не была усвоена "широкими массами", но "даже в руководящем активе и среди части руководителей союзных организаций нет ясного представления того, что практически можно и должно делать в борьбе за политехнизм". А провинция прямо отмахивалась: "Нам пока не до политехнизма" или недоуменно спрашивала: "А что такое ФЗС?" "Хозяйственные органы молчали", несмотря на всю "зубодробительную критику" "нажимателей". Наркомпрос рассчитывал принять в два сезона в ФЗУ не менее 600 тыс. человек и больше 100000 в техникум. А по данным Наркомпроса, ФЗУ охватывал только 150000, и "январский набор в ФЗУ дал подростков на базе первой ступени 44%, 5-я и 6-я группа дали 38%, а семилетка — всего 17%". Такое "отставание от типов подготовки" было признано "угрожающим". Фабрики и заводы вовсе не склонны были допускать вмешательство в свое производство приставленных к ним школ. Оборудования "в большинстве школ ФЗС совсем нет". И учителей достать трудно, а те, которые есть, совсем не знают "производств", и их надо предварительно "переподготовлять" — конечно, обычным путем, посредством "краткосрочных курсов" или — новый метод — "заочного обучения". Надо прибавить, что при сложившемся положении самая профессия педагога стала настолько непривлекательной, что учителя бегут из нее, куда только могут, — хотя бы в бухгалтеры при колхозах. "Социально-политическая неустойчивость, нейтральность и даже враждебность известной части наличных кадров педагогов" — эти известные нам черты продолжают существовать и в 1930 г. (Фридман). В 1927 г. беспартийных педагогов все еще числилось, по различным типам школ, от 79,5% до 92,2%. "Переподготовка" за 1922-29 гг. давала ежегодно переученных до 9-12% общего количества в начальной школе и до 4,6% — 5,7% в школе повышенного типа. Конечно, при вновь предъявленных

требованиях от педагогов "реконструктивного" периода, эта старая "переподготовка" уже не годилась. Теперь надо было обладать, по решению ноябрьского пленума 1929 г., "достаточно глубокими специально-техническими и экономическими знаниями, широким общественно-политическим кругозором и *качествами*, необходимыми для организаторов производственной активности широких масс трудящихся". Они же должны готовить "социалистические кадры", "воспитывать нового человека". Требования "колоссальные" (Фридман). Как их удовлетворить? Цитируемый автор отвечает: "Превратить каждое просветительное учреждение из школы учебы в школу, организующую участие обучающихся в социалистическом строительстве". Кто же будет это делать? Ответ: "Это возможно осуществить только тогда, когда сами педагоги сумеют себя перестроить". То есть мы возвращаемся к исходному пункту.

Эти наблюдения приводят нас к общему заключению, что в области школы и воспитания, вследствие искусственного ускорения темпов для достижения недостижимых результатов, сложилось, как и в других областях, крайне неустойчивое, положение, которое может быть только временным и не может стать длительным. Мы останавливаем наши наблюдения в момент, когда сделать более конкретные выводы о возможных в ближайшее время результатам совершенно невозможно. Нельзя сказать, к чему приведет ряд намеченных, но пока еще не выполненных, а по характеру целей — крайне решительных мер, требующих общего "колоссального" напряжения сил. Такого напряжения в нормальное время не бывает, и возможно оно лишь в порыве "революционного энтузиазма", напоминающего религиозный.

БИБЛИОГРАФИЯ

Лучший общий обзор школьного дела в России и подробную библиографию см. в книге N.Hans and S.Hessen, *Educational Policy in Soviet Russia* (London, P.S.King, 1930). Очерк этот основан на специальных работах, частью опубликованных в журнале "Русская школа за рубежом" (Прага). См. там же С. Гессена и Н. Новожилова, *Десять лет советской школы*, № 28 (1928). Там же Н. Новожилова, *Всеобщее обучение в России*, №№ 21-22, 23 и подробная библиография вопроса в № 26. В том же № 26 см. статью С. Сирополко, *Внешкольное образование из РСФСР*. Там же, № 31 (1929) статья С. Гессена, *Иностранцы-очевидцы о советской школе*; № 32-м статья И. Новожилова, *От комплекса назад к предмету*. В № 17 статья Б. Никольского, *Профессиональное образование в советской России*. В № 8 (1924) статья М. Новикова, *Правовой строй русской высшей школы*. В № 5-6 его же *Судьба русских университетов*. В №№ 19-20 (1926) его же *Современное состояние высшей школы в России*. В № 18 того же журнала статья А. Маркова, *Бюджет народного образования в советской России*. См. также интересную работу Samuel Harper, *Civil training in Soviet Russia* (1929). Очень неудовлетворительна книжка Lucy Wilson, *The new schools of New Russia* (Vanguard Press, New-York, 1928). Советская литература по вопросам школы и образования огромна. В дальнейшем названы только те сочинения, которые использованы автором для настоящего очерка. О совет-

ской педагогике и ее иностранных источниках см. Е.Н. Медынского, *История педагогики*, Т. II, 2-е изд. (1929) и Т. III, Русская педагогика, (М., 1929). А.П. Пинкевич, *Советская педагогика за десять лет (1917-1927)*, изд. 2-е без перемен (М., 1927). Его же: *Педагогика*, т. II, Трудовая школа, 3-е изд., перераб. и доп. (М., 1928). Спорные вопросы марксистской педагогики, стенограмма расширенного заседания Коллегии Наркомпроса (3 декабря, 1928). В. Шульгин, *Маркс и Энгельс в их педагогических высказываниях*, 5-е доп. издание (М., 1925). *Заветы Ленина в области народного просвещения*, составила Н.К. Крупская, 7-е изд. (М., 1925). Ее же. *На третьем фронте*. Статьи и речи, Ч. 1 и 2 (М. 1927). Б.А. Плюснин-Кронин, *Система народного образования в РСФСР. Проблемы марксистско-ленинской педагогики*, Вып.II. *Против ревизии марксизма в педагогике* (М., 1930). (Разбор книги А.Г. Калашникова: *Очерки марксистской педагогики*). Проф. Б.Б. Комаровский, *Диалектика развития научно-педагогической мысли* (М., 1929). Марксистская педагогика здесь строится на синтезе "идеалистической" и "позитивистической".

Об объединении учителей см. *Профессиональный союз Работников Просвещения СССР, в 1922-24. Отчет ЦК союза V всесоюзному съезду* (М., 1925) и С. Дулин, *Союз Работников Просвещения СССР в резолюциях его съездов и конференций* (М., 1925). Г. Зиновьев, *Учительство и диктатура пролетариата* (Речь на всесоюзном учительском съезде, 13 января 1925. М. 1925). А.А. Коростелев, *Учитель и профдвижение*, доклад на I-м всесоюзном учительском съезде. (М., 1925). Интулов, *РКП и учительство* (М., 1924). *Учитель и революция*, сборник статей и материалов под ред. А.А. Коростелева, А.В. Луначарского, С.И. Сырцова (М., 1925). (*История школы с 1918-21 гг.* Стрекалова, *История учительского движения* Цветкова, *Народное просвещение при НЭПе* Луначарского). В. Дробот, *Великий перелом*, с предисл. М.Н. Покровского (М., 1925). О "трудовой" школе после 1923 г. см. М. Пистрак, *Насущные проблемы комплексного преподавания*, изд. 6-е (М., 1925). Проф. М.М. Рубинштейн, *Жизненные комплексы в трудовой школе. Критическое обоснование комплексного преподавания*, изд. 2-е (М., 1925). Н. Иорданский, *Массовая трудовая школа и программа ГУСа* (М., 1925). И.Г. Автухов и И.Д. Мартыненко, *Программы ГУС и массовая школа*, изд. 5-е. (М., 1928). Е.И. Перовский, *Советская трудовая школа. Программы ГУСа. Общественно-полезный труд. Навыки* (М., 1928). В.Н. Шульгин, *Общественная работа школы и программы ГУСа*; М.С. Бернштейн, *Что делает школа для населения* (2-е изд., 1927). В. Вейкшан и С. Доброхотов, *Теория и практика трудовой школы. Программы и задания для педтехников и учителей* (1928). Н.А. Челюсткин, *Что может дать в общественно полезном деле трудовая школа* (М., 1929). *Организация и методы просветительной работы*, под ред. И. Векслера, Я. Гайлиса, И. Переля, М. Эпштейна, вып. 1-й; статья Луначарского *Социальное воспитание* (М., 1926). О пионерах см. К. Львов и В. Сироткин, *Самоорганизация школьников* (М., 1926). А.М. Гельмонт, *Наши дети перед лицом военной и контрреволюционной опасности* (М., 1930). Полемика В. Шульгина с Пистраком и Эпштейном см. в № 19 и 20, 1929 в журнале "Работник просвещения". О "рабфаках" см. *10 лет строительства рабфаков* (Госизд., 1929); *Первый рабфак, к десятилетию рабфака имени Артема* (Госизд., 1929). А. Луначарский, *Просвещение и революция*, сборник статей (М., 1926). Его же: *Проблемы народного образования*, сборник статей, 2-е изд. (М., 1925). А.В. Луначарский и Н.А. Скрипник, *Народное образование в СССР, в связи с реконструкцией народного хозяйства* (доклады на VII съезде союза работников просвещения). В.И. Чарнолусский, *Школьное законодательство в РСФСР* (М., 1927). *Директивы ВКП по вопросам просвещения*, Гос. изд. (1929). *Народное просвещение в СССР за 1928-29 г.* (отчет Наркомпроса), Гос. изд. (1930). *Контрольные цифры пятилетнего перспективного плана (1928-29 — 1932-33) по народному просвещению РСФСР (без АССР)* (Наркомпрос, 1929). Н.К. Замков, *Всеобщее обучение и советский учитель* (М., 1926). О новейшей перестройке школы см. А. Бубнов, *Всеобщее*

начальное обучение и культурная революция (три речи, июнь-август 1930 г.), Гос. Изд. (1930). Л.К. Бронтман, под ред. А.И. Абиндера, *От школы второй ступени до вуза*, Гос. Изд. (1930). Серия докладов на 1-м всероссийском съезде по политехническому образованию, 12 авг. 1930 г. Я пользовался докладами П.Н. Панкратова от ВСНХ: *Роль ФЗС в подготовке промкадров и задачи хозорганов* и Д.Д. Кучинского от ВЦСПС: *Профсоюзы в борьбе за политехническую школу*. Библиотека II пленума ЦК проса (1929). *На новых путях* (доклад А.К. Аболина, прения и резолюции). А.Аболин, *На борьбу за социалистическое переустройство деревни*, Библ. III пленума ЦК проса (1930). Резолюция III съезда секции научных работников см. *Научный работник* (1939), № 4, апрель; также №№ 7-8 и 9. Об аспирантах статья Б.М. Броннера, там же, декабрь. *Статистика научных работников*, там же № 11 (ноябрь). Комплекты "Учительской газеты" и "За коммунистическое просвещение". С. Фридман, *Какие нужны педагоги и как их готовить*, в серии "Современные проблемы культурного строительства" (М., 1930).

VI

ПРОСВЕЩЕНИЕ НА СЛУЖБЕ ПОЛИТИКИ В СССР

"Политпросветительная" деятельность правительства и населения. — Статистика грамотности взрослого населения. — Борьба с неграмотностью. — "Культпоход". — Пределы достижений в этой области. — Книжное производство при советской власти. — Его колебания. — Состав книг по отделам. — Рост и распространение газеты в первые годы. — Остановка при НЭПе и новый усиленный рост. — Дифференциация органов печати. — Переход от поучения к обслуживанию местных интересов. — Рабкоры и селькоры. — Положение журналиста. — Печать переходит к руководству взглядами и деятельностью населения. — Газетный гипноз. — Другие отделы "политпросвета". — Кино. — Изучение влияния книги на читателя. — Библиопсихология Н.А. Рубакина. — Изучение вопросов журнализма. — Что читают в городе и в деревне? — Неподготовленность читателя. — Непонятные слова. — Библиотеки и избы-читальни. — Новые требования от печати и других просветительных учреждений. — Сталин и... Петр Великий.

Мы переходим в этом отделе к обширной области внешкольного просвещения. Эта область, не менее чем область школьного преподавания, подверглась непосредственному и постоянно усиливавшемуся влиянию советской политики. Служебная роль советской просветительной работы сказалась даже в самом названии: советы не просто "просвещают" народ; они занимаются "политпросвещением". Нет сомнения, что в значительной степени — даже помимо их воли, и особенно в первые годы — "политпросветительная" деятельность сливается вообще с просветительной и приносит соответственную пользу народным массам. Мы знаем, что большевики не являются инициаторами в этой области. Мы видели ту большую роль, которую сыграла тут уже при старом режиме русская общественность. Но мы видели также, что ее работа всячески парализовалась тогдашней властью. Теперь власть как будто делала вид, что пойдет с общественностью в осуществлении самых крайних ее лозунгов. Мы сейчас увидим, что скоро от этой иллюзии ничего не осталось.

Советская власть унаследовала от предыдущего режима неграмотность населения, доходившую в 1911 г. до 61,7%. Перепись 1920 г. дала увеличенную цифру безграмотных 68,1% (м.п. 59,1%, ж.п. 75,6%). Это, очевидно, объясняется влиянием годов войны и революции. По переписи 17 декабря 1926 г., предпринятой специально ввиду введения всеобщего обучения,

показания были благоприятнее: 49,2% безграмотных мужчин и 70,8% женщин, а в целом 60,4%. Это почти то же, что до войны. В частности, в школьном возрасте (группы 10-17 лет) процент неграмотности падал ниже средней цифры (до 42,8-27,1% м.п., 47,6-46,7% ж.п. в соотв. группах). Среди поколения молодежи, окончившей до развала школы (18-24 лет), неграмотность спускалась еще ниже (до 26,8-19% м.п. и все же 46,3-47% ж.п.). Но затем, начиная с 25-летнего возраста до 44-летнего, процент неграмотных обоих полов быстро начинал увеличиваться (с 22,8 до 34,1% м.п. и с 56,3 до 76,8% ж.п.). Рост неграмотности продолжался затем неуклонно среди поколения, родившегося при Александре II (с 40,5 до 65,4% м.п.; с 80,7 до 90,3% ж.п.) и особенно среди остатка родившихся при Николае I (с 72,4 до 93,1% м.п.; с 92,9 до 97,9% ж.п.). Мы имеем здесь, ретроспективно, в сокращении, всю историю уменьшения неграмотности за целое столетие.

Советская власть решила во что бы то ни стало покончить с неграмотностью среди взрослых. Вопрос об этом был поставлен еще Лениным, который ставил в зависимость от грамотности все остальные успехи революции. "В стране безграмотной построить коммунистическое общество нельзя, — твердил он. Безграмотный человек стоит вне политики". Декрет 26 декабря 1919 г., подписанный без предварительной подготовки Лениным, требовал принудительного обучения. 19 июня 1920 г. учреждена была ВЧК по ликвидации неграмотности. Неграмотных было тогда насчитано 22 млн. Заготовлено до 150000 ликвидаторов. Первый порыв дал в 1920-21 гг. сразу 40967 ликпунктов с 1157 тыс. обучавшихся. Но затем, ввиду НЭПа, работа была снята с госснабжения, и дело начало быстро падать:

	1920-21	*1921-22*	*1922-23*
Число ликпунктов	40967	17987	3535
Число обучавшихся (тыс.)	1157,6	455,8	110,8

Новый толчок был опять дан Лениным, предложившим ликвидировать неграмотность к 10-летнему юбилею революции. 14 августа 1923 г. ВЦИК и Совнарком напомнили, что ликвидация безграмотности есть "наиболее важная и ударная задача народного просвещения". Число неграмотных было теперь определено в 17 миллионов. Расходы были отнесены на местные средства. Цифры показали рост ликвидации, но непрочный: с 1926-27 гг. началось опять снижение:

	1923-24	*1924-25*	*1925-26*	*1926-27*	*1927-28*
Число ликпунктов	17363	44375	50925	46826	42177
Число обучавшихся (тыс.)	534,6	1396,0	1639,3	1516,9	1318

Как видим, усердие ликвидаторов стало опять ослабевать. В чем же дело? В 1927 г. Д. Бондарев приводит ряд "жизненных фактов", указывающих на причины равнодушия. Так, один председатель окружного исполкома, у которого работа поставлена хорошо, по этому пункту говорил автору: "Что вы пустяками занимаетесь — ничего у вас не выйдет. Рецидив большой, и вообще — дело не стоящее". Профсоюзный работник в Ярославле был не менее решителен. "Ликвидация неграмотности есть ни больше ни меньше, как ликвидация народных денег". Действительно, ликвидация обходилась дорого (6 руб. 17 коп. на неграмотного в сравнении с 15 руб. на школьника); привлечь на пункты желающих было трудно, посещаемость спускалась от 75 до 50%. Обучишь миллион, но этим грамотность не увеличишь, ибо в России каждый год около нового миллиона "переростков" остается вне школы. А затем и школьники, и "ликвидированные" снова в большом количестве теряют грамотность: в три месяца прочно грамоте не научишь. По расследованию, произведенному в Ленинграде, оказалось, что после трехмесячного обучения 20% теряют грамотность. После 6 месяцев число рецидивистов неграмотности понижалось до 5%. Школы "малограмотных", которые могли бы помочь в этом случае, составляли не больше 5-6% числа ликпунктов. Н.К. Крупская правильно назвала это положение не ликвидацией, а "стабилизацией" неграмотности.

Ввиду всех этих неудач пришлось отодвинуть срок полной ликвидации неграмотности, вместо десятилетнего юбилея октябрьской революции, до 1933-34 гг. Тогда рассчитывали, что, если взять возрасты 11-35 лет, то число неграмотных определится в 11,5-13 миллионов, и что за эти годы (1926-27 — 1933-34) можно будет употребить на эту цель из бюджета Наркомпроса до 85,7 млн.руб., из которых 38% возьмет на себя государство, а 62% — местный бюджет. На этом расчете , приводимом Болдыревым, однако, не удержались. Пятилетний план ограничился возрастами 16-34 года; в этих пределах насчитывалось неграмотных 9,6 млн.чел. По плану Наркомпроса из этого числа к 1932-33 гг. должно быть обучено, за вычетом рецидива и отсева, 6,6 млн. Было рассчитано, что неграмотных останется тогда только 2 миллиона, — в предположении, что отсев уменьшится с 34% до 19%.

По мере наступления сроков и тут расчеты оказались преждевременными. Снова проявились нехватки и усиленная нервность. 24 мая 1929 г. ЦК ВКП распорядился удвоить намеченное на следующий год число ликвидирующих неграмотность (4 млн. вместо 1,5 млн.). 9 сентября 1929 г. план был переработан в смысле сокращения срока полной ликвидации с пяти до четырех лет. Определены были ближайшие сроки ликвидации для разных категорий: рабочие в первую очередь — в год, колхозники — в два года. Возраст поднят до 50 лет. 9 ноября

1929 г. новая перемена: колхозникам тоже срок ликвидации неграмотности сокращен до одного года. Этот план велено выполнить во что бы то ни стало. По инициативе комсомола объявлена была кампания, известная под названием Культпохода. Этот "поход" охватил не только ликвидацию неграмотности, но и другие методы политпросветительной работы. Культпоходники пошли еще дальше Наркомпроса — и в 1929-30 гг. вместо 4 млн. втянули в ликвидацию 10 млн. неграмотных.

В походе этом было проявлено много энтузиазма и местной, часто личной инициативы. Жажда просвещения в массах сказалась и тут, совершенно независимо от партийных задач ликвидационной кампании. В какой обстановке происходила ликвидация и к чему она приводила, видно будет из нескольких примеров, приводимых в агитационной брошюрке (Л. Римского). Вот письмо деревенской ликвидаторши Богачевой (Московского округа, Ленинского района) инспектору политпросвета: "Работаю на ликпункте скоро три месяца, но насчет литературы очень скверно. Дали всего только по одной тетради, а сейчас не на чем заниматься... За квартиру ни копейки не платили... Мне тоже не платят за мою работу. Ходить мне к ученикам — не близко, за 4 километра в один конец. В Прокопове ходят 14 человек, да у нас, в Дудшеве, 5 человек ходят ко мне на дом. В неделю приходится заниматься 4 раза. Ученики писать и читать стали очень хорошо. Задачи решают. Букварь проходим, нужны другие книги". Но вот работа кончена с успехом, "шесть человек хотят учиться дальше", и Богачева "думает продвигать их дальше навстречу советской власти". Тут, однако, для нее самой возникает вопрос совести, и она "желает сказать свою откровенность инспектору". Местные власти "предлагают взойти в партию, но я что-то страшусь... Много еще во мне старого быта. Читать книжки приходится не слишком много. Иногда сидишь целый вечер и задумаешься: к какой-нибудь одной стороне надо присоединиться, а то ни туда, ни сюда. В деревне (сам знаешь) очень разбивают; если бы в городе, тогда дело другое. Посоветоваться не с кем. Конечно, мать моя и отец против, а с девчатами поговорить, они только смеются: "Сами на собрания не ходим и в комсомол не хотим". Прошу, по моей просьбе, объясни мне все подробно (книжек научных, каких *жизненных*, нет ли?). Но в защиту партийцев я целиком отдаюсь". Результат нетрудно угадать. Богачева вступила в партию.

Вот другой пример. Солдат Бубликов, брал Львов, сражался с Деникиным, теперь избран в правление колхоза, открыл у себя в хате ликпункт, без всякого школьного обзаведения: нет классной доски, мало тетрадей, нет карандашей. Ученики, 12-20 чел., приходят со своими табуретками, учитель, по букварю "Красный пахарь" диктует, "отрубая слова": "пишить, ребята: "идеть, течеть по улице народная толпа, кругом знамена красные, как маковы цветы". "Как говорю, так и пишить... Как на-

чинаю писать, пишить всегда с большой буквы, а потом уже идуть маленькие". И в своем дневнике учитель-солдат отмечает: "Проруботано в школе из 16 декабря 1929: проруботано по арихметики писание простых и название цихвр от первого и до 30..." "В январе с 4 по 14 такой-то не посещал занятий, потому что "был уехамши в Харьков". А "две замужних бабы не учились и утопали во тьме"...

третий пример. Казачья станица Васютинская, на Кубани. Местная ячейка общества "Долой неграмотность" (ОДН) на всероссийском смотре получила "за выдающуюся деятельность на фронте массового просвещения первую премию — кинопередвижку". Ячейка работала с 1924 г. и в 1927 г. закончила работу по ликбезу, обучив 1030 неграмотных из 1230. В ее школе малограмотных кончили 260 человек; кое-кто прошел и школу взрослых повышенного типа и дошел до вузов. Политпросветительный итог — следующий. "5 человек вступило в партию, 16 — в комсомол; 5 человек выбрано в станичный совет, в женделегатки прошло 73 женщины, в добровольные общества вступило 115 человек; подписчиками библиотеки состоят 72 человека". Это своего рода рекорд.

Общий итог движения, конечно, ниже рекордных достижений. В нем особенно отчетливо выявляются препятствия, мешающие осуществлению широкого обхвата "культпоходного" движения: "слабое участие кооперации и профсоюзов", недостаток учебников, "стихийный" характер движения и "слабый охват колхозников и промышленных рабочих", как раз поставленных на очередь текущего года. В районы коллективизации посланы в спешном порядке особые "культбригады". Что вышло из всей этой лихорадки, сказать трудно. Но сами участники движения утверждали, что без помощи других приемов политпросвета, распространения книги, библиотек, курсов и рабочих университетов для взрослых, изб-читален, крестьянских красных уголков, спектаклей, кино, клубов обойтись в культурном походе невозможно.

Прежде чем перейти к сети всех этих политпросветительных учреждений, мы остановимся на основном и главном: на продукции книги и газеты в советской России. Мы знаем, что и в этой области советская власть получила большое наследство от предыдущего периода истории. Судьба этого наследства была приблизительно такая же, как и наследства школы, литературы и т.д. Сперва более или менее пассивная рецепция, потом разрушение и, наконец, реставрация, стремящаяся поставить дело на новые основания, но в конце концов принужденная считаться с прошлым.

Переход от этого прошлого к книжной и газетной продукции советского периода ознаменовался прежде всего конфискацией печатных средств и запасов старого режима. В первую голову были национализированы типографии и бумага, необходи-

мая для издания советских газет. Газета была гибким и могущественным орудием советской пропаганды; в ее значении большевики должны были убедиться еще во время подготовки переворота. Но еще важнее были "агитки", плакаты, листовки, мелкие брошюры, объяснявшие массе цели совершившихся событий и боровшиеся с врагами коммунистической власти и идеологии. ВЦИК и петроградский совет выпустили за 1918 и 1919 гг. до 150 названий всего этого материала, тираж которых иногда доходил до 200000 экземпляров. Военный комиссариат бросал на фронты гражданской войны и в Красную армию тоже массу "взрывчатой" литературы. Наркомпрос монополизировал более 50 русских классиков и издал до дюжины их по старым конфискованным матрицам, издал массу брошюр и сочинений по новой педагогике. Новые партийные издательства "Прибой" и "Коммунист" печатали первое — агитационные брошюры, второе — тяжелую артиллерию сочинений Маркса, Ленина, Бухарина, Каутского и т.д. В октябре 1918 г. Москва "муниципализировала" 152 книжных склада и магазинов — больше 10 млн. экземпляров, по огульной оценке на 5-6 млн.руб. Крупные склады, как Сытин, Думнов, были прямо переданы "Центропечати" по оценке в 4-5 млн. Наконец, декретом 20 апреля 1920 г. были национализированы все книжные запасы в стране. Петербургские запасы были не меньше московских, и провинция дала запас на 3 млн.руб., так что общая стоимость конфискованного книжного товара составляла не меньше 25 млрд. довоенных рублей. Частные газеты и издательства прекратили существование уже к концу 1918 г. ВЦИК утвердил 19 мая 1919 г. существование Государственного издательства как центрального регулирующего органа, занявшего среди советских издательств первое место. В первый же год Госиздат напечатал 250 названий не менее, чем в 10 млн.экз. (некоторые издания в 100, 200, 400 тыс.экз.); в 1920 г. — уже 623, в 1921 г. — 777 названий.

Однако же общая цифра книжной продукции в эти годы "военного коммунизма" непрерывно падала. Мы знаем, что это падение началось еще в 1913 г. и кривая продукции круто спускалась в годы мировой войны. Теперь это падение продолжалось и достигло своей низшей точки в 1920 г. (3260 названий). Надо сказать, что за эти годы книга не считалась предметом торговли и почти не имела цены. Потоки печатной бумаги текли и распределялись в населении почти безденежно; советские издания работали за счет бюджета. В 1920 г. книжная торговля и вовсе прекратилась.

Решительную перемену во всех этих отношениях принесло введение НЭПа. Как и в других областях производства, книжное дело было переведено на хозяйственный расчет. Декрет 28 ноября 1921 г. установил гонорар за печатные произведения; декрет 12 декабря разрешил частное книгоиздательство и тор-

говлю. Однако же еще 16 августа 1921 г. исключительное право печатания учебников было сохранено за Госиздатом. В ближайшие же месяцы открылось в одной Москве 58 частных издательств, через год в СССР числилось 500 книжных предприятий, в 1923 г. — 752, к 1924 г. — 1127 и к 1925 г. — 2056. Но это были, по большей части, очень маленькие издательства и лавки, частью даже фиктивные. Их доля в общем книжном сбыте падала с 10-12% в 1923 г. до 6-4% в 1925 г., а в издательстве с 20% (1922) до 7% (1925). Правительственные предприятия составляли к 1924 г. 61% общего числа, а к 1925 г. уже 80%.

Книжное производство с этого времени стало быстро расти вверх, почти удваиваясь каждый год по количеству экземпляров:

	Названий	*Экземпляров*
1922	7843	33 млн.
1923	10810	67 "
1924	13126	110 "
1925	23267	242 "

Однако же этот лихорадочный рост, как скоро оказалось, так же быстро привел к кризису сбыта книги. Появилась затоваренность, как результат перепроизводства. В чем же было дело? По поручению Бюро издательств Г.Н. Поршнев произвел специальное расследование причин кризиса. Эти причины, по его заключению, прежде всего, сводятся к "изменению социальной основы владения предприятиями, оставившему за частником не более 6-10% производства". В результате этой перемены получилось "преобладание политических и культурно-хозяйственных задач вместо частного коммерческого интереса". Другими словами, производство книги соображалось не с потребностями читателя, а с намерением власти внушить читателю свою собственную идеологию. Здесь, как и в школе, попытки воздействия сверху столкнулись с сопротивлением среды — большей частью пассивным, но иногда и активным. Прежде всего, как мы видели, в массу шли до революции книги религиозные. Этот отдел был совершенно исключен из новой продукции. Затем — учебники. Монополизированные правительством, они и теперь остались на первых местах. Но ввиду частых перемен в программах школ старые учебники остались на руках у правительства. По свидетельству Поршнева, "в неликвидных запасах преобладают учебники 1923 г., забракованные программой ГУСа 1924 г.". Затем "затоваренность" объясняется "перепроизводством книг по отделам общественных наук, ленинизму, массовой литературе, искусству и ведомственных изданий. Последние, не подлежащие продаже, засорили книжную продукцию в очень большой мере. По вычислениям Комитета по делам печати в 1927 г. только 54% этих изданий входило в

"товарную часть продукции": остальные 46% служили надобностям административного аппарата. Далее, совсем не принимались массой усилия коммунистов внедрить официальную идеологию. "Кризис 1925 г., — свидетельствует Поршнев, — наиболее всего сказался на социально-экономической литературе, ленинской, крестьянской и на политграмотах". Помимо прямой непригодности этого товара для масс, тут сказалась также "слабо развитая книготорговая сеть" и, как результат ее, "несвоевременная подача продукции". Эта несвоевременность была особенно чувствительна ввиду "ударного" характера агитационной литературы и, вследствие этого, "высокого процента устареваемости книг". Положение ухудшалось еще тем, что именно этого рода книги выпускались в немногих названиях, но высокими тиражами, тогда как книжный рынок требовал большого разнообразия и меньшего количества. Именно поэтому "затоварились" "научно-популярные книги, в изобилии выпущенные несколькими издательствами", — очевидно, в ошибочном расчете на широкий сбыт. Затем залежалось "искусство" как запоздалый отклик на увлечения 1922 г., художественная литература (в том числе 2"Всемирная литература" и классики Наркомпроса). Если партийная агитация и пропаганда шла мимо голов массы, то, очевидно, научная и художественная литература шла поверх голов потребителя. Цивилизаторские усилия Луначарского и Горького на этот раз не прививались.

Некоторый урок из кризиса 1924-25 гг., несомненно, был извлечен. Стал разнообразнее ассортимент книг, уменьшились излишние тиражи. В 1926 г. "производство было понижено почти на 30%, а продажа пошла почти с нормальным, стабилизировавшимся повышением. В 1927 г. все линии (кривых — то есть линии продукции и ее реализации) почти сошлись в один узел. Это говорит о несомненном оздоровлении рынка", утверждает Поршнев. Согласно с ним и А. Халатов в своем докладе на XIV съезде Советов (15 мая 1929) отмечает: "Уже в истекшем, 1928 г. мы вошли в такую полосу развития, когда выпускаемая нами книжная продукция расходится в более короткие сроки, чем мы предполагали; миллионные тиражи отдельных брошюр распространяются без остатка в течение самого краткого промежутка времени" и даже "наступает период недостатка книжной продукции". Соответственно этому, после "некоторой тиражной паники 1926 г. и отчасти 1927 г.", уже во второй половине 1927 г. ГИЗу пришлось "значительно усилить свою производственную работу, дабы восполнить огромный недостаток продукции, созданный чрезмерной тиражной осторожностью". Это дало возможность несколько понизить и цены (Вольфсон). Общий рост названий по СССР, таким образом, продолжал подниматься непрерывно (1925 — 26320; 1926 — 28400; 1927 — 32664; 1928-29 — 37000), а тираж, после понижения в 1926 г. (206 млн.экз. сравнительно с 278 в 1925 г.),

возрастал в еще большей прогрессии (221 млн. в 1927 г.; 320 млн. в 1929 г.).

Конечно, вся эта масса печатной бумаги искала — и в значительной степени находила — себе иного читателя, чем прежде. Об этом свидетельствует прежде всего перемена в распределении издававшихся книг по отделам. Вот попытка сравнения этих изменений по советским материалам (в процентах):

	XVIII столетие	*1890-94*	*1926-27*
Богословие	10,96	13,13	#
Учебники	4,63	10,14	24
Обществоведение	20,48	15,24	24
География	6,85	1,34	?
Научная техника, естеств., матем.	10,68	17,28	2,8
Литература худож. и языкознание	38,84	14,75	5
Издания для народа	#	5,22	12,8
Прочие	7,56	21,90	31,4

Как видим, в Советской России сильно растут отделы учебников и изданий для народа. Поднимается в числе — но, как мы видели, искусственно — и отдел обществоведения. Огромный рост смешанной рубрики "прочих", вероятно, объясняется включением сюда официальных правительственных изданий, составляющих тоже пассивный материал. Падают в численности издания научного и художественного содержания, предназначенные для верхнего культурного слоя, теперь подвергшегося разгрому. И наконец, совершенно исчезает отдел религиозных изданий.

Переходим теперь к газетам и журналам, занимающим особое — и чрезвычайно важное — место в издательстве СССР. Именно в этом отделе особенно отчетливо проявляется служебная роль советского просветительства. "Путь нашей печати — путь нашей партии"; "они неотделимы, наша печать и наша партия... На различных этапах борьбы большевизма... имена газет были синонимами партии; "сама партия начала строиться вокруг органов печати". Этими заявлениями начинается интересная книга С. Ингулова "Партия и печать". Собственно, цифры конца гражданской войны сравнительно с довоенным распределением газеты не дают точного представления о совершившейся перемене (в скобках — тираж):

	Губернских газет	*Уездных*	*Всего*
1914	316 (2502000)	151 (226500)	462 (2728500)
1921	313 (2557400)	490 (268800)	803 (2836200)

Но под этими сходными в итогах цифрами скрывается полная перемена состава и производителей газеты и ее потребителей. Обращает на себя внимание огромный рост провинциаль-

ных изданий при ничтожном росте их общего тиража (на каждую газету в среднем 547 экз.). Объясняется это распылением газетной сети. "Газеты издавались почти в каждом городе, где был печатный станок. Стоило появиться такому станку в волости, газета начинала выходить и в волости. Революция родила совершенно новый тип газеты — походной, передвигающейся вместе с красноармейскими частями". Конечно, тираж такой газеты был совершенно ничтожен. Еще в 1926 г. из 790 газет 268, то есть 34%, имели тираж меньше 1000 экземпляров (из них 196 или 24,9% меньше 500). Зато они проникали в глубь страны и находили своего читателя. До 35% экз. газет этого времени (1921) поглощались советскими учреждениями. Из 65% остальных, по расчету Ингулова, до 20% (вероятно, больше) "пропадало на складах различных губпечатей, на станциях железных дорог, застревало в разных канцеляриях и раскуривалось непрочитанными". Но зато 35% расклеивалось на стенах ("у нас почти не было иной газеты, как только стенная") и прочитывалось, по (может быть, тоже преувеличенному) расчету того же автора, 330 человеками на каждый экземпляр, что давало 29,8 млн. читателей. Прибавляя сюда 10% тиража газет, попадавших в клубы и читальни, и 35% количества их, посылавшегося в учреждения и отдельным работникам, и рассчитывая читаемость первых газет в 10 чел. на экз., а вторых в 3 человека, автор получает несколько проблематическую цифру 37 млн. читателей. Эту цифру он сравнивает с 8,5 млн. довоенных читателей, считая для того времени по 3 читателя на экземпляр и прибавляя 0,5 миллиона на читальни и клубы. В итоге получается 6% читателей из довоенного населения России (135 млн.) сравнительно с почти третью всего населения, ставшей читателями в 1921 году. Несомненно, первая цифра преуменьшена, а вторая преувеличена. Но так же несомненно, что период гражданской войны все же должен был ознаменоваться очень значительным ростом читателей, пришедших на смену прежним читателям из народной среды.

Переход к НЭПу сопровождался быстрым падением временно-напряженного интереса новой читательской массы к газете. Падению содействовало и то, что теперь восстановлялась и в этой области платность. Читатель должен был превратиться в покупателя или подписчика. Число газет за первые два месяца 1922 г. поэтому сразу упало с 830 до 382, а на 1 июня 1922 г. до 330. Конечно, преимущественно закрывались эфемерные провинциальные издания (с 490 они упали до 166, тогда как губернские с 313 только до 164). Тираж к середине 1922 г. упал ниже одного миллиона экземпляров. XI съезд партии (апрель 1922) констатировал "слабую связь с массами", "недостаточную выдержанность газет в партийно-политическом отношении" и "полную неналаженность аппарата распространения, в особенности среди рабочих и крестьянских масс".

С этого момента, однако же, начинается перелом в положении советской печати. XII съезд партии через год (апрель 1923) уже отмечает "заметный рост тиража" и признает, что "почти все газеты установили тесную связь с рабочими массами, причем заслуга... принадлежит рабочим корреспондентам". В апреле 1926 г. количество газет дошло до 622, а тираж до 8295201 экз. Однако же, упомянутый выше кризис продукции отразился и в газетном деле. Закрыты были материально не обеспеченные крестьянские газеты, некоторые ведомственные; от обязательной ("коллективной") подписки потребовалось перейти к индивидуальной. Это привело, в конце 1926 г., к падению числа газет до 569, а тиража на целый миллион (до 7295600). Но в дальнейшем рост периодической печати продолжался: в 1928-29 гг. выходило снова 606 газет, и разовый тираж их повысился до 13,5 млн. экз. Совершенно исключительно начал расти тираж газет во время кампаний последних 2,5 лет:

1 июня 1929 г.	12 635 000 экз.
1 октября 1929 г.	15-16 млн. экз.
1 марта 1930 г.	21-22 млн. экз.

Специальный номер "Бедноты", посвященный вопросам коллективизации, разошелся в количестве 2,5 млн. экз., а "Крестьянская газета", вообще имевшая к 1930 г. тираж в 2 млн., распространила свой номер, посвященный весенней посевной кампании, в 15 млн.экз. К этому следует прибавить еще специальные газеты, фабрично-заводские и колхозные. Фабрика вернулась к стенной газете. А для кампаний в деревне создавались ad hoc целые десятки специальных газет. Так, для весенней посевной кампании, по призыву "Правды", московские пролетарские организации в 3-4 недели создали целых 53 районные колхозные газеты, снабдив их редакторами, наборщиками и типографскими машинами. Эти 53 "бригады" с 53 редакторами и 159 наборщиками были немедленно разосланы во все концы России: по семи газет в среднем в Центр.-Черноземную область, в Среднее и Нижнее Поволжье, на Северный Кавказ, от одной до трех в другие области и окраины. По примеру Москвы сорганизованы были выездные редакции и в других республиках СССР.

Общее число специальных изданий дошло до 1000, а тираж до 1,5 млн.[1]. "Центральный Комитет повернул печать к конкретным и коренным вопросам промышленности и сельского хозяйства", то есть к сверхиндустриализации и коллективизации, докладывал Каганович, приводя эти цифры XVI съезду партии в начале июля 1930 г. Только бумажный кризис остано-

[1] Журналов было 1700 (сравнительно с 1108 в 1926 г.), и их тираж составлял 320 тыс. (сравнительно с 147,7 тыс. в 1926 г.).

вил рост этого гигантского потока печатной бумаги, обрушивавшегося на страну, как средство приобрести поддержку политике Сталина.

Вся эта печать дифференцировалась соответственно слоям населения, которое она была призвана обслуживать. Ингулов подводит довольно внушительный итог этого расчленения. "Мы имеем, — говорит он, — группу руководящих партийных газет. Мы имеем руководящие советские газеты, которые направляют всю работу в области государственного строительства. Мы имеем группу массовых рабочих газет, читатели которых — не партийные активисты, не квалифицированные советские рабочие, а рядовые, в большинстве беспартийные рабочие. Мы имеем сейчас значительную сеть массовых крестьянских газет. В их составе есть своя внутренняя дифференциация: газеты с ориентацией на сельского передовика, волисполкомщика, сельсоветчика, сельского интеллигента ("Беднота") и газеты для рядового среднеграмотного крестьянина ("Крестьянская газета"). Мы имеем довольно значительную и все возрастающую сеть газет, которые обслуживают крестьян и рабочих, говорящих не на русском, а на других языках (число их поднялось сравнительно с дореволюционным периодом с 24 до 58). Мы имеем также красноармейские газеты... Мы имеем юношеские газеты... имеем издания, которые адресуются к женской половине рабочих и крестьян, а также... профессиональную печать, кооперативную печать и т.п. Все эти газеты и журналы, говоря разным языком и аргументируя разными фактами и доводами, являются только разными родами оружия, выполняющими одни и те же боевые задачи: укрепление диктатуры пролетариата и воспитание широких масс в духе коммунизма".

Социологическое значение советской печати, в ее положительных и отрицательных сторонах, определено здесь очень точно. Но одни эти цитаты далеко еще не дают представления о том реальном процессе, который привел к отмеченному здесь, — действительно единственному в истории по своей грандиозности результату. Как в истории советской школы, так и в истории советской газеты можно отметить переход от первоначальной утопической идеологии к узкопрактической постановке, все более исключающей все элементы идеализма. Началось и здесь с того, что в первый год борьбы за власть борющаяся группа предоставила своим идеологам объявить самые широкие, самые радикальные лозунги, идейно связанные с дореволюционной теоретической разработкой. В первые полгода, до второй половины 1918 г., власть даже терпела существование, наряду с своими, буржуазных и социалистических газет. Главный орган партии, носивший старое боевое имя "Правды", продолжал разрабатывать тонкости догмы, вызывавшие бесконечные споры в период былых эмигрантских досугов. Но когда

эти "дискуссии", вызвавшие уже в эмиграции раскол партии на "большевиков" и "меньшевиков", продолжали вестись в органе, ставшем правительственным официозом, — это было уже дело другое. И после первого опыта такой широкой "дискуссии", вызвавшего появление новой "фракции" Троцкого (осень 1923) была создана практическая опасность дискредитации начальства. Тонкости пришлось отбросить в сторону. Этому повороту одинаково содействовал и испуг, вызванный смертью Ленина (январь 1824), и появление на его месте гораздо менее культурного Сталина. Было к тому же замечено, что теоретическими спорами не привлечешь читателя. И годы НЭПа вызвали новую постановку: вместо того, чтобы действовать на ум читающей (точнее, не желающей читать) массы, решено было обратиться к ее *чувству и интересу*. Тогда именно, с 1923-24 гг., были созданы все те разнообразные формы обращения не к читателю вообще, а к читателю определенного типа, определенной степени образования, определенного направления интересов, о которых говорит Ингулов. Если читатель не шел к газете, нужно было устроить, чтобы газета шла к читателю, чтобы она стала для него интересна и чтобы он почувствовал от нее непосредственную пользу. Тогда же был широко развернут и аппарат добровольных корреспондентов с мест, через которых массы могли приносить свои жалобы и доводить до сведения центра о своих нуждах. Рабочие и сельские корреспонденты (рабкоры и селькоры) должны были исполнять эту функцию коллективного Гарун-аль-Рашида. А редакциям журналов было приказано заняться всем этим материалом, рассортировать его, направить к исполнению и донести центральному комитету о последствиях.

Последствия эти были отчасти именно те, которых власть желала. Институт корреспондентов быстро развился. ЦК партии сообщил об этом следующие статистические данные:

	Август 1925	*Август 1926*
Рабкоры	74298	115607
Селькоры	115710	192888

К XVI съезду число рабкоров увеличилось до 532 тысяч.

"Крестьянская газета" произвела анкету, которая показала, что с 1924 г. по 1928 г. число полученных редакцией писем возросло с 243000 до 720000, а число корреспонденций из деревни поднялось со скромной цифры 400 до 15200. В то же время и тираж газеты вырос с 300000 до 1020000. Что касается этого письменного наводнения, "Крестьянская газета" сообщила, что за 1927 г. по письмам с мест состоялось 461 увольнение, 522 преследования судебным порядком, 63 случая исключений из партии и 54 дисциплинар-

ных взыскания. Естественно, что газета выиграла в популярности.

Но это — только одна сторона. Обнаружилась и другая. Жалобы с мест навлекли на жалобщиков ненависть населения, считавшего их доносчиками и агентами власти. Масса реагировала нападениями на селькоров и убийствами. Из года в год случаи покушений и убийств становились все более многочисленными. Их было 32 в 1924 г., 115 — в 1925, 282 в 1926 г. С другой стороны, и правительство обеспокоилось даже и той скромной долей права критики, которую пришлось предоставить "корреспондентам". В самом деле, как соединить некоторую свободу критики с выполнением правительственных предначертаний? Рабочие и особенно сельские корреспонденты попали в чрезвычайно тяжелое положение между населением и властью. Население их убивало как правительственных шпионов: власти карали за непонимание пределов дозволенной критики. ЦК ВКП отметил в постановлении 28 августа 1926 г., что с "притоком в рабкоровские ряды новых слоев, пришедших из деревни рабочих", наблюдаются "случаи отхода низовых рабселькоровских организаций от партийного руководства", "проникновение в селькоровскую среду кулацких антисоветских влияний; значительный процент служащих, как следствие роста активности в слоях интеллигенции". Конечно, ЦК осудил все это и рекомендовал "усиление партийного руководства рабселькоровским движением". Еще бы: ведь случилось же, что журнал "Селькор" напечатал приглашение селькоровскому кружку "наметить и обсудить кандидатов в сельсоветы", то есть выставить свой список вместо партийного.

Естественно, что на поднятый сторонниками литераторской "независимости" вопрос о "*свободе* критики" представители партийного "руководства" ответили постановкой вопроса о ее "*пределах*". Пределы эти были поставлены там же, где они проходили и для "обличителей" старого режима: критикуй, но не дискредитируй власти и не возбуждай "недовольства существующих порядком". "Триста тысяч пар селькоровских глаз" должны не разрушать, а "беречь советский строй", представляя "положительную" критику с целью "не ослабления, а усиления пролетарской диктатуры". Тут и "пролегают границы нашей критики" (Ингулов).

Каково же положение журналиста при такой постановке дела? В 1924 г. редактор журнала "Новая Россия" (закрытого в 1926 г.) поместил статью, в которой доказывал, что в Советской России нет и не может быть журналистов, а есть только "мастера, подмастерья, подручные и подподручные газетного промысла". "Журналист — это звучит гордо". Ленин, Бухарин — не журналисты. Журналист — это Максимилиан Гарден..."

Трудно представить более сильную критику советской печати. Идея независимости журналиста и свободы печати, ее "бес-

партийности" ее нейтралитета даже — не ко двору в Советской России.

Здесь мы переходим к третьей стадии развития газетной функции. Не *учить* партийным тонкостям и даже не *привлекать* служением интересам массы, а *руководить* ею для достижения правительственных целей — таков лозунг, выдвинутый новой политикой коллективизации, к которой перешел Сталин после 1927 г. Аппарат для руководства был теперь готов. "Генеральная линия" партии стабилизирована окончательно. "Правда" — ее Коран. Автентические толкования "Правдой" единой дозволенной истины должны быть известны всем (тираж "Правды" поднялся с 126000 экз. в 1924 г. до 645000 в 1929 г.). Редакторы газет назначаются властью — и могут быть в любую минуту отставлены. Важнейшие статьи циркулярно сообщаются провинции из центра. Единая воля управляет, как на поле сражения, всеми движениями газетной массы. Приказы из центра сопровождаются немедленным исполнением. Миллионы газетных выстрелов бьют по намеченной цели, повторяясь изо дня в день. Куда они метят? Это указывает очередная директива. Чуть не каждый день открывается новый "фронт" (самая терминология отныне воспроизводит военную). Сегодня это "фронт ликвидации безграмотности", завтра — фронт понижения цен, потом — фронт против "кулаков", за "генеральную линию", за организацию новых колхозов, фронт весеннего сева, хлебной закупки и т.д. Довольно редко печать торжествует на этих "фронтах". Она предпочитает даже преувеличивать поражения — чтобы бить тревогу. То на том, то на другом "фронте" — "прорыв"! Печать призывает к "соревнованию", убеждает, настаивает, грозит. Образуйте ударные бригады! Пусть комсомол проявит инициативу! Опаснее — искать причин неудач. Главной причины — неосуществимости самих заданий — нельзя и опасно касаться. Зато можно смело указывать на такую-то фабрику, такую-то деревню, — такие-то определенные лица. Всего удобнее, конечно, обличить в "саботаже" классовых врагов. Это они — инженеры, ученые, интеллигенты — "вредители" и виновники неудач. Они хотят остановить советский "поезд". Но им не удастся. Колхозы возьмут "штурмом". "Фундамент" социализма будет достроен.

Главная опасность — не тут, она за границей! Капиталисты и милитаристы всех стран строят заговоры против "отечества трудящихся": разные Пуанкаре и Брианы! Но советская дипломатия "сорвет маски" с французского генерального штаба, который прикармливает займами хищных птиц Польши и Румынии... За дипломатами стоят банкиры, дрожащие за свои капиталы... Все это сопровождается ловко составленными карикатурами; специальные газетки рассеивают эту пропаганду на фабрике, в деревне, в армии, среди молодежи: женщин и т.д. Об-

щий припев последних лет: нам грозит война; будем вооружаться; поспешим закончить пятилетку в четыре года; сделаем необходимое усилие, чего бы это ни стоило населению.[2]

В какой степени вся эта настойчивая работа достигает цели? Можно заранее сказать, что границы создаваемого ею гипноза определены как противоречием интересам массы, так и ее способностью воспринимать печатную проповедь, то есть читать газету и книгу. Чтобы дать себе отчет, как советская пропаганда действует, перейдем к более широкому вопросу о постановке всего дела "политпросвещения". Обхват внешкольного просвещения, разные темпы и методы его, их рост, а также темп этого роста будут видны из следующей таблицы. Нужно только оговорить, что именно эта часть статистики просвещения страдает наибольшей неполнотой и непостоянством. Очевидно, это вызывалось тем, что и самый этот отдел наиболее зависел от личных усилий, наиболее ускользал от контроля и больше других подвергался изменениям, связанным с переменами очередных настроений, лозунгов и кампаний. Ближе всего к истине, конечно, цифры декабрьской переписи 1927 г. (в скобках число лиц в тысячах):

	1 окт. 1921 г.	*1 окт. 1922 г.*	*1 апр.. 1923 г.*	*1 окт. 1923 г.*	*Перепись 1927 г.*
Пункты лик.безграм.	38186	1012	3472	3870	42177 (1318)
Избы-читальни	33012	3400	6253	6060	21876
Библиотеки:					
а) постоянные	13250	5955	6702	5737	22892 (5095)
б) передвижные	5970	1453	3595	4613	#
Клубы	3319	1353	2209	2240	6117 (1139)
Школы для взрослых	4509	94	228	206	1457 (122)
Красные уголки	#	#	#	#	44590
Народные дома	3132	1289	2007	1445	1126
Театры	1889	1657	1031	647	1319
Оркестры и хоры	1131	284	666	386	?
Кино	716	378	618	334	3567
Музеи и выставки	474	266	391	404	798
Муз. и драм. кружки	6459	?	4491	3153	?

Из всего этого разнообразия способов воздействия власти на население остановимся еще отдельно на кино. Сам Ленин когда-то сказал, предусматривая грядущий размах этого метода влия-

---

[2] Между прочим под давлением этого психоза совершается в последнее время "военизация" — не только школы, но вообще молодого поколения. В основе тут лежат школьные кружки "физкультуры", "физупражнения" пионерских отрядов, подростковые кружки "физкультуры" при профессиональных клубах, при жилищных товариществах, при кружках Осоавиахима и т.д. Но "гимнастические" упражнения во всех этих кружках постепенно заменяются обучением военному строю: в старших возрастах вводится и единообразная команда, принятая последним уставом Красной армии, учащаются демонстративные смотры и процессии молодежи и т.д.

ния: "Синема — самое великое из всех искусств" (он еще не предвидел значения радио). В синема привлекала его легкость троякой централизации: централизации продукции, централизации идеологии и централизации метода. Уже 27 августа 1919 г. с централизаторскими целями синема была национализована. А с 1923 г. Госкино окончательно делает продукцию кино государственной монополией. Вместе с тем, конечно, упорядочивается и идеология и метод. Вот как поясняет централизацию идеологии в кино один из главных его корифеев, Эйзенштейн, адресуясь к американцам. "Синема предназначена не только для развлечения, но и для общих культурных и социальных целей: для общего *политического* просвещения — пропаганды советского государства и его идеологии в народе... Страна Советов окружена врагами... Искусство для нас... одно из орудий на боевом фронте классовой борьбы, так же как, например, металлургическая промышленность... Сейсмограф партийного аппарата сигнализирует шатание в той или другой стороне советской жизни: Тотчас же... по всей стране печать, литература, искусство мобилизуются для отражения опасности... "Лицом к деревне" или "Защита советского союза"... Советская фильма с трудом поспевает за новыми социальными заказами, объявляемыми ежедневно... Тут некогда думать об объективном художественном изображении. Это — *соревнование* по пятам между кино и газетой (например, для кампании посева)".

Конечно, здесь изображено положение, сложившееся в конце известного нам уже процесса. В первое время (1917-21) советское кино еще не было приспособлено к исполнению намеченной Лениным роли. При плохой технике (следствие иностранной "блокады") оно иллюстрировало последние события, поставило до сотни "агиток". Со времени НЭПа положение улучшилось, и кино поставило себе задачи, аналогичные с литературой и искусством. "Советская фильма, — так формулирует это направление Эйзенштейн, — имеет дело с *реальной* жизнью", следовательно, она должна быть "верна жизни". Надо брать сюжеты "из живых источников" и обращаться к специалистам при осуществлении каждой темы. Советская фильма не нуждается в декорациях, и статисты для нее готовы в любом количестве. Ресурсы государства — в ее распоряжении. Ставит ли она завод или Зимний дворец, "Потемкина", конницу, забастовку — "Бурю в Азии" или "Турксиб", — реальный материал, бутафория и инсценировка к ее услугам. С 1924 г. при этих условиях Госкино выпускает постановки, поднимающие репутацию советской фильмы за пределами России. Выбор тем, конечно, определяется упомянутыми социальными задачами. История революции, эпизоды гражданской войны, романы русских классиков, новые "пролетарские" романы, как "Цемент", "Неделя" Лебединского, "Города и годы" Федина, "Аэлита" Толстого-младшего... Но Эйзенштейн отмечает также, что за этим

"первым периодом" расцвета, следует второй, когда кино обязывается брать темы "из современной жизни" — и обязывается "поспевать" за "ежедневно" меняющимися "социальными заказами". Социальная философия кино, очевидно, относится главным образом к этому последнему периоду. "Верность жизни" тут уже не есть основное требование. Так, "Деревня греха", произведшая за границей большое впечатление своим художественным реализмом, в России, по сообщению того же Эйзенштейна, подверглась жестокой критике. Находили, что тут представлено "исключение", а не "правило". Очевидно, "отрицательные" явления реальности должны были, как и в литературе, уступить "положительным". Синема изображала теперь "Старое и Новое": "пять ступеней экономического развития, по Ленину". Ведь "мы строим сразу во всех пяти эпохах!".

По данным, приводимым Эйзенштейном, в 1928 г. насчитывалось в сов. России 8500 кинематографов (вместо дореволюционных 3500). Но из этого числа больше трети были кино в рабочих клубах, 29% передвижных и 14% — в крестьянских театрах. Только 21% (то есть 1700) помещались в "городских коммерческих театрах".

Таблица (см. ниже) свидетельствует, что и другие формы политпросвета прошли через те же, уже известные нам стадии процесса. Первоначальный грандиозный размах, потом быстрый упадок, медленный рост и новый скачок вверх в последние годы: все это нам уже известно и из других областей жизни и школы в советской России. Успех вначале вызван отчасти неподдельным энтузиазмом победы, отчасти принудительным "социальным заказом", подкрепленным материальной поддержкой сверху. Упадок объясняется отказом в этой поддержке и переводом на "местные средства" в начале НЭПа, — а также и наступившим разочарованием после преувеличенных надежд. Наконец, новое движение вперед есть несомненный знак действительного роста, а его лихорадочный темп в последние годы — плод нового искусственного толчка — "кампаний культурной революции", связанной с другими областями "социалистического строительства". При всей эфемерности этого последнего успеха, необходимо признать, что внешкольное образование приняло небывалые до сих пор размеры и что полученные результаты в той или другой мере сохранятся, какова бы ни была судьба напряженной правительственной политики, которая ведется с 1927-28 гг.

Исходной точкой новых усилий в области культуры надо признать резолюцию XIII съезда партии (лето, 1924), который констатировал, по докладу Крупской, что "культурный уровень деревни очень низок, обычная агитация и пропаганда почти не задевают ее в силу того, что газета, книжка не попадает в деревню, не ориентируется на деревню и крестьянам мало понятна". "Опорным пунктом, центром всей политпросветительной

работы в деревне последние партийные съезды признали волостную избу-читальню". Изба-читальня явилась дополнением к городской библиотеке. Чтобы выяснить значение этой новой стадии в истории русского просвещения, остановимся на роли книги, газеты, библиотеки, читателя в развитии культурного процесса. Не случайно, конечно, эти вопросы, поднятые уже, как мы знаем, в дореволюционное время, обратили на себя усиленное внимание в советской России именно в последние годы. Здесь, как в области литературной критики или педагогической методики теоретическое обсуждение опережает жизненные явления, к которым относится. Но оно, несомненно, ускоряет их появление и стремится направить их в определенную сторону.

Книга есть своего рода "надстройка" над языком, а газета — надстройка над книгой в процессе развития социального общения между людьми. Если язык, слово — дали впервые возможность человеку обобщать, мыслить абстрактно и сознательно руководить потоком жизни, то переход от устной передачи мысли к записи звучащего слова графическими знаками впервые позволил укрепить и расширить социальную память человеческого общества путем точного регистрирования фактов. А их накопление впервые положило основу научным и практическим обобщениям, расширило власть над природой и создало возможность социального предвидения, лежащего в основе политики как системы управления жизнью. Ближайшей задачей стало теперь распространение приобретенного знания на более широкие круги, с целью приобщить и их к *организованному* управлению жизнью. Мы следили за предшествовавшими ступенями этого постепенного расширения в русском культурном процессе. Последнюю ступень, о которой мы говорим теперь, никак нельзя оторвать от предыдущих. Внешкольное образование именно и преследует эту цель — сделать книгу — продукт индивидуальной культуры — также и действенным фактором культуры масс, выровнять по возможности неизбежную разницу уровней культуры между писателем и читателем. Латинское изречение: "Книги имеют свою судьбу" — habent sua fata libelli — хорошо выразило социальную роль книги. Раз пущенная автором в среду социального общения, книга, действительно, живет своей жизнью, имеет свою биографию, которая создается отношением к книге читателя. Книги, как люди, живут и умирают; у них есть своя молодость, расцвет и старость. В этом смысле история книги есть история ее читателя. Недаром историки литературы в последнее время принуждены были включить в свой рассказ не только историю создания литературного произведения гением автора, но и историю его взаимодействия со средой современников и потомства.

Кто же, кроме книгопродавца, является ближайшим свидетелем и участником дальнейшей судьбы книги? Очевидно, те, кто берет на себя ближайшую следующую задачу *после* перво-

начального распространения книги. Ведь книгу недостаточно приблизить к читателю. Надо читателя приблизить к книге. Вот задача — библиотек, постоянных и подвижных, изб-читален, клубов, школ для взрослых, а в более общем смысле — кино и театров. Характерно для настоящего момента именно это живое отношение к книге.

Но, чтобы приблизить читателя к книге, надо знать и читателя и книгу. Надо изучать "интерес" одного и способы удовлетворения этого интереса другою. Естественно, что изучение этих взаимоотношений, при новой роли книги в "социалистическом строительстве", получило сильный толчок и более широкий размах. Старые методы изучения читателя уже оказались недостаточными. Всего проще было подсчитать случаи спроса на книгу в библиотеках и распределить эти случаи по категориям книг и по порядку читаемости разных авторов. Этот способ устанавливал факты, но не мог объяснить их причины. О причинах выбора и о впечатлении, произведенном книгой, нужно было спросить самого читателя. Но трудность и субъективность такого опроса уже выяснилась на примере Алчевской. Закрепить результаты опроса письменными показаниями читателей было вернее, но и труднее. Закрепить непосредственный словесный отклик стенографической записью — еще вернее, но практически — почти неосуществимо. А кроме того, возникал вопрос о методах разработки полученного материала. Несомненным шагом вперед во всех этих отношениях явилась новая теория Н.А. Рубакина, положившая начало особой книжной дисциплине: библиопсихологии. Здесь не место излагать эту довольно сложную и все еще находящуюся в процессе разработки систему. Достаточно сказать, что она ставит расследование читательских реакций на производимые книгой "раздражения" на почву научного эксперимента, однообразно обставленного, возможно упрощенного и дающего возможность суммировать в цифрах наблюдения над индивидом и над читательскими массами. Применение метода Рубакина состоит в том, что, зарегистрировав ряд впечатлений, произведенных данной книгой на данного читателя, он определяет как характер читателя, так и тип книги, способной произвести на данного читателя наиболее сильное действие. Таким образом, наилучше используется наличная литература, а писатель получает указания, как сделать свою дальнейшую продукцию наиболее эффективной.

Появление библиопсихологии обратившей уже на себя внимание заграничных книговедов[3], совпало в России, где знали автора и уважали его за предыдущую деятельность, с отмеченной выше потребностью — приблизить книгу к читателю.

---

[3] См. библиографию.

"Факт огромного наплыва в библиотеку нового низового читателя, — говорят, например, авторы книги об "Изучении читателя" (1928), — поставил вопрос об изучении читателя во весь рост". "В последнее время, — подтверждает И. Гуров, — изучение читателя стало злобой дня, — об этом много говорят и пишут, создаются комиссии по изучению читателя и т.д." Это изучение "приобретает характер изучения влияния книги на читателя, взаимодействия между книгой и читателем"... "фиксации тех факторов, зависимость от которых собираются устанавливать". Этим вопросам посвящены работы "Бюро заочного обучения при педагогическом факультете 2 МГУ", причем исследование ведется именно на почве психологии. Конечно, марксистская литература считает долгом отгородиться от почина Рубакина, выставляя против него обычные обвинения в "идеализме" и обвиняя его в самоограничении "психологией" и изучении типов *индивидуального* читателя вместо того, чтобы расширить область изучения на социологию и на влияние среды и классового начала. Обвинения легко опровергнуть фактическими справками, и факт влияния Рубакина остается бесспорным.

Изучение читателя распространилось, вслед за книгой, как можно было ожидать, и на газету. Газета — эта "секундная стрелка истории", по выражению Шопенгауэра, является в веке телеграфа и радио ускоренной формой приобщения массы к актуальности и выработке организованной коллективной реакции этой массы на события и лозунги дня. Приучить население читать регулярно газету — значит не только безмерно расширить его кругозор, но и приобрести могущественное орудие воздействия на его волю. Конечно, и тут марксистская точка зрения, как мы уже видели, стремится побить демократическую. Изучение вопросов журнализма, подобно библиотечному делу, ставится на очередь дня; но при этом своеобразно толкуются обе главные задачи газеты: и информация, и инструкция. Информация должна получить специальную обработку для достижения определенной цели: все, противоречащее ей, должно быть без снисхождения исключено. Инструкционный, руководящий элемент газеты должен формировать не "общественное", а классовое мнение — в области очередной боевой задачи, заказанной сверху "кампании". Мы видели, как трактуется при этом "демократизм" и "свобода слова". Однако же изучение газетного читателя и тут приводит к признанию необходимости более осторожного подхода. Ни руководство, ни информация не должны быть подделаны так грубо, чтобы производить впечатление, обратное желаемому. Не надо, чтобы "вместо приподнятого настроения у читателя появлялась холодная сдержанность, критическое недоверие или даже скептическая ирония". Недоверие к казенной печати, видимо, широко распространено в России. Оно начинает учитываться, как видим, если не практиками, то теоретика-

ми. Они пытаются заблаговременно предупредить возобновление того "чтения между строк", которое широко распространилось при старом режиме. Вот где предел создаваемого советской печатью гипноза.

Переходя от идеологии к практике политпросвещения, приходится отметить, что тут нажим политического руководства особенно силен — и доходит до крайних пределов в последние годы. Именно партийными соображениями объясняется самое усиление внимания к политпросветительной работе, которую раньше "запускали". Работники просвещения, как и деятели литературы, мобилизуются для непосредственной цели "социалистического строительства". Отчасти этот новый прилив внимания объясняется и неудовлетворительным результатом, полученным от изучения подлинных интересов читателя. Выяснено было, прежде всего, путем анкет, что "исключительным вниманием со стороны читателей всех видов библиотек пользуется не политическая, а художественная литература. Читаемость беллетристики в деревне колеблется между 35 и 45%; в городских библиотеках выдача ее рабочей группе читателей достигает 60-75%, учащимся — 60-80%; служащим и трудовой интеллигенции — 85-90%; домашним хозяйкам — 82-98%". Притом читают эту литературу "лишь для отдыха и развлечения". "Социальный заказ читателя библиотекарю сплошь да рядом такой: выберите по своему усмотрению что-нибудь полегче и поинтереснее". "Дайте, чтобы побольше было приключений и чтобы нельзя было оторваться от книги". "Дайте про любовь и чтобы не было убийства". "Хочу переводной роман — наша литература надоела". "Дайте что-нибудь из классиков — нынешние русские писатели пишут скучно и непонятно". Решительно, советский читатель не хочет понять, что художественная литература "выполняет серьезную социальную функцию" (Л.Р. Коган в сборнике Заровнядного).

А что же он читает? На первом месте почти везде стоит Толстой, потому что "пишет правду" и "открывает глаза темному народу". Очень близки к нему Пушкин и Гоголь, которые "пишут ясно". Пониже стоят Горький и Некрасов, еще пониже Тургенев; а Демьян Бедный, Маркс и Ленин примешиваются лишь на десятых местах, и чем интеллигентнее и выше образование читателя, тем меньше их читают. За беллетристикой идет требование конкретных, практических знаний: для крестьянина по сельскому хозяйству, для горожанина — по мастерству. К "общественно-политической литературе" крестьянин "подходит исключительно с точки зрения практики и требует, чтобы она была связана с конкретной действительностью". Если под прикрытием аграрного вопроса читатель наталкивается на агитацию, то он считает такую книжку "несерьезной, не деловой". "Неверно писал, деревни и не нюхал". "Рассчитана на сивола-

пых мужиков". "Писать-то все можно, а на практике совсем другое" (Смушкова).

Интересный материал о чтении книг в деревне, подтверждающий сказанное, собрал М. Слуховский, работавший два года (1925-26) в издательстве "Крестьянской газеты" и собравший до 3,5 тысяч крестьянских писем со всех концов России, преимущественно из промышленного и черноземного центра (28,5%) и из юго-западного и западного района (23,1%). Его вывод: "Утилитаризм определяет подход крестьянина к книге". Действительно, 20% запросов касаются книг по сельскому хозяйству, 17,3% — по промыслам и ремеслам; сюда, вероятно, надо прибавить и большую часть "комбинированных" запросов (16%). На остальное приходится меньше половины, и в том числе только 11,2% на "общественно-политические темы". Беллетристика фигурирует в анкете Слуховского только в 5,7% (ср. выше). Но он замечает, что после его анкеты (авг.-дек. 1925 г.), "намечается резкий перелом в спросе: беллетристика ныне круто идет вверх". О жажде проснувшейся деревни к интересному чтению свидетельствует один "избач" из Одесщины: "Нужно иметь тысячи экземпляров, чтобы удовлетворить хотя бы наполовину литературный голод. Читают группами, читают в одиночку, читают запоем, передают из руки в руку, так что, когда попадает эта книжка обратно в библиотеку, то уже автора прочесть не представляется возможным, ибо это есть лоскутики грязной бумаги, на которой ничего нельзя разобрать". Относительно того, что именно читается, и эта анкета отвечает лишь, что читают, "Что кому по вкусу", не всегда давая себе отчет, почему "по вкусу". Слуховский резюмирует так: "тут и тяготение к знанию, и осторожное любопытство, и своего рода завистливая робость к незнакомому, и глухое преклонение безграмотного перед чужою тайной — все слитно образует бережно-почтительную атмосферу, и она ставит книгу несколько вне обычных житейских отношений". Общий отзыв при самом разнообразном отношении к сюжету книг: книг мало, достать их негде и какие именно книги нужны, неизвестно, но какие попадут под руку, все прочитываются с жадностью, ибо "хотим все знать". Один из таких читателей-самоучек, набивший себе руку на чтении, пишет: "Я читал с одинаковым увлечением и запоем и "Бову-королевича", и политическую экономию, про Николая Угодника и "Историю культуры", Фейербаха, Ивана Кронштадского и Кнута Гамсуна, "Вестник палестинского общества", Льва Толстого, лубочную литературу и Камилла Фламмариона, царские манифесты и поповские проповеди, программы и прокламации политических партий и т.д." Есть, однако, категории книг, которых и этот плохо определившийся вкус не приемлет. Слуховский формулирует эти отталкивания так. "Основной упрек, выдвигаемый деревней, сводится к непомерному изобилию прямолинейной, назойливой агитации". Один корреспондент не-

уважительно отзывается: "Это — те же портки, которые с трибуны преподносили нам в семнадцатый и двадцатый годы, только гашником назад". Включается в эту категорию и антирелигиозная литература. "Наши материалы с несомненностью устанавливают, — пишет Слуховский, — что деревню и поныне (1925) в общем не удовлетворяет выпускаемая антирелигиозная литература, ее "явный иконораскалывательский подход", "оскорбляющий чувства" крестьянина и вызывающий его "ненависть". Другая категория книг — не столько отвергаемых, сколько встречаемых равнодушием в деревне, — это тенденциозная беллетристика с подделкой под народный язык или на деланном языке литературных новейших "измов". "Мужик любит правду и простоту", — записывает один корреспондент, и потому ценит художественный реализм русских классиков. Ему нужны "живые люди, а не деревянные куклы". И его чутье обмануть трудно. "Крестьянин совершенно не согласен с нашей квалификацией "признанных". Он не одобряет ни их подхода к теме, ни языка, ни трактовки материала, он чуждается их стилистических изысков, а деревни, изображаемой ими, не понимает никак, абсолютно". Нельзя продвигать в деревню — они только отталкивают от чтения таких книг, как "Бронепоезд" Иванова, "Реки огненные" Артема Веселого, "Маяковская галерея" и т.д. Пильняка и Сейфуллину тоже ожесточенно критикуют. Писатели, вышедшие из деревни, "кажутся уже получужими"; деревня "как бы даже сторонится их". Крестьянин требует, чтобы такой писатель не терял "органической связи" с деревней, писал бы "без прикраски", и не о прошлом, а о текущем моменте.

По поводу чтения газет при библиотеках А. Кухарский говорит: "И здесь у нас неблагополучно. Читатель газеты проглядывает фельетоны, интересуется происшествиями, судебной хроникой, просматривает картинки "Нивы", "Прожектора", "Бегемота" и т.д. или читает рассказы. Большинство смутно представляет государственный строй тех или других государств, экономику, военную мощь, борьбу партий и т.п. Лишь очень немногие прорабатывают газетный материал". Обычны отзывы, что газеты редко доходят; на вопрос о выборе часты уклончивые ответы или прямые заявления, что "читают любую газету, какая придется". Мешает, конечно, и мудреный язык газеты. Вопрос об упрощении языка становится все более настоятельным. Шафир нашел, по опросу в Воронежской губернии, что из 29 учеников агрономического училища четверо не знали, что такое СССР, из 36 рабочих, из коих 20 были рабкорами, 9 не понимало слова "экспонат", а один — "показательного хозяйства". Из 64 красноармейцев для большинства (46-47) тоже камнем преткновения оказались "экспонаты", и "репарации". Но они не понимали также ни "интриги" (42), ни "попустительства" (33), ни "проекта" (29), ни "ультиматума" (23), ни "прод-

фонда" (17), ни "сельмаша" (16), ни "фонда" (15), ни даже СССР (8) и "губпредкома" (4). "Рекламу" они довольно удачно, но отнюдь не к удовольствию спрашивающего объясняли как "прокламацию"; газету вроде "Правды" — "неправильное писание"; "авторитет" как "кампанию, ни нашим, ни вашим — мое дело сторона", "оккупацию" как народную закупку; "объект обложения" не без яда объяснили "богатым человеком" , а "совнарком" поняли как "учреждение какое-то, сельское хозяйство". Можно себе представить, какой благодарный здесь материал для "чтения между строк"...

В советской печати имеются бесконечные списки непонятных слов и небрежных оборотов, которыми испещрен язык красного журналиста. Особые учебники указывают, как заменить канцелярскую, запутанную, отвлеченную, бесцветную, полную неологизмов, провинциализмов и варваризмов газетную речь — конкретным, живым, сжатым и "художественным" стилем. Предложены длинные списки русских слов, чтобы заменить иностранные. Но мы видели, что и русские слова так же непонятны, как иностранные. И конечно, заметить болезнь — много легче, чем уврачевать ее. Во всяком случае, понятно после этих разъяснений, почему, как заявил Молотов на XV съезде партии (1928), количество крестьянских газет сократилось на 25%, а тираж их на 11% с тех пор, как газеты стали платными (1925).

На такой-то слабо подготовленной почве и при таком сравнительно скромном распространении сети политпросветительных учреждений советская власть, в своей погоне за "социалистическим строительством", решила заменить их культурную работу политической и употребить их как орудие коллективизации деревни.

3 ноября 1927 г. ЦК коммунистической партии "признал состояние библиотечного дела неудовлетворительным, резко отстающим от культурного роста масс рабочих и крестьян и от задач социалистической реконструкции народного хозяйства". Это заключение было объективно правильно. В самом деле, можно ли было признать удовлетворительным такое положение, при котором одна сельская библиотека приходилась на 6 тыс. кв.км, на 148 населенных пунктов и на 6243 населения? Можно ли было удовлетвориться тем, что на одного читателя приходилось полкниги, а в деревне одна пятая книги и что из 100 жителей читали книги только пять человек? Притом из 1000 книг (средний состав сельской библиотеки) на обществоведение приходилось только 207 и на сельское хозяйство только 190. Сеть библиотек не росла, а сокращалась: в 1925-26 гг. было 15176 библиотек, а в 1927-28 — 14507. Рабочих и крестьян было только 38% всего числа подписчиков. При недостатке книг даже ликвидировавшим безграмотность предстоял скорый рецидив ее.

Каков же вывод из всех этих данных, официально констатированных? Московская конференция при Главполитпросвете в мае 1929 г. формулировала его так: "Мыслим ли социалистический подъем при том уровне знаний, который имеется у рабочих масс? *Конечно, нет*". А только что приведенное решение партийного ЦК 3 ноября 1927 г. постановило: "Превратить библиотеки в культурные центры, активно содействующие мобилизации масс на выполнение пятилетнего плана социалистического строительства". При этом еще решено: "Очистить книжный состав всех библиотек от идеологически вредной, устаревшей и неподходящей к данному типу библиотеки литературы". Эту "литературу" потом решено было отослать на бумажные фабрики. Наркомпрос, во исполнение этих решений ЦК, объявил, параллельно культпоходу для ликвидации неграмотности, особый "бибпоход" для "превращения библиотеки в активного участника социального строительства". Библиотеки должны были пропагандировать "машинизацию сельского хозяйства, поднятие урожайности, кооперирование и коллективизацию". "Бибпоход" начинался с тем же настроением нервности, возраставшим по мере сознания собственного бессилия, как и "культпоход". Неожиданным результатом изъятия "устарелой и вредной литературы" было то, что "продолжала распространяться в населении... контрреволюционная литература!".

Избы-читальни — совсем новое и недавнее явление советского периода. Они, однако, обслуживают население в еще меньшей степени, чем библиотеки. Притом сеть их сокращалась: вместо 16371 избы-читальни в РСФСР осталось в 1928-29 гг. только 12957. Одна изба-читальня приходилась на 16572 чел. населения и на 6-7 сельсоветов — на пространстве, определяемом радиусом в 28,7 км. "Красных уголков" было больше, так как содержания они не получали и работали в порядке "добровольной нагрузки". В 1927 г. было учтено 51724 кружка всякого рода при избах-читальнях. Весь этот довольно скудный аппарат ЦК также решил мобилизовать для "похода". Постановлением 11 ноября 1929 г. было велено на помощь старым "избачам", которые оказались недостаточно деятельными или негодными для новой работы, избрать в каждой избе Совет "культуполномоченных" от всех населенных пунктов их района. Миссией "изб" и "уголков" должно было сделаться тоже прямое участие "в колхозном строительстве". "Каждая изба, каждый уголок" в весеннюю кампанию 1930 г. обязаны были "организовать крупный колхоз". Если они не сумеют этого сделать — "значит, такой избе-читальне грош цена". Мало того, это будет сочтено за "проявление правого уклона".

Приступ к осуществлению пятилетки вообще потребовал ускорения всяческих "темпов". Это отразилось и на повышении требований советской власти к политпросветительной сети. Услуги печати, как они ни были велики, теперь уже тоже кажут-

ся недостаточными. 3 января 1930 г. ЦК партии, "сигнализируя" недовыполнение промышленного плана пятилетки за первый квартал (отчетный год начинается с октября), обращается "ко всем партийным, профессиональным, комсомольским и хозяйственным организациям" с новыми внушениями. "ЦК констатирует, что печать, как центральная, так и местная, являющаяся сильнейшим оружием в руках пролетарского государства, не выполняет задачи *конкретного* освещения достижений и недостатков промышленности, сельского хозяйства, транспорта, госторговли и кооперации, не выполняет задачи мобилизации усилий партии и пролетариата на ликвидацию недостатков в работе хозяйственных, профессиональных и партийных организаций". В чем же дело? Печать уже изобрела и пустила в оборот две новые формы воздействия сверху: "ударничество" и "социалистическое соревнование". Но, оказывается, дав толчок, она недостаточно следила за выполнением данных формально тем или другим предприятием, той или другой группой или даже отдельными лицами обязательств и заключенных ими договоров на ускорение темпа. Теперь требуется следить изо дня в день, стоять над душой у исполнителей. Недостаточной оказывается и прежняя система рабкоров и селькоров. Они все еще придерживаются старых тем и устраняются от "разрешения практических задач сегодняшнего дня". Ни они, ни "низовые газеты" не поспевают за очередными вопросами, за "поворотом профсоюзов лицом к производству", за "шефством предприятий над соваппаратом", чтобы выловить в нем "бюрократов", найти и искоренить "правый уклон". Прежних обличений для этого недостаточно: теперь применяется новая система "бригад" и "налетов". "Налеты" на редакции газет; "налеты" на библиотеки и читальни; "налеты" на школы и фабрики; "налеты" повсюду, где можно обличить, подтянуть, "вычистить". И так сверху донизу. Наверху комсомол "берет на буксир" профсоюзы и организует гнев рабочих против профсоюзных бюрократов". Внизу грамотный берет "шефство" над неграмотным и крестьянин пишет "договор" об "обучении своей совершенно неграмотной жены в течение пяти месяцев до 1 мая 1930 г.". Для мобилизации книги с библиотечной полки в читательскую среду псковичи изобретают новую форму "самохода" книги, и новый прием немедленно рекламируется для общего пользования. Но невозможно перечислить всех новых способов добраться до самого дна народной жизни, все взбудоражить, надо всем поставить надзор и контроль — все это под постоянным прожектором сверху, под непрерывными ударами центрального кнута, под угрозой ответа за недоделанное и упущенное.

Нет надобности говорить, какую атмосферу создает в стране эта лихорадочная, безумная спешка. Переживаемые в России времена иногда сравнивают с Петровской реформой, а Сталина уподобляют Петру Великому. Конечно, приемы тут одни и те

же: поскольку речь идет о *приемах*, разница лишь в силе и организованности государственного воздействия тогда и теперь. Существенное различие лишь в том, какой цели эти приемы служат. И тут, конечно, можно утверждать, что цель не может быть признана негодной лишь потому, что она поставлена слишком далеко и может быть осуществлена в данный момент только отчасти. Мы видели, что и в петровской реформе далеко не все привилось сразу. С другой стороны, и в достижениях советской культурной революции не все погибнет. Рост национального сознания несомненен среди всей затеянной кутерьмы; бесспорно и значение культурного толчка, проникшего в такие народные слои, куда до конца прошлого столетия почти не заглядывал луч света. Все это верно. Но очевидна также и непропорциональность предпринятого усилия с непосредственно поставленной задачей. "Европеизацию" Петра иные склонны теперь считать такой же утопией, как и "социализацию" Сталина. Но едва ли вне тесного круга непосредственных участников и заинтересованных можно спорить, что утопия "социализации" в данном случае придвинута слишком близко и что *только этой жаждой немедленных* достижений — лицом к лицу с быстро возрастающим риском неудачи — может объясняться нервность, с какой проводятся в жизнь и пытаются сломать жизнь — "революционные темпы". Мы во всяком случае можем лишь повторить по поводу "политпросветительной" деятельности советской власти то же, что сказали выше относительно ее экспериментирования над школой. Создавшееся в результате беспримерного нажима сверху неустойчивое положение может быть только временным и не может стать длительным. Отпадет *случайное* в историческом процессе; *неслучайное* останется.

БИБЛИОГРАФИЯ

О борьбе с неграмотностью см. *Долой неграмотность*, сборник статей, воспоминаний и материалов под общей редакцией А.С. Курской и П.А. Сычева (1925). Пять лет борьбы с неграмотностью (Всеросс. Чр. Ком. по ликвидации безграмотности). Д.А. Бондарев, *Ликвидация безграмотности*, Гос. изд. (1929). А. Ширяев, *На передовых позициях культурной революции*, Госизд. (1930). Данные переписей — населения 17 дек. 1926 и школьной, 15 дек. 1927 см. в *Педагогической энциклопедии*, под ред. А. Калашникова, при участии М.С. Эпштейна, том III (М., 1929). Л. Римский, *Люди культпохода* ("Библиотечка культармейца"), Госизд. (1930).

О книжном производстве в СССР см. общий обзор Georg Porschnew, *Das Buchwesen in der UdSSR*, ein kurzer Abriss, Госизд. (1927). М.А. Вольфсон, *Пути советской книги*, Гос. Изд. (1929). А. Луначарский и А. Халатов, *Вопросы культурного строительства РСФСР* (1929). Н.Ф. Яницкий, *Печатная продукция РСФСР в 1926 г.* и его другие обзоры, *Книжная статистика сов. России 1918-1923* (Гос. Изд., 1924); *Печать РСФСР в 1922 г. Книга в 1924 г. в СССР, Книжная продукция в СССР в 1927 г.* (Книжная палата, 1930); *Книжная торговля, пособие для работников книжного дела*, под ред. М.В. Муратова и Н.Н. Накорякова, Гос. Изд. (1925) (особенно статьи Муратова и Поршнева). Г.И. Поршнева, *Кризисы и затоваренность в книжном деле* (IV выпуск "Книгоизда-

тельство и книготорговое дело СССР") (М., 1929). И. Ингулов, *Партия и печать*, Раб. просв. (1929). Лучший общий обзор газетной деятельности в СССР принадлежит Justi, *Die Presse in Soviet-Russland* (1930) (здесь затронута, очень объективно, и политическая сторона дела). М. Браз и М. Гус, *Статья и фельетон, Опыт пособия по газетной публицистике*, Раб. Пр. (М., 1928). *Вопросы культуры и просвещения на XV съезде ВКП*, сост. А. Прут (1928).

Вопрос об изучении отношений между читателем и книгой имеет длинную историю. Пионером этого дела следует признать Н.А. Рубакина. Главные труды Рубакина по теории библиологической психологии: *Психология читателя и книги. Краткое введение в библиологическую психологию.* (1929). N. Roubakine, *Introduction à la psychologie biblilogique (La psychologie de la création des livres, deleur distribution et circulation, de leur utilisation par les lecteurs, les écoles, le bibliothèques, les librairies etc.* Théorie et pratique, vol. 2 (Paris, Pavolotzky, 1922). По прикладной библиологической психологии см: Н. Рубакин, *Среди книг. Опыт обзора русских книжных богатств в связи с историей научно-философских и литературно-общественных идей*, изд. 2-е, Т. 1. (М.: Наука, 1911). Его же: *Практика самообразования. Система самообразовательного чтения применительно к личным особенностям читателя* (М.: Наука, 2-е изд., 1922). Его же: *Письма к читателям о самообразовании*, изд. 3-е, группа русских читателей (Нью-Йорк, 1928). *Библиопсихология* представляет новое слово и для иностранцев. Допуская (под строгим контролем "экстраспекции") "интроспекцию", библиопсихологический метод Рубакина отделяет себя и от "рефлексологии", и от "бихевиоризма". Но он все же ищет объективной базы для эксперимента, и в этом смысле совпадает с тенденциями современной психологии. L'Institut International de Psychologie bibliologique, где производится работа по принципам Рубакина, был открыт в 1916 г., в Кларане (теперь Лозанне) как отделение: Institut J.J. Rousseau в Женеве и Institut International de bibliographie в Брюсселе. Из отчетов в иностранной печати отмечу наиболее обстоятельные: проф. Ad. Ferrière в Archives de Psychologie décember 1916, tome XVI, и № 62; L. Turin в *Psyche, avril* (1929), где излагается теория Р. в ее позднейшем виде. Популярные книги Р. до сих пор наиболее читаются в той среде, для которой написаны. См., например, отчет Е. Виноградовой в "Красном библиотекаре", № 4 (1925). В пяти предприятиях, пользовавшихся передвижными библиотеками, 50 книг Рубакина спрашивались в отчетном году 610 раз, тогда как даже Горький, при таком же количестве книг, спрашивался 422 раза, Толстой при 40 книгах 305 раз, Тургенев при 30 — 152, Достоевский при 18 — 132, а Ленин при 25 — 146, Бухарин *Азбука коммунизма* при 8 — 94, Демьян Бедный при 8 — 49). См об этом: Е.И. Хлебцевич, *Изучение читательских интересов*, 2-е изд., новая переработка (Госизд., 1927); П.А. Павский, *Новейшая психология и библиотечная работа* (М., 1924). Проф. М.И. Куфаев, *Проблемы философии книги* (Л., 1924), его же: *Книга в процессе общения* (1927); *Массовый читатель и книга*, под ред. Н.Д. Хлебникова (М., 1925); М. Смушков, *Первые итоги изучения читателя*, Госизд. (1927), Я. Шафир, *Очерки психологии читателя*, Госизд. (1927) и его же, *Вопросы газетной культуры*, Госизд. (1927); Н. Фридьева и Д. Балина, *Изучение читателя* (опыт методики), Главполитпросвет; "Долой неграмотность" (1928); Н. Заровнядный, *Библиотека и самообразование* (сборник статей), Госизд. (1929); Г.И. Поршнев, *Этюды по книжному делу*, Госизд. (1929). Ряд работ по психологии читателя издан Бюро Заочного обучения при педагогическом факультете 2 МГУ. В частности, год 1, выпуск V: *Элементы дифференциальной психологии* (М., 1929); Вып. VII, *Прикладная психология* (М., 1929); вып. IX, *Элементы социальной психологии* (М., 1930). Все под редакцией К.Корнилова, и сборник статей его же: *Психология интереса в связи с вопросами книжно-библиотечной работы* (1931); *В походе за библиотеку. Укрепим библиотечное дело*, сборник директивных материалов, Госизд. (1929); М.И. Слуховский, *Газета в библиотеке* Госизд. (М., 1930); *Культотдел ВЦСПС. Заочные курсы по переподготовке библиотечных*

работников профсоюзных библиотек (М., 1929). Из этой серии отмечу: *Урок девятый. Культурно-просветительная работа профсоюзов, ее задачи и содержание*, сост. И.Г. Лобов и *Урок двенадцатый. Комплектование общественно-политического отдела в библиотеках*, сост. А. Никуленко-Середа и С.А. Левин, под ред. А.А. Субботина. Ряд указаний тем для агитации, с библиографией и проверочными вопросами. Разработка анкеты о чтении в деревне, см. у М. Слуховского, *Книга в деревне*, с тщательно составленной "библиографией изучения читателя и книги" (с 1917 г.), Госизд. (1928). О новейших методах и темпах политпросветительной деятельности, см. М.С. Голубев, *Политпросветработа в районах сплошной коллективизации и машинно-тракторных станций. Изба-читальня, Красный уголок и комсомольская ячейка в весенней с.-х. кампании* (1930); В. Глазов, *Книга-Самоход в деревне*, Раб. просв. (1930); М. Вишневич и Д. Масляненко, *Печать на стройке новой деревни*, Прибой (1930); С.Володин, *Печать на новом этапе*, Гос. изд. (1930). В. Арцишевский, К. Благушин, *Военный строй в школе*, Раб. просв. (М., 1930).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Абсолютное понимание "духовного" начала и определение "народной души" остаются вне задачи "Очерков". — Они не противополагают также "культуры" — "цивилизации". — Они не соединяют "цивилизации" с "упадком". — Они не отделяют "интеллигенции" качественно от народа. — Происхождение "разрыва" в области веры. — Русская особенность "разрыва" — в ограниченности влияния церкви на культуру. — Последствия этого в творчестве. — Перспективы влияния религии. — Национальное развитие секуляризованной русской культуры в высшем классе. — Процесс демократизации культуры. — Перерыв или продолжение на границе XX в.? — Перерыв или продолжение в СССР?

Второй том "Очерков" посвящен развитию "духовной" стороны русской культуры. Это, однако, не значит, что мы даем понятию "духовного" тот смысл, который придает ему значение абсолютного начала, выводящего исследователя за пределы познаваемого мира. Мы остаемся и здесь в рамках доступного исследователю эмпирического изучения. Защитники абсолютного значения "духовного" могут помириться на том, что и в их понимании абсолютное и неизменяемое начало имеет обращенную к миру явлений сторону, в которой его проявление допускает применение понятий условности и эволюции. Изучая, далее, "духовную" сторону развития культуры *русского народа*, мы не имеем претензии определять сущность русской "народной души". Как и в других томах "Очерков", мы описываем здесь явления, в которых общечеловеческое и типически русское очень тесно связано. Все попытки разделить их до сих пор кончались неудачей, ибо, прежде всего, не опирались на строго научный метод, до сих пор еще и не найденный для такого рода исследования. Мы охотно признаем, что и нам эта задача была бы не под силу. Наконец, мы должны сделать еще одну оговорку относительно смысла самого процесса эволюции, здесь описанного. Различные *стадии* этого процесса — так же как и единство процесса — получали разное освещение, смотря по философско-исторической или даже политической точке зрения исследователя. Мы различаем в процессе эволюции стадию "органическую" и стадию "критическую" или, в еще более условном смысле, стадию "стихийного" и стадию "сознательного" развития. Но этим различением мы вовсе не думаем разрывать процесса на периоды, *качественно* различные, и тем менее склонны основывать на нем или связывать с ним понятия морально-эти-

ческие, как "прогресс" и "упадок", или понятие философско-историческое — стадий фатального круговорота истории. Между тем самая терминология "культуры" и "цивилизации" часто приспособлялась именно к такого рода толкованиям. "Культура" есть по преимуществу германский термин, близкий понятиям национального быта и национального духа. В романских языках употреблялся не совсем однозначный термин "цивилизация", подчеркивавший элемент динамический в процессе того же культурного развития. Но несовпадением содержания этих двух терминов воспользовались, чтобы *противоположить* их друг другу. "Культура" в этом противоположении стала означать основную стихию, а "цивилизация" — конечный результат процесса. Затем основа стала мыслиться как нечто природное, конкретное, а результат процесса — как нечто искусственное и абстрактное. Наши славянофилы первые противоположили, затем, природное искусственному, как нечто положительное чему-то отрицательному. Положительное, в их терминологии, было "просвещение" народа (с обычным эпитетом "истинное"), а отрицательное — это была "образованность", в смысле приобретения голых знаний одним только *рассудочным* процессом, в противоположность *эмоциональной* природе основной стихии. Учение Бергсона явилось желанной поддержкой для эпигонов славянофильства, а германские националисты, как Шпенглер, окончательно закрепили указанное противоположение, употребляя "культуру" в смысле эмоциональной основы народной жизни, а "цивилизацию" в смысле позднейшей искусственной, чисто рассудочной, нивелирующей и вносящей начало увядания и смерти надстройки. Для противников современной "цивилизации" ее осуждение во имя старой, исконной национальной "культуры" и "быта" явилось чрезвычайно желательным приобретением, и среди поколений интеллигенции XX в. эта терминология получила известное распространение.

Эта история терминов и связанных с ними понятий заставляет нас подчеркнуть, что противоположение "культуры" и "цивилизации" остается чуждо автору "Очерков". Точнее говоря, мы принимаем заключающийся в нем оттенок различия только как соответствие употреблявшемуся нами различению "органической" и "критической" стадии культурного развития. Ничего уничижительного или отрицательного в предполагаемой смене коренной "культуры" позднейшей "цивилизацией" мы не усматриваем и самую смену считаем закономерным и необходимым плодом *всякого* национального культурного развития. Правда, так на него смотрели и некоторые из противников "цивилизации" (начиная с Константина Леонтьева). Но из этой закономерности, которую они не могли отвергнуть, они лишь делали вывод о неизбежном упадке каждого народа, как только он достигнет стадии "цивилизации". Этот упадок вытекал сам собой из понятия *потери* цивилизованными народами их куль-

турной бытовой основы, выражавшей их национальный дух и характер. Потеря эта связывалась и с фактом внешних культурных влияний, подражаний и заимствований у чужих "культур". В итоге заимствования должна была получаться нивелировка и обезличение национального типа.

Читатель заметит, как эта терминология помогала обновить — и решить в определенном смысле — старый русский спор о роли "интеллигенции" и "заимствования" в нашей истории. Наша "культура" (и "быт") — это была культура допетровской России. А наша "цивилизация" — это то наносное, исчужа заимствованное, что характеризует петровскую интеллигенцию и знаменует отрыв ее от народной "культуры" или от народного "духа". От старых славянофилов до новейших "евразийцев" в этом отрыве усматривалось отклонение русской истории с пути, который признавался "правильным"; отсюда же вытекало и практическое требование — вернуться на этот путь как единственный, на котором возможно общение интеллигенции с народом.

Наше понимание русского культурно-исторического процесса существенно различно от вышеописанного. Не противополагая "культуры" "цивилизации", мы следим в этом процессе общий переход всего народного организма от стихийной или полусознательной стадии существования к стадии сознательного "культурного" или "цивилизованного" существования. Факт "отрыва" на этом пути от некультурной массы культурного авангарда "интеллигенции" есть, с нашей точки зрения, неизбежная переходная стадия процесса цивилизации, — стадия, вовсе не свойственная одной только России. В России только этот "отрыв" получил особый характер, и выяснить этот характер есть задача историка *русской культуры*. Но, принимаясь за это выяснение, мы ни минуты не должны забывать, что речь идет о национальной особенности *общечеловеческого* процесса, а вовсе не о чем-то *исключительном и специфическом*, составляющем какое-то умаление нашего национального процесса перед другими "цивилизованными" народами. Признать русский народ способным к "культуре" — значит признать его способным к "цивилизации". Изучение культурно-цивилизационного процесса русского народа в его позднейших стадиях в особенности способно излечить поклонников "цивилизации" от излишнего самоуничижения, а сторонников "культуры" — от излишнего превознесения своего народа перед другими. Первые найдут в этой истории доказательства, что он не хуже, а вторые — что он и не лучше других.

Что же дает второй том "Очерков русской культуры" для характеристики *особенностей* русского культурно-цивилизационного процесса?

Прежде всего, он констатирует, что у нас в России культурный разрыв между передовым отрядом интеллигенции и народ-

ной массой произошел не в области внешних форм жизни и даже не в области новых критических идей, принесенных из заграницы, а ранее всего в области веры. Отсюда он уже распространился на другие области духовной жизни. Снова оговоримся, что, констатируя этот факт, мы нисколько не думаем в *нем* именно находить какую-нибудь специально русскую особенность. Напротив, именно этим наблюдением мы ставим русский культурно-исторический процесс в параллель с другими процессами и получаем возможность делать между ними сопоставления. Пока разрыв русской интеллигенции с народом объяснялся из внешней необходимости догнать культурные страны Европы или из правительственных мероприятий гениального царя-реформатора, до тех пор этот разрыв действительно мог представляться какою-то своеобразной и исключительной потребностью и особенностью русской жизни для "западников" и "предательством" народа — для "славянофилов". На деле, везде в Европе тот же разрыв мировоззрений имел место в большей или меньшей степени, и повсюду он был вызван, и с интеллектуальной, и с эмоциональной стороны, переменами в состоянии верований. Сравнение этого — *одного и того же* в Европе и России — процесса изменения верований может дать более надежную основу для того, чтобы выяснить индивидуальную физиономию, которую принял этот процесс в русской культурно-исторической обстановке. В результате такого сравнения мы, может быть, найдем еще более глубокое своеобразие в ходе нашего русского процесса, чем то, на которое обыкновенно указывали прежде. Это и немудрено, так как на этот раз своеобразие явится продуктом не одной только случайной личной воли и не одного, навязанного судьбою, географического соседства, а также — и прежде всего — продуктом тех внутренних условий, материальных и духовных, в которых совершалось развитие русской культуры.

Итак, то обстоятельство, *что* разрыв совершился в России в области верований, не составляет еще какого-либо отличия ее от других стран. Отличие заключается в том, *как* разрыв у нас совершился.

Западноевропейская церковь с первых шагов своего существования решительно взяла в свои руки духовно-нравственную реформу варварского общества, в котором пришлось ей действовать. Реформу эту ей удалось провести так успешно, что к исходу средних веков, за исключением нескольких глухих углов, в Европе не осталось и следов старого языческого мировоззрения. Правда, церковь и сама пострадала и загрязнилась во время этой черной работы; правда и то, что в результате ее деятельности получилось не чистое христианство первых веков, а какая-то амальгама старых и новых верований. Но церковь сама шла на это; она предпочитала пустить в оборот вверенные ей идеи, с риском подвергнуть их искажениям, чем хранить их

неприкосновенными под крепким запором. В результате она вызвала в обществе активное отношение к теоретическим и нравственным истинам веры. В итоге этой совместной работы и получился новый продукт, не похожий ни на один из своих ингредиентов. Не отделяя учения от жизни, церковь, конечно, рисковала — как верно заметили славянофилы — упустить из рук руководство жизнью. Вера становилась личным делом и заботой каждого. *Религия* выигрывала от этого в той же степени, в какой проигрывала *церковь*. Дальше развитие верований пошло различно, смотря по тому, как церковь отнеслась к этой перемене своего положения. В романских странах ей снова удалось овладеть положением; в германских — она была унесена общим потоком. В обоих случаях разрыв со старыми верованиями совершился бесповоротно. Но в зависимости от отношения церкви там и здесь этот разрыв принял различный характер. Два главных типа европейской мысли и жизни — тип английский и тип французский — нагляднее всего покажут нам, какова могла быть дальнейшая роль церкви в этом разрыве. Англичанин, национальное чувство которого всегда возмущалось против авторитета единой средневековой церкви, сбросил с себя этот авторитет без большого сопротивления со стороны английского духовенства. Как только ему начало становиться тесно и неловко в старом церковном мундире, он, по свойственной ему непривычке стесняться, понатужился, и облекавшее его католическое одеяние расползлось по всем швам. Он не спешил, однако, скинуть этого одеяния совершенно, довольствуясь тем, что имел теперь своего собственного национального Бога, к которому местные власти могли обращаться непосредственно, без непрошеного вмешательства святейшего отца в Риме. Но новыми, созданными им формами веры англичанин еще менее склонен был стесняться, чем прежними. Отказавшись от папы, он скоро повернул спину к королю, как главе церкви, и решился самолично заняться собственным спасением. При всяком повороте собственной мысли в сторону, при всяком движении ее вперед, он добросовестно переделывал по новой мерке и тот церковный футляр, в котором должна была умещаться новая религиозная идея. При такой гибкости религиозных форм, при такой их податливости — к чему ему было ссориться с религией или выбрасывать ее за борт? Вот почему, десятки раз переменившись в своих внешних очертаниях и в своем внутреннем содержании, религия до сих пор сохранила свою власть над представителями британской нации, и Англия представляет удивительный пример страны, в которой — нельзя сказать, чтобы вовсе — не было разрыва духовной традиции, но разрыв этот совершался с методической постепенностью и, в огромном большинстве, не вышел еще из рамок вероисповедных споров. По этой причине англичанин до сих пор ухитряется мирить самые новейшие приобретения мысли и знания со своим религиозным

миросозерцанием и всегда готов воспользоваться самыми антирелигиозными воззрениями для прояснения и дальнейшего развития своей личной веры.

Совсем иное встречаем в религиозной истории Франции. Старый религиозный костюм оказался здесь сшитым из крепкой материи, и, когда новому европейскому духу стало в нем тесно, все усилия освободиться от этого костюма оказались тщетными. Церковь отказалась здесь следовать за ростом человеческого духа. Поэтому свободная светская мысль принуждена была прикрываться старыми рамками в своей новой работе: ей не было дано возможности облечь нового содержания в новые формы с той положительностью и добросовестностью, с какою мог это сделать британский гений. Одно это условие должно было приучить французскую мысль к обходам и увертками, отклонить ее от положительной, творческой работы к отрицательной, критической и отравить ее отношения к старому мировоззрению дней ее юности. Вот почему, когда долго копившееся раздражение прорвалось наконец наружу, когда наступил момент решительного разрыва, философская и публицистическая мысль Франции сразу покончила с прошлым и могла относиться к нему только с ненавистью и насмешкой. Времена Вольтера, конечно, давно прошли, но и в наше время часто французский школьник с удивлением смотрит на своего товарища, идущего в церковь, и отмечает эти редкие экземпляры насмешливым прозвищем. Господство старого мировоззрения над образованным обществом составляет уже такое отдаленное и неясное предание, что интеллигентные снобы могут свободно идеализировать это мировоззрение и безнаказанно мечтать о его реставрации.

Нетрудно понять после всего этого, почему образованный англичанин до сих пор любит свою религию и почему образованный француз иногда до сих пор ее ненавидит, а иногда — что еще хуже, потому что еще дальше отодвигает ее в прошлое, — мечтает о ней, как о своего рода потерянном рае. Всякому известно, что образованный русский, в большинстве случаев, относится к своей вере совершенно безразлично. За это его очень часто и сильно бранят. Но вина и на этот раз, если нужно искать виновного, лежит не на нем, а на истории. Нам говорят, что он изменил своей истории и потому стал индифферентистом. Мы находим, напротив, что в этом отношении он остался совершенно верен всему ходу русской истории.

Мы показали в первой части этого тома, что русская церковь в первые века своего существования была слишком слаба по составу своих представителей, чтобы принять на себя задачу, которую западная церковь выполнила относительно средневекового общества. Влияние церкви на немногих представителей высшего класса, отмеченное летописями, не опровергает этого общего заключения. Последствием слабого воздействия на об-

щество было то, что языческая русская старина надолго осталась неприкосновенною и в течение веков мирно уживалась рядом с официальными формами новой веры. Продолжительность этого периода *двоеверия*, несомненно, составляет одну из особенностей русской культурной истории. Представители церкви были, конечно, тут ни в чем не виноваты; они сами были членами того общества, на которое должны были действовать. Но, как бы то ним было, и у нас наконец новая вера начала производить свое действие на общество, прежде всего, естественно, на более подготовленную часть его — на тогдашнюю "интеллигенцию". Произошло это довольно поздно — не раньше конца XV столетия. Действие веры при этом только и могло быть таким, какою стала сама вера в русской среде. В обществе, которое должно было еще приучиться хотя бы к соблюдению внешних форм религиозности, вера должна была приобрести характер обрядового формализма, ритуализма. В этом направлении и начала работать интеллигентная русская мысль XVI в. Результаты ее работы были, несомненно, оригинальны, но скоро оказались неправильны. Представители русской церкви, с помощью своих иностранных (греческих) руководителей, скоро открыли, что эти результаты есть плод своей, местной русской работы. Они нашли, что национальная работа религиозной мысли стоит в явном противоречии с вселенским преданием. В результате *этого рода* работа была осуждена и должна была немедленно прекратиться. А к другого рода деятельности в области религии тогдашнее общество было еще неспособно — да и вообще *деятельному* отношению к делам веры сама власть поставила очень узкие пределы. Таким образом, церковь лишила общественную мысль ее кровного достояния, которое она только что привыкла считать единственно верным и спасительным, и ничего доступного для массы не давала взамен.

Но работу национальной мысли остановить было нельзя. Отвергнутая церковью, она продолжалась вне церковной ограды; лишенная света, она велась во тьме; преследуемая, она производилась тайно. В XVII в. плоды этой религиозной работы перешли из тогдашних культурных слоев к народу и вызвали в народной массе такое оживление религиозного чувства, подобного которому до тех пор на Руси не было. Это был всегдашний естественный путь, каким культурные завоевания интеллигенции переходят к массам. Но для передовой интеллигенции и церкви XVII в. этот запас "культурного" религиозного одушевления пропал даром. Церковь уже опередила массы в культурном процессе. Наученная опытом, она крепко берегла свое добро. Это было ей теперь и нетрудно, так как никто на него больше не посягал. Большинство паствы, заинтересованной в живой работе религиозной мысли, ушло теперь совсем из церковной ограды. Из оставшихся не все, конечно, были равнодушны к духовным запросам. Но религия в числе этих запросов

уже не занимала у них первого места. К началу XVIII в. этот процесс первого национального "разрыва" уже приходил к концу, и активная роль в нем скорее принадлежала низам, чем верхам общества. *Формально* побеждала "культура", при содействии "цивилизовавшейся" власти. *Фактически* победа оставалась за успевшей сложиться духовной *традицией*.

Изменившиеся таким образом условия должны были отозваться и на положении самой церкви. Разорвавшая со своим недавним прошлым и покинутая массами, она лишила себя в настоящем своей внутренней силы. Оставленная со своими притязаниями лицом к лицу с могущественной государственной властью и находившая лишь слабую поддержку со стороны паствы, русская церковь должна была подчиниться требованиям власти и вошла в рамки других государственных учреждений. Тогдашние вожди церкви приняли эту перемену не только добровольно, но и охотно: она обеспечивала им сохранение исключительно охранительного характера церкви и освобождала от непосильной для них обязанности руководить духовной жизнью страны. Жизнь эта развивалась своим чередом — так же самостоятельно, как началась в XVI-XVII вв. Со ступени на ступень, народная вера прошла в следующие два века целый ряд фазисов развития, тех же, что повсюду. Мы следили за этим развитием в истории русского сектантства. Мы видели, как в процессе эволюции сект народная мысль искала одухотворения веры, а народное чувство успокаивалось на примитивных формах мистицизма. Но власть мало интересовалась этим процессом развития народной веры и немного о нем знала, а церковь, не проникшаяся духом прозелитизма, действовала по отношению к народной вере только как орган правительственного надзора. Этому состоянию церкви вполне соответствовал низкий умственный и нравственный уровень пастырей, превращенных в чиновников духовного ведомства, и стационарное состояние учения веры, запертого в стены духовной школы и довольствовавшегося пережевыванием полемических аргументов западного богословия. Мы видели, как медленно изменялись эти условия внутренней жизни господствующей церкви от XV до конца XVIII столетия; мы видели и их пережитки в XIX столетии.

Судьба русской веры определила собой и судьбу русского творчества. На Западе церковь, всколыхнувши народное чувство, заставила работать народную фантазию в новом направлении. Христианская поэзия вскоре вытеснила языческую и создала свои собственные шедевры; христианская архитектура смело принялась за решение новых задач; христианская живопись и скульптура вложили в свои произведения богатство и силу чувства, совершенно неизвестные античному искусству; наконец, и христианская музыка принялась искать новые пути для выражения религиозного настроения. Перемены в верова-

ниях вызвали и перемену взглядов на задачи искусства; здесь, как везде, эволюция шла в направлении секуляризации искусства. Но и с изменившимися взглядами искусство долго продолжало служить целям старой религии, заставляя и *нового* человека *в ней* по-прежнему искать удовлетворения своих душевных стремлений. Когда наконец искусство окончательно вышло из-под опеки церкви, ему уже не было надобности меняться: оно уже давно стало светским. Только идеал религиозный заменился идеалом этическим — не вполне чуждым прежнему. У нас, как показали "Очерки", первые значительные успехи веры в XVI столетии тоже сопровождались творческой работой фантазии. Христианская легенда впервые начала конкурировать с продуктами старого народного творчества. Архитектура, оставив простое подражание, пробовала по-своему разрабатывать чисто национальные формы. В иконографии появились ранние признаки стремления к "живству". Но все это национальное творчество, как и национальные формы *веры* были оставлены позади "оторвавшейся" от них в процессе *своего* культурного развития церковью. Она подвергла плоды национального творчества строгому осуждению. Самостоятельное национальное развитие творчества было остановлено в самом зародыше. Таким образом, церковь не только не действовала у нас поощряющим образом на работу религиозного творчества, но, напротив, отнеслась к первым плодам этой работы подозрительно, как к чему-то или чересчур примитивному, или чужому — во всяком случае, чему-то искажающему чистоту ее собственного учения. Дальнейшее развитие творчества *на религиозной почве*, как и развитие национальной веры, совершалось только контрабандой — преимущественно среди оппозиционных, мало-интеллигентных течений народной религиозной мысли. Христианская поэзия превратилась в раскольничий стих и на этом остановилась. В архитектуре и иконописи фантазия художника ограничена была самыми тесными пределами. В лучшем случае она должна была довольствоваться компромиссом между новыми влечениями и преданиями старины — греческой, а не русской. Искусство потеряло свою публику, как церковь — паству; в течение всего XVIII столетия оно продолжало работать только для условных потребностей комфорта, как церковь — для условных потребностей школы. *Особенности* русской жизни и мысли ни в том, ни в другом случае долго не находили возможности обнаружиться. Естественно, что и тогда, когда, после долгого промежутка, самостоятельное русское искусство возникло вновь, оно не могло опереться ни на какую историческую традицию. Смело и решительно оно пошло навстречу новым требованиям русской интеллигенции. Начавши свое развитие опять сначала, с перехода от слепого подражания к примитиву, оно удивило посторонних наблюдателей варварской силой и свежестью своих впечатлений. Но это произошло уже после нового историчес-

кого "отрыва" — отрыва ушедшего вперед культурного общества от испугавшейся и пытавшейся опереться на утерянную национальную традицию власти.

Наконец, в самой тесной зависимости — хотя чисто отрицательной — от истории русской веры стоит и история дореформенной русской школы. Принявшись за христианское воспитание общества, западная церковь прежде всего употребила для этого школу как самое сильное средство общественного образования. Много столетий западная школа находилась исключительно в духовных руках. Когда наконец западное государство включило в число своих задач народное просвещение, оно нашло поле действия уже занятым. Употребив все усилия на борьбу с клерикальной школой, оно и до сих пор еще не достигло в полной мере цели, которую себе поставило. Эта традиционная независимость школы от государства имела своим последствием то, что государство поневоле научилось ценить самостоятельность школы. Раз установившись, это отношение пережило период господства церкви над школой, оно превратилось из уважения к самостоятельности церкви в уважение к независимости науки.

У нас, как мы знаем, церковь, в период своего преобладания в духовной жизни страны, оказалась не в состоянии устроить школу — не только для распространения знаний в обществе, но даже и для поддержания знаний в своей собственной среде. В результате знания проникали в общество помимо школы. На первый раз, в XVI в., это были знания, одобренные церковью и почерпнутые из благонадежного византийского источника. Но такими знаниями, восходившими к IV-X вв. нашей эры, общество не могло удовлетвориться. Еще в том же, XVI в. стали проникать на Русь обрывки средневековой науки XI-XIII столетия. После тщетного и бессильного сопротивления сами представители церкви подчинились понемногу влиянию этой, тогда уже устаревшей на Западе, науки. Ученейшие из них принялись хлопотать об устройстве в России школы по средневековому образцу. Мы проследили судьбу этих бесплодных хлопот, мы видели упорную борьбу московского большинства против включения в школу "свободных искусств", а потом и против ее преподавателей, хотя и прошедших через двойную цензуру греческого патриарха и московского школьного устава.

Критикуя и не предлагая ничего положительного со своей стороны, господствующая партия дождалась, наконец, того времени, когда школа понадобилась государству. Приступив к устройству *своей* школы, государство уже не встретило конкурента в лице церкви. Напротив, по его же настоянию и церковная администрация завела первые свои духовные школы. На первых порах государственная власть готова была передать в духовное ведомство и светские школы. Но церковь, как и общество, смотрела на школу как на государственную повинность.

При этих условиях школа с самого начала своего существования стала у нас вдвойне правительственной: по своему происхождению и по своему назначению. Школа готовила или для школы же, или для службы. Дворяне до освобождения от обязательной службы, т.е. до второй половины XVIII в., духовенство и крестьяне до крестьянской эманципации 1861 г. привлекались к посещению школы насильно. Для своих собственных целей те и другие предпочитали пользоваться услугами частных учителей и посылать своих детей в частную школу. Правительство с конца XVIII в. вступило в борьбу с частной школой, подчинило ее к середине XIX в. своей регламентации и в конце концов заставило, в выгодах службы, предпочесть казенную школу частной. Таким образом, общественное образование сосредоточилось вполне в руках государственной власти. Но здесь она натолкнулась на *активное* отношение самого общества к школе и, вместо содействия обществу в просвещении России, вступила с ним в продолжительную и постепенно обострявшуюся борьбу. Частые реформы школы в XIX столетии показали нам, что результаты школьного преподавания, вопреки всем стеснительным мерам, все-таки оказались подозрительны и совсем не соответствовали намерениям государственной власти. Но при этом государству приходилось бороться не с клерикализмом. Оно, напротив, совершенно основательно находило, что воспитательное влияние церкви входит слишком слабым элементом в состав нашего общественного воспитания. К большому удивлению иностранцев, правительство усердно старалось у нас создать государственными средствами клерикальную школу, которой не создала наша прошлая история. Но пока продолжали существовать известные нам причины ее неуспеха в прошлом, нельзя было ожидать успеха этой школы и в настоящем. Русская жизнь и *в прошлом* была не слишком много, а слишком *мало* проникнута началами веры. Но прошлого не воротишь. Чаадаев советовал когда-то попробовать на России средство, оказавшееся плодотворным в Европе, — культурное влияние католицизма — и для этого начать сначала всю нашу историю. Совет, разумеется, совершенно неприменимый. Если бы русское сектантство развивалось не вне, а внутри церковной ограды, то религия *в этой* форме могла бы иметь то же воспитательное действие на массы, какое имел на Западе протестантизм. *Этого рода* влияние религии у нас еще возможно. Но пока нет серьезных оснований быть уверенным, что религиозное развитие всей массы пойдет именно этим путем. По крайней мере мы видели, что тот последний период, когда господствующая религия *могла* использовать полученную ею свободу для самостоятельного развития, остался неиспользованным. А затем небывалое насилие над религиозными верованиями народа вызвало реакцию, неблагоприятную для развития свободных форм веры.

Сделанный нами обзор процессов медленной, но неизбежной русской секуляризации приводит нас к высказанному выше заключению, что разница в характере разрыва русского и европейского общества с их прошлым более всего объясняется различием в культурной роли их веры. Повторим еще раз: британская религия возрастила и воспитала британскую мысль и сама вместе с ней выросла; вот секрет господства религиозных идей над умом даже современного британца. Французская религия, напротив, сделала все усилия, чтобы воспрепятствовать развитию современного научного и философского духа; отсюда враждебное отношение к ней француза. Что касается русской религии, она не имела возможности сделать ни того, ни другого. Она не возбуждала мысли к деятельности и — с XVIII в., когда критическая мысль пробудилась у нас, — уже не преследовала ее инквизиционными трибуналами. Вот почему отношение интеллигентного русского к религии до последнего времени, за отмеченными в тексте исключениями, которые пока далеко не стали правилом, осталось таким, каким создала это отношение история, — безразличным.

Есть, правда, как мы видели, течение внутри самого православия, которое полагает, что религиозное учение этой формы церкви вполне совместимо с началами свободы. Этот взгляд, однако, противоречит всей прошлой истории. Если бы в будущем он оказался верным, то это означало бы только, что самое православие получило новый вид, неизвестный в прошлом, то есть сделалось бы из ритуальной религии религией духовной. Естественно, что все попытки этого рода (мы видели пример тому в собеседованиях Мережковских) неизбежно наталкивались на сопротивление официальных и неофициальных защитников церковной традиции. В последнем счете сопротивление такому превращению было бы оказано не столько высшим авторитетом православной церкви, который даже и после восстановления патриаршества не получил характера возведенной в догму непогрешимости, и не столько авторитетом государства, которое, надо думать, не вернется больше к дореволюционному покровительству церкви и религии как орудию собственной политики, сколько, больше всего, неподготовленностью и косностью народной массы. Можно предвидеть, конечно, поднятие ее культурного уровня, и более чем вероятно, что мы присутствуем при развитии этого процесса, начавшегося еще до революции. Но в настоящее время делать определенные предсказания на случай, если эта предпосылка станет совершившимся фактом, было бы преждевременно. Все построения, основанные на предположении развития свободных форм веры в пределах православного учения, как мы видели, принадлежат интеллигентам, собственное отношение которых к церковной традиции по меньшей мере остается невыясненным, а для официальных представителей церкви — подозрительным.

Предыдущие издания второго тома "Очерков" делали своим центром тяжести именно изучение влияния церкви на разные стороны национальной русской культуры. *Секуляризация* была, так сказать, пограничной чертой этой стадии культурного процесса. То, что произошло *после* достижения этой черты, излагалось сравнительно кратко. Это распределение материала давало возможность показать внутреннюю неизбежность постепенной европеизации русской культуры. Наш основной тезис, что европеизация лежит в существе саморазвивающегося процесса, а не противоречит ему, был, таким образом, достаточно иллюстрирован. Но оставалась неразвитой другая половина тезиса: роль иностранных заимствований в создании национальной культуры. В те годы, когда закладывались основы славянофильства, национальную культуру еще можно было отождествлять с допетровской народной культурой или отрицать вовсе, поскольку речь шла о высшем, образованном классе, подвергшемся иностранному культурному влиянию. Но уже в то время, в поколении Пушкина и Глинки, национальное творчество, прерванное реформой Петра, достигло результатов, несомненно, национально своеобразных и в то же время шедших в уровень с культурными достижениями Европы. Тезис о мертвенности и механичности заимствования, о его ядовитом дыхании, убивающем национальную культуру, получил фактическое опровержение и становился анахронизмом. Тем более ярким опровержением должно было служить последующее, уже вполне самостоятельное развитие русского духовного творчества. С другой стороны, новые исследования показали, что и в предшествовавшем периоде XVIII в., который считался чисто подражательным, уже пробивались ростки самостоятельного национального творчества.

Те и другие явления должны были быть приняты во внимание историком русской культуры. Настоящее издание "Очерков" отводит им надлежащее место. Период "инкубации" новой русской культуры, хотя и ограниченной двором и ближайшими к нему кругами в XVIII в., так же как и период полного расцвета самостоятельной национальной культуры, который мы имели право назвать "классическим" периодом и длительность которого измеряется шестью-семью десятилетиями XIX в. (1820-1890), изложен здесь гораздо подробнее, чем в прежних изданиях. Мы отметили также, что национальное творчество классического периода развивается в обстановке сравнительной изоляции от новых европейских влияний, чем уже формально подчеркивается его самостоятельность. Мы указали также, что, когда, на рубеже нового столетия, эта изоляция прекратилась, русское творчество вступило в общение с миром как равноправное и уже смогло само оказать влияние на чужие культуры.

Оставалась другая сторона старого тезиса: оторванность этой культуры от народа, как бы подтверждавшая ее искус-

ственность и тепличность. Уже по теоретическим соображениям нельзя было разделять и этого мнения. Высшая культурность привилегированного класса есть общее явление для всех способных к культуре народов, и нельзя отрицать за культурным творчеством в пределах этого класса значение *национального* творчества. Но дело в том, что и фактически привилегированный класс есть лишь временный творец и хранитель национальной культуры, передающий плоды своего творчества следующим за ним социальным слоям. С этой точки чрезвычайно важно было осветить, насколько позволяют источники, самый процесс этой передачи. Это также сделано в настоящем издании.

Передача культурных приобретений от интеллигенции народу сверху вниз становится тем возможнее и легче, чем быстрее поднимается культурный уровень масс. Главным орудием этого подъема является школа. Однако мы уже видели, при каких неблагоприятных условиях развивалось в России влияние школы[1]. Сперва оно навязывалось неподготовленной массе сверху, для практических целей правительства и для нужд государства. А когда сами массы почувствовали потребность в школе для целей собственного просвещения, потребность эта вызвала сверху борьбу против ее удовлетворения. С этой борьбой настоящее издание также подробнее знакомит читателя, чем предыдущие. Но главное, что является новостью этого издания, — это выяснение тех путей, которыми лишенные школы массы добивались своей цели. Пути внешкольного просвещения, постепенный подъем культурного уровня массы, расширение круга потребителей творчества высшего класса, появление собственного творчества, удовлетворявшего вкусам массы, наконец, выделение из масс собственной интеллигенции — все эти явления *демократизации культуры* получили свое освещение в настоящем издании.

Наряду с выходом культуры из тесных рамок прежнего культурного класса нужно было указать также и на явления распадения этого класса. Это заставило нас подробнее остановиться на периоде после крестьянского освобождения, когда уже формально были раздвинуты рамки русской культуры. Появление разночинца в литературе, прогрессивных тенденций в созданной впервые народной (земской) школе, быстрый рост внешкольного чтения — в результате просветительной деятельности разночинной интеллигенции — все эти явления первосте-

---

[1] При теперешнем распределении материала "Очерков" очерк седьмой — о школе — должен бы был стоять впереди очерка, посвященного литературе и искусству. Такой порядок изложения более соответствовал бы перенесению центра тяжести "Очерков" на период развития секуляризованной культуры. Читатель, который ознакомится с Заключением ранее прочтения всего тома, лучше всего сделает, если будет читать его в этом порядке.

ценной важности должны быть по праву введены в историю русской культуры.

На самом рубеже XIX и XX столетий мы присутствуем, однако, при явлении, по-видимому, регрессивного характера. На верхах культурного класса, успевшего к этому времени изменить свой социальный состав, появляются кружки, непосредственно связанные с современными европейскими течениями, культивирующие утонченные формы творчества. По самому существу этих течений "конца века" они ведут к новому отрыву от понимания широких масс и замыкаются в тесные салоны посвященных. Мы указали на непродолжительность и непрочность этого исторически неизбежного эпизода в общем культурном процессе. Самый процесс, в своем целом, не изменил своей основной линии или к ней вернулся. Следует указать, конечно, и на положительную сторону этого явления. Можно найти ее в расширении предметов и тем национального творчества, в некоторых попытках обновить язык — не только манерностью символизма, но и непосредственным контактом с массовой речью, — наконец, в новых религиозных стремлениях, пытавшихся сомкнуться с формами народной веры и найти выход из неподвижности ортодоксального догматизма и церковничества. Попытки эти, правда, не засыпали пропасти ни между интеллигенцией и церковью, ни между интеллигенцией и народом. Но как первый решительный шаг в том направлении, по которому должна пойти дальнейшая национальная европеизация (читатель "Очерков" поймет сопоставление этих терминов, считавшихся противоречивыми), эти попытки заслуживали быть внесенными в исторический инвентарь русской культуры.

О значении внесенных в "Очерки" отделов, рисующих судьбу русской культуры в советской России, было сказано в предисловии к первой части второго тома. Подчеркну лишь, что, при всей враждебности власти к демократизации культуры, она не только не могла положить препятствия этой демократизации, но, напротив, невольно открыла для нее пути, неведомые старому режиму. Независимо от желаний этой власти, процесс приобщения масс к культуре — не в смысле временных хозяев России, а в смысле продолжения описанного в "Очерках" векового процесса — развивается дальше, а плоды его скажутся, когда будут сняты связывающие национальную жизнь внешние путы. В момент выхода в свет настоящего издания "Очерков" давление власти на направление национального творчества достигло своей высшей точки и грозит полной стерилизацией этого творчества. Но самая напряженность этого давления сверху, отмеченная во всех отделах "Очерков", показывает, что его действие может быть только временным.

Эти последние замечания заключают в себе и ответ на вопрос, создал ли большевистский период русской революции какие-либо совершенно новые элементы русской культуры. Мы

проследили в этом периоде продолжение культурных процессов, начавшихся ранее, но не видели возникновения новых. Притом продолжение это сводилось более к *распространению* в массах готовых элементов культуры, чем к созданию новых. В этом отношении мы отметили отталкивание от утонченных, недоступных массам форм культуры "конца" XIX и начала XX в. и возвращение к реализму и просветительной работе предыдущего времени. Это возвращение было, несомненно, облегчено и ускорено фактическим выбытием из строя многих руководителей и вождей поколения 90-х годов и переменами в настроении других. Преемственность исторического процесса этим обстоятельством отнюдь не ослаблена, а усилена.

Нам остается упомянуть, что обновление содержания второго тома "Очерков" всем вышеуказанным материалом увеличило более чем вдвое его прежний размер. Вместо 402 страниц последнего издания этот том заключает более 1000 страниц. Автор позволяет себе думать, что поступательное движение *секуляризированной* русской культуры и самостоятельные плоды *национального* творчества в "критический" период русской истории получили в этом издании "Очерков" достаточно полную оценку.

СОДЕРЖАНИЕ

ОЧЕРК ТРЕТИЙ
ЦЕРКОВЬ И ТВОРЧЕСТВО

III. Секуляризация искусства и его самостоятельное развитие: архитектура и живопись

Церковь и искусство на Западе
Упадок и возрождение реализма
Состояние христианского искусства на Востоке к моменту восприятия его Россией 9
Эволюция византийского искусства 10
Особое положение архитектуры 10
Архитектура Новгорода, Пскова, Суздаля, Москвы 11
Национальные элементы русского покрытия церкви: купол и "луковица" 12
"Бочка" и "шатер" 13
Национальный стиль середины XVI в. 19
Сопротивление церкви 20
Ярославские церкви; упадок национального стиля 20
Источники подражания Петровской эпохи 20
Роль Петербурга 21
Проникновение в Россию "барокко" в конце XVII в. 22
Трезини и смешанные стили Петра 23
Растрелли и рококо Елизаветы 24
Переход Екатерины II к классическому стилю 25
Русские строители и Академия 25
Русские архитекторы Екатерины 26
Камерон и Кваренги 27
Переход к чистому классицизму "Империи" 28
Строительство Александра I: Воронихин, Томон, Росси, Монферран 29
Демократизация и национализация строительства при Николае I 30
Попытки возрождения национального стиля 31
Эволюция орнамента 31
Слабость скульптуры 32
Научные приемы изучения иконописи 32
Национальный элемент древнейшей иконописи 33
Споры о моменте создания русского стиля 34
Новые источники иностранных влияний в XIV-XV вв. 35
Роль Венеции 36
Росписи Феофана Грека 36
Русский иконостас 36
Развитие самостоятельности русского стиля 37
Андрей Рублев 38
Традиция Дионисия 39
Итальянщина Благовещенского собора и нововведения псковичей 39
Источники новой иконографии 40
Реакция соборов 1554 и 1561 гг. 40
Пределы свободы иконописца по "подлиннику" 41
Эклектизм Москвы и централизация иконописания в "Царской школе" 42
Защита "святовидного" письма 45
Новаторства конца XVII в. 47
Библия Пискатора и эволюция "палатного" письма 48
Критический "Подлинник" конца века 49
Запоздалость религиозного возрождения 50
Условность и реализм в период петровских заимствований 51
Пейзаж, гравюра и портрет 52

Развитие жанра 54
Венецианов — первый пленэрист 55
Академический романтизм Брюллова 56
Связанность таланта А. Иванова 57
Расцвет жанра: Федотов 58
"Обличительная" литература и живопись 58
Подготовка протеста против академизма 59
Бунт "передвижников" 1863 г. 60
Реализм в живописи 60-70х гг. 60
Перов и Репин 61
Бунт нового поколения 90-х г. против "передвижников" под знаменем космополитизма 62
"Возрождение академизма" у передвижников 63
Критика Бенуа и "Мира искусства" 63
От злобы дня к XVIII столетию 64
Выход в историческую живопись: Суриков 65
Новое в пейзажной живописи: Куинджи, Левитан 66
"Первый импрессионист" Коровин 67
Уход в археологию: Рерих 67
Новое в портретной живописи: Серов 67
Выход в сказку и религиозную легенду: Васнецов, Нестеров 68
Одиночка — Врубель 69
Эклектизм "мироискусников" 69
Их отрицание европейских крайностей и экспорт национального стиля 70
Разногласия с молодым поколением 71
Новые иностранные источники творчества этого поколения 73
Этапы эволюционной живописи 74
"Импрессионизм" во Франции 74
"Нео-импрессионизм" 75
"Пост-импрессионизм" Ван-Гога, Гогена и Сезанна 75
"Экспрессионизм" 76
"Кубизм", как реакция против "экспрессионизма" 78
"Футуризм — последнее звено эволюции 79
Возвращение к прошлому и к примитиву 80
Самостоятельность русской национальной школы 81
Влияние импрессионизма 82
Сближение с новейшими течениями 83
Экспрессионизм Борисова-Мусатова 83
От "Мира искусства" к выставке "Голубой розы" (1907) 85
Эволюция Ларионова и Гончаровой 87
Лихорадка заимствований 88
"Бубновый валет", "Ослиный хвост", "Мишень", "№ 4" 89
В тупике "футуризма" и "лучизма" 91
Поиски народного русского примитива 92
Роль Дягилева 93
Национализм и экзотизм "Русского Балета" 94
Впечатление первого периода "Р.Б." на иностранцев 95
Европеизация "Р.Б." во втором периоде 96
Иностранный итог 96
Сближение противников и возврат к прошлому 97
Попытки синтеза реализма и стилизации: Григорьев 98
Шагал 99
"Последние крики" и идеология "коллективного человека" при советском режиме 100
Попытка "монументального" творчества 102
"Производственное" направление искусства 103
Выход дореволюционных направлений из подполья при НЭПе 103

"Героический реализм" и "бытовизм" "ахровцев" 104
Новые течения "Маковца" и "Бытия" 105
Попытка компромисса у "ОСТа" 105
Новые требования "классового" искусства при Сталине 106
Декларация АХХР 1928 г. 107
Ультра-левые потуги и реакция против них 108
Возвращение к прошлому 108
Искусство "вещей" 109
Революционная графика 110
Плакат 111
Конструктивный стиль архитектуры 112
Архитектурные утопии Татлина 113
Борьба с "эстетизмом" 114
Дореволюционный театр 115
Реализм "Художественного театра" 116
Новые попытки 116
Символизм и "Студия" Мейерхольда 117
Стилизация актера 118
Театр Комиссаржевской 118
Эволюция Мейерхольда 119
"Камерный театр" Таирова 120
Революционная "театрализация жизни" 121
Пролеткульт и "академические" театры 122
"Театральный Октябрь" Мейерхольда 123
Революционные постановки 124
Театр на службе социалистического строительства 125
Реакция публики 126
Требование идейного театра 127
Итог 127
Библиография 128

IV. Секуляризация искусства и его самостоятельное развитие: музыка

Сходство и различие с Западом 132
Судьба византийской нотации в России 134
Первые попытки самостоятельности 135
Реформы Шайдурова и Мезенца 135
"Демественное" пение 136
"Знаменное" (многоголосное) пение 137
Заимствование "партесного" пения с Запада 138
Гармонизация "по-польски" и "Грамматика мусикийская" Дулецкого 138
Появление светской музыки 139
Итальянские композиторы и опера в России 139
Русские дилетанты 139
Первые русские композиторы 139
Протест против секуляризации церковной музыки 142
Роль придворной Капеллы 143
Распространение интереса к музыке 144
Глинка и Пушкин 145
Национальный элемент музыки Глинки 145
Отношение публики к операм Глинки 146
Даргомыжский вводит начало драматизма 147
Серов расширяет музыкальный кругозор 148
"Космополитизм" А.Рубинштейна 149
Национальное значение Чайковского 150
Национальный протест "дилетантов" "Кучки" 151
"Правда" против "красоты у Мусоргского 151
Его декларация целей искусства и его обхват 152
Реализм в "Борисе Годунове" и "Хованщине" 152
Исторический и народный элемент 153
Неудача при жизни, посмертный апофеоз 153
Бородин 154

Эволюция Римского-Корсакова 154
Римский-Корсаков и Вагнер 155
Отличие в использовании народной легенды 156
Запоздание протеста молодого поколения 157
Одиночество Скрябина 157
Пути эволюции новейшей музыки XX в.: "раздевание" музыки 159
Постепенность "одевания" музыки в прошлом: примитивный ритм в основе 159
Эволюция мелодии 159
Последняя стадия: эволюция гармонии; ее предпосылки 160
Период контрапункта и полифонизма 161
Установление четырех типов голосов и музыкальных инструментов 161
Протест против эксцессов контрапунктизма во имя свободы мелодии (1600-1750) 162
Стабилизация инструментов и оркестрового состава 162
Высшая точка "одевания" музыки: классический период 163
Равновесие гармонии, мелодии и ритма: его основная черта; организованная форма - ее главное выражение 164
Новый оркестр 165
Переход от полифонии к разработке "темы" 165
Язык музыки Бетховена 166
Многозначность понятия "романтизма" в музыке 166
Односторонне гармонический характер музыки XIX в. 167
Консонансы и диссонансы в учении Гельмгольца 167
Гармония оттесняет мелодию и ритм 168
Протест против Вагнеровской "Наркотики" 169
Параллелизм новейшей эволюции в живописи и в музыке 169
Стадия импрессионизма 169
Стадия "экспрессионизма" 170
Манифест Бузони 171
А.Шенберг 172
"Абсолютная" мелодия, ритм, гармония 173
Смысл искания 174
Протест против "экспрессионизма"; социология против эстетизма 175
Провинциализм Глинки 177
Изолированность его преемников 178
Противник провинциализма Серов 179
Кругозор "кучки" 180
Ее распадение 181
Новаторство Мусорского 181
Его посмертное влияние на Европу 182
Европа знакомится с русской музыкой 183
Первый русский "декадент" Ребиков 184
Реакция Москвы против новаторства: Танаев, Рахманинов, Медтнер 185
Сближение с Европой 185
Петербурский период Стравинского 186
Стравинский и Шенберг 187
Новаторство "Весны Священной" 188
Переход к мелодическому линейному письму 190
Европеизация и экспериментирование Стравинского 191
Возвращение к классицизму 192
Возвращение к оркестру красок 193
Молодость Прокофьева 194
Возвращение к "рисунку" 194
Параллель с "кубо-футуризмом" 196
Молодые последователи Стравинского и Прокофьева 196
Музыка в советской России 197
Новый "социальный заказ" 198
"Дескрябинизация" музыки 199

Мрачность Мясковского 199
Визионерство Фойнберга 200
Академизм Александрова 201
Еврейские композиторы 201
Радикализм Рославца 201
Доктрина Яворского 202
Попытки компромисса 203
Серьезная музыка в массах 203
Борьба новаторов и классиков за "благонадежность" 204
Библиография 204

ОЧЕРК ЧЕТВЕРТЫЙ.
ШКОЛА И ПРОСВЕЩЕНИЕ.

I. Православная школа Древней Руси

Споры о степени образованности Древней Руси 207
Безграмотность духовенства: советы Геннадия и решения Стоглавого собора 208
В XVII в. то же самое 208
Спор о пользе грамматики 209
Средневековая программа школы в Юго-Западной России 210
Протест православных (Вишенский) 211
Киевская Академия и ее воспитанники в Москве 212
Московские противники и защитники школы 212
Потребность в изучении богословия 213
Греческая и латинская школа в Москве 1640-50-х гг. 214
Раскол и увенчания греков 214
Школа Симеона Полоцкого (60-е годы) 215
Борьба за латинский или греческий тип школы (70-е годы) 216
Школы обоих типов в 80-х гг. 217
Компромисс в борьбе с крайним течением 217
"Славяно-греко-латинская академия" 218
Старомосковская партия побеждает 219
"Академия" - "цитадель" борьбы против иноверия 220
Судьба Лихудов 221
Запустение "Академии" - символ бессилия Москвы создать среднюю и высшую школу 221
Библиография 222

II. Состояние знаний до Петра

Состояние математических знаний: счисление 223
Сложение и вычитание; дроби 224
"Золотая строка"; старейший учебник XVII в. 224
"Геометрия" (землемерие): примерное вычисление площадей 225
Порча текстов 226
Прикладная часть астрономии 226
Византийская космография 226
Смена ее средневековой 227
Протест против астрологии в XVI в. 229
Восприятие астрологических учений в XVII в. 229
Первые календари 229
Естественно-исторические знания: византийский "Физиолог" 229
Замена его средневековым "Бестиарием" 231
Собирание "монстров" и "раритетов" Петром 231
Антропологические познания: учение о темпераментах 232
Медицина в России 233
"Цветник" и "Прохладный Вертоград" 234
Народная космогония 234
Книжный элемент народной фармакопеи 235
Гуманитарные знания: история 236
Судьба византийского "Летописца" 237
Его замена "Хронографом" 237
Русские переделки "Хронографа" 1512 и 1617 гг. 238
Первые шаги русской историографии: "Синопсис" 239

Теологическая историософия И. Тимофеева 240
Светское толкование событий у кн. Куракина 241
Словесные знания: буквари 242
Статистика изданий учебных книг 242
Грамматика 242
Диалектика и риторика 243
Отношение к философии 243
Допетровские энциклопедии: "Азбуковник" 244
Его эволюция в XVII в. 244
Необходимость секуляризации 245
Библиография 245

III. Светская школа Петра и императриц

Практические задачи секуляризованной школы 247
Ее профессиональный характер 248
Первая сеть духовных и светских школ 248
Статистика "цифирной" школы 249
Ее разгром 249
"Гарнизонные" школы 249
Создание "епархиальной" школы 250
Ее статистика 251
Превращение в "семинарии" 252
Роль духовной школы в XVIII в. 252
Неудача создания начальной народной школы 253
Отсутствие педагогической точки зрения в петровской школе 253
Она становится повинностью служилого класса 254
Гражданская служба в пренебрежении 256
Духовная школа лишь постепенно становится сословной 256
Население ищет лишь элементарного образования 257
Первая попытка создать общеобразовательную и безсословную школу: академия и университет 258
Академическая гимназия 259
Результаты этой попытки 260
Двойное назначение Московского университета 260
Планы Шувалова и советы Фишера 261
Состав профессоров и студентов 262
Причина неудачи 262
Отрицательное отношение дворянства 263
Педагогические идеи Екатерины II 263
Ее цель - создание "новой породы людей" 264
Закрытая школа; начало женского образования 265
Теория и практика Смольного института 265
Охлаждение Екатерины к воспитательным задачам школы 267
Новая общеобразовательная и безсословная школа 1780-х гг. 268
Австрийская система преподавания 269
Новые учебники 270
Подготовка учителей 270
Осуществление системы на практике 271
Неудача "малых" училищ" 272
Тяжелое положение учителя 273
Что сделано? 274
Статистика 275
Вопрос о начальной народной школе 276
Библиография 277

IV. Борьба за школу и просвещение при старом режиме

Политический характер учебных реформ XIX в.: пять перемен 279

Систематическая реформа 1804 г.: ее отношение к екатерининской реформе 280
Сложная программа гимназии 1804 г. 282
Меры понуждения населения 283
Степень осуществления плана 284
Необходимость подготовки учителей 284
Университеты педагогические институты в Петербурге, Казани и Харькове 284
Автономный устав университетов и его иллюзорность 285
Гонение на университеты 286
Численность студентов в университете и дворянских школах 288
Слабость подготовки 289
Непрактичность иностранного преподавания 290
Первые опыты подготовки русских профессоров за границей 290
Отрицательное отношение населения к гимназии 291
Уваров приспособляет гимназию для подготовки к университету (1811-1817) 292
Восстание декабристов ставит на очередь политические задачи впереди образовательных 293
Реформа 1828 г. стремится вернуться к сословной школе и взять воспитание юношества в руки государства 294
Уездные училища 294
Споры о классической или реальной гимназии 295
Бифуркация гимназии 296
"Благородные пансионы" для дворян 297
Правительственный контроль за частным обучением 297
Социальный состав школы середины XIX в. 298
Университетский устав 1835 г. 299
Формула Уварова 299
Новый дух преподавания 300
Новый состав аудитории 300
Ограничительные меры Уварова и Ширинского-Шихматова 301
Уклонение молодежи от государственной службы 302
Новые охранительные меры 302
Начало реальной школы 303
Перемены в университетском уставе 304
Контроль над профессорами 304
Упадок университетов 305
Перелом при Александре II 306
Автономный университетский устав 1863 г. 306
"Свобода преподавания и учения" 307
Университет - "барометр общества" 308
Спор о классической или реальной гимназии 311
Компромиссное решение реформы 1864 г. 313
Новая реакция 314
Реформы гр. Д.А. Толстого 314
Результаты классицизма Толстого 315
Неприменимость университетского устава 1884 г. 316
Цифровые итоги 318
Изменения социального состава учащихся к концу XIX в. 320
Неудача начальной школы по уставу 1804 г. 320
Сельская школа 30-40-х гг. 321
Русская педагогия 60-х гг. 322
Вольные школы грамотности 324
Споры об обязательности обучения 326
Общественность за добровольное обучение 327
Претензии Синода 328
"Положение" 1864 г. 329
Правительственный контроль над начальной школой 330
Колебания Земства 331
Работа прогрессивных педагогов 332
Цифровые итоги земской школы 333

Усиление надзора 334
Создание церковно-приходской школы 335
Ее идеолог Рачинский 335
Рост ассигнований на церковно-приходскую школу 336
Перемена настроений в 90-х гг. 337
Борьба против университетского устава 1884 г. 337
Перемены в гимназическом преподавании 338
Перемена отношения крестьянства к начальной школе 340
Оживление школьной и внешкольной работы земств 340
Народные чтения 342
Учительские семинарии 343
Колебания в вопросе о всеобщем обучении 344
Первые расчеты возможности введения всеобщего обучения 345
Расчеты и решения Гос.Думы 347
Осуществление думского плана 348
Цифровые итоги 349
Состав учителей 349
Рост книгоиздательства 351
"Смирдинский" период 351
Ускорение роста со второй половины XIX в. 352
Усиление народного спроса на книгу 353
Медленность роста публичных библиотек 353
Роль университетской молодежи и комитетов грамотности в организации народного чтения 354
Проникновение книги в деревню 355
Типы народных читателей и характер чтения 356
Роль издательства для народа 358
Изучение народного читателя 359
"Книжный поток" времени революции 1905 г. 361
"Отлив" 362
Рост книжной продукции 362
Идейные издательства и читатели 363
Боевое настроение читателей 364
Грамотность до конца XIX в. 365
Радикализм учительских съездов 1908-13 гг. 366
"Государственный комитет" февральской революции 367
Недостаточность практических мер 367
Начало развала школы 368
Библиография 369

V. Школа на службе политики в СССР

Взгляд Ленина 372
Заимствования у русских и иностранных педагогов 373
Педагоги марксисты 374
"Трудовая школа" в партийной программе 375
"Политехническая" школа Маркса и Энгельса 377
Непригодность для России 378
Настроения школьных учителей 379
Коммунистическое руководство ими 380
"Великий перелом" 380
Образовательный ценз учителей 382
Развал дореволюционной школы 382
Ответственность сов.власти за дальнейший упадок 384
Первоначальные "иллюзии" 385
"Положение" 1918 г. 385
Крушение плана "единой" школы 386
Уступки профессионализму 387
Обособление типов школ 388
Выход из каждой в профессию 389
"Социальное воспитание" в низшей школе 389
Споры о "комплексном" методе 390

Приспособление программ ГУСа к марксизму 392
Споры об осуществимости такой школы 393
Пассивное сопротивление среды 394
Компромиссы на практике 394
Недовольство крестьянства и учителей 395
Выход школы на улицу 396
"Самоуправление" и внесение политики в школу 397
Политическая проверка 398
Попытки приспособления школы к жизни 398
Перемена отношение населения 399
Рост количества школ 400
Проекты всеобщего обучения 402
Трудность осуществления 403
Усиление профессионализации школы 405
Фабричные школы 406
"Техникумы" 407
"Рабфаки" 408
Их неудачи 409
Статистика проф.школ 410
Нехватка специалистов для "пятилетки" 410
Положение средней школы 411
Отношение к ней власти 412
"Отсев" детей рабочих 413
Лицо и изнанка средней школы 413
Возвращение к старому 414
Утопический период высшей школы 415
"Внимание" к ней начальства 415
Контроль состава студентов 415
Надзор за профессорами 417
Профессионализация 417
Чистка профессоров 418
Состав научных работников 419
Цели новой общей реформы 420
Луначарский упирается 420
Итог недочетов 421
Попытка компромисса Наркомпроса и победа нового направления 422
Новый нарком Бубнов 423
Положение учителей 423
Борьба с "реакционной" профессурой 424
Новые "аспиранты" 425
Пересмотр программ ГУСа 425
Борьба за "темпы" 426
Поиски причин неудачи 427
Требование принципиальности и возвращение к "единой" и "политехнической" школе 427
Принудительная семилетка 428
Обязательные "социальные нормы" приема 429
Вопрос об экзаменах 430
Требования "политехнического" съезда 1930 г. 431
Сопротивление среды 432
Библиография 433

VI. Просвещение на службе политики в СССР

"Полит-просвещение" 436
Состояние грамотности 436
Меры ликвидации неграмотности 437
Неудача их 438
"Культ-походники" 439
Национализация печатного дела 440
Перемена при НЭПе 441
Рост книжного производства 442
Причины "затоваренности" 1924-1925 гг. 442
Перемены в составе книг 443
Газета на службе партии 444
Остановка при НЭПе 445
Дальнейший рост 446
Дифференциация типов 447
Отказ от свободы печати 447
Попытки обслуживать **интересы** читателей: "раб" и "селькоры" 448
Пределы свободы критики 449

Переход к руководству населением 450
Газетный гипноз 451
Статистика "политпросветительных" учреждений 451
Эволюция советского "кино" 451
Эволюция других методов "политпросветительства" 453
Значение распространения книги 454
Изучение читателя 455
Метод Н.А. Рубакина и его последователей 455
Изучение журнализма 456
Что читает публика? 457
Анкета "Крестьянской газеты" 458
Чего не хотят читать крестьяне? 459
Вопрос об упрощении языка 460
Неудовлетворительность библиотечного дела 460
"Биб-поход" 460
"Избы-чительни" 461
Повышение требований 461
Новые приемы 462
Сталин - Петр Великий? 462
Библиография 463

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итоги второго тома 466
Понимание "духовного" начала в абсолютном смысле и попытки определения "народной души" не составляют задачи "Очерков" 466
"Очеркам" чужды злоупотребления терминами "культуры" и "цивилизации" 467
Они не связывают "цивилизации" с "упадком" 467
"Отрыв" интеллигенции от народа - неизбежная стадия перехода от стихийных процессов к сознательным 468
Разрыв везде происходит в области веры 469
Роль религии на Западе 469
Последствия слабого влияния религии в России 471
Стерилизация национально-культурной самодеятельности 472
Отход народной массы от официальной церкви 472
Подчинение церкви государству 473
Остановка национального творчества 474
Отсутствие школы и отсталость науки 475
Школа создается для государственных нужд 476
Перспективы культурного влияния религии 476
Проблематичность перемен 477
Плоды секуляризации - задача нового издания II тома 478
Роль заимствования в создании национальной культуры 478
Передаточная роль высшего класса 479
Эстетизм конца XIX в. 479
Демократизация культуры продолжается в СССР 480
Оглавление второй части II тома 482

П.Н.Милюков
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
2 том (часть 2)

Компьютерная верстка и оригинал-макет О.И.Севрюгиной.
Редактор Л.И.Кучумова.
Художник В.А.Пузанков.
Художественный редактор Г.А.Семенова.
ИБ N20037.
ЛР N060775 Фотоофсет. Подписано в печать 28.07.94г.
Формат 60x90 в 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл.п.л. 31,0. Тираж 20 000экз. Изд. N 49432.
А/О Издательская группа «Прогресс-Культура».
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17.
Редакция газеты «ТРУД».
103792, ГСП, Москва,К-6, Настасьинский пер.,4.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в полиграфической фирме «Красный Пролетарий»
103473, Москва, Краснопролетарская,16, зак.№4771